ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

БЫТЬ ИОСИФОМ БРОДСКИМ

АПОФЕОЗ ОДИНОЧЕСТВА

**СУМЕВ ОТГОРОДИТЬСЯ ОТ ЛЮДЕЙ,
Я ОТ СЕБЯ ХОЧУ ОТГОРОДИТЬСЯ**

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Владимир Соловьев близко знал Иосифа Бродского с ленинградских времен. Этот том – итог полувековой мемуарно-исследовательской работы, когда автором были написаны десятки статей, эссе и книг о Бродском, – выявляет пронзительно-болевой камертон его жизни и судьбы.

Не триумф, а трагедия, которая достигла крещендо в поэзии. Эта юбилейно-антиюбилейная книга – к 75-летию великого трагического поэта нашей эпохи – дает исчерпывающий портрет Бродского и одновременно ключ к загадкам и тайнам его творчества.

Хотя на обложке и титуле стоит имя одного ее автора, она немыслима без Елены Клепиковой – на всех этапах создания книги, а не только в главах, лично ею написанных. Как и предыдущей книге про Довлатова, этой, о Бродском, много поспособствовала мой друг, замечательный фотограф и художник Наташа Шарымова.

Художественным редактором этой книги в Нью-Йорке был талантливый фотограф Аркадий Богатырев, чьи снимки и коллажи стали ее украшением.

Я благодарен также за помощь и поддержку на разных этапах работы

Белле Билибиной, Сергею Браверману, Сергею Виннику, Саше Гранту, Лене Довлатовой, Евгению Евтушенко, Владимиру Карцеву, Геннадию Кацову, Илье Левкову, Маше Савушкиной, Юрию Середе, Юджину (Евгению) Соловьеву, Михаилу Фрейдлину, Науму Целесину, Изе Шапиро, Наташе Шапиро, Михаилу и Саре Шемякиным, а также моим постоянным помощникам по сбору информации X, Y & Z, которые предпочитают оставаться в тени – безымянными.

- Владимир Соловьев, Елена Клепикова
  - Книга первая
    - Остров по имени Бродский
      - Бродский – это я!
      - АПОФЕОЗ ОДИНОЧЕСТВА. ИОСИФУ БРОДСКОМУ – к 50-летию
    - Три еврея, или Утешение в слезах
      - Бикфордов шнур. Предисловие к «Трем евреям»
      - Три еврея, или Утешение в слезах – 1975. Главы о Бродском

- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969
- Глава 11. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ НЕ ПО ПЛУТАРХУ
- Глава 12. ДЕКОРАЦИИ К «ТРЕМ ЕВРЕЯМ» (отрывки)
- Глава 13. ТРИ ПОЭТА
- Глава 19. РАЗГОВОР С НЕБОЖИТЕЛЕМ – 1975
- Глава 27. САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ ГЕРОЕВ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
- Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ
- Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ

- В сторону Иосифа. Постскриптумы к «Трем евреям»
  - Александр Кушнер & Иосиф Бродский
  - Анна, Иосиф & сэр Исайя
  - Как поссорились Иосиф Александрович с Евгением Александровичем
  - Поэт и муха
  - Живая собака
  - Елена Клепикова. Возвращение к Бродскому
    - Гамбургский счет
    - Плачущий Бродский
    - Летний сад: рвануть по газонам!
    - Он носил меня на руках
    - Ночь в доме Мурузи
  - Крохотки от Беллы Билибиной
- Посвящается ИБ. Проза на стихи Бродского
  - Перед богом – не прав
  - На два дома
  - Упущенный шанс
  - Одноклассница
  - Елена Клепикова. Посмеемся над Бродским!
  - Мой двойник Владимир Соловьев
- Бродский умер
  - Два Бродских
  - Елена Клепикова. Бродский – там и здесь

        - Мифы и реалии. Разговор с Наташей Шарымовой
        - Скандал в Питере! Приключения запретной книги о Бродском (2004)
    - Книга вторая
        - Последний поэт империи
            - Иосифу Бродскому – post mortem – в Элизиум. К 75-летию
            - Post Mortem
            - P.S. Дорогие мои покойники
            - Двойник с чужим лицом, или Проблема сходства и несходства
            - Кто кому сочинит некролог?
            - Иосиф в Египте
            - Комплекс графа Монте-Кристо
            - О вреде женитьбы, или Еще не изобретена была виагра
            - Бенцы, или Мизогинизм как часть мизантропии
            - Хроническая любовь
                -
                - Четыре Б
            - Хроническая любовь. Автокомментарий
            - Арест, суд, ссылка
            - Плохой хороший еврей
            - Голова профессора ИБ
            - Голова профессора ИБ
            - Остров мертвых
            - P. P. S. Мяу с того света, или Жизнь как ремейк
    - Приложения
        - Канва жизни Иосифа Бродского
        - Русская и английская прижизненная библиография Иосифа Бродского
        - Владимир Соловьев об Иосифе Бродском: Краткая библиография & отзывы
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7

- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12

Владимир Соловьев, Елена Клепикова
Быть Иосифом Бродским

Иосифу Бродскому – с любовью и беспощадностью

Книга первая

Остров по имени Бродский

Бродский – это я!
Мысли вразброд – и врасплох

Ты – это я.

ИБ. Письмо Горацию

Я – это он.

ИБ об Одене

Это моя новая книга о Бродском. Не только в том смысле, что в ней сплошь новые тексты, но и старые, прежние, классические, хрестоматийные переписаны наново и обогащены, как уран. Вот-вот: разница, как между простым ураном и ураном обогащенным. Новые времена – новые песни? Опять-таки не только: в новые времена и старые песни поются по-новому. Окромя тех моих «песен», которые не подлежат изменениям, дабы сохранить их аутентичность, будь то моя горячечная питерская исповедь «Три еврея», из которой для этой книги вычленены главы, напрямую связанные с Бродским, либо мой юбилейный ему адрес – единственный печатный отклик на его прижизненный полтинник. Не считая тех же «…евреев», которые под изначальным названием «Роман с эпиграфами» были изданы в Нью-Йорке к его 50-летию. Не просто моральное право, а моя творческая обязанность – отметить теперь его новый юбилей, увы, посмертный: 75! Юбилейная книга о Бродском. Своего рода юбилейный адрес в жанре и формате книги. Сие вовсе не значит, что это юбилейное издание – сплошь панегирик юбиляру. Отнюдь. Юбилейная книга, но без юбилейного глянца. «Многоуважаемый шкап…» – не мой жанр. Приветствовал бы эту книгу юбиляр? Без разницы. Эта книга не для него, а про него. Для живых, а не для мертвых. Вспоминаю, однако, что со своих ленинградских дней рождения Ося сбегал незнамо куда: ищи ветра в поле. А в родном нашем городе так иногда сквозило, что человек терял самого себя. Идея двойничества пришлась трижды переименованному городу в самый раз. Был ли у Бродского двойник? И не один. Человек не равен самому себе, об этом и пойдет речь.

Две большие разницы – идолопоклонство и любовь. Я следую завету моих далеких предков: не сотвори себе кумира. А потому, где и как могу, пытаюсь раскумирить и демифологизировать

Бродского, в которого мы с Еленой Клепиковой были влюблены с давних питерских времен, когда общались с ним часто, тесно и на равных. Эта книга создана с ее помощью и без ее участия и соучастия немыслима (спасибо, Лена!), но, в отличие от предыдущей – про Довлатова – книги авторского сериала под рабочим названием «Фрагменты великой судьбы», Лена сняла свое имя с обложки и титула ввиду несогласия с иными моими высказываниями. Скорее даже с их тоном, чем сутью. Свои собственные тексты она печатает в этой книге под своим именем – триптих, посвященный Бродскому, хоть и раскиданный по разным отсекам – см. оглавление и ищи в основном корпусе. Того стоит.

В чем, однако, мы с Леной Клепиковой сошлись: развенчание культа Бродского позарез – во имя любви к нему. Дабы спасти реального, знакомого, живого, близкого, любимого человека из-под завалов памятника, который должен быть разрушен, как Карфаген. ИБ – в данном случае JB (Joseph Brodsky) – часто повторял «plane of regard», то есть точка отсчета. Я избрал домашний plane of regard, интимный угол зрения. В таком подходе есть свои достоинства и свои недостатки, чему наглядным свидетельством эта книга.

Целевая установка автора: создать трагический образ большого русского поэта, нигде не выпрямляя ни его поэтический путь, ни его человеческую судьбу. Внутреннее задание автора самому себе – дать сложный, противоречивый, оксюморонный, амбивалентный, парадоксальный портрет, даже если симпатики, фанаты и фанатики Бродского сочтут эту юбилейную книгу антиюбилейной и съедят меня живьем. Что ж, вызываю огонь на себя – мне не привыкать. За мной не заржавеет – хоть уже вечер, но еще не ночь. А потому скажу заранее: панегиристам Бродского лучше держаться подальше от этой юбилейно-антиюбилейной книги. Она не просто не для них – она им не по зубам. То есть не по мозгам. Чтобы я заинтересован был только в согласных читателях? Ни в коем разе. Но не в тех, которые относят своих любимцев к секте неприкасаемых.

Задача не из легких: сделать из памятника человека, чтобы Бродский снова стал похожим на самого себя, а не на монумент, стащить его с пьедестала, пробиться сквозь «бронзы многопудье» и «мраморную слизь» к живому человеку, каким автор знал его в личку и близко, и к его великим стихам, которые я люблю с общей нашей ленинградской молодости. Мы так его тогда и называли, с легкой руки поэта Лени Виноградова: ВР.

Великий Русский.

Пусть Бродский даже гений (допускаю), но не святой, а

потому не «Житие святого Иосифа», но «Быть Иосифом Бродским. Апофеоз одиночества». Нет, нет, не модная нынче патологография, но все-таки и не агиография! Да и не биография вовсе, хотя все признаки словесного байопика имеют место быть, но – портрет, которому авторизация покойника или его правопреемиков без надобности. Портрет Бродского, несколько отличный от его автопортретов в стихах и рисунках. На одном в лавровом венке – однако! В разговорах с друзьями он был более самокритичен, называл себя монстром и исчадием ада, пусть и не без кокетства:

– Достаточно взглянуть в зеркало… Достаточно припомнить, что я натворил в этой жизни с разными людьми.

Прошу прощения за старомодный термин: когнитивный диссонанс.

Вот еще одна ссылка на моего героя:

Человек привык себя спрашивать: кто я? Там ученый, американец, шофер, еврей, иммигрант…

А надо бы все время себя спрашивать: – Не говно ли я?

«И средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он» – вот классическая формула поэта, увы. Кто из них время от времени не впадал в ничтожество? А из нас? Можно привести длинный список поэтов, которых никак уж не назовешь святыми: злослов и всеобщий обидчик (включая своего будущего убийцу) Лермонтов, картежный шулер Некрасов, Фет, который довел до самоубийства брюхатую от него бесприданницу, отказавшись жениться, предавший Мандельштама в разговоре со Сталиным Пастернак, да и сам Мандельштам, заложивший на допросах читателей и слушателей его антисталинского стиха – мало ли! Бродский – не исключение. Что нисколько не умаляет его поэтического подвига, благодаря которому он стал вровень с классиками русского стиха, одним из трех лучших наших поэтов прошлого века. Третьим – не только хронологически. С моей точки зрения, он уступает Мандельштаму и Пастернаку по богатству эмоциональной палитры и значению в отечественной поэзии, но его голос – самый трагический, он возвел трагедию на античный уровень. Его лучшие стихи, типа «Разговора с Небожителем», – для меня вровень с драмами Софокла. Вот уж полная лажа (одна из его любимых дефиниций) – относить это великое стихотворение к богоискательству, как это делает биограф-агиограф Лев Лосев (Леша Лифшиц, каковым он был для всех нас в Питере)! Какое, к черту, богоискательство, когда Бродский, разговаривая с Небожителем, низвел трагедию до

уровня своей биографии – «Трагедия – событие биографическое», по его словам – и возвел катастрофу своей жизни на уровень античной трагедии.

Восприятие Бога у Бродского – опять-таки трагическое. Он называл себя кальвинистом, хотя я не уверен, что был прав, тем более его представление о кальвинизме поверхностное и приблизительное: на месте изначальной греховности человека у Бродского индивидуальное чувство вины. На мой взгляд, в глубине души и в отношениях с Богом он остался иудеем, недаром так любил Книгу Иова и сравнивал себя с ее героем. Даже его atonement – не только в Судный день! – скорее Jewish guilt, чем латинская mea culpa.

Смотри ж, как, наг
и сир, жлоблюсь о Господе, и это
одно тебя избавит от ответа.
Но это – подтверждение и знак,
что в нищете
влачащий дни не устрашится кражи,
что я кладу на мысль о камуфляже.
Там, на кресте,

не возоплю: «Почто меня оставил?!»
Не превращу себя в благую весть!
Поскольку боль – не нарушенье правил:
страданье есть
способность тел,
и человек есть испытатель боли.
Но то ли свой ему неведом, то ли
ее предел.

Что касается помянутой агиографии Бродского, то это, конечно, лучше, чем такие очевидные фальшаки, как лжемемуары о нем Кушнера, о чем/о ком у меня еще будет возможность сказать пару ласковых слов. Именно поэтому на книжке Лосева стоит остановиться чуть подробнее, хотя, конечно жаль, что моя критика обращена к ныне покойному автору и у него нет возможности ответить мне с того света.

Оба наших с ним опуса о Бродском – его «Апология Бродского» и мой докуроман «Post mortem» – вышли одновременно в 2006 году, в параллель друг другу, а потому воспринимались читателями по контрасту. Отдам должное автору этого жэзээловского curriculum vitae: он знает толк в стихосложении и ямб от хорея может отличить, будучи сам

средней руки пиитом, но это, увы, не помогает ему в понимании стихов своего героя, которое у него на нуле, а то и ниже плинтуса. Что видно и очевидно из его «богоискательской» трактовки «Разговора с Небожителем» либо, скажем, из определения жанра щемяще лиричного стихотворения «Лагуна» как поэтического травелога. Опять пальцем в небо! У поэта Лосева именно на поэзию деревянное ухо, ему катастрофически не хватает самого элементарного читательского чутья, которое он безуспешно пытается подменить тяжеловесным и неуместным, чисто сальериевским разъятием и умертвлением стиха: «Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию».

Однако главный порок этой вымученной, бескрылой, наукообразной, но квазинаучной и, увы, мертворожденной книги, что она сплошь апологетична, а потому ультратенденциозна. Любое слово Бродского принимается на веру, включая, к примеру, вздорную его концепцию о первородстве, превосходстве и прерогативах поэзии над прозой, а отсюда ужé – сакрализация поэзии как таковой. Зато любая критика Бродского отметается сходу, а критики подвергаются личной дискредитации и шельмованию. Забыто старинное правило полемики: спорят с мнениями, а не с лицами. Прикрываясь Бродским, как щитом, Лосев ведет ураганный огонь по всем его оппонентам – от поэтов Эдуарда Лимонова и Дмитрия Бобышева и художника Михаила Шемякина до питерской возлюбленной и по совместительству музы поэта Марины Басмановой, гостеприимной венецейской покровительницы Бродского Марии Дориа де Дзулиани и его мичиганского студента Александра Минчина. Не только всем сестрам, но и всем братьям по серьгам, то бишь инвективам – без разбору, а тем более без гендерного различия.

Ну, о Бобышеве, любовном сопернике друге-враге Бродского, и говорить нечего, хотя обвинять талантливого поэта с отменным вкусом в пошлости есть само по себе пошлость. Но вот другой поэт – Лимонов с его довольно любопытной и часто обоснованной критикой поздних стихов и литературной стратегии Бродского. Не «опускаясь» до спора по существу, Лев – Леша Лосев – Лифшиц лихо расправляется с ним, объясняя позицию Лимонова бытовым антисемитизмом, хотя при всем радикализме его идеологической программы, антисемитизма у Лимонова ни в одном глазу, скорее наоборот, о чем можно судить по его откровенно юдофильским высказываниям. Да я и сам могу засвидетельствовать его жидолюбие. Как говорил Довлатов, вредный стук.

О Марии Джузеппине Дориа де Дзулиани сам Бродский неблагодарно и хамски прошелся в своем довольно слабом

венецейском травелоге «Набережная неисцелимых», где Венеция как таковая отсутствует (очередное свидетельство, что «смотреть он не способен», как верно подметил Андрей Сергеев, близкий друг ИБ), чисто «по-мужски» мстя словом за ее отказ перепихнуться с ним: «Общение с ним было пыткой, – вспоминает италийская графиня. – Каждое утро уже под мухой он заявлялся ко мне, выкрикивая с улицы самые неприличные слова. Я очень боялась, что соседи поймут, что кричит наш гость. Он абсолютно не знал, как себя вести – был навязчивым, нарочитым. Все разговоры наши сводились к тому, что он меня “хочет”. Это было тяжело и неприятно. Я видела, как в Питере женщины буквально падали перед ним на колени, там он был бог, миф. Но в Венеции была совсем другая жизнь. И та неделя была для меня кошмаром. В конце концов, я не выдержала, открыла дверь, схватила его за ворот и спустила с лестницы». Тут уж, выглядывая из-за спины Бродского, его агиограф и вовсе распоясывается и винит «графинюшку» в недоброжелательности и лжи. По принципу «дружить не с кем, а против кого».

Не решаясь аналогичным образом очернить Марину Басманову, единственный адресат любовной лирики однолюба Бродского, Лосев, ничтоже сумняшеся, объявляет, что «преображение поэта было произведено любовью поэта к одной женщине», хотя в действительности – самой женщиной, за что ИБ неустанно благодарит МБ: «Я был попросту слеп. Ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть…»

Ко всем этим смещениям и передергиваниям, которые вконец обесценивают эту холуйскую – вычеркиваю и заменяю на «верноподданническую» – и за счет этого спесивую книжку (исключение – составленная Валентиной Полухиной обширная, в 100 страниц, «Хронология»), у меня еще будет вынужденная возможность возвратиться, включая самый, на мой взгляд, возмутительный подлог, когда апологет-аллилуйщик-агиограф объявляет воспоминания Александра Минчина «сведением счетов», а его самого мешает с говном, обзывая культурно неподготовленным, заурядным студентом, а то и просто неучем, что с точностью до наоборот. См. об этом главу «Голова профессора ИБ Бродского» и автокомментарий-сноску к ней.

Здесь скорее, чем о нью-йоркской камарилье Бродского, следует говорить о его питерском кагале – опять цензурирую самого себя, чтобы чего не подумали! – питерской кодле-шобле (читателю на выбор), хотя они и срослись в конце концов почти без швов. Этакая диковинная смесь лакейства и спеси. «Присосались, как пиявки», – говорил о своих земляках Бродский – впрочем, беззлобно, по-пацански, чтобы не сказать по-пахански:

приме-балерине нужен кордебалет в качестве фона. А вот как это выглядело со стороны. Сначала из письма ко мне одного довольно известного по обе стороны океана человека, но при условии полной анонимности («только не упоминая моего имени и не делая авторство прозрачным – ведь они меня схарчат! Баюс!»):

Вы, при всем критицизме, очень добры к нему. Он, видимо, был страшная сука. А его окружение – еще сучее. Я встречался с ним только один раз – у Олега Целкова (Бродский считал его фамилию неприличной), в Тушино, он читал «Шествие», я был сражен наповал. Я не мог оценить его как личность тогда. О сучьем окружении – это же нужно – запретить публикации о его личной жизни, закрыть все источники, письма на 75 лет! Кому он тогда на… будет нужен?

Преувеличение, конечно. Никаких запретов на публикации о его личной жизни нет и не может быть по определению: сколько угодно! Все архивы Бродского – в Российской национальной библиотеке в Петербурге, в библиотеке Бейнеке Йельского университета и Стэнфордском университете – в свободном доступе и, по разъяснению вдовы Марии Соццани-Бродской, которая вместе с Энн Шелберг, литературным душеприказчиком ИБ, возглавляет Фонд наследственного имущества Иосифа Бродского (Th e Estate of Joseph Brodsky), завещательная просьба Бродского касается публикации его личных писем: скажем, его переписки с Мариной Басмановой, которую он вел со времени своего отъезда из России почти до самой смерти (1972–1995). А теперь – письмо Лене Клепиковой и мне от Юнны Мориц конца 1988 года под впечатлением о вашингтонской встрече с Бродским:

Иосиф необычайно красив, хоть и взял одежду напрокат у героев Чаплина: это его старит, всасывает в старческий обмен веществ; ритм скелетный и мышечный, а также сосудистый – лет на 60…Но он, к сожалению, охотно дает питерской братии примерять тайком свою королевскую мантию, свою премию и крошить свой триумф, как рыбий корм в аквариуме… Иосифа спешат они сделать своим «крёстным отцом», загнать в могилу (чтобы не взял свои слова назад!) и усыпать её цветуечками.

Отмечу еще две забавности. Из читанных мною разножанровых опусов о Бродском из-под пера его бывших земляков по Питеру выходят сплошь пустышки, а то и много хуже, тогда как самые ценные принадлежат иноземным друзьям

поэта – москвичам Андрею Сергееву и Виктору Куллэ, литовцу Томасу Венцлове, поляку Адаму Михнику, русской британке Валентине Полухиной, которая издала 62 из данных Бродским 181 интервью. Два восклицательных знака после каждой цифры!

Касаемо ЖЗЛ, двум самым знаменитым нью-йоркско-питерским писателям как-то особенно, я бы сказал, катастрофически не повезло с книгами про них в этой серии, пусть и по контрасту: панегирик Льва Лосева о Бродском и пасквиль Валерия Попова о Довлатове. Еще вопрос, что хуже. Крайности сходятся. Родоначальник был прав, поставив в параллель хвалу и хулу: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца». В обеих книгах – stolen personality, покража личности. А взамен – чучело гороховое.

В книге «Быть Иосифом Бродским» дан не триумф, а трагедия поэта. Трагедия – его муза и питательная среда его триумфа. Его личная трагедия стала его триумфом, не перестав быть трагедией.

«Сохрани, Боже, ему быть счастливым: с счастием лопнет прекрасная струна его лиры», – провидчески писал князь Петр Вяземский о Бродском. Лавровые листья его нобелевского венка интересуют автора этой книги в последнюю очередь, если интересуют вообще. Разве что предпринятые Бродским усилия для получения высшей на земле награды, которые дорогого ему стоили и дорого обошлись, но он был сам себе суперменеджер, саморекламист и, словами Ахматовой, не про него сказанным, «виртуозный ловец человеков», по-здешнему – «useful people»: от Сьюзен Зонтаг и Роберта Страуса до супругов Либерман, много поспособствовавших получению Премии, несомненно, им заслуженной и вымечтанной с давних питерских времен, судя по французскому стишку, сочиненному им на заре туманной юности без никакого знания французского языка:

Prix Nobel?
Oui, ma belle.

В ожидании Нобеля он прожил всю свою сознательную жизнь вплоть до ее присуждения – не он один, но ИБ больше других, такая страсть не может быть односторонней, не может не быть вознаграждена. Не знаю, буду ли верно понят, да мне все равно: Премию он получил не только за свой великий талант, но и за великое ее вожделение. Не будь Нобельки, Бродский на нашей с ним географической родине котировался бы высоко, но не выше, чем другие поэты-современники – в одном ряду с Ахмадулиной, Окуджавой, Евтушенко, Вознесенским, Высоцким, Коржавиным,

Самойловым и проч. Как знать, может даже ступенькой ниже иных из них. Было отчего иным из них озлобиться и шизануться, даже тем, кого рядом с Нобелькой не стояло (см. мемуар того же Наймана, еще одного друга-врага Бродского, а поэта – никакого), когда шведы выбрали Бродского. Стокгольм выдал ему охранную грамоту и закрепил за ним первое место в современной русской поэзии – в большом отрыве от остальных.

В отрыв Бродский пошел с конца 60-х: «За мною не дует» – его собственные слова. Он опередил не только поэтов, но и читателей, которым было за ним не угнаться. Отсюда отрицание его стиха многими завидущими питерцами и почти всеми, за редкими исключениями – Игорь Губерман, Борис Слуцкий, Женя Евтушенко, Юнна Мориц, Андрей Сергеев – москвичами. Напомню о его провальных чтениях в Москве – на поэтическом вечере в МГУ, куда его пригласил Женя Евтушенко (помимо них, выступали Белла и Булат), на переводческой секции в ЦДЛ и в ФБОНЕе (Фундаментальной библиотеке общественных наук). Помню, когда мы переехали в Москву, окно в окно с Фазилем Искандером, Жека, наш продвинутый сын, воспитанный на стихах Бродского и хорошо с ним лично знакомый, объяснял Фазилю построчно «Колыбельную Трескового мыса» – включая строчки «Когда я открыл глаза, север был там, где у пчелки жало», на которых застрял адепт классической традиции, пусть и лучший из евтушенок.

Я признал ВР (почему не воспользоваться упомянутой аббревиатурой еще раз?) раньше других – еще в Питере, с первой с ним встречи. Негоже знатоку поэтики и поэзии Бродского курить ему фимиам. Заранее предупреждаю читателей, для которых китч на первом месте. Не моего ума дело.

Хотя на ином уровне понимания мои предыдущие книги о Бродском были востребованы и восприняты вровень с авторским замыслом. «Спасибо Вам за Бродского! – писала мне московский редактор Таня Варламова из “РИПОЛ классик”. – Мне он никогда не был близок, а теперь – это просто какое-то озарение: живу только им». Критик – опять-таки московский – написавший не одну, а две разные, но обе весьма позитивные и лестные автору рецензии на мою запретную книгу о Бродском «Post mortem», точно и тонко ее определил: «Я еще не читал книги, в которой Бродский был бы показан с такой любовью и беспощадностью».

Вот откуда я содрал посвящение этой книги – «Иосифу Бродскому – с любовью и беспощадностью»: спасибо, Павел Басинский! Наконец, заголовок газетного материала про ту мою книгу, который был напечатан по обе стороны Атлантики и по обе стороны Америки – в Москве, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке:

«Вровень с Бродским». Надеюсь – заменим это кокетливо-скромное слово на «уверен» – уверен, что эта моя новая книга не только вровень с Бродским, но и вровень с двумя моими предыдущими – «Три еврея» и «Post mortem», а те, помимо отдельных изданий, вышли под одной обложкой, и на ней значилось: «Два шедевра о Бродском». Без лишней скромности скажу, что эта книга – мой третий шедевр. Не только эту, каждую книгу пишу, как последнюю, а в этой выложился весь, ничего не оставил за душой, разве что на самом донышке. Пусть и подустал малость. А что, если в самом деле это моя последняя книга? Я скромен, когда говорю о себе, но горд, когда себя сравниваю. Ссылка на маркиза де Кюстина не обязательна – беру его себе в соавторы.

Зато ссылка на моего героя – позарез. На его эссе об Одене «Поклониться тени»:

На что уповаю – что не снижу уровень его рассуждений, планку его анализа. Самое большее, что можно сделать для того, кто лучше нас, – продолжать в его духе. В этом, полагаю, суть всех цивилизаций.

Это что касается теории, но как достичь на практике? Путем перевоплощения? По системе Станиславского? «Я – это он», – настаивал Бродский на тождестве субъекта и объекта, а в «Письме Горацию»: «Ты – это я». Не знаю, что это напоминает читателю, мне – флоберовский принцип «Эмма Бовари – это я». Это когда приятель застал Флобера умирающим – он только что написал, как отравилась его непутевая героиня. Вот и я говорю: «Бродский – это я!». В том смысле, что писал эту книгу, равняясь на его лучшие стихи, да?

Нет и нет! Равняясь на самого Бродского, каким я его знал и каким любил. А знал с питерских времен, общался часто и тесно: у него в «берлоге» в доме Мурузи на Пестеля и у нас на 2-й Красноармейской на наших днях рождения и по другим поводам, а то и просто так, без всякого повода, у общих знакомых и друзей, в больницах на Охте и в Сест рорецке, где он репетировал свою будущую смерть и попрекнул меня, что я прихожу к нему только, когда ему плохо, а уж сколько мы с ним бродили по нашему любимому-нелюбимому умышленному городу – немерено!

Вот одна довольно значимая и знаковая встреча весной 71-го в Доме творчества в Комарово, где я «творил», а точнее строчил свою книгу о болдинском Пушкине, которую в следующем году защитил как кандидатскую диссертацию. Одна из шести глав в этой книге посвящена скрытым связям Пушкина с йенскими

романтиками и Шеллингом, их теоретическим вождем, – в противоположность самоочевидным и к 30-му году исчерпанным французским связям. ИБ слушал жадно, поглощая новую информацию, но, когда зашла речь о болдинских пьесах, ошибочно именуемых «маленькими трагедиями», самым решительным образом заявил, что все это от лукавого, просто Пушкину было никак не остановиться – все четыре пьесы написаны на инерции белого стиха. Я сказал, что это немыслимое упрощение. «А немецкие связи Пушкина – натяжка», – огрызнулся ИБ, но, полистав «Бруно» Шеллинга (издание 1908 года), попросил до вечера. Книжка небольшая, но я был удивлен, когда к вечеру, уезжая в Ленинград, он действительно ее вернул:

– Жаль, что немчура. В остальном – приемлем.

Я не сразу понял, что читатель ИБ никакой, о чем спустя пару лет написал в «Трех евреях». ИБ схватывал содержание на лету, с первых двадцати – тридцати страниц, его редко хватало до середины, а целиком прочел, думаю, считаные книги (если прочел). Не читатель, а улавливатель смысла. Sapienti sat – адекватная формула ИБ как читателя. Да и как слушателя. Недели две спустя, уже в Л-де, я убедился, что Шеллинг им освоен – на нужном ему уровне, ни больше ни меньше. Книгоглотатель, потребитель мировой культуры, улавливатель смысла, он был похож на кота, который в разнотравье выбирает именно ту траву, которая в данный момент позарез его организму. У Шеллинга, как выяснилось, ИБ обнаружил две такие «травки»: настойчивое противопоставление чувства рассудку и определение свободы как испытания человека, а мой любимый у Шеллинга афоризм – «В человеке природа снимает с себя ответственность и перекладывает ее на плечи homo sapiens» – повторил вслед за мной с явным удовольствием, запоминая. Я тогда носился с Шеллингом и навязывал его всем знакомым, но один только ИБ купился.

Не считая Пушкина, который купился на самого Шеллинга – согласно моей гипотезе.

> Кто в диссертации своей
> Нам доказать хотел, что Пушкин —
> Шеллингианец? Кто злодей?..

– писал Саша Кушнер в своем стихотворении «К портрету В.И.С.» – то есть к моему портрету.

Само собой, не один Бродский, но Бродский в большей мере – в разы! – чем кто-либо другой повлиял на судьбу двух супругов-писателей, которые вломились в литературу как сольными, так и

соавторскими опусами. Сначала – в России – как критики-эссеисты, потом – в Америке, где состоялись как политологи, публицисты, прозаики и мемуаристы. Да, именно на судьбу, а не токмо на наши сочинения, где он стержневой фигурант – «Два Бродских», «Три еврея», «Бродский – там и здесь», «Отщепенство», «Post mortem», «Посмеемся над Бродским», «Закон обратной связи», «Буффонада Иосифа Бродского», «Апофеоз одиночества». Я ничего не пропустил? (См. фотоколлаж среди иллюстраций и избранную библиографию в конце книги.) Отчасти, но по большей части это связано с топографией. Живи мы в Москве, зная и любя его стихи, как редко там кто, будь даже его фанатами, но не под гипнозом этого во всех отношениях незаурядного, редкостного, необычного и своеобычного человека. Мало читать его стихи, надо было слушать их в его шаманско-канторском исполнении. Надо было видеть и слышать его, дружить с ним, любить его.

Да, род влюбленности, если хотите. Само присутствие в нашей среде человека, отмеченного таким обалденным, искрометным, штучным талантом, повышало планку, которую мы сами устанавливали перед собой. Не для того, чтобы сравняться с гением, что невозможно по определению, но чтобы жить и писать согласно его инстинктам, принципам и критериями. Из которых главный – величие замысла. Ахматову поразило это определение Бродского. Пусть он и позаимствовал его у своих предшественников в мировой литературе. У того же, например, Фолкнера, который свой великий роман «Шум и ярость» называл «моим самым прекрасным, самым блистательным поражением». И разъяснял, что имеет в виду: «Лучшее в моем представлении – это поражение. Попытаться сделать то, чего сделать не можешь, даже надеяться не можешь, что получится, и все-таки попытаться. Вот это и есть для меня успех».

В своих лучших книгах, эту включая, автор идет аналогичным путем, ставя перед собой задачи, которые ему явно не по плечу. И это естественно: равняться на великих, а не на литературных середнячков. Иаков потерпел поражение и на всю жизнь остался хром, но это было поражение в борьбе с Богом. Тем более надо соответствовать избранному прототипу. Как Бродский равнялся на Овидия, на Баратынского, на Цветаеву, на Одена: ты – это я, я – это он. Вот именно.

Судима ли литература на уровне замысла – другой вопрос. Чем замысел ничтожнее, тем легче достигнуть совершенства. Соответственно – наоборот. Провалы внутри великих замыслов неизбежны: «Дон Кихот», «Братья Карамазовы», «Война и мир», «Моби Дик», «Улисс», «В поисках утраченного времени» –

произведения отнюдь не совершенные. У того же Бродского далек от совершенства его, может быть, самый великий по замыслу стиховой диалог «Горбунов и Горчаков». Ну и что?

Влияние Иосифа Бродского на Елену Клепикову и Владимира Соловьева было настолько всеобъемлющим, тотальным, гипнотическим, судьбоносным, что это даже не влияние, а – эффект Бродского. Нет, конечно, не «наше всё» и не Вифлеемская звезда, но жизненные и творческие ориентиры, которые он задавал, «не позволяя душе лениться» (привет Заболоцкому). То есть помог нам, его младшим друзьям, сориентироваться в окрестном мире. С его отъездом – именно благодаря его отсутствию, которое есть присутствие – этот эффект усилился в разы.

Само собой, этот эффект Бродского мог иметь негативные следствия и последствия: на кого – как. В качестве негатива Бродского воспринимали, завидуя ему, иные русские поэты, которым он кошмарил жизнь. См. помещенные в этой книге тексты-пародии «Поэт и муха» и «Живая собака». Однако профессиональной болезнью эффект Бродского не ограничивался. Я знавал у нас в Нью-Йорке москвича, которому – так он сам считал – «повезло» родиться Иосифом (оба в честь Сталина) да еще ровесником – год в год! – Бродского, и он, сам человек разнообразно одаренный, близко к сердцу принимал успехи своего тезки и всячески их отрицал, как незаслуженные. В итоге этот феномен имел трагические последствия для «другого Иосифа», и я не мог удержаться и сочинил для этой книги даже не одну, а две вариативные истории: «Перед Богом – не прав» и «На два дома», которые читатель найдет под общей рубрикой «Казус Жозефа».

С эффектом Бродского напрямую связаны драйв, структура и состав этой книги. Можно и так сказать: симметричный ответ на вызов Бродского. Сошлюсь еще раз на мою предыдущую о нем книгу – диптих-складень «Два шедевра о Бродском». Потому как многие главы перекочевали в новую книгу. «Три еврея» – исповедального и покаянного жанра, и портрет Бродского дан в рамках моего автопортрета: из трех евреев сюжетно я – главный герой. Недаром на обложке «захаровского» издания мой портрет, а в глазах у меня отражаются антагонисты: Бродский и Кушнер. Не говоря уже, что в том моем мемуарном романе (или романном мемуаре?) дан питерский Бродский – городской сумасшедший, затравленный зверь, поэтический гений. В «Post mortem» – нью-йоркский, карьерный Бродский, с ослабленным инстинктом интеллектуального самосохранения, с редкими прорывами в поэзии. Не один я, к счастью, это приметил. Вот отзывы двух

востребованных российских литераторов Орлуши и Дмитрия Быкова, пусть даже они чересчур категоричны, безапелляционны, а в частностях субъек тивны:

«…Я бы отдал все, чтобы меня не помнили, как Бродского. Потому что он последние 25 лет своей жизни писал полную херню. Попробуй почитать "Историю двадцатого века", где есть стихотворение на каждый год – читай не как Бродского, а просто как текст. Более занудной и никому не нужной поебени просто нет. И так же со всем, что писал Бродский после того, как уехал из Советского Союза. Были хорошие стихи, но было и много того, что написано для иностранцев, для какого-то заработка».

«Я не собираюсь перепевать здесь расхожие банальности о том, что Бродский „холоден", „однообразен", „бесчеловечен"… В огромном корпусе сочинений Бродского поразительно мало живых текстов… Едва ли сегодняшний читатель без усилия дочитает „Шествие", „Прощайте, мадемуазель Вероника" или „Письмо в бутылке" – хотя, несомненно, он не сможет не оценить „Часть речи", „Двадцать сонетов к Марии Стюарт" или „Разговор с небожителем": лучшие тексты ещё живого, ещё не окаменевшего Бродского, вопль живой души, чувствующей свое окостенение, оледенение, умирание».

Про все это я подробно пишу в моем эссе «Два Бродских», противопоставляя одного Бродского другому Бродскому. Этого, однако, мне показалось недостаточно. Мне было что еще сказать о нем, но в ином жанре – фикшн. Так возникла моя запретная книга «Post mortem». Лот художества берет глубже, чем любой другой, включая дневниково-мемуарный, а потому я избрал романный жанр, пусть «Post mortem» – роман на документальной основе: докуроман. Да, даль свободного романа. Разрыв шаблона, если хотите. Или как Юнна Мориц круто писала в прежние добрые – до деградансa – времена: «Сломать стереотип и предпочесть сумбур».

Вот из интервью Нади Кожевниковой со мной по поводу моей «запретной», но теперь я бы сказал запретно-заветной, обетованной книги о Бродском:

– Как критик-аналитик, с отменным вкусом, эрудит, широкого, разнопланового диапазона, подскажите мне и нашим читателям аналоги, когда автор, взяв за основу своего повествования конкретное историческое лицо, в данном случае поэта, себя в стихах, в прозе, в эссе раскрывшего, рискует

домысливать в свободном, так сказать, полёте, нечто, не только никак, нигде, фактически не обоснованное, а изначально заявленное как домысел? Каков был тут ваш личный импульс? Обнаружить сокрытое в вашем герое? Перевоплотиться, слиться с ним? Или же… Ведь возможна догадка, что Соловьёву Бродский понадобился для других вовсе целей? Зная вашу, Володя, жёсткую трезвость и в оценке других, и самого себя, хотелось бы получить соответствующие комментарии к замыслу вашего романа.

– Ну, примеров множество. Взять моего любимого Тынянова, который говорил, что начинает там, где кончается документ. Именно на стыке документа, но продолжая его, написаны три его замечательных романа – «Пушкин», «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара» о Грибоедове. Но зачем далеко ходить? Сошлюсь на моего героя. В стихотворении «Посвящается Ялте» содержится ответ на ваш вопрос:

> …да простит меня
> читатель добрый, если кое-где
> прибавлю к правде элемент Искусства,
> которое, в конечном счете, есть
> основа всех событий (хоть искусство
> писателя не есть Искусство жизни,
> а лишь его подобье).

С другой стороны, работая над книгой о Бродском, я перечитал все его стихи и статьи, заглянул в воспоминания о нем и в собственную память, прочел больше половины из данных им двух сотен интервью. Однако обращение к художке объясняется еще тем, что бродсковедение – мемуаристика и стиховедение – полностью исчерпало себя, обречено на повтор и говорильню. Роман, пусть даже близкий к реальности, предоставляет автору неограниченные возможности. У меня уже был однажды такой опыт. Я написал вполне ортодоксальный мемуар «Довлатов на автоответчике», который многократно печатался по обе стороны океана, входил в мои и наши с Леной Клепиковой книжки, но, чувствуя его недостаточность и недоговоренность, сочинил добавочно повесть «Призрак, кусающий себе локти», где дал человека, похожего судьбой и характером на Довлатова, но не один к одному, под другим именем, с рядом подмен. «Запретная книга» о Бродском значительно ближе к реальному герою.

Вот почему, кстати, давая в этой новой книге главы из той прежней, я решил – и решился! – заменить однобуквенный, одним инициалом, псевдоним (секрет Полишинеля!) на полное имя героя с оговоркой, что мой Бродский – все равно что Кутузов либо

оба императора – Наполеон и Александр – в «Войне и мире». Ссылка на графа Толстого избавляет меня от необходимости дальнейших объяснений, пояснений и экскьюзов. Хотя высказывания героя не всегда буквальны, но цитатны в широком и даже стилистическом смысле, то есть подтверждены письменно или устно зафиксированными источниками. Отсюда обширный свод автокомментариев в предыдущих «риполовских» изданиях 2006 и 2007 гг. – полторы сотни страниц! – который в этой книге я вынужденно свожу к минимуму. Увы. Потому «увы», что приведенные там обильные цитаты подтверждают пусть не фотографические, но эвристические, аутентичные черты романного персонажа по имени «Бродский». В том же соотношении.

Парочка примеров для нагляда. В главе «Иосиф в Египте» рассказывается про квазимемуары о Бродском, из которых самые фантазийные принадлежат Кушнеру-Скушнеру: что ИБ будто бы носил его фотографию в бумажнике, и та вся истерлась – так часто Бродский ее вынимал, чтобы еще раз глянуть в любимое лицо; даря транзистор «Сони», пообещал: «Я скоро умру – и все будет твое»; на поздравление с Нобелькой ответил: «Да! Только в стихах – чернуха. И чем дальше, тем черней»; жаловался, что не с кем перекинуться словом, а тем более о стихах – только с ним, и проч. Невероятно, да? На самом деле, почти дословный пересказ текстов этого лжевспоминальщика: «Показал мне, вынув из бумажника, затертую фотографию: это меня и Лену сфотографировал у нас дома кто-то из американцев, и она попала к нему. Купил мне транзисторный приемник „Sony“ – „с премии“. Когда я благодарил за подарок, вдруг сказал: „Я скоро умру – и все будет твое“. Я почувствовал, что он очень одинок. Жаловался, что о стихах ему поговорить не с кем… „Не печалься, ты что! Ты же получил премию!“ – „Да! Только в стихах чернуха. И чем дальше, тем черней“».

Либо такой вот мой абзац, смутивший иных моих рецензентов:

Жаловался на проблемы с эрекцией и спермой. Больше, правда, прозой – устной и письменной, чем в стихах. Странно: тебя травмировала импотенция, а не безлюбость. Ты разучился влюбляться. А если это связано: Эрос с Приапом, импотенция с невлюбчивостью?

Первая фраза этого абзаца напрямую связана с личными признаниями Бродского, который постоянно жалился, письменно и устно, на сексуальные проблемы. К примеру, см. его литании в

«Письме Горацию»: «Хотя я должен признать, что даже в те стародавние дни, когда со спермой дело обстояло куда лучше…» Там же он описывает свой сон, а во сне «самую энергичную встречу такого рода, в которой я когда-либо участвовал, будь то в реальной жизни или в моем воображении… На меня произвела большое впечатление моя стойкость, равно как и мое вожделение». Странно писать так о себе, сравнивая коитус во сне с предыдущими – как во сне, так и наяву. Одна знакомая, у которой с ИБ были «встречи такого рода», вспоминает их короткость – обычно не дотягивал до среднестатистических пяти минут – кончал раньше или бросал на полпути, отшучиваясь с помощью Пастернака:

«Я вздрагивал. Я загорался и гас…». Одной особе, с которой у него были довольно длительные отношения, признался, что «всё досталось другой», но она восприняла это за экскьюз. В «Двух Бродских» рассказывается об американке Джейн Нокс (впервые называю здесь ее полное имя), близкой с ИБ по Питеру, но здесь он сказал ей, что стал импотентом после операции на сердце. Опять отговорка? Терпеть не мог сексуально требовательных женщин. См. его мизогинистский очерк «После путешествия, или Посвящается позвоночнику», где именует свою постельную партнершу «моя шведская вещь по имени Ulla», «вонючий хорек» и признается, что «чуть было ей не врезал», но при отсутствии психологических мотивировок звучит, выражаясь его же словами, как полная лажа, и вызывает недоумение. Это к тому, что литературный персонаж по имени «Бродский» есть результат внимательного вчитывания и вслушивания в стихи и высказывания ИБ и пристального вглядывания в его фигуру, а та дополняет, перекрывает, снижает, объясняет его поэзо-прозу. Иногда от обратного. Как эти образы стыкуются друг с другом? И должны ли они стыковаться? Не знаю.

Не знаю также, всегда ли это хорошо для художества. Оригинал, с которого списан ИБ, очевиден, но это скорее все-таки – уточним – прообраз, чем прототип. Одни факты даже для создания докуромана недостаточны. Страх и страсть, ревность и нежность, похоть и бессилие испытаны автором, а потом уже героем и в конце концов читателем, то есть понятны на сопереживательном уровне. В противном случае, если писать только с натуры, а не с себя, литературный персонаж мертворожден. Даже в случае докуромана – с фактами, конфискованными из самой что ни на есть реальности. Тавтология исключена: роман – не зеркало, литературный герой в той же мере равен автору, что и прототипу, несмотря на цитаты и компиляции.

Иными словами, литературный персонаж живет полноценной самостийной жизнью и не сводим к реальному человеку в штанах или без оных, а разве что сопоставим с ним, но на уровне читательских дога док либо – как в первых полных изданиях «Post mortem» – с помощью свода автокомментариев, вынесенных за пределы романного корпуса.

Цель этих автокомментов и состояла в анатомическом (по возможности) расчленении созданного образа – где документ, пусть и смещенный художественно (домысел), а где опять-таки художественная, но отсебятина, то есть, эвфемистически выражаясь, художественный вымысел. Собственно, вся эта отсебятина и выводит роман из линейных био в высший все-таки регистр художества, а ему присуще скорее искажать, чем воспроизводить реальность. Тем более в таком компилятивном жанре, как биография, пародией на которую и является означенный опус.

Скажем, Гертруда Стайн на фотках или она же в портрете Пикассо – кто из них ближе к реалу?

– Непохожа, – сказала художнику бабушка мирового модернизма.

– Будешь похожа, – ответил Пабло.

Что и произошло в скором времени – и по сю пору. Вот на что уповает автор этой юбилейной и итоговой книги о Бродском: что его портрет, написанный мною с натуры, будет похож на поэта не только больше, чем памятники ему, сработанные в бронзе, мраморе и слове, но и чем его собственный автопортрет в стихах и прозе. Можно ли ему верить? Даже в его лучших текстах? Не говоря про худшие. Точнее: насколько можно верить поэту? Что несомненно: есть дистанция между автором и автопортретом. Тем более словесный автопортрет: смесь покаяний, самооправданий и умолчаний. Вот именно, поэзия и правда.

То есть правда и вымысел. Правда и ложь. Поэзия – и ложь.

Укоряю Бродского во лжи? Ни в коем разе. Он сам в ней признавался и оправдывал других и себя:

Замечательный, кстати сказать, стилист Герцен. Только врет очень много… Федор Михайлович Достоевский тоже был, между прочим, совершенно чудовищный лжец, царство ему небесное… Вообще-то автору так и следует вести себя. Тут я автора нисколько не обвиняю.

Тут он всегда прав. И он даже не лжец. В тех условиях, в какие автор поставлен обществом, он может себе это позволить. Непонятно еще, почему он не крадет, не убивает…

Он же:

Это была почти ложь, но так оно выглядело красивее, а к тому времени я научился ценить ложь именно за это „почти“, которое заостряет контуры правды: в самом деле, правда кончается там, где начинается ложь. Вот чему научился мальчик, и эта наука оказалась полезней алгебры.

На сюжет самомифологизации в автографе «Post mortem» была отдельная глава «Поэзия и ложь», в книге по ряду причин отсутствующая. Перевертыш названия книги Гёте, сама эта ампутированная глава – дополнение к ахматовскому «Какую биографию делают нашему рыжему!» Объект является одновременно субъектом и делает – точнее, доделывает – свою биографию сам: от демонстративного ухода из школы, из которой был изгнан за классическую неуспеваемость (а до этого остался на второй год из-за английского!), до, наоборот, изгнания из страны, из которой сам мечтал выбраться всеми правдами и неправдами, и что только не замышлял в этом направлении – от угона самолета до женитьбы на влюбленной в него по уши американке. Многие из этих сюжетов мелькают в этой книге, но сконцентрированные в одной главе выглядели бы телегой, компрой, а потому решено было с публикацией этой главы повременить. Тем более, опять-таки перефразируя Ахматову, если стихи растут из сора, не ведая стыда, то и сами поэты произрастают не на мавританских газончиках. Концепция опущенной главы: как художник попадает в сеть сотворенного о нем – при его участии – мифа; как независимый становится зависим, а зависеть от царя, зависеть от народа или зависеть от самого себя (позволим себе дополнить родоначальника) – не все ли нам равно…

В одной из сносок к этой удаленной главе приведены слова поэта, скандалиста и эксгибициониста ККК – Константина Константиновича Кузьминского – двойного моего, Барышникова, Бродского, Шемякина земляка по Питеру и Нью-Йорку. В пространном интервью Александру Гранту в нью-йоркской газете «Новое русское слово» ККК не однажды возвращается к теме самомифологизации своих выбившихся в люди питерских знакомцев:

История создается людьми, а люди брехливы, лживы и спекулятивны по природе. Причем история меняется, переписывается на наших глазах…Я спрашиваю: можно ли верить историям Шемякина или Бродского? Каждый создает свою легенду. Как говорил мой учитель Давид Яковлевич Дар: нет поэта – нет легенды. То есть, поэт сам создает о себе легенду… Гёте в свое

время совершил фальшивое самоубийство в «Юном Вертере», чтобы стать Фаустом, изменить полностью ментальность. Так и Бродский. Поэты не кончаются, поэты умирают. Вот эта трансформация из самоубийцы Вертера в мудреца Фауста – она происходит вне зависимости от воли поэта. И Бродский стал мудрым. Занудным, но мудрым.

Это не противоречит высказываниям самого Бродского: «A poet is a hero of his own myth». Первый камень, а может и не один, в бродсковедение заложил сам поэт: Бродский был первым бродсковедом, бродскоедом и бродскописцем, задав тон и творя свой self-myth для современников и потомков. А потом уже пошло-поехало, пока бродсковедение не было институтизировано и не превратилось в своего рода индустрию, в опровержение которой и написана эта книга: с любовью и беспощадностью. А как иначе?

В отличие от «Трех евреев», из которых в этой книге приведены только избранные главы, где Бродский дан в полный рост, а не мелькает время от времени, как маргинальный персонаж, из «Post mortem» даны все. Включая те, в которых фигурирует Довлатов и которые вошли в предыдущую, прошлогоднюю книгу нашего с Леной Клепиковой портретного сериала «Фрагменты великой судьбы», целиком Сереже посвященную.

В магнитное поле этого юбилейного издания втянуты не только сюжетно напрямую с Бродским связанные произведения, типа пародиишифровки, легко, впрочем, расшифровываемой, «Живая собака», но и опусы, им вдохновленные, насквозь пропитанные закавыченными и раскавыченными, без ссылки, цитатами из него и объединенные в жанровый отсек «Посвящается ИБ». Фактически, проза на стихи Бродского. Будь то упомянутые истории про реального и узнаваемого тезку Бродского, который страдал из-за него «комплексом Иосифа» и умер – дважды! – по этой причине.

Или «Посмеемся над Бродским!» Елены Клепиковой – отрывок из ее романа «Отсрочка казни». «Мой двойник Владимир Соловьев» – на традиционную для петербургского направления русской литературы тему двойничества, актуальную для Бродского.

Прощальный сказ «Упущенный шанс», в общем своем некрофильском настрое совпадающий один в один с настроениями предсмертной лирики Бродского, а местоимение «Я» заменено на местоимение «Он» – опятьтаки по принципу ИБ, который выдавал себя за другого, потому как некоторые

признания сподручнее и комфортнее поручить своему гипотетическому alter ego, да хоть фрейдовскому super-ego, пусть и «узнаю тебя, Маска». Наконец, двухголосая история «Одноклассница», пусть написанная по внутреннему импульсу, но с его подсказа, ревность была драйвом его любовной лирики, а непосредственным сюжетным толчком послужили две строчки из посвященного нам с Леной Клепиковой дарственного стиха, а потому поставлены к той истории одним из эпиграфов:

Покуда дети о глаголе,
Вы думали о браке в школе.

Оставим в стороне гипотетические, включая непечатные, варианты взамен слова «брак», которое не в меру догадливые читатели полагают эвфемизмом, а свои догадки основывают на звукописи и аллитерациях. К слову, все замены пропущенных букв на звездочки в лексических ненормативах словах принадлежат редактору, а не автору, который пишет по правилам русского языка, а не по новопринятым законам моего любезного отечества.

Наша с Леной дружба с Осей была на равных, без никакого пиетета, улица с двусторонним движением. Я встречался с ним чаще, чем Лена, зато с Леной их связывали не только дружеские, но и лирические отношения. Недаром в классном фильме «Остров по имени Бродский» Сергея Бравермана на Первом канале, где мы с ней главные рассказчики, Лена названа в титрах подругой юности поэта, хотя по возрасту скорее все-таки молодости. Мы были младшими современниками наших друзей – Бориса Абрамовича Слуцкого, Анатолия Васильевича Эфроса, Булата, Фазиля, Юнны, даже Бродского и Довлатова, хотя возрастная разница с этими нашими двойными – по Питеру и Нью-Йорку – земляками всего ничего. Ося относился к нам с Леной, как старший к младшим – дружески, по-братски, заботливо, ласково, нежно, с оттенком покровительства, самому себе на удивление. Приходил на помощь в «трудные» минуты, когда каждый из нас по отдельности слегка нажирался: меня заботливо уложил на диванчик в своей «берлоге», на всякий случай всунув в руки тазик, который не понадобился, а Лену вознес на руках на наш крутой четвертый этаж после того, как мы приводили ее в чувство на февральском снегу.

– Прикольное название для твоего мемуара: «Он носил меня на руках», – подсказываю я своему соавтору и по совместительству жене. – Пусть только один раз, хотя кто знает, «подруга юности поэта»!

Не в тот ли это случилось совокупный день рождения, на который он преподнес нам заздравный стих?

Позвольте, Клепикова Лена,
Пред Вами преклонить колена.
Позвольте преклонить их снова
Пред Вами, Соловьев и Вова.

Моя хмельная голова
Вам хочет ртом сказать слова.

Честно, будучи влюблены в Бродского, мы с Леной купались в этой его старшебратской любви, вызывая зависть и раздражение кой у кого из нашей питерской мишпухи, имена опускаю, что мне теперь до этих окололитературных безобразников!

Упреки в инфантильности отвергаю с порога. Только тем и живу, что верен своим вешним водам, пусть они давно уже отошли. «И пока не поставят на место, будем детство свое продолжать» – привет, поэтка! А поставить на место меня может только смерть, думать о которой бессмысленно, ибо смерть не является событием жизни (Витгенштейн). Иное дело: где прервется моя колея? Для меня деревья как были большими, так и остались: навсегда, до последнего вздоха. Или выдоха? Уж коли пошли стихи, вот стихотворение про меня Бориса Слуцкого, которого, как поэта, я ставлю вровень с Бродским:

У всех мальчишек круглые лица.
Они вытягиваются с годами.
Луна становится лунной орбитой.

У всех мальчишек жесткие души.
Они размягчаются с годами.
Яблоко становится печеным
или мороженым, или тертым.

У всех мальчишек огромные планы.
Они сокращаются с годами.
У кого намного.
У кого немного.
У самых счастливых ни на йоту.

Ни на йоту! Тем и живу. Счастливцев в мире Несчастливцевых. Зачем быть жизнеедом, когда сама жизнь ест

нас поедом? Зачем кошмарить реал, когда он и так кошмарен, стоит только задуматься? Зачем окошмаривать кошмар? Зачем помогать смерти? Даже если на кладбище вместо крестов я вижу плюсы. Или как в том анекдоте про человека в одной галоше: «Почему потерял? Нашел!» Да хоть по принципу Абрама из другого анекдота: «Абрам, ты счастлив?» – «А шо делать?!» Но и по принципу Владимира Соловьева, а он, то есть я – самый-самый счастливый человек на этом свете. Не знаю, как на том. Поживем – увидим. Или не увидим. В любом случае, никаких коммуникаций между тем светом и этим, увы. В чем убежден: со смертию жизнь не кончается. Даром, что ли, я назвал предыдущую книгу о Бродском «Post mortem»?

Я прожил долгую литературную – точнее, метафизическую – жизнь, которая по естественным причинам клонится к концу вместе с жизнью физической, и у меня уже цейтнот времени, чтобы перечислять адресованные мне упреки, а тем более ответстовать, да на каждый чих и не наздравствуешься. Но коли я – с помощью издателя, читателя и с божьей помощью – продолжаю авторский сериал «Фрагменты великой судьбы» (название более других подходящее к фигуранту этой книги), то, может быть, учтем замечания критиков к предыдущей, про Довлатова? Отзывы в основном благожелательные и даже восторженные, а погромно-поклепные не в счет, хотя, как изрек Ницше, всё, что нас не убивает, делает сильнее, а «меня только равный убьет», но равных окрест не вижу. Однако и в положительных встречались замечания, которые автор может учесть, а может не учитывать – святое авторское право. Я иду иным путем и, наперекор поговорке, считаю, что третье дано.

Что говорить, я много накосячил в жизни, но если бы мне дано было заново ее прожить, то тем же манером, ничего в ней не меняя. Касается это и моего участия в русской словесности.

Являются ли наши недостатки продолжением наших достоинств? И vice versa? Что надобно, следуя этому клишированному постулату, делать автору? Обратить недостатки в достоинства? Круче: недостатки – в принципы! Ну, на манер импрессионистов, которые ругачую кликуху сочли наиболее адекватной совершенному ими революционному перевороту в искусстве и присвоили в качестве своего имени, под коим они с тех пор и известны. Я мог бы, конечно, опустить прозвища, которыми награждали меня зоилы, – возмутитель спокойствия, литературный провокатор, м-р Скандал, enfant terrible русской литературы и проч. – ни от одного не открещиваюсь, все беру на вооружение: да, да, да, да и еще много раз «да». Я бы, правда, заменил все эти слова на другое: иконокласт, иконоборец, но

поневоле. Как верно заметил московский рецензент «Трех евреев», изданы они «Захаровым» (4-е и не последнее издание) ради скандала, а написаны автором по иной причине, по другому импульсу. В том-то и дело, что скандалы и провокации, которые автор всячески приветствует, ибо они есть свидетельство востребованности его резонансных книг, – это побочные явления нестандартного мышления и чувствования, пусть даже мозги автора набекрень и наперекосяк, зато не про меня сказано любимым поэтом Бродского:

Глас, пошлый глас, вещатель общих дум…

Эта книга – challenge, вызов не только вещателям общих дум, но и самому себе, собственным клише и стереотипам.

Коснусь только одного из благожелательных упреков Владимиру Соловьеву в связи с книгой о Довлатове – что в ней слишком много Владимира Соловьева.

Так и должно быть, так будет и впредь – в том числе в этой книге о Бродском.

Более тонкие и утонченные читатели ставили это «довлатовской» книге в плюс. В конце прошлого года, под Рождество (пусть католическое, а все равно праздник!), у нас с Леной Клепиковой было несколько творческих вечеров-презентаций в Кремниевой долине, репортаж с одного из них в популярном «Silicon Valley Voice» назывался «О Довлатове, о времени и о себе». Так и есть. Эта книга – как предыдущая и как последующие, е.б.ж. – авторская. Как есть авторское кино, скажем.

Вот ведь даже мой критик – чем не иллюстрация к максиме про достоинства и недостатки, но в инверсии-рокировке? – с удивлением замечает: «Да, герой до обидного часто уходит на обочину, но противоположной стороной этого становится изображение среды и реставрация атмосферы, в которой он жил. Как у Пастернака: „Я говорю про ту среду, с которой я хотел сойти со сцены и сойду“. Уход оборачивается приходом, плоское изображение – многомерным, или, как его называет автор, голографическим».

Так и есть.

Помимо означенных причин такого личного, авторского, субъективного, мемуарного похода к моим героям, укажу также на биографическую, которая, вероятно, важнее других.

Я бы сказал, что не только нам подфартило с нашими старшими современниками, но – опять-таки без лишней скромности – им повезло с нами: стали бы они иначе с нами

знаться и якшаться на регулярной основе! Ну да, «взаимная склонность», как в старину говаривали. Самые старые из наших друзей – кирзятники: Дэзик Самойлов, Борис Абрамович Слуцкий, Александр Петрович Межиров, Булат Окуджава. От них сохранились в нашем архиве не только автографы на книгах, но и личные письма. К примеру, Булат, мало того, что каждую свою новую книгу и пластинку подписывал неизменно «с любовью», но слал нам благодарные письма из Москвы в Питер за наши статьи – так был тогда не избалован критикой: «Что касается меня, то я себе крайне понравился в вашем опусе. По-моему, вы несколько преувеличили мои заслуги, хотя, несомненно, что-то заслуженное во мне есть».

Другой «старик» Эфрос рутинно приглашал нас на свои спектакли, ждал отзыва и серчал, если я не сразу, тем же вечером, откликался, и звонил сам, а однажды прослезился, читая мою статью о нем. Несмотря на разницу в возрасте, с Фазилем мы были на «ты» – дружба наша прервалась, когда мы свалили из России, и возобновилась в период горбачевской оттепели, когда мы с Леной стали ездить в родные пенаты, а Фазиль – к нам в Америку. Сколько я про них всех написал рецензий, статей, воспоминаний – мало не покажется!

А уж о моих земляках-питерцах я писал и говорил первым: 1962-й – статья о Шемякине в ленинградской газете «Смена» – самая первая о нем! – о чем благодарный Миша не устает напоминать в своих книгах и интервью; 1967-й – вступительное слово на единственном творческом вечере Довлатова; 1969-й – эссе о Бродском (раньше всех!) под названием «Отщепенство», которое я пустил в самиздат, а позднее включил в «Трех евреев». Больше всего, наверное, я опубликовал статей про Сашу Кушнера – недаром он назвал меня в стихе «критик шелковый» – пока «критик шелковый» не раскусил (не без помощи Бродского – спасибо, Ося!) стилизаторский, вторичный, имитаторский, подложный характер его виршей: хороший поэт, но не настоящий. К тому же, в обслуге у государства: ливрейный еврей. При любых форс-мажорных обстоятельствах, даже когда государство отделялось от остатного мира и превращалось в необитаемый остров, а жизнь становилась все чудесатее и чудесатее: остров по имени Россия. Не говоря уже о его – означенного стихотворца – мозговом климаксе и стихоблудии. Вот почему я и обнулил его для себя, вычеркнул из жизни. Уж если брать крайности, предпочитаю поэтов плохих, но настоящих.

Помимо всего прочего, кто бы еще о всех наших прославленных знакомцах написал такие головокружительные многоракурсные портреты, как мы с Леной Клепиковой! Включая

эту книгу. Шустрая пара, как назвал нас Солженицын за нашу статью о нем в американском журнале «Dissent». Из негатива – в позитив, в плюс, а не в минус: лучше быть шустрым, чем мертвым. Паче – живым мертвяком.

За Лену не скажу, но я был сторонним зрителем на трагическом празднике жизни, соглядатаем, кибитцером, вуайеристом чужих страстей, счастий и несчастий. Я жил не в параллельном, но в соприкосновенном, сопричастном мире, однако если и причастный происходящему, то отчужденно, остраненно, скорее все-таки по брехтовской методе, чем по системе Станиславского. Перевоплощаясь в своих героев, но не сливаясь с ними, оставаясь одновременно самим собой и глядя на них со стороны. С правом стороннего и критического взгляда на них. И на самого себя. Это, впрочем, давняя моя склонность, как писателя, отмеченная критикой еще в оценках «Трех евреев»: «О достоинствах романа Соловьева можно долго говорить, – писал московский критик. – Замечательное чувство ритма, способность вовремя отскочить от персонажа и рассмотреть его в нескольких ракурсах, беспощадность к себе как к персонажу».

Самый яркий тому пример – образ Бродского в моих о нем книгах, включая эту: не тождество или отождествление, а раздвоение и совмещение в одном персонаже автора и героя. Если хотите, мифологический дибук: дух мертвеца – Иосифа Бродского, вселившийся в живого человека – Владимира Соловьева, дабы обрести облик и голос, но живой пока еще человек (я), елико возможно, изо всех сил сопротивляется, и эта система вживаний и открещиваний носит нервный и неравный, но взаимный характер и определяет главный драйв предлагаемой читателю книги.

Пусть контрабандой, но именно в эту щель, в эту вожделенную щелку (пикантные ассоциации на совести читателей, хотя почему нет?), в этот зазор между перевоплощением и отчуждением проникает автор и снабжает своего героя собственными заметами, идя борхесовским путем лжеатрибуции. Хотя немного жаль делиться сокровенным и заветным с литературным персонажем. В художественном итоге – по нулям: я заимствую у Бродского, а мой «Бродский» заимствует у меня. Никакого плагиата. См. мои автокомменты к «Post mortem» в предыдущих изданиях, дабы отличить Горбунова (Бродский) от Горчакова (Соловьев). Или наоборот?

Как бы к этой книге отнесся ее герой – вопрос не только праздный, но и суетный.

Повторю: я пишу для живых, а не для мертвецов. Даже если они там почитывают время от времени, то отклика оттуда не

дождешься: никакой связи между тамошним большинством и здешним меньшинством.

Младший современник своих друзей и врагов – или друзей, ставших врагами, такое тоже случалось, точнее, случилось однажды, а теперь, за давностью лет, в одном флаконе – я пережил их не потому, что позже родился, а потому, что смотрел на жизнь с птичьего полета, как будто уже тогда засел за тома воспоминаний, хотя первая мемуарная записная книжка была сочинена мною в одиннадцатилетнем возрасте и начиналась со слов: «Мальчик хотел быть, как все». Что мне, по счастию, не удалось.

Не для того ли мне поздняя зрелость,
Чтобы за сердце схватившись, оплакать…

А на что мне даны мои закатные, заемные годы? Чтобы рассказывать живым о мертвецах? Пусть не от их имени, но их голосами, которые все еще звучат у меня в ушах, в мозгу, в памяти. Так и есть: я проснулся в гробу. Я хочу говорить не только как живой с живыми, но и как мертвый – с живыми. Мертвый – живым. Из двух восклицательных постулатов – «После нас хоть потоп!» и «Да здравствует мир без меня!» – я выбираю последний.

Старуха, под сто, до которых мне ни в жисть не дожить – да и зачем? не дай бог! – жалилась на очередном своем дне рождения на невыносимую тяжесть бытия – память:

– Мудрость! – живо откликнулась она на чей-то за нее тост. – Если б вы знали, сколько я совершила в жизни ошибок. Долголетие – это наказание их помнить. Я потому и оставлена, чтобы вспоминать и рассказывать.

Вот я и нашел психотерапевтический способ избавиться от памяти, а потому исписал тысячи страниц своими аналитическими воспоминаниями. Как и эти полтысячи про Бродского – вторая книга в авторском сериале «**Фрагменты великой судьбы**», который мы с Леной делаем в соавторстве, как предыдущую о Довлатове, либо сольно, как вот эту о Бродском, но все равно тесно сотрудничая: мне удалось-таки уболтать ее дать в книгу Владимира Соловьева несколько текстов Елены Клепиковой. Следующая книга – анонсирую заранее:

Быть Евгением Евтушенко. Ночной дозор. Групповой портрет на фоне России

Это будет портрет не только «кумира нации», но и всего

шестидесятничества, коего он был самый знаменитый представитель. Включая остальных «евтушенок», его однокорытников по литературному цеху – Беллу, Юнну, Новеллу, обоих Андреев – Вознесенского и Тарковского, Фазиля, лучшего из «евтушенок» (минуя худшего из «евтушенок» Эрнста Неизвестного), Шукшина и Высоцкого, а заодно «старшеклассников» – того же Булата, к примеру, или Анатолия Эфроса. Потому и живу взаймы, чтобы стать Пименом – скорее, чем мемуаристом – и летописать мое время и тех главных его фигурантов, с которыми я тесно сошелся и про которых писал, когда нас еще не раскидало по белу свету, а большинство – на тот свет.

– Куда вы, меньшинство?
– К большинству.

Нет, юзерами и меркантилами никто из них, конечно, не был, ни в одном глазу, а дружили они с Клепиковой и Соловьевым за просто так: запросто. Как и мы с ними. Помню, как Женя Евтушенко носился с моей статьей «Дело о николаевской России» о Сухово-Кобылине в «Воплях» – не уверен, правда, что с тех пор он много что прочел из моих опусов: дружба у нас базировалась на личном общении, а не на чтении друг друга. С Юнной Мориц у нас целый том переписки – чудные письма, под стать ее лучшим стихам, большинство я опубликовал в моем романе с памятью «Записки скорпиона». Фазиль Искандер «благодарил Бога» (его слова), когда мы, с превеликими трудностями обменяв Ленинград на Москву, поселились в писательском кооперативе на Красноармейской улице в доме напротив, а прочитав за ночь, еще в рукописи, «Трех евреев», назвал их «замечательной книгой» – храню его записку до сих пор, хотя он просил ее уничтожить: такие были тогда огнеопасные времена! Довлатову дружба с нами скрасила его крутое одиночество последних лет жизни. Лучший поэт не только своего, но, может быть, нескольких поколений взад и вперед (Бродский тоже так считал), Борис Абрамович Слуцкий в Коктебеле носил на плечах Жеку, нашего сына-малолетку, а Лене покровительствовал, когда к ней липла всякая шушера отнюдь не с любовными намерениями – так, обычные провокаторы и стукачи. Всех перещеголял в любви к нам Саша Кушнер: «Дорогим друзьям Володе и Лене, без которых не представляю своей жизни, с любовью». Не говоря уже о частых с ним встречах и дружеских его посланиях в стихах. Попадались забавные, хоть им и далеко было до поздравительного нам шедевра Бродского. Чем тесней единенье, тем кромешней разрыв,

сказал бы Бродский о моей дружбе с Кушнером, которой всегда дивился и ревновал. Это Бродский первым переврал его фамилию, а потом уже пошло гулять по свету (литературному) с его легкой руки: Скушнер.

Без Бродского наша жизнь – не только литературная – сложилась бы иначе. Но и мы сыграли кое-какую роль в его в жизни – отнюдь не эпизодическую. Доказательства не требуются, а свидетельства разбросаны по всей этой книге о нем. Я уж не говорю о таких мелочах, как то, что Лена Клепикова, редактор прозы в журнале «Аврора», пыталась устроить ему небольшой заработок, дав на внутренню рецензию рукопись из «потока», а я через своего приятеля Яшу Длуголенского организовал публикацию его стихов в газете для детей «Ленинские искры»: везет детям! Но вот эпизод, который долгие годы казался мне странным, загадочным, непонятным, пока я в конце концов, спустя многие годы, совсем недавно, не врубился. А дело было так.

Как-то я сказал ему, что его «Шествие» меня не очень впечатляет. «Меня – тоже», – мгновенно откликнулся Ося, который обгонял не только других поэтов, но и самого себя. Читатели еле поспевали за ним. Я тогда балдел от его новых стихов: «Я обнял эти плечи…», «Отказом от скорбного перечня…», «Anno Domini», «К Ликомеду, на Скирос», «Так долго вместе прожили…», «Подсвечник», «Империя – страна для дураков», «Письмо в бутылке» – да мало ли! И тут вдруг Ося зовет меня в свою «берлогу» и под большим секретом вручает рукопись «Остановки в пустыне», чтобы я помог с составом. Несколько дней кряду, забросив все дела, корпел над его машинописью, делал заметки на полях, переставлял стихи. Потом мы с ним часами сидели, меня повело, я был в ударе, обсуждали чуть не каждый «стиш».

– Поработали на славу, – сказал Бродский в дверях, прощаясь.

Спустя какое-то время Ося приносит мне изданную в Нью-Йорке книгу, благодарит за то, что я ему очень помог советами. Остаюсь один, листаю этот чудесный том, кайфую, пока до меня не доходит, что ни одним моим советом Бродский не воспользовался. Не то чтобы я обиделся, но был в некотором недоумении. Пока до меня с таким опозданием не дошло, в чем дело: Ося дал мне «Остановку в пустыне», когда книга уже ушла в Нью-Йорке в набор. Нет, это не был розыгрыш! Выписываю из «Капитанской дочки»: «Известно, что сочинители иногда, под видом советов, ищут благосклонного слушателя». А уж благосклонности мне было не занимать! Бродскому не терпелось узнать, какое его книга произведет на меня впечатление еще до ее

в ыхода в свет.

Произвела.

АПОФЕОЗ ОДИНОЧЕСТВА. ИОСИФУ БРОДСКОМУ – к 50-летию

Мне кажется, я подберу слова…

Пастернак

Эссе написано в жанре юбилейного адреса и впервые опубликовано 24 мая 1990 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» к 50-летию Иосифа Бродского. Реакция в нашем кругу была неоднозначной, о чем знаю со слов Довлатова, так как был в Москве, когда юбилейный адрес был напечатан. По-любому, статья была главной темой разговоров на день рождения юбиляра. Как раз сам Сережа был частью негативного хора, но Ося взял меня под свою сиятельную защиту. Именно в это время ИБ начинает говорить на тему одиночества прямым текстом, то есть не только в стихах. Озвучив прозой отстоявшийся в стихах ИБ вывод об одиночестве как источнике вдохновения, я, по-видимому, подтолкнул его на заявления подобного рода в прозе и разговорах. См., к примеру, его интервью газете «Неделя» спустя три месяца после публикации «Апофеоза одиночества»:

– Однажды вы написали, что «одиночество – это человек в квадрате». Поэт – это человек-одиночка?

– Одиночка в кубе или уж не знаю, в какой степени. Это именно так, и я в известной мере благодарен обстоятельствам, которые в моем случае это физически подтвердили.

– И сегодня вы остаетесь человеком более или менее одиноким?

– Не более-менее, а абсолютно.

– Наверное, это тягостное чувство?

– Нет, я бы не сказал… Человек – существо автономное, и на протяжении всей жизни ваша автономность все более увеличивается.

К слову, само название упомянутого телефильма «Остров по имени Бродский» подчеркивает одиночество поэта на земле – что наша земля в космосе.

Почему, садясь за это юбилейное послание и испытывая некоторую оторопь перед чистым листом бумаги, я избираю для литературного эссе эпистолярный жанр? Отдавая Вам давний долг – когда-то, в другой нашей жизни, Вы написали нам с Леной Клепиковой на день рождения прекрасное стихотворение? Из

подражания юбиляру? Ведь чуть ли каждый второй Ваш стих есть обращение к невидимому и неведомому собеседнику, удаленному в пространстве и времени, живому или мертвому, потомку, предку, современнику, все равно к кому: к маршалу Жукову или к Томасу Венцлове, к Марии Стюарт или к М.Б. – постоянному адресату Вашей любовной лирики. Да хоть к имяреку:

Имяреку, тебе —……
…….. – от меня, анонима.

Адреса потеряны, адресаты вымышлены – даже когда существуют под реальными именами, все равно как бы не существуют вовсе, как Ваш генерал Z., которому отправлено длинное послание: «Генерал! Вас нету, и речь моя обращена, как обычно, ныне в ту пустоту, чьи края – края некой обширной пустыни, коей на картах, что вы и я видеть могли, даже нет в помине». И апогей Вашей безадресной – и безответной – речи, когда Вы пишете:

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
Дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить, уже…

Я помню одну ленинградскую квартиру и несколько человек, подобно заговорщикам под низко спущенной с потолка зеленой лампой, и Вас, Ося, стоящего с листками в руках со скрытым во тьме лицом – один голос, читающий «Письмо в бутылке», с которого, собственно, началась и уже никогда не прерывалась моя любовь к Вашим стихам. Идущий на дно – человек ли, корабль – обращался ко всем, кого помнил, от Фрейда до Маркса, а фактически к никому: к тому, до кого дойдет.

Если дойдет.

Была бы бутылка под рукой, а там уж все в воле Посейдона…

Какой контраст к Вашей безадресной и безнадежной речи отчаянные возгласы Мандельштама:

Петербург, я еще не хочу умирать:
У меня телефонов твоих номера.
Петербург, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

А Вы и живых превращаете если не в мертвецов, то в

анонимов. Даже М.Б. – это не псевдоним реальности (при всей узнаваемости для общих знакомых прообраза), а условный знак боли, обиды, отчуждения, сиротства и беспросвета. Однажды Вы обмолвились: «Здесь снится вам не женщина в трико, а собственный ваш адрес на конверте». В этом весь секрет, все равно, осознаете Вы его или нет, – все Ваши стихотворные послания адресованы самому себе, а это роман, который, как известно, никогда не кончается. Вы пишете: «…я тогда лишь есть, когда есть собеседник», но этот собеседник – имажинарный, воображаемый, Ваши лучшие стихи обращены, как бы сказал наш с Вами любимый римский император: «К самому себе». На сакраментальный вопрос «Для кого вы пишете?» Вы отвечаете словами Стравинского:

«Для себя и для гипотетического alter ego».

Об этом мнимо загадочном и мнимо таинственном alter ego Вы вспомнили в статье, посвященной некрологическому стихотворению Цветаевой: «Как это ни парадоксально и ни кощунственно, но в мертвом Рильке Цветаева обрела то, к чему всякий поэт стремится: абсолютного слушателя… Сознательно или бессознательно, всякий поэт на протяжении своей карьеры занимается поисками идеального читателя, этого alter ego, ибо поэт стремится не к признанию, а к пониманию».

Пусть не буквально, но на каких-то высотах это перекликается с тем, что писал Ваш любимый, чтимый выше Пушкина Баратынский:

> … как нашел я друга в поколеньи,
> Читателя найду в потомстве я.

Замечательно, что даже отнесясь далеко в будущее, Баратынский назвал читателя в единственном числе: нет читателей – есть читатель. Один-единственный.

Читателей у Вас сейчас предостаточно по обе стороны океана, но речь идет об особом читателе, сконструированном по своему образу и подобию, абсолютном собеседнике, понимающем с полуслова и без слов, об alter ego, персонифицированном в другом человеке – о читателе, который существует только в зеркале. Тогда ничего не остается как самому создать читателя-голема и вкладывать ему в рот магические записки – стихи-послания, адресованные пространству, времени, стулу, мертвецу, листу бумаги, собственным стихам, самому себе. В Вашем идеальном представлении о литературе, говорящий есть в ней одновременно слушатель, а речь рассчитана на самое себя: ухо внемлет рту. Монолог тогда есть результат кромешного

одиночества и отсутствия реального собеседника, а в драматической форме – в «Горбунове и Горчакове» и в «Мраморе» – только притворяется диалогом: на самом деле, это бесконечный спор автора с самим собой, если хотите – пользуясь сравнением из мира нам с Вами обоим, как кошатникам, близкого – игра кота с собственным хвостом. Закономерно, что в обеих Ваших пьесах всего по два действующих лица – а на сколько еще может распасться человеческая личность, чтобы ее можно было потом собрать обратно? – и оба персонажа взаимозаменяемы и путаются – Горбунов с Горчаковым, Публий с Туллием, хоть и представляют разные ипостаси автора:

> «Как различить ночных говорунов,
> хоть смысла в этом нету никакого?»
> «Когда повыше – это Горбунов,
> а где пониже – голос Горчакова».

«Диалектика», – скажу я.

«Метафизика», – поправите Вы меня.

Если фиктивен диалог, который по сути есть раздвоение авторского персонажа – в спектакле «Мрамор» обоих героев должен играть один актер! – то адресаты стихотворных посланий и вовсе мистификат, даже если обозначенные мирскими именами их двойники существуют в каких-то вполне конкретных координатах и измерениях. А адресат Вашего послания в прозе – Л. И. Брежнев: не такой ли он «сюр», как и все остальные Ваши эпистолярные собеседники? «Почта в один конец», как изволили Вы изречь по другому, правда, поводу, но тоже в обращении – сиречь послании – к самому невидимому Вашему адресату: Небожителю. Если бы я писал не юбилейное послание, а критическую статью, я бы сказал несколько слов о некрофильском настрое одиночества, которое есть свободный выбор – в отличие от все-таки вынужденной эмиграции. Усугублено и отретушировано ли это одиночество эмиграцией – другой вопрос, на мой взгляд, праздный. Я бы сказал о выборе одиночества ввиду очевидных его литературных преимуществ и даже выгод – в Вашем случае, несомненных. В хоре Вам не петь, даже «общественным животным» Вас не назовешь – слава Богу, Вы избегаете тавтологии, которой больше всего боитесь в самом себе. Рискну быть непонятым читателями, но Вы уж-то поймете: ленинградский суд был прав, избрав именно Вас в качестве мишени. Этот суд, а точнее – те, кто его инспирировал – несомненно обладали каким-то особым чутьем на поэтический гений, хотя слово «тунеядец» было неточным, приблизительным.

Но что делать, если в уголовном кодексе нет таких слов, как пария, изгой, альбинос, отщепенец, отшельник, анахорет? Либо, как сказал Гёте о художнике: деятельный бездельник. Или, как пишете Вы:

> Бей в барабан, пока держишь палочки,
> С тенью своей маршируя в ногу!

И еще более определенно о преимуществах одиночества: «Одиночество есть человек в квадрате».

Было бы большим самомнением критику полагать себя тем идеальным читателем, по которому тоскует поэт, а сие послание – если не подражанием Вашим собственным, то попыткой ответа на все Ваши «письма в бутылках», жест одиночества и отчаяния, излюбленный жанр всех смертников, жанр, в котором написаны Ваши лучшие стихи, даже если обращение в них опущено вовсе.

А тем более легкомысленно было бы объяснять поэту его стихи. Я пытаюсь объяснить их самому себе, а заодно читателю, пользуясь открытой формой этого послания.

Я представляю себе Ваш юбилейный вечер, где я бы зачитал этот адрес-кентавр, помесь литературного эссе и дружеского послания. Но вечера не будет, а если бы и был, отправитель этого письма будет находиться в день Вашего 50-летия по другую сторону Атлантики, на нашей с Вами географической родине.

Другой вопрос, на который я отвечу не фразой или несколькими, а всем этим письмом – почему, приступая к нему, я испытывал некоторую оторопь?

Чувство ответственности перед Вами, живым классиком? Вряд ли – профессиональный критик адресует свой опус читателям, а не герою, даже если формально обращается к нему – Вы занимаете особое место в читательской аудитории, но не привилегированное. Тогда, возможно, боязнь повторов, ибо только в последнее время я напечатал о Вас две статьи, на очереди следующая, да и вышедший сейчас, после пятнадцатилетнего лежания в письменном столе, мой «Роман с эпиграфами» («Три еврея») посвящен Вашей судьбе, вдохновлен Вашими стихами и приурочен издателем к Вашему юбилею. Однако и это не причина, потому что сделанное Вами в литературе так велико, обширно, ветвисто, сюжетно и жанрово разнообразно, что возвраты к Вашим стихам и прозе понуждают к новым раздумьям, которые читатель-критик вовсе не обязан держать запертыми в голове, но может доверить бумаге, самому прочному в мире материалу – куда там граниту или прославленному Вами мрамору! Быть может, тогда разрыв между

образами – литературным отщепенцем с явными признаками гениальности, каким я знал Вас в Ленинграде, и всемирно известным поэтом, нобелевским лауреатом, литературным мэтром, коим Вы теперь являетесь?

Что говорить, скачок и в самом деле головокружительный, но вряд ли такой уж неожиданный для тех, кто Вас знал прежде – даже когда Вы неприкаянно шатались по ленинградским улицам и самыми верными Вашими спутниками были агенты КГБ, и тогда в Вас ощущался (думаю, что и ими) мощный духовный потенциал, который был не ко двору в «отечестве белых головок» и пошел в бурный – чтобы не сказать, буйный рост, когда Вы «сменили империю»:

> Этот шаг
> продиктован был тем, что несло горелым
> с четырех сторон – хоть живот крести;
> с точки зренья ворон, с пяти.
>
> Дуя в полую дудку, что твой факир,
> я прошел сквозь строй янычар в зеленом,
> чуя яйцами холод их злых секир,
> как при входе в воду. И вот с соленым
> вкусом этой воды во рту,
> я пересек черту…

И годом раньше, в одном из сонетов к Марии Стюарт: «Во избежанье роковой черты, я пересек другую – горизонта, чье лезвие, Мари, острей ножа».

Так Вы были потеряны для Ленинграда и России – тогда казалось, что навсегда – и найдены, приняты другим миром, хотя житейская везучесть разве что амортизировала приземление, потому что трагедия вовсе не в пространственных перемещениях бренного тела:

> В настоящих трагедиях, где занавес – часть плаща,
> умирает не гордый герой, но, по швам треща
> от износу, кулиса.

К этому сюжету-вопросу – кто герой разыгрываемой в жизни (или жизнью?) трагедии? – Вы возвратитесь спустя два года после «Колыбельной трескового мыса», которую я только что цитировал, в стихотворении «Пятая годовщина» (отъезда из России, поясним читателю):

Я вырос в тех краях. Я говорил «закурим»
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.
Привык к свинцу небес и айвазовским бурям.
Так, думал, и умру – от скуки, от испуга.
Когда не от руки, так на руках у друга.
Видать, не рассчитал. Как квадратуру круга.
Видать, не рассчитал. Зане в театре задник
важнее, чем актер. Простор важней, чем всадник.
Передних ног простор не отличит от задних.

Деперсонализовав таким образом трагедию – что она, в самом деле, в просторах скорее все-таки времени, чем пространства! – Вы кончаете стихотворение и вовсе махнув на себя рукой:

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

И больше того: «Человек превращается в шорох пера по бумаге» либо «От всего человека вам остается часть речи» – название одной из Ваших книг. Пока герой не исчезает вовсе, окончательно, без следа: «…совершенный никто, человек в плаще, потерявший память, отчизну, сына; по горбу его плачет в лесах осина, если кто-то плачет о нем вообще».

Здесь я хочу сказать о последствиях Вашего отъезда – совсем иных, чем Вы (верю, не из кокетства) предполагаете: «Теперь меня там нет. Означенной пропаже дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже. Отсутствие мое большой дыры в пейзаже не сделало…» Я свидетель обратного, ибо прожил там на пять лет дольше Вас (сначала в Ленинграде, потом в Москве) и уехал через пять дней после отмеченной в Вашем стихотворении пятой годовщины – 9 июня 1977 года.

За эти пять лет климат в стране – а тем более в Ленинграде, который есть страна в квадрате, что бы в той ни происходило – безнадежно ухудшился, а для художников стал и вовсе невыносим. И здесь обнаружилась странная взаимосвязь – чем хуже становилось в стране, тем больше мастеров ее покидало, а чем больше ее покидало, тем становилось все хуже и хуже. Наверно, можно и стоит говорить не только о художниках, но и про ученых, инженеров, врачей, журналистов, да хоть обывателей – с их отъездом в теле общества, а значит, и государства образовалась скважина, каверна, зияющая пустота, и эта мертвая

полость с атрофированной тканью расширялась, тесня живые клетки организма. Вовсе не хочу все сводить к отъездам, но именно им суждено было сыграть если не роковую, то существенную роль в омертвлении государства, отчаянные попытки оживить которое делаются сейчас энтузиастами, прожектерами и авантюристами.

Я говорю о сумме отъездов, которые оказали такое разрушительное воздействие на главные опоры нашей с Вами родины – прежде всего духовную. Однако именно конкретные, индивидуальные отъезды – будь то эмиграция или насильственное выдворение – вызвали негативный эффект, который воспринимался остающимися весьма болезненно, то есть на эмоциональном уровне, еще до какого-либо анализа. Согласитесь, самый наглядный тому пример – высылка Солженицына, которая обозначила в жизни выславшей его страны рубеж – и рубец, долго не заживавший, кровоточивший. Ваш, полутора годами прежде, отъезд был духовным надломом в жизни Ленинграда.

Это не играет большой роли, как и кем эта утрата в Городе ощущалась. Я близко знал людей, которые тайно или явно Вашему отъезду радовались, потому что Вами был задан в жизни и в литературе тон и уровень, которым трудно было соответствовать, но которые уже невозможно было игнорировать. Всем нам, даже тем, кто Вас не любил, приходилось за Вами тянуться – никто в Городе не достигал такого творческого и духовного уровня, но само Ваше среди нас присутствие не позволяло «душе лениться», потворствовать собственным слабостям, тщеславиться и тешить себя мелкими удачами. То, о чем писал Рильке: «Как мелки наши с жизнью споры, нас унижает наш успех». Отвергнув провинциализм, Вы придали русской культуре мировые черты, передвинули ее с периферии к центру, отечественная стиховая речь зазвучала вровень с языком мировой цивилизации. Благодаря Вашей работе в литературе наша современность обрела свое место в историческом ряду, соотнесясь с другими его явлениями.

И вот Вас в Городе не стало – одни приуныли, другие, наоборот, приободрились, полагая возможным индивидуальные усилия заменить коллективными, цеховыми. Добытый Вами и как бы принадлежавший нам всем уровень стал с Вашим отъездом стремительно падать – у тех, кто остался, ибо не на кого было больше равняться. Конечно, литература – не спорт, но присутствие в нашей среде чемпиона как бы поднимало планку, до которой никто из нас не допрыгивал, но желание было, и попытки – тоже. Теперь планка была опущена, через нее

перепрыгивал любой, все были чемпионами, каждому было чем гордиться. Как известно, атрофия, то есть потеря органом жизнеспособности и даже уменьшение его в размерах, есть результат длительного бездействия. Духовная жизнь Города была обречена с Вашим отъездом на прозябание, а в обозримом времени и на атрофию.

Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь? —

эту формулу Сальери могли бы повторить Ваши наиболее глубокомысленные оппоненты, а Вы сами, за пять лет до отъезда, написали прощальное послание «К Ликомеду, на Скирос», и исторические детали тут же прикипели к современности:

Я покидаю город, как Тезей –
свой лабиринт, оставив Минотавра
смердеть, а Ариадну – ворковать
в объятьях Вакха.
…….
Теперь уже и вправду – навсегда.
Ведь если может человек вернуться
на место преступленья, то туда,
где был унижен, он прийти не сможет.

Может, в этом причина, почему нет Вас среди наезжающих в Россию отсюда писателей – вот уж действительно «апофеоз подвижничества», над которым мне грех насмехаться, ибо, закончив это послание, я сам начну укладывать чемоданы.

Либо Вы и в самом деле так уж резко отделяете существование своих стихов, которые сейчас обильно печатаются в России, от существования их автора? Зачем тогда возвращаться автору, когда стихи уже там? Писали же Вы в другом своем стихотворении, circa того же 1967 года – в «Послании к стихам», чудесно стилизуя старинный слог:

Дай вам
Бог того, что мне ждать поздно.
Счастья, мыслю я. Даром,
что я сам вас сотворил. Розно
с вами мы пойдем: вы – к людям,

я – туда, где все будем.

Я говорю сейчас даже не о посещении России, а о возвращении в Город, который лично для меня без Ваших стихов уже немыслим.

Вопрос в том, что́ для Вас Город, не менее, однако, важен, чем вопрос о том, чем были Вы для Города: «Только размер потери и делает смертного равным Богу».

Нынешние обоюдные ностальгические приступы все-таки не в счет в разговоре о Времени, которое есть главный герой Вашей поэзии. Время, попирающее пространство, как св. Георгий дракона – это, конечно, в идеале, потому что битва Времени с пространством продолжается – «как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство», а поле их битвы – Ваши стихи. Когда «меж тобой и страной ледяная рождается связь», хотя в нашем контексте вместо «страны» следует поставить «Город», а вместо «ледяной» – «утробной», в этот торжественный и трагический момент не время для обмена комплиментами, которые сейчас взаимно расточаете: Город – Вам, а Вы – горожанам. Происходит девальвация похвал и смещение литературного процесса, который под Вашим снисходительным пером выстраивается из одних наших с Вами земляков, преувеличенных каждый в отдельности, будто в других городах и весях России ничего в это время не происходило.

Но во всех этих Ваших предисловиях и послесловиях, этих издержках литературы, литературном шлаке, в Вашей сегодняшней аберрации – даже не зрения, а скорее памяти, коли Вы гласно хвалите то, что заглазно считаете посредственным, в сглаживании былых углов, в стремлении к бесконфликтности, эквилибриуму и гармонии, в искажении реальных пропорций и масштабов, в этом скорее все-таки бессознательном желании свести необъятные (пока еще) просторы покинутой страны к одной точке на окраине ее пунцовой карты – «сжимая пространство до образа мест, где я пресмыкался от боли» – во всей этой эмоциональной сумятице проглядывают действительные координаты существования поэта во всеядном Времени и не поддающемся ему пространстве, независимо от того, где и когда, не оставляя следа, ступает нога – все равно кого, поэта или читателя.

Менее всего я думаю сейчас о таких Ваших якобы патриотических строчках, как «На Васильевский остров я приду умирать» – вообще, идеологическая трактовка (любая!) может только замутить картину, и без того не очень четкую, размытую.

Но вот что поразительно – по Вашим стихам можно восстановить топографию отдельных мест Вильнюса, Ялты, Венеции, Лондона, Мехико-Сити, где «насытишь взгляд, но мысль не удлинишь»; менее всего – нашего с Вами Города, хотя стихи и память пропитаны им, как после ливня, до мозга костей.

Есть питерские поэты – даже известные среди них – которые живут отраженной славой Города, паразитируют на его былой славе, их халявные стихи своего рода путеводитель по нему, а названия улиц, проспектов, площадей, памятников, рек и каналов своим волшебством словно бы отменяют необходимость личных усилий, индивидуальных открытий.

Ничего подобного нет в Ваших зрелых стихах – ни пиетета, ни любования, ни меркантильного отношения к Городу. Связь с ним в Ваших стихах сложна, противоречива, метафизична. Может быть, поэтому Вас туда и не тянет физически, что, судя по стихам, Вы никогда Город не покидали. Или «есть города, в которые нет возврата»? И хотя у Города были великие славители и не менее великие ниспровергатели (иногда в одном лице – от Пушкина до Мандельштама, от Гоголя до Достоевского и Андрея Белого, вплоть до его гробовщика Константина Вагинова), ни один из них, смею утверждать, не был связан с ним на таком умопомрачительном, почти абстрактном уровне, где в конце концов отпадает нужда в названии не только его улиц, но и его самого. Это не декорация и не тема, не лейтмотив, не сюжет, не предмет описания или тоски, но – мифологема, безымянно, анонимно, но цепко и навсегда удерживающая Ваш стих. «Я заражен нормальным классицизмом» – это признание не представимо в устах москвича или харьковчанина. Но как раз эту детскую болезнь классицизма Вы легко преодолели – не зараза, а скорее прививка от болезни.

Я сейчас о другом следствии Вашей градофилии, которую с равным основанием можно обозначить и как градофобию. Город, который, по крайней мере, на два столетия стал объективацией русской истории и подмял под себя всю страну, завораживает ныне даже отголоском своего былого значения. В самом деле, крошечная точка на карте оказалась важнее самой карты (говорю пока что о русской), а на эмоциональном уровне – равна бесконечности. География восстала против истории, архитектурный стиль стал политическим триумфом: ампир – имперским стилем. Какие там улицы и каналы, когда сам Город как восклицательный знак!

О каком еще городе можно сказать такое? Ну конечно же о Риме, в который Вы в конце концов и переименовываете уже не раз переименованный наш Город. Вот где сходятся Ваши

футурологические герои, Публий и Туллий, деля меж собой одну и ту же фразу. Публий ее начинает:

«Где бы все были, если бы он Империю не придумал…»

А Туллий заканчивает:

«…и столицу бы в Рим не переименовал. Гнили бы понемногу. Задворки Европы».

Надеюсь, нет сейчас в Кремле достаточно восприимчивого человека, чтобы откликнуться на Ваш – не совет и не призыв: предсказание.

Не говоря уж о разнице между Вашим имперством и их державностью: они хотят сохранить пространства, Вы доводите имперскую идею до абсурда. Их горизонтали у Вас противопоставлена вертикаль. Пьесу «Мрамор» лучше было назвать «Башней»: башней слов, башней снов, «правнучкой вавилонской» – потому и недостроенной. Знаю, предварительный набросок пьесы – в «Post aetatem nostram» – так и назывался: «Башня». Точнее сказать, это зерно, которое, упав в поэзию, проросло в драматургию:

Подсчитано когда-то, что обычно —
в сатрапиях, во время фараонов,
у мусульман, в эпоху христианства —
сидело иль бывало казнено
примерно шесть процентов населенья.
Поэтому еще сто лет назад
дед нынешнего цезаря задумал
реформу правосудья. Отменив
безнравственный обычай смертной казни,
он с помощью особого закона
те шесть процентов сократил до двух,
обязанных сидеть в тюрьме, конечно,
пожизненно. Неважно, совершил ли
ты преступленье или невиновен;
закон, по сути дела, как налог.
Тогда-то и воздвигли эту Башню.

Зачем страна, когда есть Город? Зачем империя, когда есть столица, пусть и бывшая? Зачем бесконечность, когда есть точка? Зачем горизонталь, когда есть вертикаль? Башня как идея Времени, пожирающего пространство. Зачем жизнь, когда есть смерть? Таков абсолют мысли, вложенный Вами в уста Туллия и не вовсе Вам чуждый. Слава Богу, он в пожизненной камере не один, а со своим антиподом, Вашим Сганарелем-Лепорелло, «армяшкой», варваром, обрезанцем: бунтующая в неволе плоть.

Хотя если бы Туллий проповедовал абсолют империи в одиночестве, это бы выглядело еще более, что ли, неуместно, учитывая место действия – то бишь проповеди – то бишь бездействия. Но любой абсолют есть бездействие, счастье есть смерть, тем более рай, а империя мыслится Туллием именно как рай идеи, и это, пользуясь Вашими словами, «место бессилья», «конец перспективы».

Туллий умнее Публия, но Публий мудрее Туллия – я говорю не только о смертолюбии римлянина и жизнебесии варвара. Простота мудрее высокомерия, спеси, чванства – пусть не лично собой, а принадлежностью к великой идее, без разницы. Вы поместили в одну камеру двух маньяков – идейного и сексуального. Не знаю, как Вы (хоть и догадываюсь), но я отдаю решительное предпочтение последнему. Хотя, несомненно, прав Публий, когда замечает: «Не в словах дело: от голоса устаешь! От твоего – и от своего тоже. Я иногда уже твой от своего отличить не могу».

Я тоже не всегда могу – «как различить ночных говорунов»? А Вы сами, Ося, можете? Точнее – Иосиф Бродский, сидящий в своей башне слов и снов, в пожизненной каторге одиночества и поэзии и разыгрывающий в ней пьесу на два голоса. Не обязательно в драматургии. В любом жанре, за исключением разве дежурных предисловий к выступлениям и книгам Ваших земляков.

Было бы неразумно настаивать на ответе – в конце концов, любое послание, включая это, есть «почта в один конец».

В Вашей камере-обскуре, в вымышленной башне в вымышленном Риме и в вымышленном будущем нет ни Публия и ни Туллия, ни римлянина и ни варвара, ни варяга и ни грека, ни эллина и ни иудея, ни гоя и ни аида, но только Поэт и его Одиночество.

> Но даже мысль о – как его! – бессмертьи
> есть мысль об одиночестве, мой друг.

Теперь я, кажется, понял, почему испытывал оторопь, садясь за это юбилейное послание, в котором не все сказал, что думал, и не все додумал, что хотел. В заготовках Эйхенбаума к выступлению об Анне Ахматовой есть следующее замечание: «Я сам из того же поколения – и поэзия Ахматовой факт моей душевной, умственной и литературной биографии. Мне и легко и очень трудно говорить – не все скажу ясно».

Схожее чувство испытал я, обращаясь к Вам с этим посланием и осознавая его скудость и недостаточность. Потому что мне уже

трудно представить свою жизнь и жизнь многих моих современников без того, что Вами сделано в литературе. Мы обрели голос в Вашей одинокой поэзии, а это далеко не каждому поколению выпадает.

Три еврея, или Утешение в слезах
Роман с эпиграфами

Бикфордов шнур. Предисловие к «Трем евреям»

Еже писах, писах.

Ин. 9-22

С литературного измальства у меня появилась странная привычка превращать жанровые подзаголовки в названия: «Торопливая проза», «Жидовская исповедь», «Роман с эпиграфами», а последний за четверть века своего сначала догутенбергова, потом тамиздатного и, наконец, хрестоматийного существования под новым названием «Три еврея» оброс легендами и сам превратился в литературный миф, обозначив художественную вершину этого подпольного периода. Самым адекватным общим наименованием было бы, конечно, «Торопливая проза», ибо объединяет все вышеназванные штуки, сочиненные наспех, второпях, в страхе и без оглядки с конца 60-х до середины 70-х – понятно, в стол. Это была предотъездная проза – имею в виду не отвал за океан, который приключился несколькими годами позже, но переезд из Питера в Москву, что в тогдашних условиях значило переменить кагэбэшное рабство на крепостную зависимость от государства. Работа прозаика была на самом деле работой крота, который рыл нору в направлении центра земли, параллельно со своей официальной деятельностью критика, кандидата наук, члена Союза писателей, ВТО (Всероссийского тетрального общества) и проч. Дабы подчеркнуть эту литературную подпольность, я и стал склоняться от адекватного, но все-таки формального заглавия «Торопливая проза» в пользу «Жидовской исповеди», а это потребует немедленных объяснений.

Все доселе сокрытое даже от жены и друзей вылилось в эту горемычную, горячечную исповедь, с покаянным чувством и наговором на себя. Исповедь грешного сына века. Я чувствовал себя дерьмом и был бы им на самом деле, не решись я на эту *mea culpa*, которую превратил в mea *maxima culpa*, хотя на самом деле это был *Jewish guilt*. Не самоутверждение с помощью литературы, но самоуничижение, самоотрицание с ее помощью и в ней самой. Да, мощное давление КГБ, да, мнимые друзья, которые на поверку оказались коллаборами, сексотами и стукачами, да, поддержка

гения – само существование Бродского, одного из «трех евреев», а тем более близкое знакомство с ним снабжало необходимыми для литературного выживания моральными и художественными ориентирами. «Торопливая проза», притча-метафора, праматерь всей моей следующей прозы; остатки питерского дневника, поименованные «Жидовской исповедью», повесть-сырец, полуфабрикат, прямоговорение, болванка для вершинного романа с эпиграфами «Три еврея» – по отдельности и в совокупности были выпрямлением из-под пресса, из-под гнета государственных и личных обстоятельств, высвобождением от них. Как точно определил мой нынешний сосед по Куинсу Боря Парамонов, прочтя нью-йоркское издание «Трех евреев», – это портрет еврея, бегущего на свободу. Я его поправил: портрет жида, бегущего на свободу, разумея под словом «жид» человека любого происхождения. В этом секрет употребления – а на сторонний, да и на мой сегодняшний взгляд злоупотребления – этим словом и его эквивалентами (еврей, иудей и проч.) в означенных произведениях – менее всего это этническая х-ка.

Другой мой куинсовский приятель Миша Фрейдлин всячески отговаривал меня от «Жидовской исповеди» – пусть останется в оглавлении, но не на обложке! – дабы не отвратить еврейских и проеврейских читателей:

– То же, что со свастикой, – напомнил он о моей телепередаче «Свастика: без вины виноватая?» – пусть древний символ, но время для ее реабилитации, учитывая зловещие ассоциации, еще не пришло.

Важно не то, что жид в соседних славянских языках просто еврей, без унизительного оттенка, а то, что в самом слове остался заряд ненависти, привкус оскорбления и погрома.

– Что и требуется! Импрессионисты присвоили себе уничижительную кличку, брошенную одним из зоилов, и под этим именем вошли в мировое искусство. Если Достоевский не стыдился «униженности и оскорбленности», то нам тем более не пристало стыдиться жидовства.

– Зачем напоминать мне, что я жид? – сердился Илья Штемлер, прибывший на очередную побывку в Нью-Йорк из Питера. – Я бы и вовсе изъял слово из употребления.

– Тебе бы цензором в советское время! В 50-е факсимильно был переиздан «Толковый словарь» Даля, с одним только отличием от оригинала: слово «жид» опущено. А когда я распечатывал по журналам свою пушкинскую диссертацию, мне Жида, героя «Скупого рыцаря», заменяли на Соломона.

– Для меня даже «Еврей Зюсс» звучит вызывающе.

– Переименуем в «Безобразную герцогиню».

– Кроме шуток! Зачем напоминать о былом унижении, уязвлять нашу гордость?

– «Жид» звучит куда более гордо, чем «человек».

И последнее возражение я услышал от своего издателя – Игоря Захарова:

– Сужаем адрес.

На мой взгляд, наоборот, расширяем: *urbi et orbi*, городу и миру, антисемитам и жидам, всем, всем, всем.

Бродский меня поддержал, одобрив само название рукописи, потому как сам использовал оскорбительную кличку русских евреев как позитив. К примеру, XX век называл «жидовским».

Далеко не все записи в «Жидовской исповеди» (тем более в «Трех евреях»») касаются евреев. Однако в целом «Жидовская исповедь» – вместе с «Торопливой прозой» и «Тремя евреями» – должны дать именно ощущение жида – скорее, чем еврея: то есть оскорбленного, униженного, затравленного и гордого. Понятие жидовства раскрывается не в ограниченно-этническом смысле, но в более емком и просторном, цветаевском, что ли:

Гетто избранничеств.
Вал и ров.
Пощады не жди.
В сем христианнейшем из миров
Поэты – жиды.

Не только евреи, но и не только поэты – шире. И одновременно ỳже: как не все поэты – жиды (даже те, кто евреи), так и не все евреи – жиды (даже те, что поэты). К примеру, еврей Бродский – как и русская Цветаева – жид, а его антипод в «Трех евреях» Кушнер – даже не еврей, хоть и еврей по паспорту. Жидовство – это самоощущение, самочувствие, свободный выбор. Если хотите, избранность. Я себя чувствовал именно жидом, когда писал «Жидовскую исповедь» и «Трех евреев», а сейчас, на воле – все меньше и меньше. Здесь, в Америке, я – русский: вместо этнической идентификации – географическая привязка, культурная прописка, профессиональная характеристика. А что было тогда? Ощущение отчужденности, отверженности, одиночества, остракизма и отщепенства, всеобщего презрения, собственного ничтожества и тотальной опасности, тесного гетто и газовой камеры. Портрет жида, загнанного в тупик – вот что такое данная книга в авторском представлении. А уже как следствие – бегство на свободу.

Автопортрет на фоне 70-х. Тех самых 70-х, которые подвергаются теперь ностальгической перетрактовке и даже

идеализации на моей географической родине.

Точнее портрет 70-х со стаффажной фигуркой автора, который носится, как угорелый, по страницам «Жидовской исповеди».

Самого меня прямо назвали жидом всего несколько лет назад, уже здесь, в Нью-Йорке. Произошло это прилюдно, в присутствии двух Лен – Лены Довлатовой и Лены Клепиковой, причем одна из них удивилась, что я не обижаюсь. Да я бы и сам удивился, скажи мне четверть века назад, что на подобное оскорбление – не личное, а родовое – я никак не отреагирую и не вступлюсь за честь своего племени. По существующему кодексу, я просто обязан был что-то предпринять – если не бутылкой по кумполу, то по крайней мере немедленно порвать с юдоедом. В конце концов, я так и поступил, но не сразу, не демонстративно, а после двух-трех других его неблаговидностей и без объяснений. Это про него Довлатов говорил, что антисемитизм – только часть его говнистости, а он про Сережу – что не дает ему покоя покойник. Потом я написал рассказ «Еврей-алиби» – не только про то, зачем антисемиту еврей, но и зачем еврею антисемит, и тиснул эту историю в предыдущей, «довлатовской» книге сериала «Фрагменты великой судьбы».

Набоков, говорят, когда при нем кто-нибудь высказывался в подобном роде, свирепел и пускал в ход кулаки, благо одной из его побочных профессий была боксерская. Однажды он дал в рыльник Алданову, настоящая фамилия которого Ландау. Андрей Платонов в таких случаях покидал благородное собрание. Не будь я евреем либо будь мне не за пятьдесят, а 25 или 15, я бы, наверно, тоже как-нибудь откликнулся, но вот беда – не бывая в синагогах, никак не участвуя в еврейской жизни и не празднуя библейских праздников, будучи по культуре, по воспитанию, по интересам и даже по профессии космополитом с русским уклоном, я тем не менее всю свою российскую жизнь чувствовал себя именно жидом, а потому и озаглавил свой российский дневник «Жидовской исповедью» и даже хотел вынести, несмотря на протесты друзей, знакомых и даже – по ряду книг – соавтора (по совместительству жены), это имя на обложку книги.

Так как же мне тогда оскорбляться на жида, коли я и есть жид, чего никогда не скрывал, хотя при моей русской фамилии и общеевропейской внешности сделать это легко?

Вот почему мне и не нужны никакие дополнительные атрибуты еврейства, будь то кошерная еда, синагогальная служба или этноэгоцентрические разговоры. Как говорится, omnia mea mecum porto.

Так вот, внешним побуждением к составлению первого

московского издания «Трех евреев» – после нью-йоркского и питерского – послужило нанесенное мне под пьяную руку оскорбление одним моим знакомцем и двойным земляком – сначала по Ленинграду, а теперь по Нью-Йорку. Человеком, несомненно, одаренным и в нашей здешней русской общине заметным. Не скажу больше ничего, дабы не превращать литературный эпизод в обывательскую склоку, а рассказ о нем – в сплетню или, того хуже, донос. Как ни парадоксально прозвучит, но я благодарен своему пьяному собеседнику за напоминание, которое в свою очередь послужило если не творческим, то издательско-композиционным импульсом. К тому же, его жидофобство я рассматриваю, как тайную, подсознательную, извращенную любовь к еврейству – ничто мы так круто и люто не ненавидим, как то, что любим.

И наоборот.

Мои московские издатели – Ирина Богат и Игорь Захаров – меня опередили и, реализуя метафору, вынесли на обложку эффектное название «Три еврея», а «Роман с эпиграфами» пустили в качестве подзаголовка. «Заставить современного российского читателя купить книгу с названием “Роман с эпиграфами” это нереально, – писал московский критик. – А вот “Трех евреев” кто-нибудь да купит. А назови книгу “Три русских” – не купят. А “Три чукчи” – купят. “Три казаха” – не купят. “Три мушкетера” – купят. “Три писателя” – не купят. “Три проститутки” – купят. “Три мужика” – не купят. “Три голубых” – купят. В общем, вам понятно, о чем я говорю?»

Что касается исключенной из всех изданий «Трех евреев» собственно «Жидовской исповеди», то ее второе название – «Сопутствующие записи» – довольно точно указует на производственный характер составляющих ее набросков: они сопутствовали всю мою сознательную – а заодно и подсознательную – советскую жизнь. Их интенсивность находилась в прямой зависимости от интенсивности официальной моей работы: чем больше я писал для отечественной прессы, тем чаще обращался к дневнику, воспринимая его как отдушину, как глоток кислорода – человеку, как известно, необходимо дышать. Все меньше и меньше стал делать я записей, когда начал работать над «Тремя евреями», над романом-эпизодом «Не плачь обо мне…» и другими неподцензурными сочинениями.

Я ничего не менял в прежних своих записях, хотя соблазн велик: все написать заново. Ну, к примеру, мой пессимистический прогноз об искусственной дискретности, о вынужденной прерывистости русской культуры в связи с тем, что в ней все-таки

нет ИБ – потому что его не печатают. Тем не менее саму «Жидовскую исповедь» решил пока не публиковать – еще не пора. Разве что post mortem. К тому же, я обкорнал, обокрал сам себя, когда легкомысленно извлек некоторые питерские заметы – о КГБ, о Бродском, о кагэбэшных прихвостнях, приблатненных, коррумпированных литераторах, типа Воскобойникова и Кушнера, о суде над Марамзиным – для «Трех евреев». Теперь я об этом немного жалею. Как и о том, что в приступе обыскомании вырвал однажды некоторые записи и спустил в унитаз. Случилось это весной 77-го, в кратковременный период работы нашего московского информационного агентства «**Соловьев-Клепикова-пресс**», бюллетени которого широко печатались в мировой печати и через «вражьи голоса» в обратном переводе возвращались в Россию. По-любому, «Три еврея» – это не просто докуроман, но и документ, а потому не подлежит редактуре – ни авторской, ни редакторской.

Частично со своими записями я сейчас не согласен, как и с человеком, их писавшим – в Америке я пересмотрел многие свои взгляды, иногда очень резко, а некоторые мои чувства здесь (и с возрастом) притупились. Однако вместо того, чтобы что-либо менять – а руки чешутся – я продолжаю вести свой дневник. Вот почему – ввиду жанрового соответствия – я включил в эту книгу также отрывки из моего американского дневника, имеющие отношение к Иосифу Бродскому. Под соответствующим названием – «Два Бродских». Критический противовес к «Трем евреям», где я Осю слегка пересиропил: согласен с его отзывом на мой роман.

Некоторые сочинения должны дожидаться смерти автора, чтобы быть изданными, и у меня есть парочка-другая таких укромных опусов для посмертных публикаций. Но как раз «Три еврея» к разряду посмертных сочинений не принадлежат, хотя их живые еще персонажи приложили немало усилий, чтобы приостановить, а еще лучше и вовсе отменить его издание. Вот почему понадобилось еще десять лет – после нью-йоркского издания 1990 года – чтобы «Три еврея» были переизданы в стране, где они был написаны в 1975-м на одном дыхании – за три месяца. По месяцу – на каждого еврея. Шутка.

После публикации «Трех евреев» в Америке – сначала в периодике, а потом отдельным изданием – стали появляться главы из него в московских газетах и журналах («Совершенно секретно», «Искусство кино», «Россия»). Несколько издателей заключили со мной договоры на его издание, я получил довольно крупные по российским стандартам авансы, но один за другим издатели отказывались от этой рисковой затеи под давлением

«героев» романа. Наиболее стойким оказался Сергей Иванов, который подписал со мной договор на три книги, хотя самым амбициозным его желанием было издать именно «Три еврея», которые тогда проходили под изначальным названием «Роман с эпиграфами».

Вот что он писал мне осенью 1994 года из Петербурга в Нью-Йорк:

Я, как всегда, в цейтноте и не успеваю многословно поблагодарить Вас, как читатель, за «Роман с эпиграфами». Он столь написан для меня, что я уже предвижу удовольствие от считывания гранок этой книги и не передоверю сей технической процедуры никому. Я благодарен Вам, что из-за «Романа с эпиграфами» я перессорился с людьми, которых держал за друзей (они категорически против его опубликования) и, наоборот, сошелся с юными «теневиками». Ведь именно они, не отягощенные шестидесятническими комплексами, и финансируют выпуск Ваших книг.

Увы, мужество не всегда вознаграждается в этой жизни: Сергей Иванов успел выпустить только одну книгу («Андропов: тайный ход в Кремль») и был зарезан неизвестными у подъезда своего дома.

Нет, конечно, ни одного более-менее известного россиянина, которого не подозревали бы в сотрудничестве с гэбьем. На этот сюжет Бродский сочинил когда-то длинную поэму «Горбунов и Горчаков». Не избежал этих обвинений и я – с той только разницей, что обвинения в «опасных связях» делались на основании моих же собственных признаний в тогда еще не опубликованных в России «Трех евреях», причем эти признания перетолковывались, искажались и дополнялись, чтобы, дискредитировав автора, умалить высказанные в романе взгляды и оценки. Давили даже на Бродского, чтобы он публично отмежевался от «Трех евреев»; он этого делать не стал, а одному из питерских ходатаев – назову впервые по имени: Жене Рейну – ответил с присущей ему лапидарностью:

– Отъе*ись!

Понятно, что особенно усердствовал – и переусердствовал – в этом направлении лютый антипод Бродского в сюжете «Трех евреев». Как и в творимой гэбухой реальности: пусть они соперники и разных весовых категорий, но именно из Скушнера (какую точную кликуху придумал своему врагу Ося!), используя его ненависть к Бродскому, создавал питерский КГБ антиБродского: тоже поэт, тоже интеллектуал, тоже еврей, но наш

еврей, прирученный, послушный, покорный, придворный, ливрейный еврей. Гомункулус гэбухи, гомо советикус, поэт-совок. «Амбарный кот», как припечатал его Бродский в классном стихотворении.

В известном смысле появление героя по имени «Саша Кушнер» в этом качестве в моем романе – большая честь для его реального прототипа и даже своего рода подпитка. Ну разве это не везение: пусть в качестве антипода, но оказаться вровень с гением! Как писал один здешний рецензент,

«„Три еврея“ выдержали проверку временем: написанный 25 лет назад и впервые опубликованный 10 лет назад, роман читается с огромным интересом и, я думаю, будет читаться потомками, которые, конечно, забудут о поэте Кушнере и других малозначительных фигурах романа, но дух своего времени, так взволнованно и правдиво переданный автором, они ощутят».

Так вот, усердие моих зоилов дискредитировать «Трех евреев» с помощью моральной и политической дискредитации автора все-таки не от большого ума. Иначе, как недомыслием, чем еще объяснить создание тем же Кушнером посмертного мемуарного фальшака о Бродском, когда лжевспоминальщик, не решаясь сам выказаться против меня, понуждает это сделать мертвеца? Здесь, конечно, еще дополнительный умысел: поссорить меня с покойником. Но пусть даже я полковник КГБ, ЦРУ, Моссада и Интеллидженс сервис, все равно это не прибавит ни ума, ни таланта «посредственному человеку и посредственному стихотворцу», как всегда называл Бродский Кушнера (эту характеристику приводит и друг Бродского Андрей Сергеев в своем мемуаре). Что все эти антисоловьевские инсинуации меняют в структуре «Трех евреев», самой, кстати, антикагэбэшной книги в русской литературе прошлого века?

Сила соловьевского текста в том, что он на клеточном уровне исследует эти отношения и зависимость, в которую попадают не решившиеся восстать против КГБ люди, – писал другой рецензент в «Новом русском слове», флагмане русскоязычной периодики Америки. – Роман рассказывает о тюрьме страха и выходе из нее, и я не знаю, какая часть ценнее. Наверное, обе.

Только на таком клеточном уровне «Три еврея»» могут быть оспорены. Другими словами, «Роман с эпиграфами» можно опровергнуть только с помощью «Антиромана с эпиграфами», но у его заклятых врагов кишка тонка – имею в виду литературную –

чтобы сочинить нечто вровень с «Тремя евреями». Им ничего не остается, кроме инсинуаций, увы, на слабоумном уровне, как у помянутого стихотворца. Сказывается здесь не только возрастная деградация, но и тепличные, инкубаторские условия советского и постсоветского существования.

«Три еврея» – мой щит и меч. Он неопровержим и как документальное свидетельство и как художественная структура. Последнее важнее всего – это роман, пусть время и придало ему аутентичную ценность как документу эпохи.

Конечно, сговор и заговор персонажей «Трех евреев» против издания книги мог сам по себе послужить «сюжетом для небольшого рассказа».

Тем более там есть все, что необходимо для романической интриги – от клеветы до шантажа. Однако если уже в «Трех евреях» мне приходилось, в угоду художественным требованиям, добавлять персонажам более тонкие аргументы и более сложные мотивировки, снабжая довольно примитивные существа душевным подпольем, то в нынешнем состоянии, судя по уровню наскоков на «Трех евреев», его персонажи и вовсе помельчали, деградировали и стали плоскими, как из папье-маше, а потому еще на один литературный опус ну никак не тянут. На каждый чих не наздравствуешься. Другие сюжеты роятся в голове у автора, не дают покоя. Особенно один. Расстояние со времени написания «Трех евреев» до нынешних времен – это не просто 40 лет, но сотни телепередач, радиоскриптов и статей в американской прессе, несколько фильмов, включая полнометражный «Мой сосед Сережа Довлатов», изданные в 13 странах на 12 языках политологические триллеры, пара дюжин книг, с полсотни рассказов, восемь романов. Мне некогда оглядываться – и некуда.

У меня нет ни времени, ни желания перечитывать мои прежние сочинения. Последний раз я просмотрел «Трех евреев», готовя нью-йоркское издание. Как я теперь полагаю, глядя издалека и со стороны, «Три еврея» есть результат моего нравственного чистоплюйства, в тех условиях немыслимого и до сих пор не очень понятного. Отсюда его искаженное восприятие. Там, где художества ради и из морального самоедства я наговариваю на себя, принимая вину и ответственность за градо– и мироустройство, кой-кому показалось, что я, наоборот, не договариваю, а потому договаривают за меня. Я дал моим врагам оружие против себя и не жалею об этом, хоть они и разят меня им. На самом деле не меня – автора Владимира Соловьева, а подставное лицо – литературного героя Владимира Соловьева. Там, куда летят их отравленные стрелы, меня давно уже нет.

Интригующий читателя вопрос: был ли автор агентом КГБ? К сожалению, мне совершенно нечего добавить к тому, что я уже написал в «Трех евреях». Более того, за исключением одной заграничной поездки, мне больше и не предлагали им стать, догадываясь заранее о моем ответе. Да и не по чину – я был известный литератор с репутацией принципиального человека, каковым остался до сих пор. Чаще всего человек преуменьшает свои грехи, в то время как в «Трех евреях» я их преувеличиваю, казню себя за несущественные или несуществующие. То есть иду путем Монтеня и Руссо, но на уровне моих зоилов это быть понято не может. Коли помянул Монтеня, заодно и процитирую:

Пожелай кто-нибудь под личиной внешнего беспристрастия смешать меня с грязью, у него было бы более чем достаточно поводов куснуть меня за сознаваемые и признаваемые мною самим недостатки, он мог бы вдосталь натешиться, попадая, что называется, в самую точку. Если бы, однако, ему показалось, что, обличая и обвиняя самого себя, я лишаю жала его укусы, то ему было бы проще простого воспользоваться своим правом преувеличения и сгущения (право нападающего – пренебрегать справедливостью). Корни пороков, которые я открываю в себе, пусть он превратит в раскидистые деревья; пусть обрушится не только на те пороки, которые держат меня в своей власти, но и на угрожающие мне в будущем – пороки постыдные и сами по себе, и потому, что их великое множество; этим оружием пусть он меня и побьет.

Для суда же над самим собой у меня есть мои собственные законы и моя собственная судебная палата, и я обращаюсь к ней чаще, чем куда бы то ни было.

Сама потребность покаяться и очиститься от этих достаточно невинных бесед в КГБ (замечу в скобках, что я укатил из Питера в Москву летом 75-го, а вскоре и из России, и с питерских времен больше встреч с представителями этой организации у меня не было ни одной) воспринимается теми, у кого эти беседы были более винные и более частые, а то и вовсе отпетые кагэбэшники, хотя рассказать о них ни у кого потребности и мужества не возникло, – как признание в бóльших и более стыдных грехах. Можно сказать и более определенно, не греша против истины: все эти инсинуации исходят от КГБ и загэбизированных литераторов – сексотов и стукачей. Вот почему мой поклеп на самого себя используют, чтобы отмазаться от собственных грехов, а заодно поставить под сомнение аутентичную ценность «Трех евреев». Хочу еще раз подчеркнуть: в отличие от клишированных

мемуарных сочинений о мертвецах, которые не имеют возможности опровергнуть приписываемые им высказывания, мой роман носит дневниковый и по отношению к героям прижизненный характер. Именно так его и воспринимали все, кто читал «Трех евреев» в 75–77 годах: Лена Аксельрод, Таня Бек, Лена Клепикова, Барбара Лёнквист, Юнна Мориц, Юз Алешковский, Володя Войнович, Яша Длуголенский, Фазиль Искандер и другие.

Бродский прочел «Трех евреев» трижды – в рукописи, в серийной публикации в «Новом русском слове» и в нью-йоркском издании, сравнивал с книгами Надежды Яковлевны Мандельштам, с чем я не соглашался: разные жанры – у нее мемуары, а у меня дневниковый роман. О герое по имени Бродский Бродский заметил, что вышел немного сиропным, а о «посредственном стихотворце» сказал, что тот хоть и допрыгивает до планки, но устанавливает так низко, что перепрыгнет и ребенок.

В результате той моей почти патологической потребности высказаться возникло художественно и эвристически уникальное произведение, которое я слегка подпортил нью-йоркским изданием, поместив там портреты прототипов и раскрыв псевдонимы (в рукописи были не Бродский, а ИБ, не Саша Кушнер, а Саша Рабинович, не Лидия Яковлевна Гинзбург, а Лидия Михайловна без фамилии, но остальные под реальными именами, включая кагэбэшников). Нарушено было художественное единство, но как быть дальше – восстановить прежние псевдонимы или уже поздно ввиду того, что изданная книга стала достоянием литературы? Естественно, поставив реальные имена, мне пришлось снять ряд срамных характеристик относительно того же Саши Рабиновича. Восстановить романные имена вместе с характеристиками?

Так и не решив эту дилемму во время срочной подготовки моего килограммового фолианта – 815 страниц, – который вышел в 2000 году в «Алетейе» и где «Три еврея» занимают одну только треть, я остановился на факсимильном воспроизведении его нью-йоркского издания, включая гравюры в тексте и тетрадку с портретами. Тем самым подчеркнул документальную достоверность «Трех евреев», но одновременно подточил художественную целокупность.

Понятно, я был рад, что «Три еврея», о которых многие читатели знали понаслышке, вышли, наконец, в России одновременно с другими моими книгами. Да еще в издательстве с таким замечательным названием: «Алетейя». В переводе с древнегреческого: истина. Ведь когда я строчил «Трех евреев»,

мне казалось, что настал момент истины и я должен говорить как на духу: правду, только правду и ничего, кроме правды. Литература как способ существования и выживания. Чтобы не скурвиться и не сойти с ума.

Боковая поросль русской словесности: «Записки сумасшедшего» – «Смерть Тарелкина» – «Четвертая проза» – «Три еврея».

Суфлерская подсказка будущим историкам литературы.

Это страстная, покаянная, исступленная книга. Если бы не написал, лопнул бы, задохнулся. Чисто физиологическая потребность – очиститься от скверны внутри себя. Вот именно: катарсис, то есть очищение. Не только в философско-эстетическом смысле, но и в изначальном: понос, рвота. «Другой прозы я, впрочем, и не признаю, а только прозу как компенсацию, как возмещение, как реванш, как речевые спазмы, как родовые схватки, как скатологические позывы», – писал я в рассказе «Умирающий голос моей мамы…» спустя 15 лет уже в Нью-Йорке. Отсюда, из пространственного и временно́го далека, когда я перечитал «Трех евреев», готовя первое нью-йоркское издание, он произвел на меня впечатление эманации моральной чистоты и совестливости почти юношеских, хоть я и написал его в 33 года. Иисусов возраст обязывает. Мое евангелие – Евангелие от Владимира Соловьева[1]. И вот теперь, через голову сходящего со сцены поколения шестидесятников, я надеялся (и надеюсь до сих пор) быть услышанным «племенем младым, незнакомым».

Мечты, мечты, где ваша сладость?

С именем мне вообще не так чтобы повезло – хронологически с обеих сторон: см. мой рассказ «Мой двойник Владимир Соловьев» – о двойнике-предшественнике. На мою беду, как черт из табакерки, выскочил еще один Владимир Соловьев, Владимир Рудольфович, тоже еврей, тоже писатель, да к тому же теледеятель. В Интернете, если вызвать Владимира Соловьева, в основном – он, меня вспоминают мимоходом в статьях о нем или путают с ним. Поэт-философ, космонавт, костромской пиит, и теперь вот телеведущий и автор «Евангелия от Соловьева» с заемным у меня названием. Владимир Сергеевич давно уже мертв, современники, надеюсь, живы, а этот, 1963 года рождения, статистически переживет меня. Но это физически, а метафизически лучший способ уничтожить человека – пустить по свету его двойника: «Двойник», «Нос», двойная «Тень» – Андерсена и Шварца и их предтеча – повесть Шамиссо о шлемазле Петере Шлемиле. То есть украсть его айдентити, как в «Twilight Zone». Нет больше ни Владимира Сергеевича Соловьева, ни тем более Владимира Исааковича Соловьева – разве что в

связи с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым, как в рецензии на его, а на самом деле мое евангелие.

Правда, мои «Три еврея», потом моя запретная книга о Бродском «Post mortem» и следующие за ней «Два шедевра о Бродском», «Как я умер», «Записки скорпиона», «Мой двойник Владимир Соловьев», «Осама бин Ладен. Террорист № 1», «Быть Сергеем Довлатовым» несколько выправили мою пошатнувшуюся репутацию и теперь мне ничего не остается, как в отпущенные мне судьбой годы совершать новые подвиги на ниве русской словесности. Спасибо, соплеменник-соименник-однофамилец, за толчок, который при иных обстоятельствах мог стать подножкой, а стал импульсом.

Боюсь, однако, сам роман оказался похороненным в этом роскошном, подарочном, с многочисленными иллюстрациями, дорогостоящем, малотиражном и мало кому доступном издании. Иное дело в Америке, где книгочей более состоятелен: новое издание «Трех евреев» прозвучало здесь с такой взрывной силой, будто и не было ни его нью-йоркского издания, ни многочисленных публикаций в периодике по обе стороны океана. Русское телевидение WMRB посвятило выходу книги несколько передач, одна из них называлась «Бикфордов шнур», хоть я и не понял, относится это к автору как возмутителю спокойствия или к «Трем евреям»; в газетах печатались статьи о книге и отрывки из нее; радиостанции наперебой брали у меня интервью, а «Народная волна», самая популярная из них, устроила двухчасовую передачу в открытом эфире, с привлечением не только знаменитых русских американцев, но и питерцев с москвичами, включая питерца-москвича-нью-йоркца Владимира Соловьева. На начало нового века пришелся период моей оральной активности (прошу прощения за несколько двусмысленный оборот). Неудивительно, что при такой раскрутке книга в течение нескольких месяцев держалась в списке бестселлеров «Нового русского слова» – вместе с кассетой фильма «Мой сосед Сережа Довлатов», одновременная премьера которого состоялась по нью-йоркскому телевидению и с аншлагом на большом экране на Манхэттене.

Мне бы радоваться, а у меня было странное такое чувство, что старик Гераклит круто ошибся, и я не то что дважды, а уже в пятый раз вхожу в одну и ту же реку.

Первый скандал в округ «Трех евреев» разразился, когда он еще не был дописан. Я стал читать московским и коктебельским знакомым главы из него, дошло до КГБ, а от КГБ уже́ – до питерских героев романа, тесно связанных с этой славной организацией. Перебздеж был довольно сильный. Многих

слушателей «Трех евреев» таскали в гэбуху, а потом стали вызывать просто моих шапочных знакомых – чтобы они раздобыли копию «Трех евреев». Я заканчивал роман, чувствуя «за мною след погони». Этот страх закодирован в самом «Трех евреях»: где-то там есть даже признание, что «Три еврея» пишет не Владимир Исаакович Соловьев, а Владимир Исаакович Страх. И это не метафора и не фигура речи, а постоянное чувство, что нагрянут и заберут неоконченную рукопись вместе с автором – не дадут закончить, поминай как звали. Свой роман-документ я тогда полагал более важным, чем его автора. Отсюда разные хитроумные способы его сохранения.

В том числе такой.

Когда «Три еврея» были закончены, я стал давать рукопись весьма выборочно друзьям. Многие мне помогли: Фазиль Искандер, который прочел роман за ночь – как потом Окуджава – общей поддержкой, потому что получить от лучшего русского прозаика записку, которая начиналась со слов «замечательная книга», было для автора не только лестно, но и важно. Юз Алешковский дал ряд важных композиционных советов. Но среди моих знакомцев был один с сомнительной репутацией, и все мои друзья в один голос не советовали давать ему рукопись. Я – дал. Сознательно. На всякий случай. Так «Три еврея» попали в гэбуху, а уже там с ними познакомились его питерские герои. Я жил уже в Москве, до меня доходили слухи о переполохе в Ленинграде. Но я не жалел о том, что сделал: КГБ – самое надежное место для хранения запретных сочинений.

До сих пор не знаю, кто пустил «Трех евреев» в самиздат: автор или гэбье? На волне этого второго скандала вокруг «Трех евреев» и нашего агентства «**Соловьев – Клепикова-пресс**» мы и укатили – нам было предложено в десятидневный срок покинуть страну. Это был ультиматум: альтернативой западного выхода был восточный. Меня это вполне устраивало: по натуре я – спринтер, на долгое противостояние вряд ли способен. Да и силы неравные. Я был инакомыслом по отношению не только к Левиафану государства, но и к мафиозной либеральной интеллигентуре с двумя тайнами – кукишем в кармане и гэбэшными связями. Не говоря уж о том, что литература меня всегда волновала больше политики. А потому и книгу, к которой пишу это предисловие, мне интереснее теперь рассматривать скорее под лирическим, чем политическим углом.

В заговоре против «Трех евреев» парадоксальным, а на самом деле естественным образом сошлись интересы главных его антигероев – гэбухи и напрямую связанных с ней литераторов, в романе изображенных. Заговор этот отправился вслед за мной

через океан и поначалу был успешен. Вплоть до того, что американский издатель, с наводки одного моего питерского земляка, а тот работал в издательстве редактором, отказался вернуть мне переданную еще из Москвы рукопись, полагая, что это единственный экземпляр. Утешало, что я сам вызвал огонь на себя, сам порвал с гэбэшно-писательской мафией, сам уничтожил за собой мосты.

В конце концов, однако, этот заговор сыграл на руку автору «Трех евреев»: находясь в этой инспирированной гэбухой и литераторами-гэбистами обструкции, отторгнутый родной словесностью, автор был вынужден на прорыв в мировую печать: сначала комментарии в ведущих американских газетах, а потом одна за другой политические триллеры, которые принесли нам с моим соавтором Еленой Клепиковой сказочные по нашим совковским понятиям гонорары и прочное реноме в тех странах, где эти книги были изданы.

Третий скандал разразился, когда в 1989-м я начал серийно публиковать «Трех евреев» в «Новом русском слове», а спустя год еще один – когда роман вышел в Нью-Йорке отдельной книжкой.

Пятый скандал – когда «Три еврея» вошли в мой питерский однотомник. Шестой – когда «Захаров» переиздал их в демократическом, то есть дешевом и доступном издании. И, наконец, седьмой – когда на гребне успеха «Post mortem», «РИПОЛ классик» переиздал оба романа о Бродском под одной обложкой, на которой значилось «Два шедевра о Бродском». Надеюсь, что и помещенные в этой юбилейной книге к 75-летию Бродского главы из «Трех евреев» не оставят читателя равнодушным.

Горят или не горят книги, это еще вопрос – до нас не дошло большинство пьес Эсхила, Софокла, Эврипида, Аристофана, очень выборочно – «История» и «Анналы» Тацита. Да мало ли! Что несомненно: книги устаревают, выдыхаются. «Трем евреям» это пока что не грозит еще и потому, что силы, в нем описанные, до сих пор пытаются взять реванш за историческое поражение. И скандалы, провоцируемые «Тремя евреями» – доказательство их не скажу вечности, но долговечности. Коли «Три еврея» не устарели за эти десятилетия, то, полагаю, их хватит на столетие вперед и они переживут одного из – их автора.

Все созданное человеком здравомыслящим затмится творениями исступленных.

Привет Платону.

1 мая 2001 года, 1 января 2015 года, Нью-Йорк

Три еврея, или Утешение в слезах – 1975. Главы о

Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый, последний год моей жизни. Хочу теперь все записать и, если б я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски.

Достоевский

Помимо всего прочего, изложить происшествие – значит перестать быть действующим лицом и превратиться в свидетеля, в то го, кто смотрит со стороны и рассказывает и уже ни к чему не причастен.

Борхес

Если можешь, если умеешь, делай новое, если нет, то прощайся с прошлым, так прощайся, чтобы сжечь это прошлое своим прощанием…

Мандельштам

Скрестим же с левой, вобравшей когти, правую лапу, согнувши в локте: жест получим, похожий на молот в серпе – и как черт Солохе, храбро покажем его эпохе, принявшей образ дурного сна.

ИБ

Глава 7

Такой герой. В поэме он молчит…

ИБ. Шествие

Поскольку мои отношения с Сашей Кушнером – один из главных стержней этого романа, то я не стану особенно спешить и забегать вперед, даже наоборот – оттяну его крупноплановое появление, чтобы пост фактумный анализ не полонил прозу, обозначив ее крен в одну сторо ну, в то время как проза все-таки моя, а не Сашина. Его ведомство стихи – пусть там и оправдывается, пусть отчитывается, пусть сводит счеты с прошлым, перед которым мы всю жизнь в долгу – только смерть освобождает нас от этого докучного кредитора.

А главный герой этого документального повествования – отсутствующий, и существование его фиктивно и недоказуемо, ибо

…другая жизнь и берег дальний…

Хотя главный герой отсутствует, он тайно присутствует – все помнят о нем, но делают вид, что забыли.

Глава 8

Есть даже такая гипотеза, вроде бы кем-то когда-то подтвержденная, что там – на дальних берегах – ему не пишется, не очень пишется, а то и вовсе не пишется, а если и пишется, то не так пишется, как здесь писалось, или, наоборот, точно так же – никаких изменений, никакого творческого роста. Другая гипотеза еще более решительна и касается уже не творчества, а жизни – полная, мол, безнадега и никому не нужен, преподает в заштатном университете, часто пересекает океан и по мере возможности приближается к гра ницам социалистического лагеря, куда с ностальгической тоской поглядывает.

– Ему плохо, – говорит мне Саша в сотый раз, словно зубную боль заговаривает. – Ему очень плохо, ему не может быть хорошо. С чего бы ему было хорошо? – спрашивает он и сам же отвечает: – Не с чего.

– Как я ему сочувствую, – говорит он мне в другой раз. – Вот ему не пишется, говорят. А для кого там писать? Кому мы там нужны? Мы здесь нужны – здесь наш читатель, и язык наш с нами.

Я пытаюсь возражать, что здесь человек не живет, а прозябает, тлеет, сходит на нет, как только осознает тщетность всех своих попыток. И чем ты оригинальнее, тем ненужнее – это закон, закон коллектива против индивидуума, любого. Отсюда сейчас уезжают гении, неудачники и авантюристы, что порою – вот несчастье! – совпадает в одном человеке и бьется в нем, как в

предсмертной агонии сердце инфарктника. И неизвестно, что выплеснется в конце концов и выдержит ли человек это испытание.

Кем был здесь невидимый герой моего романа – до того, как очутился на дальних берегах?

Или кем он так боялся стать, спрашиваю я, возмущенный отторжением рыжего изгнанника из нашей среды, – и при жизни здесь, и теперь, когда его нет рядом с нами.

– Кем мы сделали его? Как Чацкого на фамусовском балу, общими усилиями, вроде бы даже снисходительно заботясь о нем и печась – и печалясь – елико возможно о его судьбе? Кем? Город ским сумасшедшим? А был гением…

О, эти подтасовки! Ему плохо, а нам – хорошо? А со стороны это так: два соседа по камере, указуя в зарешеченное окно на чудом вырвавшегося на волю, ему сочувствуют: бедный, несчастный, ходит там один неприкаянный и никому не нужный! Вот мы – все вместе, одной цепью скованы, к одному столбу привязаны, и тупая секира рубит нашу общую буйную голову. Ну как тут не прыгать от счастья до потолка и не жалеть горько о тех, кому выпала иная судьба?!

Мы привыкаем к самим себе – к нашему здешнему существованию, к нашему самочувствию. Мы говорим, что, когда станет совсем плохо, мы отсюда рванем. А мы заметим этот невидимый предел, когда нам будет совсем плохо? Разве можно заметить смерть?

А что, если он уже наступил, этот предел, но привычка мешает нам в этом признаться даже самим себе?

Не лучше ли тогда судить по другим – по жалкому и униженному существованию, которое влачат твои собратья по литературной суете?

И что может быть хуже для нас, чернильного (а не только иудейского) племени, чем Россия за четверть века до второго тысячелетия после Р. Х.?

Ах, Саша, Саша, при чем здесь Бродский?

Хотя – причем.

Осенью 1974 года я встретился в скромном номере ленинград ской гостиницы «Октябрьская» с представителем одной всемирно известной организации – по его просьбе. Не могу сказать, что беседа наша протекала в дружеской атмосфере, зато в откровенной: ссорясь, оскорбляя друг друга, переходя на крик, мы пробеседовали так часа полтора, если мне не изменяет память. Ни о чем мы тогда не договорились, как и прежде, как и позже, хотя об опасных этих связях я еще напишу, они того заслуживают, опасные эти связи, которые Бог весть когда начались и Бог знает

чем еще кончатся…

А сейчас о другом.

Собеседник мой тогда сказал мне:

– У нас есть сведения, что Бродскому в Америке плохо. Ему не пишется, он тоскует по родине и мечтает снова получить советское гражданство. Мы заинтересованы, чтобы об этом знали как можно больше людей.

– Не моя забота, – сказал я, загоняя свой страх в пятки и дрожа от возмущения, – не моя забота. Я получаю зарплату не в Большом доме и на службе у вас не состою.

И до сих пор тяжелые сомнения мучат меня: кто кому подсказал, что Бродскому там плохо; даже если ему в самом деле плохо – разве в этом дело? Избави меня от подозрений, Господи.

Глава 9

Такое у меня смутное, брезжущее, но прочное, уже не покидающее меня ощущение, что жизнь пошла настоящая, беловая, драматическая и бесповоротная – без черновиков, без шпаргалок, без исправлений.

Я стал уже вычеркивать из своей записной книжки номера телефонов людей, которых не стало, – кто умер, как Семен Димант (97-52-76), кто убит, как Минас Аветисян (Ереван, 56-07-86), кто сидит, как Володя Марамзин (49-48-43), с кем в ссоре – на всю жизнь! – как с Сашей Кушнером (53-67-90), а кто уехал, как Бродский, а это все равно что умер, учитывая то безумное расстояние, которое пролегло между нами, – птица не пролетит, серый волк не проскачет, царевич не сыщет!

Я не помню уже его телефона. Когда три года назад мы прощались с ним, Лена шепнула мне, что навсегда, никогда больше не увидимся. Не только словами шепнула, но и не опытом, на который мы все горазды ссылаться, хотя, по глубокому моему убеждению, его нет ни у кого и никогда не было, а тем самым пророчески-слепым чутьем, которое нетнет да посещает нас, а чаще отказывает, не срабатывает, а еще чаще мы не верим орущему в нас голосу и стоим перед уходящей в небо стеной и не видим грядущего. Ночью как-то с обостренной какой-то точностью почувствовал – или почуял? – как собака, взял след своего будущего, – что не мирно умру, а буду убит и упаду в общую яму, как мои родственники, когда я только родился. Это было несколько месяцев назад – сон не сон, но кусочек свинца весь день, помню, свербил в моем сердце и ныл, ныл… Сейчас я забыл про тот запах беды – не ощущаю его. И тогда у Оси я ничего не понял и ничего не видел. Может быть, это инстинкт

самосохранения – трагедию мы воспринимаем как истерику, вздох нам кажется романтическим, слезы притворными?

В Армении мы чуть ли не каждый день виделись с Минасом Аветисяном: у него только что сгорела мастерская, и все его картины, и судьба его еще при жизни обозначилась остро, как туго обтянутый кожей лицевой костяк покойника. Минас никого не подозревал, чтобы не подозревать всех. Он приходил к нам с застывшей гримасой боли на лице, романтически обвязанный развевающимся шарфом, вступивший с судьбой в смертельный поединок. После пожара он набросился на работу, как зверь, торопился, ожидая еще одного подвоха судьбы, худшего. А я ему не верил, в его позе мне чудилась игра, я даже довольно дурно пошутил, что не он ли сам устроил злополучный тот пожар из рекламных соображений. Я шутил, а другие всерьез подозревали его в том, что он сам поджег свои картины. Во всяком случае, были такие слухи – не исключено, что их распространяли настоящие поджигатели. Он был лучшим армянским художником после Сарьяна, который подарил Минасу свои кисти; я любил картины Минаса и его самого, но не верил в то, что он знает свою судьбу. Кому дано это знание? Мне казалось тогда – никому. А потом, уже в Ленинграде, мы получили телеграмму. И до сих пор я не пойму, зачем было загадочному тому грузовику мчаться по тротуару за Минасом, когда он вышел ночью из оперного театра? Зачем было размазывать бренное его тело по туфной, пористой стене ереванского дома?

Есть у моих друзей – и настоящих и бывших – чудовищный какой-то стоицизм, который оберегает их не только от беды, но и от сочувствия. Я ему подвержен не меньше других, хотя и стыжусь его. «Избегнем трагических нот, чтоб избегнуть вранья» – я понимаю, это реакция на поэтическую профанацию трагедии, только что хуже: профанировать трагедию или не замечать ее? Делать вид, что не замечаешь? «Трагическое мироощущенье тем плохо, что оно высокомерно» – с кем у вас здесь спор, Саша? С царями Эдипом и Лиром? С братьями Карамазовыми? С мировой и советской историей? С нашим столетием? С Мандельштамом, с Бродским? С самим собой?

А что может быть высокомернее оптимизма?

Знаю по себе.

Тогда, у Оси, за два дня до его отъезда, я сказал в ответ на Ленин шепот что-то усредненно-оптимистическое, стерто-обыденное, куда не входит ни смерть, ни вечная разлука, ни крестная мука. И вдруг сквозь меня прошло и обожгло ревнивым огнем, что вот стоят они двое – мой знакомец и моя жена – и слов им не надо, и так все ясно, а я стою в стороне и пытаюсь

дрожащими руками уложить потрясающее событие – отъезд Бродского – в привычно-приличные рамки.

Ну а в самом деле, что было делать?

Что делать, когда такое, не вмещающееся в нас, большее, чем мы, происходит? Смерть, разлука…

Я это приравниваю и вижу недоуменную улыбку среднего европейца – как ему объяснить, что «в этом мире разлука – лишь прообраз иной»?

Как объяснить это не ему, а самим себе? От чего мы прячемся за слова, за жесты?.. Со стыдом вспоминаю, что, прощаясь, протянул ему руку, пытаясь обыденным этим жестом снять напряжение и снизить значение события, свести на нет, – протянул ему руку, как протягивал всегда, когда мы прощались. А Лена подошла тогда и поцеловала его, хотя никогда прежде не целовала, и этот ее по целуй был адекватен событию, равен ему, и до меня это дошло тут же. Я тоже поцеловал его, и впервые почувствовал, как чья-то рука бережно поддержала бешено забившееся, как пойманная птица, мое сердце.

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)

Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще одного хорошего поэта, а в другом. ИБ производит модернизацию русской литературы и в смысле осна щения ее новыми средствами, и в смысле ее общего одухотворения. Поэт не имеет читателей, он создает их – образует, растит, толкает и форсирует их сознание.

С неизвестностью ИБ сознание русского читателя отброшено на несколько десятилетий назад – это количественно, а качественно еще дальше. Если бы его напечатали в этом, 1969 году, может быть, было бы уже поздно; через несколько лет будет совсем поздно: читатель должен расти вместе с поэтом, запаздывая, отставая, догоняя. ИБ надо узнавать по крайней мере с «Шествия», которое, скажем, мне и, думаю, что и ему сейчас, не нравится. Хронологическое совпадение необходимо – трудно предположить, что развитие, происшедшее в таком большом поэте в течение десяти лет, читателем может быть осилено быстрее и как готовый результат. Известно даже, как Пушкин, обогнав читателей, остался к 30 годам без них, а уж тем более, когда вся работа происхо дит незримо от читателей: ИБ.

ИБ словно бы и это предчувствует – его стих оглушителен,

резок, императивен, агрессивен и настойчив до назойливости. С читателем он сражается – это он за читателя сражается. А похоже это больше всего на битву Дон Кихота с ветряными мельницами…

Не знаю, побеждает ли всегда гений, да и что значит его победа? Победа – в товарищах, в соратниках, в учениках, в участии, в возглавлении национальной культуры. Этого – увы! – ему не дано. Через полвека его напечатают – ни ИБ, ни нас, его современников, не будет. Чем станет ИБ тогда? Загадочной Атлантидой, следов которой нет в других культурах? Таинственной страницей из навсегда утраченной, а точнее – и трагичнее – так и не написанной книги?

И напишет ли ее кто-нибудь и когда-нибудь?

Одна надежда – глухая, слепая, парадоксальная – на его ленинградских эпигонов: не послужит ли их плагиат к распространению ИБ, пусть в упрощенном и искаженном виде, к вящей его славе? В конце концов, литературный вор – это преемник и продолжатель…

Однажды я написал, что поэт исполняет роль, эскизно уже набросанную Историей. Это верно по отношению к Некрасову, Блоку, Маяковскому, Бальмонту, Евтушенко, и нисколько их не умаляет. Это неверно по отношению к Пушкину, Тютчеву, Баратынскому, Мандельштаму, Пастернаку – они незаменимы, и не будь их, развитие и сознание наше было бы иным. Неверно это и по отношению к ИБ. Но достанет ли устного предания? Может быть, стихи ИБ необходимы читателю, который через пять лет напишет свой первый опус – все равно, в прозе или поэзии. Не зная этих стихов, он будет иным. В том-то и дело, что осознаваемое нами постфактум как столь необходимое – ввиду детерминистского устройства нашего мышления – появление того же Пушкина на самом деле – вот парадокс! – обратно пропорционально потребности в нем русского общества, и не появись он, его отсутствия никто бы не обнаружил.

В этом смысле я и говорю о трагедии русской культуры в связи с тем, что в ней все-таки нет ИБ. Это иное, чем то, что не печатают Солженицына. Последнее скорее недоразумение и драматически воспринимается только в политическом плане.

Впрочем, трагедий нам не занимать, и означенная – лишь капля в море: снявши голову, по волосам не плачут.

Меня интересует не эмоциональная, а теоретическая сторона этой трагедии.

Речь идет об искусственной дискретности, о вынужденной прерывистости русской культуры. К чему приводит запоздалое знакомство даже не с гениями, а с талантливыми прозаиками, скажем, 20-х годов, можно судить по искаженной и все-таки

вторичной судьбе талантливых писателей 60-х годов.

Спор ИБ – с великими, а не с пигмеями. Он должен был бы изменить и общее течение, и общий уровень нашей культуры, направить ее в мировое русло. Потому что весь XX век Россия поражает мир экзотикой – от «Половецких плясок» до необычных судеб Григория Мелехова, доктора Живаго и Ивана Денисовича. Но в том-то и дело, что все это черты России, а не культуры – обыденность, а не взлет. Недостаточно поражать, надо участвовать в общем движении.

Кстати, уж коли зашла речь о плясках, Сергей Дягилев это понял.

Масштаб его личности – мировой, посему и реформа балета – всемирная: от провинциальных опытов мирискусничества в «Русских сезонах» он, рассорившись с прежними друзьями, с Фокиным, с Бенуа, даже с Бакстом, перешел к реформе европейской, а потом – посмертно, с помощью Баланчина – и американской хореографии.

Здесь пора, наконец, вспомнить о Ломоносове – ИБ выступает в схожей роли; вот почему речь идет не только о поэзии, но и о культуре.

ИБ изменяет русский язык «от пейс до гениталий» – сочетание немыслимое (не у других поэтов, а в русском языке до ИБ). Он объединяет мнимо высокое с мнимо низким, ибо есть высоты, на которых иерархии не существует – уравнивает мозг с пахом, иврит с латынью. Его решительность потрясающая – так прыгают с парашютной вышки без парашюта. Пусть даже с парашютом, но впервые – как в пропасть, опрометью, закрыв глаза и затаив дыхание, замирая от страха и счастья и не надеясь, что над тобой раскроется спасительный купол. Пах и мозг, пейсы и гениталии, рай и параша – вещи столь же несовместные, как гений и злодейство; невозможные, непредставимые ни в русском языке, ни в советской поэзии, ни в нашем обществе.

Нужен гений, чтобы несовместное совместить, столкнуть и высечь между ними искру нового смысла.

Нужен гений, чтобы совместить гения и злодейство. Дополнительный гений – помимо того, что служит частью пушкинской антитезы.

Другое имя – Набоков с его трагическим уходом в чужой язык и не менее трагическим возвращением в русский – в русской «Лолите». Вот его полные скорбного торжества слова:

«Телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое (как ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем

по-английски; но столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов, все это, а также все относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям, становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма. Эта неувязка отражает основную разницу между зеленым русским литературным языком и зрелым, как лопающаяся по швам смоква, языком английским: между гениальным, но еще недостаточно образованным, а иногда и достаточно безвкусным юношей, и маститым гением, соединяющим в себе запасы пестрого знания с полной свободой духа! Свобода духа! Все дыхание человечества в этом сочетании слов».

Слова эти имеют причиной не отчаяние, а возникли как результат – вот что мне пришлось преодолеть! Преодоление языка, толчки, чтобы сдвинуть слово с мертвой точки, чтобы не дать ему окостенеть, чтобы оно, как душа наша, отрывалось бы иногда от тела, от предмета, от вещей реальности. Вот о чем помышлял Осип Мандельштам, а вслед за ним ИБ. Эманация и эмансипация слова, его свободное парение между духом и материей – скрещивая культуры, делая русскому языку зарубежные прививки, ИБ завоевывает для родного языка свободу духа, ибо вчерашняя свобода – это сегодняшняя неволя.

Ввиду полного отрыва от читателя есть здесь своя опасность – полного отрыва от культуры: порою стихи ИБ кажутся переводом, а не подлинником, подстрочником, а не оригиналом. Дело, конечно, не только в головокружительном новаторстве ИБ, но и в традиционности русской культуры. Такие истории, кстати, в ней уже случались – художник XVIII века Иван Фирсов обладал первоклассным, европейским талантом, но России остался чужд и остался в ее культуре гадким утенком, в котором никто так и не признал прекрасного лебедя.

Альбинос, изгой, отелло (с маленькой буквы, конечно). Для ИБ спасение, что он поэт, а не живописец: он имеет дело со словом, от Дездемоны он требует не верности, но общедоступности. Латынь притягивается у него матом – как магнитом. В отличие от артистичного и блестящего рационализма Набокова ему в помощь еще и повышенный иудейский сенсуализм. Но отщепенство маячит на горизонте все равно – не моральное, а культурное, не политическое, а географическое: опасность полного и окончательного разрыва с русской культурой.

Бывает, инородное тело, оказавшись в чужой среде,

взаимодействует с ней, а бывает – ею отвергается.

Мы помним, что произошло с Луи Вашканским, самоотверженным пациентом доктора Барнарда – при трансплантации сердца: отторжение.

Это уже трагедия поэта, а не человека. Другое дело, что гений, быть может, не подчиняется общим законам, а создает собственные. Но это еще вопрос и это уже другой вопрос, и решать его надо в другой главе – на конкретном материале стихов.

Глава 11. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ НЕ ПО ПЛУТАРХУ

Все были между собою взаимно знакомы, и все взаимно уважали друг друга.

Достоевский

Коротко говоря, человек, создавший мир в себе и носящий его, рано или поздно становится инородным телом в той среде, где он обитает. И на него начинают действовать все физические законы: сжатия, вытеснения, уничтожения.

ИБ

Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый; и нарекли ему имя: Исав.

Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава; и наречено ему имя: Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились.

Дети выросли, и стал Исав человеком, искусным в звероловстве, человеком полей; а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах.

Быт. 25: 26-27

В Комарово, в Доме творчества, где мы пасли своих детей в зимние каникулы, мы каждый вечер собирались у кого-нибудь в комнате, пили, болтали, травили анекдоты. Мы – это целое сообщество, гордое своей связью, сплоченное, спаянное личным и идейным единством. Такой связи нет ни у кого из наших соседей, писателей-побратимов. Чуть ли не каждый из них тайно нам завидует и почтет за честь, если однажды будет приглашен на наши вечерние посиделки, о которых, конечно, всем известно. Мы редко кого и редко когда приглашаем, потому что боимся нарушить нашу целокупность, которая и так, если говорить

начистоту, давно уже трещит по швам. Комаровский этот наш дружный зимний заезд демонстративен, хотя демонстрация, увы, отстала от того, что мы демонстрируем, запоздала по времени, и только на сторонний взгляд может показаться, что мы – это мы.

Наши здешние посиделки, я думаю, должны своей ежедневно стью вконец исчерпать наши отношения, потому что они факсимильно (и по составу, и по структуре) воспроизводят наши же дни рождения, но те бывают раз в году, по кругу, в сумме пять-шесть раз в году, а здесь день за днем, каждый вечер, а видимся – так по многу раз в день: лучший способ поссорить людей между собой – за ставить их жить совместной жизнью. Бог здесь ни при чем – строительство Вавилонской башни само по себе поссорило незадачливых строителей.

Наше единство – мнимое, наша общность – фиктивная. Мы обманываем самих себя, но, кажется, наш обман уже раскрыт нами – всеми вместе и каждым в отдельности. О Боже, как скучны стали наши дни рождения и как веселы бывали они прежде! Или только мне они скучны, и зря я говорю от имени других?

Или я сам себе скучен?

Передо мной маячит пример Бродского – он первым вырвался из этой элитарной целокупности: не потому, что по натуре перебежчик, а в силу конституционной своей специфики. Спустя несколько лет за ним последую и я, но по иной причине: трудно критику судить-рядить о литературе, предполагая, что вся она сосредоточена на территориальном пятачке нашего арзамаса, а за его пределами хоть шаром покати, ничего нет, сплошная terra incognita. С некоторых пор меня начинает все больше раздражать, что мы замкнулись в своем кругу, читаем исключительно друг друга, волочимся за женами друг друга, а иногда так даже уводим их. Короче, варимся в собственном соку. Мы – это отечественная литература; кроме нас никого в ней больше нет.

Позже я пойму, что наш кружок – не единственный, их множество, и каждый претендует на единственность и уникальность. Тот же ахматовский квартет, к примеру, который на поверку оказался скорее крыловским. А ведь писал один из этой четверки, Бобышев:

…в череду утрат
Заходят Ося, Толя, Женя, Дима
Ахматовскими сиротами в ряд.
Лишь прямо, друг на друга не глядят
Четыре стихотворца-побратима.
Их дружба, как и жизнь, необратима.

Как оказалось – обратима, и пути Бродского, Наймана, Рейна и Бобышева разошлись и творчески, и человечески, и географически. Судьба их раскидала кого куда, никогда им уже всем вместе не встретиться, каждый для другого – утрата. Что естественно – литературные связи хороши в начальную пору, потом они превращаются в мафии, а входящие в них обречены на творческую инфантильность и литературный меркантилизм. «Чем тесней единенье, тем кромешней разрыв» – напишет один из этого ахматовско-крыловского квартета, Бродский. После распада их «вечного» союза каждый был наконец предоставлен самому себе…

Наш союз возник позже – ему еще есть время существовать, пусть мнимо, но «храня движенья вид». Поневоле, чтобы зарабатывать деньги, мне, критику, приходится читать больше, чем моим однопартийцам. Круг моих читательских и профессиональных интересов все более расширяется и отдаляется от их (или еще нашего?) круга. Что делать? Я уговариваю их заглянуть в рассказы Искандера и Аксенова, в статьи Аверинцева, в пьесы Вампилова, в роман Домбровского и повести Венедикта Ерофеева и Василия Белова – напрасно: как в старой оперетте, с незнакомыми они не знакомятся. Они читают самих себя – из сосуда в сосуд, из сосуда в сосуд, у них установились прочные критерии и незыблемые авторитеты – за счет истинных критериев и авторитетов, которые попраны и преданы забвению.

Мы – это кремль, крепость, цитадель, центр вселенной. К высоким и неприступным нашим стенам примыкает посад – посадские не допущены до нас, но находятся под нашей влиятельной защитой, и следующий ряд фортификационных сооружений обороняет и нас, и их.

Я нарушаю средневековый этот этикет и, хоть больше всего раздражаюсь на своих, решаюсь поначалу напасть на посадских. Избираю легкую мишень – и целиться особо не надо, и доказывать свою правоту постфактум не придется – рецензия написана и опубликована.

Я слышу шепот за спиной, догадываюсь о нем, но ни один из моих дружков-приятелей вслух о рецензии не заговаривает, и заготовленный превентивно ответ так и пропадает втуне, чтобы вынырнуть из памяти только на этой странице:

– Я не из вашего детского сада…

Что самое опасное в таких замкнутых сообществах? Круговая порука, дружеская опека, дух аллилуйщины, комплиментарная зависимость друг от друга, а главное – отсутствие притока свежего воздуха. Вроде бы все мы яростные сторонники демократии и свободы, но внутри нашего арзамаса царят

тоталитарные принципы, а диктатура умных людей ничуть не легче диктатуры идиотов.

Мы давно уже надоели друг другу и втайне друг другу завидуем – тот получил квартиру, а этот еще нет; у того вот-вот выходит книжка, а у этого отложили – да мало ли! Зависть, недоброжелательство, злоба – за фасадом тесной дружбы и взаимной любви.

Цеховым и мафиозным нашим связям помогает отечественный литературный фон – страна придает каждому из нас и всем вместе силы и самоуверенности, как Антею мать-земля. Где-нибудь на Мадагаскаре мы и вообще чувствовали бы себя гениями. Ленинград – что-то вроде Мадагаскара: Москва исключена из поля нашего литературного зрения, а уж тем более Иркутск и Вологда, где живут Вампилов и Белов. Наш кругозор сужен нашим кружком – естественно, тайная зависть и еле скрываемая враждебность связывают нас куда более тесно, чем мнимая дружба и фиктивная любовь.

Было бы даже странно и неправдоподобно, если бы вождизм, учительство, мелкобесие не расцвели в нашем литературном саду пышным цветом. Корни этого прискорбного явления следует, однако, искать не в эпохе, которую мы по невежеству либо легкомыслию окрестили эпохой культа личности – хотя какой там культ, когда сама личность отсутствовала, – но в русских литературных традициях. За невозможностью свободной политической, общественной и религиозной деятельности литература в XIX веке была использована в качестве лазейки для нее и контрабандой протаскивалась в ста тьи Белинского, в прозу Гоголя, в стихи Некрасова. Ладно с Бе линским – он был чистой воды политиком, который к литературе относился меркантильно и пользовался ею исключительно в качестве камуфляжа и маскировки. А вот трагедия Гоголя, скажем, за ключалась именно в том, что религиозный проповедник потеснил, а потом и вытеснил в нем художника. Толстой и Достоевский довели до апогея учительский пафос русской литературы, особенно Толстой. Поэтому деятельность Чехова, которая протекала в узости между этими Сциллой и Харибдой нашей литературы, – настоящий раритет: он возвратил отечественную словесность в лоно культуры и эстетики, где она и находилась в пушкинские времена, а уже в гоголевские оказалась за его пределами. Ведь в чем основной конфликт между Чернью и Поэтом у Пушкина?

Чернь.

Гнездятся клубом в нас пороки:

Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

Поэт.

Подите прочь – какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор – полезный труд!
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?

Пушкин не был чужд политике: политика – часть нашей реальности и было бы опрометчиво закрывать ей вход в литературу. Я о другом – о проповедничестве, об учительстве, о вождизме, который смущает даже в таких великих книгах, как «Выбранные места из переписки с друзьями» или «Бодался теленок с дубом». Гумилев говорил Ахматовой: «Все наши писатели кончают тем, что начинают учительствовать. Как только ты заметишь в моем голосе учительские нотки – пожалуйста, сразу же меня отрави».

Естественно, учительский пафос больших наших писателей неизбежно должен был привести к мелкобесию малых литераторов. В Ленинграде – за неимением, с отъездом Бродского, больших писателей – мелкие бесы и ловцы душ стали плодиться с кошачьей скоростью. Разговорные таланты стали цениться выше литературных: читать – труд, слушать – отрада. Актерская поза, манера держаться, налаженная дикция, ораторский пафос и отработанная до тонкостей система приемов – вот вам портрет мелкого беса. Истинные критерии давным-давно утрачены, официальным учителям никто уже не верит, вакантное место занимает наиболее ловкий самозванец – проблема самозванства злободневна в нашей истории на разных уровнях, трон есть лишь ее частное проявление.

Одно счастье – в Ленинграде таких самозванцев-бесов десятка два, если не больше, а потому единоличная диктатура все-таки невозможна. В первоначальном наброске «Романа с эпиграфами» я описал одного из таких дядек нашей литературы и обозначил его Пришибеевым. Сейчас я его изгоняю со страниц романа, дабы не засорять прозу и не обижать человека[2].

Аудитория мелкого беса по преимуществу женская, как, кстати, и все наше русское общество последние два столетия. «Если бы мельница дел общественных меньше вертелась от вееров, дела шли прямее и однообразнее…» – писал русский предшественник Стриндберга, автор «Горя от ума», самого антифеминистского произведения в нашей литературе. Расчет мелкого беса на женщину оправдан ее всемогуществом – если не на политической, то на общественной ниве несомненно. Общественное мнение – мужское по авторству и женское по распространению. Мелкобесие, таким образом, носит частично сексуальный характер; особенно очевидно это при учете института старых дев и дочернего ему предприятия недоуестествленных, хотя и замужних женщин. Представьте себе старую деву, для которой ее редакторское место в журнале или в издательстве – единственная форма ее жизни и ее женской власти, кстати, куда более обширной, чем семейная власть женщины.

По-настоящему мелкобесие расцвело у нас с отъездом Бродского: что-то было в нем, что мешало им резвиться и себя тешить и услаждать – что? Они еще припишут его к своему полку, если ему удастся доказать себя на международной сцене.

Я понимаю, почему так важно Сальери избавиться самому и избавить свою братию от Моцарта: тот нарушает иерархию, смещает ценностную шкалу, путает карты, путается под ногами. Почему так подробен Пушкин, думая о Сальери, так пристален и печален? Он пытается понять своих друзей, скрыто его ненавидящих, – Вяземского, Катенина, Баратынского…

А если бы «Моцарта и Сальери» написал не Пушкин, а Катенин? Что это было бы? Оправдание убийства или апология ремесла? Или апология посредственности?

Любой коллектив, цех, мафия, противопоставляя себя окрестному миру и возвышаясь над ним, пользуются в том числе и невозможностью сравнения, отсутствием гласности и конкуренции. Запретный плод сладок – подпольный или полуподпольный характер оппозиционных высказываний придает им особую привлекательность и дополнительный вес в тоталитарном обществе. К тому же и власть предержащие, окончательно усомнившись в официальной идеологии, своими

неопасными преследованиями неофициально признают за этой фрондой право на существование и некий статус, мало того – на всякий случай заигрывают с ней, предполагая в ней возможную преемницу. Я говорю не о диссидентстве, но о вполне официальной карьере, чутьчуть приправленной диссидентством: при столкновении с властями оно резко преуменьшается – и резко преувеличивается при встрече с чернью. Негласный договор между волком и зайцем: один подтверждает существование другого. Угрозы нет ни для той, ни для другой стороны, но есть видимость угрозы, которая создает видимость деятельности, а та в свою очередь – видимость успеха.

Столь выгодный для цеховой посредственности общий фон – и в самом деле весьма убогий – становится с каждым отъездом все выгоднее и выгоднее. Помимо отъездов за границу, уезжают из Ленинграда в Москву: Битов, Найман, Рейн, Соловьев с Клепиковой. Я вычеркнул из «Романа с эпиграфами» моего приятеля Пришибеева, дабы роман не занесло в мелководье мелкобесия, но несколько слов о его популяризаторской деятельности все же скажу, ибо лица необщим выраженьем он не обладает и легко сойдет за любого другого модного литератора-историка.

Впрочем, какая там литература – не ночевала. «Пришибеев» выпрямляет чьи-то ушедшие судьбы, и все они – скажем, декабристы, или Крылов, или Пушкин, или Татищев – превращаются под непреклонным его пером в маленьких оловянных солдатиков с оттопыренными ушами, вырезанными, как у Хлопуши, ноздрями и красными, как елдак, крутыми лбами. «Пришибеев» населяет нашу литературу своими покорными двойниками, убежденный, что ему на роду написано открыть замутненному взору русских читателей подлинный облик русских классиков.

И вот уже Пушкин гибнет в столкновении ни больше ни меньше как с русской историей – будто не было ни слабоватой на передок Натали Гончаровой, ни многочисленных друзей-сальери, ни людской злобы, ни праздного сплетничества, ни назойливой и унизительной царевой опеки и связанной с ней общественной клеветы, ни самого Пушкина, вконец запутавшегося в самом себе и в своей жизни! Этого ли недостаточно, чтобы уложить человека живьем в гроб? Бродский хорошо как-то сказал, что дуэль Пушкина – стихотворение, в конце которого раздается выстрел, даже два, и это как бы парная рифма. А «Пришибеев», упустив пушкинскую судьбу, но учтя острое желание публики превратить великого человека в маленький домашний идол, отчужденную форму пушкинского самоубийства истолковал в плане

политического убийства, от которого, мол, и мы не застрахованы. Две-три поверхностные ассоциации века минувшего с веком нынешним и несколько суждений по аналогии оказались манком либо фата-морганой для политически легко возбудимого советского читателя с оппозиционным кукишем в кармане.

Культуртрегерскую свою деятельность «Пришибеев» выдает не только за художественную – мало того! – за мессианскую, устными беседами добирая то, что не собрал, стуча на машинке. Официальное непризнание – его печатают, но, скажем, не рецензируют или еще не приняли в Союз писателей, что-нибудь в этом роде – добавляет к его небольшой славе ореол мученичества – тоже небольшой, но в сумме получается достаточно. В эпоху тотального невежества знание им сотни фамилий из русской истории, десятка стихов наизусть и несколько десятков дат – кто в каком веке жил и кто чьим был современником – делает из него эрудита, полигистора, энциклопедиста. Даже в тесном нашем дружеском кругу он любит произнести несколько стихотворных строчек и сделать паузу, давая нам возможность отгадать автора. Он искренне радуется, когда в этой викторине мы проявляем свою немощь и с треском проваливаемся.

Учительский пафос в конце концов увлечет и Сашу, хотя его тихой музе пьедестальный вождизм более всего противопоказан, ибо самое оригинальное свойство его стиха – это полемическое и программное отрицание оригинальности его героя-автора, нивелировка и деперсонализация авторского персонажа-наместника, попытка обрести поэтическую индивидуальность через уничтожение индивидуальности человеческой, стать поэтом, сняв отличие поэта от непоэта, уравняв поэта с читателем.

Об этом чуть позже (или ниже), а сейчас о подпольном вожде молодой ленинградской интеллигенции, мелком бесе крупных габаритов Лидии Яковлевне Гинзбург. Без нее портрет литературного Ленинграда был бы неполным.

Многие ее не признают, кто-то из прежних ее учеников против нее бунтует, но так и должно вождю – иметь отступников.

Старая толстая еврейка, когда-то – предполагаю – красивая, сейчас – бесформенная, до сих пор страстная лесбиянка, и ее любовные конфликты с домработницей – сюжет для небольшого рассказа. Кажется, она была самой юной формалисткой, соратницей – или, скорее, все-таки ученицей? – Тынянова, Эйхенбаума, Шкловского. Будто бы – такова легенда – она по молодости лет не успела проявиться, а потом формалистов разгромили и началось литературное прозябание, и только в 60-е и 70-е годы смогла она издать свои книги о поэзии и прозе. Будто

бы, с одной стороны, признанные, публикуемые, существующие в сознании читателя, хоть и опальные, Тынянов «со товарищи», а с другой – железная дверь, которая захлопнулась на этих именах как раз перед носом Лидии Яковлевны. И сколько лет она ждала, ждала без всякой надежды, пока перед ней не отворилась эта безжалостная дверь – нежданно-негаданно, случайно, чудом. И квартира Лидии Яковлевны на канале Грибоедова стала Меккой – к ней шли на поклон, как до этого к Ахматовой, и Лидия Яковлевна вроде бы недовольно, а на самом деле – самодовольно пеняла, что, мол, молодежь должна спорить, оскорблять, забывать стариков, чтобы было движение, а не слушать, раскрыв рты, про блаженные двадцатые, как слушают ее, а лучше бы – опровергали! А по сути была монологисткой и любую попытку спора воспринимала как наскок и претензию. Делаю здесь историческую сноску: политический матриархат в традициях Петербурга, где 70 лет кряду – в XVIII веке – на русском престоле восседали бабы.

Однако все, что я здесь рассказал о Лидии Яковлевне, относится к разряду легенд, до которых мы охочи ввиду очевидной нехватки у нас фактов. Но даже когда они есть, мы предпочитаем легенды – уж так устроены! А реальность я подозреваю – и прозреваю! – иную и, как Генрих Шлиман, рою свою траншею в моем Гиссарлыке, имя которому – Ленинград.

Не думаю, чтобы Лидия Яковлевна опоздала родиться – просто Бог дал ей меньше, чем тем, чей далекий и ослабленный временем отсвет создает сейчас вокруг ее головы сияющий нимб. Те писали второпях, конспективно, скорописью. Особенно Тынянов: торопился, словно предчувствовал, что оборвется ниточка; спешил, потому что не поспевал за крылатыми своими мыслями, которым вел стенограмму, до сих пор как следует не расшифрованную. Из брошенного второпях и ненароком кем-нибудь из них наблюдения Лидия Яковлевна сочиняла пухлое исследование, выстраивала концепцию, потрясая мозги юных своих малообразованных современников.

Вот ее книга «О психологической прозе» с главным тезисом – влияние на официальную литературу окололитературной продукции: письмо, газета, документ, дневник. Обо всем этом в книге Тынянова «Архаисты и новаторы» (1929) пара блестящих абзацев – вполне достаточно. Добавления Лидии Яковлевны – не развитие тыняновской мысли, а украшения к ней, иллюстрации, побрякушки, завитушки. Их могло быть больше, меньше, могло не быть вовсе, они необязательны, скрывают остов идеи: литературоведческое барокко.

Лидия Яковлевна не соратница и даже не ученица

формалистов, но их эпигонка – она разжевывает, разъясняет, популяризирует и неизбежно симплифицирует, а значит, искажает – то, что теми было открыто в двадцатые годы.

Увы, это неизменный закон: истина начинает свой путь с парадокса, а кончает трюизмом.

Лучше всех об этом написал Баратынский:

Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушенная жена
В свободной позе романиста;
Болтунья старая, затем
Она, подъемля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.

Не думаю, что Лидию Яковлевну следует подвести под последнюю категорию – туда скорее надо определить «Пришибеева», эту тень тени. Ибо Лидия Яковлевна, хотя тоже тень, но отбрасываемая реальной фигурой, даже несколькими, – густая тень. А может ли отбрасывать тень – тень? Вот еще причина, почему мне показался лишним на этих страницах «Пришибеев» – ввиду его нереальности, несмотря на множественность. Таких, как он, много, но они уж совсем лишены индивидуального, оригинального, личного. Они есть и их нет. Покончим, однако, наконец с Лилией Яковлевной.

Она и в самом деле удачно вклинилась бы в середину стихотворения Баратынского – не дева темная, но и не старая болтунья: искушенная жена, место достаточно почетное. Однако ее путь пересекся не только с формалистами. Вторая памятная встреча ее жизни – с блестящим профессором Г. А. Гуковским, у которого она заимствовала схему литературного прогресса – вроде марксовой теории экономического, и помножив формализм 20-х годов на социологию 30-х, она выплыла с этим чудовищным гибридом на литературную сцену 60-х, а тогдашняя аудитория слопала бы и не то, ибо за долгие годы вынужденной диеты, а фактически голода – с середины 30-х до середины 50-х – проголодалась настолько, что поедом ела без разбора все, что давали.

Бродский как-то слишком быстро, решительно и бесповоротно от Лидии Яковлевны отвалил – был неуемен, неуместен, насмешлив, романтичен и бестактен. Да и потом он был из «волшебного хора» Ахматовой, а после Ахматовой и по сравнению с ее московской подругой Надеждой Яковлевной Мандельштам, воспоминания которой вместе со стихами Бродского литературные вершины нашего безвременья, наша «Яковлевна» выглядела заштатно, вторично и даже пародийно, а ее претензии, пусть подкрепленные в самом деле иногда интересными дневниковыми страничками, которые она читала нам вслух, – все-таки необоснованными. Тем не менее Саша прилепился к Лидии Яковлевне сразу и навсегда, и похоже, что и она его как-то из остальных выделила и литературно усыновила, резко противопоставив другому сыну, в ее представлении – блудному, хотя он сам, скорее всего, даже не подозревал об этом родстве, – Бродскому. В Комарово мы с ней в конце концов поссорились из-за него – смешно сказать, не из-за него самого и не из-за его стихов, а из-за его места в русской литературе, в первый ряд которой Лидия Яковлевна его не допускала. Однако именно она тогда мне пророчески сказала, что любить обоих невозможно – Сашу и Осю:

– Вот увидите, с Сашей вы расстанетесь, потому что вам придется выбирать, и вы выберете Бродского.

– А у вас проблемы выбора не было?

У Лидии Яковлевны, несомненно, есть чувство юмора.

– Я выбрала, что осталось, – сказала она.

Я был помоложе самых молодых ее учеников, пристал к этой компании позже других; как говорит деревенский дед Федя-пердунок – говно приблудное. Выслушивать монотонные учительские монологи Лидии Яковлевны у меня терпения не хватило – вслед за Бродским я от нее на своей утлой лодчонке отчалил, а потом постепенно, как колобок, и от всей честной компании, от всего корабля ленинградской литературы: адье!

А с Бродским они поступили так – настойчиво и разнообразно стали его отрицать. Они согласились бы ему покровительствовать, ежели бы он, подчинившись, пусть формально, их диктату и установленной ими иерархии, встал бы под сиятельную их защиту, в ко торой нуждался. В нем, однако, сработал безошибочный его инстинкт творческого выживания, самосохранения. Он понимал, что рвать надо с ближними, которые на поверку самые дальние, дальше некуда, – и рвать немедля, пока тебя не затянуло, пока они под видом любви и опеки не окрутили тебя с ног до головы патокой, елеем, дружелюбием, цеховыми связями, которые еще неизвестно –

больше дают или больше отымают? Бродский отвалил, нанеся обиду, и был предан анафеме, которая заключалась в замалчивании. Принцип простой: ты не с нами – значит, тебя нет. А это как раз то, что Бродскому было позарез необходимо: доказывать свое существование не только советской власти, но и мнимым ее оппонентам. Бродский взялся за дело горячо и в несколько лет одолел барьер несовместимости, присоединившись к высокому ряду: Державин – Баратынский – Пушкин – Тютчев – Пастернак – Мандельштам. Если так дальше пойдет, он и в мировую литературу проникнет – первым из русских поэтов.

Бродский действовал по инстинкту, а Саша потом попытается нагнать его – естественно, в отечественных пределах – по стратегии.

Здесь их главное отличие при внешнем сходстве – у обоих неистребимый инстинкт самосохранения. Но у одного житейский – у Саши, а у другого – литературный. Саша ничем не пожертвует из своей жизни ради своей судьбы, а Бродский судьбой ведом, и единственно ею: сыщется ли на свете лучший проводник? Вроде бы он все делал во вред себе, а выходило на пользу. А Саше – все на пользу, хотя по сути во вред; но даже если он это понимает, то не принимает в расчет. Ося и в ссылке побывал, и в тюрьме, и в психушке, и каждый его шаг и чих на учете в КГБ, и стихов не печатали, и со всеми ссорился – а выиграл!

А у Саши – психология отличника, в поэзии он Молчалин, старателен, рационален, аккуратен, все до мелочей продумано – все его любят, все печатают, у него всего одно непечатное стихотворение, он добился признания и славы, с ним считаются – и все равно ощущение неудачи, что-то не получилось, всю жизнь старался, корпел, выстраивал какую-то там цепь электропередач, а вот не сработало, не замкнулось, контрольная лампочка не горит, и в чем дело – непонятно; оттого мрачен, складочка у рта какая-то все выдает – не трагедию, а скверность. Но не заново же все начинать – поздно, хотя обидно…

У Саши жизненный инстинкт самосохранения, у Бродского – инстинкт судьбы.

У Бродского инстинкт литературной судьбы, а у Саши – литературной карьеры.

Гениальный импровизатор – и старательный версификатор.

Только можно ли упрекать человека, что он не поэт Божьей милостью, а профессиональный стихотворец, добившийся всего сам, трудом и стратегией?

Бродский зарабатывал славу у вечности, игнорируя отечественные условия существования, – Саша предпочитал синицу в руке журавлю в небе. Думал ли Саша о вечности?

Вначале она в его расчеты не входила, и был он о своих возможностях скромного мнения, но постепенно, уяснив технику успеха, занялся ею всерьез – ежели можно обхитрить современников, то почему не потомков? Почему потомки должны быть умнее современников? Да и не до нас им будет – у них своих будет дел по горло. А потому наши оценки окончательные, потомки примут их на веру, как мы приняли на веру оценки наших предков.

С отъездом Бродского честолюбивые Сашины мечты обострились и удлинились: он лишился – так казалось ему, не ступавшему ногой дальше Праги – соперника, конкурента, врага. Так гипнотизировало Сашу пространство:

> Жить в городе другом – как бы не жить,
> При жизни смерть дана, зовется – расстояньем… —

вот он и счел своего противника умерщвленным расстоянием.

Какое счастье, что это все-таки не так.

Плюс сплетни: Бродскому плохо, ему не пишется, поэт без родины – не поэт.

Когда начали отпускать евреев, Саша страшно перепугался:

– Нам перестанут доверять!

– А так будто доверяют?

– Попомните мои слова: нам будет хуже!

– Саша, о ком все-таки речь? Пусть будет хуже, но не так все-таки, как тем, кто вынужден уехать, для кого эта страна – тюрьма. Разве это не счастье, что они получили свободу? Я говорю не только о евреях, но о всех, кто загнан в угол. Им-то, уж наверное, будет лучше, потому что так плохо, как здесь, просто не может быть.

– Не знаю, не знаю – про них не знаю. Хотя очень сомневаюсь, что им будет лучше там, чем здесь, потому что едут-то в основном неудачники – здесь они все свои беды сваливали на государство, Россия у них была козлом отпущения, а там они с кого спрашивать будут?

А нам – мы же остаемся! – нам будет еще хуже, чем им!

– Будет хуже – так уедем вслед за ними!

Нам и в самом деле стало хуже – потому что мы стали хуже. Подавали заявления самые отважные – а для этого и в самом деле нужна была отвага, – и их среди нас не становилось. Уезжали не неудачники – разные, в том числе неудачники, но вместе с ними и лучшие среди нас; зато те, кто оставался, становились хуже, вынужденные приспосабливаться к резко меняющимся условиям. А политическая, общественная и культурная ситуация в стране и

в самом деле менялась стремительно и катастрофически – мы физически не успеваем зафиксировать одно изменение, как на смену ему уже грядет следующее. Повылазили наружу те, кто прежде прятался в щелях и головы по своему убожеству не поднимал – свято место пусто не бывает. Я говорю не только об официальных синекурах, меньше всего о них, они редко доставались евреям, а уж коли доставались, то за столь дорогую цену, что ни о каких отъездах и помыслить было невозможно, – скорее о нашей общественной жизни, которая мельчала, оскудевала, пока и вовсе не сошла на нет. Отъезды порождали ощущение все увеличивающейся пустоты внутри нас – в государстве, в литературе, в каждом по отдельности, – и бороться с этой пустотой становилось все труднее. Циркулировал тогда анекдот об отъезжающем еврее, который, стоя уже на подножке вагона, просит передать последнему, кто будет уезжать, чтобы не забыл погасить свет.

Вся беда в том, что свет погас сам и задолго до того, как отсюда уехал последний еврей. Да и не в евреях дело. Не в одних евреях.

Мы сидим в кромешной тьме и не видим ни зги.

Лично для меня два пограничных столба отделяют одно время от другого: отъезд Бродского, 1972 год, и арест Володи Марамзина, 1974 год, – между ними нейтральная полоса. Мы с Сашей оказались по разные ее стороны.

Саша обрадовался отъезду Бродского – убери соблазн, и греха не будет или, точнее, коли уж пользоваться излюбленными мною поговорками, с глаз долой, из сердца вон! И в самом деле поначалу Саша упивался этим странным выигрышем у отсутствующего противника – как ему было догадаться, что этот отъезд для него как для поэта губителен.

Почему так испугала Сашу эмиграция? Только ли потому, что к оставшимся евреям будут хуже относиться?

Впервые за много лет евреи (а с ними и неевреи) получили право выбора – взамен права на приспособление.

Момент выбора – самый гениальный – нет, не в жизни, в человеческой судьбе. Право выбора делает человека свободным.

В детстве я мучительно переживал детерминистскую свою зависимость от Бога, мелочную Его опеку над собой. Не знал, как проверить, свободен я или нет. Поверну направо – а вдруг это Бог предназначил мне повернуть направо? Знать бы, что мне предначертано, и сделать наоборот!

Нам была предначертана здешняя жизнь – злым и жестокосердым нашим Богом, испытующим наши сердца на прочность.

И выбора не было, даже надежды на выбор не было – функции Бога были присвоены тоталитарным государством, и единственное, что оставалось, – это приспосабливаться к подневольным условиям здешнего существования, успокаивая себя тем, что могло быть хуже, живи мы, скажем, в сталинские времена. Выбора не было, и вдруг выбор, как манна небесная, свалился на наши головы. А Саше от этого стало жить тяжелее – слишком далеко он зашел в сервилизме, не было пути назад: прочно и обстоятельно устраивался он в этой жизни, принимая ее за обязательную, единственную, неотменную и вечную – ныне и присно.

Мне было все-таки легче, я был на несколько лет моложе, неустроеннее, голоднее, легкомысленнее и, не собираясь никуда уезжать, обрадовался чужим отъездам как своей свободе.

Это легко понять и трудно объяснить.

Саша родился в тридцать шестом, Бродский – в сороковом, я – в сорок втором. Я сейчас даже не о том, что рожденные в «года глухие» русской истории в самих уже своих генах, в крови, в гемоглобине несут неосознанный страх и покорность. Я сейчас о другом: Саша на шесть лет дольше меня жил при Сталине, а это очень много.

Сейчас все боятся, а такие, как Саша, тайно мечтают, что эта дверь наружу может ненароком захлопнуться – и все снова окажутся в клетке. Опаска эта приводит к панике и суете, и многие уезжают преждевременно, до того как пришла их пора, без нужды, из перестраховки. Но эти опасения понятны, объяснимы – это и в самом деле странно, что тюрьму можно покинуть по собственному желанию, причем (вот парадокс!) самым бесправным ее обитателям. Словно Бог позаботился об этом равновесии. Хотя какое там равновесие! Согласились бы критики еврейской эмиграции – «вам есть где жить, нам есть где умирать!» – поменяться судьбой с евреями? Всей судьбой, а не только случайной этой привилегией?

Естественно, право эмиграции должно быть всеобщим, хотя сама по себе эмиграция противоречит драконовским законам нашего государства. Нельзя поддерживать давление в сообщающихся сосудах, если один из них дал течь.

Я, однако, спокоен: запереть эту дверь уже невозможно – по той причине, что ее больше не существует; не хозяева ее открыли, а гости выломали, сытые по горло опасным и затянувшимся гостеприимством своих хозяев, к счастью, временных.

Говоря так, я не противопоставляю евреев русским. Я говорю об отъезжающих и остающихся, независимо от происхождения тех и других.

Тот же Саша – плоть от плоти этой страны: он вырос здесь, ища компромисс между «можно» и «нельзя», и иной жизни не представляет и боится, ибо иная жизнь – не обязательно там, но и здесь – потребовала бы полной душевной перестройки, пришлось бы начинать все сначала. А Саша живет прежними завоеваниями, процентами с добытой славы. Свободной конкуренции он боится, потому что вся его жизнь – это избегание проблемы выбора даже в тех ограниченных пределах, в которые эта проблема втиснута у нас в стране. Саша – изоляционист, и будь его воля, он бы самолично запретил эмиграцию.

Здесь свой денежный курс, условный и не имеющий отношения ни к международной валютной системе, ни к ценностной шкале, ни к истинной иерархии. И Сашей в этой условной денежной системе, установленной свыше и произвольно, честным трудом накоплен некий капитал, и вот оказывается, что эти деньги – трын-трава, бумажки, как в волшебном магазине у Воланда, условные знаки, и цена им – ломаный грош. Как только кончается полная изоляция государства – а она кончилась с началом эмиграции (не еврейской, а литературной), – мгновенно обесценивается его автономный ценностный курс, ибо связь, даже минимальная, требует приведения отечественной системы в соответствие с мировой.

Я сейчас говорю не об экономике, но о литературе.

Когда из Советского Союза был изгнан Солженицын, а из Ленинграда Бродский, Саша, как и все мы, почувствовал сейсмический толчок, но вместо того чтобы снести накопленный им капитал из обесцененных денег в макулатурный пункт и начать жизнь сначала, продолжал с еще большим рвением собирать разноцветные бумажки, которые когда-то считались деньгами. Он испугался и засуетился – таким трудом давшаяся ему слава текла сквозь пальцы и не было сил удержать ее.

Я ловлю себя сейчас на том, что мой подбор свидетельств и аргументов слишком тенденциозный, односторонний, умышленный. Справедливости ради скажу, что Саша приобрел себе место и имя в литературе честным путем, я в этом уверен. Ему крупно повезло: он вытащил счастливый билет, вышел один сборник его стихов, другой, третий – это и в самом деле было похоже на чудо, потому что в тех старых своих стихах Саша шел своей дорогой, не оглядываясь по сторонам и не обращая внимания на широкую магистраль, которая гостеприимно расстилалась перед ним и по которой, дружно печатая шаг, маршировала в одном направлении официальная советская поэзия, а в противоположном, ей навстречу, но по тому же

хорошо укатанному шоссе – фрондерская. Парадокс Саши, однако, в том, что то, что шло ему прежде на пользу, сейчас – во вред. Личное свое везение, случайность, оговорку судьбы он счел закономерностью, возвел в закон и стал все делать – и с каждым днем все больше и больше, – чтобы удержать чудо судьбы в своих руках. Он сделал для себя счастливое исключение из всеобщего правила, хотя как раз это исключение своей случайностью и кратковременностью доказывало неизбежность правила. Как Фауст, мгновению он решил придать черты вечности – так возникла теория микроклимата: всем плохо, а мне хорошо, значит, моя форма жизни – идеальная, и если бы все жили, как я, то всем было бы хорошо, как мне.

Кончилось это тем, что феномен судьбы он подменил стратегией ума.

Такова механика производства из тихих еврейских мальчиков государственных поэтов.

Стихи Саши теряли свою оригинальность и становились все хуже и хуже – и по государственному в них пафосу, и по их качеству: Саша дублировал либо свои прежние стихи, либо чужие, в том числе Бродского, пытаясь в благополучную свою судьбу круглого отличника вписать, втянуть, насильно втащить трагическую судьбу отщепенца и изгнанника. Доживу ли я до того момента, когда он и будущую славу Бродского приспособит к своим нуждам?

После Сашиных стихов к стихам Бродского припадаешь как к источнику: после копии – к оригиналу.

Бродский был первооткрывателем, Саша популяризатором. При нормальной и открытой литературной ситуации все бы встало на свои места. Но когда оригинал держат втайне от читателя, репродукция выдает себя за оригинал, а настоящий оригинал, будь он даже напечатан когда-нибудь, сочтен будет копией. Это страшная подмена настоящего мнимым, косматого Исава – гладким Иаковом…

Однако даже не в этом суть.

В Саше от природы не было трагизма. Он редчайшее явление советской действительности – удачник, и его судьба – пир во время чумы.

Но из истории литературы Саша знал, что не бывает счастливых поэтов, что счастье хорошо в жизни и немыслимо в поэзии.

Улыбке я предпочитаю смех – в нем трагическая изнанка и горький осадок.

Наперекор фактам, наперекор жизни, наперекор истории Саша таки изобрел некую теорию о незамутненно-счастливых

поэтах и чуть ли не литературный ряд из них выстроил – от Дельвига и Фета до Ахматовой и Кузмина – в пику всяким там Мандельштамам и Цветаевым, и к этому классическому ряду сам пристроился с восторгом в душе и улыбкой на устах.

Как нас раздражала эта его улыбка на все случаи жизни – умирал ли кто у нас из близких либо доблестные наши войска вступали в столицу Чехословакии, да мало ли! Человек окружен трагическим кольцом, а Саша предпочитал этого не замечать и был неунывающим оптимистом во что бы то ни стало, что играло не последнюю роль в той если не любви, то терпимости, с которой относились к нему городские власти, ибо официальное бодрячество он подтверждал добровольно и утонченно.

Любая жалоба для него – хула на действительность, любая трагедия – натяжка и поза, пессимизм – отказ от гармонии и повреждение миропорядка.

Упаси меня, Боже, я не за счастье его осуждаю, а за неверие в чужое несчастье, за отрицание чужой трагедии, за несочувствие, за равнодушие, за защитную броню, за стальной характер и за далеко не всегда уместный оптимизм.

Сашино довольство жизнью вошло у нас в поговорку. Давид Яковлевич Дар рассказал как-то – мне при Саше, – как в пору литературного своего дебюта Саша к нему этаким петушком приходил, подпрыгивал:

– Что это вы, Саша, все такой радостный – хоть бы тень по лицу пробежала?

– А зачем тень, Давид Яковлевич, неоткуда тени взяться, все хорошо.

– Ну так уж и все – неужели вы всем довольны, Саша?

– Всем, Давид Яковлевич, всем!

– А вот вы роста маленького, женщины вас не любят, наверное…

– Любят, Давид Яковлевич, я только что женился на красавице и выше меня ростом, представляете!

– А вот стихи, Саша, небось, не все печатают?

– Все, Давид Яковлевич, сейчас сборник выходит – почти все, что написал, все вошло.

Давид Яковлевич не выдерживает:

– Ну а жидом, Саша, вас кто-нибудь, черт побери, называл?

– Нет, Давид Яковлевич, никто ни разу, никогда.

– А вдруг назовут?

– Не назовут, Давид Яковлевич, я не чувствую себя евреем. Я только по паспорту еврей, а так нет. Да я и не люблю евреев, мне даже обидно, что я еврей.

Я помню, как мы с ним впервые поссорились, когда я шутя,

играя в карты, назвал его Александром Соломоновичем, каков он и есть в паспорте, хотя всем устно представляется и в книжках пишет, что Александр Семенович. Я знал, сколько мук ему стоит при заполнении разных денежных ведомостей предупреждать, что в бумагах он «Соломонович», а в жизни и в литературе «Семенович» – и что это ему дает, когда у него такая еврейская фамилия?

Когда я отпустил свои пышные усы, в которых хожу по сию пору, изредка подравнивая их под нажимом Лены Клепиковой, и все мои косные приятели усы мои дружно осудили, Вы один, Саша (я встретил Вас в редакции «Невы» и потом мы ехали куда-то в троллейбусе), поддержали их и одобрили. А на мой удивленный возглас, оглянувшись, обещали объяснить, когда выйдем и останемся tête-à-tête. И объяснили, уже на улице, но все равно шепотом: в усах я меньше похож на еврея, чем без оных.

Я хотел их немедленно сбрить, но, поразмыслив, оставил.

А как Вы меня уговаривали не переезжать в Москву, когда я безнадежно тосковал по столице, чтобы не узнали, что критик Владимир Соловьев еврей.

Ах, Саша, Саша – что за секрет Полишинеля…

Мы вели с Вами семинар поэтов Северо-Запада – нам попалась на редкость бездарная «армия поэтов». Единственное исключение – Ася Векслер, не ахти что, но хоть литературно грамотная. К тому же Ваша эпигонка – эпигонка эпигона. Как и Вы, небольшого роста, да и фамилии Кушнер и Векслер составляли какую-то странную пару. Мы имели право рекомендовать стихи участников для публикации в журналах и в «Дне поэзии». Естественно, я предложил Асю Векслер. Вы наотрез отказались меня поддержать. Я подумал было, что Вы стесняетесь пародии на себя. Известно ведь, что один литературный герой даже убил на дуэли человека, который компрометировал его пародийным сходством: Печорин – Грушницкого. Это было бы понятно, объяснимо. Но Вы снова перешли на шепот, когда мы поздно вечером вышли из Дома писателей:

– Ну как вы не понимаете, Володя! Мы же с вами евреи: два еврея рекомендуют еврейку – что о нас подумают?

А если бы у нас в семинаре был Мандельштам?

Я знаю про ваши ссоры с Таней – вы хотели, чтобы ваш сын носил ее русскую фамилию, а не вашу еврейскую, а Таня – из жен ского честолюбия, что ли? вы уже были тогда известным поэтом – сопротивлялась насильственной этой русификации. Вашему сыну уже четырнадцать лет, а он до сих пор не знает, что его отец еврей. Я помню, как вы на меня зашикали, когда я спьяну обратился – при вашем сыне – к вашим гостям:

– Граждане евреи и неевреи…

Какое это стыдное слово – «еврей», как «сифилис». В трамвае оборачиваются, когда я его произношу. Мы понижаем голос до шепота, когда говорим «еврей». Мы стыдимся самих себя – на нас знак отверженности, и мы притворяемся русскими. Мы, евреи, боимся покровительствовать человеку, если он еврей. Мы стыдимся идти рядом с нашим провинциальным родственником – у него местечковые манеры, он картавит и растягивает слова и выдает нас с головой: пародия кивает на оригинал. Мы хотим умереть и родиться заново – не евреями, русскими. Мы хотим сбросить с себя свое происхождение как грязную рубаху, полную вшей.

Эта национальность как клеймо раба – мы прячем его, мы стыдимся его, но мы умрем с ним, и наши могильщики обнаружат его на нашем трупе и похоронят соответственно пятому пункту.

Мне стыдно моего стыда.

Слово «еврей» я произношу теперь громче, чем все остальные слова, – мне не соизмерить голос: с шепота я перехожу на крик, чтобы произнести это постыдное слово нормальным голосом. Я кричу о том, о чем боюсь прошептать.

В Союзе писателей мы обсуждали книгу Б. Я. Бухштаба об Афанасии Фете. Вышел Леша Леонов и долго говорил об Орловской губернии, откуда он, как и Фет, родом; о своем деревенском детстве; и странные, зыбкие какие-то мостики перекидывал от своей жизни к жизни Афанасия Фета. И в конце концов проговорился – даже не проговорился, а выговорился, – выговорил то, к чему клонил блудное, косноязычное – либо лукавое? – свое выступление:

– Вот мы узнали из этой книжоночки, что наш русский поэт Афанасий Афанасьевич Фет был не Фет вовсе, а Фёт, к тому же еврей, хотя и скрывал это и даже завещал шкатулку с соответствующими бумагами к себе в гроб положить и похоронить вместе с ним. Что и было сделано согласно воле покойника. И вот теперь могилу его разворотили, шкатулку вынули и жгучую эту его тайну на весь свет растрезвонили.

С трудом во все это верится, но что делать? Мы из-за этого отрицать Фета не станем, тем более он сам всю жизнь этого стыдился и, кто знает, может, на этой почве и умер. Пусть еврей – разве в этом дело? У нас в Орловской губернии такая земля, что даже если палку воткнешь – и та в рост пойдет, корни пустит, цвет даст. Хотя, конечно, жаль, что еврей. Такой поэт – и еврей: кто мог подумать?

Зал рассмеялся, потому что антисемитизм Леши Леонова был наивен, непосредствен, я бы даже сказал – чист, хотя слегка

дебилен, если только не лукав. Это все равно как если бы нелюбовь к евреям обнаружилась вдруг у любимой кошки – что с нее возьмешь? А Лешу мы все любили – его крепкая проза была правдива, честна и трагична; далеко не все из нее и далеко не лучшее попадало в печать.

Но вот вышли на трибуну Вы, Саша, поэт, интеллигент, западник, и что стали вы говорить?

В зале воцарилась мертвая тишина, и только скрип стула под чьей-то задницей резанул общее ухо аудитории – так были все потрясены тем, что услышали. Вы тоже заговорили о происхождении Фета, хотя слово «еврей» не произнесли – не решились: это слово для вас немыслимо произнести с трибуны. Вы сказали, что родители Фета жили в Германии, и зачат он был в Германии, но родился в России и стал русским поэтом.

Конечно, продолжали вы, родись он в Германии, Фет, может быть, и тогда бы стал поэтом, но таким великим, как здесь, не стал бы, потому что, во-первых, после Гейне ни один великий поэт не писал на немецком языке (а Рильке? и почему бы Фету не заполнить этот промежуток между Гейне и Рильке?), а во-вторых, именно Россия дала Фету ту меру и тот масштаб, которые сделали Фета великим поэтом.

Я нисколько, Саша, не упрощаю вашу мысль, скорее напротив – подбрасываю вам аргументы, и все равно получается та же самая палка, которая расцвела, оказавшись на нашей благодатной русской земле.

А сколько талантов, главным образом русских по происхождению, эта земля загубила?

Что это за земля такая, которая к собственным сынам относится как к евреям?

Бродский и был таким евреем – не только по рождению, но по судьбе: жидом, отверженным, парией. В том смысле, о котором писала Цветаева:

Гетто избранничеств.
Вал и ров.
Пощады не жди.
В сем христианнейшем из миров
Поэты – жиды.

Бродский был в Ленинграде двойным жидом – жидом и поэтом: не стеснялся этого, но даже настаивал на этом своем двойном изгойстве.

Трагизм был заложен в нем первоначально, тайная первооснова его жизни трагическая, он был зачат тоскливой

осенней ночью – в непогоду, тайком, второпях, в трепете забот иудейских. Саша был зачат рационально, спокойно, предусмотрительно, по всем правилам зачатия.

Бродский – гениальная оговорка природы, случайное ее вдохновение, слепое бормотание, опрометчивость страсти, когда все исчезает окрест, и Бог стоит, усмехаясь над вакхическим трансом одеял, подушек и простыней, никем не замеченный. Зачатие Саши – это планомерная и обдуманная работа по договоренности о самовоспроизводстве. Зачатие Бродского – трагическое зачатие древних иудеев, не уверенных в завтрашнем дне, но помышляющих о запредельных временах истории, о бездне вечности. Зачатие Саши – это оптимистическое зачатие советизированных евреев, уверенно глядящих в завтрашний день и не подозревающих о существовании послезавтрашнего.

ИБ – даже не еврей, а именно иудей, хотя и не в религиозном смысле, но в древнем, генетическом, метафизическом. В нем таинственная помесь жестоких и мстительных галилейских пастухов и пархатых местечковых мечтателей. Он не читает стихи – он их шепчет, бормочет, пробалтывает, слова исчезают: это лепет младенца или дадаиста, невнятица безумия, заговор против реальности. Трагизм, конечно, усилен советскими условиями, но основа его иная, первобытная – из-за несоответствия между словесным жестом и окрестной действительностью. Напротив, Сашины стихи – объективное и успокоительное свидетельство о мире, аккуратный и добросовестный фактограф, с пиететным и робким отношением к действительности. ИБ искажает мир до неузнаваемости, он находится с ним в конфликтных, враждебных, антагонистических отношениях. Или – или; или ИБ– или мир. Он больше своих стихов, торчит из них отовсюду, высовывается, чтобы взглянуть на них со стороны и удивиться их несовершенству, неадекватности, импульсу и вдохновению: «Жизнь отступает от самой себя и смотрит с изумлением на формы, шумящие вокруг», потому он и проглатывает слова, строки, строфы, что не верит, не доверяет ни слову, ни стиху, ни слушателю, ни автору, то есть самому себе не доверяет.

Он не удовлетворен своим стихом – не вполне удовлетворен, а то и вовсе неудовлетворен; знает, что поэзия ему сопротивляется, мучается из-за этого и теперь – в отместку! – уже он сам сопротивляется собственному стиху, словно вгоняя его туда, откуда он вышел, прерывая его существование. Бродскому стих жмет, как ботинок, а Саше – велик. Это как в старом анекдоте про свадьбу великанши и гнома. Наутро великанша рассказывает товаркам: «Всю ночь возились – какой там сон! Все ползал по мне и шептал: „Мое! И это мое! И это! Все мое!“»

Сашины стихи больше, чем он сам, он до них не дотягивается. А пишет, стоя на цыпочках, подпрыгивает, чтобы написать стихотворение. Читает он стыдливо, с опаской, с оглядкой, краснея, запинаясь, словно бы не свои стихи – ему стыдно рядом со своими стихами: он относится к ним уважительно, с пиететом, как к чужим. Уточню: я вовсе не о шутках и слухах, что Саша – подставное лицо, псевдоним Лидии Яковлевны Гинзбург, пассивный участник еще одной литературной мистификации – была же Черубина де Габриак, почему не быть Александру Кушнеру?

Если бы писал свободный, а не документальный роман, то, возможно, и положил бы в его сюжетную основу столь пикантную историю: старая литературная дама выдает себя за молодого стихотворца, который завоевывает сердца читателей. Увы, нельзя: покорно следую за прошлым, никакой выдумки – только проверенное…

Так вот, творчество ИБ – это писание стихов на головокружительной высоте, где каждый стих и каждый шаг смертельно опасны, но каждая остановка – тоже. Стих стремится продлить жизнь непродлеваемому мгновению, ибо оно самоустраняется, исчезает навсегда в прошлом, и наша попытка преодолеть смерть искусством – безуспешная и безутешная, но единственно возможная и позарез необходимая.

К своим стихам у ИБ отношение скептическое, недоверчивое, завистливое и слегка даже брезгливое. Они проще горьких дум их автора, что, кстати, и придает им мощи, и за это их будут, считает ИБ, любить более, чем ноне их творца. Я пересказываю его «Послание к стихам», горестное, хотя и кокетливое, игровое, театральное:

> …Разно
> С вами мы пойдем: вы – к людям,
> Я – туда, где все будем.

Его поэзия порождена особыми условиями отечественного нашего существования, усиленной и неустанной слежкой за ним и неизбежной при этом манией преследования, когда не веришь никому: ни любовнице, ни другу, ни стихам, и, как знать, может быть, они и не заслуживают доверия. Это поэзия крутого одиночества, тюремной камеры, палаты № 6, тупика и конца, в котором, однако, и есть ее начало – трагический исход в небытие, в небыль, в ничто, в ничтожество.

> Но, как всегда, не зная для кого,

твори себя и жизнь свою твори
всей силою несчастья своего… —

что ИБ и делал.

Эсхатологические его предчувствия имеют, увы, скорее реалистическую, чем мистическую первооснову.

Сейчас я вспоминаю патологическую Осину трусливость. Для него было неразрешимой проблемой сходить к зубному врачу, он всерьез прощался с друзьями, узнав, что у него геморрой, и уполз с операционного стола, хотя уже находился под наркозом: сознание его было отключено, а страх – нет. И дело не только в трагическом его сознании – все это были локальные проявления его универсального двойного страха: генетического страха и страха, привитого ему государством. Он был в ссылке, сидел в тюрьме и психушке, его не печатали, за ним следили – он не стал от этого мужественнее, закаленнее, отважнее, но еще трусливее, чувствительность у него была повышенной сверх меры. Все, что он делал, было преодолением этого двойного страха. Все было смертельно опасно: идти к зубному врачу, писать стихи, говорить с приятелями.

Лидии Яковлевне и Саше он казался романтиком, а был – смертником и выжил чудом. У Лидии Яковлевны была теория анестезии, стоицизма – человек не должен опускаться до страдания, не должен доходить до истерики, должен стыдиться своего и чужого несчастья, а если кто кончает самоубийством, то делает это к вящему безобразию.

Это хорошая теория для людей, которым удалось избежать страдания.

Это инстинкт самосохранения – чужую боль счесть за невоспитанность. Уход от милосердия, от сочувствия – можно ли сочувствовать горю, в реальность которого не веришь? Когда Саша написал, что «трагическое миросозерцанье тем плохо, что оно высокомерно», он имел в виду Бродского – будто мы вольны в выборе, будто трагическое миросозерцанье возникает по прихоти, как забава.

За что они не любили ИБ? Он был лишним в их литературном коллективе со стойкими цеховыми принципами, которые, им казалось, могли заменить индивидуальные качества. Это была ставка на антигениальность, отрицание гениальности как патологии. Он был моложе и Саши, и Яши, и Игоря, а меня старше всего на два года. И он силой вломился в литературный мир, который сложился и окостенел еще до того, как он начал писать стихи. Кто знает, если бы не покровительство Анны

Андреевны и не дружба с Женей Рейном, его штурм, возможно, и не увенчался бы успехом. Его приняли условно, на птичьих правах, без права голоса, и до самого конца он оставался парией в литературном Ленинграде. Когда он появился в городе после полуторалетней вынужденной отлучки, журналам и издательствам было дано указание печатать его стихи, и две публикации – в альманахе «Молодой Ленинград» и в «Дне поэзии» – успели-таки проскочить. Этим, однако, все и ограничилось. Почему застопорилась его советская судьба? Говорят о его несговорчивости, неуступчивости, бескомпромиссности – строчку, мол, не давал изменить, тоже мне барин. Ссылались при этом на подготовленную Натаном Злотниковым подборку его стихов в «Юности», которую ИБ сам и снял, возмутившись редактурой. Еще я помню, как мы шли втроем по Марсову полю и Яша Гордин выговаривал Осе за то, что тот сам забрал из «Советского писателя» сборник своих стихов – те тянули с решением, не отказывали, но и не заключали договор.

Вот один наш странный с Осей разговор.

Лена Клепикова, которая работала тогда редактором отдела прозы в «Авроре», дала ему на внутреннюю рецензию чью-то рукопись – заработок чистый и хороший. Рукопись принадлежала летчику-графоману, какой-то другой его роман я рецензировал для «Невы» и забраковал, хотя и отметил знание автором летного дела и старательность. Я не читал романа, который достался Осе, – может быть, он был лучше того, который читал я, а скорее Ося оказался добрее меня. Какую-то роль сыграло то, что в детстве Ося мечтал стать летчиком. К тому же я уже написал добрую сотню таких вот внутренних рецензий, а для него это было внове. Короче, он отнесся к этой работе очень добросовестно, даже связался зачем-то с автором, что делать не полагалось, и из рецензента готов был вот-вот превратиться в редактора – во всяком случае, он полагал, что если над этой рукописью как следует поработать, то ее можно печатать. Мне жаль, что у нас не сохранилась копия его блестящей рецензии, хотя такой блеск от него вовсе не требовался – просто он не умел ничего делать средне, кое-как.

Я зашел к нему домой, а от него мы отправились в «Аврору» – это совсем рядом. На полпути Ося остановился и, помявшись, предложил вдруг пойти порознь, потому что не хочет меня компрометировать.

Я возмутился. По дороге зашла речь о заработках, я сказал, что Лена могла бы дать ему еще рукописи на внутренние рецензии. Тут возмутился он. Не мог я тогда понять его чистоплюйства. И сейчас не понимаю. А тогда я напомнил ему о

Саше – у того своя кормушка: он на кинохронике зарабатывает до 100 рублей в месяц, а то и больше безымянным текстом к официальным репортажам: «Сегодня в наш город прибыла партийно-правительственная делегация Германской Демократической Республики…» И тогда ИБ сказал, что не хочет подачек, а хочет, чтобы ему платили за его работу – за стихи и переводы.

Он был горд и высокомерен, как отвергнутый и как еврей. А сила евреев именно в отщепенстве, в остракизме, в гетто: теория тупика.

Одиночество растравляет честолюбие, непризнание делает несговорчивым и заносчивым, а тупик заставляет искать выход – свой собственный, единоличный. Ему нечего было терять, кроме своих вериг.

Внутренние рецензии – паллиатив, а он инстинктивно избегал того, что могло бы, насытив его побочно, уничтожить его главный голод. Он не хотел быть городским сумасшедшим, а хотел издаваться в СССР и иметь читателей. Он хотел свободной конкуренции, чтобы в открытом турнире сразиться и с Вознесенским, и с Евтушенко, и с Кушнером.

Я не сомневаюсь в высоких достоинствах его стиха, но мало того – у него были все данные, чтобы стать первым поэтом России. Читателя – точнее, слушателя – он брал за горло, сопротивляться ему было бесполезно. Стиховая его речь, ни сколько не пресмыкаясь, была по сути и по стилю народной, соединяя то, что он вычитал из книг, с тем, что он подслушал в пивных, в троллейбусах, в архангельском своем Михайловском – в деревне Норенская. Он не чуждался мата и в жизни, и в поэзии. Его стихи писаны городским жаргоном, на отечественной фене, где уголовщина, будучи постоянной перспективой поступка, является в то же время неизменной словесной реальностью. К тому же были в нем независимость, высокомерие и ораторский гипноз, необходимые, чтобы увлечь слушателя. Что-то от тех евреев, которые сводили с ума толпы солдат, матросов, крестьян, рабочих на революционных митингах, заражая слушателей прожектерским своим пафосом и утопическими проектами – и таки перекачали в народ переизбыточную свою энергию, русофилы правы: соблазнили, только вряд ли – с пути истинного. Слава Богу, ИБ родился спустя четверть века после революции, и потому стал поэтом, а не вождем, но Лужники пришлись бы ему в самую пору.

Я не думаю, что он был непримирим и бескомпромиссен, когда речь шла о печатании его стихов – слишком дорожил он недоступной ему связью с вожделенным читателем, слишком

много ждал от встречи с ним. Он не хотел писать внутренние рецензии, и были у него на это веские, хотя мне тогда и невнятные, причины. А вот чтобы увидеть свои стихи напечатанными, он бы стал и уступчивее, и сговорчивее – не сомневаюсь в этом. Что же тогда прервало совет скую его карьеру после возвращения из ссылки и ввиду относительной и вынужденной лояльности к нему ленинградских властей?

К сожалению, в моем распоряжении слишком отрывочные сведения, чтобы делать из них далеко идущие выводы, да и не биограф я Бродскому.

Но факт остается фактом: главный редактор только что организованного журнала «Аврора» Нина Сергеевна Косарева – партийная дама, но из либеральных, – получив, по-видимому, распоряжение свыше, затребовала от ИБ стихи, чтобы их напечатать, и напечатала бы, не натолкнись на решительную оппозицию нескольких влиятельных ленинградских поэтов. Участвовал ли в этой акции Саша прямо либо косвенно, я не знаю. Но для моего сюжета это и не важно.

Они были соперниками, ни для кого это не было секретом. Один ревновал другого к прижизненной советской славе, другой – к зарубежной и посмертной. Ося был неоконченное существо, Саша – окончательно завершенное, застывшее, косное: Саша не понимал, что нельзя такую длинную жизнь, как человеческая, прожить одним и тем же человеком, неизменным, неизменяющимся, одинаковым. Саша пил бессмертие из десертной ложки, ИБ – торопясь, захлебываясь и задыхаясь – «из горла́». ИБ писал, как жил – не словами и не строчками, но целой строфой, всем стихотворением: у него хватало духа и дыхания на большие вещи, он жил впроголодь и набрасывался на стихи, как на женщину, интегрировал пространство и время в поэзию; а Саша дробил, дифференцировал, расчленял – согласно педантическому своему дарованию, умеренному темпераменту и размеренному modus vivendi. Он принципиальный миниатюрист – не только в форме, но и в чувствах.

Их конфликт – это конфликт Молчалина и Чацкого. То есть конфликта как такового нет, потому что нет точек соприкосновения.

Дважды я приходил к Осе в больницу – один раз на Охте, а другой в Сестрорецке, – и он сказал мне, что я появляюсь, только когда ему плохо. Это было не так. Я помню, как я появился в его комнате на Пестеля, когда плохо было мне – буквально, физически: в сильнейшем подпитии, плохо что соображая, я тем не менее потребовал от Саши и Лены вести меня к Осе, благо мы были от него всего в одной трамвайной остановке. Вцепившись в

полученный от предусмотрительного ИБ тазик, я тут же заснул, а когда спустя несколько часов, среди ночи, проснулся, застал двух поэтов и мою жену мирно беседующими о стихах, и было мне горько, будто я пропустил нечто очень важное.

Недавно мне снился Ося и, с острой жадностью вглядываясь в его черты, я почувствовал вдруг, что этот мой роман – ностальгия по дружбе с ним… Я проснулся, видение исчезло, но я все продолжал думать о нем. Такое у меня чувство, что этим романом я словно бы пересказываю его стихи, хотя это не совсем так: его стихи – это скорее гигант ский эпиграф к моему роману, который ими вдохновлен, а посвящен Лене Клепиковой.

В расцвете нашей дружбы Саша подарил нам с Леной свою книгу с такой надписью: «Дорогим Володе и Лене, без которых не представляю себе своей жизни, с любовью». Это и в самом деле было так – не представлял, и думаю, нашу теперешнюю идейную размолвку переживает остро и безнадежно. Впрочем, и я тоже – стал бы я иначе писать этот роман!

Хотя – стал бы: не в одном Саше дело.

Я опускаю целую главу «Саша – мой лучший друг»: я ее написал, но что-то мешает мне ее опубликовать, что – не знаю. Идиллии, кстати, не получилось, и наши с Сашей прогулки по Петербургу, наши с ним разговоры и наша переписка – все это оказалось с какой-то червоточинкой, с изнанкой, с подводными рифами. Либо я пролез в прошлое, как говорит Набоков, с контрабандой настоящего? А можно ли иначе?

Косвенный мой взгляд выхватил из прошлого совсем не то, чем прошлое было для меня, когда было настоящим. Или оно было таким, как я его сейчас описал, но тогда я этого не подозревал и только теперь понял? Или и тогда подозревал? Чтобы не вводить читателя в соблазн бесплодной, а потому мучительной софистики, я уничтожаю эту двусмысленную главу – как будто ее и не было. Пусть даже потом я буду об этом жалеть.

Что-то все-таки было в тогдашних наших с Сашей отношениях, чего касаться сейчас я вроде бы не вправе: слишком умышленно, тенденциозно и предвзято гляжу я в прошлое.

Прошлое отделилось от материка нашей жизни и превратилось в недоступный остров.

У меня нет возможности сверить мои сегодняшние показания с тем, что было с нами на самом деле.

Да и был ли мальчик?..

Саша безошибочно – хоть скорее инстинктивно, чем меркантильно – угадал меня в качестве друга, и я всесоюзной его славе немало способствовал, о чем сейчас не жалею. Его либо не замечали вовсе, либо вяло поругивали. Я был молод, энергичен и

безогляден – опубликовал о нем в разных изданиях, от «Юности» и «Комсомольской правды» до «Литературной газеты», с дюжину статей. В эпоху барабанного боя и медных литавр тихий голос Саши показался мне настоящим, а его поэзия перспективной. И сейчас, когда Сашу дружно хвалят за эпическую мощь, за странолюбие, за анти гениальность, за апологию оптимизма и проповедь счастья, несмотря ни на что, я действую согласно прежнему принципу: ругаю его. За странолюбие, за проповедь счастья и безудержный оптимизм, за гармонию на молекулярном уровне, за поэзию без вдохновения, за катарсис без трагедии: «Когда я мрачен или весел, я ничего не напишу. Своим душевным равновесьем, признаться стыдно, дорожу». Единственное – я до сих пор не понимаю, экономит ли он на душевных расходах либо ему нечего тратить?

Если бы не я, Саша бы, по всей вероятности, на всесоюзную арену так быстро не вышел, прозябая в провинциальной все-таки ленинградской школе, которую возглавил, когда ИБ с ней порвал, покинув сначала город – метафизически, а потом и страну – реально, перемещением тела в пространстве. Короче, я ощущаю некоторую ответственность за содеянное, и этот мой роман – исправление моих ошибок, в том числе литературных, хотя не их одних. Если бы не теперешние Сашины спекуляции дружбой с ИБ, которой не было, я бы, вполне возможно, обошелся бы в этом романе вовсе без Саши, а лучше бы рассказал о своих любовных похождениях либо о наших с Леной контроверзах.

Я пристал к их компании последним – ИБ среди них уже не было.

Он ходил городским сумасшедшим по ленинградским улицам, а за ним привычно плелись его оруженосцы из Комитета госбезопасности. Его судьба в России – увы! – была исчерпана, а то, что продолжалось, была уже не судьба, а дубль, повтор, инерция, и неизвестно, кому это все прежде наскучит и приестся, кто первым оборвет эту игру в «кошкимышки» и чем ее заменит.

А пока что продолжалось безжалостное вытеснение Бродского из отечественной литературы его собратьями по перу.

Дело в том, что в начале 60-х годов, в сравнительно для литературы сносное время, ряд молодых поэтов и прозаиков, кто с некоторыми потерями, а кто и без них, как, скажем, Саша, дебютировали первыми книжками, вступили в Союз писателей, и их творческая судьба обернулась компромиссной и паллиативной литературной карьерой. Возникла тогда же теория, и была в ней небольшая доля правды – что преуспели наиболее талантливые, а за бортом остались – наименее. С десяток литераторов-неудачников бродили по Ленинграду, безуспешно пытаясь

штурмовать все более и более неприступные фортификационные сооружения нашей писательской крепости и ее передовые форпосты – редакции, киностудии, театры, творческие союзы. Среди них были такие одаренные, как Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев, Сергей Довлатов, Владимир Уфлянд, в том числе ИБ. И я не сразу понял, что журнально-издательский заслон 60-х годов не пропускал и менее талантливых, и более талантливых, удовлетворяясь пропуском усредненных дарований вроде Сашиного. Такова, к сожалению, пропускная способность нашей отечественной литературы. «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом!» – воскликнул однажды в сердцах Пушкин, а мой друг Саша словно бы в унисон ему написал:

Снег подлетает к ночному окну, вьюга дымится.
Как мы с тобой угадали страну, где нам родиться!

Саша и в самом деле угадал, где родиться. Другое дело, что в связи с участившимися отъездами писателей, художников, музыкантов он понял относительность отечественного своего успеха и засуетился, но об этом страницей-другой ниже.

А сейчас о Бродском.

Его поэтическая связь с «отечеством белых головок» не была такой уж однообразной. Завьюженный и леденящий образ России, заимствованный у него Сашей, одомашненный и превращенный из трагического в патриотический – «несмотря ни на что», был для ИБ гамлетовым символом: даже если предположить, что весь мир тюрьма и таковым делает его наше воспаленное сознание, все равно Дания – одна из худших тюрем. Саша извлекал и отсюда несомненные выгоды, полагая тюремное свое сознание прерогативой, а не аномалией. ИБ воспринимал отечественную декорацию не как зритель, а как участник действа, то есть интерьерно, душевно и физически, как собственную искалеченность:

…Отчизне мы не судьи.
Меч суда погрязнет в нашем собственном позоре…

Образом мест, где он пресмыкался от боли, – раскавычиваю цитату?

Я – один из глухих, облысевших, угрюмых послов
второсортной державы, связавшейся с этой…

От Диксона до Кушки и от Таллина до Уэлена: пугающее пространство, отпугивающее – не страна, а часть света!

Даже две.

Так какая держава второсортная, а какая – первосортная?

А связь – связался?

Как будто в нашей воле отвязаться…

Одновременное чувство – изгнанника и заключенного.

> Тот груз, которым нынче обладаем,
> в другую жизнь нельзя перенести.

В другую, может быть, и нельзя, если под другой подразумевать «загробную», а ежели в набоковском смысле – «другие берега», ибо Атлантический океан все-таки не Стикс, а нечто вроде замены смерти, ее избегание – «Во избежанье роковой черты, я пересек другую – горизонта, чье лезвие, Мари, острей ножа» – короче, в эту жизнь ту жизнь перенести можно и неизбежно. Не вытравить, боюсь, отечественной закваски ни благополучием, ни экзотикой:

> Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие люди,
> и голубки – в ковчег.

Ностальгию я считаю русской литературной выдумкой, поанглийски это греческое слово имеет иное значение – не тоску по родине, а тоску по прошлому. Этимологически русское значение ближе к оригиналу, зато английское – ближе к истине. А главное, что патриотизм – когда возможен, а когда и нет, увы.

Здесь другое: тюрьма отучает от воли, от света, от свободы. Об этом написан Байроном «Шильонский узник». Вздохи русской послереволюционной эмиграции – это вздохи по тюрьме, а не по родине. Не по воле…

Бродский, находясь еще здесь, сохранил во всяком случае редкостную трезвость по отношению к своему отечеству, где по железному закону тотальной психологии был не допущен в русскую литературу ни своими врагами, ни своими друзьями, что и предопределило во многом полную его творческую независимость от тех и от других.

Если бы он не был выслан 4 июня 1972 года, то человеческая его судьба сложилась бы здесь скорее всего трагически.

Я с ним познакомился поздно и сразу же полюбил – и его самого, и его стихи. Неофициальное и, с моей тогдашней точки зрения, низкосортное его окружение – его кордебалет, улица,

литературное дно – меня поначалу удивляло и даже коробило, пока я не догадался, что наш державный литературный салон всячески избегает быть его аудиторией – Саша и Лидия Яковлевна прежде всего.

С наивной убежденностью в необходимости для литературы справедливости я попытался пробить брешь в этом заговоре молчания против ИБ. Когда я стал в очередной раз хвалить его стихи, Лидия Яковлевна искренне возмутилась: «Любить надо кого-нибудь одного – либо Бродского, либо Сашу!» Я опешил и даже вспомнил по аналогии, что Лаура говорит ревнивому Дону Карлосу:

> Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя.
> Теперь люблю тебя.

Однако Лидия Яковлевна оказалась права, отстаивая принцип однолюбия. ИБ отменял Сашин путь – паллиативы, наушничества, литературной стратегии, интриг, коллективистскую спайку литературной мафии, а настаивал на своем жидовстве – политическом изгойстве и литературной обособленности.

ИБ был городским сумасшедшим, а Саша – домашним котенком: сначала в салоне Лидии Яковлевны, потом в ленинградской поэзии и, наконец, в официальной литературе. ИБ предвидел этот путь писательского сервилизма – он раздражался на Сашу, как голодный на сытого.

Судьба к Саше благоволила – вряд ли можно его упрекать в этом, он был честен и ничего дурного вроде бы не сделал, чтобы ее задобрить, а выигрыш в лотерее – не преступление, а всего лишь случайность. Однако счастливый лотерейный билет Саша счел заслуженной себе наградой и стал впрок отрабатывать полученную привилегию, приспосабливаясь к отечественным обстоятельствам и яростно их адвокатируя от учащающихся нападений своих знакомых. Разномыслие он счел высшей для себя угрозой, а Бродского – персоной нон грата в современной поэзии: тот оказался изгнанником еще до того, как покинул пределы любезного отечества. Точнее – он был изгнан из страны сначала своими «друзьями», а только потом врагами. «Друзьями» – за нарушение цеховых правил, за поэтический гений, за психологическую несовместимость, за литературное жидовство. Врагами – с подсказки и по наущению «друзей». Это был заговор коллектива против индивидуума, который отказался коллективу подчиниться. Я это не сразу понял, а только когда сам столкнулся с организованной мафией ленинградской интеллигенции. Это случилось спустя несколько лет после отъезда ИБ, и я вылетел из

Ленинграда, как пробка из бутылки шампанского, еле ноги унес. Москва виделась из Ленинграда как единственное спасение.

Я вспоминаю бытовой и незначительный повод моей с Сашей размолвки – увы, в наше время даже идеи становятся бытом.

Человеческий инстинкт самосохранения вступил у Саши в резкое противоречие с литературным инстинктом самосохранения. В ленинградском масштабе Саша сделался государственным поэтом, патриотические стихи за еврейской подписью были все-таки редкостью и ценились больше, из него делали – с его согласия – анти-Бродского.

Саша захотел немыслимого – славы ИБ без его судьбы.

Еще точнее – его трагической судьбы в поэзии при безоблачном благополучии в жизни.

Трагедия, но при полной анестезии.

Саше казалось, что все возможно – его механический, сальериевский ум допускал любую возможность в своей судьбе – в том числе превращения себя в Бродского, так как тот уже по другую сторону океана, а с глаз долой – из сердца вон!

Поэзия представлялась Саше фокусником с мелькающими руками, многоруким Шивой, а поэзия на самом деле статуя с отбитыми руками, безрукая, беспомощная и всесильная Афродита, рожденная из спермы и крови оскопленного серпом Урана. Какая там анестезия! Крон отсек фаллос у милого родителя в момент последних содроганий – либо вызвав их, и когда Уран корчился от боли, выброшенный в море детородный его орган находился в состоянии оргазма.

Впрочем, греческая мифология здесь явно ни при чем, а при чем – еврейская.

Саше было обеспечено благополучное место в литературе, но он принял его слишком суетливо, слишком цепко за него ухватился, а здесь тот же закон, что и в любви – чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Он возжелал боли как выгоды, но боли не было, а был выработанный иммунитет на боль. Его поэзия – это профилактические указания о том, как избежать страдания, как обмануть судьбу, как остаться счастливым, притворившись несчаст ным.

А мой роман – попытка восстановить попранную справедливость: право на первородство принадлежит косматому Исаву, а не гладкому Иакову.

Глава 12. ДЕКОРАЦИИ К «ТРЕМ ЕВРЕЯМ» (отрывки)

В Петербурге террор, самый опасный и бессмысленный…

Герцен

В Петербурге жить, что лежать в гробу.

Мандельштам

Антракт!

Займемся, наконец, декорациями.

Давно, кстати, пора…

Мы не в «Глобусе», где достаточно было надписью обозначить место действия, а воображенье уже дорисует остальное: «Думайте, когда мы говорим о лошадях, что вы их видите».

Sapienti sat…

Умному – да: мы не из их числа, да и латынь из моды вышла ныне.

Займемся декорациями, дабы уточнить место действия, ибо сказать, что оно происходит в СССР – недостаточно.

Комарово как-то почти исчезло из поля зрения автора – думаю, еще появится, хотя подчеркиваю всю условность привязки сюжета романа к школьным каникулам. Мне нужна печка, чтобы от нее танцевать – вот я и танцую, прихрамывая на левую ногу, ерничая и измышляя на своих приятелей столько напраслины, что вряд ли они даже узнают себя.

Хотя – узнают: не сомневаюсь. Потому что по жанру это «роман без вранья» – превратим чужое название в определение собственного жанра.

Когда я этот роман только еще замышлял, то ввиду лохматого сюжета думал его поместить в единую на весь роман декорацию. Три недели в Комарово, объединившие там нас насильно и размежевавшие вконец, показались мне искомой декоративной координатой.

Сейчас я думаю, а не построить ли мне на сцене «любимый город на Неве», тем более, есть возвращенная мне издательством вполне сносная о его архитектурных достопримечательностях рукопись, и потом многое – не только топографически – связано в сюжете и героях этого романа именно с нашим прославленным городом. Этот роман невозможно представить московским – о Москве я еще напишу другой, если буду жив. Москва – это сама Россия, хотя и не вся, она просится на роман эпический, ядреный и бесконечный. Не зря же я, черт возьми, преодолев «мильон терзаний» на своем пути – вот уж, настоящая скачка с бюрократическими препятствиями, – переехал в «буддийскую» эту столицу, ибо Москва – закрытый от посторонних, включая собственных жителей, совершенно секретный и вполне

таинственный город.

Тише, мыши, кот на крыше!

Какое счастье все-таки жить в городе, к которому не испытываешь ровным счетом никаких чувств, с которым не связан ни воспоминаниями, ни надеждой, ни мукой, с которым так легко будет расстаться – если придется…

Как я мечтал уехать из Ленинграда, уехать навсегда, чтобы полюбить его в прощальном, несбыточном значении. Только уехав из него, казалось мне, можно почувствовать его изолированно, архитектурно, т. е. эстетически, забыв о выхолощенных или измененных функциях всех этих прекрасных строений. Как город, где надо жить и предстоит умереть, Ленинград фантастичен и невозможен. Какие раритеты он взращивает, какие уродливые типы его населяют и бродят среди классических зданий! А какие комплексы бушуют здесь в душах – от комплекса графа Монте-Кристо, когда человеку жизни не хватает, чтобы отомстить, так глубоко, вечно и безысходно переживает он нанесенные ему раны, до геростратизма – одни здесь строят, другие разрушают.

Но и те, кто строит, знают, что построенное ими будет разрушено – потому только и строят. И в самом деле, Карфаген должен быть разрушен – невыносимо жить среди архитектурных сувениров!

Мой дом – «Красная стрела», я ношусь в ней из Ленинграда в Москву, из Москвы в Ленинград, и поезд между двумя столицами проносится сквозь мое сердце. Я быстро лишаюсь иллюзий относительно Москвы, но жить в Ленинграде я все равно не могу – пятачок, где все друг друга знают, спаянные взаимной ненавистью и круговой порукой.

Спрессованная русская история выглядывает из-за архитектурных ширм, ибо не только Ленина здесь знает каждый камень, но и… – лень перечислять, дуй, читатель, самостоятельно! Несостоявшаяся история, замышленная и неосуществленная: не толь ко окно – щелку! – прорубить в Европу и в мир немыслимо.

Стараемся что есть сил.

Что Петр Великий? А Новгород Великий? Торговал не хуже теперешней Москвы – с Ганзейским союзом, а на левом берегу Волхова стояли церкви торговых партнеров. И что? Раздавлен и смят тогдашней Москвой. Да и в торговле ли дело?

Москва – теперешняя – кажется мне недостроенной Вавилонской башней, Ленинград – гробницей Тутанхамона. Не знаю, что лучше, но бродить среди великих мертвецов и раскланиваться с живыми классиками и стигийскими тенями – увольте…

«Это был родной город Мандельштама – любимый, насквозь знакомый, но из которого нельзя не бежать», – вспоминаю слова Надежды Мандельштам.

А сам Мандельштам?

Городолюбие – городострастие – городоненавистничество:

«В Петербурге жить, что лежать в гробу».

Это к тому, что я не очень оригинален: прецеденты были.

Ни вздохнуть, ни чихнуть – каждое здание требует вокруг себя архитектурной тишины. Сергей Маковский стыдился, что живет в доме, построенном в начале этого века и заслоняющем Адмиралтейству выход к Неве. Поносят того архитектора, который невдалеке от томоновской Биржи выстроил гинекологическую больницу, того скульптора, который перед Александринкой поставил памятник Екатерине, того незадачливого садовода, который по другую сторону Адмиралтейства разбил прелестный сквер – прежде Александровский, теперь Сад трудящихся – он, оказывается, закрывает вид на шедевр Захарова. Раздаются голоса, чтобы, уничтожив наслоения, заново открыть и навсегда уже законсервировать прежний Петербург. Весь вопрос – какой? Николаевский? Александров ский? Екатерининский? Петровский? Так злополучный Шлиман уничтожил прекрасные греческие вазы, раскапывая в Гиссарлыке гомеровскую Трою.

Городские власти поначалу сопротивляются этому архитектурному пассеизму, но вдруг неожиданно сами становятся заядлыми некрофилами. Ретроспективные, мирискуснические настроения приобретают обязательный, директивный характер.

Я все пытаюсь понять самих мирискусстников, с которых все пошло – слабых, средних художников, западников, европейцев, искусных компиляторов и высокомерных эрудитов: Александра Бенуа, Мстислава Добужинского, Константина Сомова. И понимаю, наконец, что не они были стилизаторами старого Петербурга, а сам Петербург – тончайшая стилизация, подделка, миф. Просто мир искусники это первыми почувствовали и передали свое ощущение самого фантастического русского города.

Городским властям выгодно сейчас поддерживать двойную эту фикцию – важно законсервировать настоящее, пусть оно отодвинется в сторону или на задний план, пропустив вперед прошлое. И пусть никогда не забывает настоящее о великом соседстве ушедших столетий и о собственном по сравнению с ними ничтожестве.

Предано забвению даже то, что вся русская литература – начиная с Пушкина, с Гоголя, вплоть до Достоевского,

Иннокентия Анненского и Андрея Белого – чуть ли не целое столетие подряд посылала дружные проклятия этому умышленному городу. Боль, и та превращена в музейный экспонат: уже водят туристов по гнусным этим дворам, где будто бы бродил Раскольников. Антисанитарные дома с кишащими коммуналками, где грязь, ссоры, поножовщина, не идут на слом или на вожделенный для каждого жильца ремонт только потому, что защитники старины с пеной у рта отстаивают их мемориальную ценность. Живые жмутся к стенам, давая дорогу торжественному и нескончаемому шествию теней, где историческая шваль в таком же почете у потомков, что и гений.

Город-фикция, город-мираж, город-тень, но тень, бежавшая от своего хозяина, возомнившая о своем значении, присвоившая себе диктаторские и менторские права:

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты…
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни и страшные были.
А нас кто сочинил?

Я знаю – кто, да только рано говорить, по сюжету рано. Еще ска жу, не сейчас, позже, когда придет пора, здесь же, в этом романе…

А пока – несколько фактов, чтобы из них составился фундамент для изложенных и последующих размышлений. Как говорится, былое и думы – мое былое и мои о нем думы.

4 июня 1972 года уехал Бродский, послав на прощание трогательное, хотя и выспреннее, театральное, письмо Л. И. Брежневу.

В 1974 году прокатилась по Ленинграду волна обысков – Е. Г. Эткинда выгнали с работы и из Союза писателей, и он вынужден был уехать из страны, а Мишу Хейфеца посадили и судили – четыре года строгого режима.

Вот тогда-то, после обыска у него и нескольких допросов, и заметался по России Володя Марамзин. Все было как на охоте – травили зверя, круг сужался. Володя прятался у знакомых и у женщин.

Не знаю, насколько оттянул он свой арест – на месяц-другой, не больше.

Я пишу и думаю, каким фантастическим должен казаться мой сюжет американцу либо французу. Даже москвичу, для которого самиздат – явление обычного и привычного ряда: в Москве немыслимо арестовать человека только за то, что он собирает стихи Бродского.

Все упирается в особенности ленинградского политического климата.

Испокон веку он был иным, чем московский: лютым и студеным – северный полюс и полярная ночь круглый год, даже положенного северного сияния нет.

Ведь и волна хрущевского либерализма, докатившись до Ленинграда, разбилась о неприступный его гранит – мы услышали скорее далекий его отголосок, глухое эхо, чем почувствовали его реально: грома грохотанье, а не электрический зигзаг молнии.

Ленинград стоял в оппозиции к Хрущеву – сначала Фрол Козлов, вслед за ним Василий Толстиков, сосланный впоследствии послом в Пекин за то, что хотел быть правее Папы Римского: «У, жиды – прищурились», – сказал он будто бы, сходя с трапа в пекинском аэропорту. Снятие Хрущева в ленинградских партийных кругах воспринималось как праздник, который настал, наконец, и на их улице – все с надеждой глядели в сторону Китая, противопоставляя алеющий Восток гниющему Западу.

Собственно, опала Бродского – тюрьма, психушка, суд, ссылка, а потом высылка – объясняется именно спецификой ленинградского политического климата.

Как и арест Миши Хейфеца и Володи Марамзина.

Как и этот роман – живи я в Москве, я бы его никогда не написал.

Потому что этот роман – преодоление ленинградского страха.

А не только советского: Ленинград – это СССР, возведенный в некую степень, советская современность, помноженная на русскую историю петербургского периода. Недаром этот город – колыбель революции: петербургские революции – это преодоление петербургского страха.

Я сошлюсь снова на Надежду Мандельштам – с описанных ею времен Ленинград пережил еще несколько погромных набегов КГБ, так что означенные вдовой поэта признаки не уменьшились, но усилились, хотя масштаб их стал более, что ли, умопостигаемым – вышкой не пахнет, но это ничего не значит, можно умереть и от разрывной пули, и от булавочного укола: по теперешним временам семь лет – это вышка, и не дай Бог кому из нас ее заработать. Как раз здесь с Н. Я. Мандельштам согласиться трудно: она считает, что Бродский даже не представляет, как ему

повезло, он баловень судьбы, но не понимает этого и иногда тоскует – это писалось, когда Ося был еще здесь. Конечно – если судьбу Бродского сравнивать с судьбой Мандельштама, но справедливо ли это сравнение? По сравнению с тогдашним ужасом и семь лет – да хоть двадцать пять! – покажутся подарком судьбы.

После этой оговорки обещанная цитата:

«В „буддийской Москве“, в „непотребной столице“ Мандельштам жил охотно и даже научился находить в ней прелесть – в ее раскинутости, разбросанности, буддийской остановленности, тысячелетней внеисторичности и даже в том, что она не переставала грозить ему из-за угла. Жить под наведенным дулом гораздо легче, чем в некрополе с его прошлым, много раз сменявшимся населением, всегда мертвым, но равномерно двигающимся по улицам и, наконец, самым страшным в стране террором, остекленившим и так мертвые глаза горожан. В Петербурге Мандельштам не дожил бы до 38-го года…

Непрерывная слежка и раннее запрещение печататься (1923) были естественным следствием общего положения Мандельштама, но в Ленинграде все оборачивалось острее и откровеннее, чем в Москве. У меня ощущение, что Москва имела кучу дел на руках, а Ленинград, от дел оставленный, только и делал, что занимался изучением человеческих душ, которые предназначались для уничтожения. Еще неизвестно, уцелел ли бы Мандельштам, если бы к моменту послекронштадтского террора находился в Ленинграде. Террор развернулся во всю силу, и Москва еще давила на Ленинград, обвиняя местные власти в том, что они не дают воли рабочему классу излить свой гнев».

Со своей стороны, я бы внес предложение сократить вполовину ленинградский штат КГБ, ибо чересчур много на пустынный наш город, на душу интеллигентного населения. Безделье и праздность порождают опасную деятельность, надо как-то оправдать свое существование, привилегии, ставки, расползшийся штат. Да и накопленную энергию куда-то деть.

Так и возникло сначала дело Миши Хейфеца, а потом Володи Марамзина – оба высосаны из пальца. И любое другое окажется фикцией.

Причина и следствие обменялись местами: Миша и Володя понадобились лишь для того, чтобы доказать необходимость их и наших преследователей и мучителей.

Володя сидит в тюрьме, а мы, елико возможно, от него отмежевываемся, открещиваемся. Почему, когда посадили Бродского, я подписывал какие-то письма в его защиту, а сейчас

меня носит по стране ветром отчаяния, страха и брезгливости, я не хочу встречаться с этими въедливыми и вкрадчивыми людьми, не хочу болеть сифилисом, не хочу, чтобы сидел Миша Хейфец и судили Володю Марамзина, но что я могу сделать? Мы прячем Солженицына и Бродского, Библию и Мандельштама, мы обыскиваем самих себя, ищем крамолу и не знаем, в чем именно она, – прячем письма, фотографии, дневники. Мы прячем самих себя – ура, мы спасены, но это уже не мы, ибо мы прекратили существовать, перестав быть собой.

Нас нет больше нигде – хоть весь свет обыщи. Защищая свою жизнь, мы ее окончательно утратили. КГБ добился того, чего хотел: поселил среди нас раздор и страх, напугал нас, мы стали говорить еще тише, еще реже, пока вовсе не замолчали, либо говорим вовсе не то, что говорили прежде.

Вот мой стыд и позор – в октябре, в гостях у кого-то, поддавшись общей панике и инстинктивному искушению предательства, я назову Володю дураком – просто так назову, без нужды, из страха, что среди гостей есть стукач, может быть, даже из неосознанной надежды, что этот воображаемый стукач донесет куда следует о моем верноподданничестве, а значит – из угодничества. Конечно, я не ставлю в вину Володе то, за что он сидит – еще этого не хватало! – а дураком ведь я его называл и прежде, он и в самом деле дурак, так что же, оттого что он сейчас в тюрьме, я должен думать о нем иначе – вряд ли в тюрьме умнеют…

В этой низости я признаюсь – до сих пор мне за нее стыдно.

Я вступил сам с собой в недостойную игру. Потом, когда я начну свой долгий – длиной в этот роман – спор с Сашей, то начну его поначалу, как спор с самим собой – с Сашей мне надо размежеваться, чтобы вытравить в себе потенциального коллаборациониста и предателя.

Саша и Ося – два полюса нашей ленинградской жизни, два моих псевдонима: одного из них я мешаю с говном, другого идолизирую. Саша и Ося – два моих alter ego, мое прошлое и мое будущее, то, что я в себе ненавижу, и то, что пестую и взращиваю.

Я добавил обоим аргументы, укрепил их позиции. Домыслил за них мотивировки, объяснил их поведение. Два моих литературных детища – Саша и Ося. Но ведь были же, черт возьми, на самом деле два таких человека, не приснились же они мне в моем сне о Ленин граде!

Один из них до сих пор живет в этом городе, а другого мотает по белу свету…

Глава 13. ТРИ ПОЭТА

I
Позвольте, Клепикова Лена,
пред Вами преклонить колена.
Позвольте преклонить их снова
пред Вами, Соловьев и Вова.
Моя хмельная голова
вам хочет ртом сказать слова:

II
Февраль довольно скверный месяц.
Жестокость у него в лице.
Но тем приятнее заметить:
вы родились в его конце.
За это на февраль мы, в общем,
глядим с приятностью, не ропщем.

III
На свет явившись с интервалом
в пять дней, Венеру веселя,
тот интервал под покрывалом
вы сократили до нуля.
Покуда дети о глаголе,
вы думали о браке в школе.

ИБ

Я не помню, о чем думал в школе: о глаголе – менее всего. Мы были политическими детьми – какой там глагол, когда вокруг черт-те знает что происходило. Посадили врачей и объявили извергами рода человеческого, а спустя несколько месяцев выпустили, умер Сталин, вознесенный на небо, а потом низринутый оттуда Хрущевым и выкинутый вон из Мавзолея.

События школьной нашей жизни накладывались одно на другое, мы не думали ни о глаголе, ни о браке, мы думали и думаем до сих пор, хотя понимаем всю бессмыслицу нашего думания, о политике – и только о ней, увы…

Надо вспомнить какой-нибудь из наших с Леной совместных дней рождения – мы и в самом деле, не сговариваясь, явились на свет Божий с разницей в пять дней: Лена в Костроме, я в Ташкенте. Как Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Петр и Феврония одновременно умерли, так мы одновременно родились, что, возможно, также является отметиной судьбы, знаком нашей любви, Богом предусмотренной.

День рождения мы обычно устраивали между 20 и 25 февраля, чтобы званый день пришелся на субботу, и число поэтому каждый год менялось – его и в самом деле не было в календаре ни у друзей, ни у нас самих:

IV
Куда те дни девались ныне
никто не ведает – тире —
у вас самих их нет в помине
и у друзей в календаре.
Все, что для Лены и Володи
приятно – не вредит природе.

V
Они, конечно, нас моложе
и даже, может быть, глупей.
А вообще они похожи
на двух смышленых голубей,
что Ястреба позвали в гости,
и Ястреб позабыл о злости.

VI
К телам жестокое и душам,
но благосклонное к словам,
да будет Время главным кушем,
достанется который вам.
И пусть текут Господни лета
под наше «многая вам лета!!!»

Через три месяца «Ястреб» уедет в Америку и через три года напишет в Коннектикуте стихотворение «Осенний крик ястреба»: небрежно брошенное в заздравном стихе сравнение будет развернуто в длинный стиховой сюжет – 120 строк.

Что касается «двух смышленых голубей», то они эти три года будут ворковать, становясь на горло собственной песне, пока вся эта затянувшаяся песня не встанет одновременно у обоих комом в горле – ни проглотить, ни выплюнуть.

Кстати, в 72-м году Ося не смог прийти на наш день рождения, а стихотворение вручил спустя несколько дней, зайдя к Лене в «Аврору». Нет, он не принес его – он сел напротив Лены и прямо при ней его записал. Конечно, он сочинил его заранее, но было ли оно у него записано или он держал его в голове – не знаю.

Он всегда приходил без подарка – денег не было, хотя его гордость, по-видимому, и страдала от этого. Он честно отрабатывал свой хлеб – читал стихи, и всегда это был коронный номер вечера, мы забывали обо всем и сидели потрясенные.

Все, кроме Саши – я искоса иногда поглядывал на него, он не мог справиться со своим лицом, я его не осуждал – я ему сочувствовал.

На днях рождения у нас было обычно много народу, хотя с каждым днем все меньше и меньше – уехал Бродский, посадили Володю, с каждым годом дни рождения становились скучнее, ничтожнее и опаснее: в 1975 году я решился и отменил день рождения вовсе – 19 февраля начался суд над Марамзиным, чуть ли не каждого из нас таскали в КГБ, я взял грех на душу и заподозрил в одном из гостей если не добровольного сексота, то подневольного осведомителя, стукача по принуждению (или, как мы шифровали для телефонных разговоров, предполагая, что их подслушивают – дятел: потому что тоже стучит).

Страх перед стукачеством, мания преследования, всеобщая подозрительность – хроническая болезнь советского, нашего времени, не менее, кстати, опасная, чем само стукачество, и также инспирируемая КГБ. В стукачестве все подозревают всех – друзей, жен, детей (хрестоматийный, хотя и давний пример – Павлик Морозов). Такова тотальная подоплека нашей жизни, а КГБ с помощью страха перед стукачеством насаждает страх перед КГБ и страх вообще. У Бродского есть длинная драматическая поэма «Горбунов и Горчаков» о двух соседях по палате в психушке: один доносит на другого. Или – точнее – другой подозревает первого в доносительстве. Или тот и в самом деле стучит?

Единственная возможность выяснить истину – обратиться с запросом в КГБ.

Короче, эта болезнь знает эпидемические вспышки, когда мания преследования охватывает всех повсеместно и без разбору, многие болеют тяжелой, изнуряющей и неизлечимой ее формой, а в стертых проявлениях она поражает каждого и никогда полностью не проходит.

Я ей подвержен не менее других, а сейчас, когда пишу этот роман – особенно.

«В Петербурге эта болезнь – мания видеть во всех стукачей – достигла самого высокого уровня, – пишет Надежда Мандельштам. – Она отравляет жизнь людям и сейчас. Петербург – проклятый город, „сему месту быть пусту“».

В этой атмосфере сгущающегося страха и протекал вроде бы вполне локальный конфликт двух русских поэтов.

На людных наших сборищах их вражда была не так заметна – они садились в разных концах стола, и конфронтация между ними, если и была, то незримая. Другое дело, скажем, у Яши Гордина на малолюдных его днях рождения, которые все были испорчены, во-первых, более чем скромной закуской – Яша был аскет не только по отношению к себе, да и беден тогда, во-вторых, теми флюидами вражды, которые, как электрические разряды, вспыхивали между Осей и Сашей. Помню один такой день рождения – Яша справлял его у приятеля с чудной, певучей такой фамилией, которую я запамятовал, – несколько часов сряду мы молчали, напряженно следя за жестокой этой дуэлью, и одна Лена, выпив лишнего и перестав замечать что-либо окрест себя, веселилась, поддразнивая костенеющего в собственном величии Игоря Ефимова.

Музыкальную фамилию Яшиного приятеля вспомнил – Певцов, но, впрочем, ни он, ни сам Яша, ни даже Игорь отношения к моему рассказу не имеют. Если что и имеет, то Лили Марлен, солдатскую песенку о которой в собственном переводе Ося пропел нам, аккомпанируя себе постукиванием ладони по столу – это был триумф на периферии. Еще он схватывает сходство, рисуя своих приятелей, но это и вовсе увело бы сюжет в сторону. Вообще, приходится многое опускать, чтобы не упустить суть.

Я далеко не сразу все понял и одну оплошность-таки совершил.

Приехал Евтух – так мы называли Женю Евтушенко между собой, а Бориса Слуцкого: Борух – и места себе не находил в чопорном Ленинграде. Я позвал его, Сашу и Осю; вдобавок еще одного театрального ерника (Женю Колмановского), зная, что ни Ося, ни Саша, ни мы с Леной стихов Евтуха не любим, а ерник с провинциальным своим саратовским вкусом был большим его поклонником, хотя и не был с ним знаком. Вышло все из рук вон плохо. Ерник закомплексовал перед любимым поэтом, для храбрости напился и стал ерничать, подступая к Евтуху со своими изощренно-извращенными шуточками. В Ленинграде к его шутовской манере попривыкли, у него был свой благодарный зритель-слушатель, который сравнивал его то с Сократом, а то с Розановым, для Евтуха же все это внове. К тому же, незадолго до

этого, днем, в кабаке нашего Дома писателей кто-то Женю оскорбил, обидел, вот он и взял реванш у нас, и ерник был смят длинной менторской филиппикой Евтуха. Я пожалел тогда, что пригласил моего приятеля ерника, а теперь думаю – слава Богу, что так сделал: оттянул развязку этого вечера.

Стали читать стихи. Первым прочел Евтух – Лене, Саше, Осе и мне стихи не понравились, а ерник решил отомстить за выговор и вместе с нами промолчал, не выполнив той единственной функции, ради которой был приглашен. Если бы Евтух читал стихи кому-нибудь одному, то ни один из нас, наверное, не посмел бы так вот, как сейчас, обидно отмолчаться, как будто и не читал Евтух стихи. А так мы стыдились друг друга и молчали – стихи были слабые и слушать их было стыдно.

Потом стал читать Саша – читал плохо, киксовал, я за него немного переживал как за собственную креатуру, но его стихи, возможно, прозвучавшие бы вчера или позавчера – или завтра – сегодня, в присутствии Бродского и в преддверии его чтения, не звучали вовсе, были вялыми, невнятными, ненужными. Как раз завтра, именно завтра, с отъездом Оси, они зазвучат и прозвучат – его отъезд временно усилит Сашину акустику и одновременно ослабит его поэзию, хотя Сашу уже ничто не успокоит, как царицу в пушкинской сказке, которая, удалив соперницу-падчерицу, чуть не ежедневно требует ответа от волшебного своего зеркальца – она ли самая красивая на свете? – а узнав, что не она, «положила иль не жить, иль царевну погубить». А пока что Саша и читал стихи как-то скороговоркой, смял, скомкал несколько совсем неплохих, торопился, стыдясь и зная заранее, что не прозвучат они сегодня – здесь. И снова мы все молчали, да и неудобно было как-то, промолчав после Евтуха, сказать доброе слово Саше.

И Бродский молчал.

Ах, Ося, Ося! Я даже не знаю, стыдно это или нет, зная свою силу, предвкушая свое чтение и свою такую легкую в общем-то победу, ибо победа не в чтении, но задолго до него и после него – в судьбе, стыдно или не стыдно так вот отнекиваться, кокетничать, а потом начать, и удивленно замолчит мой приятель ерник, потрясенный чтением Бродского, которого слышит впервые, и Евтух забудет о покровительственных – по отношению к Бродскому – своих обязанностях (какое там покровительство!), и помрачнеет Саша, превратившись на глазах в маленького озлобленного карла, и кажется впервые в этот вечер я пойму не стихи Бродского, а Сашины, их тонкий версификаторский обман, их стилизаторский, подложный характер – пойму впервые, но не окончательно, истина мимоходом, точнее мимолетом, заденет меня и исчезнет – в тот вечер я все-таки слушал Осю, а не думал о

Саше.

Господи, помилуй меня – минуй меня, зависть, испепеляющая, иссушающая, уничтожающая вконец человека.

Как проста и элементарна ее механика, даже когда она посещает одаренных людей в присутствии гения.

Я вспоминаю, как всю нашу профгруппу литераторов – этакий жидовский предбанничек Союза писателей, будущие его члены либо те, кому от ворот поворот – мобилизовали на выборы: чтобы поторапливать нерадивых избирателей, дабы те, не мешкая, проголосовали за блок коммунистов и беспартийных, демонстрируя гражданскую свою активность. У каждого из нас был свой участок, свои пять-шесть домов, и в штабе висела диаграмма, которая, намекая на не объявленное соревнование между нами, должна была поторапливать уже нас, агитаторов, и я помню необычайную Осину активность, словно он демонстрировал Советской власти, на что он способен, и его дома проголосовали первыми, Бродский их мобилизовал, уговорил, сагитировал – и гордый своей победой первым покинул избирательный участок.

На дне рождения у Игоря он легко отбил у меня девицу, за которой я было приударил, а отбив, тут же забыл о ней, и девица ходила обиженная и неприкаянная. Ему нужна была победа, а не добыча, он был охотником, которого интересовала не дичь, а приз.

Ему надо было быть повсюду первым, иначе он не мог, не умел, он и из школы ушел, кажется, из восьмого класса, оборвав совет скую свою судьбу, нарушив ненарушаемую ее предначертанность, чтобы не смешаться со всеми, не уподобиться им.

Представляю себе ужас еврейских его родителей, когда он бросил школу – а что бы я сказал своему балбесу, если бы он поступил так же?

А Саша кончил школу с золотой медалью и психологию отличника пронес через всю свою жизнь.

Боюсь, я предпочел бы для моего сына Сашину судьбу, а не Осину: что я – враг своему ребенку?

А для себя?

Чего гадать – отличником я никогда не был, а примерять на себя судьбу гения нелепо.

А на том памятном и почти средневековом турнире поэтов у нас в квартире на Второй Красноармейской улице оба, и Саша и Евтух, были как бы впервые потрясены поэтической мощью Бродского, что никак не нарушило всесоюзную популярность Евтуха, но вконец исказило литературную судьбу Саши. Я даже не

о самой зависти, но о тех причудливых узорах, которые она выткала, о тех извилистых путях, по которым пошел Саша, чтобы ее преодолеть или скрыть. Именно с этого вечера начались его душевные метания. Саша то резко, наотмашь отрицал Бродского, то привлекал его в друзья и подверстывал в личный именной список, который служил ему поэтическим пьедесталом – и на него вскарабкивался.

Ося кончил читать, и мы снова молчали, но молчали уже иначе, чем прежде – вечер был испорчен: первым ушел ерник, за ним Саша, один, измочаленный, в тоске и тем не менее торопящийся попасть в метро до его закрытия – в жизни он меркантилен не менее, чем в поэзии. Бродский и Евтух посидели еще с полчаса – мы мирно о чем-то болтали, только не о стихах.

За два дня до отъезда из СССР Ося скажет мне о странной роли Евтушенко в его изгнании – скажет смутно, неопределенно, неуверенно, мучаясь отсутствием точных сведений. Спустя месяца полтора версию этой истории я услышу от Евтуха. Я ни словом не обмолвился о той намекающей информации, которую получил от Бродского, Евтух заговорит сам, причем придаст своему рассказу особое, историческое значение.

Не помню, куда и зачем мы мчались с ним на его машине по пустынной Москве, и разговор шел о чем-то совсем другом, и вдруг он затормозил машину на каком-то пустыре и стал мне что-то быстро и озабоченно шептать, и я не сразу понял – о чем, собственно, речь, а он все шептал и спорил с кем-то, спорил ожесточенно и безнадежно.

Суть сводилась к тому, что, когда Женя в очередной раз пересек океан в обратном направлении, многочисленные его чемоданы потрошили на таможне несколько часов подряд, причем процедура была оскорбительной, плюс кое-чего Женя в чемоданах потом не досчитался. Он даже обиженное стихотворение об этом написал: эх, мол, Родина, я думал, ты меня цветами встретишь, как и положено большому поэту, выполнявшему высокую миссию за твоими рубежами, а ты меня обыском – не стыдно тебе, Родина! Обида была вполне справедливой, а вот пафос несколько завышен, не соответствовал событию: обыск на таможне – дело обычное, особливо для таких международных гастролеров, как Евтух, и плата за многочисленные вояжи не так уж велика, хотя он к этому и не привык. Истинно русский поэт – пусть не по происхождению, ни капли русской крови, а настоящая фамилия Гангнус, но зато и ни капли еврейской, что в русской поэзии сейчас довольно редко (в отличие от прозы), самый популярный в народе поэт – сравниваю с современниками и со всеми русскими поэтами вообще, всех, так

сказать, обозримых разумом времен, русский не только по спекулятивной, но и по искренней любви к России, что тоже раритет, вспомним Вяземского[3], русский с ног до головы, русский по страсти, по программе, по надеждам, по идеалам, по знаменам, транспарантам и лозунгам – русский поэт Евгений Евтушенко относился к России пугливо и предпочитал в бытовые отношения с ней не вступать. Он всюду – в ресторан ВТО или на Братскую ГЭС, на БАМ или к отдыхающим шахтерам в Коктебеле (я имел честь сопровождать его к ним) – являлся как знаменитый поэт и пасовал, когда ему приходилось быть на общих основаниях.

Я помню, как потрясен он был хамством продавщицы, выбирая какую-то ювелирную мелочь в магазине. Помню полную его растерянность и страх, и затравленность, когда на троллейбусной остановке на Загородном проспекте в Ленинграде, где мы стояли после его и Межирова вечера, который я вел, он получил под дых от одного не в меру патриотичного и в меру выпившего гражданина – в ответ на какую-то возбужденную Женину реплику о дефиците чего-то где-то у нас в стране. Мы всей ватагой вошли в троллейбус, защищая Евтуха от разъяренного патриота, а Женя вдруг, сквозь весь троллейбус, кинулся к водителю, и мы услышали пронзительный мальчишеский его голос, срывающийся от волнения на дискант: «Я – знаменитый русский поэт Евтушенко, а этот, – и Женя смешно взмахнул рукой и указал назад, в нашу сторону, где мы (Саша в том числе) встали живой стеной на пути советского патриотизма, – а этот, – в голосе Жени закипали слезы, обида была великой, потому что „этот“ был потенциальным Жениным слушателем и читателем, – а этот меня бьет! Немедленно остановите троллейбус, закрой те все двери, никого не выпускайте, вызовите милиционера, я – знаменитый русский поэт Евтушенко!»

(Да не сочтет читатель эти его слова за пародию, я записал их слово в слово, как только мы всей ватагой ввалились к нам домой – и снова читали стихи, но Бродского среди нас уже не было.)

Я встретился как-то с Евтухом, когда он в очередной раз проштрафился – послал телеграмму в защиту Солженицына – в тот сенсационный день, кода того посадили на самолет в Шереметьево, а выпустили во Франкфуртском аэропорту. Жене все сходило с рук, и это вызывало самые разнообразные к нему претензии, переходящие порой в срамные подозрения – от всего этого я отмежевываюсь, ибо не пойман – не вор, и не знаю как в плане практическом, но в нравственном: лучше недобздеть, чем перебздеть. Та же судьба скоро постигнет Володю Марамзина –

привыкшая к потокам исторической крови, русская интеллигенция успокаивается только, когда кого-нибудь из ее среды вздернут либо поставят к стене. Хлеба ей мало, ей нужны зрелища, страна хочет иметь своих героев и ради этого готова поставлять жертвы в любом количестве. Я помню, как все успокоились, когда арестовали Андрея Амальрика – выходит, зря подозревали, что он стукач.

В тот раз Евтух был разнообразно, но по-божески наказан – кто-то его пожурил на писательском собрании, отменили его радиовечер, полетело несколько его стихов. Среди прочего запретили ему на несколько месяцев выезжать из Советского Союза, и это более всего и уязвило Женю, было самым жестоким для него наказанием. Он мне тогда говорил, что места себе не находит, сердце болит, больше месяца ему в Советском Союзе не выдержать! Привожу этот факт не в осуждение и не в похвалу, но в качестве живого парадокса: самый народный и самый русский поэт Россию в большом количестве – больше месяца – переносит с трудом.

А каково было Пушкину, так и не выпущенному царем за гра ницу?

А каково каждому советскому человеку – не кумиру нации и не еврею с его запасным выходом в эмиграцию, а простому советскому смертному?

Все я не о том – пишу роман урывками, и дневник перебивает сюжет…

Так вот – возвращаясь к сюжету – Евтух, не досчитавшись чего-то там в своих чемоданах, обратился в КГБ, где был принят Андроповым и провел в дружеской беседе с ним несколько часов. Зашла речь и о Бродском – это было всего за месяц до его стремительного выезда отсюда. И будто бы Андропов спросил у Жени, какой ему представляется здесь, у нас судьба Бродского, и представляется ли она ему здесь. И Женя, угадывая ответ, которого от него ждут, сказал, что нет, не представляется. И Андропов будто бы согласился с тем, что не представляется, потому что шефу КГБ тоже как-то очень было трудно представить судьбу Бродского в России благополучной.

Странный это был, должно быть, разговор: два главных человека – главный надсмотрщик и главный поэт, и обоим почему-то существование Иосифа Бродского в СССР не представляется. Ну, ладно, Андропову, хотя во многом именно от него зависело жить Бродскому здесь или не жить, но почему Евтух не мог представить себе опубликованными в советской печати Осины стихи, а писание и публикация стихов – это ведь и есть существование поэта? И будто бы Женя тогда сказал

Андропову, чтобы по возможности упростили формальности и облегчили отъезд Бродского. Ему и в самом деле упростили отъезд – Бродский едва успел собрать вещи и вылетел отсюда, как ядро из пушки.

Я не люблю, когда Евтух напускает на себя таинственность, чтобы рассказать, как Фидель Кастро вручил ему браунинг, а Роберт Кеннеди, под рокот горячей воды в ванной, поведал ему, что Синявский и Даниэль были выданы ЦРУ, за что от КГБ была получена какая-то важная для Америки информация. Женина конспирация безвкусна и доверию не способствует. Но Бог его знает – может быть, Фидель и в самом деле дал ему браунинг, а Роберт Кеннеди поведал тайну разоблачения двух советских писателей, хотя вряд ли все-таки в ванной – это скорее советский образ. Может быть, все дело в том, что Женю подводит вкус, и он не находит правдоподобной формы для правды?

Я понял, что он мне рассказал о разговоре с Андроповым в опровержение возможной версии Бродского. А откуда Ося все это взял? От того же Евтуха? Вряд ли от Андропова…

Повинную голову меч не сечет, а Женя, похоже, был не уверен, правильно ли он поступил, угадывая мысли и желания председателя КГБ.

А какое чувство было у Пастернака после разговора со Сталиным о судьбе Мандель штама?

Прошлым летом в Коктебеле, едва приехав и не успев еще пожать Женину руку, я подвергся с его стороны решительному и жестокому нападению – без обиняков он выложил мне все, что думает о Бродском, который испортил ему американское турне: инспирированная Бродским и компрометирующая Евтушенко статья во влиятельной американской газете, а из-за нее, впервые за все его поездки в Америку, полупустые залы, где он выступал. Фотограф нас заснял во время этого разговора, лицо у Жени на фотографии разъяренное.

Шквал агрессивных оправданий – Евтух настаивал на полной своей невиновности перед Бродским.

Я склонен ему верить, убрав прилагательное «полная» – скорее всего он и в самом деле невиновен или виноват без вины, так что зря Бродский затаил на него обиду.

Сейчас я все объясню.

Как бы ни ругали Евтуха, знакомство с ним льстило любому его хулителю, и дело здесь вовсе не в личных его качествах, но в его славе, в его имени. Я помню, как Лена, когда я их знакомил, насмешливо пробурчала что-то о том, что, мол, это и есть знаменитый русский поэт Евтушенко – Женя обиделся, а зря – ему бы радоваться: Лена съязвила от робости, как потом от робости

пытался язвить страстный его поклонник у нас на вечере, оказавшись за одним с ним столом. Из ленинградского нашего клана меня угораздило познакомиться с ним чуть ли не первым – или первым Ося? – и я даже как-то написал о нем статью для «Нового мира», вызвав неудовольствие как его поклонников (зачем ругаю?), так и его хулителей (зачем хвалю?), а знакомство с ним – враждебное недоумение моих ленинградских приятелей, о которых пишу этот роман. Саша мне тогда ответил стихом:

Кто о великом Евтушенке
Нам слово новое сказал?
С его стихов сухие пенки
Кто (неразборчивый) слизал? —

и вот как, спустя год (я же их и познакомил, стоящих на коктебельском пляже – Саша в синих советских трусах до колен, а Женя в разноцветных импортных плавках), Саша сменил мечи на орала, гнев на милость, невнятное недовольство на очевидную гордость знакомством, хотя и иронизируя слегка над ним (цитирую следующее Сашино ко мне послание – из того же Коктебеля):

Но мне, проведшему в Крыму
Дней двадцать рядом с Евтушенкой,
Мне нынче бабы ни к чему:
Я им даю под зад коленкой.
Вниманьем гения согрет,
Его в натуре наблюдая,
Я понял: правды в жизни нет!
Но есть покой и Лиепая…

Под Лиепаей, на морской нашей погранзаставе, мы тогда с Леной и Жекой отдыхали, и туда Саша и направил нам свое рифмованное послание, подражая не столько дружеским посланиям пушкинской поры, сколько привычке Бродского работать стихами даже в эпистолярном и поздравительном жанре – свойство насквозь поэтической натуры.

В русской поэзии XX века, кажется, только он и Пастернак смогли этот стихотворный треп вывести в высокий ранг подлинной поэзии. Саша стал писать послания с отъездом Бродского, стараясь и здесь его подменить, обесточить и нейтрализовать: его послания – своими; изгладить из памяти в том числе и эту его работу – есть я, живой, невредимый,

лояльный, что вам до рыжего скитальца?

Когда это не получится, Саша попытается вписать Бродского, предварительно уменьшив его и исказив, в собственный стих – в качестве крошечной стаффажной фигурки: в одном стихотворении назовет его рыжим другом, что верно только в отношении масти ленинградского Агасфера и противоположно в остальном, а в другом – веткой общего дерева, где другая ветка – он, Саша, а та ветка, Ося, как бы от имени всего дерева вытянулась туда в окно (эзопова феня, намек на пушкинско-петровское окно в Европу) и смотрит и наблюдает, но не сам по себе, а словно бы за всех нас, которые тоже ветки на том же дереве, но в окно почему-то не просунулись. Стихи эти меня особенно разозлили: какой друг – когда враг! какая там ветка – сами же ее дружными усилиями срубили, а теперь обратно пытаются приделать к дереву. Цех ремесленников изгоняет мастера, а когда тот прославился, называется его именем! Если настанут когда-нибудь в России иные времена, Саша еще станет его популяризатором и напишет предисловие к книге его стихов.

О эти метаморфозы, которые не снились даже Овидию!

…так вот – возвращаясь к нашим баранам, или как написал Бродский:

> Итак, возвращая язык и взгляд
> к баранам на семьдесят строк назад,
> чтоб как-то их с пастухом связать —

…так вот, я не хотел бы, чтобы читатель воспринял перечисленные здесь эпизоды в качестве исчерпывающей характеристики побочного моего персонажа. В этих моих домашних записях Евтушенко возник почти случайно, а он заслуживает отдельного и более сложного разговора – если не как поэтическое, то как политическое явление. Я о нем писал как критик и, даст Бог, еще напишу – не сейчас и не здесь.

А прошлогодняя коктебельская Женина на Осю ярость объяснима была отчасти еще тем, что Женя бросил в этот день курить – это мне сообщила в его оправдание Галя, его жена, а я по себе знаю, сколько это стоит нервов. При их нью-йоркской встрече я не был, а знаю о ней только со слов другого Жени – Рейна, а тот обладает не только цепкой, почти патологической памятью, но и богатым воображением. Сравнивать различные версии мне сейчас недосуг – я пишу о другом, а Евтуха подверстал вот для чего.

В конце концов я пишу прозу, а не протокол и могу себе позволить следующую гипотезу, тем более абсолютно в ней

уверен, хотя никаких доказательств у меня, естественно, нет, да и какие могут быть доказательства, когда речь пойдет о бремени страстей человеческих.

Ежели Осины смутные подозрения верны, и Евтух в самом деле способствовал его отъезду отсюда туда, отъезду, самим Бродским взлелеянному, и даже предпринимались какие-то сумбурные матримониальные прожекты с некоей искренне в него влюбленной Кэролл, то одно все-таки личные планы, а другое пинок под зад – есть некоторая разница – так вот, если Женя действительно способствовал высылке Бродского, то не на том ли вечере у нас возникла сама эта мысль, что Бродский – лишний, изгой, конкурент, возмутитель спокойствия и разрушитель цеховой иерархии, где у каждого было свое место под солнцем русской поэзии, а у него не было, и он отсутствием этого места сбивал всех с толку, разрушал с таким трудом разложенный пасьянс: здесь Евтух, здесь Вознесенский, а здесь Кушнер, о котором вскоре после отъезда Бродского Евтух напишет покровительственную статью как о главном ленинградском поэте. Мало того, что сбивал с толку и мешался под ногами – Бродский мощно наплывал на русскую поэзию и застилал весь ее горизонт, не позволял лениться и чваниться – нечем! – мешал их игре в поэзию и литературу, сам даже не подозревая об этом.

Или – подозревая?

Так вот, не на том ли нашем неудавшемся вечере, когда Евтух и Саша так дурно читали свои стихи и когда Ося забросил куда-то за облако свое лассо, и мы долго вглядывались в ночную даль, не вернется ли оно назад – нет, не вернулось – и Бродского куда-то умчало и мы было погнались за ним, но – куда там! куда нам до него! – и только глухой, клокочущий, гортанный и картавый голос долетал до нас из его носоглотки, и мы удивились, опомнившись и увидев, что Ося как ни в чем не бывало поедает филейную вырезку, так ловко поджаренную Леной Клепиковой, что кровь фонтанчиками била из четырех крошечных дырочек, когда он втыкал в нее свою вилку, жует, пьет, потеет – как будто бы ничего не произошло и не он только что улетел черт знает куда и мы не могли его догнать – так вот, не в этот ли злосчастный вечер пришла одному из нас мысль устранить Бродского из нашей жизни – какой там дар Изоры, до чего ж устарел сальериевский фармацевтический способ, когда есть куда более верный! – и мысль эта промелькнула среди нас, как шаровая молния, и исчезла, никого смертельно не задев.

Не мне, страстному его почитателю.
Не Лене, плюхнувшей на его тарелку лучший кусок мяса.

Не моему приятелю, балагуру и ернику – он был скорее моим Сальери, хотя я и не был Моцартом, увы…

Однако – сейчас я очень отчетливо это вижу – и не Евтуху: он оказался лишь исполнителем чужой воли, внушенной ему Сашей, может быть – бессознательно.

Ибо есть страсти, которые минуют разум, сметая на пути его доводы.

Не было им двоим на советской земле места – и ни регулярные, один за другим, сборники, ни авторские вечера, ни положительные рецензии (тогда в основном мои) – ничто не могло Саше помочь, но только смерть соперника или его изгнание, что в наших отечественных условиях могло сойти за одно, хотя – о счастье! – не тождественно.

Я знаю, что такое страсть – можно внушить человеку любовь, как я когда-то Лене, а можно ли зависть? И не только зависть, но конкретный стратегический ход?..

Знал ли Евтух, что был в тот вечер перцепиентом, а его индуктором был Саша?

Догадывался ли о чем-нибудь вернувшийся с небес, упоенный своим триумфом и поедающий филейную вырезку Бродский?

Единственный раз в жизни я присутствовал на телепатическом сеансе, но понял это только сейчас, описывая давнюю ту встречу.

Как хорошо все-таки, что я пишу роман и ищу доказательства на глубине, а не на поверхности.

Потому что Саша был в тот вечер конгениален Осе, ибо зависть такая же испепеляющая страсть, как гений. Пусть даже эта страсть не созидательная, а разрушительная, как смерч, как смерть.

Глава 19. РАЗГОВОР С НЕБОЖИТЕЛЕМ – 1975

Но, как всегда, не зная для кого,
твори себя и жизнь свою твори
всей силою несчастья твоего.

ИБ. Шествие

Но, как известно, именно в минуту
отчаянья и начинает дуть
попутный ветер.

ИБ. Дидона и Эней

Сохрани, Боже, ему быть счастливым: с счастием лопнет прекрасная струна его лиры.

Князь Петр Вяземский

Значение поэзии ИБ проистекает из интимных условий его творчества – вот где завязь его таланта. ИБ обостренно ощущал тупик своей жизни – и ее биологическую конечность, общую для всех нас, но от нас отдаленную, а для него слишком очевидную, близкую, и опасную, смертельную свою судьбу; и выхода не знал, не видел, не предвидел, даже и не предполагал вовсе в обозримые разумом, чувством и инстинктом времена. Темное царство, но без луча света в нем, без толики света, без щелки и без надежды. Не было ни выбора, ни выхода, а были одни стихи, и, кроме них, не было ничего: стихи – альтернатива реальности. Отсюда такая тягостная на стихи нагрузка – поэзия ИБ перегружена: не содержанием, а возложенными на нее обязанностями, кои она прежде никогда и ни у кого не выполняла. Стихи были для ИБ уходом от одиночества и небытия. Некому было больше верить и доверять – только стиху: он не выдаст, не предаст, не донесет, не изменит; последняя надежда в совершенно безнадежной ситуации – надежда на надежду, хотя и эта надежда истончалась и исчезала, а перспектива вдруг круто и резко обрывалась. И вера была не то чтобы мнимой, но «не более, чем почтой в один конец», и тогда Иов – а не Иосиф! – Бродский начинал свой чудовищный и кощунственный ропот и, следуя за далекими своими предками, вступал с Богом в конфликт, испытывая Его терпение, как Тот – его.

Тебе твой дар
Я возвращаю – не зарыл, не пропил;
и, если бы душа имела профиль,
ты б увидал,
что и она
всего лишь слепок с горестного дара,
что более ничем не обладала,

что вместе с ним к тебе обращена.

Поразительная – внецерковная и внеидеологическая – вера ИБ более всего проявляется именно в его ропоте: у него нет прямых отношений с властью, ибо для него она не враг, он ее не укрупняет своей борьбой с ней, но укрупняет себя – борьбой с Богом. Об этом есть в Библии: ночная борьба Иакова с ангелом. Об этом, комментируя библейский эпизод, писал Рильке: наши споры с жизнью мелки, нас унижает наш успех, мы побеждаем ничтожное и игнорируем великое, что против нас и что нас бы увеличило, вступи мы с Ним в открытую схватку и будь мы Им побеждены – все равно, мы бы росли Ему в ответ.

Поэзия для ИБ – не молитва, но открытый и напряженный диалог с Небесами (а не рупор их идей, как ошибочно классифицирует поэзию сам ИБ) – больше не с кем, но только с Богом: чтобы расти Ему в ответ. Другое дело, что разговор с Богом порою заглушался, и на месте прежнего собеседника оказывался новый, несравненно ниже прежнего: вместо власти небесной власть земная, на месте Бога генсек-маршал – так сказать, промежуточная инстанция.

И все же разговор с Небожителем – это не локальный либо случайный эпизод в поэтической работе ИБ. Бог – постоянный адресат его эпистолярной лирики. Думаю, что и обратно письма доходили, кстати, никем не перлюстрированные, ибо там, где ведется тайный просмотр и учет частных писем, язык божественный, как и поэтический, еще не изучен как следует. Полагаю, что и сомнения ИБ в отзывчивости респондента – это скорее всего сомнения Homo sapiens в собственных телекинетических способностях, которые – сомнения – наверное, неизбежны при непрерывном разговоре жителя земли с жителем неба (с учетом разделяющего их пространства): «Я глуховат. Я, Боже, слеповат». Ибо разговор этот не на равных: без излишнего пиетета и без молитвенного экстаза, но с обостренным ощущением априорной и непоправимой иерархии. «Взапуски с небом» – это скорее ветхозаветный принцип. Иначе говоря, кто кого – от Иакова до Иова, от Иова до Иосифа и от Иосифа до Иосифа. Привлечение новозаветных легенд носит сугубо иллюстративный характер, и потому Христос уподобляется тому же Иову:

Там, на кресте,
не возоплю: «Почто меня оставил?!»
не превращу себя в благую весть!
Поскольку боль – не нарушенье правил:

страданье есть
способность тел,
и человек есть испытатель боли.
Но то ли свой ему неведом, то ли
ее предел.

Здесь, конечно, соблазнительно было бы подставить иксовые и игрековые значения, но поэзия – не уравнение, и икс значит все и ничего, а не нечто конкретное.

Кого имел в виду Эзоп под Лисой, а кого под Виноградом?

Не все ли нам равно…

Одно ясно: конец перспективы есть неведомый предел человека или боли, который и понуждает нас искать выход в безвыходной ситуации.

Поэзия для ИБ – это избежание смерти (одновременно – на всякий случай – тренировка в ней), соломинка утопающего, распрямление под тем мощным атмосферным столбом, которым давит на поэта судьба вкупе с жизнью и государством. Поэзия – это активное сопротивление, а не молчаливая оппозиция. Поэзия – это сноска, опровергающая основной корпус текста. Поэзия – это вызов: Небесам, а не Л. И. Брежневу – ему письмо от 4 июня 1972 года, в день отъезда, написанное прозой и оставшееся без ответа.

ИБ однажды перефразировал Сократа: быть поэтом – упражняться в умирании. Таков императив таланта: постулировать индивидуальную судьбу в качестве всеобщего правила. Однако для ИБ это и в самом деле закон его мироощущения либо судьбы: от чего страдает Гамлет – от себя? от времени? Сделать упор на власти – неправомерно завысить ее в значении. Предположить же в ИБ замкнутое трагическое мироощущение нарциссианского толка – значит сбросить ее начисто со счетов, хотя связь была теснейшей до жути, и «замерзший насмерть в параднике третьего Рима» – образ не вымышленный фантазией, но вынужденный обстоятельствами. И как знать, глухота ИБ – природная аномалия или благоприобретенное свойство, ибо «еловая готика русских равнин поглощает ответ». Здесь и возникает зимний, снежный, метельный, завьюженный образ – сквозной в поэзии ИБ и традиционный в русской: «Такой мороз, что коль убьют, то пусть из огнестрельного оружья», «В этих грустных краях все рассчитано на зиму: сны, стены тюрем, пальто, туалеты… Этот край недвижим». Образ державный и студеный, и даже за пределами России ИБ вспомнит:

державу ту,
где руки тянутся хвойным лесом
перед мелким, но хищным бесом
и слюну леденит во рту.

А может быть, ИБ принадлежит к тому типу людей с трагической душой, которые, как магнит, притягивают к себе трагедию обстоятельств? Так или иначе, все сюжетные перипетии его поэзии происходят среди трагических координат, ввиду смерти как постоянной – на все акты человеческой жизни! – декорации. Поэзия ИБ, обладая тайными ориентирами, мужественно кружит по минному полю, где смерть наиболее вероятна, а спасение – наименее, и стихи пропитаны смертью насквозь, вымокли до мозга костей под ее проливным дождем.

Какое там «великое может быть» – необязательная, случайная ссылка ИБ на автора «Гаргантюа и Пантагрюэля»! Совсем иное ощущение – во всяком случае, вполне конкретное: Время, передвигающее шахматные фигуры. «Похороны Бобо», «На смерть друга», «Большая Элегия Джону Донну», «Стихи на смерть Т. С. Элиота», «Письмо в бутылке», «Холмы», «Горбунов и Горчаков», «Разговор с небожителем» – это блестящие ходы в шахматной партии, которая все равно неизбежно закончится смертью человека, но любой его зевок – смерть преждевременная.

Однако самое страшное – смерть прижизненная, когда «посмертная мука и при жизни саднит».

В чем она, эта прижизненная смерть?

Не думаю, что в разлуке – этот мотив не был ИБ разработан, но задет вскользь, мимоходом, моментально и начисто забыт: «В этом мире разлука – лишь прообраз иной».

В ощущении биологических либо божественных пределов? Вряд ли, ибо

Навсегда – не слово, а вправду цифра,
чьи нули, когда мы зарастем травою,
перекроют эпоху и век с лихвою.

Здесь, пусть гипотетическое, но возникает равенство, которое поэт обретает и теряет, доказывает и вновь сомневается: смерть – вечность – будущее – бессмертие.

Отныне, как обычно после жизни,
начнется вечность. Просто тишина.

Это было время, когда советская поэзия, восстанавливая прерванные связи со своей русской коллегой, реабилитировала и ввела в свой постоянный обиход слово «душа», и пииты с самозабвением пророков стали на все лады повторять эти пройденные еще в прошлом веке и затверженные эпигонами, но полузабытые в наше столетие поэтические азы; когда, казалось, поэзия предала забвению божественное свое происхождение и божественное назначение, но срочно, экс терном сдает школьный курс по собственной истории; когда открытием было сказать, что душа бессмертна, хотя об этом, по-видимому, подозревали уже Адам и Ева. Так вот, именно в это инфантильное для поэзии время ИБ совершенно для всех неожиданно, не стыдясь ни классических теней, ни анемичных современников, со всей ответственностью и легкомыслием, ему тогда свойственными, заявил, что душа за время жизни приобретает смертные черты. Литературным эпигонам казалось, что духовную эссенцию можно пить в чистом виде, припадая непосредственно к святым источникам русской классики, или, как однажды зло, но точно выразилась Юнна Мориц об одном поэте: «Я бы судила его за ежедневное изнасилование русской Музы» – в то время как эту эссенцию необходимо было добывать собственноручно из дерьма современной отечественной жизни.

Поэзия ИБ была сознательным отказом от переноса в современный стих готовых формул прошедшей поэзии. Сравнить его, увы, не с кем, ибо даже Андрей Вознесенский, с его поистине хамским отношением к классике, брал ее приступом, извне, ничего не щадя и все уничтожая окрест, потому что чужое, непонятное и враждебное.

ИБ находился внутри обложенной со всех сторон поэтической крепости, которая должна была сдаться с минуты на минуту: единоземцев он ненавидел чуть ли не сильнее, чем захватчиков-иноземцев. Обречены были и те и другие: осажденные на смерть либо прозябание и приспособление, оккупанты – на дикость, зависть и жестокость. ИБ был неприемлем для обеих сторон, как обе стороны – для него. В эпоху смертельной битвы, в «пору метелей, спячки и доносов» он, лишенный группового патриотизма, был одинок на миру и продуваем всеми сквозняками. От варваров он взял не меньше, чем от «своих»: силу, энергию, мужество, непримиримость и молодость. Он воевал сразу же на два фронта, и ежели остался жив, то благодаря тому, что противники были слишком заняты друг другом, чтобы отвлекаться на «третьего». Он был пятой колонной в стане русской поэзии, своим он был невнятен, как и чужим. Чужие ненавидели его за культуру, свои за дикость. С помощью

акмеистов и неоакмеистов (во главе последних вскоре встал Кушнер) ИБ преодолел варварский натиск, с помощью варваров протиснулся сквозь дружескую опеку эпигонского стиха и традиционных связей. «Я заражен нормальным классицизмом» – скорее его пытались заразить, а получилась превентивная прививка с легким недомоганием; ослаб ленная форма, а не серьезное заболевание.

Чем тесней единенье,
тем кромешней разрыв.

Даже ввиду близости неприятеля он не пошел на сговор со своими, отказался от консолидации родственного союза, боясь быть поглощенным им навсегда и без остатка. Защитники крепости распевали, стоя на стене, старинные песни и в ответ слышали гомерический смех варваров. ИБ сорвал свой голос на крике – какая там песнь! – пытаясь перекричать и тех и других:

Пусть эхо тут разносит по лесам
не песнь, а кашель.

Уверовав в бессмертие души, ее обычно оставляют на произвол и заботятся преимущественно о теле. ИБ из современных русских поэтов единственный понял, что угроза – душе, потому что она смертна и беззащитна, но ее еще можно спасти: или сегодня, или никогда.

Это главное его отличие от библейского Иова: более, чем от физических и материальных невзгод, ИБ страдает от душевных. Такое даже ощущение, что тело выжило, спаслось, раны зарубцевались, а душа – нет.

ИБ совершает семантический перевертыш – душа смертна, но бессмертно оставшееся без души тело; во всяком случае, куда долговечнее, чем душа. Это основной его спор с Богом – под сомнение поставлена связь между душой и телом, неизменность, неотменность и вечность этой связи. В «Исааке и Аврааме» поразительны метаморфозы живого в мертвое, а мертвого в ничто: живые ветви – мертвые ветки – огонь – пепел – пыль. «Тогда они, должно быть, впрямь умрут, исчезнув, сгинув, канув, уничтожась» – это не синонимы, но градации исчезновения, ступеньки, по которым спускаются в Аид. У ИБ – ввиду смертности души – Лиров комплекс: мнимость обладания. Об этом у него несколько поразительных стихотворений, где ускользаемость жизни приводит к странному оборотничеству.

Вроде бы все на своем месте: в открытом море резвится дельфин, ручей, а рядом сатир, канал, а в нем трирема с гребцами. Так в чем же дело?

Ржа, окись, патина…

Я приведу эти три отрывка, чтобы показать, как болезненно ИБ ощущает пропажу, как бьет тревогу в связи со смертью души, ибо тогда становится бессмысленной прежняя работа поэта и невозможной сегодняшняя – значение ИБ не только в том, что он ощущает себя последним поэтом на земле, но в том еще, что он выполняет все обязанности, возложенные Богом на последнего и единственного на земле поэта, в том числе погребальные и некрологические.

Фонтан, изображающий дельфина
в открытом море, совершенно сух.
Вполне понятно: каменная рыба
способна обойтись и без воды,
как та – без рыбы, сделанной из камня.

…
Сатир, покинув бронзовый ручей,
сжимает канделябр на шесть свечей,
как вещь, принадлежащую ему.
Но, как сурово утверждает опись,
он сам принадлежит ему. Увы,
все виды обладанья таковы.
Сатир – не исключенье. Посему
в его мошонке зеленеет окись.

…
Империя похожа на трирему
в канале, для триремы слишком узком.
Гребцы колотят веслами по суше,
и камни сильно обдирают борт.

Мир заменителей и суррогатов, потеснивший действительность и в конце концов подменивший ее собой.

Оскудение живой жизни и расцвет мнимой.

Поэт государственного масштаба, имперского мышления и политической дидактики, ИБ оказался во времени, когда ни о каком альянсе между Державиным и Фелицей не могло быть и речи.

Литературное отщепенство – это единственное, что ему оставалось. Его голос был, однако, усилен акустикой пустого

зала. Так начинается мировая слава, минуя отечественную.

Глава 27. САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ ГЕРОЕВ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру.

Княжнин

Я долго не хотел верить: Боже праведный! Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем! Какие достойные люди! Что ж теперь прочно на этом свете?

Гоголь

Теперь конец моей и вашей дружбе.
Зато начало многолетней тяжбе.

ИБ

…Мы с Сашей сидели в Вильнюсе у Томаса Венцловы, поэта, интеллектуала, неудачника и алкоголика, человека совершенно лишнего в советской Литве и ей чужого, потому что вся литовская поэзия в это время с какой-то оголтелой решимостью ринулась в прошлое, в дайны, в нивы, в деревню и в историю, противопоставляя всю эту диковинную национал-историко-натурфилософскую идиллию советской власти, и Томас, усердный читатель и почитатель Рильке, Пастернака, Мандельштама и Бродского, оказался не у дел, в мертвом пространстве, затосковал и запил. Тонюсенькая книжечка его европейских стихов не шла ни в какое сравнение ни с многочисленными и жанрово разнообразными сочинениями его отца – обласканного Москвой народно-официального поэта, ни с патриотическими напевами его поэтических коллег – от сохи и от истории. Легко понять, сравнив с нашими березофилами, только что – и это существенно – без джингоизма и юдофобства последних.

Центр литовской культуры – Вильнюс, средоточие литовского национализма – Каунас. По-русски в нем не говорят из принципа – я с этим не раз сталкивался. В Каунасе был свой Ян Полак – во время студенческих беспорядков в мае 1972 года: самосожжение двадцатилетнего студента Ромаса Капанты. Каунасское управление милиции называют небоскребом, но не за высоту – с его крыши видна Сибирь: метафора или анекдот? В Каунасе шла «Охота за мамонтами» – откровенно, хотя и под жанровой вуалью притчи, антисоветская пьеса: ее постановщик Ионас Юрашас был изгнан из театра и в конце концов покинул СССР.

Мне показалось, что в Вильнюсе к Каунасу относятся снисходительно, но с тайным любопытством, а может быть, и с надеждой – на что еще надеяться литовцам?

Томас был скорее даже, чем вильнюсцем, – европейцем. Со своими он перессорился и откровенно враждовал – и с официальными, и с подпольными, и с крамольными, и с богемными кругами. Присовокупились неудачи с женщинами, он не мог надолго задержаться ни на одной – по крайней мере в Ленинграде он каждый раз появлялся с новой. Ощущение было такое, что он один-одинешенек на всем белом свете.

Сына его приятельницы чуть не вышибли из школы за то, что он написал на ранце: «Русские, вон из Литвы!»

Томас возмущался:

– Они за Литву без русских, но за советскую Литву – к Советам они привыкли и иначе уже не могут.

Тогда вмешался Саша:

– При чем здесь русские – будто русским хорошо: на них тот же крест…

– А кто же тогда при чем? – спросил я. – Русские – как Жорж Данден: они сами этого хотели, им и пенять не на кого, кроме как на себя. А литовцев, латышей и эстонцев советизировали насильно. Так что их сравнивать с нами нельзя. Мы имеем то правительство, которое заслуживаем, а литовцы в этом постулате явно лишние.

ТОМАС. Знаете, мы все хотим казаться Европой, но только в уменьшенном, портативном виде – диаскопической Европой, мультипликационной: все как там. Да и свет отраженный – мы ориентируемся на Польшу и через нее узнаем о том, что происходит во Франции. Испорченный телефон, искаженное знание – подражаем Европе, которую не знаем. Максимальные наши желания слишком минимальны и мизерны, чтобы дать толчок нации. Нам мешает наша ненависть к русским.

САША. В том-то и дело – мы все связаны с Россией. Если не этносом, то рождением, не рождением, то языком, не языком, так

культурой, связаны пуповиной – нет разрыва! Пусть нам здесь плохо, но Россия дает нам свой масштаб и увеличивает нас.

ТОМАС. Это не совсем так. Я уж не говорю о том, что, когда человек рождается, пуповину обрезают, иначе он задохнется. Но это спор с метафорой, а я сейчас о другом. У вас гигантомания, Саша. Средний европеец, я не хочу быть увеличенным за счет России – зачем мне котурны, я хочу быть самим собой. Я за русские культурные связи – а у нас большинство культурной элиты их отрицает, но не за политические связи, а уж тем более не за географические и исторические. Я против насильственных связей – только добровольные. Да и вам зачем ходули – не понимаю: чужие меры. Они не увеличат ваш рост, даже не скроют его – простите, Саша, я не буквально.

Саша – маленького роста, даже меня ниже, и когда мы приехали с ним в Москву, злая Юнна успела мне шепнуть:

– Ты что – привез его в спичечном коробе?

Я. Вы, Томас – демократ и космополит, но простите, наше государство – наше, а не ваше, согласен – не с неба же оно на нас свалилось.

А если мы имеем не то правительство, которое заслуживаем, а то, которое не заслуживаем? Представьте себе у нас свободные выборы – кто победит? Диссиденты? Бюрократы? Технократы? Геронтократы? А что если – черносотенцы?

САША. Неправда! По кому вы судите о народе?

Я. Да хотя бы по моей теще!

ТОМАС. Ну, это последнее дело – судить по теще. Я ни одну свою тещу не любил, хотя они все были разных национальностей…

САША. А вы по себе судите – не считайте себя изгоем, мы – русские, мы представляем нацию и голосовать за охотнорядцев не стали бы.

Я. Еще бы – иначе бы вы проголосовали за свой смертный приговор. Вы-то себя, конечно, евреем не считаете, а они – вкупе с государством – считают: и никем иным. Это как в том анекдоте про сумасшедшего, который думал, что он ячменное зерно. Его подлечили и из больницы выписывают, а врач на всякий случай спрашивает: «Ну, а если вы встретите петуха, что тогда?» – «Тогда побегу!» – «Но вы же теперь знаете, что вы не ячменное зерно – зачем бежать?» – «Я-то знаю, но знает ли петух?»

Томас рассмеялся, а Саша нахохлился, хотя что ему злиться – будто мы первый раз об этом?

САША. Мы отмечены судьбой – русским рождением, все равно, кто мы – русские, литовцы, евреи. Это наш крест – и одновременно наше мужество, наша доблесть, наш гений: жить

здесь и, испытав на себе эту чудовищную боль, остаться людьми и рассказать об этом другим, кто этой боли не испытал. Вы думаете, Мандельштам – гений от природы? Гением его сделала советская власть!

ТОМАС. А «Камень», написанный до революции? Да и добрая половина «Tristia».

САША. Разве это можно сравнить с воронежскими стихами?

ТОМАС. О чем вы спорите? Гений – это чудо, а чудо тем изумительнее, чем меньше соответствует его появлению обстановка. И неужели мы станем искусственно культивировать, лелеять, благословлять и превращать в фетиш эту «несоответствующую» обстановку в надежде, что она поспособствует появлению очередного «чуда»? Разве концлагерь – обязательная колыбель искусства?

Я. Христос родился на скотном дворе и лежал в яслях, и это великое чудо, но нужно ли потому уничтожать родильные дома и загонять всех рожениц в конюшни?

ТОМАС. А что до воронежских стихов, то будь они даже лучше петербургских, разве не предпочли бы мы все, чтобы не было ни воронежских стихов, ни воронежской ссылки, ни насильственной смерти?

Что нам дороже – жизнь человека или его поэзия? Или мы так чудовищно меркантильны?.. Мандельштама страдания не обогатили, а уничтожили. У него была своя динамическая пружина роста – ему не надо было зарабатывать биографию в лагерях и тюрьмах. Его жизнь была и без того содержательной, перенасыщенной, а примитивный конфликт с государством, когда тебя травят, пытают и уничтожают, может исторгнуть лишь крик боли и отчаяния, а не новое содержание.

Я. И потом – неужели мало для поэта конфликтов, заложенных в биологической, духовной, религиозной и нравственной его природе?

Его жизнь может быть внешне благополучной, но трагичной по сути.

Условия существования человека слишком тяжелы, чтобы усложнять их дополнительно. Скажу больше – примитивная травля, которой художник подвергается в тоталитарных странах, кроме всего прочего, застилает от него истинный драматизм мира – Мандельштам все равно к нему пробивался: не благодаря удушью, но вопреки ему. Надежда Яковлевна права. Как и тогда, когда она, споря с такими, как вы, Саша, апологетами страдания, очень точно усекает причину этой апологетики: как нужно любить себя, чтобы любить и лелеять на своем теле несуществующую рану…

САША. Почему – несуществующую?

Я. Да потому, что существующую любить нельзя – она болит, ноет, не дает заснуть, грозит летальным исходом. Я уж не говорю о том, что не всякое страдание есть мученичество. За неимением настоящих страданий разводят и культивируют искусственные, зато другим постулируют настоящие – без них, мол, нет художника. Тогда поблагодарим Сталина за «Воронежские тетради», а Гитлера – за «Дневник Анны Франк».

САША. Вы рассуждаете как иностранец…

Я. Почему это я как иностранец, а вы как русский? Так мы далеко зайдем – «Умом Россию не понять… В Россию можно только верить!»

Поставить на место Бога Россию – до чего все-таки Тютчев был безрелигиозен! Потому что верить можно только в Бога, ни в кого больше.

Или вы на манер Хомякова рассуждаете?

ТОМАС. А что Хомяков? У вас пошли уже столь специфически русские разговоры, что мне нужны сноски, комментарий.

Я. Как же – Хомякову нравится женщина, но она, видите ли, не впадает в священный трепет при слове «Россия», а посему – от ворот поворот!

САША. Только не надо в пылу полемики превращать Хомякова в идиота – разве у него про это стихотворение?

…Но ей чужда моя Россия,
Отчизны дикая краса,
И ей милей страны другие,
Другие лучше небеса!
Пою ей песнь родного края, —
Она не внемлет, не глядит!
При ней скажу я: «Русь святая!»
И сердце в ней не задрожит.
И тщетно луч живого света
Из черных падает очей:
Ей гордая душа поэта
Не посвятит любви своей.

Я люблю, как Саша читает стихи – глухо, отчужденно, почти неприязненно, создавая тем самым нейтральный фон для слова, не заглушая его декламацией. Да и стихи хорошие – я был, конечно, не прав, упрощая и пародируя их. С точки зрения Саши, последнее слово в любом споре принадлежит стиху: стих не просто аргумент, а приравнен к слову Божьему. Я так, естественно, не думаю. Вообще, в диалог Саша втянут

насильственно, его сознание резко антидиалогическое, любое оживление – в разговоре ли, в прессе, в стране – сбивает его с толку, лишает почвы под ногами, государственное наше единомыслие вполне отвечает монологической его индивидуальности.

Он и телом крепко сбит, слитно, из одного куска: ноги, руки, плечи, голова – как-то сосредоточены, устремлены к невидимому центру, как у Поликлета в статуях. Он и шагает, подпрыгивая, не только чтобы быть выше ростом или чтобы дотянуться до рядом идущей женщины (а любит высоких, крупнокостных, больших), но и потому, что ноги его слишком связаны с остальным телом, он ходит не ногами, а всем своим коротким и широкоплечим телом, и будь постройнее, сошел бы за мима, за паяца, а так – поэт. В последнее время мы с ним редко видимся, не решаясь на открытое столкновение, хотя – пора. Литва нас соединила на неделю, чтобы разбросать на всю жизнь.

В конце концов Саша озлился, помутилось сердце человеческое – мы выходим в ночной Вильнюс и отчужденно, молча вышагиваем его весь насквозь. Бедный Саша! Каково ему будет в гостинице, где у нас с ним двойной «супружеский» номер и кровати стоят впритык друг к другу!

А я тем временем прокручиваю наш разговор у Томаса, мучительно припоминаю слова, которые, исчезнув навсегда из памяти, оставят такой саднящий след в наших сердцах. И в нашей судьбе – это я уже забегаю вперед, а пока что: назад, в кабинет Томаса, этого полководца без войска, к низенькому столику, на котором две пепельницы, пачка «Мальборо», ваза с виноградом и коробка шоколадных конфет.

САША. Мы – русские, а не европейцы. То есть – не только европейцы, но и русские – в первую очередь русские, а потом уже европейцы.

Я. Ну, да – русский самовар «Античная ваза» – если бы можно было украсть с выставки, я бы вам преподнес в качестве недосягаемого образца. Было бы зато к чему всю жизнь стремиться. И потом, как вы определяете русскость? У вас есть такая лакмусовая бумажка, да?

САША. Есть! Любовь к Пушкину, невнятная иностранцам, даже знающим наш язык, – вот верный признак русского человека. Любого другого писателя можно любить или не любить – дело вкуса. А вот Пушкин – для нас обязателен. Это стержень русской культуры, который держит все предыдущее и все последующее. Выньте стержень – все распадется…

Саша проговорил это быстро, скороговоркой, как заученное наизусть, боясь, что его перебьют, но уверенно, надеясь, что хоть

эта его тирада не вызовет с моей стороны агрессии – во-первых, я сам много писал о Пушкине и даже защитил о нем диссертацию, а во-вторых, Сашины слова освящены высоким и непререкаемым авторитетом Лидии Яковлевны Гинзбург. После смерти Ахматовой – свято место пусто не бывает – Лидия Яковлевна, этот сколок формальной школы с социологической примесью, заняла место литературной примадонны в Ленинграде. В Москве она не котировалась – там жила и писала Надежда Яковлевна Мандельштам.

Саша и Лидия Яковлевна были очень дружны – злые языки даже утверждали, что она сочиняет за него вирши. Это было, конечно, не так, но, повторяя ее слова о Пушкине, Саша не только обращался к общепризнанному в нашем городе авторитету – Саше они и в самом деле казались более убедительными, чем если бы принадлежали лично ему.

Саша ищет мира, а я ищу ссоры. Меня почему-то раздражает даже, что Саша с Пушкиным тезки и их фамилии созвучны. Или это мое сердце помутилось, а не его, и мне суждено говорить вещи, с которыми я сам не согласен?

Я. Почему любовь к Пушкину обязательна, и что это за любовь, если она обязательна? Одно из двух – либо любовь, либо обязанность.

По обязанности, как и по обязательству, любить невозможно – даже если любишь, разлюбляешь быстро. И что это за бюрократическая иерархия – очень, кстати, советская, этакий вождизм в литературе?

Почему Пушкин выше Баратынского, Тютчева, Достоевского? И объясните мне, Бога ради, почему Пушкин держит все предыдущее и все последующее? Это уже теория литературного прогресса, где всё а) взаимообусловлено, б) одно проистекает из другого. А-ля Лидия Яковлевна: Сен-Симон породил Руссо, Руссо – Конрада, Конрад – Толстого, Толстой – Пруста, и каждый последующий совершенствует предыдущего. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его – и так далее: если не до бесконечности, то хотя бы до сегодняшнего дня.

САША. А вы Бродского повторяете – на таких высотах иерархии не существует. Хотя он как раз убежден, что существует, и Баратынского ставит выше Пушкина. Потому что дурак!

Это в сердцах сказано, и относится скорее ко мне, чем к Бродскому.

Спор обостряется благодаря «третьим лицам», которые отсутствуют – одна сейчас в Ленинграде, другой в Мичигане. Мы бьем подставные фигуры – и прячемся за ними от ударов.

САША. Не станете же вы отрицать взаимосвязь культурного процесса? Пушкин своим появлением закрыл одно столетие и открыл новое, девятнадцатое. Что Державин, когда Жуковский, Батюшков, даже его современники, тот же Баратынский либо Грибоедов, даже его младшие современники, как Тютчев, кажутся по сравнению с ним принадлежащими далекому прошлому, в то время как Пушкин современен нам. Он говорит на другом языке, чем они. Итог прошлого и потенция будущего, мост между нами и историей – вот что такое Пушкин. Литература – это накопление, сбор по зернышку, опыт предков, к которому добавляешь свое нечто…

Я. Ну да – сложение, как в первом классе! А для меня современный художник по отношению к культурному прошлому находится в вопросительной позе, которую определить можно с помощью умножения, деления, возведения в степень, извлечения корня, что угодно – сложение в последнюю очередь.

САША. Это и есть романтическая концепция а-ля Бродский – чистое хулиганство по отношению к культуре, хунвейбинство, насильничанье, культурная революция…

Я. А вам бы сплошной пиетизм, древнерусские молитвы и архисоветские молебны!

САША. Уже во всяком случае – не проклятия и не анафемы.

Я. Конечно, богослужение в честь прошлого, а анафемы – современникам.

Проговариваюсь, но Саша мою перчатку не поднимает – продолжается теоретический спор.

САША. А что такое, по-вашему, новаторство? Это признание своей зависимости от прошлого, и только потом, признав эту зависимость – осторожная и тактичная попытка найти свое место в этой зависимости, в этой культурной системе подчинения и иерархии. Классики требуют уважения – и каждый в отдельности, а тем более, все вместе, составляя некую идеальную упорядоченность, а стерж невую функцию в ней выполняет Пушкин.

Я. Иерархия, воспринятая иератически и молитвенно – коленопреклоненно, с застывшим взглядом, как у древнеегипетского писца!

Ежели даже такая упорядоченность и существует, то не замкнуто, но открыто, и с добавлением новых ценностей – или время остановилось? – это упорядоченность коренным образом меняется, перестраивается. Поэтому, скажем, пока вы стоите на коленях перед упорядоченностью русской литературы от Державина до Мандельштама, эта упорядоченность, с появлением того же Бродского, меняет свою структуру, и вы, оказывается,

возносите молитвы пустому месту. Саша, у вас психология отличника, а этого, боюсь, на таких высотах недостаточно.

САША. А у вас психология романтика, Володя, – и с подобной психологией на такие высоты забираться опасно: сорветесь ненароком!

Это, конечно, уже не спор, а самая настоящая дуэль с одним секундантом на двоих – Томасом, который переводит взгляд с Саши на меня и с меня на Сашу, понимая, что он здесь лишний: идет обычная потасовка, в которую третьему лучше не встревать. Мы уже обменялись первыми ударами – я назвал Сашу отличником, а Саша меня романтиком, а романтизм, согласно бытующим среди нас представлениям – с легкой руки все той же Лидии Яковлевны, а она вслед за французскими рационалистами – смертный грех. Они и Бродского отторгли, еще при его жизни здесь, за романтическое уклонение от действительности. Вот здесь Томас и вмешивается – ему не нравится, что романтизм стал ругательным словом, причем благодаря авторитету Лидии Яковлевны выглядит это априорно – вроде бы и спорить не о чем.

Как ни странно, за литературоведческим этим термином скрывается политическая подоплека. Романтизм – это неприятие действительности какая она есть, бунт против нее. Лидия Яковлевна и Саша считают романтизм наивным, примитивным, не адекватным сложности окрестного мира и противопоставляют ему олимпийское спокойствие, ratio, стоицизм и главное – приятие действительности, ибо все действительное разумно, а все разумное действительно. Если бы так!

Но Лидия Яковлевна – последовательная гегельянка, а в нашей стране гегельянкой быть спокойнее, безопаснее и выгоднее, чем, скажем, шеллингианкой – избавляет от излишнего напряжения. Бродский в их представлении романтик, что в переводе на обиходный язык значит «городской сумасшедший». Это и приводило, думаю, Бродского в уныние – куда больше, чем официальное непризнание: деспотизм умных людей с его философским и как бы уже неопровержимым отрицанием. Непризнание государства в конце концов к лицу поэту, ибо цена поэта зависит от цены государства, которое его не признаёт (прямая зависимость) либо признаёт (обратная). А что сто́ит само государство – ни для кого не секрет: даже для нынешних его руководителей. Но как быть с сиятельным мнением Лидии Яковлевны, Саши и иже с ними? Чтобы устоять, необходимы мужество или наглость. Либо гений.

Томас вступается за Бродского, с которым дружил, пока тот был здесь, и которого в отличие от Саши любит:

– О чем вы спорите? Разве в этом дело? Какая разница, в

каком соотношении входит прошлое в настоящее? В любом случае – в снятом, иначе говоря, отвергнутом виде. Настоящий художник, чтобы не быть поглощенным прошлым либо раздавленным – его массой, инерцией движения, – должен, помня о прошлом, находиться по отношению к нему в бестактной, чтобы не сказать бесстыдной, позе. И никакое это не хунвейбинство и не романтизм, то есть, может быть, и хунвейбинство и романтизм, ибо мы не оговорили значение этих терминов, поэтому употреблять их значило бы злоупотреблять ими. Просто другого выхода у художника нет и не предвидится. И любой позитивизм оказывается примиренчеством и приспособленчеством, пока существует агрессия мизософии и мизологии против культуры. Позитивизм был бы возможен, только если бы этой угрозы не существовало, но тогда, если бы угрозы культуре не существовало, и сама культура была бы невозможна. Здесь я с вами согласен, Саша, – сопротивление возбуждает, необходимы и угрозы, и преграды…

Я. Ну да – теория зайца: если бы не было волка, заяц бы помер от ожирения сердца. Волчья теория – высшее интеллектуальное проявление волчьей стаи. Тогда признаем лучшим обиталищем художника тюремную камеру. Вот где раздолье для творчества: твори, выдумывай, пробуй!

САША. А вы помните, что Эсхил сказал? «Божий дар остается и в рабской душе».

ТОМАС. У нас немыслимый, скачущий какой-то ритм беседы – будто за нами кто гонится! Это вы, Володя, виноваты – мы с Сашей скорее академисты. Я не на вас жалуюсь, а на себя – вам. Мы, литовцы, к диалогам и вовсе не привыкли, нам надо, чтобы нас никто не перебивал, чтобы мы могли спокойно, не торопясь, развернуть всю систему доказательств. В нашем разговоре какой-то сбив, потому что, скажем, до тюремной камеры я бы сам дошел, если бы не перебили. Культура может погибнуть и в случае нападения извне и в случае полной, априорной, гарантированной обеспеченности ее существования. Иначе говоря, отсутствие надежды и отсутствие угрозы одинаково для культуры гибельно. Но отсутствие угрозы – это идеальное, гипотетическое состояние, мы его выносим за скобки, ибо угроза была, есть и будет, и именно угроза вызывает культуру к жизни. А вот надежда – другое дело: она может исчезнуть и положение может тогда показаться – и оказаться на самом деле – безнадежным. Так не однажды случалось.

САША. Но культура-то все равно жива!

Я. Это уже другая культура – не та, которая была прежде. Так, под натиском микенцев погибла утонченная культура Крита, а

микенская – под ударами дорийцев, дорийская – ахейцев, то есть греков, греческая – римлян, римская – варваров и так далее – вплоть до наших дней.

САША. Вы дробите, дифференцируете то, что выглядит едино, слитно: античная культура.

Я. Это ежели знать о ней понаслышке и относиться к ней меркантильно, цитатно.

ТОМАС. Саша, не станете же вы отрицать, что древнерусская культура исчезла к концу XVII века, а русская – в семнадцатом году?

Это факт, куда от него денешься? Другое дело, что после революции в России возникла новая культура, а точнее еще до революции, календарная хронология не совпадает с исторической – Бунин пережил Мандельштама, но Бунин принадлежал XIX веку, а Мандельштам – XX. Саша, вы правы: Мандельштам, быть может, самый советский поэт, пусть со знаком минус, это все равно…

Я. Это как раз и не все равно, потому что Саша требует знака плюс во что бы то ни стало, то есть полного и безоговорочного приятия эпохи и соответственно – подчинения ей.

САША. Да, человек – не только художник – есть производное времени и производное культуры, а вы хотите изъять его из обеих систем и поместить на необитаемый остров, откуда бы он метал громы и молнии в сторону отринутой им цивилизации. Художник не может быть, как все, но современный художник должен по мере сил к этому стремиться, чем он, кстати, и отличается от романтика прошлого века.

Здесь у нас общая судьба, уйти от нее – уйти от Божьего предначертания, согласно которому мы и оказались в этой проклятой стране – думаете, я не знаю, что проклятая? Знаю. Но бежать не считаю возможным, а вы именно о бегстве говорите – я остаюсь здесь, со всеми, со своей культурой и со своим народом, если хотите.

Я. Да разве о бегстве речь – что вы передергиваете? Психология общей могилы, коллективного захоронения, стадный инстинкт первобытного племени, возведенный в идейный принцип, – вот что вы отстаиваете. Мы окружены легендами и преданиями: патриотизм, ностальгия, родина!

САША. Россия – это не легенда, увы, а самая что ни на есть реальность. Как говорил когда-то Вячеслав Иванов – a realibus ad realiora. То есть Россия – это такая реальность, которая все другие реальности собой перекроет – с головой! В том числе – весь ваш Запад. И поймите же вы наконец, что Запад для русских сгущеннее, идеальнее конкретного, отсюда недовольства и ламентации наших эмигрантов, ибо воображаемый образ,

взлелеянный и хрупкий, не совпал с действительностью. А настоящие русские западники были преданы России ничуть не меньше славянофилов, но это была сложная связь – вспомните Чаадаева. Вы что, думаете, он не знал, что Россия – отрезанный от истории ломоть, и это трагическое отлучение, потому что всемирная история, по крайней мере европейская, то есть христианская, – это школа для народов, которой руководит сам Бог. Да, вспомните, что писал Мандельштам про Чаадаева! Там, где про Бориса Годунова, который, предшествуя Петру, отправил молодых людей за границу – и ни один не вернулся, ибо нет пути от бытия к небытию. Как не вернулся голубь обратно в ковчег! А Чаадаев был первым русским, который идейно побывал на Западе и нашел дорогу обратно, и современники это чувствовали и высоко ценили, что Чаадаев вернулся к ним. Это ваш Мандельштам, а вот моя Ахматова:

Когда в тоске самоубийства
……..

Саша читает торжественно и глухо – блестяще читает. Стихо творение это я не люблю – нельзя собственную железную волю посту лировать своим современникам. У кого еще были такие нервы, как у Ахматовой? У психопата Зощенко? У безумца Мандельштама? У измученного Булгакова? Она – единственная – выдержала, выжила, выдюжила, но зачем называть недостойной речью совет добро желателя?

Послушайся такого совета Мандельштам – не погиб бы. А он мечтал о советчике – в том самом Воронеже, который не пускал его, не отдавал – «Пусти меня, отдай меня, Воронеж, – уронишь ты меня иль проворонишь, ты выронишь меня или вернешь – Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож!» Хотя какой там советчик в цепком городе замков и скрепок, углов и угланов, мертвого воздуха и разлетающихся грачей:

А я за ними ахаю, стуча
В какой-то мерзлый, деревянный короб:
Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей – разговора б!

Это я все молча, про себя, а вечер поэзии у нас в самом разгаре. Очередь Томаса – он отвечает Саше стихами Бродского:

Прости… мне это все не по уму.

Спи… если вправду говорить о взгляде,
Тут задержаться не на чем ему.
Тут все преграда. Только на преграде.

Я. А мы так к преградам привыкли, что жить без них уже не можем – задыхаемся от их отсутствия. Угроза культуре – именно русской – сейчас смертельная, и хвала романтику Бродскому, что он собственной шкурой эту угрозу ощутил. Что такое его поэзия? Это выпрямление под чудовищным столбом давления, это принятие на свои плечи многотонного пресса государства. Стихи – необходимость: не писал бы – раздавили бы, мокрого бы места не оста лось.

Он принял вызов тех, кто оспаривал право культуры, а значит, и его, Бродского, на существование. Стихи для него – вопрос жизни и смерти, он ведет бой на головокружительной высоте, где оступиться значит погибнуть. И бой этот не только за культуру, но и за человека, суверенитет которого именно культура конституирует, и одновременно – вот парадокс! – прерогативу человека над собой, то есть над культурой.

Саша – яростный враг открытой полемики вовсе не потому, что лишен, как я, разговорных талантов, но потому, что предпочитает, чтобы его слушали либо сам – слушать. Он – хороший слушатель. Где-то за сценой, далеко-далеко, в Ленинграде и Мичигане, сами того не ведая, незримые участники нашего спора – Сашин суфлер и мой искуситель.

САША. Вы так говорите (это к нам с Томасом и к тому третьему, который cum tacent, clamant, то есть говорит своим молчанием), как будто вы хозяева положения, как будто, что вы хотите, то и будет, и так будет, как вы захотите. Как будто в вашей власти крутануть колесо истории. И ваш Бродский был волюнтаристом – в жизни и в стихах.

Потому и не удержался здесь. А мы – здесь, и потому извольте свои высказывания сверять с действительностью. Вы ее отрицаете, а она вас не замечает. История неизбежна. Помните Бестужева-Марлинского – «Мы обвенчались с ней волей и неволею, и нет развода».

Я. А кто в этом мезальянсе муж и кто жена? Кто кого убоится? Повашему, это само собой разумеется? Саша, вы фаталист, а я – нет. Этому скотскому, покорному детерминизму я предпочту романтическое сознание, хотя и признаю за ним наивность и инфантилизм, но не приспособленчество, не раболепие перед историей.

САША. А что можно сделать с Историей? Вот она прет на нас,

еще мгновенье – и мы ею раздавлены. Куда здесь денешься? Разве наши танки в Праге по приказу Брежнева? Брежнев – слепое орудие чужой воли. Вы забыли о главном распорядителе – о Боге. От Него доброе и злое, Он един в своих поступках, а мы судим Его снизу – Его, Бессмертного – с нашей – не смертельной, а смертной, временно́й, суетливой точки зрения. Что Иов сказал жене, то и я вам скажу: вы говорите, Володя, как один из безумных – неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?

Я. Бог, Бог – затвердили как скороговорку! А что Бог? В человеке он снимает с себя ответственность и возлагает на плечи homo sapiens.

Бог дал человеку волю, свободу выбора, смерть, а вы через Бога хотите оправдать всю мерзость человеческую. И извините, Бог в Политбюро не входит и делать его ответственным за военно-политическую акцию по меньшей мере недобросовестно. И так ли уж эта акция была неизбежна? Случайность, возведенная нами постфактум в ранг закономерности. Мы приспособились к нашей мрачной истории, и превентивное – от животного страха перед свободой – нападение на Чехословакию оправдываем как историческую необходимость. Стыдно.

Саша уже не спорит: не знаю, у кого из нас больше аргументов, страсти – у меня. Мы идем по ночному Вильнюсу, где сегодня днем нам подали в «Неринге» разноцветный коктейль, и Томас объяснил, что это персонифицированный в алкоголе флаг независимой Литвы, по Вильнюсу, в который я приеду спустя год, один, без Саши, тоже осенью, и меня поселят в одном номере с Давидом Самойловым, о котором Слуцкий мне говорил:

– Зачем нам ваш Скушнер, когда у нас уже есть Самойлов.

И я заново прокручу тот наш разговор у Томаса, что-то вспомню, а что-то выдумаю, и Вильнюс поможет забывчивой Мнемозине. А пока мы молча идем с Сашей по ночному Вильнюсу, и только у самой гостиницы Саша вдруг вдохновенно заговорит о русском языке – что это связь, неизбежность и у нас, писателей, нет выбора.

Не помню, что именно он говорил, поэтому отошлю читателя к Тургеневу.

Или к Мандельштаму, который писал, что язык в России – единственное, что есть в ней независимого от государства, и самое страшное – это отпадение от языка: онемение нескольких поколений может привести Россию к смерти, ибо отлучение от языка равносильно отлучению от истории.

Вряд ли Саша говорил лучше Мандельштама и Тургенева.

Я всегда исповедовал – и проповедовал – что-то схожее, это

наша общая с Сашей платформа лингвопатриотизма, и Саша, зная это, чтобы замириться со мной, сейчас, на ночь глядя, сказал мне это, надеясь, что здесь-то уж я спорить не стану.

А я – стал.

– Язык – родина? язык – связь? панацея, надежда, утешение в слезах? А что мне позволено на нем говорить? С чем он меня связывает – с бесправием, с рабством, с раболепием? Язык – не связь, но узы, оковы, кандалы. Я ненавижу этот язык – если что-нибудь на нем можно произнести, то только украдкой, втихаря, шепотом, когда не слышен собственный голос. Либо – мат: последнее наше прибежище и убежище. Хотя скоро и этого будет нельзя, ничего нельзя – язык стал моделью нашего сознания и нашего общежития. Если мы лжем ежедневно, то и он весь изолгался. Если мы ходим на деловые свидания в КГБ, то и он вместе с нами. Как и мы, он застыл в немом величии, скрывая под ним малодушие и безволие. Он стал ханжой и трусом, как и все мы. Он хлебнул нашей общей несвободы и перестал быть свободным. Это и есть отпадение от языка, отлучение от истории, онемение, атрофия, смерть.

И тогда вы, перейдя вдруг на шепот, сказали мне, что коли так, то я долго не выдержу и скоро отсюда уеду.

Сказали – и сами же испугались. Словно бы и не вы сказали, а кто-то через вас, а вы подслушали. И я испугался, потому что это прозвучало с непреложностью уголовной улики и с неумолимостью древнего оракула.

И долго во мне не умолкало – не давало ни спать, ни думать, ни работать…

Я до сих пор еще здесь – я пишу эти строки летом 1975 года, в Советском Союзе, в деревне Подмогилье Островского района Псковской области.

Я – это Владимир Исаакович Соловьев, 1942 года рождения, еврей, член Союза писателей и Всероссийского театрального общества, женат, имею одного ребенка – Жеку, которого очень люблю.

Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ

Так вот она – настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!

Мандельштам

Все злые случаи на мя вооружились!..

Сумароков

Иногда нужно иметь противу себя озлобленных.

Гоголь

Иного выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей.

Достоевский

Все казалось мне, что в Петербурге я, наконец, погибну.

Он же

Всюду ему было тесно, и, обладая безграничной личной свободой, он все же чувствовал себя угнетенным. Мир казался ему тюрьмой…

Не помню кто

Я покидаю город, как Тезей —
свой лабиринт, оставив Минотавра
смердеть…
… чтоб больше никогда не возвращаться.
Ведь если может человек вернуться
на место преступленья, то туда,
где был унижен, он прийти не сможет.

ИБ. К Ликомеду на Скирос

Побег мой произвел в семье моей тревогу…

Пушкин

…есть случаи (довольно редкие, правда), когда неподвижная жизнь задерживает ход дней, и перемена мест становится лучшим средством, чтобы наверстать время.

Пруст

Гнусный омут, в котором он завяз сам своей волей, слишком тяготил его, и он, как и очень многие в таких случаях, всего более верил в перемену места: только бы не эти люди, только бы не эти обстоятельства, только бы улететь из этого проклятого места и – все возродится, пойдет по-новому!

Вот во что он верил и по чем томился.

Достоевский

Перемена места – значит перемена всего!

Он же

И я благодарю свое рождение за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу лучших лет. Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России…

Мандельштам

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, —
На самом деле то, что

именуют мной, —
Не я один. Нас много. Я – живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела.

Заболоцкий. Метаморфозы

Человек течет, и в нем есть все возможности…

Толстой

Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни точно новорожденные, не имея за плечами никакого опыта, сколько бы нам ни было лет.

Ларошфуко

Как знать, быть может, смерть, и гроб, и тленье —
Лишь новая ступень к иной отчизне.
Не может кончиться работа жизни…
Так в путь – и все отдай за обновленье!

Герман Гессе. Игра в бисер

Non sum qualis eram.

Гораций

А когда с течением времени ты начнешь замечать, что имя твое начинает обращаться среди людей, не придавай этому большего значения,

нежели всему, что исходит из уст их. Скажи себе: оно стало непригодным, и сбрось его. Прими другое, все равно какое, лишь бы Господь в нощи мог позвать тебя. И скрой его от всех.

Рильке

Зане свободен раб, преодолевший страх…
Мандельштам
Я получил мою свободу со вздохом.

Байрон

Мир меня ловил и не поймал.

Эпитафия на могиле философа Сковороды

Мир существует, чтобы войти в книгу.

Малларме

…….
……..
……..
……
……[4]

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ
Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая

Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается.

Тургенев

Вникнем во все это хорошенько, и

вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием.

Пушкин

– …я не судья тебе встал говорить, а сам как последний из подсудимых.

Достоевский

Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него.

Осип Мандельштам

Мой бедный шут, средь собственного горя
Мне также краем сердца жаль тебя.

Шекспир

Он пел, уменьшаясь в значеньи и теле
…….
Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди.

ИБ. Сретенье

Мне захотелось услышать собственный голос, и вот результат – роман, который с Божьей помощью я сейчас дописываю. Я знаю, что он появится во всех отношениях преждевременно, но обратно затолкнуть его в чернильницу я уже не сумею, увы…

Я пишу этот роман шепотом, потому что еще не пора, потому что каждый мой шаг на заметке и эхом отдается в стенах КГБ,

потому что я боюсь громко говорить даже в собственной квартире.

Я пишу этот роман шепотом, но в полный голос, во весь голос, а громче я не могу – сорву связки.

О чем я больше всего сейчас жалею, так это о том, что уничтожил те двенадцать страничек про бывшего моего друга Сашу Кушнера: мне не хватает их сейчас для равновесия.

Не слишком ли много грехов навесил я на Сашу, не слишком ли велика отрицательная на него нагрузка?

Или наоборот – слишком аргументировал его позицию, приписал заветные свои мысли – ему такие и не снились?

Что такое Саша?

Это мое alter ego, мой двойник, от которого я отмежевываюсь и которого стыжусь. Это самоампутация alter ego, и, анестезируя тяжелейшую эту операцию, в первом наброске «Романа с эпиграфами» я обозначил своего двойника реальным именем, но чужой фамилией, девичьей фамилией моей матери – Саша Рабинович.

Но ведь был же и реальный Саша – он живет в Ленинграде, пишет стихи и ненавидит Бродского. В конце концов, я решил отбросить камуфляж – коли роман без вранья, то незачем перевирать имена. Так Саша Рабинович опять стал Александром Кушнером.

Его идеал – гроссмейстер Анатолий Карпов, который присвоил чемпионскую корону с помощью советского правительства, а не выиграл ее в честном поединке с Робертом Фишером. Саша хочет победы без поражения и даже без поединка: регалии ему важнее реальности.

Саша надеется на километры, которые в России не только заменяют пространство, но и отменяют его, ежели оно находится за пределами государственных границ СССР.

Сейчас Саша принимает все меры предосторожности, чтобы оградить себя от моей критики – сидит в танке и боится, что ему на голову свалится яблоко.

У Саши локальная психология, железный уговор с самим собой – не замечать того, что могло бы его задеть, встревожить, расстроить. Если бы он выглянул из своего танка, то понял бы, что по горло в говне.

Я ему протянул однажды веревку, а он стал размахивать руками и брызгаться:

– Я здесь живу, это моя родина, я ее люблю…

И – на здоровье: вольному воля. Отойду подальше, а то забрызгает.

Или – пригласит в гости.

А может быть, виноват я, потребовав от маленького поэта, чтобы он стал большим, а потом разругав его за то, что ноша оказалась ему не по плечу? Или дело все-таки в его претензиях – быть большим, будучи маленьким? Я написал о маленьком его росте, а сам выше его разве что на несколько сантиметров. Дело не в физическом росте, но в поэтическом лилипутстве: можно быть маленьким поэтом, но зачем подпрыгивать, зачем притворяться большим? Сейчас вышла Сашина книжка в Детгизе, и все стало на свои места: он – детский поэт, популяризатор, ментор, и только недостатком образования и инфантильным сознанием наших читателей можно объяснить растущую его популярность.

Я написал о его стихах, об исчерпанности в нем поэзии, а в нем исчерпана жизнь, и я гляжу в его пустые, как у трупа, глаза, и жалость застилает мне душу – он был живым, теперь он мертв: еще одно «увы»…

Нам заткнули рот кляпом еще в утробе матери, мы родились не в рубашке, а с кляпом во рту, с фиговыми листками на гениталиях и с черной повязкой на глазах.

Мы родились с постыдным страхом в душе, и мы выдавливаем его из себя по капле – капля за каплей, чтобы не осталось ни капли.

Моя душа станет вот-вот совсем пустой – а вдруг, кроме страха, в ней больше ничего не было?

Один из начальных читателей этого романа сказал, что в нем мало Соловьева, мало автора. Так, должно быть, и есть и иначе быть не может. Осип Мандельштам, отвечая на анкету «Советский писатель и Октябрь», с полной откровенностью заявил: «Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня „биографию“, ощущение личной значимости». А в статье «Конец романа» он попытался обосновать свой мрачный тезис именно распылением личности и биографии как формы личного существования, даже больше чем распыление – катастрофической гибелью биографии: «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из биллиардных луз, и законами их деятельности, как столкновением шаров на биллиардном поле, управляет один принцип: угол падения равен углу отражения».

Может быть, напрасно Осип Мандельштам отечественную деперсонализацию распространяет географически и политически – на Запад?

Либо дело здесь в цензурных соображениях: объяснить XX веком то, что сделала со всеми нами Октябрьская революция на пару с многовековой русской историей? Бог его знает…

Но вот слова Мандельштама, под которыми я готов подписаться как под своими:

Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое.

Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю – память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого…

Надо мной и над многими современниками тяготеет косноязычие рождения. Мы учились не говорить, а лепетать – и, лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык.

И все-таки – вот парадокс! – мне хочется думать сейчас иначе.

Я завидую Лене Клепиковой, биография которой, а значит – и личность, куда более свободна, чем моя, от «шума времени». Я – «политическое животное», то есть подневольное, крепостное, зависимое, и сокровенная моя мечта – сбросить с себя эту зависимость: и чем скорей, тем лучше!

Любой ценой, чего бы это мне ни стоило!

Я потому и полюбил Лену – и с каждым годом люблю ее все сильнее, – что она так не похожа на меня и на наше время: ее окраска – личная, индивидуальная, а не тотальная. А мой портрет писало Время – дурной живописец, и все его портреты на одно лицо.

Мне хочется поскорее кончить это роман, потому что его предмет снижает уровень разговора.

Пора думать о звездах, а я пишу о Саше и о КГБ.

Я пишу этот роман как открытое письмо Бродскому, но я боюсь, что он прочтет его второпях, ни хрена не поймет и опровергнет не только мои домыслы, но и мои догадки.

Бродский – гениальный поэт, но, боюсь, посредственный читатель.

Гениальный читатель – Кушнер.

Поэт – посредственный.

А что, если этот каллиграф, канцелярист, переводчик переводчиков и учитель чистописания обрадуется моему роману как неожиданной своей славе – в конце концов мои ему обвинения здесь за чтутся в качестве заслуг, ибо в нашем Зазеркалье все шиворот-навы ворот?

Или, окажись я в тюрьме или за границей, то есть вне досягаемости, но одновременно в некоторой известности, не припишет ли тогда Саша меня к себе, как приписывает мертвецов типа Берковского и Ахматовой или эмигрантов вроде Бродского, пользуясь практической их неспособностью опровергнуть ложь или хотя бы докричаться досюда? В этом отношении мертвецы, арестанты и эмигранты и в самом деле находятся в схожем положении, и Сашин расчет – безошибочный.

А расчет прост: заменить действительную реальность сочиненной.

Борьба с реальностью не на жизнь, а на смерть. И здесь они едины – Саша и КГБ: они создают мифы о нашей жизни и требуют безусловной в них веры.

Я пишу постыдную книгу о постыдной моей жизни и все пытаюсь понять, что я умалчиваю, а что выпячиваю, преувеличиваю, потому что болезнь памяти – это болезнь совести, мы пытаемся избегнуть двух этих мощных прожекторов, пригибаемся, прячемся, корчимся, пробираемся ползком, кривим душой и боимся света – как прежде боялись тьмы.

Уколы и укоры совести я принимаю за тайные знаки судьбы – кто именно продиктовал этот роман: память или забвение, желание правды или страх перед правдой?

Или страх – это единственное, что делает нас похожими на людей?

Мозги у нас набекрень – мы привыкаем к тому, к чему привыкать грех. Я жаловался Юнне Мориц на то, что меня таскали в КГБ – она меня успокоила:

– Всех таскают – не тебя одного: всех без исключения. Ты что – хочешь быть исключением?

Я хотел быть исключением, и мне это не удалось.

Я слышал прекрасные рассказы о безошибочных – по расчету либо по инстинкту – ходах частного человека в борьбе с всесильной организацией.

Признаться, я не очень в эти рассказы верю: такое даже ощущение, что рассказчики своими рассказами берут реванш за свои визиты в КГБ.

Во всяком случае в моей практике ничего подобного не было.

Если было бы, то не было бы романа.

Не в том смысле, что не о чем, а – незачем!

Этот роман – даже не месть, а скорее возмещение за униженность, бесправие и страх.

Для равновесия – то, что не договорил: друзьям, врагам, читателям.

В том числе – кагэбэшникам…

Я ни на кого не доносил, но я протягивал руку стукачу, я разговаривал с гэбистами, и сейчас мне нестерпимо стыдно.

И больше всего мне стыдно за ложь: я говорил не то, что думаю – не только им, но и после них – в компаниях, в редакциях, где угодно – боясь стукачей или боясь двусмысленностей?

Я имел подневольные отношения с людьми, с которыми нельзя иметь даже подневольные отношения…

Я рискну сказать так: лучше сидеть в тюрьме, чем разгуливать на свободе, которая окажется на поверку мнимой. Преимущество нашей «воли» перед тюрьмой мизерное, поводок длиннее, но ненамного, зато сколько иллюзий, фикций, лжи и дерьма – невпроворот! Или уж тогда надо выбирать другую крайность – путь доносов, предательства и провокаций.

Золотой середины, на которую все так надеются, у нас нету и быть не может.

Этот роман я написал на одном дыхании – «враждебным словом отрицанья»: я боюсь, что теперь я впадаю в «противоположное общее место», как говаривал Тургенев.

Хотя нет – не боюсь!

Противоположное общее место все-таки лучше, чем то, которое заставляют нас исповедовать в этой стране.

Полюса здесь неизбежны, а золотая середина невозможна, ибо сказывается в конце концов фикцией – не золотой, а говенной, не серединой, но полюсом: северным полюсом, студеным, бессолнечным, безжизненным.

О чем разговор – страна киммерийцев!..

Страна, где не дай Бог оказаться в меньшинстве: прибьют, либо склонишься к большинству и сам того не заметишь.

Человеку не дано взглянуть на себя со стороны – иначе его глаза бы повылезли из орбит.

Жизнь наша вечереет, и стигийские тени бродят меж нами, а мы все еще в самом начале книги жизни – как мы запоздали, сначала соглашаясь жить в дерьме, а теперь счищая его с себя…

Ося и Саша – не только идеальные образы, не только персонификация двух полюсов душевной и реальной моей жизни, но и реальные люди, и жаль, если это не будет прочитано.

Бродский догнал свою славу, которая началась задолго до того, как он стал писать гениальные стихи. Неужели и со мной КГБ поступит аналогичным образом, и, выйдя на свободу, я должен буду написать первую часть моей «Божественной комедии»?

Боюсь только, что дальше дело не двинется – рай на этой земле мне уже не отыскать.

Да и неинтересно.

У Саши была тревога, что жизнь истончилась, пора начинать новую, был голос, да только он ему не внял – решил, что мистификация, мистика, бред, если не блеф. Новой жизни не начал, а та и в самом деле сошла на нет.

Так всегда бывает – когда жизнь полностью обесценена, начинаешь ее особенно ценить и лелеять. У Саши культ своей жизни, любое ее проявление – от стиха до пука – кажется ему святой и чистой эманацией его личности.

Я его осуждаю не за то, что он спотыкается и блуждает впотьмах – а кто из нас не блуждает? – даже не за то, что предает себя и других, но за то, что ухабы выдает за укатанное шоссе, за то, что свои ошибки постулирует всем в качестве modus vivendi, достойного подражания и даже обязательного для подражания: так и никак иначе.

Я так – и вы так!

Стал агрессивен, монологичен и нетерпим… Подвел философскую базу под элементарное свое малодушие.

…Бродский – особый случай. Он движим своим гением – может быть, нет его заслуг в его судьбе: помимо него. В человеке Бог снимает с себя ответственность, но не в гении. Ося был ведом Вожатым и послушен Ему.

Кьеркегор считал гения, по существу, бессознательным: он не представляет доводов и не нуждается в доказательствах – напротив: доказательствами, до которых люди горазды и жадны куда больше, чем до истины, гений умаляется.

Ибо великая судьба – это великое рабство.

Гений – это умение слушать Бога.

Другое дело, что с гением Бог говорит громче, чем с остальными смертными. Необходимо было, однако, мужество, чтобы Его слушаться – как часто Его распоряжения вступали в противоречие с отечественными законами и обычаями.

Но есть же Бог, и человек не беззащитен на белом свете!

В Комарово мы уже никогда не окажемся вместе – разве можно восстановить то, что превратилось в прах? Из этого праха я восстановил свой роман перпендикуляром к небу: Вавилонской башней либо Пизанской, либо попросту х*ем: ассоциации любые, на выбор.

Я и в самом деле смотрел в тот свой последний наезд в Комарово на своих приятелей прощально, отрешенно, как будто кого-то из нас уже нет в этой жизни, он гость случайный, посторонний и незримый.

«Время проходит? Время стоит. Проходите вы!»

Саша рассказывал об Осе – беззащитном, тоскующем по родине и никому не нужном в Америке. При этом он ссылался на

какое-то письмо оттуда, которое безусловно подтверждало Сашину здешнюю правоту.

Мне было его глубоко и бесконечно жаль: не Осю, а Сашу.

Я написал роман о том, как из тихого еврейского мальчика сделали советского поэта.

Я мог бы написать роман о том, как искалечили и изуродовали тихого еврейского мальчика, как он, проснувшись однажды утром и заглянув в зеркало, не узнал самого себя и заплакал.

Второй вариант был бы куда занятнее, но, увы, второго варианта не было, а был первый.

Мы вышли из прокуренной комнаты на таинственно мерцающую комаровскую дорогу и в староновогоднюю ночь соорудили под зимними звездами снежную бабу и стали играть в снежки, и Саша все норовил в меня попасть.

Мне и в самом деле краем сердца жалко Сашу, но только краем сердца.

Мне жалко моего героя – Сашу, но не его прототипа, который облучился советской славой и стал литературным импотентом.

Как не жалко самого себя, потому что я – тоже прототип Саши…

А жалеть самого себя – это никогда с собою не расстаться, быть своим собственным рабом: отныне и во веки веков!

Я пытаюсь убежать сходства со своим героем – какая там жалость!

Пусть пожалеют читатели – этого права я у них не отнимаю.

А Саша себя жалеть не дает: иногда он мне и в самом деле кажется более несчастным, чем виновным, но только его пожалеешь, как узнаешь об очередном его подвиге на ниве отечественной словесности.

О, это суконно-полицейское небо с погонами КГБ на дисциплинированных облаках! О, этот город-цитата, чудовищная помесь классического русского стиха с казенным стилем доносов!

А его табакерочные пригороды!..

Мы играли в снежки в Комарово, была ночь, и было не весело, а тревожно.

А потом появилась вдали фантастическая эта женщина в черном плаще, обвитая шарфом, и мы замерли, пораженные, и следили за ней, не отрываясь, пока она не свернула в боковую аллею.

И один из нас побежал за ней и больше не вернулся.

В сторону Иосифа. Постскриптумы к «Трем евреям»

Александр Кушнер & Иосиф Бродский

Посвящается Владимиру Соловьеву и Елене Клепиковой

Из многих стихотворений, не просто посвященных Владимиру Соловьеву и Елене Клепиковой, но тех, где они главные фигуранты, здесь напечатаны только три – и то исключительно в реставрационных целях: воспроизвести, пусть и в ироническом ключе, те отношения, которые нас тогда связывали, и атмосферу, в которой мы жили. Пояснения см. выше – в главе «Три поэта».

Александр Кушнер. К портрету В. И. С
Кто хуже всех? Позор природы?
Насмешка неба над землей?
Кто возмущает все народы
Своею правою рукой?[5]
Кто волк, а кажется: ягненок?
Кто любит финок, как ребенок?
Кто, не стесняясь ни хрена,
Содрал прическу с Бенуа?
Кто надоел жене Елене,
Внушает жалость сыну Жене,
Не ставит мать свою ни в грош?
Кто на Монтеня не похож?
Кого безумная столица своим пророком нарекла?
Кто Наровчатовым гордится?
Плюет на честь из-за угла?
Кто Вознесенского гонитель?
Кто демон? Кто душемутитель?
Кто о великом Евтушенке
Нам слово новое сказал?
С его стихов сухие пенки
Кто (неразборчивый) слизал?
Кому должно быть очень стыдно?
«Кто, кто так держит мир в узде?»
Кому лихую рифму видно
И в этой строчке, и везде?[6]
Кто носит сызмала в кармане

Один сомнительный предмет?
Кто забывает Кушнер Тане
(Моей жене) послать привет?
Кто перед всем крещеным миром,
Попав в писательский союз,
Публично назван дебоширом?
Кто демократку, как картуз,
Нахально носит на макушке?
Кто в диссертации своей
Нам доказать хотел, что Пушкин —
Шеллингианец? Кто злодей?
Кого ночами совесть мучит?
Кто, аки тать, во тьме ночной
По дому ходит и канючит
И просит Бога: боже мой!
Кто оскопил кота Вильяма?
(Чем не шекспировская драма!)
Кто написать про Аксельрода
Не соберется потому,
Что для российского народа
Еврейский гений ни к чему?
……..[7]
Спроси у сирот и у вдов —

И вопль раздастся: Соловьев!

Иосиф Бродский. Лене Клепиковой и Вове Соловьеву
I.
Позвольте, Клепикова Лена,
Пред Вами преклонить колена.
Позвольте преклонить их снова
Пред Вами, Соловьев и Вова.
Моя хмельная голова
вам хочет ртом сказать слова.

II.
Февраль довольно скверный месяц.
Жестокость у него в лице.
Но тем приятнее заметить: вы родились в его конце.
За это на февраль мы, в общем,
глядим с приятностью, не ропщем.

III.
На свет явившись с интервалом в пять дней,

Венеру веселя, тот интервал под покрывалом
вы сократили до нуля.
Покуда дети о глаголе,
вы думали о браке в школе.

IV.
Куда те дни девались ныне
никто не ведает – тире —
у вас самих их нет в помине и у друзей в календаре.
Все, что для Лены и Володи
приятно – не вредит природе.

V.
Они, конечно, нас моложе
и даже, может быть, глупей.
А вообще они похожи
на двух смышленых голубей,
что Ястреба позвали в гости,
и Ястреб позабыл о злости.

VI.
К телам жестокое и душам,
но благосклонное к словам,
да будет Время главным кушем,
достанется который вам.
И пусть текут Господни лета
под наше «многая вам лета!!!»

Александр Кушнер. Послание в Лиепаю. Друзьям Володе и Лене от Саши и Тани
Зачем из всех земных пустынь
Район был выбран Лиепайский?
В названьи хутора Кун-динь
Мне звук мерещится китайский.

И очень грустно оттого,
Что к вам, поклонникам Эллады,
Приходят письма на п/о
Под жалкой вывеской «Бернаты».

Среди латвийского жилья
Лелея вредные привычки,
Мои бернатые друзья,

Друг к другу льнете вы, птички.

Из-под сознания глубин
Пока дрожит под лапкой ветка,
Одной из птичек снится финн,
Другой из птичек снится шведка.

А речь латышская вокруг
Звучит, меж тем как на свободе.
Теперь один наш общий друг
Живет и платит дань природе.

Он англичанке ручку жмет,
Он мексиканочку голубит,
Захочет – девочку возьмет,
Захочет – мальчика полюбит.

Но мне, проведшему в Крыму
Дней двадцать рядом с Евтушенкой,
Мне нынче бабы ни к чему:
Я им даю под зад коленкой.

Вниманьем гения согрет,
Его в натуре наблюдая,
Я понял: правды в мире нет!
Но есть покой и Лиепая,

Где Лена с Вовиком живут,
Едят капусту, как Гораций,
Не пашут, гордые, не жнут:
Какой соблазн для малых наций!

Ловите бабочек в тиши
И прячьте голову, как цапля,
Пока вас терпят латыши,
Пока молчат топор и грабля.

Но знайте: судный день грядет,
Латыш-хозяин глянет хмуро,
Без вас Аврора отомрет,
Без вас падет аспирантура[8].

Эх вы, учились бы у нас:
У Тани, у меня, у Жени!

Мы любим Русь, мы любим квас,
Мы поваляться любим в сене.

В какое лето мы живем!
Каким событиям внимаем!
Фиделю Кастру руку жмем,
В гостях сирийцев принимаем!

И сами ездим в Люксембург!
Коммюнике – какое слово!
…… хирург
……. корова.[9]

Как хорошо в краю родном,
Где вьется речка луговая
У нас почти что под окном,
Пахабной рифмы избегая.

Забыты Рим и Монпарнас
И пирожковая на Невском.
И Соловьев нам не указ,
Мы правду чуем в Палиевском.

14. VII.72.

Анна, Иосиф & сэр Исайя
Гипотетическое исследование

Не сотвори себе кумира

Не помню точно, когда именно, да это и не важно в контексте этой истории, я впервые увидел Ахматову. Думаю, где-то в начале августа 1961 года. Случилось это на ее литфондовской даче в Комарово, куда меня затащила моя сокурсница по теоретическому факультету Академии художеств. Мне было 19, Ахматовой – за 70. Моя сокурсница была тезкой Ахматовой и внешне немного похожа на нее в молодости, особенно челкой, хотя и не была ей кровной родней: внучка Николая Николаевича Пунина, последнего мужа Ахматовой. Жили они вместе, и Аня даже сопровождала Ахматову в Оксфорд, где та получила почетную степень – как она считала, с отмашки сэра Исайи, то ли ее друга, то ли любовника, скорее всего друга-любовника, а по словам Анны Андреевны, «гостя из будущего». Дома мою институтскую подружку звали Младшая Акума, чтобы не путать с

«Акумой» Ахматовой.

Помню, как на лекции по истории КПСС Аня ударилась в слезы и выбежала из аудитории, когда речь зашла о ждановском постановлении ЦК против Зощенко и Ахматовой, которую ленинградский партийный босс обозвал «полумонашенкой-полублудницей», перевранный образ критика-формалиста Эйхенбаума. Слегка помешкав, я вышел вслед за Аней – не из идейной солидарности, а скорее, чтоб утешить Аню, пусть мой уход сочли демонстративным, типа демарша, и сделали дисциплинарный втык. Хотя, конечно, и из любви к Серебряному веку, к которому какое-то хронологически далекое отношение имела Младшая Акума, пусть не родная внучка Ахматовой, но выросла в присутствии Ахматовой, в тесном с ней общежитии, в ежедневном общении – вот откуда утонченность и манерность моей однокашницы. Ахматова даже посвятила ей стихотворение.

Так я попал в «будку» Ахматовой в Комарово, где старая поэтесса царственно восседала за письменным столом, сдирая марки с иностранных конвертов – кажется, для малолетней дочки то ли внучки какой-то своей приятельницы. Атмосфера в доме мне не понравилась – и барский, капризный, жеманный тон хозяйки, и униженная, как мне показалось, старательность Ани, хоть та и была со своей неродной бабкой на «ты». Даром что ли близкие – от родного сына до неродной внучки, вплоть до ее верного «босуэлла» Лидии Чуковской, да и многие из «ахматовки», как смешно прозвал Пастернак ее камарилью, воспринимали Ахматову «монстром» и «чудовищем»? А Лева Гумилев, задолго до разрыва с ней, в детстве говорил: «Мама, не королевствуй!» Я был удостоен разговора с Ахматовой, который больше походил на перформанс, а я в качестве единственного зрителя, а потому, преодолевая робость, стал слегка подхамливать.

Уточню здесь, что я никогда не был да так и не стал фанатом ее поэзии, хотя какие-то стихи мне нравятся. Моими кумирами были Мандельштам, Пастернак, Цветаева (к последней с годами поостыл, а из двух мужей предпочитаю теперь первого).

Хоть Аня меня и предупредила, что Ахматова плохо слышит, а слуховой аппарат носить не хочет, почему и предпочитает говорить, а не слушать, меня все равно немного раздражало это ее вынужденное пренебрежение собеседником. Спросил, почему она живет не в Царском Селе, а в Комарово, с которым ее ничто не связывает. «Именно поэтому», – отрезала Ахматова, когда до нее дошел, наконец, мой вопрос после троекратного повтора, и заговорила об анютиных глазках – по ассоциации со своим именем? – и о мавританском газончике у нее под окном. Что

такое «мавританский газончик», я, натурально, не знал, а потому раздражался еще больше. Короче, вел себя самым подонистым образом – Ахматова в конце концов отвернулась к окну, дав понять, что аудиенция закончена.

Другое объяснение моему юношескому хунвейбинству: меня, как себя помню, раздражала идолизация все равно кого, и я всегда и по сю пору (в том числе в этой книге) стремился раскумирить, демифологизировать, спустить, а то и стащить с пьедестала на землю кумиров и идолов.

Идолопоклонником не был никогда. По мне, культ личности художника ничуть не лучше культа личности политика. Все священные коровы если не одинаковы, то одной породы. Поэт и царь – это не только противостояние и антитеза. Художник-выживаго научается от тирана тиранству – приложимо к Ахматовой один в один. И не только к ней.

Когда мы с Аней вышли из дома, навстречу нам попалась еще одна парочка молодых посетителей – мой приятель Женя Рейн вел моего шапочного знакомого Осю Бродского, которого я знал тогда вприглядку – по самиздатным стихам и публичным чтениям на квартирах, знакомить с Анной Андреевной. Рейн был старше Бродского на четыре года, а я на два года младше Бродского, но даже в возрастной сумме мы втроем не дотягивали целых семь лет до почтенного возраста АА, которой годились во внуки. Мы перекинулись несколькими словами и отправились каждый своей дорогой: мы с Аней на станцию, Бродский с Рейном в «будку» к Ахматовой.

Ахматову я успел повидать еще несколько раз. Два визита на комаровскую дачу, куда я пришел однажды – летом 1964 года – с корреспондентом «Юности» Стасиком Лесневским просить АА дать что-нибудь для публикации в ленинградском номере журнала, где, к слову, была напечатана моя первая большая статья о поэзии. АА восседала на своем императорском троне, и нескольких знаменитых профессоров, включая говоруна Наума Яковлевича Берковского, который обычно никому слова не давал вымолвить, молча сидели на краешке скамьи, внимая тронной речи. Мы присоединились к слушателям, а когда профессора разошлись, АА угостила нас водкой.

Последний раз я увидел АА за полгода до ее смерти. Было это осенью 1965-го – дверь мне открыл Бродский, который днями как вернулся из ссылки: сначала заехал в Москву, а прибыв в Ленинград, перво-наперво заявился к АА, как мы ее называли между собой и как буду впредь называть ее в этом гипотетическом эссе. Мы обнялись с Осей, хотя тогда еще друзьями не были. Он поблагодарил меня за то, что я подписывал

письма в его защиту и против его гонителей, но как-то, мне показалось, Бродский отнесся ко мне ревниво. А по какому поводу пришел я? Вспомнил – за сигнальным или, как сейчас говорят, пилотным экземпляром «Бега времени», с рисунком Модильяни на супере: подрядился писать рецензию на эту книгу. Это было уже по окончании Академии художеств, а вспоминальщиков Ахматовой и без меня – под завязку. Что эти несколько кратких эпизодов?

Ночь с Ахматовой

Они, однако, важны в моем сюжете, хоть и по контрасту. Задолго до меня, через полгода после войны, к АА наведался гость куда более интеллигентный, тонкий и цивильный, чем мы с Бродским, и провел с ней целую ночь. Звали его тогда не сэр Исайя, а просто Исайя, а фамилия у него была и вовсе банальная: Берлин. Родом из Риги, из респектабельной еврейской семьи, но детство провел в Петербурге-Петрограде. Далее делает блестящую оксфордскую карьеру, где учится, преподает, президентствует в одном из колледжей, пока не становится президентом Британской академии, а в 47-летнем возрасте возведен в рыцарское звание Королевой Великобритании. Во время Второй мировой войны он был вынужден прервать свою научную, преподавательскую, культуртрегерскую и писательскую деятельность и служил в Британской службе информации в США, а после войны – Вторым секретарем посольства в СССР, где встречался в Москве с Пастернаком и в Ленинграде с Ахматовой.

Этой ночи суждено было сыграть роль не только в истории русской литературы, но и в политической истории. Вплоть до того, что эта ночь в Фонтанном доме послужила если не причиной, то по крайней мере поводом к началу холодной войны, даром что ночь была крещенская – так считала сама АА:

Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха,
А за ней войдет человек…
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый Век.

– напишет она в «Поэме без героя».

Исайя Берлин посвятил этой ленинградской ночи подробные воспоминания, а Ахматова много хороших стихов – и сразу вслед за встречей, и многие годы спустя: два любовных цикла «Cinque» и «Шиповник цветет». Посвящение ему, однако, цензура сняла,

хотя объемистый том ее стихотворений в «Библиотеке поэта» вышел уже в постсталинские вегетарианские времена. О чем говорить, когда даже ее так называемое патриотическое стихотворение 1917 года «Мне голос был…» печаталось без двух самых сильных начальных строф:

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,

Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее…

А ночной гость был не просто из будущего, но из другого мира. Недаром АА поставила эпиграфом к посвященному ему циклу слова Китса: «А ты находишься далеко среди людей». А среди кого жила она сама? Вот именно! Анна сказала Исайе: «Вы прибыли из нормального человеческого мира, в то время как наш мир разделен на людей и на…»

Недаром она преклонялась перед Кафкой: «Он писал для меня и обо мне», – сказала она заморскому гостю.

Исайя Берлин пришел к ней в 9 вечера, а к себе в отель вернулся на следующий день к полудню. В совершенно экзальтированном состоянии. Бросился на кровать, восклицая: «I am in love. I am in love». Другая цитата: «Ночь целую с кем можно так провесть!» Нет, это не Ахматова, а София Фамусова о Молчалине – читатели, зрители и критики уже два столетия бьются над загадкой, что именно имел в виду Грибоедов.

Аналогично с этой ленинградской ночью. Судя по мемуарному отчету Исайи Берлина, они всю ночь напролет вели с АА нескончаемый – 15 часов кряду! – разговор о литературе. Судя по ее 18 стихам об этой встрече-невстрече их связывали в эту ночь не только духовные интересы, но и любовные отношения, недаром первый цикл «Cinque» был впервые опубликован в журнале «Ленинград» под названием «Любовь». Исайя был джентльмен, а потому понятно его на этот счет «немотство» (заимствую это чудное слово из поэтического лексикона Юргиса Балтрушайтиса). Анна была поэтом, а потому никак не могла пропустить эту ее позднюю (хотя не последнюю) любовную вспышку в своих насквозь автобиографических стихах:

Ни отчаяния, ни стыда
Ни теперь, ни потом, ни тогда.
…
И какое кромешное варево
Поднесла нам январская тьма?
И какое незримое зарево
Нас до света сводило с ума?
…
Непоправимые слова
Я слушала в тот вечер звездный,
И закружилась голова,
Как над пылающею бездной.
…
Ты выдумал меня. Такой на свете нет,
Такой на свете быть не может.
Ни врач не исцелит, ни утолит поэт, —
Тень призрака тебя и день и ночь тревожит.
Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли мира силы,
Все было в трауре, все никло от невзгод,
И были свежи лишь могилы.

АА называет Исайю Энеем – прозрачный намек на его кратковременный роман с Дидоной – и предсказывает, что эту ленинградскую ночь «любовью бессмертной назовут». Пусть никого не смущает ни возраст АА (56), ни возрастная разнота между ними. Оба родились в июне: Анна в 1889-м, а Исайя – в 1909-м. 20 лет разницы! Ну и что?

Между АА и ее гипотетическим любовником Толей Найманом, одним из ахматовских сирот, официально ее соавтором по переводам и литературным секретарем, было 47 лет разницы, и ей ко времени их предполагаемого романа – за 70. Их романические отношения – секрет Полишинеля. Даже если сделать поправку на соперничество Бродского с Найманом из-за Ахматовой в искательстве ее дружбы и покровительства, именно Бродский мне первым сообщил, что Найман был ее последним любовником, когда мы с ним встретились на кампусе Колумбийского университета. Я, было, усомнился.

– А как еще объяснить ее любовь к нему? Не за стихи же!

Неоспоримый довод, ultima ratio.

Этот эпизод подробно описан мной в дневниковом эссе «Два Бродских».

Прошу прощения за трюизм, любви все возрасты покорны.

Однако физическая близость АА и Исайи Берлина – все-таки академический вопрос, хотя для меня она как раз без вопросов, пусть со свечой и не стоял. Инициатива, конечно, принадлежала ей, АА была жрица любви, любовников несметно, а к тому времени она изголодалась после долгих лет любовного простоя и сексуальной аскезы, а потому набросилась на Исайю, как с голодного края, и к обоюдному удовольствию вые*ла потрясенного британского гражданина русско-еврейского происхождения.

Куда более интересны причины и последствия их ночной встречи.

Сама предыстория этой встречи поразительна. Приехав из Москвы в город своего детства, Исайя Берлин зашел в «Лавку писателей» на углу Невского и Фонтанки, где разговорился с одним критиком (не я – по малолетству!) и спросил о судьбе ленинградских писателей. Критик переспросил, кто именно британца интересует: Зощенко? Ахматова?

– Неужели Ахматова еще жива? – удивился будущий сэр, которому она казалась фигурой из далекого прошлого.

– Ну, разумеется! И живет совсем рядом, – и, предварительно созвонившись, будущий блоковед Александр Николаевич Орлов повел Исайю в Фонтанный дом, бывший когда-то дворцом Шереметьева. Так Исайя Берлин оказался в скудно обставленной комнате, где над камином висел рисованный портрет молодой Ахматовой работы Амедео Модильяни, с которым у АА был роман в Париже. Разительный контраст с величественной седой дамой, которая милостиво соблаговолила принять британского гражданина русского происхождения. Исайя Берлин поклонился ей, как королеве.

Дело было днем, собеседники вели неспешный светский разговор обо всем и ни о чем, пока вдруг со двора не раздался истошный крик:

«Исайя! Исайя!» Заморский гость решил, что ослышался. Но, выглянув во двор, увидел внизу своего оксфордского однокашника, сильно подвыпившего Рандольфа Черчилля, сына Уинстона Черчилля. Исайя в ужасе сбежал вниз и с трудом выпроводил пьяного дружка. Перезвонил из «Лавки писателей» Ахматовой, принес извинения и спросил, может ли снова прийти к ней.

– Сегодня вечером, в девять.

Что здесь важно пояснить. Если за Исайей Берлином, возможно, и не было еще слежки, хотя кто знает, то за сыном самого Черчилля уж точно была. Это именно он притащил за собой свой хвост, своего «следопыта» в Фонтанный дом – с его

невольной наводки начиная с ночной встречи с Исайей Берлиным, Ахматова оказалась под колпаком, а дальше уже все завертелось по известному сценарию. Ждановскому постановлению ЦК предшествовали слухи, один диче другого. Будто бы Уинстон Черчилль, большой поклонник поэзии АА, через своего сына и Исайю Берлина, агента Интеллидженс сервис под статусным прикрытием Второго секретаря Британского посольства, хотел убедить Ахматову покинуть Россию и даже выслал за ней личный самолет для доставки в Лондон.

О чем они говорили той ночью? О чем они только не говорили той ночью! Обо всем и ни о чем. АА расспрашивала про своих друзей, которые сгинули, канули, исчезли с горизонта, уехав за границу.

О композиторе Артуре Лурье, с которым у АА был роман (а с кем у нее не было?), о Саломее Андрониковой, той самой красавице Соломинке, которой влюбленный Мандельштам посвятил стихотворение, о Вере Стравинской, о Георгии Адамовиче, которых близко или на проходах знал Исайя Берлин. Само собой, о литературе – о Льве Толстом, которому АА не могла простить гибели Анны Карениной и решительно предпочитала ему Достоевского, о Пушкине, об Александре Блоке, с которым у нее тоже будто бы был роман, судя по стихотворению «Я пришла к поэту в гости…», но никто со свечой не стоял, а потому под вопросом. О Марине Цветаевой – «Она поэт гораздо лучше меня», о Пастернаке, который неоднократно делал ей предложение, о бывшем муже Николае Гумилеве, о Мандельштаме. «Я любила его, и он любил меня», – сказала Ахматова и разрыдалась, и Исайя поначалу не понял, о ком она – о Гумилеве или Мандельштаме. Оказалось – о Мандельштаме. Она не могла говорить об Осипе без слез:

– После того, как он дал пощечину Алексею Толстому – «Русского писателя бьют!» – вскричал этот фанатичный антисемит и сталинский прихвостень – все уже было предрешено.

Ахматова отдавала этому мнимому графу должное как писателю, но считала его «причиной смерти лучшего поэта нашего времени, которого я любила и который любил меня». Плачущая, рыдающая Ахматова – лично я такой ее даже представить не мог! Они много говорили о личном, но Исайя Берлин не рассказывает, что именно. Упоминает только ее рассказ о браках с Гумилевым, Шилейко и Пуниным и ее расспросы о его личной жизни: «Я отвечал полно и свободно, словно она имела право знать обо мне все».

За весь разговор произошла одна только заминка, когда Ахматова, закрыв глаза, стала декламировать по памяти

байроновского «Дон Жуана» по-английски. Исайя хорошо знал эту поэму, но из-за ее произношения не мог понять даже, какие строки она читает с таким глубоким чувством, до него долетали только отдельные слова. Чтобы скрыть замешательство, он встал и стал смотреть в окно: «Подобным образом мы, очевидно, читаем классические греческие и латинские стихи, произнося слова так, что их авторы или другие представители того времени ничего бы не поняли», – напишет позднее Исайя Берлин.

Такая же история повторилась почти четверть века спустя с Бродским, которого сэр Исайя пригласил прочесть лекцию в Британской академии, которую он возглавлял. Бродский прожил уже за границей 18 лет, однако акцент, картавость и прочие артикуляционные дефекты (ладно: особенности) делали его речь невнятной для англоязычной аудитории. Исайя Берлин, который написал о Бродском куда интереснее и качественнее, чем Бродский о нем (эссе «Исайя Берлин в восемьдесят лет»), так описывает его лекцию: «Никто не понял… Я тоже не понял ничего. Он говорил по-английски быстро, глотая слова. И я не мог уловить, не совсем понимал, что он говорит. Его приятно было слушать, потому что он был оживлен, но понял я потом, когда прочел». Само собой, не только это схожее восприятие русским британцем орального английского двух русских поэтов связывало эту троицу, но амагкн, планида, судьба, рок.

Неважно также отсутствие взаимной поэтической приязни у Ахматовой и Бродского. Это была улица с односторонним движением. Ахматова рано признала Бродского и даже назвала его гением, прочитав «Большую элегию Джону Донну», которую ИБ написал, не зная еще ни одного стихотворения английского барочного поэта-проповедника – разве что строчки, взятые Хемингуэем эпиграфом к роману «По ком звонит колокол». Но это как раз говорит в пользу Бродского: он все схватывал влет, с полуслова, а иногда и без слов – sapienti sat.

Бродский, напротив, был к поэзии и поэтике АА отменно равнодушен. У него были другие кумиры: Державин, Баратынский, Пастернак, Маяковский, Мандельштам, Слуцкий. Из женщин – Цветаева, антипод Ахматовой во всех отношениях, лень перечислять. «Вы не должны любить мои стихи», – сказала ему АА. Он и не любил их, хотя в ответ стал выкручиваться. Бродский здесь не одинок – никто из больших русских поэтов, чьи стихи АА любила, не любил ее стихи. Гумилев, ее муж и глава акмеистов, отговаривал ее от стихосложения, полагая, видимо, что на семью достаточно одного поэта: «Ты бы что ли танцевала, ты такая гибкая». Хвала Пастернака ее «муравьиному шоссе» вызвала ироническое предположение АА, что «Боря впервые прочел мои

стихи». Цветаева, та и вовсе была равнодушна к стихам Ахматовой. Обожаемый ею Мандельштам печатно обозвал ее «столпницей на паркете».

А теперь вот и его тезка – «младший Ося», который воспринимал АА скорее, как последний сколок Серебряного века и нравственный авторитет, чем как индивидуального поэта. «Что-то в отношении ко мне другого Иосифа напоминает мне Мандельштама», – записывает АА в дневнике.

Впрочем, и остальные ахматовские сироты любили ее не за стихи.

То есть «мы ее любим не за это», по гендерному перевертышу армянского анекдота. Или, переводя из низшего в высший регистр: порвалась цепь времен, и АА была для Бродского со товарищи недостающим звеном между распавшимися временами: историческими, человеческими, литературными, поэтическими. Это единственное, что может оправдать пафосное, высокопарное и даже выспренное «великая душа», отнесенное Бродским к Ахматовой. Отдадим должное АА: в своей любви к поэзии она была поверх личных обид, которые могли у нее возникнуть к нелюбившим ее, как поэта, и любимым ею поэтам.

Чему еще научился ИБ у АА, так это ее modus vivendi, имперскому и императивному стилю, культу собственной личности, перформансу вдобавок, а иногда взамен стихов, жизнетворчеству, стратагеме успеха, самопиару и самомифологизации, но, само собой, куда с бóльшим размахом и куда в более крупном, мировом масштабе. Даже в безапелляционных эпатажных оценках Бродского легко просматриваются уроки Ахматовой, ее нахрапистая школа. Ср. к примеру его ревизионистское заявление, что 18 уцелевших колонн на мысе Сунион многажды прекраснее Парфенона с аналогичным у Ахматовой: «Коломенское прекраснее Notre Dame de Paris» – калька, разве нет?

Знаменитые слова Ахматовой в связи с арестом – судом – ссылкой Бродского: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял» – были сказаны ею с очевидным оттенком зависти и ревности. Хотя также очевидно, что Бродский хоть и превзошел Ахматову в имиджмейкинге, зато ахматовского железа ему не хватало и не хватило: «Мы железные. Те, которые не железные, давно погибли», – постулировала прошлое в будущее Ахматова. Гибель Бродского нельзя списать на один только обнаруженный еще в юности врожденный порок сердца («порожек», его словами) да еще на неудачный bypass уже здесь в Америке. Он все принимал близко к сердцу и за все расплачивался – и расплатился: от трагической любви до

многолетней, тягостной, на измор, борьбы за Нобеля.

Меня, однако, интересует сейчас иностранец в своем отечестве, связующий двух этих поэтов, хотя они и так были человечески связаны и близки, несмотря на полувековую между ними разницу, и в посредниках не нуждались – Исайя Берлин, друг Ахматовой и Бродского, хоть и в разные времена. Вот что он писал о Бродском: «Как могли его понять те, кто не читал его по-русски, по его английским стихотворениям? Совершенно непонятно. Потому что не чувствуется, что они написаны великим поэтом. А по-русски… С самого начала, как только это начинается, вы в присутствии гения. А это уникальное чувство – быть в присутствии гения… Поэт может писать только на своем языке, языке своего детства. Ни один поэт не создавал ничего достойного на чужом языке… Поэт говорит только на родном языке».

Лиса или ёж?

Что же до Анны и Исайи, то спустя 20 лет после ночной встречи, за год до смерти АА, они вновь свиделись в Оксфорде, где Ахматова получила диплом почетного доктора. Судя по воспоминаниям сэра Исайи, он смущенно выслушивал ее эгоцентричную и гиперболизированную трактовку их ночного свидания:

«Она добавила, что мы – то есть она и я – неумышленно, простым фактом нашей встречи, начали холодную войну и тем самым изменили историю человечества. Она придавала этим словам самый буквальный смысл и была совершенно в этом убеждена и рассматривала себя и меня как персонажей мировой истории, выбранных роком, чтобы начать космический конфликт. Я не смел возразить ей, сказать, что она преувеличивает воздействие нашей встречи на судьбы мира, потому что она восприняла бы это как оскорбление ее собственного трагического образа Кассандры – и стоящего за ним исторически-метафизического видения, которое так сильно питало ее поэзию. Она думала, что Сталин дал приказ, чтобы ее медленно отравили, но потом отменил его».

Именно от Ахматовой сэр Исайя узнал апокриф о бешеной реакции Сталина на их неформальное рандеву: «Наша монахиня принимает иностранных шпионов…» – и дальше разразился такой бранью, мат-перемат, которую АА не решилась повторить. Исайя Берлин тут же оговаривается, что никогда не служил в разведке, и слова Сталина объясняются его патологической манией преследования. А если даже и был британским шпионом, разве он признался бы в этом?

Вот этот вопрос – был ли Исайя Берлин шпионом – кажется мне куда более важным, чем вопрос о его физической близости с АА, которая если и случилась, то по инициативе АА. Майкл Игнатьефф, британский писатель русского происхождения, в своей новой биографии Исайи Берлина говорит о его связях с Интеллидженс сервис глухо, невнятно, не ставя точку над «I». Вскорости, однако, у нас здесь вышла книга Питера Финна и Петры Куве «Th e Zhivago Aff air: The Kremlin, the CIA, and the Battle over a Forbidden Book». Еще до ее выхода издательство прислало galley-proof, по которой я ее рецензировал для нью-йоркских СМИ. Чрезвычайно интересная по информативности книга – секретные меморандумы ЦРУ о распространении запрещенного «Доктора Живаго». Она стоит отдельного разговора, а пока что о роли Исайи Берлина в контрабандной переправке рукописи романа за кордон.

На основании частично рассекреченных документов ЦРУ там говорится, что некий непоименованный сотрудник британской разведки сделал микрофильм с романом Пастернака. Далее упомянуты поименно несколько человек, которые могли передать рукопись за границу.

Среди них – Исайя Берлин, который приехал на дачу Пастернака в Переделкине и забрал у него рукопись романа. С Ахматовой он, возможно-вероятно, был в близких отношениях, зато с Пастернаком тесно дружил. Были ли непоименованный британский агент и названный по имени Исайя Берлин одним и тем же лицом, сказать с уверенностью невозможно, но похоже. Слишком много совпадений, чтобы свести их к случайности. Кстати, за какие заслуги перед Британией он был возведен в рыцарское звание в таком сравнительно молодом для этого звания возрасте, вызвав приступ зависти у своего друга великого поэта Одена, который так и не удостоился этой чести? А Элиоту – из-за того, что тот, в отличие от Одена, получил Нобельку. К слову, оба были эмигрантами: Оден – с британских островов в Америку, а Элиот – в обратном направлении. Так за какие заслуги эмигрант Исайя Берлин стал британским рыцарем?

За свои очевидные литературные достижения или за свои тайные услуги стране, натурализованным гражданином которой он являлся?

Врать не буду – не знаю.

Среди многих идей Исайи Берлина есть известная альтернатива «лиса – еж». Сам образ он позаимствовал у древнегреческого поэта Архилоха – «Лис знает много секретов, а еж – один, но самый главный» – и заново ввел его в литературный и психологический обиход, применительно к человеку. В

частности – к художнику.

Люди-лисы устремлены к нескольким целям сразу и видят мир во всей его сложности, амбивалентности и оксюморонности. Они разбрасываются, пытаясь добиться сразу всего – их мышление лишено какой-либо общей концепции. К лисьей группе сэр Исайя относил Шекспира и Пушкина.

Люди-ежи предельно упрощают мир, сводя его к простой организующей концепции, которая связывает все воедино. Не важно, насколько сложен мир, еж сводит все вопросы и проблемы к упрощенной, иногда даже примитивной и понятной идее. Для ежа все, что не въезжает в эту концепцию, не существует. В ежовый ряд вписываются Ницше, Достоевский, Фрейд. А к какой категории относится герой этой книги? Кто он – лиса или еж? Вопрос чисто риторический – кто есть Бродский и ежу понятно.

А сам сэр Исайя – кем он был по его собственному раскладу? Ну конечно, лисой! Разбрасывался как редко кто. Чем только не занимался! О чем только не писал! О Карле Марксе и исторической неизбежности, о веке Просвещения и о русской интеллигенции, о разных видах свободы, об искривленном древе человечества – истории идей.

Преподавал, сочинял мемуары, был администратором, дипломатом, консультантом высшего класса и на высшем, правительственном уровне. Входили ли в круг профессиональных и служебных обязанностей этой лисы еще и агентурные, разведывательные, шпионские?

Могли – запросто. И грех было британскому правительству не воспользоваться этим талантливым, уникальным, штучным человеком.

Так, может, Сталин подозревал Исайю Берлина вовсе не из-за мании преследования?

Я привел начальные строки Посвящения к «Поэме без героя», а вот как его заканчивает АА:

…Но не первую ветвь сирени,
Не кольцо, не сладость молений —
Он погибель мне принесет.

Как поссорились Иосиф Александрович с Евгением Александровичем

Я уже пытался несколько раз рассказать эту историю в нью-йоркских газетах и по радио – «Новое русское слово», «В новом свете» (филиал «МК»), «Народная волна», а потом в Москве – в

«Литературной газете» и в моей книге «Post mortem». Причем каждая попытка вызывала, с одной стороны, скандал, а с другой – приток новых сведений, не менее сенсационных, чем те, что я излагал начально. Получалось что-то вроде снежного кома, который катит с горы, становится все больше и набирает скорость. В таком вот значительно дополненном виде эта детективная история публикуется впервые. Не думаю, что это последняя версия. Следующая – в новой, будущей книге этой моей авторской линейки:

Быть Евгением Евтушенко. Ночной дозор. Групповой портрет на фоне России

Хотя по природе своей я – антитабуист и возмутитель спокойствия, и анекдот о скорпионе, жалящем черепаху, наверное, про меня, но как раз в данном конкретном случае я опирался на документы, которые факсимильно прилагал к публикациям. Во избежание дальнейших пустопорожних споров хочу заранее предупредить, что лично у меня собранный материал, который я сейчас собираюсь в очередной раз предъявить читателям в обогащенном, как уран, виде, вызывает больше вопросов, чем ответов. Потому и избранный жанр – не статья, а сказ, хоть и построенный на документальном материале: докурассказ. Отсюда его лирическая, вопросительная интонация. Но именно вопросы и важны, потому что автор на основании полученной информации пытается переосмыслить ход текущей истории, произвести переоценку известных людей и исторических явлений. Это и есть главный побудительный мотив новой, в книге о Бродском, публикации этого мини-исследования. Оно же – детективное расследование. Не компромат на литературных випов, а несколько зафиксированных фактов из их жизни и деятельности. А уж выводы я и подавно не собираюсь делать, оставив это трудоемкое и рискованное занятие самим читателям.

Берта Тодда я знал, наверное, с четверть века, – ну, чуть меньше, но узнал его только после его смерти. Точнее: стал узнавать, когда он лежал в коме в Норт-Шор в госпитале в Куинсе, в пяти минутах от моего дома: я ходил туда к Лене Довлатовой, которая упала с подоконника и сломала колено, и не подозревал, что этажом ниже умирает мой давний приятель. За неделю до этого мне позвонила Лиля, его последняя де-юре жена (де-факто уже бывшая), и сказала, что Берт исчез, дома его, по-видимому, нет, до него не дозвониться. Я сказал: ломать дверь.

У Берта была лимфома, его бомбардировали химио– и радиотерапией, просверлили в черепе дырку и через нее

всаживали лекарство в спинной мозг. Он уже не чувствовал ног и рук, но вел себя мужественно, рулил свой «Форд Таурус», мотаясь между Нью-Джерси, куда собирался переехать к сыну от предпредыдущего брака, и старой квартирой в Куинсе, рядом с колледжем, и говорил, что победит рак. Был ли он в самом деле оптимистом или хотел им казаться – не знаю. Он был скрытен, но черта эта оказалась не личной, а ведомственной, о чем я тоже узнал после его смерти. Я ему позвонил на следующее утро после его исчезновения – он снял трубку и сказал, что чувствует себя лучше. Я решил, что с ним все ОК, и замучил его вопросами: неделю назад он подарил Лене Клепиковой компьютер, у нее не все там ладилось. Это был его последний разговор: ночью дверь взломали, он лежал на полу, а когда сын и жена переложили его на кровать, раздался мой звонок. Слава богу, сын не понимал ни слова по-русски, но откуда мне было знать? Тем более, не первый раз мы поднимали тревогу, а он, выяснялось, заночевал у какой-нибудь девки – ходок был еще тот. В тот же день его перевезли в Норт-Шор в госпиталь, куда я ходил к Лене Довлатовой, а потом стал ходить к обоим – даже странно, что мы разминулись с Евтушенко, а встретились только на панихиде. Берт уже не откликался, никого не узнавал, был овощ, а не человек. Хотя кто знает…

Пару раз он пытался вырвать капельницу – пришлось надеть на него наручники и приковать к кровати. Оброс бородой, ну чистый викинг! Если бы не все эти трубочки, я решил бы, что он просто заснул, как засыпал иногда у нас, пока загружал компьютер, – был безотказен, а я, стыдно сказать, типичный user. Но как раз тогда, чисто выбритый, с отвисшей челюстью, он казался мертвецом, но я сам напоминаю себе мертвеца, когда просыпаюсь, лежа на спине, с полуоткрытым ртом. Врач сказал Лиле, что надежды никакой, клинически он мертв, но в таком вегетативном состоянии может протянуть недели, месяцы и даже годы, чем напугал соломенную вдову и нью-джерсийского сына, которые прямо у смертного одра Берта начали борьбу за его пенсионный фонд, а тот перевалил, по слухам, за миллион: Берт был скуп, что объяснялось его шотландскими корнями и мормонским воспитанием. Совсем как у Толстого, когда умирает старший Безухов. Я был, понятно, на стороне Лили и Анны Беллы, их с Бертом 14-летней дочки: они полностью от него – а теперь от его наследства – зависели и больше походили на сестер, чем на мать и дочь. Тем более, несмотря на Лилины просьбы, Берт наотрез отказался застраховать свою жизнь: на чужой смерти никто не должен наживаться, говорил он. Сын был компьютерщик и исправно зачинал детей одного за другим в слабеющей надежде

на продолжателя рода, но одна за другой упрямо рождались одни девочки.

На панихиде я увидел всех жен Берта – последняя, понятно, не была знакома с первой: мормонкой, старше Берта, относилась к нему, как к сыну, а вот – пережила и прибыла из их родной Юты в Нью-Йорк со своим новым мужем как на торжество: жизни над смертью. Такие панихиды натуральным образом переходят в «пати», где встречаются люди вовсе незнакомые либо давно не видевшие друг друга. Как я – Евтушенко, хоть он мой сосед по Куинсу, но связывал нас только Берт, друживший с обоими. А Женя был в обиде на меня за «Евтуха», как я его обозначил в «Трех евреях»: в главе «Три поэта» – о поэтическом турнире Бродского, Евтушенко и Кушнера в моей питерской квартире. Так называл его Бродский – еще до их разрыва. Он всех коверкал: Барыш, Шемяка, Лимон, Маяк, Борух. Я не поддерживал с Женей отношений после отвала и не откликался на неоднократные, еще до публикации «Трех евреев», попытки Берта нас заново подружить – даже в тот раз, когда Женя в очередную гастроль в США не собрал зал (опять-таки, по его мнению, из-за Бродского) и остро нуждался в утешении, и Берт звонил мне из его номера, но я не пригласил и не приехал – только отчасти из-за своего тогдашнего нелюдимства, но еще и из инстинкта самосохранения или из мании преследования, которая у меня срабатывала здесь на каждого совка. Тем не менее спустя годы, уже в пору гласности, я передал Жене через Берта, который наладился в Москву, только что вышедших в Нью-Йорке злосчастных «Трех евреев», которые тогда еще назывались «Романом с эпиграфами» – с автографом, содержания которого, само собой, не помню. Потом Берт рассказывал, что Женя прочел роман за ночь (как раньше Фазиль, а позднее Булат), а наутро:

– Никогда не видел Женю таким разгневанным, – рассказывал Берт, возвратясь.

Маловероятно, что только из-за Евтуха: не в прозвище, а в самом «Романе с эпиграфами» дело. Боюсь, этот рассказ ему тоже придется не по ноздре, хоть я и держу слово, данное ему на панихиде Берта и Евтухом больше не называю. Еще меньше этот рассказ понравился бы Бродскому, но я пишу не для моих героев, живых или мертвых – без разницы, чтобы им угождать, а для себя самого. По внутренней потребности разобраться в случившемся и в узнанном.

Когда Евтушенко снял квартиру рядом в Куинсе, зашел как-то Берт и спросил – нет ли у нас затычки для ванной, Женя просит:

– Говорит, если у тебя найдется, он все простит.

Увы, не нашлась, и наше с Женей примирение – как

оказалось, ненадолго – случилось только на панихиде Берта.

– Если я вам жму руку, значит прощаю за Евтуха, – сказал Евтушенко и тут же обрушил на меня – с ссылкой на своего тезку Рейна – новую версию конфликта с Бродским: будто бы Бродскому подкинул чернуху на него Марамзин, а тот действовал по заданию гэбухи, которая завербовала его, пока он сидел в следственном изоляторе Большого дома.

В «Трех евреях», а потом в нашем первом с Леной Клепиковой международном политологическом триллере «Андропов: тайный ход в Кремль» подробно излагается история, которая поссорила самого известного русского поэта с самым талантливым. Вкратце: будто бы с Евтушенко советовались о Бродском на самом высоком гэбистском уровне, и Евтушенко сказал то, что от него ожидали услышать – да, ему не представляется судьба Бродского в России, но хорошо бы тому упростили формальности и облегчили отъезд. Эту историю я слышал в смутном изложении от Бродского за два дня до его отъезда из России и спустя полтора месяца – от Евтушенко. Здесь мне придется процитировать «Трех евреев»:

Я понял, что он мне рассказал о разговоре с Андроповым в опровержение возможной версии Бродского. А откуда Ося всё это взял? От того же Евтуха? Вряд ли от Андропова…

Повинную голову меч не сечет, а Женя, похоже, был не уверен, правильно ли он поступил, угадывая мысли и желания председателя КГБ.

А какое чувство было у Пастернака после разговора со Сталиным о судьбе Мандельштама?

Прошлым летом в Коктебеле, едва приехав и не успев еще пожать Жене руку, я подвергся с его стороны решительному и жестокому нападению – без обиняков, он выложил мне все, что думает о Бродском, который испортил ему американское турне: инспирированная Бродским и компрометирующая Евтушенко статья во влиятельной американской газете, а из-за нее, впервые за все его поездки в Америку, полупустые залы, где он выступал. Фотограф нас заснял во время этого разговора, лицо на фотографии у Жени разъяренное.

Шквал агрессивных оправданий – Евтух настаивал на полной своей невиновости перед Бродским.

Я склонен ему верить, убрав прилагательное «полная» – скорее всего он и в самом деле невиновен или виноват без вины, так что зря Бродский затаил на него обиду.

Тех читателей, которых интересуют подробности, отсылаю к «Трем евреям», а те выдержали уже несколько изданий в Нью-

Йорке, Питере и Москве, то есть общедоступны. Так или иначе, Евтушенко и Бродский были зациклены друг на друге – бельмо на глазу один у другого, и Берт, великий миротворец, попытался их помирить, хотя там вражда – в отличие от нашей с Женей – была не на жизнь, а на смерть.

Я рассказывал историю их мнимого примирения в дневниковых «Двух Бродских», прошу прощения за вынужденный повтор.

К тому времени Бродский уже вышел из Американской академии искусств в знак протеста, что в нее иностранным членом ввели Евтушенко, объясняя свой демарш объективными причинами, хотя налицо были как раз субъективные. И вот Берт сводит Евтушенко с Бродским в гостиничном номере, а сам спускается в ресторан, заказывает столик в надежде славы и добра. Выяснив отношения, пииты являются через час, поднимают тост друг за друга, Ося обещает зла на Женю не держать. Все довольны, все смеются – больше других, понятно, домодельный киссинджер. Недели через две Берт встречает общего знакомого, тот рассказывает, как в какой-то компании Бродский поносил Евтушенко. Берт заверяет приятеля, что это уже в прошлом, теперь все будет иначе, он их помирил. «Когда?» Сверяют даты – выясняется, что Бродский поливал Женю после их примирения. Наивный Берт потрясен:

– Поэт хороший, а человек – нет.

«Про Евтушенко можно сказать наоборот», – промолчал я и хорошо сделал, потому как ради красного словца, а на самом деле у Евтушенко много отличных стихов, хотя и шлака навалом. А Берту я рассказал тогда анекдот, как один индеец раскроил другому череп трубкой мира.

Другой вопрос: Берт мирил Бродского с Евтушенко из общехристианских (как-никак мормон!) или дружеских побуждений? Их с Женей связывала 40-летняя дружба, с первого приезда Жени в Америку, когда Берт, тогда аспирант Гарварда, пообещал безвестному за океаном Евтушенко устроить гастрольное турне по всей Америке. Фантастика! Берт, однако, сдержал слово и привез в Москву контракт на выступления в 28 колледжах. Женя, в свою очередь, познакомил его с Окуджавой, Вознесенским, Ахмадулиной и Аксеновым – этот десант и был сброшен Россией на Америку. Да только все не так просто, что и выяснилось на Бертовой панихиде, почему, собственно, я и упоминаю все эти детали, которые заиграют после того, как я оглашу то, что узнал.

Важно также упомянуть, что власти поначалу препятствовали американским контактам «великолепной пятерки» и, в частности,

сорвали первую американскую гастроль Евтушенко, подозревая провокацию ЦРУ, что легче всего объяснить манией преследования у КГБ, хотя это была не мания, а реальность, но я опять забегаю вперед.

Не знаю, как у Евтушенко, но у Берта никого ближе и родней в этом мире не было. Шутя я как-то сравнил их с однояйцевыми близнецами.

Стоило Жене мигнуть – и Берт бросал все и устремлялся к другу. Лиля обижалась, когда он целыми днями пропадал где-то с Женей, оставляя ее одну с Анной Беллой, названной так в честь двух русских поэтесс.

(Думаю, что и Лилю, красивую татарку чистых кровей, Берт выбрал в жены из-за разительного сходства с юной Ахмадулиной, первую книгу которой он перевел на английский.) Да я и сам свидетель: уже в нашу с Леной бытность в Куинс-колледже приглашенными профессорами, когда Евтушенко нагрянул нежданно, Берт, всех подведя, бросил классы и отправился с ним в очередное турне. Это чуть не стоило ему кафедры, которую он возглавлял, – меня тогда удивило, как Берт выкрутился. Теперь-то все встает на свои места. Как и то, что скуповатый по природе Берт, когда расходы на организацию выступления превышали сборы от него, выкладывал Жене гонорар из собственного кармана.

Выходит, не из собственного. А Евтушенко об этом знал? Когда он пожаловался Берту, что его шантажирует КГБ, Берт тут же организовал ему охрану из трех телохранителей, сославшись на помощь сенатора Джарвица.

Не из-за этой ли поглощающей дружбы Берт проворонил другого русского поэта – Бродского, хотя именно по инициативе профессора Тодда того взяли в 73-м на семестр в Куинс-колледж (нас с Леной в 78-м на два семестра, а Евтушенко в 94-м с тенюром)? Отношения у них не сложились, и спустя несколько лет Бродский, помню, морщился при одном упоминании Берта Тодда. Или дело в ревности, которую Бродский, требовавший от друзей абсолютной лояльности, испытывал к Евтушенко, а потому предпочел в друзья и переводчики «незанятого» Барри Рубина? (Вера Данэм, другой профессор Куинс-колледжа, досталась Вознесенскому – такое вот распределение ролей.)

Так или иначе, заштатный Куинс-колледж стал на какое-то время пристанищем и убежищем рашн политикал эмигре. Хоть Евтушенко и не эмигре в буквальном, статусном смысле, да и времена другие, когда Россия, перестав быть супердержавой, ушла из мировых новостей и русские кафедры повсюду, включая Куинс-колледж, позакрывали, но Берту тем не менее удалось

протащить сюда Евтушенко почетным профессором: distinguished professor. Из-за чего и разразился скандал, с участием Бродского, уже на исходе его жизненных сил, ибо, как считал Бродский, Евтушенко взяли на место несправедливо уволенного Барри Рубина. Но скандал все-таки не такой сильный, на весь город, как несколькими годами раньше, когда в должности заведующего новообразованной кафедрой иудаистики не утвердили Томаса Бёрда – потому что не еврей (бельгиец). Несмотря на знание тем идиша и идишной культуры, но спонсоры-ортодоксы, когда на них накинулись евреи-либералы из «Нью-Йорк таймс» (в таком случае, писали они, зав. античной кафедрой должен быть древний грек или древний римлянин), ссылались именно на идиш: кому нужен нафталинный идиш, когда зав. иудаистской кафедрой должен знать иврит? Понятно, антисемиты возрадовались этому скандалу как доказательству еврейской, с библейских времен, ксенофобии. Их бы успокоило разве что если бы шефом иудаистики был назначен юдоед. Как в гестапо. Том тоже был на панихиде Берта и единственный из выступавших плакал. По Берту? По себе? Та история его здорово подкосила.

Проживи Бродский пару месяцев дольше, он, возможно, и довел бы второй куинсколледжный скандал до крещендо, то есть до уровня первого, с выносом избяного сора на страницы «Нью-Йорк таймс», главного мирового арбитра и вершителя судеб. Судьба распорядилась иначе, а сослагательные гипотезы альтернативного прошлого – в отличие от футурологических – невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

На панихиде Берта – точнее на последовавшей за ней тусовке – мне и вручили два письма, о содержании одного я знал раньше, другое оказалось для меня полным сюрпризом. Меня предупредили, чтобы я читал их не прилюдно, лучше – дома, но – нетерпение сердца! – я не внял и вышел из Klapper Hall на лужайку кампуса. Уже зажглись фонари и звезды, с куинсовского холма, как на ладони, сиял силуэт Манхэттена (минус голубые башни-близнецы, к «дыре в пейзаже» надо было еще привыкнуть), стояло бабье, или, как здесь говорят, индейское лето, я был в легком подпитии, но письма меня мгновенно отрезвили. Одно – от Бродского президенту куинсовского колледжа: про уволенного Барри Рубина и взятого взамен Женю Евтушенко. Другое – от Берта второй жене, которую он попрекал, что та раскрыла его тайну третьей жене: что он был агентом ЦРУ.

Когда я вернулся в Klapper Hall, там слегка поредело, но Женя все еще тусовался с нервным пианистом из «Русского самовара» и парочкой бухарских студенток; несостоявшийся шеф иудастики Томас Бёрд утирал слезы, которые начал проливать на

трибуне; вдовы Джеймса Бонда сбились в кружок и делились впечатлениями о жизни с ним (предположил я). Последняя, тридцатью тремя годами его младше (Лиля, мой гид по панихиде, все более походившей на склеп, где плакальщики – они же мертвецы), сообщила, что Берт был сексуально энергичен и, как латентный педофил, предпочитал субтильных женщин, а Лиля как раз из породы «маленькая собачка до смерти щенок». Я стал гадать, а где же здесь представитель той организации, к которой тайно принадлежал наш с Женей mutual friend[10], и знает ли Евтушенко о том, что был связан дружбой не просто со своим переводчиком и импресарио, но со шпионом – и знал ли об этом раньше?

It would not be honest if I did not tell you that I was terribly disappointed that you should have told Lilia that I had worked for the CIA… – пишет Берт в своем письме. – It was not your right to tell her what I had once told you in intimacy and with a solemn promise from you that you would never tell anyone.

Th ere were then and there have remained serious reasons for this and I can only understand the lapse on your part as a combination of your continuing pain and anger at me and the reasonable surmise that time has passed and it does not matter now. It does.[11]

Всё вдруг предстало в ином, ярком до рези свете: от организованных Бертом американских турне Евтушенко с телохранителями и гонорарами не из собственного все-таки кармана, когда не было сборов, – до самого шестидесятничества как политического – скорее, чем культурного – явления. А я-то подозревал Берта в связях с гэбухой (не на стукаческом, понятно, уровне) и материализовал свои подозрения в герое-рассказчике моего псевдодетектива «Матрешка», которого списал с него, не догадываясь о его главной служебной и жизненной функции (роман и посвящен Тодду). Что, впрочем, не мешает одно другому – мог быть и двойным шпионом. Как по ту сторону евклидова пространства сходятся параллельные линии, так и две эти организации-близняшки где-то за пределами противостояния супердержав – как, скажем, сейчас, но и тогда, на иной, правда, высоте… бла-бла-бла. Но тогда не есть ли и шестидесятничество побочный продукт этого мистического, за земными пределами, сотрудничества ЦРУ с КГБ, а наш с Женей общий друг – гермес, посланник, посредник этих богов всемирного политического Олимпа?

Тысячи вопросов сверлили мой мозг в связи с Бертовым признанием. Я даже позабыл о доносе на Евтушенко, сочиненном

Бродским за два с половиной месяца до смерти, а Ося как раз от шестидесятничества всячески открещивался, да и не был шестидесятником ни по возрасту, ни по тенденции, ни по индивидуальности – слишком яркой, чтобы вместиться в прокрустово ложе массовки: одинокий волк. Их – Евтушенко и Бродского – контроверзы были общеизвестны, но одно дело – устные наговоры, другое – такое вот совковое письмецо!

One can't think of a more grotesque irony that this, – писал *Бродский, сравнивая увольняемого из Куинс-колледжа Рубина и взятого туда Евтушенко на гамлетов манер, как тот отца с отчимом: – You are about to kick out a man who for over three decades studiously sought to bring the American public to a greater understanding of Russian culture and hire an individual who during the same period was systematically spewing poison of the 'stars on your banner are bullet holes, America' variety in the Soviet press.*

Times have changed, of course, and bygones should be bygones. But „the end of history," Mr. President, doesn't yet mean the end of ethics. Or does it?[12]

Хмель с меня как рукой сняло, но теперь я был пьян открывшейся мне интригой и возможностью тут же продлить ее во времени, пусть и в том же пространстве Куинс-колледжа. Тем более человек, вручивший мне телегу Бродского на Евтушенко, уже слинял, да и не брал с меня слово хранить вечно. Но тут я вспомнил, как однажды сидели мы с Бертом у него дома и трепались под уютное жужжание факса, пока адская эта машина не гильотинировала полученный документ, и Берт, прочтя, передал мне: отказ другого нобельца, Милоша, от предложенной ему докторской мантии Куинс-колледжа по той причине, что там преподает Евтушенко. Хоть он и не хочет вмешиваться в дрязги русских, писал Милош, но принятие почетной степени в этой ситуации было бы оскорблением памяти Бродского.

– Если бы ты знал, сколько Женя натерпелся от Бродского! – сказал Берт. – Женю тотально бойкотируют, отказ за отказом, всеобщий остракизм. Особенно здесь, в Нью-Йорке. Какой-нибудь прием или банкет – приглашают Евтушенко, а потом отменяют приглашение из-за того, что гости отказываются с ним рядом сидеть. Я ему не рассказываю, не хочу огорчать. И этот факс тоже не покажу. Женя очень ранимый.

Ранимый так ранимый, решил я, и письмо Жене на поминках Джеймса Бонда не показал, удержался. Но на другой день Женя звонит мне сам, он улетает на месяц в Москву, полчаса трепа после четвертьвековой тишины, две главные темы – сначала я

(веселым был всегда, но появилась легкость, с какой я обижаю людей; да, мы такие, как вы рассказываете, но у вас нет сожаления, что мы такие, вы пишете без боли – и тут я вспомнил, как давным-давно, в другой жизни, в Москве, мой друг Таня Бек сказала, что любопытство выело во мне все остальные чувства), потом Бродский. Тут я не утерпел и, к слову, зачитал доносительное письмо Бродского. Я был горевестником поневоле. А что мне было делать? Скрыть это письмо от собеседника?

Евтушенко был потрясен – привык к оральным наездам, никак не ожидал письменного. В голосе у него была растерянность:

– Подарок на Новый год.

– Ну, до Нового года еще надо дожить.

– Как бы достать это письмо?

– Оно передо мной.

– Вы собираетесь его публиковать?

– Факсимильно? Не знаю. Но помяну или процитирую в моем романе о человеке, похожем на Бродского, – это уж точно. В главе «Бродский – Евтушенко».

– Вы пишете роман о Бродском?

– О человеке, похожем на Бродского, – еще раз уточнил я на всякий случай. – Чтобы сделать Бродского похожим на человека. Стащить его с пьедестала.

Забегая вперед. После публикации этой истории в американской периодике я послал ее наудачу в «Литературку», которая охотно печатала главы из «Post mortem», упомянутого романа о человеке, похожем на Бродского. Произошла, видимо, какая-то заминка – я не получал из редакции ни «да», ни «нет». Как оказалось, главред был в сомнениях, не зная, что делать с моим скандальным докурассказом. Пока не встретил Вас случайно в Переделкине и не поделился с Вами своими сомнениями:

– Что делать?

– Печатать! – сказали Вы, не колеблясь.

При этом разговоре присутствовал мой московский приятель американист Коля Анастасьев, который и пересказал мне этот разговор.

Спасибо, Женя! Иным я Вас и не представлял – отзывчивым, толерантным, демократичным.

Спустя некоторое время Женя позвонил мне после полуночи из Оклахомы – я вынес этот разговор на заднюю обложку моего мемуарного романа «Записки скорпиона», о котором зашла речь:

– Вы правильно, Володя, сделали, что написали и опубликовали письмо Бродского обо мне и свой комментарий.

После таких слов раздрай между нами окончательно ушел в прошлое.

Дважды спросили, что сейчас пишу. Что мне оставалось? Я раскололся.

– «Записки скорпиона».

– Нас, православных, покусываете?

– Евреев тоже. Что эллин, что иудей – едино.

Едино?

Распотрошу, разоблачу, обесчещу и обессмерчу.

На то я и скорпион.

Возвращаясь к предыдущему нашему телефонному разговору. Когда мы перешли на стихи Бродского, Женя сказал, что лучшие написаны в России. Я добавил пару-тройку первых лет в Америке, когда Ося был одинок, неприкаян и писал «стоячим», до карьерного броска к Нобелю.

Женя: это даром не проходит. Я: с ссылкой на Лену Клепикову, что Ося окончательно испортил себе здоровье уже здесь, тратя неимоверные усилия на добычу «славы и деньжат», которые «к жизненному опыту не принадлежат». Классный стишок Бориса Слуцкого! Женя, оказалось, говорил не о теле: перегородок в душе нет. Я, без ссылки на Бродского: душа за время жизни приобретает смертные черты. Женя, снова не распознав цитату, на этот раз своего вечного антагониста: об этом уже написано – Дориан Грей.

Не помню, кого из нас первым кольнуло, что позабыли покойника.

– Джеймс Бонд высшего класса. Вы знали, что он был летчиком ВВС, потом служил аналитиком Пентагона? Пока его не перебросили на русскую культуру.

– Творческая командировка ЦРУ, – сказал я.

– ЦРУ? – удивился Женя.

Или сделал вид, что удивился?

Или Берт пользовался эвфемизмом, называя ЦРУ – Пентагоном?

Я не стал ссылаться на второе письмо, а просто подтвердил взятую из него информацию, прикусив язык на моей гипотезе о шестидесятничестве как гигантской провокации ЦРУ (вкупе с КГБ?). Но если ЦРУ организовывало первые турне Евтушенко по Америке, то не по его ли почину, пусть и с подачи Берта, Куинс-колледж дал нам с Леной ни за что ни про что двенадцать кусков сразу по приезде в Америку? После выхода «Трех евреев» парочка его негативных персонажей, приблатненных гэбухой питерских литераторов, распространяют инсинуации, что я тайный агент КГБ, а я в действительности тайный агент ЦРУ, сам того, правда,

не ведая? А если я двойной агент? Ну и дела!

А тогда сколаршип от Куинс-колледжа и в самом деле свалился на нас, как снег на голову (одновременно с более почетным, но и более скромным грантом от Колумбийского университета, который пришлось отложить на год). Собственно, Куинс-колледж давал только восемь тысяч, а еще четыре добавлял фонд Форда, который помогал советским эмигре со степенями, как у меня, замаливая антисемитские грехи Генри Форда, как нам объяснила Мери Маклер, руководительница программы.

Она же прямо сказала, что в Куинсе нам ничего не светит и даже не хотела подавать туда наши документы, а толкала в университеты, и по крайней мере четыре предложили нам аспирантуру плюс преподавание, мы отказались, о чем Лена с каждым годом жалеет все больше и горше. Вопрос о куинсовском гранте по ротационной системе решали два человека – зав. политкафедрой Генри Мортон и зав. русской Алберт С. Тодд.

В этом году была как раз очередь Берта, и он выбрал нас.

Он был первым американцем – нерусским и неевреем, с которым мы познакомились (вторым и третьим – профессор Колумбийского университета Роберт Белнап и поэт, эссеист и переводчик Гай Дэниэлс). Между прочим, русские принимали за эстонца. Высокий, статный, седовласый, студентки льнули к нему, да и он не остался равнодушным к их девичьим и постдевичьим прелестям. Время от времени на этой почве возникали конфликты с родителями или с администрацией колледжа. А отсутствие внятных эмоций я счел чертой его характера: скрытен по натуре. Оказалось – профессиональный, благоприобретенный навык.

Однажды, правда, я застал его плачущим, задолго до болезни, это было связано с семейными обстоятельствами, замнем для ясности.

Утешая Берта, я вспомнил название фильма с Полем Ньюменом «WASP's тоже плачут», хотя Берт только White, не чистокровный AngloSaxon (шотландская примесь) и не Protestant, а мормон.

Бертово жмотство не мешало ему быть щедрым. Помимо непыльного гранта, он вводил нас в американскую жизнь, знакомил с нью-йоркскими окрестностями – с ним мы впервые побывали на Лонг-Айленде (мы выехали часов в семь, чтобы поспеть на стоянку бесплатно). С тех пор Лонг-Айленд – наша с Леной еженедельная дача.

Когда наш грант кончился, отношения продолжались – Берт был главным советчиком, когда наш сын поступал в колледж (Джорджтаун был выбран с его подачи), когда мы покупали наш первый кар («Тойота Камри»), ввел меня в компьютерный, а потом

интернетный мир, покупал для меня компьютеры, загружал их программами и, как что, оказывал техпомощь. За несколько месяцев до смерти подарил Лене шикарный компьютер (взамен ее устарелого) со всеми причиндалами – монитором, сканером, принтером и коробкой дисков и дискет. Щедрый дар. Как и в отношениях с Сережей Довлатовым, я остался в долгу у Берта. Один раз, правда, я повез его на «Тойоте Камри» пересдавать водительский экзамен – водитель Берт был лихой и время от времени у него отбирали права. Не имея права сесть за руль машины, он рулил самолет, и на мой вопрос, что легче, ответил мгновенно:

– Конечно, самолет. Ни пробок, ни светофоров, возможность столкновения – минимальная.

Еще я был постоянным консультантом Берта по переводам – особенно намучились мы со сленговым и по сути непереводимым Высоцким. Вместе с группой энтузиастов (режиссер-израильтянин, американские актеры, художник Миша Шемякин) Берт готовил спектакль о Высоцком. Мне эта затея казалась обреченной – к сожалению, я оказался прав. А переводчик русских стихов Берт был отменный, чему помогало не только блестящее знание обоих языков, но собственные Бертовы юношеские (и позже) упражнения в поэзии. На вечере в манхэттеновском ресторане «Дядя Ваня» он читал в том числе свои стихи.

Переводить прозу Берт терпеть не мог.

Однажды я спросил его, кто знает лучше: он – русский или Евтушенко – английский? Берт удивленно вскинул брови. Я понял, что сморозил глупость.

На мой вопрос, почему Куинс-колледж из многих претендентов выбрал именно нас с Леной, Берт сослался на нашу статью об академике Сахарове в «Нью-Йорк таймс», за которую мы подверглись остракизму со стороны эмигрантских изданий:

– Неортодоксальное мышление. Мы все были поражены.

Тогда я ошибочно решил, что под «мы» он имеет в виду коллег по Куинс-колледжу.

Я сказал, что эта статья принесла нам символический гонорар – $150 и кучу неприятностей.

– Ничего себе символический! – сказал Берт и, быстро сосчитав в уме, назвал сумму: – 12 150 долларов. За 750 слов!

Для чего мы были нужны ЦРУ? Чтобы держать нас под колпаком?

Или как свежаки – источник новой информации о России? Наше спринтерское диссидентство заключалось в образовании независимого информационного агентства «Соловьев – Клепикова-пресс», чьи сообщения довольно широко печатались в

американской и европейской прессе. Одна только «Нью-Йорк таймс» посвятила нашему прессагентству три статьи, одну – с портретом основателей на первой странице. Мы были «старс», но скорее падучие, кратковременные, с мгновенной магниевой вспышкой известности, потому что одно – вести репортаж из тюрьмы, а другое – комментировать ее нравы извне, как мы стали делать в наших более-менее регулярных статьях в американской периодике, сменив одну державу на другую. Что еще хотело выжать из нас ЦРУ, дав нам куинсовский грант? Почему не вступило в прямой контакт? Или все-таки временный приют в Куинс-колледже был нам предоставлен объективным решением ученого совета, пусть и с подачи Джеймса Бонда, а для него это было личным решением – из интереса и симпатии к нам? Последний вариант меня бы больше устроил, но скорее всего решение было принято по совокупности.

Помимо лекций на славик и политикал факультетах мы вели с Бертом подробные беседы о цензуре и КГБ, он записывал их на магнитофон. Свой интерес объяснял тем, что собирается писать на эту тему исследование, которого так и не написал. Во всяком случае, научного. Вот чем он нас поражал (да и не только нас, в славистском мире к Берту относились пренебрежительно) – полным отсутствием у него научных работ. Теперь понятно почему.

Другой профессор-славист Джон Глэд, лет на десять, наверное, младше Тодда, прочитав этот рассказ в нью-йоркской газете, не только подтвердил, но и дополнил его как бы с другой стороны. Берт, оказывается, рассказывал Джон нам с Леной в тайском ресторане на Манхэттене, помимо того, что принимал русский диссидентский десант в Америке, участвовал также в высадке американского студенческого десанта в Россию. Джон Глэд как раз и был одним из сотен студентов, которые получали от Берта Тодда необходимые инструкции перед поездкой в СССР, и властные полномочия у него, по словам Глэда, были весьма широкие. Такой вот случай: Джон Глэд ухитрился потерять свой американский паспорт за несколько часов до отлета – Берт Тодд тут же выдал ему новый. Еще больше поразило Джона Глэда, какие огромные денежные средства были в распоряжении Тодда.

Соответственно с его официальными заслугами – как слависта и переводчика, Берту Тодду был посвящен скромный, в 200 слов, без портрета, некролог в «Нью-Йорк таймс» – сразу же под большим некрологом чудака, который прославился на всю страну тем, что забивал молотком себе гвозди в нос.

Что слава? – Яркая заплата

На ветхом рубище певца.

В этом моем рассказе два письма и соответствнно – два сюжета.

Они смыкаются на Берте Тодде, который был агент ЦРУ и друг Евтушенко. И теперь еще загадочнее выглядит интрига с получением Женей синекуры от Куинс-колледжа, когда из него по сокращению штатов выгнали Барри Рубина. Само собой, Бродский ввинтился в эту интригу по обеим причинам – объективной и субъективной: чтобы защитить старого друга и чтобы в очередной раз шарахнуть по старому врагу.

Благо есть повод. Да еще какой!

Помимо застарелой обиды, Бродский терпеть не мог конкурентов.

Слышу: «Какой Евтушенко ему конкурент!» В поэзии, наверное, никакой, но в знаковой системе эпохи у Евтушенко место значительно большее, чем в русской поэзии. Не говоря уже об американском, а тем более нью-йоркском культурном истеблишменте: два русских поэта – не слишком много? Два поэта-культуртрегера, два полпреда русской культуры на один космополитичный Нью-Йорк – как поделить между ними здешнюю аудиторию?

Думаю, для Бродского было мучительно узнать, что Евтушенко перебирается в Нью-Йорк для постоянной работы в Куинс-колледже. А с концом вражды (как оказалось, временным) между Америкой и Россией у Жени даже появлялось некое преимущество: он был послом новой России, тогда как Бродский – бывшей. Что Бродский не учел – в Америке подобные доносы имеют обратное действие. Но и в любом случае, на контринтригу (если была начальная интрига) у Бродского уже не было времени. Через два с половиной месяца Евтушенко стоял у гроба Бродского, не подозревая о телеге, которую покойник послал президенту Куинс-колледжа. А если бы знал? Все равно бы пришел – из чувства долга. Как поэт – к поэту. Как общественный деятель – на общественное мероприятие.

Представляю себе настроение Бродского, если бы он мог глянуть из гроба на заклятого врага. Да и не на него одного! А Саша Кушнер, которого Бродский за версту не выносил и который в аварийном порядке, спасая свою репутацию (damage control), прилетел из Петербурга, чтобы демонстративно постоять у этого гроба! Как все-таки мертвецы беспомощны и беззащитны.

Того же Берта взять. Если бы он присутствовал на параде своих жен (плюс любовниц), в который превратились его

поминки, и подглядел нас с Евтушенко, которых он тщетно пытался помирить, пожимающих друг другу руки? Или меня на кампусе, читающего его письмо о том, что он был агентом ЦРУ? Или заглянул бы сейчас в мой компьютер, который он же мне и установил, а потом добавлял память и загружал программы, и прочел рассказ, в котором мне осталось, самое большее, два-три абзаца?

Да еще кой-какие вопросы.

Догадывался ли Евтушенко со товарищи о роли, что предназначалась им в «куинсовском» проекте ЦРУ? Понимал ли Берт сверхзадачу порученной ему культурной миссии? А как в самом ЦРУ – сознавали в его мозговом центре, что проамериканский литературный диссидент подтачивал сами основы советского государства, оправдывая худшие подозрения КГБ? В конце концов, «империя зла» рухнула, но, как мы видим, не в одночасье. Мой друг Джеймс Бонд выполнял патриотический долг и вместе со своими подопечными московскими литераторами также приложил к тому руку.

Святое дело?

Зависит от того, как посмотреть.

P. S. Два стихотворения

Ну не поразительно, что два упомянутых поэта, которых Бродский считал своими кровными врагами – Кушнер и Евтушенко, – не сговариваясь, с разницей в три года – в 2002-м и в 2005-м – посвятили ему по стихотворению, где каждый назвал его своим братом? В обоих анонимно, но зримо присутствую я: Кушнер называет меня «недругом вздорным» и почти прямым текстом говорит, что я измыслил их вражду на месте братства, а Евтушенко своими словами пересказывает изложенную здесь гипотезу, что два русских поэта-полпреда не поделили между собой Америку. Однако Евтушенко – отдам ему должное! – рассказал о контроверзах собратьев по поэзии, в отличие от бесстыдника Кушнера, который объявляет свое братство с покойником нерушимым, хотя по жизни они если и были братьями, то на манер либо Ромула и Рема и Каина и Авеля, а в «Трех евреях», как читатель помнит, я сравнивал их с двумя другими библейскими братьями – Иаковом и Исавом. См. также в этом томе рассказ «Живая собака» на тему их братства. А теперь две эти братские эпистолы Бродскому на тот свет.

Кушнер:

Поскольку я завел мобильный телефон, —

Не надо кабеля и проводов не надо, —
Ты позвонить бы мог, прервав загробный сон,
Мне из Венеции, пусть тихо, глуховато —
Ни с чьим не спутаю твой голос: тот же он,
Что был, не правда ли, горячий голос брата.
Тогда мне незачем стараться: ты и так
Все знаешь в точности, как есть, без искажений,
И недруг вздорный мой смешон тебе – дурак
С его нескладицей примет и подозрений,
И шепчешь издали мне: обмани, приляг,
Как я, на век, на два, на несколько мгновений.

Евтушенко:

Как же так получилось оно? Кто натравливал брата на брата? Что – двоим и в России тесно? И в Америке тесновато?

Как с тобою мы договорим? Нас пожрал теснотой и ссорами наш сплошной переделкинский Рим, да и выплюнул в разные стороны. Дружбой мы не смогли дорожить. Может, чтоб не мириться подольше, и не надо нам было дружить, ибо ссорясь, мы сделали больше. Мертвым нам не уйти, как живым, от кровавого русского римства. Мы с тобою не договорим. Мы с тобою не договоримся.

Поэт и муха
Нервический монолог с. – петербургского литератора Р.Х., бывшего члена бывшего Союза советских писателей с 1968 года

Его первое слово было: муха.

Владимир Набоков. Дар

Могущество мух: они выигрывают сражения, отупляют наши души, терзают тела.

Блез Паскаль. Мысли, 367

Кто знает, если рассудить, может, и мухи нам посланы в утешение.

Чарлз Диккенс. Крошка Доррит

Я – тоже муха.

Уильям Блейк

Толстые большие мухи гудели возле уборной так, как будто давали концерт на виолончелях.

Ильф

Твоею тезкой неполною,
по кличке Муза…

ИБ. Муха

В детстве – папа, а теперь вот я, но по разным причинам. Папа – из гигиенических соображений, борясь с невидимыми вирусами и микробами, потому что разносчики, к комарам снисходителен, хоть и досаждали сильнее. Комары тоже попадались в расставленные повсюду ловушки, как, впрочем, и другие животные, – редкий гость, чертыхаясь, натыкался на свисавшую с потолка липучку, а кошка чуть не померла, выпивши неосторожно мухомора с блюдца, но главной добычей оставались они.

Любил наблюдать, как прилипнув одним крылом к клейкой поверхности, отталкивалась лапками, дергалась и билась, запутываясь все больше и больше, и вот уже только изредка вздрагивала в предсмертных судорогах, пока не замирала навеки, подобно ископаемому насекомому в янтаре или современному в паучьей паутине. Одну как-то пытался отцепить, но измазался клейкой массой и сам чуть не прилип – спасательных акций больше не предпринимал. А пауков папа специально разводил по углам и иногда производил подсчет вражеским потерям, включая паучьи трофеи. Клейкие спиральки были самым эффективным оружием, но была своя прелесть следить, как жадно пьет смертельную влагу из блюдца, а потом сваливается кверху лапками да так и плавает мертвая, и за пауком, который живую еще, трепещущую, пеленал, как ребенка или мумию, переворачивая с бока на бок, пока не получался кокон.

Конечно, оставалась какая-то премудрая разносчица, а то и две:

«Неистребимый народец», – говорил папа, имея в виду мушиный, никакой другой, и гонялся за ними целыми днями с мухобойкой, которую сам же и смастерил: палочка с прибитым на

конце куском резины, а хлопала почище пушки с Петропавловки – каждый раз вздрагивал, а мама в конце концов оглохла, хотя на самом деле оттого, что травила меня хиной, когда я был еще нежеланный эмбрион-фетус, аборты Сталин запретил, а потом уже я сам не хотел рожаться, потому что шла война народная, священная война, за правое дело, и маме сделали кесарево, изъяв меня насильственно, но какое это имеет отношение к мухам? А, вот – мама оглохла и перестала реагировать, и я ей завидовал, потому что из-за всех этих папиных хлопков стал нервический ребенок, хотя на самом деле была тысяча других причин, пришлось обратиться к известному психиатру, фамилию забыл, да и неважно, но я ему нагрубил, и он сказал, что все упирается в мою распущенность и дурное воспитание, и накатал на меня телегу директору школы, но это опять другая история, хотя на самом деле та же самая.

Было все это на даче в Сестрорецке, в году так 53-м, 54-м, 55-м и так далее – как себя помню, папа ловил мух, а я каждый раз вздрагивал, и облегчение пришло только, когда он наконец устал и умер от рака в больнице, кажется, Куйбышева, на Литейном проспекте, за решеткой, но вход с Жуковского – всегда думал, в честь поэта, тем более рядом Некрасова, но оказался изобретатель самолета, а не братья Райт.

В конце концов и сам пристрастился, но просто прихлопывал ладонью на оконном стекле, которое муха не видела, принимая за свободный выход на волю, а потом отрывал сначала одно крыло, а потом другое и наблюдал, как живая и здоровая бегала по полу и иногда вздрагивала, пытаясь взлететь. Отучился, прочтя «Муху-Цокотуху», а спустя много лет успокаивал себя, что другие в детстве поступали хуже, надувая через соломинку лягушку и пуская в пруд, – как она пытается нырнуть и не может, как моя муха взлететь. А пойманные стрекозы летали большой компанией на продетой через них нитке с болтающейся иголкой на конце – и это тоже не я, а Сережа Князев с соседской дачи. Он же отрывал пауку лапки и складывал их вокруг беспомощного тела, приглашая нас наблюдать за их безнадежным танцем по направлению к хозяину. Еще был приятель, который взрезал своей кошке живот, чтобы заглянуть внутрь, а другой поджег зажатую стальной пружиной мышку и следил, как горящая и издыхающая тянулась к кусочку колбасы, из-за которого и попалась в мышеловку. Ах, дети, дети…

Уже став писателем, выстроил литературный ряд от «Мухи-Цокотухи» до «Мухи» Блейка, «Мух» Сартра и «Повелителя мух» Голдинга вплоть до Бродского, пусть и соперник – не в хронологическом порядке, а по мере знакомства с

художественной литературой, им посвященной. Набралось с дюжину, но это была только присказка, а главным сюжетом стало воссоздание утраченной и никогда не написанной комедии про мух автора «Пчел», «Птиц» и «Лягушек» – потому и подзаголовок был игривый: «Перевод с древнегреческого». Поэма принесла известность, был избран почетным членом Общества защиты животных, хоть недоброжелатели и утверждали, будто занял амбивалентную по отношению к мухам позицию, что так и не так.

Знали бы про мои теперешние ночные бдения!

Еще травили клопов, но это совсем другая история, написать которую уже не успею, да и кому это все надо: читатель схлынул, оставив всех нас на произвол судьбы. Тем более методы другие: кровати сдвигались к середине комнаты, став ножками в консервные банки то ли с керосином, то ли с хлоркой, но клопы были хитрыми и смелыми и ночью сбрасывались десантом с потолка и кусали люто. Тараканов почему-то тогда не было, и знал только по книжкам, путая со сверчками, так как не видел ни тех, ни других. Клопы, как и комары, были зловреднее мух, но папа почему-то оставшиеся ему годы посвятил борьбе с последними как разносчиками, хоть сезон охоты был ограничен летними месяцами. Это была страсть, и, как любая, внушала страх и зависть.

А теперь вот, соорудив самодельную мухобойку из сложенной вчетверо газеты «Час Пик», сам охочусь по ночам за одной-единственной.

Сюда бы охотника папу, хоть у него и пахло изо рта, и это было сильнее, чем любые идейные разногласия, всякие разные там конфликты отцов и детей и прочая лажа. Как-то дал мне выпить из своего стакана – чуть не стошнило. Папа заметил и обиделся, но промолчал, а я давился и пил. Сок яблочный – подумать только, какие были времена! – одиннадцать копеек, а самый дешевый томатный – девять.

А сейчас?

Любую цифру назовешь – ошибешься, меняются каждый день, мыслию не угнаться. Если бы только цены – все к чертям собачьим. От прежней иерархии ценностей следа не осталось. Если нет Бога, то какой же я штабс-капитан? Если не нужна литература и умирают журналы, то кто я теперь? Какой, к черту, поэт, когда Катька, для которой был кумир, и та не выдержала. Выходила за поэта – поэт и красавица, поэт и муза, – а как началось, так подпускать перестала:

– Как надоел…

– Тебя слишком много…

– Как можно так навязываться…

Неужели это прелестное нежное теплое тело, эти зеленоватые шнифты во все лицо – а походка! обалдеть! – весь этот совершенный физический аппарат принадлежит такому ничтожеству? Да сколько угодно!

Выходит, тогда и Венера Милосская… А почему, собственно, нет?

Была просто поклонница, сопливка, ошивалась на литературных тусовках, взял из ничтожества, Пигмалион – Галатея, ввел в литературный мир на свою голову, стала искусствовед, ревновал безумно, приняв литературного соперника за любовного. Или в самом деле успели снюхаться до его отвала? Как узнать, как узнать? Ее спрашивать бесполезно, а теперь уж и некого. Но явно предпочитала его стихи моим – это точно, а значит, его – мне. Пусть гений, что с того, но шпана, блатарь и жлоб – с него станет! Ему на дружбу раз плюнуть, хоть и не были никогда друзьями, но враги до умопомрачения. А теперь думаю: только бы не умер прежде меня, сердце у него хуже моего, хотя хуже некуда, кто раньше умрет? только бы не он! Ненавидеть можно живого, иначе смысл жизни утрачивается, хоть и так уже утрачен. Ревновал не ее, а к нему – вот! С кем другим – сколько угодно, но только не с ним.

А какие скандалы устраивал! Пока ИБ не отвалил в известном направлении – с глаз долой, из сердца вон. Это, конечно, была не победа, но устранение соперника – поделили между собой пространство: он там, я здесь. А потом гласность началась – успел попользоваться, выйдя из подполья, в котором никогда не был, новые стихи за старые выдавал, которые будто бы в стол писал, хоть всегда писал только для Гутенберга. Враг-друг тем временем вернулся, не утруждая себя телесным возвращением в пенаты и продолжая жить в Нью-Йорке, Венеции, Париже и далее везде, – но стихами. И вот у разбитого корыта, а он – в лучах тамошней, а теперь и здешней. Но не всем же гениями! Где с ним тягаться – так ей тогда и сказал, а теперь кричу на весь мир, но никто не слышит. И телефонный звонок и дверной молчат, и я один, все тонет в лицемерье – в лицедействе? в фарисействе? – вчерашние друзья бросили и подались кто куда: кто в бизнес, кто в Америку и проч. Вот именно, что прочЬ! И она ушла – так просто взяла и ушла.

Liebestod, гибель любви.

Вот незадача – в школе немецкий учил, а на кой теперь леший, когда даже еж кумекает по-английски.

Остался один – один на один с мухой.

Заместо музы – муха.

Поэт и муха.

И еще раз чуть не стошнило, в гостях у тети Муси, почти Музы, – сколько мне тогда? семь? восемь? Сталин еще жив, помню точно. Брат двоюродный, балбес лет уже под 30 и насмешник, и когда я заметил, что летает, и стал ловить, потому что, если сядет на еду, надо тут же выбросить, а поймал великовозрастный и раздавил прямо в моей тарелке с винегретом, измываясь над гигиеническими правилами нашего дома.

Вот тогда путем шока излечился наконец от мухофобии, а сейчас совсем по другой причине, потому что единственная и преследует лично меня, как императора Веспасиана, или Тита, или Домициана – или Диоклетиана? Нет, это из другой компании, а тот из Флавиев, как и примкнувший к ним Иосиф. Кого именно, не помню точно. А путал все со всем, метафорическое сознание, неуловимое сходство, обрывки знаний, хоть и числился среди литературных собратьев эрудитом и даже снобом, но это не трудно, – клаку с клоакой, кокетку с кокоткой, факира с халифом, Ван Гога с Гогеном, Шумана с Шубертом, Эдипа с Эзопом, мизантропа с филантропом, конъюктивит с промискуитетом, фауну с флорой, водопад с фонтаном, Парфенон с Пантеоном, Палестрину с Палестиной, Барселону с Братиславой, парламентеров с парламентариями, друзов с друидами и даже асфальт с сургучом, а ольху – с орешником, не говоря уже об императорах Калигуле и Каракалле. Божий дар с яичницей, но это о другом. Великий путаник – а это откуда?

Жена ушла вместе с остальным читателем, который не от меня одного, а от всей литературы схлынул, на фига она ему теперь, но все равно лично обидно. На стадионах выступал, писательский билет достаточно было предъявить, чтобы любая пошла, за каждой дыркой не ушивался, выбор был колоссальный, пока Галатею не подцепил, пусть вторичные половые признаки, но мы же цивилизованные люди, черт побери, это и есть наш павлиний хвост, соловьиная песнь и проч. и проч. А теперь что? Мускулатура? Автомат Калашникова? Бабки? В смысле баксы, грины, зеленые, потому что наши не в счет.

А что теперь в счет?

Долларизация секса. Деэротизация человека. Стебаное время. Волчье племя. Собачья жизнь, да и та не задалась. Никчемушник – вот кто я. Литература накрылась, мозга́ не та. Пора уже вырубиться из этой жизни, отвалить к едрене-фене на свалку истории.

На один день пришлось – поэму в «Юности» зарубили и набор книги рассыпали: коммерческой ценности не представляет. Жертвы собственного успеха, потому что первыми на баррикадах

в борьбе за свободу, был Гаврош, а теперь кто? Вернулся в пустой дом, один кот посреди комнаты развалился, лето, жара, кто на даче, а кто в Израиле, оглядел полки с рукописями: по-средневековому скрипторий, а в моем случае – кладбище никому больше не нужных стихов. И сам никому не нужен – жена ушла, читатель бросил, лучший друг предал, хоть никогда другом не был и не предавал, но кислородные пути перекрыл, дышать нечем, за грудь хватаюсь, нитроглицерин не сосу, а глотаю. Лег рано, долго вертелся, черные мысли одолевали, вот и порешил кончать с этой бодягой, тем самым подтвердив свою поэтическую сущность. Хотя кому до этого дело? Устал, слишком долго живу, засиделся в гостях, телефон молчит, дверной тоже, в почтовом ящике пусто – одни счета, которые нечем оплачивать, уже и на плаву не держусь, никогда не служил, жил на стихи и переводы благодаря дружбе народов, а сейчас какая дружба? Разбежались кто куда, а кому некуда – ничтожат друг друга. Весь вопрос – каким способом? Пистолета нет, цианистого калия нет, даже веревки надежной нет, не говоря уж о крюке, а этаж второй, руки-ноги переломаешь и жив останешься – всем на посмешище, а друг-враг будет злорадствовать, хоть и нет ему до тебя никакого дела, что самое обидное: я о нем – днем и ночью, а он обо мне – никогда. Почему я не женщина? Тогда был бы шанс! Однолюб и одноненавистник – вот кто я! Его только и любил, а потому ненавижу – как жаль, что тем, чем стало для меня его существование, не стало мое существованье для него. Дошел до ручки – его словами заговорил, собственных нет, даже мое сокровенное выразил не я, а он. Что делать, что делать. Вот тогда она и появилась.

Свет включил, очки надел – никого. Показалось.

Повернулся на другой бок, чтобы дальше думу черную думать, – на чем остановился? Пытаюсь вспомнить – никак. Завтра додумаю, утро вечера мудренее, да не тут-то было: опять чувствую – не один. Снова включил свет, снова надел очки и притаился: слежу. Вот тут папу и вспомнил. Эта та самая, которую он так и не поймал.

Подошел к окну, раздвинул шторы – август 1993-го, улица Ленина в городе Санкт-Петербурге, который все еще называю Ленинградом, у собратьев темно, что ни говори, прозаикам легче, а мне уже не перестроиться, пытался, но не успеваю, замыслы и мысли устаревают на глазах еще до того, как садишься за машинку, многие компьютер приобрели, только что бы я на нем писал? – назад, к гусиному перу! Может, так и назвать? Ускорение! Когда время несется, как ракета, поэт должен думать медленно, как черепаха. Хоть и неизвестно, как она думает.

Вот она! Сидит на краешке ночной лампы и задними лапками слюдяные крылышки чистит. Маленькая, но такие как раз самые зловредные.

Со сложенной вчетверо газетой подкрался и застыл: на прозрачных крылышках узор, как на листьях, темные глазки в орбитах вращаются, как у стрекозы, а лапками так и сучит. Прицелился для верняка – хлоп! – лампа вдребезги, тьма кромешная, вот черт! Осторожно продвинулся к выключателю, чтобы не порезаться осколками – и минут пятнадцать, наверное, ползал по полу, убирая. А потом опять лег, в комнате такая тьма, что можно спать с открытыми глазами, черные шторы против белых ночей, пытаюсь успокоиться и заснуть, какое там – чувствую, на плече сидит. Или кажется? С головой накрылся, но душно, задыхаюсь, а когда одеяло сбросил, на нос села, не отвязаться. Вспоминаю, среди осколков ее вроде не было, думал, отлетела куда-нибудь в угол и лежит лапками кверху, как в детстве в мухоморе. Снова надеваю очки и иду к выключателю, на все натыкаясь, хорошо хоть, не на стекло. Между рамами мертвые лежали, но считалось, что заснули летаргическим сном, а к весне оживут. Мама, когда газетные полоски отклеивала, сбрасывала их тряпкой на улицу, а папа сердился. «Где мухи?» – спрашивает. «Так они же мертвые…» – «Какие же они мертвые? – возмущается папа. – Это у них зимняя спячка, как у медведей. А потом они проснутся и вернутся домой – мне же их и ловить». А на самом деле рад – что бы он делал в оставшиеся ему годы без охоты на мух? Открытия сезона ждал с предвкушением. Завел специальную тетрадку, где вел подсчеты трофеям. Судя по годовым цифрам, то ли мух становилось все больше и больше в мире, то ли он с каждым годом совершенствовал свое искусство по истреблению мушиного племени, и неизвестно, чего бы достиг, если бы не смерть в больнице Куйбышева от рака двенадцатиперстной. Вот прообраз моей смерти, если бы не сердце и если сам не опережу, потому что передается по наследству, хотя не обязательно.

Порылся глазом по углам, но нигде – а может быть, все-таки убил?

Что ищу – муху или мушиный труп? Надеялся так до смерти и прожить поэтической жизнью, но заарканила судьба, только воспоминания и остались, но и вспомнить как-то не о чем – воспоминания не о бывшем, а о небывшем. Работал, как машина, не человек, а профессия, Галатея права. Все равно, к кому ушла, лучше бы ни к кому, как-то не очень приятно представлять ее с кем-нибудь за этим занятием. Хорошо, до Парижа далеко, хоть и не так, как прежде. Формализм мужской ревности: переживаю из-за физической измены, которой, может быть, и не было, а из-за

душевной, эмоциональной не стал бы. Предпочел, чтобы она в кого-нибудь по-настоящему втрескалась, но чтобы не изменяла физически, пусть даже случайно и единично. А здесь потому и заподозрил, что она вдруг раскусила ремесленную природу моих стихов и что враг-друг в отличие от меня настоящий, – вот зависть и обратилась в ревность. Все-таки вряд ли, хоть он на нее и положил, но он на всех без исключения, любвеобилен тогда был, но его больше охота интересовала, чем добыча, а потому – вряд ли. Как же так, он мне соперник, а я ему нет? Выходит, зря себя мучу, ее измена – игра моего воображения, как и муха, которой нет, а есть только разбитая зазря лампа.

Вот, сидит себе на машинке, которая мне уже не понадобится, а ей зачем? Ну, погоди! Черт, куда это мухобойка запропастилась? А когда под кроватью нашел, муха опять исчезла, и теперь уж не знаю, видел ли на самом деле. В показания собственных чувств не верю. Как отличить сон от яви? Все еще сплю или уже проснулся? Или умер? Муха – это сон или смерть? Или вся моя писательская жизнь была сон, а сейчас проснулся и умер, и ловлю муху? Кто я? Или что я, потому что неизвестно, кто ли я? Что я? Откуда, куда, зачем? Не все ли равно теперь.

Координаты потеряны, выпал из гнезда, затравили-таки хиной, идет война народная, священная война, кто не с нами, тот против нас, долой стыд и литературу с корабля современности на свалку истории.

Хитрая! на сложенную газету села. Как поймать муху, которая сидит на мухобойке?

И почему все должны быть гениями? А Баратынский гений? А Тютчев? А Лермонтов с Некрасовым и Фетом? Установка на гения – смерть поэзии. Вдохновение – это романтическая выдумка, а поэзия – труд литературных чернорабочих, я всегда писал, обложившись книгами, но были и прорывы, лучшие стихи в уборной сочинил – там блокнот в свиной коже на проволоке и авторучка с золотым пером, подарок поклонницы из Саратова, – не полагаясь на память и не дожидаясь вдохновения. Какая там муза – всего сам добился! Не муза, а муха. А эти гады теперь: имитатор, облучился советской славой, деградирует и проч. Прочь отсюда, проклятая! Подкрался – и хлоп, а потом ползаю, ищу, очки слетели с носа, снова нацепил. Вижу, лежит. Или это пятно на полу? Дотронулся пальцем, она и взлетела – в шоке была.

Ночь напролет. Кот, вместо того чтоб помочь, следит с недоумением, обленился, сволочь, и стал, как боров, а теперь сбежать норовит, как Катька-Галатея, чует, что мое время истекло

и по инерции живу.

Поймать, оборвать крылья – и коту на съедение, хоть и не заслужил, мерзавец. Или самому съесть – так надежнее. Сердце щемит, нитроглицерин не помогает, с пола не встать, вот и сплю или умер, подложив руку под голову, с музой в обнимку.

Она же муха.

Так и лежу – мертвее мертвого, а на мне муха. Вот такими и найдут нас спустя дни, недели, месяцы, годы, столетия, как в Помпеях, потому что ангелы отлетели, звонки молчат, литература отменена за ненадобностью.

Живая собака
Пародия-шифровка

Не надо обо мне. Не надо ни о ком.
Заботься о себе, о всаднице матраса.
Я был не лишним ртом, но лишним языком,
подспудным грызуном словарного запаса.
Теперь в твоих глазах амбарного кота,
хранившего зерно от порчи и урона,
читается печаль, дремавшая тогда,
когда за мной гналась секира фараона.

Бродский

Поскольку я завел мобильный телефон, —
Не надо кабеля и проводов не надо, —
Ты позвонить бы мог, прервав загробный сон,
Мне из Венеции, пусть тихо, глуховато —
Ни с чьим не спутаю твой голос: тот же он,

Что был, не правда ли,
горячий голос брата.

Кушнер

Каждый наш приезд в Америку мы переживали, что где-нибудь – в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии – встанет какой-нибудь хмырь и, презрев наш статус прижизненного классика, начнет шпарить вопросы о наших отношениях с тобой, земляком и коллегой, пусть ты опередил нас в земной и посмертной славе, а заодно о наскоках на нас питерца X и ньюйоркца Y. И у нас было несколько домашних заготовок: мол, X, с его регулярными нападками на нас, – это патологический случай, что с него взять, а о Y и говорить нечего, он был заслан в Америку органами для критики академика Сахарова, негодяй, презираемый всеми порядочными людьми.

– Но вы же не академик Сахаров, – возражает нам, положим, вопрошающий. – Почему он критикует ваши стихи и весь стиль вашей жизни, противоположный судьбе поэта-изгнанника?

– Это все легенды. Поэт-изгнанник, как вы говорите, сам рвался из страны, а я решил остаться. У каждого был выбор. Остаться тогда было труднее, чем уехать. Больше того: оставшимся пришлось отдуваться за тех, кто подался за бугор. Не только поэты, все мы остались стражами культуры в крепко зажатой, за железным замком, стране. Если хотите, ночной дозор. Да, ночной дозор. И теперь – снова.

Публика обычно была дисциплинированной, но попадались настырные, тем более укрепленные в своих позициях аргументами петербуржца X и ньюйоркца Y. Скорее всего, они бы и не дошли до этих мыслей сами, если бы не суфлерская подсказка. С другой стороны, статьи и книги X и Y добавляли нам недостающей славы, пусть и неприятно было ходить в литературных козявках, лилипутах, воришках, врунишках, как те нас без зазрения совести обзывали.

Все упиралось в наши отношения с тобой. Ах, почему ты не умер раньше – прежде, чем написал этот свой подлый стих. И почему твое мнение не частное мнение частного человека, что мы и пытались доказать, когда нам пинали этим стихом в морду, но авторитарным, окончательным, абсолютным, отмене не подлежащим?

– История нас рассудит, – говорили мы, имея в виду не только этот стих, но и твою преувеличенную при жизни и post mortem нобелевскую славу. – Ведь если даже взять последний роман Y о нем – ну да, «Post mortem» – это не только панегирик,

вовсе не панегирик.

– Вы присоединяетесь к критике Y?

– Провокационный вопрос. У нас достаточно собственных претензий к его стихам, чтобы не заимствовать аргументы из этой клеветнической книги.

– По-вашему, все книги Владимира Соловьева клеветнические?

– Все.

– Включая его романы, не имеющие отношения к реальности? Типа…

Тут мы не выдерживаем:

– Сколько можно о Соловьеве! Этого человека я вычеркнул из своей жизни еще в 1975 году.

– После того, как он сочинил «Трех евреев»?

– При чем здесь Соловьев! В конце концов, сегодня мой вечер.

Вечер на этот раз будет, к сожалению, не в Манхэттене, как мы надеялись, а в Бруклине, в неведомом нам Kings Bay Y на Ньюсдрандавеню, и народу придет мало – не как в тот раз, когда мы уломали вести наш вечер тогда еще живого тебя, и, покривлявшись для вида, ты согласился, но тогда была еще горшая обида: народ пришел не на нас, а на тебя, и в антракте все тебя окружили, а мы стояли в стороне неприкаянные, а со второго отделения ты и вовсе демонстративно свалил, а потом пришлось через Довлатова выпрашивать твое выступление в письменном виде в качестве предисловия к книжке – ты дал, но в отместку написал тот подлый против нас стих, который теперь цитируют все наши враги. А то, что ты в предисловии сравниваешь нас с Горацием, так это, говорят они, в смысле коллаборации с властями.

Хороша себе коллаборация! А фельетон о нас в «Крокодиле»? А статья против нас в «Правде», пусть это было уже в пору гласности, когда «Правда» свой прежний директивный авторитет утеряла? Мог бы, кстати, по «Голосу» заступиться. Разве мы не хоронили твоего отца?

Разве не посылали тебе с оказией наши книжки, а их у нас, пока ты там прохлаждался и премии получал, вышло с дюжину? Почему же тогда ты сочинил этот гнусный стих и посвятил его нам? Письмо в оазис! Какой там оазис? Как нам приходилось изворачиваться! Но мы не прогнулись. Разве что так, немного, для вида.

Каждый наш приезд в Америку мы ждали подвоха, а потому нападали первыми – на всех троих, хотя о наскоках Топорова Виктора здесь мало кто слышал, зато о наших контроверзах с покойником знали все со слов Соловьева Владимира. В этот раз

случилось досадное недоразумение – в электронной и бумажной рекламе мы были указаны как редактор в 60-х подпольного диссидентского самиздатного журнала «Синтаксис», чего никогда не было и быть не могло при нашей лояльности властям и благополучной советской судьбе, но исправлять было поздно, и организаторша сказала, что так придет больше народу. А народу все равно придет мало, и первым вопросом будет, как он решился пойти на такой риск и издавать антисоветский журнал?

С самого начала казус. Что нам остается?

– Ошибка, – честно скажем мы. – Мы никогда не были редактором «Синтаксиса», хотя с властями не всегда в ладах. То есть власти с нами. Но политической деятельностью не занимались. Поэзия и политика – никакой связи.

Ползáла будет разочаровано нашим неучастием в выпуске «Синтаксиса», зато другая, которая и так знала про это, вздохнет с облегчением.

– Ну уж никакой? – раздастся голос. – А политические стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Мандельштам, Бродского?

– Это далеко не лучшие у них стихи. У того же Пушкина – верноподданнические. «Стансы» и «Клеветникам России».

– А мандельштамовское о Сталине?

– Не сравнить с высшими достижениями его лирики, хотя он самый советский из больших русских поэтов. Сам так считал.

– А как вы относитесь к политической лирике Бродского?

Господи, как мы устали! Нам к 80, дожить бы до юбилея! жизнь прожита, все в прошлом, почему не дают спокойно почивать на лаврах?

Разве мы не заслужили лавров? А почему не дать нам Нобеля и выровнять ситуацию? Сколько лет прошло с тех пор, как ты получил – и ни одного больше русского! Тем более еврея – среди лауреатов большой процент евреев, не все еще потеряно. Там у них в Стокгольме любят тихонь, мало кому международно-известных – как мы, например. Сколько нобелек схапали ныне безвестные писатели – немерено! Пусть потом забудут: какое нам дело до посмертной славы – нам бы при жизни.

Здесь, а не там. А вместо этого там и здесь – подъеб и подъебки.

Сколько было страхов, когда мы узнали об этих злосчастных «Трех евреях», но потом мелькнула надежда, что его никто не напечатает, а когда напечатали за бугром, – что не напечатают в России, а когда напечатали в России, – что удастся замолчать, и «Евреи» пройдут незамеченными. Да, мы здесь сходились с гэбухой, которую этот дурак, размахивая словом, как копьем,

задел не меньше, чем нас, и многих других тоже, нажив себе смертельных врагов несть им числа. Еще до выхода «Евреев» мы бросились в контратаку, приписав тебе хулу их автору, хотя к тому времени ты скончался, пусть и успел написать свой клятый стих, но опровергнуть будто бы сказанные тобой слова о Соловьеве – слабо. Еще ни один мертвец не вступал в диалог с живыми, им там не до того, у них, наверно, свои разборки, почище наших. Или ни до чего, а так мог бы опровергнуть собственный пасквильный стишок и написать оттуда публичную защиту от наших здешних супостатов.

А что? Почему нет? Это мысль. Не ты с нами, так мы с тобой – по мобильнику на тот свет. Чем не стихотворный сюжет? Ведь был друг, хоть и враг, даже брат, что брат? сорок тысяч братьев, спасибо принцу Датскому: есть шанс с того света восстановить нашу репутацию на этом, коли сам же обосрал и дал оружие врагам.

Как и что сказать тебе – знаем, а что скажешь ты нам в ответ из Сан-Микеле? Плюнь, скажешь, на этих мудаков, забей на всех, а лучше приляг, как я, но не навсегда, а так, на несколько мгновений. Умри, как никто не умирал, – понарошку, вот тогда вся эта возня и прекратится, к нам придет посмертная слава, а мы – живы-живехоньки! Посмертная слава при жизни, но тонко, без нажима, ненавязчиво, чтобы не мы сказали, а читатель сам додумал. Ведь спекуляция на смерти – разве это по-честному? Смерть – условность. Если бы, скажем, мы умерли, то вся посмертная слава нам, а не тебе, и кто знает – ничуть не меньше, наверное. Ах да, эта проклятая нобелька, ее как раз при жизни присуждают. Вот я и говорю: умереть понарошку, собрав со смерти процент, а потом воскреснуть как ни в чем не бывало и – нобельку. Почему все тебе: суд, ссылка, эмиграция, нобелька, слава, смерть?

Когда ты умер, мы всех опередили с мемуаром – все объяснили, расставили по местам, гнусный этот стих отнесли к литературной полемике, как твой ответ на наше замечание по твоей поэтике, нейтрализовали «Трех евреев» твоими словами, а говорил – не говорил, теперь не проверишь. Ну, не говорил, но мог говорить, стенограммы не вели, магнитофон в кармане не прятали. Зачем ты сочинил этот ругачий стих, повторив в рифму то, что Соловьев сказал в прозе? Зачем все испоганил?

Да, при жизни мы с тобой были не в ладах. Но разве мы виноваты, что у нас разные пути-дорожки: наши стихи печатали, а твои нет? Да будь наша воля, все твои стихи пропустили бы сквозь печатный станок. С редактурой, конечно, на которую ты не шел, ссорясь без нужды с редакциями? А нам, думаешь, не

приходилось исправлять слова, строки, строфы? Иногда специально писали два-три патриотических стиха, чтобы прошел весь сборник.

Тебя раздражало, что мы ориентируемся на здесь, а нас бесило, что ты весь уже там, иностранцы в твоей комнате, как в караван-сарае, книга стихов в Нью-Йорке, потусторонняя, считай, слава. Что ты хочешь? Вот мы и поделили: я – здесь, ты – там. Но потом гласность и перестройка, распад Союза, все смешалось в доме Облонских, к нам хлынули оттуда ваши романы и вирши, твои включая, а здешние обесценились, в том числе наши. Ты и представить не можешь, что мы – и мы в частности – здесь пережили, пока ты там лекции читал и премии получал. Но если бы не эта треклятая нобелька, фиг бы ты получил у нас в отечестве, которое обозвал «отечеством белых головок», такую умопомрачительную, всем нам на зависть славу, а ходил бы в одном ряду маргиналов-эмигре, как тот же Коржавин.

А чем ты лучше?

У нас тут свои премии – и мы их все получили: пушкинскую, лермонтовскую, тютческую, ахматовскую, мандельштамовскую, ельцинскую (государственную). Из поэтов – первый, остальные – померли. А все равно раздражают юбилеи, и еще больше – некрологи: каков будет наш, если, скажем, наше 75-летие праздновали куда более скромно, чем недавнее 60-летие москвича-прозаика? В городах дело, хоть и говорят о двух русских столицах, но Питер так и остался столицей русской провинции, пусть от нас потоком идут все кремлевские кадры во главе с самим, мы с ним по корешам. И мы сильны Питером, а в Москве бы затерялись – выбор был верный, хотя особого не было, разве что жениться на москвичке. А у тебя международная слава, но лучше быть живой собакой, чем мертвым львом.

Слава как дым, а история расставит все по своим местам. В следующий раз лавровый венок будет на нас и, кто знает, может, и нобельку схлопочем, хотя мало осталось времени, но они там в Стокгольме любят скромных таких старичков-провинциалов-евреев. Подходим по всем статьям. Рано или поздно получим. Если смерть не обгонит.

А почему «мы», догадываешься? По скромности. Я – это ячество, эготизм, эгоцентризм, противопоставление себя другим. Пусть так: романтизм. В твоем духе. Романтический конфликт индивидуума с коллективом, с обществом, с государством. «Я» – это ты. А «мы» – это мы. Как все. Как наши читатели. Какие есть. Да, совки. В эти почти 80 лет мы прошли со страной один путь, а начался он еще до нашего рождения, с революции, с Гражданской, с первых пятилеток, с Отечественной – а не Второй

мировой! Одна общая судьба, пусть и живой классик. Мы – это собрание судеб, сначала советских, потом российских. В чем отличие уехавших от оставшихся? Зато один язык, как прежде – одна судьба. Мы будем читать стихи, как будто вы никуда не уезжали, и ваш американский опыт – не в счет. Почему вы и пришли сюда – чтобы встретиться с прежним опытом, который у вас искусственно прерван, а у нас – един. Как ни высокопарно: на встречу с родиной. Этимологически родина может быть только одна: где человек родился. Родина – это мы. Потому и мы.

Вот мы подходим к микрофону – хоть зал мал, но голос тих, вынимаем из портфеля листки и читаем. А начинаем с посвященного тебе стиха – что ждем звонка из Сан-Микеле, Венеции. В любую минуту.

От брата. И кладем мобильник на стол: чтобы не пропустить. Сколько осталось ждать: звонка, премии, признания, вопросов, которых, может, и не будет и всё пройдет без сучка и задоринки. Они заплатили за входной билет свои восемь долларов не для того, чтобы портить себе и нам настроение. Ты – это ты, мы – это мы. В нашем голосе слезы жалости и умиления. К тебе, к нам, к вам – все равно к кому.

Классный стих.

Аплодисменты.

Елена Клепикова. Возвращение к Бродскому
Штрихи к портрету

Гамбургский счет

Нынче до Бродского не дотянуться, не протолкаться, не докопаться – именно! Нужен уже не острый критик, нужен археолог, чтобы добраться – сквозь мемориальные мусорные пласты – до «культурного слоя», где жил и писал стишки еще не осиянный, не раскумиренный в хвост и в гриву, а просто замечательный поэт Иосиф Бродский. Животрепещущий! Не озабоченный ни славой, ни даже – судьбой своих стихов, озабоченный прежде всего активным стихописательством.

Только сейчас, думая о Бродском, я впервые уяснила провидческую заповедь Пастернака, которую считала простоватой, едва не примитивной, – что поэт «…должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца». Задолго до конца Бродский, сознательно и целеустремленно отступившись «от лица», эту свою гениально животворную силу частично, а то и напрочь утратил.

Трудоемко домогался мировой славы, творил свой миф, канонизировался в классики, представительствовал – по собственному почину – за всю мировую поэзию. Все это немного мертвовато, а то и немало официозно – что ленинградский Бродский на дух не переносил! И как-то жутко – могилой веет, какая там пастернаковская яркая живизна – от личных признаний Иосифа, что ощутимо «бронзовеет», чувствует мрамор в жилах, «утрачивает масштаб человека» – до сверхчеловека? поэзосупермена? небожителя? Если честно, то это все какоето высокопарное фуфло – никто из современных, по крайней мере, «великих» при жизни, в житейском обыденном ощущении, за человеческие пределы не заходил.

Это я к тому, что нынешняя когорта его фанатов, культистов, идолопоклонников отчасти вызвана на свет и муштрована им самим. Бродский превращен в китч, но – в высоком регистре. А это уже фарс, несусветная патетическая лажа (любимый негативник молодого Бродского). Питерская журналистка благоговейно созерцает, не смея тронуть, его пишущую машинку – «ту, на которой печатались шедевры». Отлично помню, как Ося издевался над самонадеянными шедевристами, которые пишут «для вечности». Школьный товарищ на предложение повспоминать об однокласснике восклицает в священном ужасе: «Кто я такой, чтоб меряться с Бродским!» О Пушкине – Толстом – Достоевском вспоминали кому не лень, о великом Бродском – не смеют! За всем этим мемориальным бесовством, которое сочла глумлением над любимым поэтом, стала я потихоньку забывать ленинградского Бродского.

Вдруг – вижу Осю, слышу Осю, продолжаю затеянный 40 лет назад с ним разговор.

Что за чертовщина!

Это я нарвалась, рыская по Интернету, на «неизвестное интервью» с Иосифом Бродским, который тогда, в раннем июне 1972-го, выпертый из Союза, прилетел в Вену – в тоске, тревоге, в эмоциональном раздрызге – и, судя по бурному потоку красноречия, залившего это «неизвестное интервью», был просто счастлив обговорить с двумя венскими славистами состояние русской словесности 60—70-х. Чудо что за разговор они тогда вели! – вел единолично и авторитарно Бродский, а те двое только поеживались и скучнели, с трудом отслеживая, как их залетный гость экспертно браковал всю подряд отечественную поэзию – равно официальную и не-, соцреализм и авангардизм, от знаменитых шестидесятников до – теперь уже тройки «ахматовских сирот» и ленинградского авангарда тех лет. Никого не пощадил, даже своих, когда-то близких, созвучных – Уфлянда,

Евгения Рейна, Наймана с Бобышевым – всех пустил под откос. Творил свой суд своекорыстно и беспристрастно, по гамбургскому счету, и, как оказалось – на диво прозорливо.

Я и не ведала, что ленинградский Бродский, которого неплохо знала, владел таким ослепительным критическим инструментарием, так глубоко врубался в научные дебри психологии творчества. Расправляясь с соперниками – вся тогдашняя на родине поэтическая рать – Иосиф, ясное дело, расчищал себе путь на Запад – как единственный достойный вестник от русской литературы. В этом не было ни позы, ни фразы, ни расчета. И мог ли он знать, что на свободе, в неподцензурной Вене это его блистательное, откровенное, обширное интервью будет подвергнуто доморощенной цензуре двух австрийских либеральных прогрессистов и утаено от гласности на 42 года и опубликовано только после их смерти? Факт.

Укорочусь. Невозможно забыть человека, само присутствие которого в одном с тобой пространстве и времени чудно напрягает и цветит жизнь. Толкнувшись от венского утаенного интервью, за которым зримо маячил и так знакомо – дидактически – вещал несомненно живой 32-летний Бродский, память моя заработала не на шутку, подставляя эпизод за эпизодом, картинки, какие-то сценки, обрывки разговоров, куски, фрагменты из жизни ленинградского нашего друга. Еще, слава Богу, не корифея, не классика, не мэтра, не бронзовеющего в собственном величии истукана с нимбом… Прежде всего это был «абсолютно одержимый кропанием стишков», с эманацией гения и культом мастерства, уникальный, ни на кого не похожий – поэт. И личность была под стать его дару – прельстительная.

Питерского Бродского я помню хорошо. Мне есть что о нем сказать. Добавить в сборный портрет, созданный другими – имя им легион – вспоминальщиками. У меня перед ними преимущество – во времени. Мои заметки – самые поздние. И я вижу пропуски, опуски, пробелы и лакуны – микроскопические, но заметные, которые я бы могла заполнить – не в парадном биопортрете Бродского, а в моментальных любительских снимках с него. Штрихи к портрету.

Я всегда, с первой встречи с Бродским, и всюду – в Ленинграде и в Нью-Йорке – звала его Осей. Пусть будет Осей и в этих записках.

Тот давний разговор с Осей, почудившийся мне за его, записанной на магнитофоне, беседой с австрийской четой, имел место быть – всего на несколько дней раньше. Не в Вене, а в Питере. Последняя наша с ним встреча в стране, которой больше

нет на карте мира: СССР.

Как и города, в котором мы жили: Ленинград.

Плачущий Бродский

Да, 2 июня 1972-го. Мы с Володей только что вернулись из скоростной союзписательской поездки по Финляндии – Швеции. Впервые побывали за границей, на вожделенном Западе. Глотнули неразбавленной, как озон, свободы. Обалденно. Райские, признаться, ощущения. Доделываем срочно брошенные на одиннадцать дней дела. Звонит телефон. Ося Бродский – попрощаться, 4-го улетает в Вену. Как обухом. Еле трубку удержала. Знала, прекрасно знала, что его турнули из страны, но просчиталась в сроках. «Ося, пожалуйста, мы к вам едем» – «Ничего не имею против».

И вот мы в его заветной «берлоге». Уясняем – последний раз. как-то провели здесь целую, до рассвета и первых троллейбусов, ночь. Ося нехорош. Угнетенный, растерянный. Напрочь уперт в трагедию. С кривой улыбочкой показывает обмененные ему доллары. Тут же – популярный набор фотографий цветов и растений России. Предъявляет стопку книг, которые берет на чужбину, – все о старом Петербурге:

Лукомский, Анциферов. Читанные-зачитанные. Поглаживает обложку «Души Петербурга». Еще не уехал, а уже ностальгирует.

Мы с ходу, наперебой: Ося, не бойтесь, не страдайте так, все будет хорошо, будет просто замечательно – и впариваем ему наши идиотские восторги от заграницы.

К слову: поездка и в самом деле была сказочная. С нами там случались – что ни день – чудеса. Деньги ихние, похожие на цветные картинки, сыпались с какой-то замшелой стены. И – прочая легкомысленная восторженная дребедень. Ося слушал внимательно и, как ни странно, с личным интересом.

Что-то спрашивал, вникал сочувственно и на полном серьезе. До меня дошло невероятное. Мы – считавшие его знатоком западного мира, записным американофилом, в приятельстве с массой иностранцев и пр. – были для него единственными достоверными вестниками «оттуда». Куда он, как оказалось, вовсе не собирался, тем более безвозвратно:

– Нет-нет-нет! Не было такого позыва, такого соблазна. Мысли не допускал. Наоборот, совсем наоборот. Задумывал поплотнее, ну – понаглее, что ли, т. е. нажимая на свои липовые права, – осесть в отечестве. Этот год был для меня самый лучший, самый лучший. Стихи писались изумительно, с Нового года и далее – безостановочно. Подумал даже, что такая хорошая

инерция пошла – удачи, успеха, толковости… ну не инерция, ненавижу всякую инерцию в работе, а такой импульс зрелости, когда уверен, что выйдет хорошо, выйдет отлично, на все сто.

О стихах, вестимо. У меня были планы на этот год, на следующий.

Дальше никогда не заглядываю.

(По сути верно, по словесному облеку – процентов на семьдесят.)

Резко оборвал меня, спросившую, где он там, на Западе, собирался приземлиться:

– Откуда я знаю! Разве в этом дело? Главное – не куда, а откуда!

Как же, говорю, полонез Огинского «Прощание с Родиной». Только тогда Ося заржал. Не в родине тут было дело. О самом главном, что поедом ело его – что стишки лишатся ежедневной подпитки родной речью, о страхе потерять русский язык, – не говорили.

Уезжал он – в никуда, неизвестно к кому и зачем. Вену изобразил, кривляясь, дирижером с палочкой над вальсами Штрауса. «Но и ваш любимый Моцарт там же». – «Знаю, знаю – ну и что?» Трудно было его раскрутить – в таком пребывал напряге. Как могли, любыми дешевыми штуками, мы его утешали. Отвлекали, снижали на тормозах его неописуемую трагедию. Так протрепались, с бурными интермедиями – Ося, понятно, не мог сидеть на месте, – часа три, а то и больше.

Удивляло – за все это время ни гостя, ни телефонного звонка.

Ближе к концу сказал, с нажимом, что написал письмо к генсеку.

Показал и дал прочесть. Машинопись, адресат помнится так – Кремль.

Л.И. Брежневу. Пока – без подписи. Сам текст – вполне цивильное, без проклятий, но с укором и загадочное – ввиду адресата – моралите на тему «сам живи и дай жить другим».

Тут я – каюсь – и ввернула, не подумав:

– Это, Ося, на деревню дедушке – ни до Кремля, ни до Брежнева не дойдет.

Не поняла, что письмо – открытое, широковещательное – всем, всем, всем, urbi et orbi. Что таким – историческим и патетическим – жестом Бродский предваряет свою заграничную судьбу. Умно и дальновидно рассчитывает будущее. А у меня – страсть сводить на землю любую высокопарность. Ну не дошло до меня.

Пауза. Ожидали взрыва. Но Ося так смутился – будто ушатом холодной воды. И тут же убрал листок.

Когда позднее, по «вражьим голосам», это его открытое письмо Брежневу подавалось как спонтанный отчаянный жест поэтаизгнанника в момент изгнания из страны – т. е. 4 июня, мы с Володей посмеивались – читали письмо днями раньше.

Ося долго не отпускал нас. Ему было не напрощаться. Не с нами лично – и навсегда. Ужасно не хотел остаться наедине с собой, в кромешном одиночестве.

Прощались много раз – в его закутке, в узейшем коридоре, на лестничной площадке. Наконец Володя протянул ему, окончательно прощаясь, руку. Ося маячил какой-то весь смятенный. Я рванулась и обняла его. Он ответно приник и уткнулся мне в волосы. Когда я попыталась отстраниться, Ося попридержал меня, справляясь со слезами.

Всхлипнул, как бы закашлялся и отскочил в сторону, вытирая пальцами глаза. А говорил, что никогда не плачет.

Плачущий Бродский – зрелище не из легких.

Летний сад: рвануть по газонам!

От последней, в Ленинграде, встречи с Бродским перехожу к самой ранней, детской, случайной и персонально не осознанной. Незабываемой, однако, до сих пор.

Но сначала – ключ к разгадке предлагаемого читателю пазла из био Бродского. Все его родственники – исключительно с материнской стороны (мать в девичестве – Мария Моисеевна Вольперт): разветвленный, но и семейственно тесный клан Вольпертов. От отца, Бродского, – никакой родни.

Итак, мне – десять лет, на дворе, стало быть, 1952-й. Холодный, как часто тогда, помнится, со сквозным ветром и еще мелколистый по садам и скверам май месяц.

Моя соседка по коммунальной квартире – Лялька (Лариса), на четыре года старше, берет меня с собой в путешествие – на троллейбусе в неблизкий Летний сад. Лялька уже давно, по настоянию родителей, да и по личной доброте и воспитательской страсти, опекает меня, девочку из неблагополучной семьи. И мне не впервой ездить с ней по городу, в музеи и даже – в Александринку, где служит Лялькина мама – актриса Анна Григорьевна Лисянская.

Лялька принадлежит – не прямым родством, но приемным, – к разнопоколенному семейству Вольпертов, разместившихся «по-царски» (незло комментируют соседи) на всей парадной стороне нашей коммуналки – три громадные комнаты, с балконом, с высокими – на Московский проспект – дворцовыми окнами (дом старинный, в классическом стиле, памятник архитектуры). Остается добавить, что на Ляльке лежала повинность принимать и развлекать дома и навещать по разным адресам младших отпрысков разветвленного семейства Вольпертов.

Вот мы идем к Летнему саду, подобрав по пути – и к большому моему неудовольствию (испорчена прогулка!) – мальчишку постарше меня – предположительно, из опекаемых Лялькой родственников. Пацана в лицо не помню, но оценила – в защитных целях – молниеносно: не из дворовых хулиганов, одет прилично, чисто, мамин-папин сыночек, не будет бузить, драться и задаваться. Мальчишка был хмур, дулся, все еще злился, что вытащен насильно на прогулку под присмотром.

Воспитанная Лялька нас представила: Ося – Лёлька. Никакой реакции с обеих сторон. Меня этот Ося полностью игнорировал – как ничтожную презренную малявку.

Они впереди, я плетусь сзади. Ося не может идти по прямой – дергается, кривляется, забегает вперед, хихикает, когда Лялька

взывает к дисциплине. Хуже того – перебегает, не глядя, улицу. Этак мы и до сада не дотащимся.

Но Лялька, с задатками наставника, знает, как осадить неуемного мальчишку. Хлопает в ладоши, призывая к вниманию: «Ося, Лёлька, как интересно – вы оба картавите. Но кто из вас картавит лучше?»

Мальчишка так и обомлел, залился краской (отлично помню) – видно, стыдился своей картавости, наверное, в школе задразнили. Как и меня – пока соседка-артистка Лисянская (тетя Аня) не убедила, что я не картавлю, а замечательно – артистически – грассирую, как истый француз, и это дар, а не дефект и стыд, как считали в школе. И что у них в театре в каких-то пьесах артистам требовалось картавить, а – никак.

Приходилось «играть в картавость», а это – ой как трудно без фальши!

Короче, мальчишка был мгновенно усмирен, получил разъснения, усвоил правила, вошел в азарт (узнав, что я – рекордсмен по грассированию). Мы отошли в сторонку, и тут же, на улице, состязанье в наилучшую картавость состоялось. Ося был первым и сразу слинял: как-то мутно, невнятно прокартавил «Карла и Клару» и срезался на действительно трудной, требующей волевого усилия, а на вид – простейшей скороговорке «На дворе трава, на траве дрова». Он не грассировал, он просто картавил – заурядно и тускло, не раскатывая звонкую «р».

Зато какое яркое, раскатистое тройное «р» выдала я! Как артистически, как победительно грассировала! Мальчишка с его гонором был посрамлен, разбит в пух и прах. До сих пор у меня, давно не картавившей, застрял в горле этот щекочущий торжествующий рокот.

Мы входили в Летний сад. Помню сквозные, гудящие от ветра аллеи. Присыпанные шлаком лужи. Хруст мелкого камня под ногами.

Ничего интересного. Мы все продрогли под этим ветром. Солнце не грело совсем. Белые дощечки, воткнутые прямо в дерн, «По газонам не ходить!»

Тут все и началось. Мальчишка, не говоря ни слова, врезался в запрещенный газон и помчался по нему, отмахнув нам – а ну, за мной! – и мы побежали! По сырой, еще не просохшей, по жирной и чавкающей земле, облепляющей ноги, – задыхаясь, чертыхаясь, припадая к грязи, – но упорно, как заводные, бежали вслед за мальчишкой. В спину неслись свистки – непрерывно, чудились крики, угрозы, топот преследования. Помню горючую смесь ощущений – страх и восторг, ужас и ликование. Лялька кричала:

– Оська, остановись! Слышишь, о-ста-но-вись!

Куда там! Оська, продравшись сквозь кусты, ринулся, через другие кусты, к следующему газону. И мы – за ним! Свистят, кричат, гонятся за нами.

Отмахав беспамятно полсада, вылетели на набережную, направо и в какой-то спасительный проулок. Лялька бесилась:

– Ненормальный – дурак – идиот!

Мальчишка смеялся и кривлялся. Кажется, Лялька обещала родителям не говорить. Довели до дома или сам дошел – не помню.

Долго еще – только взойду в Летний сад – вспоминала тот сумасшедший пробег по газонам. А потом – забыла.

Со второй-третьей встречи с Бродским вспомнила: «Вы случайно не тот Ося..?» Усвоив подробности, Ося расплылся в улыбке (опускаю лирическую часть):

– Хулиганом не был. Был, как бы поточнее – отчаянный. Бунтовал.

Против школы, против отца, против всех запретов и правил. Такой бунтарский период, да? – нарывался, дико рисковал, а степень риска не схватывал… по малолетству. Думаете, только тогда, с вами, я в Летнем саду буйствовал? Как бы не так! – и до и после. Прогуливал школу, летел в Летний сад и – нарывался. Разработана была такая боевая, что ли, операция под кодовым названием… вроде «рвануть по газонам» или «протаранить Летний сад». Сторожа меня уже в лицо знали. Разве не смешно! Гуляю прилично с отцом в воскресенье – чин-чином, статуи, боскеты, а охрана на меня с подозрением косится. Приглядываются. Ну и завязал. Испугался, наконец.

Не люблю вспоминать себя тогдашнего. От одиннадцати до четырнадцати, да? Я с собой не слаживал, я сам себя не сознавал, не понимал себя, не воспринимал как личность, как отдельную личность. Ужасно!

Я просто не знал, кто во мне живет, чего он хочет, что еще может выкинуть. Трудно было жить с собой, очень трудно – мучительно!

Все это, конечно, приблизительно я излагаю. Очень важные, центровые Осины мысли. А вот – дословно.

Не удержалась, напомнила, как переплюнула его в картавом состязании – на подходе к Летнему саду. Ося – задиристо – мне:

– Но вы не картавите.

– Сейчас – нет, школьный логопед исправил.

– А я до сих пор прекрасно грассирую.

– И вовсе не грассируете, а заурядно, вульгарно картавите.

– Нет – грассирую, грассирую, грассирую – слышите? Я – француз, француз, француз! А не какой-то там душный еврей!

Держал за факт, что картавят евреи – такая родовая, племенная отличительная их черта.

И – взрывная волна чудовищной картавой какофонии! Мне кажется, что Бродский, с его победительным – всех и во всем – импульсом, так и не простил мне того давнего, детского картавого – над ним – превосходства.

Он носил меня на руках

Действительно носил, и дорого же мне обошлось это его не прошенное галантное рыцарство!

Но сначала – о наших с Володей совместных днях рождения. Нас угораздило родиться в один год и месяц, с разницей в пять дней. И мы устраивали день рождения между 20 и 25 февраля, чтобы званый день пришелся на субботу. Каждый год – новый срок, что смущало и сбивало с толку наших друзей, не знающих, когда нас поздравить и когда пожаловать в гости.

> Куда те дни девались, ныне
> Никто не ведает – тире —
> у вас самих их нет в помине
> и у друзей в календаре,

– напишет Бродский в посвященном нам стихотворении.

Обычно к нам заваливалась, тесня литературных людей, хохочущая, искрометная – в шутках, анекдотах, импровизациях, комических сценках – театральная молодежь (Володя работал завлитом в ТЮЗ'е), и день рождения превращался в дурашливое, потешное, ликующее смехачество.

В 68-м круто изменилось. Вместо артистической жизнебуйственной гульбы – театр одного актера. Ося Бродский напросился к нам на день рождения. Именно напросился. Нам бы в голову не пришло позвать его, практикующего тогда высокий стиль в обиходе, на наш развеселый сабантуй. К тому же, мы встречались с ним на днях рождения общих друзей – вроде бы эта струна в наших отношениях уже прозвучала.

Оказалось, Ося, прознав о наших многолюдных сборищах от Яши Гордина, позвонил Володе и пожелал присутствовать.

Мы были польщены, хотя прекрасно понимали – Бродский ищет, чисто животным чутьем, новую аудиторию для своих стихов. Он был непечатный поэт, по жизни, в обществе – изгой и отщепенец, но обречь свои стихи на изгойскую тупиковую участь не соглашался никак.

Всюду, где только мог, по квартирам, по телефону, при любом стечении публики он читал стишата. Его не печатают – так он сам добывал себе читателя в виде слушателя, как сам, при крутейшем зажиме, брал себе свободу и писал стихи как хотел, безоглядно и вдохновенно.

И Бродский зачастил к нам – четыре года подряд, на пятый – в 72-м – не смог, отделался подарочным стишком.

Отныне наши деньрожденческие вечера разыгрывались по единому сценарию. Бродский всегда запаздывал. Собиралось общество. Народ самый разный – тут и основное ядро литераторов-друзей, которые знали Осю, и Ося знал их, и пестрая, постоянно меняющаяся публика – артисты, художники, режиссеры и всякий пришлый интересный народ. Знакомились, оседали за столом, оценивали еду-питье.

И тут – телефонный звонок. Ося извиняется за опоздание, просит сообщить адрес, который прекрасно знает – много раз бывал у нас по самым разным своим надобностям. Но ему важно было возвысить себя – за счет хозяина дома как случайного незнакомца. Да просто набивал себе цену – чтоб ждали. И Володя с досадой, в любознательной тишине, диктует, как к нам проехать. Такими риторическими приемами – опозданием, ожиданием, внезапностью – Бродский разогревал, возбуждал, морочил публику – перед выступлением.

Вот он появляется – с улыбочками, с ужимками, извиняется прилюдно, что без подарка, хотя и так всем ясно, что самый ценный, ну просто драгоценный подарок – он сам. Скромно подсаживается к столу – ему уже заготовлено «ораторское» место, интуитивно схватывает общий – к нему – настрой: дружественный, ласковый, почти любовный. Много говорит, мало ест, совсем не пьет.

Мне слово. Согласно неписаному – а впрочем, самим Осей подсказанному, скорее все-таки внушенному, – сценарию.

Прошу почитать стихи. И Ося, поломавшись немного, с третьегочетвертого захода, милостиво соглашается.

Встаёт. Начинает спокойно, но вот – от строки к строке – распаляется, разгоняя в себе вдохновение, и уже пошло-поехало – по нарастающей – это его коронное, хватающее за душу, отчаянное вопление – до крика, до исступления. Выкладывался на всю катушку. Дико нервничал, сильно потел. Помню подмышечные полукружья на его светлой рубашке. Происходил мощный выброс несомненно творческой энергии.

Читая на публику, да еще так импульсивно-интенсивно-запальчиво читая, Бродский неизменно пропускал, сглатывал слова, строки – не потому, что забыл, а – бракуя себя, на ходу

исправляя. Прилюдные его декламации были не совсем альтруистичны. Была потребность «проветрить» новый стих. Не дать застояться, закоснеть, свернуться улиткой. Голосом он устраивал своим стихам генеральную репе тицию – перед тем, как пустить их в свет: в самиздат, а потом и в тамизда т.

У нас неизменно принимали Бродского на ура. С восторгом, с изумлением, с литаврами. Понятно, другим поэтам, бывавшим у нас, его блистательный триумф был не в радость. Никто из них – при нем – не решался выступить с чтением стихов. Тогда как без него – решались. За одним, правда, исключением. Когда прибыл из столицы Женя Евтушенко, и мы пригласили на него Кушнера и Бродского – и состоялся тот удивительный турнир поэтов.

Обычно Ося, по собственному почину, читал пару-тройку новых стишат. Не все его стихи проходили потом визуальную проверку – чтение на глаз. Но когда читал – не замечалось, все насквозь гениально.

Потом публика, в ажиотаже и наглея, требовала еще стихов. Даже заказывали на свой выбор. И Бродский – все в том же беспощадном, все силы и нервы выматывающем, ритме – читал до изнеможения. Бывало, что и целый час. Безостановочно.

Водилось за ним свойство – восстанавливаться – из полного упадка – буквально за минуты. Вот он валится, вусмерть измотанный, на свое «ораторское» место – в любовь-заботу-ласку благодарной, виноватой, пылко раскаянной публики. Усталости как не бывало! Снова – в ударе, в своем обычном напряге, свежий и крепкий – оживотворенный! Остаток вечера проходил «под знаком» Бродского – как бы в непрерывных отблесках, эманации его притягательной, да что там – обворожительной! – личности. Всегда сидел до конца, уходил со всеми.

Наши дни рождения обращались в поэзовечера, или, если Ося был в особенном ударе, в поэзоконцерты. Если раньше наши гости приходили все-таки «на нас», то в изображаемое время – «на Бродского», оттесняя виновников торжества на задний план, что ни Володе, ни мне было не в обиду. Доходило до смешного – малознакомые, а то и вовсе незнакомые набивались, навязывались в гости, чтоб только повидать и послушать недоступного, непечатного, опального Бродского. Если ему тогда требовались поклонники, приверженцы, да просто свежий внимающий – не обязательно понимающий – слушатель, у нас он их находил сполна. Полюбил к нам ходить. Называл наш дом – «литературный оазис в ленинградской пустыне».

В 72-м наблюдалось у нас, на дне рождения, особенное многолюдство. Человек 30 – самого пестрого разбора. Бродский позвонил, как всегда, в последний момент – когда расселись за

столом и пошли первые тосты. Извинился – прийти не сможет. «Нагрянули иностранцы – не вырваться». Мог бы, конечно, оповестить заранее. Без театральных штук. Как ни странно, сорвать нам вечер ему не удалось.

Один из самых лучших, удавшихся дней рождения.

А свой подарок – стихотворение – Ося вручил мне лично. Заскочил в «Аврору», в мой отдел прозы, сел напротив (начальство, как всегда, отсутствовало), попросил бумаги и быстренько сотворил стишок.

Вот этот – «Позвольте, Клепикова Лена, пред Вами преклонить колена…» То ли экспромтом, то ли сочинил заранее и держал в голове.

А на руках Бродский носил меня в один из наших дней рождения, где он читал стихи. То ли в 70-м, а может – в 71-м.

Ося мощно наступал на аудиторию, захватывая ее. Застольный сосед, бывший мой учитель литературы, напросившийся на Бродского, реагировал своеобразно – от смущения, от волнения то и дело наполнял стакан почему-то мне, а не себе. И, впервые в жизни, я – вырубилась. Дальнейшее – со слов очевидцев. Ося первый спохватился. «Где Лена?» Нашли меня без проблесков сознания прильнувшую к боковине нашей диковинной, из XIX века, медной ванны. Ося немедленно предложил вывести на свежий воздух. Оделись, тщательно – под наблюдением Бродского – закутали меня и сволокли с последнего четвертого этажа на улицу, в мороз и снег. Здесь Ося, опять же со знанием дела, стал приводить меня в чувство – растирал лицо снегом, уговаривал глотнуть горстку снега, экспертно налаживал глубокое дыхание. Все впустую. Сопровождение, включая мужа, возроптало. Надоело возиться со мной. Да и февральский мороз кусался. Невдалеке, на снегу, маячили две черные фигуры – закоченевшие топтуны, кагэбэшная свита Бродского. И Ося, сострадая, предложил вынести им по стаканчику – «замерзнут насмерть, и будет на моей совести».

Предполагалось: как, совместными усилиями, сволокли по лестнице вниз, так и – поднатужившись – купно втащить наверх. Но Ося растолкал всех и, взгромоздив на руки, понес меня (в пудовой зимней оснастке) по нашей крутейшей лестнице и без передыха на высоченный четвертый этаж и (как говорят) с видом победителя в атлетическом состязании, внес в дом, в комнату, на кровать – только тогда остановился. И как ни в чем не бывало – сходу вошел в развеселое застолье. Долго я угрызалась, терзалась – а ну как сорвал больное сердце? надорвался до травмы? Уж эти мне его мужские, самцовые победительные страсти – всегда быть первым, обгонять всех, прыгать выше головы! Никогда не считала

его здоровяком. Видала – и не раз – киснущим, понурым, квелым – да, в той самой болезной, неистребимо советской – под рубашкой – сиреневой телогрейке.

Наблюдая мои страдания, Соловьев посоветовал в шутку сочинить мемуар о Бродском и назвать «Он носил меня на руках».

Вот и называю.

Ночь в доме Мурузи

В сентябре 1970-го «Аврора» праздновала свой первый день рождения.

Присутствовала не только художественная, но и комсомольскопартийная элита во главе с Романовым, первым секретарем Ленинградского обкома партии. Бедняга сбежал в разгар празднества, когда к нему на колени лунатически порхнула отрешенная от реала Жанна Ковенчук, гладила по голове и что-то горячо и нежно внушала. Такие тогда были не то чтобы демократические, а разгульно либеральные нравы.

Городские власти не поскупились – шампанское, вино и всякий алкоголь лились рекой, да и закусон был отменный. Гульба потянулась заполночь, когда мы трое – я, Саша Кушнер и, меж нами, пьяный в хлам Соловьев – выкатились на Литейный.

Пока мы с Сашей соображали, как добраться домой, Соловьев решил за нас. Домой отказался наотрез – «Только к Осе, хочу к Осе, ведите меня к Осе!» Он любил Бродского, как любят женщину. А может быть, еще нежней.

Без звонка, в час ночи! «Что у трезвого на уме…» Сопротивляться бесполезно. Да и Кушнер любопытствовал – не бывал у Бродского ни разу. Ни до, ни после.

Ося жил рядом. К счастью, еще не ложился. Принял нас спокойно, без удивления. Володя был усажен в закутке, Ося ловко ввинтил ему на колени тазик, и, склонившись над ним, Соловьев мгновенно уснул.

А мы с Кушнером разместились на диване против Бродского, и пошел у нас разговор на всю ночь. Пять часов беспрерывно.

Что запомнилось:

Когда говорили о стихах, мелькало, конечно, у всех: Кушнер печатается на 99,9 %, Бродский – на все сто непечатный.

Саша – осторожно, деликатно: поддерживает ли отношения с «Юностью», где когда-то приветили и хотели напечатать?

Ося хмыкает: ни в коем случае, завязал со всеми изданиями, ничего не посылаю. Ни в «Юность», ни в «День поэзии». Никаких новых подборок. Потому как – крадут. Воруют по-черному. Не

знаю, как это у них там получается – плагиат не плагиат, прямо не обвинишь, мои стихи не печатают, а вот появляется какой-то новый автор и у него мои приемы – те же самые приемы. Весь ритмический наклон стиха. Который, скажем, я открыл. Никто в наши дни так не пишет, ни один советский поэт. Вдруг вижу – мое. Как же получается – меня не печатают и у меня же воруют. Жуть!

Как всегда, я напросилась на стихи. Ося вежливо покорно согласился – как хозяин, вынужденный потчевать непрошеных гостей. Взял со стола пачку машинописи и ровно, не выделяя прекрасностей, стал читать из большого и, кажется, еще не оконченного стихотворения с первой строкой «Империя – страна для дураков». Помню, что оборвал он, поиграв с текстом «…и растворяется во тьме, дав знак, что дальше, собственно, идти не стоит». «В самом деле, не стоит», – хихикнул, отмахнувшись от моих сантиментов – стихи были изумительные.

В ответ на мои претензии, что сам же дает на отзыв рукописи, а никакие замечания (иногда фактические ошибки) не приемлет (вспоминаю, как напрасно мы с Соловьевым трудились, по его просьбе, над композицией рукописи «Остановки в пустыне» – одобрил, даже восхитился, но не внял).

Смеется: к критике – любой – невосприимчив. Советы, замечания, даже если вздор у меня – хотя вряд ли, но предположим, – как мертвому припарки! Знаете – почему? Потому что меня с детства все время ругали. Ругали и ругали – за все, всегда мною страшно недовольны.

Всех (двоюродные братья) ставили мне в пример. Я был хуже всех. Не просто плохой, а – никчемный, ни к чему не годный. Неуправляемый, невыносимый. Сплошная – изо дня в день – ругань. Что плохо учился, совсем не учился, грублю, хамлю, вообще не то и не так говорю. Отчасти, может быть, и справедливо. Но только отчасти. Столько ругательской энергии было на меня обрушено, что если бы пустить в дело – электростанция бы заработала! И я стал защищаться.

Точнее – разработал защитные меры. Приучил себя отключаться, обособляться. Ну, ругают и ругают. Я же – не то чтобы не слушаю. Я – не слышу. Неуязвим и сам по себе. Неприкосновенное лицо.

Так я и критику и любые, в мой адрес, замечания – воспринимаю как ругань. Интуитивно. Такая, чисто аллергическая, реакция. Ничего не поделаешь.

Говорили в ту ночь обо всем, обо всех, но больше – о самом

Бродском. И он был на редкость словоохотлив. Вот, к примеру, циркулировали в узком кругу знавших и любопытствующих о нем людей слухи, постепенно ставшие легендой: как 15-летний школьник – бунтарским, едва не крамольным жестом – бросил школу. Волевой акт ухода. Среди многих поразительностей в биографии Бродского этот его радикальный поступок особенно дивил.

И вот сидим мы рядышком, я и Кушнер, оба медалисты, Саша к тому же – школьный учитель, интересуемся – как это Ося посмел, решился, бросил вызов школьной системе.

Ося – трезво, со скукой: никакого вызова не было. Никакого бунта!

Было – отчаяние, полный тупик. Кромешная безнадега. На самом деле: не я бросил школу, это школа бросила меня.

Как все случилось: дважды просидел в седьмом классе, побывал второгодником – шутка сказать! В восьмом – только начались занятия – не врубаюсь, не схватываю, не понимаю ничего. Такое помрачение сознания. Или полное затмение ума. Геометрия там, физика-химия, или английский – представьте себе! – это еще полбеды, хотя сознавал – завалю непременно. Что меня подкосило – ну прямо наповал! – это астрономия проклятая (он точно назвал астрономию, хотя в восьмом классе вряд ли числился этот предмет). Что там, о чем там, вообще что это такое – не вникал. Ну никак. Полный завал. Это был для меня конец. Сиди не сиди в школе – не поможет. И я школу бросил. На третьем месяце в восьмом классе. Никаких заявлений – просто перестал ходить в школу. Прогуливал, где-то скрывался. А потом родителей вызвали. Ну и представьте, что там для меня началось – конец света!

Это единственный раз, когда я слышала от него опровержение – скорее всего им же распространяемой – легенды. Не могу сказать, что он подтверждал позднее эти слухи. Но никогда их больше не опровергал – ни в Питере, ни когда отвалил за кордон.

Подходило к шести. У Оси – размытое от усталости лицо. Мы с Сашей разминаем затекшие ноги. В прекрасном, однако, настроении – наговорились всласть.

Будим Володю. Просыпается трезвый, выспанный, готовый к тому, ради чего привел нас к любимому Осе – говорить, говорить, говорить.

«Куда вы торопитесь?» Ничего не оставалось, как сказать ему: «Ладно, мы уходим, а ты оставайся».

И ловлю нервную оторопь, почти ужас на лице Бродского.

Крохотки от Беллы Билибиной

Тесно общаясь для этой книги с Наташей Шарымовой – см. беседу с ней «Мифы и реалии» и отдельную тетрадку ее фотографий, – я выспрашивал ее о разных приколах, связанных с Бродским в Ленинграде, в добавление к моим «Трем евреям». Наташа превзошла самое себя, когда поделилась со мной не только своими, но и моментальными мини-воспоминаниями, которые ей наговорила по телефону из Петербурга в Нью-Йорк ее питерская подружка Белла Ивановна Билибина (девичья фамилия – Семенова, в первом браке – Лебедева). Некоторые печатались в «Комсомолке», другие я слышал впервые. Рыжая красавица, это я отлично помню, а Наташа Шарымова, с ее разбегом художественных и художнических аллюзий, подсказывает мне: «Рыжеволосая венецианка.

Мечта…» Я бы добавил применительно к Бродскому: Мечта Поэта.

Тем более, он был вхож в ее дом – наравне с другими. Сейчас поясню.

Спокойная, всегда позитивная, тонкая, остроумная, сердечная, дружелюбная, добрая, отзывчивая, приветливая, гостеприимная – вот именно, гостеприимная! – Белла была учительницей музыки и содержала у себя на дому музыкальный салон. Хотя встречалась с Бродским и на других территориях. Вот ее рассказики.

1959-й. В это время я была замужем за пианистом и композитором Виктором Лебедевым. Его друг, инженер Альберт Рутштей, сейчас он в Америке, пригласил нас в гости послушать стихи молодого поэта Оси Бродского. Все собрались на Моховой, в большой комнате с камином.

Почти без мебели. В центре – стол, на столе – ваза с яблоками, вокруг – стулья. Хозяин, его жена, пианистка Седмара Закарян, мы с Витей и пара из Харькова – рассаживались. Вошел Бродский.

Увидев меня, он воскликнул:

– О! Мы теперь можем организовать Союз рыжих!

Я – рыжая от рождения, и Альберт Рутштейн – рыжий.

Затем Иосиф подошел к столу и начал читать стихи. Он был взволнован и очень бледен. Меня поразило, как он читает. Это трудно передать.

Вдруг один из харьковчан взял из вазы яблоко и с громким хрустом начал его есть.

Иосиф остановился и сказал:

– Пожалуйста, без сопровождения…

И тут же у него из носа хлынула кровь.

Все всполошились, засуетились. Кровь уняли.

Иосиф продолжал читать.

Позже Виктор Лебедев вспомнил, откуда ему знакомо лицо Бродского: он, Виктор, был пионервожатым у Иосифа в классе.

* * *

Помню поездку к литератору Михаилу Мейлаху в Комарово в 1970 году. Иосиф пригласил меня и тебя – неужели не помнишь? – составить ему компанию.

Когда мы приехали, Миша провел нас в кабинет, а сам ушел, чтобы приготовиться к обеду. Иосиф стал листать толстый журнал.

Потом произнес: «Булгаков. Мастер и Маргарита».

Отложил журнал и стал метаться по кабинету. Туда-сюда, туда-сюда.

Подбежал к окну и воскликнул:

– Я хочу жить! дышать!

И пулей выскочил из дома.

Обед состоялся, но – без Иосифа.

Чтобы понять ситуацию, нужно знать, что отец Миши Мейлаха, знаменитый профессор-литературовед Борис Соломонович Мейлах, в разгар борьбы с космополитами за книгу о Ленине получил Сталинскую премию и на нее выстроил в Комарово шикарный особняк, именуемый остряками «Мейлаховым курганом», «Спасом на цитатах» и «Ампиром во время чумы».

* * *

Однажды у нас в квартире на Литейном раздался звонок. Я была дома одна, беременная, на девятом месяце. Пошла открывать. На пороге стоял Иосиф. Он протянул ко мне руки, его запястья были перевязаны.

– Вот, пытался… – пробормотал он.

Я очень испугалась. Что делать? Как помочь?

Налила Иосифу коньяка. В этот день в Ленинграде была угроза наводнения. Иосиф, просидев у меня минут пять, умчался смотреть на Неву.

Я бросилась звонить Вике Беломлинской. Вика и Миша тут же вызвонили еще кого-то. Кажется, физика Мишу Петрова, сели в

его машину и поехали искать Иосифа. Они прочесывали набережные, но не могли его найти. Тогда в полном отчаянии они приехали на Пестеля.

К счастью, Иосиф оказался дома. Вика потом говорила, что Иосиф был насквозь мокрый и фыркал, как кот.

* * *

В те же годы две зимы подряд Иосиф жил в Крыму, в Гурзуфе, в доме, который ему любезно предоставила художница Зоя Борисовна Тимашевская, дочь известного нашего пушкиниста.

Оттуда я получила письмо от Иосифа.

В конверте была открытка с изображением громадной обезьяны, из Сухумского питомника, которая вцепилась в прутья клетки.

На обратной стороне – надпись: «Это я».

* * *

Ко мне на Литейный пришел необычайно возбужденный Бродский и сказал, что у него родился сын. Он попросил меня прогуляться с ним по аптекам, чтобы купить все необходимое для младенца.

День был яркий, солнечный. По Литейному до Невского мы шли пешком. Сначала зашли в книжный магазин «Лавка писателей», потом в аптеку на углу Фонтанки. Иосиф купил соски, рожки и всякую всячину.

Сказал:

– Я хочу назвать сына Андреем или Алексеем… Но если он будет грассировать, как я, то лучше – Алексеем.

Иосиф был горд и необыкновенно весел.

* * *

На Американской книжной выставке в Москве Бродского особенно поразил ксерокс. Вернувшись, он говорил о нем с восхищением и подарил мне сделанную на этом ксероксе копию рукописного оригинала стихотворения «Зимним вечером в Ялте».

* * *

В Ленинград приехала на гастроли французская певица Жюльетт Греко. У меня было два билета, и я пригласила Иосифа на концерт. Места были прекрасные: пятый ряд, все видно и слышно.

– Дорогие дамы, собирайте все розы, которые попадаются на вашем пути…

Так перевели одну из песен Жюльетт Греко, звезды французского шансона, музы французских экзистенциалистов и вечной соперницы Эдит Пиаф.

Эти строчки насмешили Иосифа, он хохотал, как ненормальный.

После концерта пошли в магазин, я купила бутылку чего-то крепкого, и поехали к тебе, надеясь застать у тебя привычную компанию литераторов, композиторов, художников. Как всегда.

Весь вечер Иосиф мурлыкал:

– Дорогие дамы…

А именем Жюльетт Греко во Франции названа очень красивая, быстрорастущая, плетистая алая роза, цветущая до самой осени.

Запись Наташи Шарымовой, по телефону.
Январь 2015 г.

Посвящается ИБ. Проза на стихи Бродского Казус Жозефа. Диптих

Он шел умирать. И не в уличный гул он, дверь отворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти.

ИБ

Перед богом – не прав

– Поразительно – как можете вы носиться с подобными воспоминаньями?.. Они порою навязываются сами – но как их можно смаковать?

Джейн Остин

Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой.

ИБ

Я – это снова я, Владимир Соловьев, автор пары дюжин книг на дюжине языков и бесчисленных статей, прозаик, политолог, критик, эссеист – уж не знаю кто. Живу уж не помню сколько лет в Нью-Йорке, а раньше жил в Москве, а еще раньше в Ленинграде, но это было так давно, что язык не поворачивается назвать его Петербургом. И биографическая эта справка не к тому, что я не тот Владимир Соловьев – не Владимир Соловьев философ и поэт позапрошлого уже века и не нынешний телевизионщик Владимир Соловьев, а чтобы не путали меня со мной же: автора-рассказчика с литературными персонажами, от имени которых я часто пишу свои подлые истории. Исключения редки: ну, само собой, мои исповедальные «Три еврея» и «Записки скорпиона», а из малых проз «Мой двойник Владимир Соловьев», «Молчание любви», «Тринадцатое озеро», «Мой друг Джеймс Бонд», «Умирающий голос мой мамы…», еще пара-тройка набежит, да вот эти оба-два

на остатках таланта, где я – это я, но главный герой – не один к одному к своему прототипу, кое-что оставил как есть, а кое-что присочинил: быль, но с художкой. Зато имя оставил его собственное: Иосиф. Нет, нет, не тот Иосиф, который Joseph, или как обозначали его Кириллом и Мефодием – Жозеф, про которого у меня уже немерено эссе и несколько шедевральных книг, включая вот эту, а про безвестного Иосифа, у которого комплекс Жозефа. Дай ему родаки другое имя, никакого комплекса у него бы не было, и судьба сложилась бы иначе.

Начать с того, что здесь, в Америке я окружен русскоязычниками, может, и более талантливыми, чем я, но, в отличие от меня, они не из пишущей братии. Либо пишут, но не печатаются. Либо печатаются, чтобы остаться на плаву, не вкладывая живую душу в написанное.

Один – блестящий остряк и каламбурист, другой – известный нью-йоркский журналист и тамада-рассказчик вровень с лучшими, кого я знал (Довлатов, Икрамов, Рейн), третий – словесный виртуоз и лакомка, четвертый – тот и вовсе Леонардо да Винчи, хоть и с припи**ью Хлестакова, зато хорош во всех жанрах, будучи многостаночник, пятый – мой вдруг отыскавшийся однокашник, емельный эпистолярист, у которого каждое словечко на вес золота, одно к одному, еще один – шестой? – с которым я в раздрае, мастер затейливых концепций, хоть и по касательной, а то и вовсе безотносительно с реальностью и литературой, да еще в одной со мной квартире Лена Клепикова с непотраченным – и нерастраченным – литературным даром, пусть и выпустила в России пару сольных книжек и соавторских со мною, где ее главы много лучше моих. У них всех альтруистические таланты, а у меня то, что Набоков называл «писательская алчность». Вот я выдаиваю для своих литературных опусов их жизни, истории, судьбы.

Пора заняться человеком-оркестром Иосифом, названным так, как и многие из его поколения, включая Бродского, с которым он не только тезка, в честь Сталина, но и одногодка, фантазию у него не отличишь от правды, особенно когда его поведет на шпионские рассказы. Тем более, он в обиде на меня за то, что в большом мемуарном томе, куда я слил и смешал два времени – московское и нью-йоркское, коктейль получился еще тот, я посвятил ему абзац, на который он смертельно обиделся и из куинсовского соседа-приятеля превратился в лютого неприятеля. Кто из нас прав, пусть читатель и судит, хоть я и пользуюсь преимущественным правом рассказчика, а ему сочинить – слабо́.

Та вспоминательная книга называется не просто «Записки

скорпиона», а со вторым названием «Роман с памятью» – роман в обоем смысле: как литературный жанр и как любовная интрижка. Я решил – и решился – говорить в этом романном мемуаре о мертвых, как о живых, зато о живых – как о мертвых. В самом деле, мы все уже не молоды, скоро умрем – как еще сохранить наше время, иначе чем законсервированным в слове? Моя книга вызвала скандал по обе стороны океана, но чего не ожидал, – что потеряю приятеля здесь. Знал бы, может, и не писал бы о нем. Или все равно написал бы? Не знаю. Уж больно он обидчивый. У меня пять к нему эпитетов: загадочный, талантливый, умный, блестящий, несостоявшийся. Я бы добавил: с царем в голове.

А я – безобразник. Готов извиниться и взять свои слова обратно, но не одно – несостоявшийся, – а все пять. Уж если так писать, то предварительно надо раздружиться с ним, а я как ни в чем не бывало продолжал с ним дружить, уже написав этот абзац. Тем более, в каком-то высшем (или низшем) смысле он состоялся, развлекая нас, знакомых и незнакомых. Только несостоявшиеся и интересны в жизни – по определению. Состоявшиеся – уже состоялись. Тогда как несостоявшиеся берут реванш в общежитии за то, что недоосуществились.

А как он замечательно готовит! Живет жадно и прикольно, сказочник своей жизни, человек-аттракцион, сочиняет свою судьбу, перелицовывая прошлое с ординарного в необычное. Ему тесно в собственных границах, а тем более в литературных, на которые я намекал: он сам по себе – художественное произведение.

Не жизнь, а тысяча и одна ночь, не иначе.

Могу в следующем «тиснении», если таковое случится, вовсе его не упоминать, тем более он маргинальный в моей книге персонаж. Как и в моей жизни. Хотя он, в самом деле, несостоявшийся: по лени, по безволию, по хвастовству, по речистости – взамен реала. За счет фанфаронства он добирает то, чего не сумел добиться, так и не реализовав свой потенциал профессионально.

Несостоявшийся – то есть несбыточный.

Он ходит здесь у нас в баронах мюнхгаузенах и пустомелях, а иногда его так заносит, что, не считаясь с хронологией, он говорит легковерам, что был заслан британской разведкой в канцелярию Геббельса, а потом давал показания на Нюрнбергском процессе. Сколько же ему тогда должно быть сейчас лет? Под сто? Он восприимчив и переимчив: прочтет шпионскую книгу, тут же представляет себя ее главным героем и соответственно – как свою собственную историю – пересказывает приятелям, а еще лучше – шапочным знакомым. Даже я пару раз

попадался, а потом помалкивал из вежливости, но бывало стыдно за него. Притом в нем есть все те достоинства, на которые я указал, но в нереализованном виде. Он мог бы стать писателем, журналистом, историком, шпионом, но пролетел и не стал никем. А время уличных риторов, наподобие Сократа, прошло с афинских времен, да и тогда Сократа сограждане не потерпели и приговорили к смерти. А как бы афиняне поступили с Иосифом, которого одна московская отказница в своих воспоминаниях называет «агентом влияния» и полагает, что он был к ним откомандирован гэбухой?

В московские времена, когда он был еще не Рихтер, а Кулаков, я знал его вприглядку, зато он, как выяснилось уже здесь, был знаком с одним моим незаконченным секретным опусом, который, именно ввиду его незаконченности и секретности, я дал прочесть одному-единственному доверенному лицу и всего только на ночь – ума не приложу, каким образом он достался Иосифу тогда еще Кулакову, тот дал прочесть его своему приятелю Врухнову, Врухнов – Игорю Андропову, а Игорь Андропов – своему отцу, который возглавлял КГБ, перед тем как возглавить – ненадолго, за 15 месяцев перед кончиной – СССР. Жесть! А тот мой докуроман, из которого я теперь извлекаю целые отсеки для новых книг, будь то помянутый московский мемуар либо книга про Довлатова с доподлинными его письмами, был чрезвычайно политизирован и давал довольно точное представление об идеологической дислокации в стране, что не могло не заинтересовать ее главного надсмотрщика. Потому я и назвал Иосифа «загадочным», что никак не мог мысленно проследить путь моего незаконченного романа от моей приятельницы, которой я верил абсолютно, через Кулакова-Рихтера до Юрия Владимировича Андропова. А что, если я ошибся, и Иосиф, совсем напротив, состоялся, и из любительского агента влияния стал профессиональным агентом, который действовал сначала в России, а теперь, под другой фамилией, работает в США, куда заслан с определенными целями? И почему он сменил фамилию? Здесь это, правда, не проблема – у меня есть в Нью-Йорке русский знакомый Айвэн Инглиш, который в Москве был Наумом Лифшицем. Мало ли что человеку взбредет в голову? В России изменить фамилию было невозможно, разве что в случае неблагозвучия. По мылу получил недавно из Москвы копию справки за подписью ведущего научного сотрудника Института языка и литературы Академии наук доктора филологических наук имярек (М.А. Габинского):

Дана в том, что имя на языке идиш Сруль, хотя и

соответствует этимологически древнееврейскому Йисраэль («Богоборец»), русскому Израиль, ввиду неупотребительности его в русской среде, заменяется там по созвучию на другие имена, в частности на имя Александр (из греческого «Защитник»), почему отчества Срулевна и Александровна носит одно и то же лицо.

Но это к слову, а у нас ситуация иная: в Москве Иосиф был известен как Кулаков, а тут стал Иосифом Рихтером. Он и био свое здесь изменил: остался полукровкой, национальность смешанная, как теперь говорят, но сохранив русскую половинку, еврейскую поменял на немецкую, любящую единственного сына идиш-маму, которую общие знакомые хорошо помнят, превратил в немку-садистку; даже место рождения заменил: вместо военной Москвы – военный Берлин. Это нам, которые знали его с доисторических времен, он вешал лапшу на уши, а мы тихонько посмеивались и редко ловили его на лжи, а уж что он говорил тем, кто его в России вовсе не знал! Не всегда прямо, часто – намеками, окружая себя ореолом таинственности. Какое-то время ходил в германофилах, и у него даже была значительная мемарабилия, Третьего рейха, а выпив, напяливал эсэсовскую фуражку, козырял и распевал немецкие солдатские песни, но потом вдруг переметнулся, заделался англофилом и представлялся недоучкой Оксбриджа, хотя на самом деле был выгнан со второго курса Московского архитектурного за неуспеваемость. Выдавал себя за художника и показал мне как-то нарезанные из книг ксилографии, будто бы его, но я ни разу не видел ни одной книги, целиком им оформленной: не только барон Мюнхгаузен, но и крошка Цахес. Гравюры, однако, мне понравились, и я сказал, что в них чувствуется тонкий стилизаторский талант, на что Иосиф обиделся и сказал, что ставит их выше, хотя я имел в виду только то, что они похожи на книжные иллюстрации. Присмотревшись, однако, я обнаружил в них что-то знакомое и сказал, что чувствуется влияние Кравченко, Юдовина, Фаворского. Придя домой, я заглянул в мои альбомы: никакого влияния, а просто обманка – это были ксилографии Кравченко, Юдовина, Фаворского. Съемная квартира Иосифа была тонко оформлена репродукциями старых мастеров, под потолком по периметру он пустил картины Карпаччо из Далматинской Скуолы Сан Джорджио дели Скьявони. Но когда я назвал имя моего любимого венецейца, Иосиф стал оглядываться, не понимая, о чем я: художественный инстинкт у него преобладал над эрудицией.

Однажды он подробно говорил о моей книге (о «Post mortem»); я сказал, что он хороший читатель, но он меня тут же

поправил:

– Я – не читатель, а писатель.

– А я – читатель, книгочей, – нашелся я.

– Вы не читали моей книги о Пеньковском.

Он, действительно, сочинил книгу об Олеге Пеньковском, но именно сочинил, измышляя его жизнь, как свою собственную, почему ее никто и не издал, что правда в ней была неотличима от вымысла, а Пеньковский, что ни говори, – реальное историческое лицо, самый крупный провал советской разведки. Или самое крупное достижение британской, это тебе не подслушивающий камушек в центре Москвы!

Добавлю, что я не читал его книги о Пеньковском потому, что он мне ее не давал.

Зато показал однажды другую шпионскую книгу, не помню, про что именно, где на обложке и титуле стояло его имя, но я заглянул на последнюю страницу, чтобы узнать тираж, и там увидел совсем другого автора: поменяв титул, Иосиф не удосужился исправить копирайтную страницу или, как говорят теперь, выходнухи. И так во всем – был он в своих выдумках дотошлив, но небрежен, и поймать его не стоило большого труда, как набоковского Смурова, который рассказывает о своих геройских приключениях во время Гражданской войны в Ялте на вокзале, но никакого вокзала в Ялте, оказывается, тогда не было. А сейчас, когда Крымнаш? Никто из нас не прерывал вральных историй Иосифа, но как-то было за него неловко: человеку к 70, а он резвится как дитя малое. И откуда эта его мечта казаться шпионом? С детства? Или он в самом деле был завербован гэбухой, но на малые дела, а мечтал о больших и гэбухе предпочел бы тот же Интеллидженс сервис или, на худой конец, ЦРУ? Вот я и написал, что он загадочный, хотя несколько переувлекся в позитивных эпитетах, ограничившись, для равновеса, всего одним негативом? А было ли чему состояться? Или это была мечта начитавшегося шпионских историй подростка, которая сохранилась до старости? При всей внешней солидности, нрав у Иосифа был инфантильный, и мы все это сознавали. Одна только женщина сказала ему, что он подвирает. На что Иосиф резонно ответил:

– А что, мне рассказывать, как я получаю зарплату? Тебе это интересно?

Он был прав. Добавлю, что он развлекал нас не только своими небылицами, но и самим собой. Он создал свой вымышленный образ и не собирался из него выходить. Мы и любили Иосифа не несмотря на его вранье, а благодаря ему. По крайней мере частично. Как-то наш общий приятель – ну да, Саша

Грант, тот самый тамада-рассказчик – полез в Интернет и уличил Иосифа во лжи.

– Кому ты больше веришь – Интернету или другу? – возмутился Иосиф.

Саша Грант, который работал на русском ТВ в Нью-Йорке, обещал нас помирить, сведя на Черной речке (шутка), но свел в своей передаче, устроив нечто вроде телепоединка. Иосиф с ходу заявил, что мемуарист о живых писать не имеет права, на что я, перебив его, сказал, что это фигня и он что-то путает: тогда уж о мертвых – ничего, кроме хорошего (что тоже не так), народ молчаливый, они не могут ответить лжевспоминальщикам и клеветникам, как те же Бродский и Довлатов (Саше Кушнеру и Валере Попову соответственно), а живые – могут, наш спор тому пример, плюс сослался на целую когорту вспоминальщиков именно о живых – от Сен-Симона и Стефана Цвейга до дочерей Сэллинджера (опубликовала без спроса письма этого анахорета) и Рональда Рейгана, которая при жизни президента выпустила мемуары, где назвала его равнодушным, холодным родаком, а Первую леди и вовсе заклеймила садисткой. На что Иосиф неожиданно сказал:

– Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. (Домашняя заготовка или плагиат, подумал я.) Наш разговор пошел не по резьбе. А я хотел спросить вас: что значит состояться? Это обложки книг? Вы, к примеру, состоялись?

– Больше, чем того заслуживаю, – ответил я и изложил свою теорию о том, что окружен более талантливыми, возможно, чем я, людьми. – Не знаю, сколько мне было дано, но я реализовал свой дар, какой ни есть, с лихвой. И продолжаю, – и сослался на эту книгу о Бродском. – И дело не в двух дюжинах книг на чертовой дюжине языков, не говоря о сотнях статей и эссе. Как мог, я все выразил, ничего не осталось за душой. Еще одно последнее сказание («Это, про вас, Иосиф», – не сказал я), и летопись окончена моя. – Не зарекайся, – сказал ведущий, с которым мы на ты. – Начнешь другую – летопись, я имею в виду.

Я рассмеялся, но Иосиф был сердит и серьезен:

– Вы не ответили на мой вопрос: обложки книг?

– Не обязательно. Скажем, вы бы стали шпионом.

– Откуда вы знаете, что я не стал?

– Иосиф, я о вас знаю больше, чем написал, – сказал я. – Шпион не притворяется шпионом.

– А двойное прикрытие? Я намекаю, что я шпион, и все думают, что я хвастун, а я шпион на самом деле?

– Ты шпион на самом деле? – спросил ведущий, который знал моего оппонента с московской юности.

– Я – шпион, который притворяется шпионом, чтобы не узнали, что я шпион.

– В таком случае, я – писатель, который притворяется писателем, чтобы не узнали, что я писатель.

О чем я хочу честно предупредить читателя? Ну, конечно же, я пользуюсь преимуществом рассказчика и свою позицию аргументирую лучше, чем моего оппонента. Еще чего – быть адвокатом дьявола! Даже в обличье Иосифа Рихтера – имею в виду дьявола. Хотя кто знает.

Недаром я импульсивно употребил слово «загадочный», характеризуя его в «Записках скорпиона».

Этот мой полуторакилограммовый фолиант лежал перед нами на столе в телестудии и принадлежал Иосифу с бесчисленными закладками и подчеркиваниями пятью разных цветов фломастерами. То есть безнадежно, с моей точки зрения, испорченный, ибо следующие читатели этого экземпляра будут читать не всю книгу, а только то, что отчеркнуто пятью разноцветными маркерами. Нет, все-таки он книгочей, и я уже жалел, что из-за своей несдержанности потерял такого читателя. Или, наоборот, нашел?

Но если все-таки потерял, то стоит ли слово дружбы? Искусство превыше всего, думал я. Я ошибаюсь?

– Я готов изъять из следующих изданий, но не одно только слово «несостоявшийся», а вместе со всеми остальными про вас. Или напишите опровержение – я вставлю его в следующий мемуарный том, «Быть Владимиром Соловьевым» называется. Идет?

– Я с вами в торги не вступаю.

– А наш сегодняшний диалог – не торг?

– Дуэль.

– Словесная. Значит есть возможность на прилюдное слово ответить прилюдным же словом. Тем более, какая-то часть наших зрителей читала мою книгу, какая-то ее еще прочтет, а какая-то – никогда.

– Вы рассматриваете эту передачу как рекламу вашей книге.

– Ничего себе реклама, когда вы ее кроете разве что не матом.

– Негативное паблисити.

– Мы уже не юноши, у нас седые головы и седые души, – сказал я Иосифу. – Потери начались не вчера, мы тоже умрем, может быть, раньше, чем думаем, вот-вот присоединимся к молчаливому большинству и тоже замолчим, так пока у нас временно есть право голоса – и голос! – мы должны, обязаны выговориться перед тем, как нас оборвет навсегда смерть. Как

иначе сохранить наше время, чем в слове?

– Да, мертвые – народ молчаливый – в отличие от нас, говорящих, – сказал ведущий. – Молчаливое большинство и говорящее меньшинство.

– Пока что. Временно, – сказал я.

– Я, наоборот, стараюсь уничтожить следы своего пребывания на земле, – пошутил Саша.

– Как маркиз де Сад, который, умирая в 75 лет, сказал: «Я льщу себя надеждой, что и имя мое изгладится из памяти людей», – сказал Иосиф.

А я со слабой своей надеждой мумифицировать наше время остался в крутом одиночестве.

– А кто состоялся, если всерьез? – попытался примирить наши точки зрения ведущий. – Моцарт, который, если б не ранняя смерть, написал бы еще с полсотни шедевров? А Иисус Христос?

– Какое вы имели право раскрывать мой псевдоним? – перескочил неожиданно Иосиф на другую тему, а я и вправду называл его то Рихтером, то Кулаковым.

– Секрет Полишинеля!

– Псевдонимы раскрывать нельзя.

– Ну почему же? – пытался отшутиться я. – В период борьбы с космополитами – сплошь и рядом. Вот если бы вы были Рабинович, а псевдоним Соловьев, тогда другое дело. А вы сменили русскую фамилию на немецкий псевдоним.

Потом был открытый эфир, одного зрителя больше всего возмутили мои слова, что мы все умрем, и он попытался их оспорить, ссылаясь на современную медицину. В конце передачи Саша предложил нам пожать друг другу руки, я протянул свою, но ткнулся в пустоту – и это на глазах у зрителей! Не дождавшись окончания, Иосиф стал подниматься и запутался в проводе от микрофона. Конец вышел смазанный.

Саша развез нас по домам (мы все соседи по Куинсу – Вудхэвен, Рего-Парк, Флашинг) – говорил в машине он один.

А на следующий день приключилась история, которая отодвинула на задний план наши с Иосифом контроверзы. На 108-й улице, иммигрантском большаке нашего Куинса, Иосиф повздорил с какой-то молодухой и что есть силы дал ей в тыкву. Вот тебе и англоман! Пострадавшая вызвала на подмогу бойфренда бухарского разлива, тот по мобиле позвонил в полицию, прибыло четыре машины с копами, на Иосифа надели наручники и отправили в тюрьму, откуда он на следующий день был освобожден под залог. Наняли адвокатов: один советовал ему косить под придурка, а другой – стоять на том, что это не он, а она влепила ему оплеуху, которая чуть не свалила его с ног.

Последнее малоправдоподобно, невероятно – Иосиф с молодухой разных весовых категорий: она – миниатюрна, Иосиф – битюг, здоровенный мужик с огромной лапищей, хоть и согнутый пополам радикулитом.

(Возрастное соотношение: 68–28.) Что до косить под придурка, то в широком диапазоне от повышенного адреналина при волнениях до общей неврастении. Собрать справки у русских врачей – не проблема. Еще один вариант: пощечина в целях самозащиты, когда Иосифу показалось, что женщина целилась пальцами с длинными ногтями ему в глаза. Главное – выкрутиться с наименьшими потерями. Однако и противная сторона не сидела сложа руки и подыскивала соответствующие аргументы. Тем более, в набежавшей толпе оказались бухарские люди и четыре свидетеля были на антинашей стороне.

Отнесся обиду Иосифа на меня за счет его ребячества и инфантилизма, я позвонил ему и спросил, что произошло на самом деле. Он помолчал в трубку, размышляя, по-видимому, стоит ли мне доверять, не ославлю ли я его снова, но коли я уже написал о нем в мемуаре, опасаться ему больше нечего. А художка? Вот чего он не учел! Теперь мне сам Бог велел записать его историю, но, в отличие от воспоминаний, – слегка изменив фамилию, но не имя: если бы не имя, не был бы таким комплексантом. Из-за Бродского – соименника и ровесника. Так и есть: казус Жозефа.

Если снова рассердится, пусть пеняет на себя. Потому и подлые рассказы, что истории моих друзей я воспринимаю меркантильно и оглашаю их в прозе без их не то что разрешения, но даже ведома – будут правы, если порвут со мной. Пусть я не прав, но, с моей точки зрения, игра стоит свеч. В противном случае, мне еще при жизни придется присоединиться к молчаливому большинству – к покойникам. Недолго осталось. Мой голос окреп перед кончиной – пусть простят меня те, о ком пишу.

– Приблатненная наркоманка, рожа в прыщах, вся трясется, – жаловался мне Иосиф. – Без всякого скандала мог бы дать затрещину, встретив на улице. Это леди нельзя трогать, а таких как раз необходимо бить, морда кирпича просит.

Я не удивился этой его агрессивности – Иосиф был жесткач. Обидчивый, мстительный, злопамятный, как слон – странно, что со мной разговаривает, несмотря на выскочившее у меня словечко «несостоявшийся». Типичный неудачник. Поливал всех здешних русских, кто выбился в люди, стал богатым или знаменитым – от Набокова до Бродского. Помню наш ожесточенный спор о Лимонове, который тогда сидел в тюрьме, и я, натурально, его

защищал и говорил, что классный писатель. А еще была телепередача про Бродского, которую вел Саша, Рихтер был с ним в студии, а я участвовал через всю Америку и Канаду по телефону из Ситки, столицы русской Аляски. Передача была к годовщине Осиной смерти, так что злобные филиппики Иосифа против Иосифа были даже жанрово неуместны. Но Иосиф слегка свихнулся из-за Бродского и каждое новое достижение воспринимал как личную обиду, а когда тому дали Нобельку, у нашего Иосифа случился нервный срыв. Бродский – Иосиф и Рихтер – Иосиф, оба сорокового года, но у того мировое имя, тогда как наш Иосиф – никто. Комплекс Иосифа у Иосифа.

Нет, добрым его никак не назовешь – злой, злобный, злорадный, злоязычный, но я и не делю людей на добрых и злых, относясь к последним с бóльшим даже интересом, чем к первым, в чем, возможно, не прав.

Иосиф рассказал мне, что хотел было улизнуть с места преступления, но пострадавшая буквально легла грудью на его машину, пока не прибыла полиция – те самые четыре машины, с несколькими копами в каждой. Еще хорошо, что какой-то тип поблизости, на той же 108-й, задавил старуху, которая неосторожно переходила улицу, и полиция с толпой частично переметнулась к более серьезному происшествию, но все равно теперь моему приятелю предстоял суд за нанесение физических увечий. Нет, смертная казнь ему не грозит, но, скажем, условное заключение, хоть адвокаты и успокаивают Иосифа, что статистически на probation 14 % американцев. А пока что его затаскали по судам: то пострадавшая не явилась, то свидетели манкируют, то сам Иосиф слег с сердечным приступом.

Я не сразу понял, из-за чего сыр-бор. Конфликт начался по-английски, но обе стороны скоро перешли на русский, обнаружив друг в друге бывших соотечественников, что неудивительно, так как место действия – 108-я стрит, где даже вывески русские: «Гастроном», «Аптека», «Ресторан», а случайно забредшие сюда американы оказываются как в чужой стране и не могут получить ответ на самый элементарный вопрос. Молодуха загородила своей машиной моему приятелю выезд со стоянки, он попросил ее двинуть кар в сторону, подозреваю, без надлежащего слова «please», и вообще в свойственной ему грубовато-императивной манере, тем более был уже раздражен в магазине «Моня и Миша», где сам нарвался на скандал, когда знакомая продавщица предложила обслужить его вне очереди, а он галантно сказал: «После того, как эта мадам отвалит», что привело мадам в законное негодование:

– Что значит «отвалит»?

Слово за слово – скандал. В таком вот смятении чувств он и вышел из магазина и сел в машину на пассажирское кресло, а водителем у него всегда жена, с которой они официально не женаты, и ее дочки-близнецы давно давят на маму, чтобы та выгнала его из дому, а одна из них даже как-то метнула в него вилкой, но, слава богу, промахнулась, однако выехать не удалось из-за стоящей сзади машины, в которой сидела та самая приблатненная, которую Иосиф в конце концов оглушил затрещиной. Виной отчасти был английский, на котором поначалу объяснялись конфликтующие стороны, и Иосиф, с его богатым, сочным и смелым русским, не мог найти адекватных слов по-английски, а когда перешли на родной язык, в запасе уже не было никаких слов, и он был, как Голем, и вложил перекипающий гнев в затрещину, которая более походила на боксерский удар и свалила незнакомку на мостовую.

– Перед Богом – не прав, – вырвалось у Иосифа, но в мандраже он был не перед Богом, а ввиду предстоящего суда, который по разным причинам все откладывался, и в конце концов Иосиф слег понастоящему.

Нет худа без добра – конфликт со мной из-за слова «несостоявшийся» отступил на задний план. В самом деле, мелочевка. А не была ли эта уличная потасовка на 108-й ответом Иосифа на мое о нем слово, своего рода реваншем за несостоявшуюся жизнь? Пусть перед Богом не прав, но реализовался наконец, вложив в удар весь свой невостребованный потенциал.

А я прав перед Богом, разбрасываясь словами и чихвостя знакомых, живых и мертвых, искусства ради? Не только в мемуарах, но в этом закодированном, но легко узнаваемом рассказе? И за что беру реванш я, сочиняя свою подлую прозу?

P. S. Не то чтобы я кондовый реалист, следующий уставному канону, но жизнь вносит свои коррективы в искусство. Примирение по телефону мне показалось недостаточным, и когда была моя очередь приглашать моих приятелей, и я повел их на бранч в бухарскую забегаловку «Арзу» на Куинс-бульваре, то позвонил и Иосифу, который снова выдал мне за тот самый мемуарный абзац, ему посвященный, и один его аргумент был достаточно убедителен:

– «Ходит в баронах Мюнхгаузенах, что не так», – процитировал он мою книгу. Если не так, зачем упоминать?

В самом деле, зачем? Да потому что он, действительно, самый что ни на есть Мюнхгаузен!

– Патологический тип, – сказал я Саше Гранту. – Он-то сам

верит в то, что говорит? Ну, в то, что был заслан в канцелярию Третьего рейха?

– Как актер, который играет Гамлета, – сказал мне Саша. – Когда я его спросил, сколько же ему было тогда лет, он отрезал: «Сколько надо!»

Что мне, в самом деле, до правдивости его историй, если он сам в них верит и если ловит кайф, их рассказывая? К тому же, он мне нравился, несмотря на свои завиральные байки, а то и благодаря им. Да и барон Мюнхгаузен разве отрицательный персонаж? Поэтому я не очень артачился, когда Иосиф выдавал мне за тот злополучный абзац, и прервал связь, чертыхнувшись, только когда он сказал мне, что «высадил меня из своего дома».

– На необитаемый остров? – успел сострить я, грохнув трубкой.

Минут через пять Иосиф перезвонил и извинился за неверно взятый тон в разговоре, хотя добавил, что в принципе против такой обсирательной литературы. В ответ я извинился за неверно взятый тон в означенном абзаце.

– Я подойду, – милостиво принял он мое приглашение.

В «Арзу» он был подчеркнуто корректен и на редкость молчалив, но пил как лошадь. Первый тост (Саши) был за победу чистого разума, имея в виду нас с Иосифом. Компания подобралась ладная, пара новых людей, одна моя почитательница, мы лопали чебуреки, уйгурские манты и шашлыки всех сортов, жахали водку и обшучивали всё и вся. Один Иосиф угрюмо молчал и пил больше обычного, будучи в сильном напряге – из-за меня или из-за предстоящего суда, не знаю.

Уходя, я договорился с моей почитательницей, что она подбросит безлошадного Иосифа, который к тому времени мирно дрыхнул. Возвратился я с этого бранча рано, часа в четыре, и рухнул в постель. Проснулся через час – обычный распорядок дня: Интернет, новости по Би-си-си, книга (какой-то детектив с исчезнувшей невестой). Телефонный звонок раздался в пол-одиннадцатого: жена Иосифа сказала, что он до сих пор не явился домой. Да, моя почитательница его подвезла к дому, но каким-то странным образом в дом он не попал и где сейчас неизвестно. Стали звонить по знакомым – бесследно. Полиция, больницы, морги – как в воду канул. Я был на середине детектива, когда книга превратилась в реал, только взамен невесты – Иосиф.

Меня грызло чувство вины.

– Разве что ты положил ему мышьяк в чебурек, – успокоил меня Саша Грант.

– Скорее это ты отравил стрихнином «Абсолют», который

притащил с собой, – в тон сказал я.

– Водка нейтрализует любой яд, будучи сама ядом.

Шутливый разговор немного меня успокоил, и я лег спать если не с чистой, то со спокойной совестью, а детектив про исчезнувшую невесту отложил до завтра.

Завтра Иосиф нашелся – заснул во дворике соседнего дома и был обнаружен хозяевами только под утро. Как показала медицинская экспертиза, он был мертв уже несколько часов. Официальная причина: умер от переохлаждения. Не факт. Последнее время его мучила одышка, врачи советовали вставить сердечный костыль, все удивлялись, что он столько пьет, но он ссылался на привычку – начал пить, когда был здоров. Как говорил Сережа Довлатов: кто начал пить, тот будет пить.

А тут еще, под конец, жизнь пошла наперекосяк – уличный скандал с молодухой да мой абзац о нем как несостоявшемся человеке. Вот Иосиф и реализовался, влепив девушке пощечину, и помер, не дожидаясь суда. Не прав перед Богом – Бог его и прибрал, да?

Нет.

Еще один на моей совести.

Скольким людям я принес зло!

Чтобы отвлечься, стал дочитывать крутой детектив об исчезнувшей невесте.

На два дома

Смерть – это то, что бывает с другими.

ИБ

Он лежал на спине, лицом к стене – даже после смерти не простил мне обиды. Потом пришли служки и стали поворачивать его голову, довольно грубо, я боялся, они оторвут ее: а как же rigor mortis, который начинается с затвердения шеи и нижней челюсти? Подложили что-то вроде полотенца, и теперь он лежал своим одутловатым и небритым лицом кверху с закрытыми глазами. Рядом стоял его большой портрет – контраст был разительный: на фото – живой, сущий человек, в гробу – человек бывший, мертвяк. С месяц он валялся в больнице как овощ после двух инсультов и одного инфаркта, а мы следили за его агонией, пока он был в отключке, но Саша Грант сказал, что, придя на мгновение в себя, Осип прошептал «Хайль Гитлер» и снова ушел в несознанку. Чей это был юмор – живого покойника или его с

московской юности приятеля и собутыльника? Саша вытащил коньячную фляжку из коричневого бумажного пакета и протянул мне. Я покачал головой.

– Он бы не отказался, – и кивнул в сторону роскошного лакированного гроба с открытой по грудь крышкой.

Скорее католический, чем православный обычай. У русских гроб открыт полностью – красный, насколько я помню, с белым нарезным бордюрчиком, с цельной крышкой, ее потом забивают гвоздями. У протестантов и евреев покойники покоятся в закрытых гробах. В этом же похоронном доме лежали Сережа Довлатов, Гриша Поляк и вот теперь – Иосиф Кулаков-Рихтер.

А выпить покойник и в самом деле был не дурак, но пил больше, чем мог: начинал за здравие, кончал за упокой. Буквально. Был тонок, остроумен, речист и цитатен в первые часполтора, пел песни, читал стихи, бросал мгновенные реплики, а потом впадал в прострацию, слюни мешались с соплями, которые утирали ему его жена или Саша по старой дружбе. На следующее утро он обязательно мне звонил, беря реванш за свое вчерашнее непотребство, и говорил умно и образно.

Я записывал за ним, а потом разбрасывал по своей прозе или заносил в дневник. С некоторых пор, когда слух стал слабеть, а память сдавать, предпочитаю телефон личным встречам. Тем более с ним – у него был осевший, хрипловатый голос.

Я предварил его смерть рассказом о его смерти, когда он как-то исчез на целую ночь после пьянки, и теперь, когда он умер взаправду, не совсем верил в его смерть, как раньше, когда он пропал, почти поверил, что он умер. А тогда я не знал, печатать мне рассказ или нет, и на всякий случай сделал приписку, которую теперь вычеркиваю:

В самом ли деле он умер? Или это снова игра моего ложного воображения, которое не раз подводило меня? Чувство моей вины, реализовавшееся в его мнимой смерти? Умер или нет? Не умер, так скоро умрет. Как и я. Еще вопрос, кто раньше.

Иногда мне кажется, что я схожу с ума.

Не от того ли у меня теперь холодок равнодушия, что я постепенно привык к его смерти, тем более был в курсе его сердечных хворей, несмотря на которые он продолжал пить, как лошадь, хотя иногда брал себя в руки и выливал на ковер, но потом опять за старое? Жаловался на одышку, с трудом ходил, переваливаясь с боку на бок, как утка, сердечные сосуды были закупорены, как потом выяснилось.

– Я не боюсь смерти, – сказал он мне.

– А чего бояться, мы свое прожили. Лучшие годы позади.

Для страха смерти у меня, как у большинства обывателей, не хватает воображения, которое было в мои вешние годы, когда меня охватывал ужас небытия:

> …мы в детстве ближе к смерти,
> чем в наши зрелые года.

Зато теперь:

> Смерть – это то, что бывает с другими.

Не тавтология ли цитировать в ряд двух одноименных поэтов?

– Вы так думаете? – удивился их тезка с комплексом Жозефа, всю жизнь фантазируя, что бы он мог сделать, и ничего не делал.

Чего он боялся по-настоящему, так это именно смерти, но у него вошло в привычку говорить наоборот. Правду не отличал от вымысла.

Точнее: вымысел и был той единственной правдой, которой он жил.

Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман – вот его исчерпывающая характеристика.

Несостоявшийся или несбыточный – я уже́ не секу разницу. Мой однокашник из Атланты Нома Целесин, с которым мы в тесной емельной переписке, объяснил мне, когда я поведал ему эту историю, которую пишу:

Я твоего приятеля не знаю, поэтому могу порассуждать всуе.

Не мне тебе говорить, сколько талантов (и в науке-инженерии тоже: лаборатории полны техниками, которые должны были стать академиками) распылились на недисциплинированные разговоры и аттракционы, и потому не рассматриваются окружающими как «сбывшиеся».

А должны ли были они сбываться? Они никому не обязаны (были) так сбываться. Но и жить в мире с собой (или с бабами, которые ждут от мужика «сбыться») твой приятель не мог.

Такая вот модель (одна из возможных).

А «несбыточный» – это другое. Тут обижаться на себя или на других не стоит: ну, нет руки – что ж тут поделаешь: калека. Я вот ни на кого не обижаюсь, что я не Пушкин (или кто другой), – умный!

Народу на панихиду пришло мало, что естественно – Осипу было 68, и наше поколение стремительно редело, а кто нам еще годится в друзья-приятели-плакальщики, кроме ровесников?

Вот я и припомнил по ближайшей аналогии джондонновское «По ком звонит колокол» и, будучи на пару лет моложе покойника, последнюю строку тютчевского стихотворения на смерть старшего брата: «На роковой стою очереди».

– Поколение сходит, – шепнул я Лене Довлатовой.

– Уже сошло, – поправила она меня.

– Центровики ушли, – уточнила Лена Клепикова, имея в виду Бродского и Довлатова.

Хоть и необязательно умирать так рано, как Осип, и это в Америке, где благодаря фармацевтике и медицине вытягивают далеко под и за 80. Вот надгробное слово произносит Феликс Круль, на червонец старше. Феликсом Крулем я его называю условно – он антикваравантюрист: там и здесь специализировался по картинам, по рукописям. Сам я решил не выступать, зато пишу. Потому и промолчал, что в уме уже складывались коленца этого посмертного сюжета (если вытяну).

– Если бы он выжил, я бы его собственными руками придушила, – сказала Сашина жена, которая была знакома с обеими женами покойника, но была уверена, что одна бывшая, а другая сущая, не подозревая об их одновременном сосуществовании. – Как он ухитрился всех провести!

– Особенно их, – добавил Саша и снова протянул мне фляжку.

Я сделал большой глоток.

Они узнали о существовании друг друга и познакомились только у смертного одра общего мужа. Оля, с которой Осип появлялся в нашей компании, пришла в больницу и увидела, как незнакомка, приподняв простыню, щупала его грудь. Как выяснилось, первая, законная жена.

Я один знал правду. Но не всю. Осип был прав, когда упрекнул меня:

– Я вам доверился, а вы меня кинули.

Как-то Осип позвал меня в гости одного, и сам был один, и рассказал, что живет на два дома: три дня проводит у одной жены, а три дня у другой:

– Видите, я говорю вам правду.

Что с ним случалось крайне редко.

Обеим женам он вешал лапшу на уши, объясняя свое трехдневное отсутствие тем, что работает на полставки на ЦРУ в Нью-Джерси и там у него кабинет со спальней. Но об этой церэушной детали я узнал позже.

– И день ходит налево, – подсчитал Саша, который на

панихиде был веселее, чем обычно – с кем теперь он будет совершать свои ежедневные возлияния?

– А где живет другая жена? – спросил я тогда у Осипа.

– В Астории.

– Удобно – рядом.

С Олей Осип жил в Форест-Хиллсе. Я часто у них бывал – до нашей с ним размолвки. Он отменно и утонченно готовил – всё сам, не подпуская Олю. Небольшая съемная квартира на втором этаже принадлежащего ирландцу дома была обставлена с большим вкусом – хорошие ковры, старинная или под старинную мебель, классные репродукции с отличных картин. Увы, не знаю, как он оформил их квартиру с первой женой.

Отпевали его на Куинс-бульваре, в Рего-Парке, откуда я три года назад удрал во Флашинг. Всё – тот же Куинс, спальный район Большого Яблока, как не знаю почему именуют Нью-Йорк. Через квартал от молельного дома – ресторан «Эмералд», бывший «Милано», где мы с Осипом часто бывали на общих тусах и юбилеях. Откуда, кстати, у здешних наших евреев жесты русских купцов, когда они суют под деку скрипки баксы в благодарность за схваченный кайф? Незадолго до его инсульта мы планировали в «Эмералде» очередной бранч с его участием, хоть мы с ним и не совсем помирились, но не изгонять же из пула одного из нас. Из-за чего мы повздорили?

Всему виной мой длинный язык.

– А как звать? – спросил я его про законную жену.

– Эля.

– Не путаете? Эля – Оля…

– Это не так легко, как вы думаете, – вздохнул Осип.

– Еще бы.

– Теперь все стало на свои места, – шепнула мне знакомая, имени которой я так и не вспомнил, но поговаривали о ее кратковременном романе с Осипом. Он был ходун.

Даже моя жена, за которой Осип приударял у меня на глазах – до меня долетало его осипшее (случайный каламбур) «Ведь мы же любим друг друга…» – со вздохом сказала мне тогда, что это ее последний ухажер. Их у нее было навалом, но досталась, в конце концов, мне. Может, и не по чину. Задача была не из простых. Я часто думаю, что не сто́ю ее.

Вот бы собрать здесь всех реальных и воображаемых возлюбленных Осипа! С первой его женой я не был знаком, Осип учился с ней в архитектурном в Москве – матерщица и истеричка в молодости, а с годами подалась в религию: какая-то церковь в Джамайке, Св. Троицы, кажется. Вторая жена была моложе его лет на 20, и одна из ее близняшек подростком метала в Осипа вилку

– так ненавидела. У себя в Баку Оля была музыкантшей, а здесь – хоуматендентша. Миловидна, у ее родаков до женитьбы была одна фамилия «Израиль» – никому не пришлось менять паспорт. На наших посиделках она обычно помалкивала, а если и вякала, то невпопад и краснела. Осип, однако, говорил о ней, что она адекватный человек, и он не адаптирует речь, разговаривая с ней. О Сашиной беспородной собаке он сказал, что дворняга – дитя любви, зато Санину жену крепко не любил (как и она его):

– Сидит с кривой рожей…

– Когда врешь по телефону, что Саши нет дома, не обязательно делать х*иную морду…

Однако именно Сашина жена обзванивала всех, мне позвонила рано утром, еще не было восьми:

– Умер?

– Откуда ты знаешь? Ночью.

Потом она, сама еле живая, занималась всей этой отпевально-погребальной херней, а на мой вопрос, где же жены покойника, Саша сказал:

– Им некогда. Они убиты горем и утешают друг друга.

И она же стояла теперь у входа и собирала конверты с взносами, чтобы возместить потраченные восемь тысяч (покойник и меня ввел в расход). Однако злая на язык упомянутая гипотетическая любовница Осипа не преминула сказать о ней:

– Стоит здесь роднее родственников.

Вот реплики Осипа, которые я теперь выборочно выписываю из дневника:

– Антисемитская жена.

– В хорошем смысле еврей (то есть еврей без дураков).

– Виделся на проходах, в гостях друг у друга не были…

– Я прервусь, кто-то звонит.

По поводу моей бороды (лень бриться), которая, по словам Лены, меня старит:

– Борода вас молодит.

То есть скрывает морщины и проч., а бороду ведь может носить и юноша.

– Беседа пошла не по резьбе.

Это когда я начинал спорить, защищая от него Набокова, Бродского, Довлатова или Лимонова.

Тяжелый, закомплексованный характер. Я уже писал: виной тому, сам того не подозревая, Бродский, ровесник и тезка. Был не только зол, но и злоязык – отрицал всех иммигрантов и невозвращенцев, кто достиг прижизненной, как Бродский, или посмертной, как Довлатов, славы. Обоих ругмя ругал, костил почем зря по русскому телевидению справедливо или нет, но

каждый раз неуместно: в годовщину смерти каждого. Господи, сколько уже минуло, как Сережи и Оси нет с нами!

Лена Довлатова обиделась – была права. Перестала с ним общаться, только холодно раскланивалась на проходах, но на панихиду пришла и вручила Вере конверт со своим взносом.

А что он говорил обо мне, когда мы разбежались?

Ценил чужие словечки и несколько раз вспоминал, как я спросил его по телефону, когда Оля укатила на неделю к родственникам в Израиль:

– Ну, как вы одиночествуете?

– Звучит забойно.

Откуда мне было тогда знать, что он не одиночествовал, имея запасную жену с квартирой в Астории?

Вторая жена припозднилась часа на три и явилась с благостной лучезарной улыбкой, притащив за собой хвост джамайкских соцерковников, в основном молодых негров, испанцев, индусов и уж не знаю кого там еще. Зал сразу же распался на два лагеря: слева – первая жена со товарищи по джамайкской церкви, справа – мы, но я поглядывал в сторону молодняка – и было на что! – жадным взором василиска отобрав парочку пригожих смуглых прихожанок. Откуда-то явился гитарист и стал перебирать струны, пока не нашел мелодию, и джамайкцы, взявшись за руки, пустились в пляс у гроба и запели духовные гимны – я разобрал только «Адоная». Наши – в основном, невоцерковленные, а то и безверные иудеи шепотом возмущались, а я слушал и глядел с любопытством: панихида превращалась в фарс. А как ко всему этому отнесся двойной Осип, в гробу и на фотографии? Один слушал, а другой глядел.

В присутствии первой (она же законная) жены, Оля чувствовала себя неловко – как разлучница и лжежена. Я собрался уходить и прижал ее к себе.

– Такой был человек, – сказала она потерянно. – Теперь надо привыкать быть одной.

Поминки отпадали, потому что кому же из жен их устраивать?

Расходясь, мы договаривались с Сашей, когда встретимся.

– Что ты, бедный, будешь теперь делать?

– Пить вдвое больше: за себя и за друга.

– Только не восьмого, – вспомнил я. – Восьмого я в «Эмералде» на юбилее.

– У кого?

– Гордона знаешь? У него юбилей. Он меня одним из первых в Москве напечатал, хоть сам отсюда, но бизнес там.

– Кто ж тебя только не печатал! Разве что Иван

Первопечатник.

– А его тезка Иоганн Гутенберг?

– Я о наших говорю.

– На России свет клином не сошелся.

На похороны – на следующий день – я не пошел, да меня никто и не звал. В отличие от живых, покойники не обижаются.

Пусть мертвые хоронят своих мертвецов.

В конце концов, какая разница из-за чего мы с ним за пару месяцев до его смерти разошлись?

См. предыдущий сказ «Перед Богом – не прав».

Упущенный шанс
Прощальный сказ

Легкой жизни я просил у Бога.
Легкой смерти надо бы просить.

С. С. Тхоржевский

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.

ИБ

Над Нью-Йорком в тот вечер пронесся 80-мильный в час торнадо, смерч закрутил даже над Статуей свободы, а он как раз только переехал Куинсовский мост, когда все это безобразие началось, и попал в самый эпицентр: на землю с грохотом сигали светофоры, падали двуглавые фонари и, повиснув над своим основанием, держались на одной проводке, а деревья, те вырывало с корнем, перегораживая дорогу. На его машину бухались ветки – ветровое стекло пошло трещиной. Свисали электрические провода, машины замирали: откуда знать, крытые или оголенные? Ему как-то особенно повезло: как раз на его пути прокладывал себе дорогу этот шквал и длился от силы минут десять, но бед натворил – караул! На памяти старожилов ничего подобного не было, такие стихийные беды происходили где-то в далеких штатах, типа Канзаса, откуда унесло сиротку Дороти в страну Оз. Рядом с ним сидел еще один человек, в полной панике он непрерывно звонил по мобильнику жене, детям, родственникам, друзьям и знакомым и кричал в трубку по-русски, по-английски, на фарси и на иврите: «Конец света! Гибнут два еврея!»

Хоть он и опоздал домой на пару часов, но зрелище того стоило – прикольное и незабываемое, если ему суждено прожить

еще некоторое время. Страха не было, хотя ситуация была, в самом деле, апокалиптической, под стать его катастрофическому сознанию, и несколько человек, как он узнал потом, погибли, а пострадали – многие. Грудь ему обложило, как обручем, когда он был всего в получасе, по прежним меркам, от дома, успев ссадить трясущегося от страха бухарика, буря кончилась, но движение остановилось как вкопанное – такая пробка, что трафик превратился в сплошную стоянку. Сначала он сглотнул два тайленола и только потом положил под язык нитро. Как всегда, ударило в голову, а вслед стало медленно отпускать грудь. Но не полностью, и когда таблетка, пощипывая язык, стаяла, он сунул для верности еще одну.

С ним это случалось и прежде – не первый звонок на тот свет, но на этот раз приступ был сильнее и дольше. Он боялся – и надеялся – вот так внезапно умереть: за рулем, на дружеской тусе или на лесной тропе, а был он большой ходок по диким местам. Как умер Бродский, упав на выходе из своей комнаты и разбив очки, хотя сам себя предупреждал: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» Либо во сне. Он помнил дефиницию такой вот неожиданной смерти: вытянуть счастливый билет, а еще раньше, в его далеком-предалеком московском детстве, пенсионеры говорили, что умереть во сне – выиграть 100 тысяч.

Имелась, по-видимому, в виду облигация государственного займа, а это был высший, точнее несуществующий в реальности, а только обозначаемый властями предельный, виртуальный выигрыш. Как ни называй, а природа давала своим смертным чадам этот шанс, хоть один только Бог знает, что испытывает этот счастливчик во сне или наяву, пораженный мгновенным столбняком смерти, и не тянется ли это последнее мгновение жизни для умирающего бесконечно. Ничто не кончается с последним вздохом, даже если по ту сторону и нет ничего, но время по эту течет с разной скоростью, и умереть сразу – это только на взгляд со стороны. Но и что та́м – под большим вопросом. Как сказал кто-то: «Неужто ничто?» И как ответил некто: «Великое ничто».

Эта сверлящая с детства мысль: ты ничто, ты нигде, а мир продолжает существовать без тебя, как ни в чем не бывало. Но ведь так же он существовал и до твоего появления на свет, и обе бездны, стоит задуматься, должны быть одинаково невыносимы, да? Почему же мы живем как ни в чем не бывало, зная о той былой бесконечной конечности, и только эту, грядущую, ожидаем в страхе? Хотя тот первобытный ужас, который впервые пронзил его в детстве при одной только мысли о беспределе, где его уже никогда не будет, больше к нему не возвращался, даже когда он

пытался вызвать его искусственно. Это была скорее загнанная в подсознанку память об ужасе, чем сам ужас. Страх – да, но не жуть и не паника, как прежде. И когда он, незнамо почему, подчинился врачам, которые полагали эту операцию неизбежной, необходимой и рутинной и означали ее эвфемизмом «процедура» (а что тогда операция, когда ему даже ноги накрепко перетянули ремнем, чтобы он не дергался от боли?), то с напускным равнодушием, скорее красного словца ради, сказал своей недавней подружке, что всё лучшее и худшее у него уже позади, она ответила:

– Кто знает.

– В смысле? – не понял он эту вполне матерьяльную и ядреную женщину со стальными нервами, закаленными сначала с отцомалкашем, а потом с мужем-алкашем. Он ее так и назвал «Как закалялась сталь» – родом была из трижды переименованного города. Нет, не Петербург – Петроград – Ленинград – Петербург.

– Ну, там… Post mortem.

Это она ему сказала, когда он психанул – все равно теперь, по какому поводу, да он уже и не помнит:

– Я знала, что евреи чувствительный народ, но чтобы до такой степени…

– А ты видела хоть одного еврея в своем Сталинграде?

– Нет. Только антисемитов. Зато здесь – навалом.

– У тебя были операции раньше? – спросила у него миловидная чернокожая сестричка, когда он лежал под капельницей, ожидая своей очереди.

– Гланды, геморрой, аденома, – не сразу припомнил он. – Эта – четвертая.

Ему и месяц-день-год его рождения давались теперь не автоматом.

То, что ему делали с его аденомой, тоже называлось «процедурой».

А как называлось удаление в детстве миндалин, которое он до сих пор помнил, как единственный родительский обман – папа держал его на коленях и сказал, что доктор только заглянет ему в горло? И вот сейчас его снова надули с этой клятой пружинкой в правой артерии у самогосамого сердца.

Уже когда его везли в операционную на стентирование, он успел мстительно, злобно шепнуть жене:

– Выживу или стану калекой, не клянись больше никогда моим здоровьем, очень тебя прошу, – припомнив ее клятвы, когда он пытал, мучил, изводил ее своей хронической, застарелой ревностью, заставляя, скорее всего, играть чужие и чуждые ей

роли, читал ли книги или смотрел кино с сюжетами про измену: по аналогии, хоть, может, и не ее амплуа. Как знать – кто еще так беспомощен, как ревнивец? Как беспомощна сама ревность, не отличая игру воображения от действительности, которая то ли есть, то ли нет. Как проста измена: пара минут – и готово. «Ты меня совсем не знаешь, забыл, ты же не сомневался раньше» – и уверяла, клялась в своей верности, и он верил и не верил ей, пока ему не стало без разницы, узнай он даже, к несказанному своему удивлению, что она оторвалась по полной и у нее богатый сексуальный опыт, которого у нее по-любому не было. Да и поздно заморачиваться на этот счет, да? «Сейчас-то что?» – говорит она, полагая прошлое само по себе небывшим, а он ей цитатой все из того же поэта, их общего друга, к которому он никогда не ревновал – никогда?

> В прошлом те, кого любишь, не умирают!
> В прошлом они изменяют…

Не принимай он все так близко к сердцу и не вибрируй по любому поводу, то сердце, наверное, и не износилось бы раньше времени, хотя, с другой стороны, измотанное, оно свое отслужило. А если даже разок-другой, вряд ли больше, жена распорядилась своим телом по собственному усмотрению, так не по умыслу же, а по естеству, о нем даже в тот момент не думая – с кем не бывает? Было бы даже странно, если бы этого ни разу не случилось. Но зачем тогда она притворяется пушистой? Чтобы соответствовать его о ней представлениям? Его обманывать не надо – он сам обманываться рад, да? Почему ему можно ходить налево до сих пор, а ей нельзя? В любом случае, счет в его пользу – и с каким разрывом! Давно уже перебесился и из большого секса отвалил, а если и заходил случайно, то, как в том анекдоте, забыл, зачем пришел: кончился завод, сели батарейки, а искусственно взнуздывать себя виагрой – не дело. И ему, и ей хватало, когда на них время от времени накатывало сексуальное вдохновение: из большого секса он перешел в малый секс. Когда он спросил своего врача, тот сказал:

– Не больше двух раз в день.

Все это время, пока его спасали от смерти, чему и в которую он не верил, полагая себя объектом, с одной стороны, американской моды на агрессивное сердечно-сосудистое лечение с предрешенным диагнозом, а с другой – заговора врачей, которые липли к нему, как мухи, по причине надежной страховки (если даже операций на открытом сердце три четверти делают без необходимости!), она вела себя героически, не отходя ни на шаг.

Спасибо. У него все сместилось во времени, путался в хронологии и, глядя на ее моложавый вид и милую мордочку, в упор не понимал, как она, тогдашняя, совсем еще юная, пошла за него, сегодняшнего, старика и калеку? Он виноват, что состарился задолго за нее?

Зато молодит ее своей любовью.

Это именно она авторитарно уломала его на эту операцию, а он, будучи подкаблучником-бунтовщиком, на этот раз не успел даже взбрыкнуть и попался, как кур в ощип. «Не дави на меня» – его обычная присказка, а она прессовала по любому поводу, но тут прогнулся под ее командным стилем, а так бы счастливо умер на горной тропе или на дружеской вечеринке да хоть на ней в их привычной пасторской позе или с любой другой во время оргазма: смерть как высшая услада. Без никаких «почему». Не говоря уже о послеоперационном дискомфорте плюс возможные боковые последствия в течение года: вставленный ему в артерию стент был покрыт фармацевтикой и источал лекарственный препарат, что, с одной стороны, вроде бы хорошо, а с другой – могло привести к тромбу и смерти.

Когда лежал отходняком и еле скрипел, соседом по палате оказался экзот – дремучий дед в островерхом колпаке и с седой бородищей поверх одеяла, ну, вылитый библейский персонаж с картины Пьеро делла Франчески. Представился ортодоксальным евреем с Кавказа и первым делом поинтересовался у него, еврей ли. Ел только глад кошер, тогда как он – нет худа без добра – успел в тот день побывать в итальянском ресторане: чесночный хлеб, паста, равиоли и даже креветки fra diavolo – как недавно во французском, когда летел на Air France, тогда как в натуре, в самих этих странах, тарелка чего угодно стоит полтинник, а кофе – червонец. Ну что общего между ними, двумя евреями?

– Th ey are both Russians, – обменивались впечатлениями медсестрички, проходя мимо их палаты.

Нет, больше он не дастся – на повторную или корректирующую операцию ни в какую не пойдет. Да и на эту не пошел бы, знай заранее во всех подробностях о ее реальных прелестях и возможных последствиях.

– Ты почему мне не сказал? – накинулся он на своего врача, из наших, на русской улице.

– Потому и не сказал, что ты бы не пошел, а тебе позарез: 95 % артерии было забито. Без никакого просвета. Ты хотел бы умереть?

– Почему нет? Натуральным путем. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

– Ты бы умер на корячках. Не вые**вайся – иди, как все, по

камням. На самом краю был. Твой удел был разрыв сердца.

– Это как раз то, что было нужно. А теперь еле хожу. Все тело – сплошная боль. Голова раскалывается. Дергает всю левую часть – от виска до затылка. Может, это гемикрания, как у булгаковского Понтия Пилата? Боль, к которой невозможно привыкнуть. К вечеру дурею.

– Воспаление нерва, – предполагает врач и всаживает в голову и шею по уколу.

– Второй – контрольный?

– Не жалься – не смертельно же.

– Смерть – лучший врач, и у каждого врача – свое персональное кладбище. У тебя – тоже. Там и ждет теперь меня могила, а я жду ее здесь: оба – с растущим нетерпением. Заждались.

– Дурень – умереть всегда успеешь. Не умирай раньше смерти. Если бы не стент, мы бы сегодня не встретились.

– Велика беда! Встретились бы после смерти.

– И не узнали бы друг друга.

– Лечение хуже болезни.

– Тяжело в лечении – легко в гробу, – сказал врач и послал к психиатру, и тот выписал мощный антидепрессант.

Да, депрессия, кто спорит? Депрессия как норма. Как еще реагировать на эту жизнь? Адекватная реакция. А психиатр еще спрашивает о суицидальных мыслях – каждый божий день! Вопрос как: каким способом?

Одновременно – по много раз в день эрекция и невозможность ею воспользоваться даже с женой: столько в его теле болевых точек, в том числе – в бедре, у мошонки, куда вводили через полтела катетер с баллончиком и стентом из разных металлов, и он теперь прихрамывал, как Иаков после ночной дуэли с Богом. Но Иаков окреп в этом поединке, побежденный Высшим Началом, как Рильке удачно выразился, а он ослаб в этой безнадежной для него борьбе с врачами – все они были безупречны и безотказны, и он должен бы их благодарить в первую очередь за это болезненное, ненужное и, кто знает, судьбоносное вмешательство в его ветхий организм: был здоровый больной человек, а стал больной-больной человек, а что член эрегирует – естественно, даже если его владелец (хотя кто кем владеет – вопрос) испускает дух: последняя возможность забросить свое семя в будущее. Он мог бы, конечно, попросить жену сделать ему минет, но так уж у них повелось с самого начала, что оралкой занимался обычно он, боготворя ее кисленькое ущельице, ее любимую, влажную и родную писю и не представляя, что там мог побывать кто-то еще – все равно тогда,

что сосать чужой хер, и она вынуждена была соответствовать этим его инфантильным и старомодным представлениям, даже если кто и отодрал ее пару раз. Или она его – почему баба всегда выступает в страдательно-сострадательном образе, тогда как она хочет того же, а по природному назначению куда нетерпеливей, чем мужик? Да и что такое по сути бабья похоть? Отбор самца-производителя для будущего потомства.

А у нее самой, из-за приставаний отца и детской памяти о его вздыбленном и нацеленном в ее щелку безжалостном багрово-синем и огромном, каковых больше никогда не видела, страх, ужас, стойкая идиосинкразия на мужской таран, хотя, когда уже он, муж, всаживал ей, она сама помогала ему и втягивала в себя как можно глубже, а оральный секс – его ей – был только преамбулой. И вот теперь вынужден простаивать и терпеть – и она, бедняжка, с ним. То есть без него. А привыкли к ежедневным упражнениям – когда-то, ненасытные, по много раз в день. Сама виновата – уболтала его на операцию, а он, любя ее, потерял волю к сопротивлению, дал слабину.

Обратиться к этой его новенькой одноразовой герле, которую он подцепил в кардиологическом центре, где она делала ему ЭКГ? В таком вот немощном виде да еще с расползшимся по всему бедру синяком от гематомы на месте пункции артерии, где вводили этот клятый баллончик с обложенной лекарствами пружинкой – ни в коем разе. Хоть она сама по профессии медсестра, да по характеру, как и положено медсестрам, снисходительна, терпелива и милосердна. Да и жизнь ее научила и приучила к долготерпию, а досталось ей – дай бог: мужик, который привез ее в Америку, – эпилептик и алкоголик. В эпилепсии признался – она пошла на это, но согласилась бы она выйти за алкаша, который, напившись, круто, неузнаваемо менял свой образ: из доктора Джекилла в мистера Хайда? А так был тонкий, чувствительный, но жить с ним невозможно именно из-за этого его раздвоения – все равно, что жить с двумя одновременно. Вот они и жили не только на два дома, но и на два города: она с сыном и мамой в Нью-Йорке, он в Вашингтоне, работая там в Госдепартаменте, или, как выразилась она, свежая американочка:

– В Министерстве иностранных дел.

И рассказывала, рассказывала, рассказывала о своей горемычной – с юности он умел слушать. Многие его романы так и начались – с женских рассказов. Даже когда ему рассказывали о неудачных любовях, и он приходил с утешением, которое естественно как-то переходило в секс. Как священники, принимающие сквозь решетку исповеди грешниц, и психоаналитики с пациентками на кушетках – или им нельзя?

– Сколько можно терпеть? – спросила эта сухоглазка, почти разведенка, соломенная вдова, рассказывая ему свою историю, пока делала электрокардиограмму. Он в ответ – цитатой:

> Поскольку боль – не нарушенье правил:
> страданье есть
> способность тел,
> и человек есть испытатель боли.
> Но то ли свой ему неведом, то ли
> ее предел.

Теперь это идеально подходит к нему. Один к одному. Как сказал его любимый, пусть и не самый, философ, «Не плачь о других – плачь о самом себе». Или опять же Бродский: «Большая элегия Джону Донну?»

Либо сам Джон Донн, он же – Хемингуэй: по ком звонит колокол?

Они спарились в первый же день, паче жила она в шаговой доступности от кардиологического центра, от которого он и доковылял пешедралом, хотя каждый квартал давался ему теперь с трудом. Жена немного удивилась – и только, – что он задержался. Ненадолго – сделались по-быстрому, потому что должны были вернуться с прогулки сталинградская бабушка с нью-йоркским внуком, о чем он был заранее предупрежден, а он терпеть не мог секс с оглядкой на часы: достаточно в его жизни алармизма. Как писал тот же Бродский – чего это он сегодня навяз в зубах? – в своем предсмертном стихе: Загорелый подросток, выбежавший в переднюю, у вас отбирает будущее, стоя в одних трусах.

В постели она удивила его. На вид тихая, послушная, даже немного жалкая, она так застоялась в безмужии, что быстро перехватила инициативу и вые*ла его круто, по-черному, высосав всю мужскую силу – ему и делать ничего не пришлось. Плюс саундтрек: то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя. Ну, чистая хуйвейбинка. Или как здесь говорят, доминатрикс – доминантная фигура в садомазохистских играх. Да он и чувствовал себя с ней не мужиком, а бабой: изнасилованной. Даже кондом с усиками и крупной насечкой для него припасла. Или для кого угодно – без разницы? С тех пор ему снятся кошмары, что его насилуют, и он дико возбуждается. Вот уж у кого разиня, так это у нее – другого слова не подберешь, хотя синонимов тьма. В юности жил по частушке: «Дай потрогать за пи*день», но давно уже перестал удивляться тому, что у них между ног, секс перестал быть тайной, подобно смерти, к тому

же, она выбрила все себе там, ни единого волоска, тем более – заветной рощицы, никаких сказок Венского леса, какая там тайна: одна голая мокрощелка. Вот именно:

Красавице платье задрав,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.

Без вопросов.

Да еще втык получил: «Ты меня не догоняешь», хотя с другими бабами у него случалось наоборот: он кончал, едва успев их возбудить. Эта не то чтобы не удовлетворила, но ухайдакала под завязку – еле ноги унес. А если бы время у них было немереное? Не дай бог. Признавала только жесткий, чистый, генитальный секс. Нимфоманка по природе или поневоле – по причине сексуального простоя? При снайперском взгляде во всех других отношениях, ему редко когда удавалось угадать в женщине женщину. Вот они идут, сидят, едят, болтают, а что у них творится между ног, какие они в деле? Он вспомнил чей-то гениальный рассказ о шотландском подростке, которого ночью в парке насилует незнакомка-невидимка, и наутро он гадает, кто из его кузенш, и отгадывает неверно: старшая – надменная, резкая, неприступная Марго, а оказывается младшая – мягкая, нежная, ласковая Элизабет, на которую он не обращает внимания, влюбляясь в гордый призрак. В своих догадках мальчик пошел по одному контрастному пути, романтически ложному (неприступность – похоть), а тут контраст – связь: нежность – страсть. Жгучая, мучительная какая-то связь-тайна, как между женскими глазами и гениталиями.

– Предпочитаю таинственную связь между ее глазами и моими гениталиями, – поправил его бывший однокашник-однофразник, подпитка его стареющей прозы.

– Ты эготист и эгоцентрик, из своего х*я сотворил себе кумир, а я к своему равнодушен. Я в отпаде от их – глаз и гениталий.

– Обвинение признаю, исправиться не обещаю (уже времени нет).

Вот тебе поиск на тему «глаза и гениталии». Повеселись! Когда, например, при первом беглом взгляде бабуина-самца на самку, он видел ее гениталии, у него происходило пять эякуляций. А вот когда он сначала смотрел в ее глаза – прежде, чем увидеть ее половые органы – происходила 21 эякуляция. Возможно, именно глаза – а не сердце, гениталии или мозг…

Открыл наугад Google на означенную тему и тут же напоролся на собственный опус с посвящением внуку. Вот те на! А внук-то здесь при чем? И усеченная цитата: «Думаю, что и

женщины как-то расслабляются от собственных слез – вот и еще один путь от глаз до гениталий.

Помню, однажды, в далекой молодости…»

– Ухо! Ты забыл про ухо! – продолжал атаку его приятель.

– Само ухо – нет, а за ухом – да: эрогенная зона.

Если б кто сторонний прочел их эпистоляриум по мылу – полный абзац! Емельная переписка двух умирающих авгуров. А возбуждает.

В самом деле, что стоит его новой милке отсосать ему, коли у него на почве физических и эмоциональных переживаний очевидный приапизм, но он не может принять ни одну из более традиционных е*альных поз – тем более соответствовать ее безмерному сексуальному аппетиту? Пусть не по страсти, так хотя бы из сострадания – как женщина и медсестра? А уж он в долгу не останется и отплатит ей сторицей, когда/ если придет в себя. Точнее – постарается ей соответствовать, коли она вертит мужиком, как хочет, и все, что тому остается – по мере сил соответствовать.

Где-то на глубине памяти он все еще держал женщину-мужчину за слабый-сильный пол, хотя феминистская рокировка произошла давным-давно, бесповоротно и кто кого е*ёт – сам черт не разберет. Если даже его жена с годами стала забывать о своей девичье-стыдливой кротости, и ее потянуло к сексуальному разнообразию, а то и на сторону, пусть она, скорее всего, изменяла ему только с ним самим, но множество раз, хотя кто знает, но так или иначе, пройдя сквозь ад отцовских атак и еще неизвестно (мужу), чем они кончились, и найдя сексуальную гавань в супружестве, она ухитрилась загнать тот свой детский опыт глубоко в подсознанку, чтобы не мешал ни влюбчивости, ни любопытству, ни страсти, ни похоти – она и сама не могла отличить, что испытывала при встречах со своими воображаемыми, виртуальными, а может, и реальными партнерами. Но поводов для ревности она давала немного, а если прокалывалась, то разве что по рассеянности или оплошности. Было бы в высшей степени несправедливо ревновать к ее все-таки гипотетическим любовникам, когда он сам ходил налево и даже не считал нужным скрывать от нее, да ее и не больно трогало – лишь бы соблюдал правила гигиены и приличия: ну, не трахался бы с общими знакомыми. Чего он и не делал за одним-единственным досадным исключением: замнем для ясности.

Сама-то она, что бы с ней на стороне ни случилось, делала вид, что ничего не случилось. Может, и в самом деле ничего, да и не представить ее за этим занятием с другим, если только по недостатку у него фантазии. Но чтобы она так и прошла по жизни

ни разу ни с кем, кроме него – это при ее-то влюбчивости и слабости – нет, не на передок, а на выпивку! «Сама она, видимо, там, где выпьет» – все из того же давно уже покойного поэта, на его стихах взошло его поколение, а теперь оно вымирает, и в могилах его сверстников куда больше, чем в жизни. Вот он и спрашивал себя все чаще и чаще: чего ему отсвечивать? Тем более в новую эпоху он не вписывался, чувствовал себя неуютно, попадал впросак, был неадекватен, выпал из времени. Пора и честь знать. Даже его ревность к жене из морока, а когда и любовного вдохновения стала какой-то рудиментарной, рациональной, умозрительной, равнодушной, из чистого любопытства, что ли: обломилось ей или нет? Из живых чувств была только ревность, а теперь и ее нет. Не ревность, а пародия ревности – прежней, горячей, испепеляющей.

Да, выпив, она без тормозов! Уболтать тогда ее ничего не стоит. Могла и не помнить потом, как напоенный Лот, переспав с дочерьми. Ему, своему будущему мужу, задолго до замужества, она дала, а он не считал себя лучшим из тех, кто к ней подваливал, то почему должна была отказать другому, лучшему, чем он? Если ему ни одна не отказывала, то почему она должна была отказать самому любезному или настойчивому? В уме он держал списочек с полдюжины самцов, возможных ее партнеров, хотя и допускал, что она могла перепихнуться спьяну с кем-то, кого он не знал или не подозревал. Отбесновался – еще один анекдот, про жену Шекспира, которая признается ему в изменах: «Ой, вот только не надо делать из этого трагедию!» Он и не делал, а теперь и вовсе не до того, какое это имеет значение, когда он инвалид, и даже его однокашник с другого конца Америки – как их всех раскидало! – поздравляет-подъ*бывает его с первым искусственным членом: пружинкой в артерии?

«Удачлив ты, дорогой, что вышел живым из леса! Симбиоз наук уже позволяет принять концепцию моего автомеханика – продлевать жизнь своим подопечным машинам практически до бесконечности (пока от первоначальной машины и частей не останется). Но… сооружение-то функционирует. Чего и тебе желаю».

Функционирует? Один только член и функционирует, но что проку, когда все тело сплошная боль и не использовать его по назначению, всадив, куда следует?

Возраст его возлюбленных уменьшался: сначала ровесницы, а иногда и постарше, потом те, кто годился ему в дочери, но теперь он балдел и от «внучек», не решаясь их кадрить, только вокруг да около. Как раз сталинградке был, наверное, тридцатник, плюс-минус, скорее плюс, но она сохранила молодую угловатость,

застенчивость и болтливость, да еще он тяготел к славянкам ее типа, начиная с жены, в которую влюбился, когда та еще была с тонкой-тонкой талией и толстенной девичьей косой до колен. Не живя с мужем уже два года и не имея любовников, сталинградка так изголодалась, что прямо-таки исходила влагой, и в первую встречу, оседлав его между бедер, безжалостно оттрахала. А что жалеть? Они не были увлечены друг другом, но чисто физически он был ей нужнее, потому что у него всегда была под боком, на подхвате, жена, которая, хоть и привыкла к нему физически, всегда не прочь. Она знала обо всех его связях на стороне, объясняя их чисто физиологической потребностью и никогда не сомневаясь в его любви, хоть они и терлись жопа к жопе и порядком надоели друг другу. Вот за чем он гнался в своих мимолетных связях – к новизне, хоть и не преувеличивая особо отличия того, что у них между ног. Любовь у него случилась только однажды, в далекой юности, к своей будущей жене, и лучшим любовным стихотворением считал пастернаковский «Марбург»

– Ну, там все немцы знают этот стих наизусть? – спросил он вернувшегося из поездки в Германию бывшего одноклассника. – Марбург уже переименован в Пастернак?

– Пастернакбург, – сказал тот.

Вдобавок, а может быть, главное – его ненасытное писательское любопытство. Он истосковался по новым сюжетам, как его новая пассия родом из Сталинграда – по мужику. Она и трахала его, как бабу, хоть он и чувствовал всегда себя мужчиной и даже гордился своим однозначно мужским началом. Комплексов – никаких, хотя у жены и был комплекс его неполноценности: размер хера, который она сравнивала с отцовским, не врубаясь, что тот она видела ребенком, детскими глазенками, а мужнин – женщиной.

Бриться он с недавних пор перестал – не потому даже, что опустился и лень, а чтобы соответствовать своему состоянию, а то и казаться старее. Жена терпеть не могла его в бороде, а сталинградка, наоборот, сказала, что ему идет и молодит. «В каком смысле? – удивился он. – Ну, морщин не видно. И щекотно, приятно». Тронуло, и в благодарность он свел ее в самый дорогой из ближайших – французско-русский – ресторан, где она заказала самое дешевое блюдо. Скромница – скоромница. У него даже встал, когда он, глядя на нее, вяло водившую вилкой по тарелке, живо припомнил о ее ухватках в койке. Вздыбленный член больно терся об огромный синяк на бедре, где ему перерезали артерию, и он на время покинул свою герлу, чтобы привести себя в порядок.

– Что-нибудь не в порядке? – обеспокоенно спросила она,

когда он вернулся.

– Не со мной – с ним, – и указал на штанину.

– Тебе помочь?

Кто это ему предложил – медсестра или женщина? Вот тут бы и попросить ее о минете, но он не решился – подумает, что он меркантил и юзер. Какие, наверное, отчаянные минетчицы русалки – а что им остается? Хотя у них есть еще афедрон – последний крик моды русского арго.

– Не конец света, – отказался он.

– Когда ты придешь? – спросила она.

«Никогда», – не решился сказать он, потому что в их связи ничего романического, возвышенного, тайного не было – одно трение. Да и что общего у него со сталинградкой, кроме генитальных туда-сюда?

– Приходи чаще.

Как бы не так! Ее сексуальная неуемность и безжалостный постельный стиль ему уже не по возрасту. А ее историю, которая она повторяла с небольшими вариациями, он уже знал наизусть. На отдельный сюжет не тянула – разве что на эту вот вставку, где он писал о себе в третьем лице и совсем не о сексе, а о смерти. Пусть они по Фрейду и связаны: Эрос и Танатос.

Почему он не пошел по натуральному пути, как его отец, у которого в течение 12 лет было четыре инфаркта, два тяжелых, и он бы жил и жил, если бы не рак желудка, причем врачи успокаивали его, сына, что до предсмертных онкологических мук дело не дойдет, умрет раньше, сердце не выдержит, а оно выдержало, и он умер, когда метастазы, как щупальцы, захватили другие органы его тела? Отцовская формула его вполне устраивала, он был уже старше отца, когда тот умер, и 12 лет ему бы за глаза хватило, да и тех много, тем более упущенный шанс внезапной, легкой смерти – только бы не наследственно-генетический рак! «А сколько ты собираешься жить?» – удивился врач, который выжигал упомянутому бывшему однокашнику злокачественную опухоль в простате, вставив туда сотню радиоактивных пилюлек с последующим радиоактивным облучением, и обещал десять лет жизни, но пациент остался недоволен.

А сколько собирается жить он? Нет, сколько ему наплели парки – они же мойры, и уже теперь он обречен на повтор, талдыча одно и то же? Но коли есть судьба, в которую он верит, зачем вмешиваются врачи? Зачем он обратился к ним, а не остался не медобслуженный? Свою миссию на земле он уже выполнил, отпутешествовал по всему свету, отчитал все книги и отписáл все свои, отъ*бал кого хотел и кого не хотел – и его

отъ*бали, как эта последняя его *барька: зачем продлевать жизнь, которая превратилась в вегетативное существование и доставляет ему больше хлопот, чем удовольствий? Обо всех своих тамошних знакомых он писал, как будто те давно покойники, каковыми они и были на самом деле или благодаря океану между ним и ими, уравнивая пространство с временем: «Иных уж нет, а те далече». Или как скаламбурил бывший одноклассник:

– Иных уж нет, а тех долечат!

Как он ошибался, как ошибся, думая всех пережить и в собственную смерть играя понарошку! А теперь еще эти сердечные мешки под глазами, которых прежде не было, и эта заноза в артерии, как Израиль на Ближнем Востоке, и он постоянно чувствует ее рядом со своим многострадальным сердцем, а ему говорят, что это его воображение. Или в самом деле он как *банутый по мозгам и у него разыгралось ложное воображение – привет Платону, который был не прав: любое воображение ложное по определению? Потребуется время для послеоперационной адаптации – что они знают, эти эскулапы? У него не осталось времени. Дохлый вариант.

А множество вопросов по существу как были, так и остались – и никакого ответа. Уходя из жизни, он останется в том же довербальном недоумении перед ее тайнами, как в слюнявом младенчестве, «а слова являются о третьем годе». И перед тайной самой смерти, которая снова стала реалом в его предсмертии, и ужас перед ней возвратился впервые с детства. Он представлял свое зловонное тело в экскрементах, каким его находит жена, и еще живой его труп охватывал жгучий стыд перед ней, такой доброй, порядочной, чистой и невинной, что с возрастом стала ханжой, а он ревновал даже к ее девичьей мастурбации, сам гнусно ей изменяя, пусть только физически. Блажен незнающий, каким он и сойдет в могилу, без разницы от чего. Смерть подступала к нему со всех сторон, из-за этой клятой операции он пропустил плановые и неотложные медицинские мероприятия: визит к урологу – что там завелось в его увеличенной простате, гастроскопию – в связи с резкими болями в желудке и, хуже всего, с трепанацией черепа, чтобы определить, какого качества дрянь, что жестоко, безостановочно, невыносимо дергает его мозг – добрая или злая?

Жилец он или не жилец? Чем так жить, лучше не жить. Отмотал свой срок. Надо уметь проигрывать.

Он созрел для смерти, но медицина на пару с фармацевтикой заставили ее отступить. Вот она и подбирается к нему тихой сапой, но во всеоружии своих пытательных инструментов.

Свой шанс легкой смерти он упустил.
Что ж, смерть подождет.
А ему невтерпеж.

Одноклассница
Головоломка на два голоса

Покуда дети о глаголе,
Вы думали о браке в школе.

ИБ

Плюнуть, что ли, в Днипро, может, он вспять покатит…

ИБ

В действительности все совсем иначе, чем на самом деле.

Сент-Экзюпери

1.

Прошла уйма лет, прежде чем он понял, что нельзя жениться на одноклассницах. На однокурсницах – куда ни шло, но не на одноклассницах. Он так никогда и не узнает, был ли он ее единственным или хотя бы первым мужчиной (не пытать же ее раскаленным железом, чтобы вытянуть признание!), но она была его первой, хотя не единственной женщиной: изменяя ей, он, возможно, брал реванш за вынужденный юношеский предматримониальный простой, потому что прежде отвергал все возможности, а их было не так мало, не желая изменять своей школьной любви. Сошлись они снова через пару лет после выпускного вечера, забеременела она не сразу, но когда была на четвертом месяце, пошла за него замуж поневоле, нехотя и потом всем говорила, что ребенок – преждевременный: не желая быть заподозренной в дозамужних отношениях? Его загулы на стороне были кратковременны, по сугубой физиологической нужде – когда они расставались на пару недель. Они привыкли к регулярному сексу – по несколько раз в день, но по чему именно они тосковали, когда были врозь: по сексу или друг по другу? Он

подозревал, что именно в его отсутствие она могла перепихнуться по-быстрому с кем-нибудь другим, если бы тот был достаточно настойчив, а она бы его «пожалела», да и пару лет между окончанием школы и их новой встречей нельзя скидывать со счетов. Тем более, никаких знаков дефлорации при их первом соитии не было, и она сама затянула его внутрь, когда он осторожно трудился у самого входа, боясь причинить ей боль и разрушить девичий образ, в который был влюблен с пятнадцати лет, неистово мастурбируя. Его неотступная, с рецидивами, ревность была не к тому, что ее кто-то е*, а к тому, что она кого-то е*ла, принимая в этом деле по крайней мере равное участие – иначе с чего бы ей было с ним спариваться? Как уберечь родную муфточку от чужеземного вторжения? А он сам, своими чисто физиологическими изменами, пытался уравнять ее гипотетическую? Однажды, правда, он ненадолго увлекся:

– У тебя такая умная и красивая жена. Зачем тебе я? – удивлялась новая пассия.

Оказалась права на все сто – вскоре они разбежались. А его ревность так и не убавилась с годами, накатывала волнами, когда он подозревал, что не единственный побывал – к вящему ее удовольствию! – в ее влагалище. По ее вожделению, по чистой случайности, по пьяни, из-за его отсутствия под боком, один всего раз и с тех пор – ни-ни: перепугалась. Он был уверен, что соперник (или, того хуже, предшественник) был одноразовым, но какую это играет теперь роль? Ревность разрушает или укрепляет любовь? Не сам по себе сексуальный обман, а то, что она столько лет замалчивает от него, который как любил ее в детстве, так любит и сейчас. Она для него все еще девочка, маленькая – так до сих пор и называет. Иначе не воспринимает, да в ней и в самом деле что-то девичье, несмотря на возраст. Вдвоем им уже к семидесяти.

Наверное, я писал об этой женщине прежде, так как любовь по моему ведомству, а эту женщину знаю давно, хоть и не так, конечно, как ее муж, но и у того лакуны, которые он все еще безуспешно пытается заполнить.

– Что, мне придумывать ради тебя? – возмущается она.

– Придумай! – подначивает он. – Солги!

Она – молчок. В глухой отрицаловке. Его сцены ревности – в широком диапазоне от бурных до шутливых. Постепенно он привык к своей ревности и уверяет, будто точно знает, что он у нее не единственный.

– Откуда? – удивляется она, когда он это говорит и смотрит на нее пытливо.

– Если бы я не знал тебя со школы, когда ты уж точно была

невинна!

– Меня оскорбляют твои грязные подозрения, – говорит она. – Именно потому, что мы знакомы с детства. Я бы не могла тебе изменить.

– А до меня?

– Что это меняет? – устало говорит она.

– Для меня – всё.

Они уже были очень близки, целовались, его рука блуждала по ее телу, касаясь – и надолго – «до милых тайн», но до главного не доходило по его нерешительности, хотя он ее, конечно, физически развратил и истомил, и в таком возбужденном состоянии она отправилась на юг на студенческую практику, где был один с серьезными намерениями на ней жениться, а другой, с еще более серьезными намерениями, ее поеть, и вот к этому последнему он больше всего и ревновал, потому что тот был кобель отменный и опытный – как раз на такой свежак, как она.

Охотник за черепами, точнее за девичьими плевами.

По тому анекдоту, когда муж говорит жене: «И чтобы никаких измен – в прошлом!» Вот именно: предматримониальная измена – нонсенс! Однако любые выяснения, даже в щадящем режиме, она воспринимала как покушение на суверенитет ее личности:

– Оставь мне хоть прошлое! – имея в виду, что он отнял у нее настоящее.

И тут же, спохватившись, в утешение:

– Это у тебя от нечего делать, – говорит она. – Делать не фиг – вот и маешься дурью.

(Такая у него фрилансевая профессия: он – домушник.)

Были и другие варианты, когда он выяснял отношения спустя столько лет, опрокидывая неутешную свою ревность в прошлое и сознавая, что знает ее еще меньше, чем при первом знакомстве на школьной переменке, как Иаков Рахиль у колодца: два поэта (с обоими он дружил), его завистник, которого он звал своим «Сальери» («Хоть я и не Моцарт», – добавлял он), ее босс, влюбленный в нее, один проходной тип в Грузии, когда их нарочно разлучили, а она была сильно под градусом, да что сейчас вспоминать? Чем больше он ее знал, тем меньше ее знал: секрет, завернутый в загадку и укрытый непроницаемой тайной (в оригинале лучше, чем в переводе). Его сомнения усилились, когда сын подрос и поступил в английский колледж, а они остались одни в Москве.

Будучи человеком неглупым, он пытался разобраться в этой запоздалой ревности сам, пока не понял, что она того же рода, что родительский страх за ребенка – как бы чего не случилось. Тем более – за 15-летнюю девочку, а именно в этом возрасте он ее

впервые увидел и влюбился без памяти – на всю жизнь. «Как бы чего не случилось» включало главное: как бы кто не сломал ей целку – вечный, пусть ханжеский, но и ревнивый, страх за папину дочку. Вот такое смещение произошло в его голове, что он ретроспективно боялся, как бы на той археологической практике на Бугском лимане в далеком уже советском прошлом ее не соблазнил, по ее неопытности, тот самый опытный трахаль, о котором она ему написала, будто тот даже сказал ей, что хочет от нее мальчика, что могло быть только постфактум, а не наперед, как она пыталась теперь представить, что у того такой прием охмурения девиц – вести себя с ними, как будто все уже произошло, а для него это было – в добавление к прочим – самым неопровержимым доказательством потери ею девственности, тем более юг, жара, похоть, раскрепощение нравов, вседозволенность:

«Мы пили молодое вино, о тебе я и думать не могла», – искренне писала она ему в том клятом и единственном письме, из-за которого он и ринулся на место преступления, чтобы исправить непоправимое: чем не подвиг любви? Прибыл, увы, к шапочному разбору: оба ее ухажера – который метил в женихи и который оттрахал ее или нет – уже отбыли из древнегреческой колонии по месту жительства.

Почему он верил ей тогда и не верит теперь? Потому что она была все той же его одноклассницей, без никаких перемен, долгожданная и любимая, и они возвратились к поцелуям, обжималкам и пальцеблудию, и через несколько месяцев, в Новый год, перешли к решительным действиям. А задумался и взревновал он только спустя. Почему не спросил сразу и напрямик? Тогда бы она наверняка сказала правду.

Все, что он знал об их отношениях, было из того же ее письма, которое она написала ему, когда хахаль улетел, и она осталась одна – с кем еще поделиться любовным приключением, за неимением подружки, как не с одноклассником? В том числе, про этот винный сырец, который не давал ему покоя: они пили у него в хате на краю деревни, где она помогала ему со статьей – он был киевлянин, а она москвичка. Еще до коллапса единого и неделимого, но уже тогда украинская и русская археологические школы были на ножах, а киевский кобель был не в ладах с русским языком. Или это был только повод? С тех самых пор он и невзлюбил хохлов и шпарил наизусть «Оду на независимость Украины»

Бродского, пусть все округ считали этот стих позорищем гения:

Скажем им, звонкой матерью паузы медля строго:

скатертью вам, хохлы, и рушником дорога!
Ступайте от нас в жупане, не говоря – в мундире,
по адресу на три буквы, на стороны все четыре.

Хотя умом понимал: причем здесь укроп, когда она сама созрела да еще была развращена нерешительным девственником-одноклассником, а здесь напор искушенного в этих делах блудилы, который – по наоборотному принципу – всегда добьется от девицы того, что она сама хочет.

Какое тому было дело до ее девичьего школьного образа, взлелеянного одноклассником? Она, конечно, вольна распоряжаться своим телом, и одноклассник бы ей все простил и до и после, он так ее любил сызмала, что согласился бы делить ее с кем угодно, но тогда у него сомнений не возникало, а теперь он хотел знать правду, на которую, казалось ему, имел полное право. Так же, как она – увы – имела право на неправду.

Теперь все, что он прежде знал, стало вдруг подозрительным. Каким наивняком он был прежде! Ее поселили в одной хате с герлой этого бл*дуна, и когда тот приходил, она перебиралась в сени, из которых могла слышать все, что меж ними происходило – вряд ли они себя сдерживали.

А звуковая дорожка возбуждает не меньше, чем визуальная – ей ничего не оставалось, как в такт им мастурбировать, да? Когда он уходил, она притворялась спящей, и как-то он наклонился к ней в сенях и ласково потрепал за ухом – эрогенная зона! – да еще назвал на своем недоязыке коханой. Последнее он знал с ее же слов, а мастурбацию живо представил сам.

Ту ее соседку звали Юля, и была она на несколько лет старше героини этого рассказа, которой было 19 – самый возраст для половой инициации, чтобы терять девственность, хоть она была из породы мечтательниц, грезила наяву, ждала принца, но природа берет свое – если она почти все позволяла однокласснику, то почему не позволить все киевскому потаскуну, который был опытнее и упорнее и знать не знал о ее девичьем школьном образе, который наш одноклассник боялся пошатнуть да еще, не дай бог, причинить ей боль – представления обоих о потере девства были самые приблизительные и скорее походили на страшилку или стращалку, чем на реал. Потом последовало крутое объяснение между Юлей и ее бойфрендом, и та, заплаканная, ничего никому не объяснив, раньше времени отбыла с археологического раскопа, оставив поле действия свободным для ее бывшего теперь уже полюбовника.

Что одноклассника поражало, так это этическая

небрезгливость его будущей жены: во-первых, она оказалась, пусть поневоле, разлучницей, во-вторых, даже там, на Бугском, точнее – ольвийском, по названию древнегреческой колонии Ольвии – лимане, она была у киевского е*аря не первым выбором. Как хотя бы одно из этих соображений не воспрепятствовало ее с ним отношениям на начальном этапе, а тем более – потом? Не говоря уж о других, пусть об однокласснике она совсем позабыла. Или все эти моральные препоны отключаются, когда приходит базовое, древнее, первобытное, неодолимое и сочащееся влагалище – такой же императив, как стоячий член? Однако идеализм одноклассника не давал ему даже шанса предположить, что для женщины сам факт соития – ничто, и определяется единственно лишь тем, хочет ли она с этим или с другим, и позволяют ли обстоятельства. Он пытался успокоить себя побочными аргументами: страх потери девства, беременности или какой-нибудь заразы, тем более от б*ядуна, который так легко переходит из минжи в минжу. Для него они все на один манер, никакой святости.

Сам одноклассник был неисправимым апологетом девства, а опытных баб, как и мужиков, сравнивал с использованными гондонами. По сути, таким неоднократно использованным гондоном, тем более у нее на глазах, и был киевский археолог – как ее это не смутило? А где та недотрога, которую он знал с детства? Где ее брезгливость и чистоплотность, когда тут буквально из одной пи*ды в другую? Или он был в кондоме? Лучше бы, конечно, в кондоме, чтобы его член не соприкасался напрямую с ее нежнейшим влагалищем, с ее таинственной пещеркой, которую он боготворил, не будучи в ней ни разу – только пальцем, только пальцами.

Он вообще считал секс с презервативом не настоящим. Все равно, что дилдо или вибратор. С резинкой – не в счет. В таком случае ничего не было? Как вызнать у нее – в презике или без? Если бы она согласилась на гипноз! Что бы ни сказала, все легче, чем проклятая неизвестность.

Хохлу было под тридцать – она московская студентка, он киевский аспирант. Однажды она пришла к нему в избу и случайно задела рюкзак, из которого выпали игрушки, которые – впаривал он ей – собирает для своей племянницы. Даже эту лапшу она приняла за чистую монету. И ежу понятно, он хотел от нее мальчика, потому что девочка у него уже была от жены. Ежу – да, ей – нет.

Но ведь и она ни словом не обмолвилась ему об однокласснике!

Правда, в том злосчастном письме проскользнула какая-то

фраза, что киевлянин не понимает всей сложности. Какой такой сложности? Загадочная до сих пор фраза. А потом, как она сбежала с раскопа в соседний городок Очаков, киевлянин ее нашел и показывал два самолетных билета до Киева, уговаривая лететь с ним, но она снова убежала и пряталась на кладбище за памятниками – он несколько раз проходил мимо, но так ее и не обнаружил. Билеты в Киев – что за лажа? Или это того же рода, что хочу от тебя мальчика? А если это она хотела от него мальчика? Типичный, по Фрейду, трансфер, перевертыш.

Какая же это любовь без лжи? Недаром одноклассник теперь ее подозревает, а она помалкивает или отрицает. Притворяшка! Ну, не ложь, так полуправда, как ее письмо с раскопа, где она главного не договаривает, черное и белое не называет. Событие, о котором трудно говорить и невозможно молчать. Лучше бы вовсе ничего не писала. А потом телеграмма: «Прости письмо». За что прощать письмо – исписанный ее мелким почерком голубой листок из тетради с полупризнаниями? За проговор или за недоговор? За что ее прощать, если ничего не было, кроме мимолетного, как она теперь говорит, поцелуя в щеку? И это все, чего тот добивался и добился? Он, при его опыте, – от нее, при ее неопытности. К тому же, они пили молодое вино, а это ослабляет контроль над собой, тем более, когда оба хотят одного и того же.

И позже, замужем, она быстро пьянела и лезла целоваться с мужиками – из любви ко всему миру, как она объясняла, но ведь можно понять и по-другому. Каждый понимает в меру своей испорченности. Однажды ее взревновала жена их приятеля, когда, целуя того, сказала что-то вроде: «У, так бы…» Как шварцевская принцесса, а та, при ее невинности, могла ляпнуть черт знает что. Он всегда следил, чтобы она не назюзюкалась, и уводил ее из гостей раньше, когда она была еще в кондиции. Из его более поздних подозрений: было несколько случаев, когда она могла ему изменить, ничего не соображая по пьянке, когда тормоза не работают. Почему, кстати, в русском языке супружеская измена приравнена к измене родине? И что хуже? С его несомненной точки зрения: ее измена – ему. Даже если она предшествовала их полноценным физическим отношениям. Первопроходец не давал покоя куда больше, чем синхронный, скажем, соперник, хотя спать с ней после него тоже не велика радость – все равно, что спать с ним. Когда он думал об этом, ему казалось, что он окунает член в чужую сперму. Как же отвратен циник Овидий в своих советах женщинам: «Что ты потеряешь, кроме того, что тебе придется подмыться?» А как это сочетается с представлением одноклассника о ее вагине как о священном источнике любви?

Даже не сама измена – прошлое не могут изменить даже

боги, а неправда, когда они знакомы с 15 лет и 15 уже женаты. Жить не по лжи – вот чего он возжелал с опозданием на многие годы, а тогда он верил ей, как себе, ни малейших сомнений. Пусть не было ни кровинки при их первом соитии, но так сплошь и рядом. Это еще надо суметь – доносить девственную плеву до первого сношения.

Сослагательный вопрос:

– Ладно, – говорит он. – А если бы что́ было, тогда или позже, ты бы мне сказала?

– Так ничего же не было.

– А если было бы?

– Не знаю, – честно говорит она, и его снова грызут сомнения.

Тупик.

– Ты не обязана мне ни о чем говорить. Может быть, я и не стою правды.

Она промолчала, но странно как-то на него взглянула.

А хочет ли он знать правду?

Спустя какое-то время киевский археолог нагрянул в Москву, явился к ней на работу и показался таким отпетым провинциалом в столице – она сама теперь удивлялась, что́ нашла в нем тогда на раскопе. Но почему он пришел к ней на работу, а не домой? Зачем приехал? Как разыс кал? Здесь было над чем поразмыслить, одноклассник сходил с ума – а что, если киевлянин хотел выяснить, не его ли их сын? И почему она утверждает, что сын родился преждевременно, хотя он родился в срок, пусть и не гигантом, да так им и не стал? Но это уже полная бредятина – может, как и все остальные его предположения? Как ей удалось – если удалось – проскочить меж струями дождя – ливня! – и выйти сухой – и пушистой? Затейница! Она вынуждала своего одноклассника жить в гипотетической, виртуальной, многовариантной действительности, и никакого выхода из этого лабиринта не было.

2.

Ох уж эти мне одноклассники, одного из которых я знаю! Всё не так. Чего ерундить-то? С точностью до наоборот. Пора, наконец, автору признаться, что он принимал некоторое участие в этом сюжете. Пусть я блудяга и пи*деныш, но не такой отвязный и отпетый, как думает ее муж, с которым я, слава богу, незнаком в личку, хотя могу представить – как говорится, известно у кого, воображенье дорисует остальное. Конечно, еврей, но чтобы до такой степени! Говорю без предубеждений, хоть и

отношусь к их роду-племени с прохладцей: чужие все-таки. Нет, в синагогах он не замечен, кипу не носит, даже что такое «миньян» не знает – еврей изнутри со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такие еще хуже, чем в ермолках. У тех, правда, раввин, сочетая молодых, спрашивает, девственница ли невеста. А у него это в его генах. Зациклиться так на девственности может только еврей-одноклассник. Идефикс! Сантименты и сентименты. Чтобы так быть заточенным на целкомудрии – это в наше-то время! Ишь ты, целочку ему подавай. Клиника в голове, не иначе: в дурку!

Юлька, ее соседка по избе, была у меня сугубо для физиологических отправлений, чтобы опорожниться, пусть она в меня и втюрилась – не она первая, не она последняя. На то и археологические раскопки, чтобы давать себе волю и крутить романы со студентками. Дома, в Киеве, я тоже не промах, но под недреманным оком жены особо не разгуляешься.

На эту юную и миловидную москвичку я сразу запал – интеллигентка, книгочейка, витает в облаках. Офигел – таких у нас в Киеве нет. Да и в Москве, думаю, – диковина. У нас с ней все с разговоров и началось: музыка, литература, живопись. Полный улет! Как там у Саши Черного?

> Я имел для души
> Дантистку с телом белее известки и мела,
> А для тела —
> Модистку с удивительно нежной душой.

Не хочу быть циничным, но известно, откуда ноги растут: cosi fan tutte.

А она была готова к любви – в самый раз. Пусть и загнала все это в подсознанку (от противного – терпеть не могла Фрейда, а тот разоблачал именно таких вот целочек). Бывают периоды в жизни женщины – очень краткие, кстати – когда в ней все расцветает для любви и все позволено: сил больше ждать и терпеть мóчи нет. Плод вызрел и, если не взять, то перезреет и упадет на землю, а кому нужен паданец? Как там в «Цимбелине» все равно в чьем переводе: «Женщине впору тот придется, кто к ней в пору подберется». Вот я и оказался нужным человеком в нужное время. И в нужном месте: юг способствует скоропалительным романам – видалого мужика с такой вот неопытной, замкнутой и романтичной интроверткой, пусть физически она была в самом соку. Сейчас или никогда. Достаточно было руку протянуть. Но не лапать с первой встречи. Это тебе не хухрымухры. К такой подход нужен. Да и Юлька –

помеха. Она сразу же приревновала к соседке, что облегчило последовавшее объяснение. Какое мне дело до ее слез? Я – человек женатый, а с Юлькой – обычный командировочный роман. Довольно труден был переход от одной к другой, потому что спаривание с Юлькой было на глазах, точнее на ушах москвички, которая, хоть и притворялась спящей в сенях, но какой там сон под Юлькины вскрики и постанывания, а та явно из нимфоманок, и себя не сдерживала – тут и мертвый проснется. Молчала поневоле, только когда делала мне минетики. Эвфемистически выражаясь, феллацио. Худшее, что может представить мужик, – это оргазм бабы во время минета, ха-ха!

Господи, в последние разы этой опостылевшей связи я закрывал глаза и представлял себя с москвичкой, но та вела бы себя по-другому, какие там минеты, когда скорее всего еще нетронутая. Или нет? То есть да. Лучше бы да, то есть нет. Хотя иначе, как девственницей, я ее почему-то не представлял, хоть и не актуал. Чуть не попался, когда лоханулся с этими игрушками, будь неладны: она задела рюкзак, они и выпали. Женатому могла бы сразу от ворот поворот – она из таких.

Странно, что ее не смущала Юлька, но та отбыла домой: с глаз долой – из сердца вон. Для нас обоих она просто перестала существовать.

Читателю интересно, чем все это кончилось. Одноклассник окончательно шизанулся, все не может представить себе, что жена впускала в себя не его одного. Что ж, незавидная роль жеребца-пробника, который обхаживает кобылу, и когда та уже готова, его отгоняют прочь и появляется конь-заводчик. Та же ситуация: жеребец-одноклассник и е*ака-профи. Супер-овер-классифайд. Как я, например. Он ее подготовил – я должен был взять. Пожеребятились – и баста: пора переходить к делу. На сцену выходит Мэн. То есть я. Право первой ночи.

Признаюсь в двух вещах – противоположных. Во-первых, я и сам тогда подзалетел – втрескался. Во-вторых, мелькало и карьерное соображение – перебраться из провинции в столицу, разведясь с женой и женившись на этой мечтательнице. Сколько можно прозябать в заштатном тогда Киеве? Матерь русских городов, ха-ха! Пусть и разнятся московская и киевская археологические школы – переучусь. Но главным все-таки было трахнуть ее – уж очень хотелось. А ей – нет? Что она – из другого теста?

Атаку повел осторожно – сначала подружиться, а потом переходить к решительным действиям. Сама должна дозреть. Да я и не был уверен в успехе: недотрога, мимоза, целка. Целка? Во всех наших посторонних разговорах ни о чем и обо всем

присутствовал сексуальный подтекст, и если она этого не сознавала, то я – отлично. Да и она ни разу, что ли, не представляла меж нами иных отношений, окромя разговорных? А, представляя после наших «невинных» встреч, не трогала свои соски и гениталии? Не истязала сама себя? Если даже я онанировал, расставшись с ней, а она – нет? Господи, как мне хотелось войти в нее, овладеть этим скорее всего нетронутым еще телом! Одноклассник не в счет, да я тогда и не подозревал о его существовании. А если бы знал? Побоку! Такие школьные романы чаще всего остаются в воспоминаниях, а то и вовсе исчезают из памяти. Да и не преувеличиваем ли мы, мужичье, значение дефлорации для женщины? Наоборот! Так ли уж важно, кто первым вошел в нее и проложил путь другим? Вот у Льва Толстого читал про девицу, что она боялась и стыдилась остаться девственницей. А моя москвичка? Ей это, правда, не грозило – даже у нас на раскопе вокруг нее крутилось мужичье. А там в Москве? Все-таки вряд ли девственница.

Пока я разрабатывал тактику, мы продолжали ходить вокруг да около. Пусть только не брешет – она меня первая поцеловала, когда уходила. В щеку. И убежала. Я – за ней. В хате, где снимала с Юлькой комнату, а теперь осталась одна – ее нет. Побегал, побегал – не люблю в прятки играть. Ищи ветра в поле. Пошел к себе и долго не мог заснуть.

Будь чуть половчее, могло все в ту ночь и произойти. Сноровки не хватило: мне бы ее задержать, обнять, приласкать, пощупать – все бы само пошло. Как по маслу. Что я, не знаю! Опять-таки, со мной редко случаются такие вот промашки. Ничего, завтра встретимся на раскопе.

Но завтра она даже на меня не глядела, а когда я подвалил, вела себя так, как будто ничего не произошло. А что в самом деле произошло? Ничего и не произошло. Все впереди, хотя времени в обрез – через два дня я должен был уматывать в свой местечковый Киев. Тем временем другой ее ухажер, который копал на соседнем острове Березань, но уже отправился к себе в Питер, слал ей оттуда роскошные букеты и дефицитные коробки конфет, которыми – знал бы он! – она меня угощала. «Птичье молоко», например – таких тогда днем с огнем не сыщешь, он-то откуда доставал?

Однако такая стратагема с ней не срабатывала. А какая срабатывала, если даже моя дала сбой? Я надеялся нагнать время в оставшиеся дни.

Ввиду такого количества ухажеров (еще парень с ее курса), она среди деревенского бабья чуть ли не в блядях ходила. Как бы само собой, что кто бы к ней ни подваливал, она с каждым

сношалась. Согласитесь, у меня здесь на кон поставлены сразу же две репутации: моя мужская и ее девичья. Не хочу ни сам фанфаронить, ни ее подводить. Если бы кончилось ничем – удар по моему мужскому самолюбию, опровержение моей самцовой сущности. А если бы чем – я не привык хвастать своими победами и ставить женщин под удар. Тем более ее. Пусть я ведóм своим пенисом, как говорится, *io e lui*, но и моя порядочность при мне.

Что было, то было, а чего не было – того не было. Без вариантов.

Вот почему как автор этого рассказа, будучи вдобавок его персонажем, я сейчас в сомнениях: как описать дальнейшее? Знает ли читатель, что по первоначальному замыслу Анна Каренина не бросалась под поезд, а выходила замуж за Вронского, а Андрей Болконский и Петя Ростов остались живы? Авторский произвол? А как быть мне – утаить или сказать всю правду? И что такое вся правда? Я – не Пруст. Прошло столько лет – чтó сместилось, чтó позабыто. Вот одноклассник все еще терзается и пытает ее, бедняжку, а помнит ли она сама, чем кончилась наша история? И была ли у нас с ней история? Как это говорится? «Да ничего между нами не было. Перепихнулись – и всех делов». Что значит одно, пусть даже первое, сношение в целой жизни женщины? По сравнению со всем остальным: любовь, замужество, материнство, работа, увлечения, путешествия? А было ли что еще в ее дальнейшей женской жизни – чего не знаю, того не знаю. Пусть одноклассник сам выясняет.

Это я все теоретизирую, отбрасывая взгляд в прошлое на 15 лет назад, через гераклитовы воды времени, которые, хошь не хошь, текут в одном только направлении, и Днипро вспять не покатит назло пииту.

Вопрос на засыпку: опровергнуть или подтвердить сомнения одноклассника? Или рассказать, как было на самом деле и что промеж нас случилось в эти два оставшихся дня?

Она знала, когда я улетаю в Киев, но весь день бегала меня, как будто боялась, что я предъявлю кое-какие права и ей придется решиться.

Когда я ей сказал про мальчика – до или после? В какой момент? На следующий день, накануне моего отвала, поздно вечером, сама прибежала ко мне в избу. Сегодня или никогда. Я ее целовал, ласкал, стал раздевать – она не сопротивлялась. Лежит голая, сжав колени, точно труп. Вот тогда я и сказал, что хочу от нее мальчика, а она заплакала.

Я ее успокаиваю, а она – еще пуще. Нет, не мещанский страх перед потерей девственности, а что-то другое, с чем в своей мужской практике я прежде не сталкивался. И тут я просек:

физически она была готова, а душевно – нет. Говорят, женские слезы возбуждают. Читал даже рассказ Владимира Соловьева под таким названием: «Женские слезы, женские чары…» Не знаю, не знаю. Слезы – нечто противоположное той сырости, что у них между ног, при всем влажном сходстве между ними.

Что-то в этих влагах общее, хоть из разных мест. Раздеть женщину и не взять – нет, как-то это не по-мужски…

На следующий день, правда, я предлагал ей отправиться вместе в Киев и даже показывал два билета, но она сбежала. Засек ее на кладбище, но сделал вид, что не вижу. Насильно мил не будешь. Осечка в моем кобелином опыте?

А в Москву приехал, чтобы еще раз ее повидать. Ни замужество, ни материнство ничуть не изменили. Как будто все еще девственница, какой и была тогда на ольвийском лимане. Сводил ее в ресторан, но разговор как-то не клеился, словно и не было того лиманского лета. Пригласил к себе в номер, зная заранее, что нарвусь на отлуп. Так и есть – в столице чувствовал себя с ней лохом. Признаться? Единственная в моей жизни любовь. До сих пор не пойму, почему я тогда сплоховал.

Будь спок, одноклассник: даже если она и втрескалась в меня временно под влиянием обстоятельств, то любить – не любила.

Остальное не имеет значения. Разве в этом дело?

P. S. Переписка из двух углов

– Как чуждо и отвратительно мне – воровство (иначе не назовешь!) моей био и жизни (дословное), иначе – приватизация чужой жизни и твоя грязная, примитивная и убогая ее интерпретация. Убожество и ощущение, что измаралась в грязи.

– Тот опыт уже не твой, а мой. Для тебя было – и прошло, а мне сверлит мозг, кошмарит мои сны и зашкаливает в явь. Да, шизанутый – и так до конца моих дней. На смертном одре снова спрошу тебя – скажешь правду без пяти секунд покойнику? Обещай! Только бы успеть услышать, чтобы хоть там не мучиться проклятой невнятицей.

Елена Клепикова. Посмеемся над Бродским!

Из романа «Отсрочка казни» с главным героем Петровым, которому – а не автору! не посмела бы – и принадлежит диатриба в адрес Бродского.

…Вечером гулять по Нью-Йорку небезопасно. Да и не больно интересно. Еще хуже, чем днем. Уж очень неприглядный город. И кто его выдумал? Представляю, какая тоска была бы здесь в белые

ночи. Зачем не спать? на что глядеть? обо што зажигаться? Внизу все равно как в погребе – ни зги. А небоскребы все небо истыркали – ни той, ни другой зари не увидишь ни в белую ночь, ни в черную. Как и ночи вполчаса.

Беда с Бродским! С его подачи, все сравнивают Петербург с Нью-Йорком – близнецы-братья! Снова ляпнул в вечность. И сколько этих ляпов! Ложь во спасение – свое спасение: мол, ничего не потерял, сменив золотой на пятак. Прекрасно знал свои утраты – и чем ему как поэту грозят. Вот и махлюет в высоком штиле – выдавая вранье за прозренье.

Ежу понятно, что антагонисты – Нью-Йорк и Петербург. В одном – вертикаль, в другом – горизонты, этот стиснут и сплющен и сужен – ни шагу, тот – просторен, раскатист, широк – с перспективой, этот – крошка-остров, тот – и острова тебе и материк без края. И т. д. – доказательств не требует. По всем параметрам, включая цвет и свет и водное сечение, не говоря уже об архитектуре, города эти полярны.

За Петербург обидно! Облака на три четверти неба, каналы все в тополином пуху, закат из клюквы за Петропавловкой, и белые ночи.

Боже мой! эти жуткие белые ночи! – и Петров застонал у себя на скамейке в сабвее. Не верьте Бродскому! Он часто врет.

…Но были, были и в Нью-Йорке исключения, где душа отдыхала, а не только коробилась. Гринвич-Виллидж, такой городок в табакерке.

С претензиями, к сожалению, на творческую завязь Парижа 20-х годов.

Развал улиц, скверов, площадей, проспектов, прерванных на середине бега. В упоительном контрасте с остальным, квадратно-гнездовым Манхэттеном. При желании, здесь можно было заблудиться.

И увидеть, как высоко над городом, вдоль решетки тенистого сада на 13-м этаже, нервно ходит и кричит павлин. И встает иногда, и совершенно безвозмездно, прыгнув на парапет – в свою, мерцающую изумрудом и синим металлом, брачную позитуру. Под аплодисменты и крики зевак с панели.

Встречаются там, не в пример остальному Нью-Йорку, сады и палисадники, подворотни и дворы, выложенные круглым, как яблоки, булыжником. С платана глянуло акулье личико белки. Вот она спускается винтом к Петрову за орехом.

…Что ж, еще раз – по Виллиджу.

Дома приветливые, с умными лицами. Из красного кирпича, из пестрого кирпича с глазурью либо штукатуренные в нежную пастель – в сирень, в капусту, под чайную розу. И было жутковато,

когда у самых ног веселенького, без возраста, домика разверзался провал лет этак в 150? – до уровня тогдашней мостовой.

Все-таки хорошо, что в здешней осени нет северной, душу скребущей, ржавчины. На лужайке, стриженной под нулевку, сожительствовали рододендрон, сикомор и норвежская ель, отклоненная от дома под углом крайней печали.

Был там единственный на Нью-Йорк чистопородный переулок – с их свойством имитировать русскую прописную «Г». Избушка на курьих ножках на плоской крыше фабричного билдинга – там жил уолл-стритовский делец и воображал, что он в Техасе. И квартира под номером 137.

Между тем в этой местности было что-то и злокачественное.

Жить здесь небезвредно для действующего таланта, как во всякой нирване. Небо стоит низко над Гринвич-Виллидж. Улицы, скверы, дома и храмы – все уютно интерьерны, выхода из них не намечалось, да и не хотелось – уютственно, приятственно, нирванно. На панели перед домом, где жил еще недавно еще бессемейственный Бродский, залег бесстыжий рыжий кот – в позе Данаи, готовой к золотому дождю.

Странно, что Бродский, с его безотказным чутьем на трагедию как повод, довод и вывод стиха, обосновался так надолго, почти до смерти в этом душещипательном (а надо бы – душедробительном) дистрикте, модном у творческих импотентов Нью-Йорка. Понятно, впрочем.

Он доживал здесь талант, пустив его, с творческой одержимостью, на вполне житейские нужды. Прицел на нобельку взял с первого дня эмиграции. Разрабатывал собственный миф. Стратегия велась на два фронта – американский и русский.

В Америке его не знали совсем как поэта. Приходилось принимать на веру. Веру навалом поставляла русская эмиграция, тренированная, точнее – третированная Бродским на свой культ.

Русский гений пёр в литературный истеблишмент Нью-Йорка как танк. Остановить его было невозможно. Целевая неукротимость походила на истерику. Туземцы неохотно расступались. Он выбил все, кроме одной, верховные премии США по литературе. А также гранты, стипендии и прочие знатные призы.

Для даров, которые были все ступеньки в гости к Нобелю, приходилось писать по-английски прозу. Для чего у самоучки не хватало ни навыков, ни знаний.

Проза Бродского корчится в муках от бесплодных и поддельных родов. Все эти эссе (недоучка любил этот жеманный палиндром) сочинены им через зубовный скрежет, в свирепом нокауте воли – оттого и читателю так неловко с этими

форсированными, на русский авось, текстами.

Воистину строитель чудотворный. Уже не верил в свой дар, что – от Бога. Сам себе поставлял сюрпризы и дары. Странное желание – быть записанным при жизни в классики. Так до революции младенцев записывали в полк. Не бывает, не должно быть классиков при жизни.

Классик – всегда мертвец. Но – не доверял Иосиф времени, суфлировал будущему, работал за потомков.

Тем не менее эта кипучая энергия, это скрежещущее упорство в добывании, этот волевой императив больному сердцу – потрясают.

В своей чрезмерности они подорвали ему сердце и душу покруче питерской психушки на месяц, потешной ссылки и изгнания. Вообще много скулил на людях, разумеется, на знатной публике – по поводу ли уколов в психушке или малой жилплощади в Ленинграде, хотя, по советским меркам, имел неплохо.

Кичился профессорством. Изъяны эрудиции, да просто хорошо уложенных в голове знаний покрывал за счет апломба, шаманского бормота, нахрапа. Самоутверждался на публике. Из кожи лез привлечь к себе внимание американских журналистов. И вообще – очень влиятельных лиц. Писал открытое письмо Брежневу. Устраивал скандальные демарши. Стихи были оброчные. Слишком высокий процент он с них брал. Внепоэтическая нагрузка. Он был крепостной поэт и сам себе задавал оброк. Часто непосильный для стиха.

Никакой талант не выдержит такой внетворческой нагрузки. Стихи тогда иссякают, их завод кончается, и автор стервенеет без ветра, который называется вдохновением. С этим ветром, надувающим паруса стиху, Бродский завязал давно. Отсюда такое беснование, некий леденящий сатанизм – волевая имитация им вдохновения.

И так – домогаясь высших почестей земных – до могилы и, уже полуторагодовым трупом, после нее. Это когда, полежав в свинцовой таре при нью-йоркском кладбище, престижа и почета не дающем, покойник таки выбил Сан-Микеле. Бессмертие было обеспечено, доколе есть Венеция и туристские орды.

Это был рекорд выбивания из-под стишков. Негоже мотивировать осаду Сан-Микеле, предпринятую честолюбивым трупом с американского кладбища, его особой любовью к Венеции. Потому что Сан-Микеле был в проекте уже при втором наезде поэта в Венецию, возникнув из, типично Бродского, прикидки: Стравинскому можно, а мне что ж – нельзя?! Стишки о сем свидетельствуют четко.

«Посмеемся над Бродским!» – под таким, спасительным для его стишков, девизом прошел на дому у Левы Певзнера, с полгода назад, день рождения Бродского. С нью-йоркским Джозефом говорили многие, знавшие питерского Осю, его друзья, враги и фанаты.

Говорили так:

Ося, окстись. Перестань осанниться. Приди в себя, наконец. Не суфлируй потомкам, это смешно. Сойди с пьедестала, не позируй в классика, это нелепо. Не бронзовей и не мрамори по собственному почину, это уже фарс. Не надо работать за потомков, не стоит создавать высокое искусство. Мифы, слава и бессмертие – дело времени, а не личных усилий.

Говоря о стихах, очень советовали Бродскому забыть сумму углов треугольника, печоринский скептицизм, площадь квадрата в круге, дрязги пространства со временем и стебный жест рукой крест-накрест.

Главное тут было – не наезжать на Бродского, а спасать стихи от его мемориальной судьбы.

Стараниями его – под пушкинских сработанных – плеядников идолизировался сам поэт, его биография, его окружение, его стихи.

Давно умершие родители поэта, тускло советские обыватели, в одночасье стали яркими интеллектуалами. Сам Бродский – аристократом духа и рождения. Его стишки, тоже в одночасье, забронзовели, ушли от читателя, стали мемориальны и неподсудны. Они лежали, как антологический венок, на могильной плите своего создателя.

Надо было вернуть им живую силу, повернуть к читателю. Вытрясти мраморную крошку из жил стиха. Рассмотреть их в упор, без силового вмешательства автора. И нужен не смех, а хохот, гомерический хохот, чтобы прочистить озоном сан-микелевскую муть вокруг Бродского и его стихов.

Потому что классик Бродский на собственном пьедестале, действительно, очень смешно.

Петров поежился от восторга, вспоминая, как они тогда заново прочли всего Бродского. Под углом его – воющих от страха, что всем видны – комплексов. Защитный камуфляж под мэтра, арбитра, профессора, пахана – лишь бы никто не просек его слабость, тревогу, неуверенность и спад.

Вот в этом разрезе – комплексующий титан Бродский – они и прочли его стишки. Какие – бракуя, особенно из последних: плагиат у самого себя. Какие – узнав будто в первый раз, в новом лирическом свету. И часто срывались в восторги и слезы. Те самые, которые Бродский, давивший в себе любую слабость,

отрицал и в других.

Говорили, что со смертью Бродского что-то трудно определимое – престиж, разгон, замах, закрут судьбы – из русского Нью-Йорка ушло.

Но что-то и пришло – стало легче и проще дышать, вылез из своих богемных подполий поэтический молодняк, встрепенулись критика, ирония и смех, вот и классику Бродскому дали по шапке – живи и дай жить другим, не тяни одеяло на себя, не лауреатствуй в стихах. Говорили, что Бродского погубило неправильное толкование второй заповеди. Он сотворил кумира из себя, но для других. И за других.

Мой двойник Владимир Соловьев
Пустячок

«Как различить ночных говорунов,
хоть смысла в этом нету никакого?»
«Когда повыше – это Горбунов,
а где пониже – голос Горчакова».

ИБ

…Что, в сущности, и есть автопортрет.
Шаг в сторону от собственного тела.

ИБ

Я – первый в мире клон.

Клоун тоже, но клоун не первый.

Сейчас объясню.

Я родился под несчастливой звездой – соименником и однофамильцем философа и поэта, а тот скончался в самом начале прошлого века, в котором я родился где-то посередке. Жуть! Называть мой единственный век прошлым, а у нынешнего я незваный гость. Писатель XXI века – ну не анахронизм ли это шиворот-навыворот? Футуристический анахронизм. Да хоть классик, как съерничал недавно интервьюер из вечерней газеты,

выходящей рано утром, – классик чужого века! Только поздно менять мою архаичную профессию. Как себя помню, чернильная лихорадка в крови – что у Лоуренса Аравийского, но теперь это уже невнятно, «чернила» вот-вот исчезнут из языка, а в словарях будут с указанием «устар.».

Это я «устар.».

Доживаю свое, хоть и не стар по американским стандартам. До сих пор снится, что уд на взводе. Просыпаюсь – действительно. А под кого сон, не помню. Не все ли равно теперь? Тому, другому Владимиру Соловьеву, было не все равно, а нынешнему…

Ладно бы псевдоним, а то настоящие имя-фамилия. Самые что ни на есть. Имя понятно в кого: Ленин. А фамилия? Откуда православная фамилия у чистокровного еврея? Семейное предание: николаевские кантонисты брали имена своих командиров. Сын полка, выходит. Точнее, прапрапраправнук.

Формально даже повезло. Кроме отчества. В Америке, слава Богу, отменено. А там, на других берегах, с головой выдавало. Звоню как-то из Питера в Москву по поводу заявки на книгу в ЖЗЛ, редакторша говорит:

– Владимир Иванович…

– Владимир Исаакович, – поправляю.

А она через пару-тройку фраз снова Владимириванычем величает.

Заявку мою в любом случае завернули, а ошибалась она в безнадежной попытке ее спасти, пользуясь тем, что я иногородний автор, то есть невидимый. Им в ЖЗЛ назначили новую метлу с заданием вычистить из авторского актива моих соплеменников, явных или тайных, как я.

Но это из разряда ползучего реализма. Дальше пошел сюр и продолжается по сю.

В году не помню каком, да и неважно, будучи все еще питерцем, проживал я сколько-то месяцев в общежитии Литинститута на улице Добролюбова в Москве. Семь этажей графоманов из провинции, включая те провинции, которые стали сейчас независимыми странами. Собственно, с ними только и можно было общаться: приятельствовал со среднеазиатами и кавказцами, включая армянина Альберта, а тот всерьез вещал о суверенной Армении, но не в рамках союзной республики, но от моря и до моря, в исторических границах государства Урарту с древним городом Ван за столицу. Об Арарате и говорить нечего – омфалос, что буквально, с древнегреческого, «пуп», а переносно – «центр земли». Какие претензии, однако, – назначить у себя в Урарту – Ван – Армении центр всей Земли! Тем не менее – потому ли, что без припизди, понятно какой, армянский национализм

был мне по ноздре – в отличие от хоть и не родного, но своего, русского.

Как раз со своими общаться было затруднительно: отпетые алкаши с шовинистическими закидонами, а шовинизм, как известно, есть извращенный национализм, где субъект есть объект своего поклонения, свой идеал и идол. Насколько этот парадокс Честертона лучше затасканного «прибежища негодяев» д-ра Джонсона! Именно такой созерцатель собственного пупа и явился мне в литобщаге на Добролюбова в качестве таинственного двойника.

Пребывая в вынужденном целибате, я с голодным нетерпением ждал Лену из Ленинграда. Телефонной связи между нами не было, переговоры о ее приезде велись путем взаимной переписки. Обговорив все в письмах, я ждал от нее телеграмму, чтобы встретить. Ехала она с вещами, на пару месяцев, в Москве была впервые и не имела малейшего представления, где я обитаю. Не встретить ее было нельзя: не обнаружив меня на вокзале, она впала бы в тихое отчаяние и смоталась обратно в Питер.

Так бы и произошло, если бы не мой любовный инстинкт, а он что звериный. Потому что телеграммы я так и не дождался. Сорвался однажды, сам не знаю почему, на Ленинградский вокзал, подоспев к «Красной стреле», из которой вышла моя любовь, нисколько мне не удивившись. Удивился, да еще как, я.

– Но я послала тебе телеграмму…

Назавтра выяснилось, что в литературном общежитии обитают, не подозревая друг о друге, два писателя Владимира Соловьева. Помимо литературного критика Владимира Соловьева из Ленинграда двумя этажами выше жил поэт-березофил Владимир Соловьев из Костромы, где я никогда не бывал, но где родилась пятью днями позже меня Лена Клепикова. Это был не просто сюр, а круговой сюр, который замкнулся на матушке-реке.

Все хорошо, что хорошо кончается, но любопытство погубило кошку. Вот я и отправился через четыре марша знакомиться с самим собой, напутствуемый советом моей то ли жены, то ли землячки, коли Владимир Соловьев из Костромы, а я – Владимир Соловьев:

– Ты лучше в зеркало посмотри.

Не могу сказать, что это было зеркальное отражение. Скособоченный такой тип, то ли с рождения, то ли с бодуна или перед оным. Да, телеграмму взял он. А что с ней сделал? Купил водяры и всю ночь сидел над ней и гадал, что за Лена целует его и с какой стати он должен встречать ее на Ленинградском вокзале. Под утро телеграмму разорвал и пустил в окно, избавясь

от наваждения.

«Идиот!» – крикнул я ему.

Хорошо, что не вслух. Все равно что крикнуть идиота самому себе.

Спустился вниз и, высчитав его окно, подобрал на улице Добролюбова обрывки долгожданной телеграммы – двух не хватило. Как будто только получил, хоть отправляйся снова на Ленинградский вокзал встречать еще одну Лену. Если у меня есть двойник, почему не быть двойнице у нее? Когда моя то ли жена, то ли землячка говорит: все оттого, что имя и фамилия у меня сверхбанальные, я отвечаю, пусть сыщет хоть одного Соловьева Владимира Исааковича. И тут я представил себя на месте моего земляка из Костромы: каково ему получить телеграмму от Лены из Ленинграда? Пусть бы, куда ни шло, подписалась Леной из Костромы, откуда родом. Не мне жаловаться: для него это был сюр в квадрате.

Хорошо еще, что крыша не поехала. Регулярные возлияния спасли. Кому суждено умереть от белой горячки, застрахован от шизофрении.

Я – нет. На почве имени-фамилии у меня и началось раздвоение, растроение и четвертование личности. Продолжается до сих пор.

Как знать, может, и бежал я не из «тюрьмы народов», а из страны, где растиражирован и превращен в трюизм, где обитают сплошь владимиры соловьевы, и я не отличим от них, и некуда от них деться. Подсознательная причина моего отвала – нежелание жить в королевстве кривых зеркал, где я – не я, и где я – неизвестно.

В Америке я застрахован от встречи с владимирами соловьевыми.

Первое же столкновение с полицией разрушило мои иллюзии.

Пшик!

Сиреня и крутя прожектором на крыше, за мной гналась полицейская машина. Превышение скорости, хотя у нее скорость, когда она меня нагнала, была еще больше. Предъявляю документ, коп сверяет по компьютеру.

– Где живешь? – спрашивает.

– В Куинсе, – говорю.

– Не в Куинсе, а в Нью-Джерси, – наставляет меня.

– В Куинсе! – упираюсь я.

– В Нью-Джерси!

– Кому лучше знать, где я живу!

Так ни о чем не договорившись, отпустил с миром, не считая

штрафа и шести пойнтов.

Случайность?

Закономерность.

Одна за другой стали приходить квитанции штрафов, повестки в суд и страховые билли, не имеющие ко мне никакого отношения.

ХИАС, которому я давно выплатил долг за перевоз моего бренного тела через океан, потребовал вторичной выплаты. Я спорил, доказывал, что я не тот Владимир Соловьев, за которого меня принимают, да только что проку? На билли шли проценты, ХИАС обещал изгадить мне кредитную репутацию, суды грозились выслать ко мне маршала. При чем здесь маршал? Оказался не полководец вовсе, а простой судебный исполнитель. Меня все глубже засасывало в бюрократическую рутину.

Начал разыскивать моего двойника через Интернет, только он там не прописан. С отчаяния дал объявление в газеты: «Владимир Соловьев, живой или мертвый, любой, где бы ни жил и чем бы ни занимался, независимо от возраста и пола, пусть женщина, откликнись!»

И подписался: Владимир Соловьев.

Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное, земное перешел.

Что, если и вправду я перешел из реального мира в twilight zone, как здесь говорят? Или, как говорили мои предки, застрял между небом и землей? Deja vu. Дежавуист и есть.

Плюнул и стал оплачивать билли, пока проценты не превысили основной суммы. Явился в суд вместе с маршалом не полководцем.

Мелкими порциями плачу ХИАС-долг злостного неплательщика.

Тут, правда, и мне обломилось – получаю от налогового ведомства возврат: 3780 долларов 48 центов. Радость на полгода. Потом пришлось отдавать. С процентами.

Кого ненавижу, так это Владимира Соловьева. Всю жизнь меня преследует.

Или я его? Может, это он платит мой долг ХИАС и мои штрафы за двойной паркинг. Если арестуют, то кого – меня или его?

Это не меня вызывали в КГБ, не я написал покаянный «Роман с эпиграфами», не я сбежал из России то ли в Куинс, то ли в Нью-Джерси.

А живу как ни в чем не бывало то ли в Москве, то ли в

Питере, и ничего там не изменилось: те же коммуняки, та же гэбуха, те же стукачи. Совки, одним словом.

Не я нарушаю одну из десяти заповедей, не я изменяю жене, не я женат. Я – бобыль.

Что делать?

Никак не выпрыгнуть из своего имени-фамилии, как из собственной кожи, как из клетки ребер, как из сердца и головы. Брал псевдонимы, а пользы что?

Выходит, и Князь Эспер Гелиотропов мой однофамилец?

А Аноним Пилигримов чей?

Не махнуться ли псевдонимами, Владимир Сергеевич?

Или отчествами? Исааковича на Сергеевича?

Идет?

Заодно столетиями: меняю мой прошлый на ваш позапрошлый?

В этом я хуже татарина.

Двойник самого себя.

Космонавт и тот, падла, Владимиром Соловьевым заделался. Оттуда меня здесь достал. Сосед-мерикан спрашивает:

– Ваш родственник?

– Даже не однофамилец.

Он смотрит на меня, как на крейзи. Крейзи и есть.

Кто я? Где я? Откуда? Одно ясно: куда. Все ближе и ближе. Как в том анекдоте о мужике, который возвращается под утро домой.

– Где шлялся? – спрашивает жена.

– На кладбище был.

– Что, кто-то умер?

– Не поверишь…Там ВСЕ УМЕРЛИ!

Большинство человечества – в земле. На земле – меньшинство.

Вот и нашел свою могилу.

Надпись: «Владимир Соловьев».

Кто в ней лежит? Кто лежит, черт побери, в моей могиле?

А кто будет лежать в могиле Владимира Соловьева?

Или Владимир Соловьев – Вечный Жид?

Кто сочинит ему эпитафию заживо?

Кто напишет его некролог?

Кто пишет этот рассказ о клонированном Владимире Соловьеве?

Я?

Или мой двойник Владимир Соловьев?

Бродский умер

Два Бродских
Непричесанные заметы из нью-йоркских дневников

И средь детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Пушкин

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?

Мк. 8:36–37

Душа за время жизни приобретает смертные черты.

ИБ

Возвращая мне рукопись «Трех евреев» (тогда еще «Роман с эпиграфами», но впредь, унифицируя, буду звать «Тремя евреями», как книга издается и переиздается в Москве), ИБ сравнил мою горячечную исповедь с воспоминаниями Надежды Мандельштам (с чем я не согласился по жанровой причине: у нее – мемуары, у меня – хоть и автобиографический, но роман), а про самого себя в романе сказал, что вышел сахарный. В последнем он, несомненно, прав – я его пересиропил. Но в негативной структуре «Трех евреев», где все говно кроме мочи, необходим был положительный противовес. И потом «Три еврея» писались об одиноком, неприкаянном поэте, на имя которого в советской прессе было наложено табу, тогда как теперь в России происходит канонизация и даже идолизация ИБ – как теми, кто близко знал покойника, так и теми, кто делает вид, что близко знал. Не пишет о нем только ленивый. Как с первым субботником и ленинским бревном, которое вместе с вождем несли несметные полчища, если судить по их мемуарам. Придворная камарилья ИБ после его смерти многократно увеличилась. Те, кто не был допущен к его телу при жизни, а борьба шла аховая, теперь присосались к его метафизическому телу. Для трупоедов,

паразитирующих на мертвецах, его смерть была долгожданной, а для кой-кого оказалась и прибыльной, хотя в потоке воспоминаний о нем есть достойные и достоверные: к примеру, Андрея Сергеева, тоже, увы, покойного. Если судить по числу вспоминальщиков, то у ИБ был легион друзей, хотя на самом деле он прожил жизнь одиноким человеком, и именно одиночество – живительный источник, кормовая база его лучших стихов.

Куда дальше, когда даже заклятые враги ИБ взялись за перо: лжемемуар Кушнера например. Очередь за гэбьем – пора и им вспомнить о своем подопечном. Началась эта кумиродельня еще при его жизни, и ИБ ее поощрял и культивировал: «Поскольку у меня сейчас вот этот нимб…» – сказал он в интервью в 1990 году, а незадолго до смерти сочинил свой «Exegi monumentum»:

…И мрамор сужает мою аорту.

Осенью 1977 года он попенял мне за то, что я его пересластил в «Трех евреях», а спустя 13 лет обиделся на мою рецензию на его вышедший в Швеции сборник «Примечания папоротника». Сережа Довлатов, не утерпев, прочел эту рецензию на 108-й улице, где мы с ним ежевечерне покупали завтрашнее «Новое русское слово», и ахнул:

– Иосиф вызовет вас на дуэль.

Странно: мне самому рецензия казалась комплиментарной – я был сдержан в критике и неумерен в похвалах. Однако к тому времени ИБ стал неприкасаемым, чувствовал вокруг себя сияние и был, как жена Цезаря, вне подозрений. Никакой критики, а тем более панибратства.

Когда в 1990 году, издавая «Трех евреев» в Нью-Йорке, я спросил у него разрешения на публикацию нам с Леной посвященного стихотворения, услышал от него «Валяйте!», хотя прежнего энтузиазма по отношению к моему роману я не почувствовал. Тот же Довлатов, прочтя в «Новом русском слове» пару глав из «Трех евреев», сказал, что ИБ дан в них «восторженно, но непочтительно». Может, и ИБ уже так считал: от сахарного образа до непочтительного? А как он отнесся к моему юбилейному адресу, опубликованному к его 50-летию? Дошло до того, что в одной мемуарной публикации мне выправили «Осю» на «Иосифа», хотя иначе, как Осей, никогда его не называл (тогда как Довлатов – Иосифом). Не так ли полсотни лет назад профессор поправлял на экзамене зарвавшегося студента: «Какой он вам товарищ!» – про другого Иосифа, в честь которого ИБ был назван.

Было два Бродских. Один – который жил в Питере плюс первые годы эмиграции: загнанный зверь и великий поэт. Другой – его

однофамилец: университетский профессор и общественный деятель. За блеском Нобелевской премии проглядели его жизненную и поэтическую трагедию: комплексы сердечника, изгнанника, непрозаика. Куда дальше, если даже близкие по Питеру знакомцы вспоминают по преимуществу встречи с ИБ в Нью-Йорке или Венеции: нобелевский лауреат затмил, заслонил приятеля их юности. Два периода в его жизни: интенсивно творческий питерский и американо-международный карьерный. Его поздние стихи – тень прежних, без прежнего напряга, на одной технике, с редкими взлетами. Помню один с ним спор вскоре после моего приезда в Нью-Йорк: как писать – стоячим или нестоячим. Теперь он настаивал на последнем – «Стоячий период позади» – его слова, – хотя его лучшие стихи сработаны именно стоячим, на пределе страсти, отчаяния и одиночества. «Три еврея» написаны об одном Бродском, а сейчас я говорю о другом.

Почему, сочинив сотни страниц про ИБ – два романа, рецензии, эссе – я извлекаю теперь на свет Божий заметы разных лет из моих американских дневников, так или иначе, косвенно или напрямую с ним связанные?

Для равновеса?

Для эквилибриума с написанными в России «Тремя евреями»?

По контрасту с нынешней мифологизацией?

Да мало ли.

Одно знаю: им тесно и темно в утробе моего компьютера.

Может, причесать и организовать эти записи, выстроить в очередное эссе? Или пустить их в отстой? Тем более некоторые я уже использовал в целокупных опусах – за неизбежные повторы прощения не прошу. Нет, пусть будут такими, как возникли – пусть и вперемешку: разных лет, до и после смерти ИБ. Даже те, что потом проросли в статьи и в книги. Сколько можно насильничать над собой! Пусть отправляются в мир какие есть – укромные, черновые, необязательные, безответственные, бесстыжие, непристойные.

Мысли вразброд.

Полностью публикуются впервые

Столкнулись с ИБ в Колумбийском. Рассказал ему о поездке в Мэн и встрече с Джейн К. из Бодуин-колледжа, где мы с Леной прочли по лекции. Он с ней знаком еще с питерских времен, но в Америке охладел.

Понятно: там она – редкая американка, а здесь – американцы сплошь.

– Ребеночка ее видели? Не мой.

Шуточка довольно циничная. Джейн, наполовину индейских

кровей и очень христианских воззрений, усыновила из жалости мексиканского глухонемого дебила, невыносимого в общежитии, чем зачеркнула и без того слабые матримониальные надежды и теперь всех сплошь мужиков рассматривает исключительно с точки зрения семейных либо – хотя бы – е*альных возможностей. Рассказывала, как ИБ ей прямо сказал, что после сердечной операции у него не стоит. Скорее всего отговорка – свою американскую харизму Джейн растеряла, а скучна, как степь. Чтобы на нее встал, нужно слишком много воображения, как сказал бы Платон – «ложного воображения».

А мужскую свою прыть ИБ утратил и стал мизогинистом еще в Питере, сочинив «Красавице платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы». Импотенция – это когда раздвинутые ноги женщины не вызывают ни удивления, ни восторга, ни детских ассоциаций.

Без удивления нет желания: «Я разлюбил свои желанья, я пережил свои мечты…»»

Импотенция – это равнодушие.

Еще у Джейн хорош рассказ из раннего периода жизни ИБ в Америке. Как на какой-то нью-йоркской вечеринке звездило юное дарование из негров, и обиженный ИБ вдруг исчез. Джейн вышла в примыкающий к дому садик, ночь, звезды, ИБ стоит, обнявшись с деревом, и жалуется дереву на одиночество и непризнание. Быть вторым для него невыносимо. Даже измену МБ он переживал больше как честолюбец, чем как любовник: как предпочтение ему другого. Ахматова говорила: «Иосиф путает музу с блядью» (с поправкой на общеизвестную ревность Ахматовой к возлюбленным поэтов от Пушкина до Пастернака, Бродского включая), а уже здесь Наташа Шарымова сказала мне:

– Он сам назначил Марину…

– Музой, – нетерпеливо подсказал я, но умница Наташа меня поправила:

– Иосиф назначил МБ своей женщиной.

– Заполнил пустующую нишу, да? Th e right woman at the right time…

– …in the wrong place, – перебила меня Наташа. – Вот Марина и сошла с предложенного ей пьедестала и сбежала из ниши, потому что была сама по себе.

– И стихов Иосифа не любила.

– Предпочитая стихи Бобышева.

– И самого Бобышева.

– Дима, кстати, возился с Андреем, как с родным сыном, когда Ося уехал.

А тогда, на кампусе Колумбийского университета, я на

радостях сообщил Бродскому, что мы с Леной получили грант в Куинс-колледже, и назвал несколько тамошних имен. На Берте Тодде он поморщился:

– Это который с Евтухом?

Берт Тодд рассказывал мне, как пытался их помирить, Женю и Осю.

В «Трех евреях» я описал обиду ИБ на Евтушенко за то, что тот будто бы способствовал его высылке из России, и ответную обиду Жени на ИБ за то, что тот будто бы сорвал ему американскую гастроль. Что достоверно: Ося вышел из Американской академии искусств в знак протеста, что в нее иностранным членом приняли Евтушенко, объясняя свой демарш объективными причинами, хотя налицо были как раз субъективные. И вот добрый Берт свел их в гостиничном номере, а сам спустился в ресторан. Выяснив отношения, пииты явились через час, подняли тост друг за друга, Ося обещал зла против Жени не держать.

Недели через две Берт встречает общего знакомого, заходит речь про ИБ, и тот рассказывает, как в какой-то компании ИБ поливал Евтушенко. Берт заверяет приятеля, что это уже в прошлом, теперь все будет иначе, он их помирил. «Когда?» Сверяют даты – выясняется, что ИБ поливал Евтуха уже после примирения. Наивный Берт потрясен:

– Поэт хороший, а человек – нет.

«Про Евтушенко можно сказать наоборот», – промолчал я и рассказал Берту анекдот, как один индеец раскроил другому череп трубкой мира.

А кто из крупных поэтов хороший человек? Железная Ахматова с патологическим нематеринством? По отношению к сидевшему Льву Гумилеву, которому она очевидно предпочитала Алексея Баталова и дала тому деньги на авто? Предавший Мандельштама в разговоре со Сталиным Пастернак? Мандельштам, заложивший на допросах тех, кто читал его антисталинский стих? Преступный Фет, на чьей совести брошенная им и покончившая с собой бесприданница? А характеристика Заболоцкого Дэзиком Самойловым:

…И то, что он мучает близких, А нежность дарует стихам.

Помню, уже здесь, в Нью-Йорке, в связи с одной историей, упрекнул ИБ в недостатке чисто человеческой отзывчивости, на что он усмехнулся:

– Не вы первый мне это говорите.

А про Фриду Вигдорову, которая надорвалась, защищая его, и рано умерла, отзывался пренебрежительно:

– Умереть, спасая поэта, – достойная смерть.

Это в пересказе Анатолия Рыбакова, но по афористичной категоричности судя – стиль Бродского.

Женя Евтушенко упрекает Бродского в неблагодарности. В том числе к нему самому:

– Сколько книг вышло о Бродском, а нигде ни слова, что он был освобожден по моему письму.

Беру слова Жени на веру, хотя он явно преувеличивает свою роль.

Таковое письмо имело место быть, но были и другие защитные письма – от Шостаковича до Маршака.

Бродский был прав, когда при их первой московской встрече после возвращения из ссылки сказал Жене, что тот не один ему помогал. Да и помимо писем, пусть частично и благодаря им, решающую роль сыграла западная реакция на ленинградский суд и ссылку Бродского в архангельскую деревню Норенскую.

Как раз касательно этой забытой Богом деревушки, которая стала известна urbi et orbi благодаря Бродскому, Евтушенко рассказывает с Осиных слов одну весьма занятную историю – опять-таки на тему неблагодарности, но этот сказ хорош и сам по себе, без моралите. Делаем поправку на испорченный телефон: пересказ Женей пересказа Оси норенской истории.

– К нему в лагерь (какой лагерь, когда ссылка! – В.С.) приехал, услышав по «Голосу Америки» о диссиденте по имени Бродский, секретарь местного райкома партии. С бутыльком, со шматком сала. Спросил, не обижают ли. Попросил почитать стихи. Бродский почитал. Секретарь плечами пожимает: ничего-де предосудительного не вижу.

И еще к нему приезжал. Дал указания, чтобы поэта физической работой не перегружали. А потом, отобрав несколько стихов, напечатал их в районной газете. Согласитесь, риск по советским временам для этого секретаря немалый. Но Бродский ни в одном из своих интервью за границей не сказал слова доброго об этом секретаре райкома. Боялся обнаружить свои контакты с партией, что ли…

Объяснение слишком элементарное, но сам Евтушенко через парутройку фраз дает другое:

– Он принадлежал к людям, которые не любят быть благодарными кому бы то ни было. Его это унижало.

Тепло, но опять-таки требует корректива. Дело не в неблагодарности, а в независимости. Ducunt Volentem Fata, Nolentem Trahunt, а уж гений точно ведóм своей судьбой. Главное – не сопротивляться. Потому Бродский и не считал себя обязанным – никому. Неоднократно повторял, чему я свидетель:

– Недостаток эгоизма есть недостаток таланта.

По ту сторону добра и зла?

Поверх нравственных барьеров?

Плохой хороший человек?

А не есть ли тот, кто мыслит, в отличие от нас, стихами, некая патология, в том числе в моральном смысле? И чем талантливее поэт, тем ненадежнее человек? Степень аморализма как показатель гения?

Куда меня занесло…

А тогда, в Колумбийском, дал ему номер моего телефона. Он заметил то, на что я не обращал внимания:

– Легко запомнить: две главные даты советской истории.

В самом деле:… – 3717.

* * *

Еще одна встреча с ИБ в Колумбийском, где он преподает, а мы с Леной теперь, после Куинс-колледжа, – visiting scholars, то есть ничего не делаем, но зарплата идет. Разговор глухонемых: он говорил об английской поэзии, которую я знаю почти исключительно по переводам, а я – о современной русской литературе, которую он не знает и знать не желает. «Искандер? Петрушевская? Вампилов? Ерофеев?» – переспрашивал он, делая вид, что слышит эти имена впервые. Застряли на Слуцком, которого оба любим. Ося называет его ласково Борухом либо Борой, «завис» на нем со статьи Эренбурга в «Литературке», считает выше всех остальных «кирзятников», хотя принимает и Дэзика Самойлова, но с оговорками из-за гладкописи.

Когда я сообщил Слуцкому, что публикую в «Юности» статью о поэтах «военной обоймы», где есть глава и о нем, он поинтересовался, кто там еще. Я перечислил.

– Повезло им.

– В чем?

– В хорошую компанию попали.

Отсмеявшись, ИБ сказал:

– А что? Верно.

Он – единственный поэт, у которого ощущение трагедии… Жесткая, трагичная и равнодушная интонация… Изменил в одиночку тональность русской поэзии… Это как раз и было ответственным за всю последующую идиоматику…

А лично я – если честно – не знаю, кто из них мне ближе: Бродский или Слуцкий? Скажу больше – пусть и прозвучит кой для кого эпатажно или кощунно: не знаю, кто из них более крупное, более революционное явление русской поэзии. Как

реформаторы русского стиха, они – единоверцы, единодельцы и однонаправленцы, но Слуцкий – первопроходец.

– Я начал писать стихи, потому что прочитал стихи Бориса Слуцкого, – сказал Ося.

Я прочел пару неопубликованных стихов, которые Ося не знал.

– Еще! – потребовал он, но из других я помнил только строчки.

Рассказал про мою последнюю встречу с Борисом Абрамовичем в Москве – как тот раскрыл лежавший у меня на письменном столе нью-йоркский сб. «Остановка в пустыне» и тут же напал на нелестный о себе отзыв в предисловии Наймана.

– Я сказал наобум, что вы ничего не знали про предисловие. «Должен был знать», – отчеканил Слуцкий.

Ося огорчился, обозвал Наймана «подонком» и сообщил, что тот был последним любовником Ахматовой. Я было усомнился.

– А как еще объяснить ее любовь к нему? Не за стихи же!

Неоспоримый довод, ultima ratio.

Бродский был невысокого мнения о его стихах, полагал слабаком и даже исключал из «ахматовских сирот».

– Трио, тройка, троица: мы с Рейном и Бобышев, будь проклят!

Поинтересовался, не собираюсь ли я печатать «Трех евреев». Нежно вспоминал Женюру (Рейна). Поболтали с полчаса, а потом он глянул на часы и сорвался с места: — Опоздал из-за вас на лекцию!

* * *

Чуть не поругался с Довлатовым. То есть сказал ему все, что думаю, но Сережа спустил на тормозах.

Вот в чем дело.

«Даблдэй» собирается издать «Двор» Аркадия Львова. Не читал и не буду, не принадлежа к его читателям. Однажды он мне позвонил и советовался, как быть с Ричардом Лури, бостонским переводчиком, который отлынивает от перевода романа (по договору с издательством) и «бегает» Аркадия. «Для меня это дело жизни и смерти!» Немного высокопарно, но понять его можно. Кстати, роман уже вышел пофранцузски. И вот Довлатов, узнав, что «Даблдэй» собирается выпустить «Двор», уговаривает ИБ, чтобы тот, пользуясь своим авторитетом, приостановил публикацию. Но самое поразительное, что ИБ на это идет и звонит знакомому редактору в «Даблдэй».

Чего, впрочем, удивляться? Пытался же он зарубить «Ожог» Аксенова, написал на него минусовую внутреннюю рецензию. Раньше, в Питере, он был совсем-совсем-совсем другим – земля и небо! Помню, Лена Клепикова дала ему на внутреннюю рецензию роман летчикаграфомана – Ося с ним встретился, что не требовалось, и рекомендовал рукопись в печать, пусть и с замечаниями, но впредь больше рукописей в «Авроре» не брал, хотя работа не бей лежачего, заработок легкий и чистый. Никак не мог понять его чистоплюйства, но Ося сказал, что не хочет подачек с барского стола, а хочет, чтобы ему платили как профессионалу – за стихи и за переводы. (Подробности этой истории см. в моих «Трех евреях» и воспоминаниях Лены Клепиковой.) Не может быть, чтобы роман Аксенова был хуже романа летчика!

* * *

Как-то, уже здесь, я сказал Осе – по другому поводу – что он не единственный в Америке судья по русским литературным делам.

– А кто еще?

Я даже растерялся от такой пацанской самонадеянности, чтобы не сказать – наглости. То же мне решала! Тут только до меня дошло, что передо мной совсем другой ИБ, чем тот, которого я знал по Питеру.

Разговор этот состоялся в гостинице «Люцерн» на 79-й улице в Манхэттене, куда ИБ пришел к нам второй раз.

Но сперва о первой встрече.

Осень 1977 года. Мы только из России, полные надежд и растерянные. Ося явился к нам в отель «Люцерн» на следующий день, расцеловал, приветил, сказал, что беспокоился, когда прочел про нас в «Нью-Йорк таймс» – как бы нас не замели. Свел в мексиканский ресторан, чьи блюда острее бритвы (обхожу с тех пор стороной), расспрашивал про совдепию и про общих знакомых, хотел помочь в журнальноиздательских делах. Я отказался, почувствовав, что предложенная помощь – способ самоутверждения для него. Держал фасон, хвост пустил павлином. Было бы перед кем! Мы были тогда на нуле, он – старше нас на пять лет своего американского опыта. С верхней полки стенного шкафа вылетел в облаке пыли эмигрировавший вместе с нами кот Вилли, чтобы пообщаться со старым знакомым. ИБ поморщился, будто мы несем ответственность за гостиницу, куда нас поселили на первых порах. Однако Вилли был им

приласкан, кошачье имя вспомянуто. Кошек он всегда любил больше, чем людей.

Вторая встреча – сплошь напряг, особенно после «А кто еще?» Будто в его власти давать добро на существование, казнить и миловать.

Помню, сказал ему что-то о санкционированной литературе – все равно кем. Даже если по сути я был прав, человечески – нет. Когда Ося стал массировать себе грудь в области сердца, я ему не поверил, а теперь сам сосу нитроглицерин время от времени. Он взывал к жалости, несколько раз сказал свое любимое «мяу». Я замолчал, дав понять, что говорить нам больше не о чем. Обозлился на авторитарность, хотя та шла от прежней униженности, а хвастовство – от комплексов. Мания величия как следствие советской мании преследования, которую он описал в «Горбунове и Горчакове».

Мы его любили совсем-совсем другим. Как у Гейне – Лермонтова:

Они расстались в безмолвном и гордом страданье И милый образ во сне лишь порою видали. И смерть пришла: наступило за гробом свиданье… Но в мире новом друг друга они не узнали.

Вот именно: мы не узнали друг друга в новом мире – сиречь в Новом Свете, но не на том свете, а еще на этом, а на том – там видно будет.

Отчасти общению мешали присутствие Лены и самцовость ИБ. Не буквальная, конечно – сублимированная. Не эта ли самцовость была причиной его негативной реакции на некоторые сочинения своих соплеменников? Либо это было его реакцией на само чтение? В «Романе с эпиграфами» я написал, что поэт он гениальный, а читатель посредственный. В черновике стояло «*уевый».

* * *

Легче понять прозаика, который препятствует изданию книги собрата по перу. Воронели мне рассказывали, что после рекламного объяв ления о том, что в ближайшем номере журнала «22» будет напечатан роман Владимира Соловьева «Не плачь обо мне…», они получили письмо от Игоря Ефимова – почему печатать Соловьева не следует.

Взамен он предлагал собственный роман. Это как раз понятно. Но ИБ ведь не прозаик – ни Львов, ни Аксенов ему не

конкуренты.

В том-то и дело, что не прозаик! Один из мощнейших комплексов ИБ. Отрицание Львова или Аксенова – частный случай общей концепции отрицания им прозы как таковой. И это отрицание проходит через его эссе и лекции, маскируясь когда первородством поэзии, а когда антитезой – «Я вижу читателя, который в одной руке держит сборник стихов, а в другой – том прозы…» Спорить нелепо, это разговор на детском уровне: кто сильнее – кит или слон?

А если говорить о персоналиях, то Львов и Аксенов – подставные фигуры: Набоков – вот главный объект негативных эмоций ИБ. Представляю, какую внутреннюю рецензию накатал бы он на любой его роман! Здесь, в Америке, бывший фанат Набокова превратился в его ниспровергателя: с теперешней точки зрения ИБ, слава Набокова завышенная, а то и искусственная. Я пытался ему как-то возразить, но ИБ отмахнулся с присущим ему всегда пренебрежением к чужой аргументации. Его раздражает слава другого русского, которая не просто превосходит его собственную, но достигнута средствами, органически ему недоступными. Комплекс непрозаика – вот импульс мемуарной и культуртрегерской литературы самого ИБ.

Прислушаемся к его собственным признаниям, хоть и закамуфлированным под третье лицо: посвященное Цветаевой эссе «Поэт и проза» – своего рода ключ к его собственной эссеистике. Конечно, Цветаева – не маска ИБ, она в этом очерке сама по себе, но одна из немногих, с кем он ощущает прямое родство (все другие – мужи: Мандельштам, Баратынский, Оден).

В чем сходство ИБ с ней? В кочевой судьбе, биографии и опыте, отстающих, как он пишет, от инстинкта и предвосхищения. Несомненно – в стилистике, в приемах, в спрессованной речи, в монологичности – результат кромешного одиночества и отсутствия равного собеседника. ИБ ничего не выдумывает, не подтасовывает, но замечает в Цветаевой то, что близко и внятно именно ему самому – другой обнаружит в ней иное. Подмечает, к примеру, «нотку отчаяния поэта, сильно уставшего от все возрастающего – с каждой последующей строчкой – разрыва с аудиторией. И в обращении поэта к прозе – к этой априорно “нормальной” форме общения с читателем – есть всегда некий момент снижения темпа, переключения скорости, попытки объясниться, объяснить себя».

С еще большим основанием эти слова можно отнести к самому ИБ.

Оказавшись за пределами СССР, он обнаружил себя в чужой языковой и культурной среде, к которой ему предстояло

приноравливаться, приспосабливаться. Этой среде было не до стихов, тем более – не до русских стихов. Если ИБ и был ею априорно принят, то благодаря советскому волчьему паспорту, но от этого его тоска по читателю не утихла, а потребность предъявить доказательства своего существования увеличилась. Менее всего годились для этой цели стихи. Так возникла эссеистика ИБ – в отчаянном поиске читательского эха. На чужом языке, в чужой стране.

Сама по себе, такая установка уже предполагает вполне сознательное снижение уровня. К тому же, в иерархическом, цеховом представлении ИБ, «поэзия стоит выше прозы и поэт – в принципе – выше прозаика». Ущербный императив: чувство превосходства оказывается на поверку комплексом неполноценности. Запретный плод сладок, а виноград, до которого эзопово-крыловской лисе не дотянуться – зелен.

Нет нужды защищать от него прозу, которой он далеко не во всех, но в лучших эссе виртуозно владеет, и главная причина противопоставления прозе поэзии даже не в отсутствии у ИБ жанрового демократизма, а в его закомплексованности, в его оторопи перед прозой, а уже отсюда – в перестраховке: виноград зелен, проза ниже поэзии. Так можно дойти и до отрицания поэзии, до самоотрицания. Как верно подметил ИБ по другому поводу, в писательском ремесле накапливается не опыт, а неуверенность, которая по-другому называется мастерством.

Прежде всего он, конечно, поэт, и желая приблизить к себе чужеязыкого читателя, вынужден кое-чем поступиться. Но это – в неудачных эссе, типа «Плачущей музы» про Ахматову, с которой ИБ дружил, но ее стихов не любил, либо популяризаторского, вымученного, компилятивного «Путеводителя по переименованному городу», где он вынужден пересказывать читателям общеизвестные факты – от фабулы «Медного всадника» до биографии Ленина. Точнее, читательницам, ибо это эссе написано по заказу «Vogue» – ностальгический каприз русского по происхождению Алекса Либермана, главы журнального холдинга «Conde Nast Publications» и самого, пожалуй, влиятельного из нью-йоркских истеблишментников. Вместе с женой Татьяной Либерман – ну да, в девичестве Яковлевой, той самой! – Роджером Страусом и Сьюзен Зонтаг они выхлопотали ему Нобелевскую премию. Которую он заслужил – несомненно, но преодолеть возрастной ценз без помощи этой троицы ему вряд ли бы удалось. Так он стал пусть не самым молодым, но вторым по молодости, после Юджина О'Нила, нобелевцем. (См. об этом чуть дальше.)

Самый вымученный характер в этом «путеводителе» у

метафор, даже удачных – с их помощью ИБ пытается сделать заимствованное, неоригинальное своим и оригинальным. В этом очерке ИБ работает как переводчик, который, по незнанию языка, вынужден пользоваться подстрочником. Но зачем топографический подстрочник человеку, который прожил в описываемом городе 32 года? Если бы у него это был единственный очерк о Ленинграде, можно было заподозрить, что, выложившись весь в поэзии, израсходовав все свои впечатления от города на стихи, ИБ ничего не оставил за душой, чтобы сказать о нем прозой.

Хорошо, что это не так.

В двух других «ленинградских» эссе – оба с арифметическими названиями, «Меньше единицы» и «Полторы комнаты» – ИБ решительно отбрасывает справочно-суфлерскую литературу, полагаясь исключительно на свою память, и Мнемозина не подводит. Он дошел до той возрастной черты, когда прошлое будоражит сильнее, чем настоящее вкупе с будущим. Это можно сравнить с тремя положенными спортсмену попытками, из которых одна сорвалась. Хотя эти эссе жанрово разные – в одном скорее «био» времени, чем поэта, тогда как второе походит на семейную хронику – основным содержанием обоих является энергия памяти, которая движет клочковатый сюжет и вычленяет узловые моменты повествования.

В лучшей своей эссеистике ИБ остается самим собой, обращаясь к неведомому собеседнику с «безадресной речью». «Чему научается прозаик у поэзии? – вопрошает поэт, осваивающий прозу. – Зависимости удельного веса слова от контекста, сфокусированности мышления, опусканию само собой разумеющегося, опасностям, таящимся в возвышенном настроении… Неизвестно, насколько проигрывает поэзия от обращения поэта к прозе; достоверно известно, что проза от этого выигрывает». Противореча себе, ИБ отказывается вдруг от элитарноиерархического подхода к формам литературы и перефразирует Клаузевица: проза всего лишь продолжение поэзии, только другими средствами. Иными словами, происходит перенесение методов поэтического мышления в прозаический текст, развитие поэзии в прозу, «то есть читатель все время имеет дело не с линейным (аналитическим) развитием, но с кристаллообразным (синтетическим) ростом мысли».

* * *

К счастью, самоуверенное «А кто еще?» было хвастовством, а

не реальностью. Перед наезжающими из России с конца 80-х знакомыми он и вовсе ходил гоголем. Найман пишет о могущественном влиянии ИБ и в качестве примера приводит его рецензию на аксеновский «Ожог». Это преувеличение со слов самого ИБ. И «Ожог», и «Двор» благополучно вышли по-английски, несмотря на противодействие ИБ. Не хочу больше никого впутывать, но знаю, по крайней мере, еще три случая, когда табу ИБ не сработали, его эстетическому тиранству демократическая система ставила пределы. Влияние ИБ ограничивалось университетским издательством «Ардис» и специализирующимся на нобелевских лауреатах (сущих и будущих) «Фаррар, Строс энд Жиру», но и там не было тотальным. Как сказала мне Нанси Мейслас, редакторша этого изва: «Если бы мы слушались Иосифа, нам пришлось бы свернуть деятельность вполовину». Зато без промаха самоутверждался ИБ, давая «путевки в жизнь» в русскоязычном мире Америки: комплиментарные отзывы своим бывшим питерским знакомым, а те воспринимали его как дойную корову.

Вот из огромного письма Юнны Мориц, которое она написала от руки в два приема – сначала черными, потом синими чернилами, когда подвернулась оказия: даже в те перестроечные годы не доверяла почте.

С Бродским она видалась на литературной встрече в Вашингтоне:

23.11.87–11.1.88

Иосиф необычайно красив, хоть и взял одежду напрокат у героев Чаплина: это его старит, всасывает в старческий обмен веществ; ритм скелетный и мышечный, а также сосудистый – лет на 60… Но он, к сожалению, охотно дает питерской братии примерять тайком свою королевскую мантию, свою премию и крошить свой триумф, как рыбий корм в аквариуме.

Смотреть на это страшно – они погасят его своими слюнями, соплями и трудовым пóтом холодненьких червячков. Помните, в «Машеньке»? «…а червячок-то, в обчем, холодненький»…Им-то все мерещится, что струится из них пастерначий «свет без пламени», – хрен вот! писи сиротки Хаси из них струятся, а Иосифа спешат они сделать своим «крестным отцом», загнать в могилу (чтобы не взял свои слова назад!) и усыпать её цветуечками.

И не могла я ему ничего такого сказать, ибо ползали они по его телу, и меня от этого так тошнило, что я занавесилась вéками Вия. Но слегка мы позабавились все же на пресс-конф. в «Нью репаблик», где Иосиф говорил очень мало, очень механически и

без особого блеска, но явно держал в рабстве всех кочегаров этого паровоза. Он сказал, что поэзия выше политики, и лично мне это в его исполнении драгоценно. Но тут Саша (Кушнер) громко зашептал «я согласен, согласен», озираясь победно-трусливым личиком. И тогда я спросила у Иосифа, не он ли написал: «Я впустил в мои сны вороненый зрачок конвоя???» Сославшись на активность подсознания в ночное время, он подал знак – и прессконф. прекратили!!!

* * *

7 марта 1988 г. (спустя несколько месяцев после той вашингтонской литературной встречи).

После скандала с Леной и гостящей у нас ее маман отправился с Довлатовым в Куинс-колледж.

На сцену вышел старый лысый еврей, лет 65, хотя ему всего 47.

Какое он имеет отношение к тому ИБ, которого я любил? Тень тени.

Как встреча с любимой женщиной спустя полвека. Но тут всего несколько лет, как видел его последний раз, не участвуя в борьбе за «доступ к телу» и сохранив благодаря этому его питерский образ. Не ходил на его вечера, хотя всякий раз боялся, зная о его неладах с сердцем, что это последний, никогда больше не увижу. Вот и отправился. Что сделало с ним время! Долго не протянет, увы.

Читал, однако, с прежней мощью, особенно «Winter» по-английски и подсказанный Юнной «Вороненый зрачок конвоя» по-русски. Часто сбивался, но это ничего. По-английски страшно заикается и эти бесконечные «Э… э… э…» Даже картавость по-английски как-то заметнее.

Очень переживал за него. Английская неадекватность его русскому.

В самом деле, как перевести ту же «жидопись»? Курит непрерывно. Выкурив положенную ему на день или на этот вечер норму, стал стрелять в зале. Тут как тут оказался Гриша Поляк, который сам не курит, но раздобывал и подносил ИБ.

Потом были вопросы – один банальнее другого, даже неловко как-то. ИБ долго что-то талдычил про свой интерес к индуизму, к иудаизму и христианству, но как человек безрелигиозный кончил принадлежностью художника к христианской культуре. Около него толпился люд, я пробился и обнял его, что-то мелькнуло в нем родное, близкое, но встреча была как будто уже за чертой

горизонта, на том свете.

Довлатов, волнуясь, сказал:

– Я должен вас поблагодарить, Иосиф.

– За что?

– Для вас это не важно, но важно для меня. Я вам еще позвоню.

Довлатов льстит с достоинством – ИБ нравится. И вообще – такой большой, а льстит, заискивает, зависит. А что Сереже остается – он, действительно, зависит от рекомендаций ИБ – в «Нью-Йоркер», в издательства, на литконференции и гранты. Бобышев, который кого угодно закошмарит, отозвался об их отношениях: лизнул аж до самых гланд.

Понятно, кто кому.

Подошел какой-то остроглазый, как ястреб, и сказал полувопросительно:

– Володя Соловьев? А где Лена?

Оказалось – Лева Поляков, фотограф. Кстати, именно «Ястреб», да еще читанный по-английски, показался не просто длинным, но бесконечным. Уж очень описателен. Е*ет нестоячим, но с прежней силой – отсюда этот патологический эффект. Может быть, это оттого, что два чтения одного и того же текста – по-русски и по-английски – утомительны.

Хотел пригласить ИБ к себе, но вспомнил о скандале с Леной и ее мамой и не решился, хотя когда-то он был с Леной нежен, да и Лена к нему благоволила как ни к кому другому из моих питерских знакомцев.

Помню, как он оттолкнул других претендентов (включая мужа) и, взгромоздив на руки, задыхаясь, попер пьяненькую Лену по крутой лестнице к нам на четвертый этаж, после того как мы ее приводили в чувство на февральском снегу.

Было это в один из наших дней рождения, но убей Бог, не припомню, в каком году. В 70-м? В 71-м? На месте Лены я бы переживал: не тогда ли он надорвал себе сердце, таща ее по нашей крутой лестнице?

Странно, что ей это не приходит в голову. Или mea culpa – исключительно мужское переживание?

Думаю, поехал бы к нам – так одинок, неприкаян. По пути обратно Сережа пересказал мне рассказ Валеры Попова – как человек стал чемпионом мира и все перестали ему звонить, думая, что у него теперь отбоя нет от поклонников. Вот и сидит этот чемпион, скучает, пока не раздается долгожданный звонок – это ему звонит другой чемпион мира, которому тоже все перестали звонить.

Домой не хотелось. Пока у нас гостит теща, мой дом перестал

быть моим домом. Долго сидел на кухне у Довлатовых – Сережа был возбужден, а его Лена поглядывала отстраненно и чуть даже свысока. Словесно он ее побивает, но она берет реванш взглядами и мимикой. Сережа и Нора Сергеевна считают ее эмоционально непробиваемой, без нервов, но, думаю, это не так.

* * *

Вот та рецензия 1990 года, за которую ИБ, с его болезненным отношением к критике, должен был, по мнению Довлатова, вызвать меня на дуэль. Я ее читал, как скрипт, на радио «Свобода», напечатал в нью-йоркском «Новом русском слове» и тиснул сокращенную версию в московском сб. моих рассказов и эссе «Призрак, кусающий себе локти» (раздел «Вокруг Иосифа Бродского»).

Большой поэт, коим, несомненно, ИБ является, сам устанавливает стандарты и критерии, согласно которым читатель судит его стихи.

Другими словами, поэту не избежать сравнения с ним самим, читательская любовь – если говорить о любви, а не о моде – требовательна, безжалостна и мстительна. В недавнем интервью ИБ признался, что «иногда… ну, просто устаешь от стихов» – это с учетом и количества уже написанного, и возраста поэта, и той, в общем-то, элементарной истины, что человек не бесконечен еще при жизни, хотя прав Лев Толстой: в нем есть все возможности.

В том же интервью ИБ напутствует своих читателей, на всякий случай предупреждает их: «…я полагаю, что книги… надо издавать с указанием не только имени автора… но с указанием возраста, в котором это написано, чтобы с этим считаться. Читать – и считаться. Или не читать – и не считаться».

Увы, ИБ упустил еще одну возможность: читать – и не считаться.

Читатель-ровесник, а тем более читатель-земляк – даже двойной, по Ленинграду и Нью-Йорку, говорю о себе – следящий за поэтом издавна, пристально и даже нетерпеливо, знает и о возрасте поэта, не самом, как бы он выразился, шикарном для стихотворства, и об исчерпанности каких-то тем и мотивов, к которым поэт тем не менее, как завороженный, возвращается, и об инерции стиховой техники, которая неизбежна у таких виртуозов, как ИБ. Хуже нет, как стать плагиатором самого себя, вот почему меня так порадовало его обращение к гротеску в напечатанной с полгода назад в «Континенте» драматической

поэме «Представление». К сожалению, в рецензируемый сборник она не вошла, а потому он дает все-таки неполное представление о том, что сделано поэтом за два года после получения им Нобелевской премии. Это сборник лирики, где гротеск, тем более многостраничный, мог бы выглядеть инородно. Однако именно лирическое начало у нынешнего ИБ если не исчерпано полностью, то значительно ослаблено – по сравнению с классическим ИБ 60–70-х. Даже регулярные темы ИБ – старение, смерть, поедаемое временем пространство и проч. – звучат у него теперь перечислительно и монотонно. По крайней мере, половина из 26 стихотворений сборника написаны в этом ослабленном регистре и являются постскриптумом к собственной поэзии, напоминая о ее прежних достижениях, возвращая к ним память и отвлекая от чтения. Вот, например, стихотворение «Памяти Геннадия Шмакова» – далеко не худшее среди такого рода, действительно, усталых (ИБ прав) и необязательных сочинений:

Извини за молчанье. Теперь
ровно год, как ты нам в киловаттах
выдал статус курей слеповатых
и глухих – в децибеллах – тетерь.

Видно, глаз чтит великую сушь,
плюс от ходиков слух заложило:
умерев, как на взгляд старожила —
пассажир, ты теперь вездесущ.

И так 80 строк, с проблесками, типа «перевод твоих лядвий на смесь астрономии с абракадаброй», либо с провалами, которые одинаково подчеркивают строкоблудие стихотворения в целом. В подобных случаях ИБ удается иногда хотя бы остроумной, парадоксальной либо афористичной концовкой спасти стих, но этот кончается так же аморфно, как двигался до сих пор. Вот его вялое окончание:

Знать, ничто уже, цепью гремя
как причины и следствия звенья,
не грозит тебе там, окромя
знаменитого нами забвенья.

Здесь срабатывает закон обратной связи: писателю скучно писать – читателю скучно читать. Ну да: «Скучная история» – АПЧ привет. Вообще, надеяться на воодушевление читателя там, где

оно вчистую отсутствует у поэта, по крайней мере, наивно. Квалифицированный либо просто памятливый читатель может взять да и вспомнить какой-нибудь жанрово-сюжетный прецедент у того же поэта – скажем, потрясающее некрологическое стихотворение 73 года, на следующий год после эмиграции, «На смерть друга», который, кстати, оказался живздоров. Тем более какова сила поэтического воображения, навсегда закрепившая за ложным слухом все признаки реальности!

Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно.

Поэт такого масштаба, как ИБ – лучший русский поэт не только моего поколения, но и нашего времени – не нуждается в снисходительной критике, тем более один из его самых неотвязных, навязчивых сюжетов последнего времени – изношенность жизни, ее обреченность на повтор, упадок и распад. Своим отношением к жизни поэт сам подсказывает читателю, как относиться к его поэзии:

Только пепел знает, что значит сгореть дотла.
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед:
не все уносимо ветром, не все метла,
широко забирая по двору, подберет.
Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
под скамьей, где угол проникнуть лучу не даст,
и слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
в перегной, в осадок, в культурный пласт.

Этот «апофеоз частиц» вполне выдерживает сравнение с ранними воплощениями того же сюжета – скажем, с поразительными метаморфозами живого в мертвое, а мертвого в ничто в «Исааке и Аврааме» 1963 года. ИБ и сам устраивает себе экзамен и часто с блеском его выдерживает, сочиняя на каждое Рождество по стихотворению – вот последняя строфа одного из двух, помещенных в его «шведском» сборнике:

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.

Вообще, юбилейные послания – будь то на день рождения Иисуса либо на столетие Анны Ахматовой – поэтический жанр, в котором ИБ достиг блеска. Помню, как он написал нам с Леной стихотворение «стиш» на день рождения – лучше подарка мы отроду не получали.

Вот его ахматовский «адрес»:

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь – одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, – тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

Самые сильные стихи в новой книге ИБ принадлежат, однако, не юбилейному жанру, а одно дидактическому, а другое – любовному.

Дидактическое так и называется «Назидание», хотя это скорее жанровая пародия, но такого рода пародия, что заставляет нас серьезнее отнестись к этому поэтическому архаизму – ИБ вообще часто обращается к традициям русской поэзии XVIII века, минуя век XIX. Тематически и концептуально этот замечательный стих примыкает к лучшей у ИБ прозе, его «византийской записке», которая по-русски озаглавлена им «Путешествие в Стамбул». В качестве примера две последние строфы этого длинного – и тем не менее не оторваться! – стихотворения:

X
В письмах из этих мест не сообщай о том,
с чем столкнулся в пути. Но, шелестя листом,
повествуй о себе, о чувствах и проч. – письмо
могут перехватить. И вообще само
перемещенье пера вдоль бумаги есть
увеличение разрыва с теми, с кем больше сесть

или лечь не удастся, с кем вопреки письму —
ты уже не увидишься. Все равно, почему.

XI
Когда ты стоишь один на пустом плоскогорье, под
бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот
или ангел разводит изредка свой крахмал;
когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал,
помни: пространство, которому, кажется, ничего
не нужно, на самом деле нуждается сильно во
взгляде со стороны, в критерии пустоты.
И сослужить эту службу способен только ты.

Что же касается любовной лирики, то она представлена на этот раз антилюбовным стихотворением. В конце концов, если есть антимиры, антигерои и антимемуары, почему не быть любовной антилюбовной лирике? Вряд ли автора целой книги стихов, обращенных к женскому анонимному адресату МБ, читатель заподозрит в женоненавистничестве. А если и заподозрит, его можно утешить: мизогиния ИБ – только часть его мизантропии («Я, более-менее, мизантроп»).

…….
Не пойми меня дурно: с твоим голосом, телом,
именем ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

(– Как вы осмелились сказать, что половина стихов в его книге плохая? – сказал мне Довлатов.

Любая интрига, пусть воображаемая, приводила Сережу в дикое возбуждение.

– Это значит, что другая половина хорошая.

– Как в том анекдоте: зал был наполовину пуст или наполовину полон? – рассмеялся Сережа.)

* * *

«Иностранка» заключила со мной договор на три эссе – «Эпистолярный Набоков», «Был ли Фрейд великим писателем?» и «Джозеф Бродский – американский эссеист». Первые два они уже успели напечатать в журнале, последнее должно сопровождать сб. статей ИБ в книжной серии «ИЛ». Звоню Осе, намечаем план издания. Это не годится, потому что лекция, а это – потому что рекламный гид по Питеру. К своему русскому сборнику он более отборчив и придирчив, чем к американскому, который по сути жанровая свалка. Я не удержался от подъе*а:

– Может включить вашу полемику с Кундерой?

– Еще чего!

По этой мгновенной реакции можно судить, как болезненны для него были шишки, которые посыпались за это выступление. Поделом!

И вовсе не за политическую некорректность, как он пытался поначалу представить.

По природе своей ИБ монологист, а потому жанр полемики ему противопоказан. Плюс, конечно, политика, в которую его занесло – это его хобби и одновременно ахиллесова пята: слишком прямолинеен, поверхностен, что особенно заметно по контрасту с его сложной, разветвленной культурологической концепцией. Его спор в «New York Times Book Review» с Кундерой – наглядное тому свидетельство. Как и столкновение спустя три года на Лиссабонской писательской конференции сразу с группой восточноевропейских литераторов – венгром Георги Конрадом, югославом Данило Кишем и поляком Чеславом Милошем, другом ИБ. Бедный Довлатов! Он метался между восточноевропейским «коллективом» и своим покровителем, который привез его и еще нескольких русских на эту конференцию в качестве кордебалета.

Не выдержав метаний, Сережа запил и прибыл в Нью-Йорк в непотребном состоянии.

Если в обеих пьесах ИБ – стихотворной «Горбунов и Горчаков» и прозаической «Мрамор» – есть видимость диалога, хотя на самом деле это бесконечные монологи, распоротые на диалоги, то в полемике с восточноевропейцами даже эта формальная демократичность отсутствует. Был бы такой жанр, оба выступления ИБ можно было бы обозначить как «окрик». В представлении обиженных или оскорбленных восточноевропейцев

– окрик старшего брата: Данило Киш отметил «назидательный тон» и сказал, что «чувствует себя ребенком, которому читают нотации». Не спутал ли ИБ разноликую аудиторию европейских демократов с послушной его авторитету и привычной к авторитарности русской аудиторией? В конце концов, в «домашний, старый спор» оказались втянуты сторонние. Сьюзен Зонтаг призналась, что сильно в нем разочарована, добавив, что страны советского блока не являются придатком Советского Союза и даже кое в чем его опережают. Салман Рушди, который через несколько месяцев вынужден будет уйти в подполье, скрываясь от разъяренных единоверцев, заметил, что это так типично для колонизаторов – определять, что хорошо для колонизируемых; если восточноевропейцы чувствуют, что они существуют как некая культурно-политическая целокупность, значит, они и в самом деле существуют в оном качестве. ИБ был зачислен в империалисты, хотя имперство его питерское – скорее эстетическое, чем от политики. Подводя итог дискуссии, политическая комментаторша Флора Льюис писала в «Нью-Йорк таймс», что «даже Джозеф Бродский, живущий в Нью-Йорке нобелевский лауреат, встал на энергичную защиту Советского Союза от легких упреков в колониализме со стороны восточноевропейцев».

Спор этот, как известно, выиграли восточноевропейцы – не только количеством (оппонентов) и качеством (аргументов), но исторически: события в Восточной Европе наглядно опровергли имперские догмы, пусть даже они не были чисто политическими, но окрашены в культурологические полутона.

Дело еще во взаимном непонимании. Такое чувство, что борцы на ринге разных весовых категорий. Даже когда ИБ был один на один с Кундерой.

Обоими двигала взаимная обида, и это важнее их аргументов. Кундерой – обида за прерванную советскими танками историю покинутой им родины. ИБ – обида за то, что в этом обвиняют не только советских политиков, но и русских писателей; не одного Брежнева, но заодно и Достоевского. Кундера расширил политическую тему до историко-антропологической, культурно-мифологической. В ответ ИБ обратно ее сузил, но не до политической, а до литературной: хороший или плохой писатель Федор Михайлович, и нет ли у Кундеры по отношению к нему комплекса неполноценности? Можно подумать, что принадлежность Достоевского и ИБ к одному языку и одной стране дает последнему какое-то преимущество в споре с Кундерой. Собственнические претензии ИБ на Достоевского, как и русская монополия на его понимание – самое уязвимое, чтобы не

сказать смешное, место в диатрибе ИБ против Кундеры.

«…метафизический человек романов Достоевского представляет собой большую ценность, чем кундеровский уязвленный рационалист, сколь бы современен и распространен он ни был», – пишет ИБ, переходя на личности и забывая старое правило, что спорить следует с мнениями, а не с лицами. Иначе Кундере, пиши он в ответ, пришлось бы сравнивать метафизического человека Достоевского с лирическим персонажем поэзии ИБ.

Политическая аргументация ИБ и вовсе беспомощна, а тон высокомерен и резок. К примеру: «О каком, в самом деле, Севере-Юге может рассуждать чех (Польша? Германия? Венгрия?)» Либо: «Вины Кундеры в этом нет, хотя, конечно, ему следовало бы отдавать себе отчет в этом» – то есть в том, кто есть кто: кто – Достоевский, и кто – Кундера. Или чисто российский фатализм-детерминизм – кому из нас он не чужд, но вменять в обязанность чеху? «Как бы парадоксально это ни звучало, подлинному эстету не пришло бы в голову задумываться о проблеме выбора при виде иностранных танков, ползущих по улице; подлинный эстет способен предвидеть – или предугадать заранее – вещи такого рода (тем более, в нашем столетии)».

Как быть подлинному эстету теперь, когда на его глазах меняется вся Восточная Европа? Предвидеть то, чего, судя по всему, не будет?

Апокалипсическое видение под стать библейским пророкам и русским поэтам, но не политическим публицистам.

Не останавливаюсь на позиции Кундеры, потому что не о его эссеистике речь. Скажу только, что в отличие от Кундеры, я – как и ИБ – люблю Достоевского, но в отличие от императивного ИБ, допускаю возможность иного мнения, в том числе и выраженного не столь деликатно, как у Кундеры, с его усредненным чешским темпераментом. Читая филиппику ИБ, представил грешным делом, как англичанин сочиняет гневную отповедь Льву Толстому за его неуважительный отзыв о Шекспире.

Вообще ИБ, с его иерархическими и сословными предрассудками, с его безудержным монологизмом, авторитарностью, речевым императивом, невосприимчивостью (скорее, чем нетерпимостью) к чужому мнению и вольным обращением с фактами, лучше бы не соваться в такого рода споры, вовсе не касаться полемического жанра. В пылу полемики ИБ заявляет, что «именно с Запада возвращается душевнобольным князь Мышкин», хотя как раз наоборот: на Западе, в Швейцарии, его подлечили, а в России, под напором именно русских событий, он спятил окончательно и вернулся в «швейцарское заведение»

уже безнадежно больным. Вот и получалось: чешский зоил Достоевского знает русского писателя лучше, чем его русский защитник.

Хорошо, что это не так.

* * *

Составляя американскую книгу эссе и лекций, ИБ опустил свой неудачный полемический опус, зато включил несколько страниц о Достоевском, где он пишет о языке как о некоей независимой субстанции: литература есть средство существования языка, именно в ней происходит самопознание языка. Это не эстетическая, а лингвистическая точка зрения, и под ее углом рассмотрены такие явления как Оден, Кавафис, Мандельштам, Цветаева, а в стихотворении, ему посвященном – Т.С. Элиот. К примеру, поэзия Цветаевой трактуется как заинтересованность самого языка в трагическом содержании. Тот же подход продемонстрирован и в связи с Достоевским, написано это с упоением, как стихотворение:

«Однако не одной достоверности ради его герои с чуть ли не кальвинистским упорством раскрывают перед читателем душу. Что-то еще побуждает Достоевского выворачивать их жизнь наизнанку и разглядывать все складки и швы их душевной подноготной – и это отнюдь не жажда Истины! Ибо результаты его инквизиции выявляют нечто большее, чем Истина; они обнажают саму изнанку жизни, и изнанка эта – убога. А сила, которая толкает его на это – всеядность языка, которому в один прекрасный день становится недостаточно Бога, человека, реальности, вины, смерти, бесконечности, Спасения, воздуха, земли, воды, огня, денег, и тогда он набрасывается сам на себя».

Как ни соблазнительна – ввиду блестящего исполнения – лингвистическая теория, позволю себе усомниться, что литература – это только борьба языка с самим собой. Тем более сам ИБ думает и другое и пишет, в частности, что, хотя Достоевский был неутомимым защитником Добра, не было, если вдуматься, и у Зла адвоката более изощренного. Тема Зла, а точнее, сюжет Зла – не менее настойчивый (чтобы не сказать, навязчивый) в прозе – и в поэзии – ИБ, чем лингвистический. Но если последний, зарождаясь в русском языке, размыкается интернационально (скажем, аналогия «Цветаева – Оден»), то сюжет Зла кажется ИБ навсегда застрявшим в покинутой им стране, а потому нетранспортабельным, непереводимым. Вот его ламентации на неистребимость русского опыта и на его

«несовместность» с западной реальностью:

«Мое впечатление, по крайней мере, таково, что любой исходящий из России опыт, даже когда он схвачен с фотографической буквальностью, попросту отскакивает от английского языка, не оставляя на его поверхности даже царапины. Конечно, память одной цивилизации не может и, наверно, не должна стать памятью другой. Но когда язык не в силах восстановить отрицательные реалии чужой культуры, возникает худшая из тавтологий.

Что говорить, история обречена на самоповтор: выбор у нее, увы, как и у человека, не больно велик. Но тогда хорошо бы хоть отдавать отчет, жертвой чего ты становишься, имея дело с экзотической семантикой, которая преобладает в таких отдаленных сферах, как Россия.

Иначе попадаешь в капкан собственных концептуальных и аналитических навыков… Слова эти, сами по себе – свидетельство, что я далек от того, чтобы обвинять английский язык в неэффективности; как не оплакиваю я и погруженные в сон души тех, для кого этот язык является родным. О чем я единственно сожалею, так о том, что такой продвинутой идее Зла, каковая имеется у русских, воспрещен вход в любое другое сознание по причине конвульсивного русского синтаксиса.

Многие ли из нас могут припомнить Зло, которое так запросто, прямо с порога: обратилось бы: „А вот и я – Зло. Ну, как дела?“»

К этому сюжету – разветвленной, конвульсивной, инквизиционной природе Зла в одних культурах и его непереводимости (по крайней мере, во всех извивах и сцеплениях) в другие культуры и языки – ИБ возвращается в своем «византиуме», лучшей из написанной им прозы.

Отметив все достоинства Западной (Римской) цивилизации в сравнении и по контрасту с Восточной (Византийской, точнее – исламизированной Византией), ИБ указывает заодно и на упущение Запада: «Недостатком системы, выработавшейся в Риме, недостатком Западного Христианства явилось его невольное ограничение представлений о Зле… Разведясь с Византией, Западное Христианство тем самым приравняло Восток к несуществующему и этим сильно занизило свои представления о человеческом негативном потенциале… Непростительная ошибка Западного Христианства со всеми вытекающими из оного представлениями о мире, законе, порядке, норме и т. п. заключается именно в том, что ради собственного торжества, оно пренебрегло опытом, предложенным Византией».

Бессмысленно ловить ИБ на ошибках и противоречиях, ибо

вся его концепция «Запад – Восток», которым, по Киплингу, никогда не встретиться, построена на личных впечатлениях, допущениях, гипотезах, преувеличениях, пусть даже ошибках. Потому что не по оплошности, а из принципа. Кто попрекнет его в недостатке эрудиции, хотя его образование и лишено систематичности, в нем много провалов и лакун? С тех пор как бросил школу в восьмом классе, он – самоучка.

Самообразовываясь, он отбирает только те знания, в которых испытывает нужду – как кошка выбирает нужную ей траву в многотравье. Он потому и ушел из школы, чтобы не засорять голову лишним хламом. Он боится ненужного знания, чтобы не оказаться в положении флоберовского персонажа, который приобрел часы и потерял воображение.

Противопоставляя Запад, который соединил римское право с христианством – Востоку, где христианство было овосточено дважды – сначала Византией, а потом исламом, ИБ больше полагается на свой инстинкт и интуицию, чем на знание. «Я не историк, не журналист, не этнограф. Я, в лучшем случае, путешественник, жертва географии, не истории, заметьте, а географии. Это то, что роднит меня до сих пор с державой, в которой мне выпало родиться, с нашим печально, дорогие друзья, знаменитым Третьим Римом».

Это не единственный мостик, перекинутый ИБ между исламизированным христианством в поздней Византии и «христианским халифатом», как именовал Чаадаев Россию – вот, кстати, культурологическая традиция, к которой в этом вопросе примыкает ИБ. Да, он подменяет историю географией, но здесь он тоже не оригинален – хотя бы поэтому не стоит его попрекать этим. Либо вместе с ним – Ипполита Тэна, Ключевского и прочих. То же – с подменой истории антропологией.

…….

Пора остановиться – дневниковую запись я превращаю в эссе об эссеистике ИБ. Не включить ли в него то, что здесь написал?

(Включил. Частями прочитанное на радио «Свобода», полностью это 20-страничное эссе вошло в «Призрак, кусающий себе локти». А сб. статей ИБ в «ИЛ» так и не вышел.)

* * *

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.

ИБ

Позвонила Лена Довлатова.

– Вы уже знаете? Иосиф умер.

Так я узнал о смерти ИБ. Умер ночью, но не во сне. Обнаружили под утро. Дверь открыта, лежит на полу, лицо в крови, очки разбиты при падении. Это в опровержение, что умер счастливой смертью во сне.

Счастливых смертей не бывает, никому из живых неизвестно, что испытывает человек, умирая во сне. ИБ умер наяву, открывая дверь своей комнаты. Куда он направлялся ночью? К жене? Эрос и Танатос? Смерть застала его врасплох.

Зимы он боялся, зима для него синоним смерти. Саваном снега накрывает она землю. В стихотворении, нам с Леной Клепиковой посвященном, есть такая строфа:

Февраль довольно скверный месяц.
Жестокость у него в лице.
Но тем приятнее заметить:
вы родились в его конце.
За это на февраль мы, в общем,
глядим с приятностью, не ропщем.

А сам умер, не дожив нескольких дней до февраля. Начальная строфа его стихотворения на смерть Элиота – калька с оденовской элегии на смерть Йейтса («He disappeared in the dead of winter…») – читается теперь как эпитафия самому себе, некролог себе заживо:

Он умер в январе, в начале года…

Как для Сократа философствовать, так для ИБ писать стихи значило упражняться в смерти. Он многократно отрепетировал ее в стихах, в думах, в разговорах. За полгода до присуждения ИБ Нобелевской премии Довлатов сообщил мне конфиденциально, ссылаясь на Сьюзен Зонтаг, что там, в Стокгольме, кому надо

дали понять, чтобы поторопились, ИБ не из долгожителей. Четверть века тому он зашел к Лене в редакцию «Авроры» прощаться – ложился на операцию геморроя:

– До встречи… на кладбище.

Главное прощание в стихах – от «На Васильевский остров я приду умирать» до «Век скоро кончится, но раньше кончусь я».

К вечеру, когда Лене надоели мои причитания в связи с его смертью, она сказала:

– Он столько раз прощался с жизнью, что было бы даже неудобно обмануть читателя и продолжать жить как ни в чем не бывало.

Интенсивность его проживания, точнее прожигания жизни сказалась в его преждевременном одряхлении. Не почему так рано умер, а почему так рано постарел. В 50 выглядел стариком, и это в Америке, где, наоборот, 70-летние выглядят с полтинник. В Америке он слинял, нацелясь на карьерные блага, а под конец – на семейное счастье. Плюс, конечно, переход на английский, заказная публицистика, профессорское популяризаторство. Другое дело, что в петербургский период он достиг таких заоблачных высот, что даже его спуск (или замедленное падение) с них – все еще уровень, недосягаемый для других русских пиитов.

При всей краткости его жизни, его таланта на всю ее не хватило.

Формула Пастернака – «Живой, и только, до конца…» – к нему не применима. Знал об убыли таланта, оскудении поэтического дара, сам писал, что жизнь оказалась длинной, но было обидно, когда это обнаруживали другие. Стих держался на одной технике, внутри все мертво, без божества, без вдохновенья. Редкие вспышки прежнего таланта.

Как ни рано – по годам – ИБ умер, он пережил самого себя.

Как в том фильме про американского музыканта в Париже, в котором Довлатов видел себя и зазвал меня смотреть по видику: «Он все делал раньше нас, а потому и из жизни ушел раньше…»

* * *

Умер Исайя Берлин, друг Ахматовой и Бродского, который на основании стишка Архилоха («Лиса знает много вещей, но еж знает одну большую вещь…») поделил писателей на лис, преследующих много, часто не связанных между собой и противоречивых, целей (Аристотель, Гёте, Пушкин, Бальзак, Тургенев и Джойс), и целеустремленных, связующих все в один

узел-принцип ежей (Платон, Данте, Паскаль, Достоевский и Пруст). Толстой – это лиса, которая хотела быть ежом. А сам Берлин? Типичный пример лисы. Постоянно встречающийся в мировой культуре тип еврея-культуртрегера – культурного исполнителя, а не культурного творца. Недаром так много евреев среди музыкантовисполнителей. Раскидка довольно широкая – от гениального связного между античной классикой и современниками (и потомками) Монтеня до посредственного эпигона Кушнера (общий курс по русской литературе для невежд-попутчиков). Перефразируя Троцкого: самая выдающаяся посредственность нашей поэзии. Бывают плохие поэты, но настоящие, а Кушнер, может, и хороший поэт, но не настоящий.

* * *

Кстати о Кушнере. Давно – многие годы – не читал его стихов.

А тут вдруг случайно набрел на подборку в «Новом мире» (№ 1, 1997).

Проснулся вдруг прежний к нему интерес. Что, если я был не совсем прав в тотальном отрицании его в «Трех евреях»? С первых строчек даже понравилось, так был благожелательно, расслабленно, ностальгически настроен. «Я смотрел на поэта и думал: счастье, что он пишет стихи, а не правит Римом» – стихотворение памяти ИБ с верным наблюдением над тиранством покойника. Но дальше сплошь стиховой понос. Умственная немочь от инкубаторских условий советского существования. Удручающая зацикленность на себе, с очевидной ложью и приписыванием ИБ чуть ли не предсмертного напутствия Кушнеру, типа державинского – Пушкину. «Целовал меня: Бог с тобою!» – в двояком смысле. Не только, что х*й с тобою, живи, несмотря на… но и:

«С тобою Бог!» И далее бездарные вирши про Зоила (не меня), который останется в веках благодаря тому, что поэт прихлопнет его точным словом, про пьедестал, на котором стоять поэту – а кто тебя ставит на него? сам же и вскарабкался. Фет: «хвалить стихи свои – позор». Тем более хвалить свои стихи в стихах же. Такого рода стишки – прижизненный самому себе памятник. Понятно, рукотворный и самодельный.

Памятник лилипуту. Суета сует: не надеясь на потомков, самому закрепиться за пределами своего времени и тленья убежать. Уже за 60, хреновый для поэтов возраст, а он все еще вые*ывается. Зоилы, наоборот, укрепляют и укрупняют это

мизерное, фиктивное явление, обращая на него внимание. В принципе, я ему сослужил добрую службу «Тремя евреями». Выпрошенная им у ИБ похвала – чтобы он защитил своим авторитетом бедного Сашу от моего романа, пусть даже не ссылаясь на сам роман. Хотя иначе как посредственным человеком и посредственным стихотворцем, ИБ его не называл (эту характеристику приводит и друг Бродского Андрей Сергеев в своем мемуаре), а в стихе, ему посвященном, припечатал «амбарным котом». В перерыве ИБ окружили поклонники, а Кушнер стоял в стороне словно не его это вечер. По сути, так и было – все пришли на вступительное слово ИБ. На второе отделение ИБ не остался. Триумф победителя.

Стихотворение, посвященное Кушнеру, очень сильное, редкое в поздней лирике ИБ, вровень с его классическими стихами. Уж оно точно написано «стоячим» – так его тот подзавел, а потом приложил немало усилий, чтобы воспрепятствовать публикации, еще бы лучше – уничтожить. Четыре эти строфы – результат внимательного чтения «Трех евреев», стихотворное резюме моего исповедального романа.

Вплоть до прямых совпадений – от «амбарного кота, хранившего зерно от порчи и урона» (в то время как «грызун» – сам ИБ) до «в тени осевшей пирамиды». То, для чего мне понадобилось 300 страниц, ИБ изложил в 16 строчках. Боль, обида, гнев, брезгливость – вот эмоциональный замес, послуживший импульсом этого стихотворения, в котором ИБ объявляет Кушнера своим заклятым врагом. Как и было.

Стихотворение это аннулировало комплиментарное, вынужденное, выпрошенное выступление ИБ на его вечере, и вот хитрован Кушнер, перебздев, попытался обезвредить, обесточить стихотворение, перевести в план литературной полемики, вымышляя обиду ИБ на критику Кушнером его поэтики и приписывая ему реплики, даже стилистически немыслимые в его устах. Тем более сам ИБ оставил очень четкий комментарий к этому стихотворению в письме Кушнеру: «Все это – только буквы, и если в них есть доля правды, то не обижаться на это следует, а 1) посетовать, что дела обстоят именно так, а не иначе и 2) что буквы способны на подобие правды».

Уж коли прибегать к зоологическим аналогиям, то Кушнер скорее цыпленок русской поэзии. Цыплячьи стишки, цыплячья душа. Даже как он, не решаясь ответить самолично на «Трех евреев», приписывает другим: сам не читал, но друзья сказали, что неправда; Бродский не смог одолеть «Роман с эпиграфами» и сказал, что Соловьев выступал в Америке с лекцией против Сахарова явно по заданию органов, с которыми был тесно связан.

То есть вот каков автор – обругал не только меня, но и Сахарова. Дискредитация автора и совет читателям не читать роман с ссылкой на авторитет ИБ. А почему он не ссылался на ИБ, пока тот был жив?

С головой выдает Кушнера невежество провинциала, незнание американской фактуры – приписывает ИБ в своих квазимемуарах, что тот, будучи нью-йоркцем и регулярным читателем «Нью-Йорк таймс», говорить не мог. Ни с какой антисахаровской лекцией я не выступал, а спустя две недели после приезда в США напечатал, в соавторстве с Леной Клепиковой, сочувственную, хоть и критическую статью о Сахарове в «Нью-Йорк таймс», где назвал его Дон Кихотом и полководцем без войска. Я и теперь полагаю, что западные идеи в буквальном приложении к России не срабатывают, чему доказательство перманентный кризис в конце 90-х и откат в нулевых.

Но и с советской фактурой у этого лжевспоминальщика полный разброд. Единственным веским доказательством моей связи с властями предержащими могла бы стать защита диссертации в Пушкинском доме, где диссертации в самом деле не защищают, и для меня одного, утверждает Кушнер, было сделано исключение. На самом деле, я защитил свою пушкинскую диссертацию в Институте театра, музыки и кинематографии, о чем свидетельствует выданный мне диплом. Никакого отношения к Пушкинскому дому не имел и даже никогда там не был.

С тех пор я опубликовал сотни антисоветских и антикагэбэшных статей, которые таможенники в Шереметьево, по инструкции КГБ, отбирали у иностранцев, вырезая из провозимых ими газет и журналов:

«Соловьев нас не любит», – объясняли они. Еще при жизни Андропова мы с Леной выпустили на разных языках книгу о нем, которую рецензенты, в том числе американские, считали самой антикагэбэшной книгой последнего времени. Понятно, ИБ был в курсе этих публикаций. Что касается «Трех евреев», то ИБ читал его дважды – в рукописи, а спустя 13 лет в подаренном мною американском издании. Не просто читал, а вчитывался.

Мне также смешно, как человеку, который имел достаточно мужества, чтобы вступить в рискованную и опасную конфронтацию с властями, выслушивать слабоумные инсинуации от амбарного кота, который нежился в тени осевшей пирамиды, пока она не рухнула окончательно. Думаю, схожее чувство испытывал ИБ, когда не выдержал и выдал свой стих-оплеуху.

Ощущение нобелевского триумфа над советскими печатными пиитами сменилось вскоре у него завистью к таким, как Кушнер.

Схожее чувство испытывал Фишер к советским шахматистам, Артур Миллер – к советским писателям: с зарплатами, пенсиями, государственным вэлфером и проч. Сладкая жизнь на халяву. А здесь всего приходится добиваться самому, доказывать себя снова и снова. ИБ буквально выгрызал свою мировую славу. Если, по Монтеню, нельзя судить о человеке, пока он не умер, то теперь, после смерти ИБ, определенно можно сказать, что смертельный этот поединок выиграл Кушнер.

Победа в вечности, безусловно, закреплена за ИБ, зато здесь, на земле – за Кушнером. Самой своей смертью ИБ признал свое поражение, и Кушнер закрепил свою победу с помощью лжемемуара, который сочинил и опубликовал, несмотря на предсмертное заклинание ИБ: «Не надо обо мне…»

Поэт-воришка, мемуарист-врунишка.

Из иждивенцев-шестидесятников Кушнер – самый непотопляемый.

Тем не менее мстительная злоба этого цыпленка русской поэзии на меня понятна. Как сказал мне Битов на банкете в советском консульстве в Нью-Йорке: кому охота оказаться при жизни отрицательным персонажем чужих воспоминаний. Так что, когда в следующий раз Кушнер назовет меня вором, убийцей и проч. – понять и простить.

* * *

Миша Фрейдлин сказал, прочтя «Трех евреев», что у чукчи 100 слов для обозначения белого цвета. Я не чукча, а для Кушнера достаточно одного слова, от которого я воздержусь по изложенной несколькими строчками выше причине.

* * *

Кушнер – психопатологический феномен. Но такой ли уж феномен? Литература сплошных гениев, если судить по их триумфальным заявлениям. Прежде такого рода самореклама была достоянием эпатеров, типа Бальмонта и Северянина, тогда как великие, наоборот, скромничали и помалкивали. К сожалению, даже у ИБ под конец появился этот склеротический оттенок в стихах, когда он написал о мраморе, застрявшем у него в аорте. Но ИБ был – по крайней мере в российский период и первые годы иммиграции – самым талантливым среди них, а они-то чего засуетились?

Найман назвал свой завистливо-реваншистский мемуар «Славный конец бесславных поколений». В самом деле, дорвались. А Женя Рейн озаглавил новомировскую подборку «Мы правим бал…» – кажется, даже не заметив сатанинского прообраза: «Сатана там правит бал…»

Так и есть: что-то сатанинское на их балу, конечно, есть. Только помельче. Дорвались мелкие бесы до славы.

* * *

Напористые, нахрапистые питерцы-шестидесятники – поведенческая школа ИБ. На их фоне скромность Пастернака, Мандельштама, Зощенко кажется патологией. Литература как групповуха и одиночество настоящего писателя. Того же ИБ. «Ты царь: живи один…»

Не люблю групповуху ни в любви, ни в туризме и меньше всего в литературе.

* * *

Если честно, прозаиком я стал поздно, в 48 лет, осенью 1990 года, как следствие двойной потери – мамы и Довлатова. Некрофильский импульс. Смерть как вдохновение, Танатос как Пегас. За несколько месяцев написал девять рассказов, которые вошли в московский сб. «Призрак, кусающий себе локти» – включая два рассказа, прямо посвященные обеим смертям: «Умирающий голос моей мамы…» и «Призрак, кусающий себе локти». Смерть ИБ укрепила меня в моих планах – в январе 1996 года я начал, а спустя полгода кончил «Похищение Данаи», в 1997-м завершил окончательно «Семейные тайны», а сейчас, весной 1998-го, кончаю «Матрешку». Я здесь один, а потому обязан работать в том числе за мертвых. В меру отпущенных мне сил. Таков стимул, если его из подсознанки вывести наружу.

Что касается «Трех евреев», моей несомненной и одинокой удачи, то моя горячечная исповедь родилась на таком скрещении обстоятельств, что следует счесть случайностью. Как превращение обезьяны в человека. Продолжения, увы, не последовало, хоть я и сочинил на/по инерции роман-эпизод «Не плачь обо мне…» ИБ был прав, признав «Трех евреев» и ругнув «Не плачь обо мне…», хоть автору было обидно.

* * *

Умирает Гриша Поляк: рак прямой кишки обнаружен на стадии метастазов в печени. Бомбардируют печень химиотерапией, изначальный рак неоперабелен. Как он подзалетел, бедный, а ведь так пекся о своем здоровье и, чтобы не работать, измышлял мнимые болезни, а его тем временем подстерегала настоящая. Как у Бергмана в «Седьмой печати».

Актер притворяется умершим, убегает от чумы в лес, лезет на дерево, а смерть его подпиливает:

– Почему меня!

Как странно, зная, что он вот-вот умрет, слушать его по телефону.

Со смертного одра он спрашивает, не сохранилось ли у меня чего из ИБ, но кроме посвященного нам с Леной Клепиковой поздравительного стихотворения, которое я опубликовал в «Романе с эпиграфами», ничего что-то не припоминалось. Зато Гриша вдруг вспомнил – внутреннюю рецензию на роман летчика-

графомана, которую ИБ сочинил по просьбе Лены Клепиковой, когда она работала в «Авроре».

– Надо порыться, – говорю я, понимая, что уже не успею. А потом будет не для кого. Нет больше рядом такого ненасытного архивиста, как Гриша Поляк.

Гришу жалко. Как и всех нас. Кажется, он на год меня моложе. 43 года, как Миша Шемякин: держись, Миша, не умирай. Довлатов был на год старше, Бродский – на два.

Что их объединяет, помимо преждевременной смерти? Все трое нью-йоркцы, одного поколения, рожденные в начале сороковых, абсолютно преданы литературе, хотя один писал прекрасную прозу, другой гениальные стихи, а третий ничего не писал, кроме небольших заметочек, предварявших его архивные публикации.

Я уговаривал Поляка сочинить мемуар о Довлатове, которого он знал как никто – был соседом, близким другом, ежедневно, точнее ежевечерне с ним встречался, чему я свидетель, так как с некоторых пор мы гуляли втроем (не считая Яши, Сережиной таксы), был первопечатником Довлатова, издавая его книжки в своем издательстве «Серебряный век», и выполнял все его поручения – от крупных до бытовых. А главное – единственным в мире человеком, которого застенчивый Сережа не стеснялся, а ведь стеснялся даже своей жены. Это как в стихотворении Слуцкого: «Надо, чтоб было с кем не стесняться…»

Редкая в человеческом общежитии удача – Довлатову повезло на человека, которого не надо было стесняться. Однажды, спьяну, он разбил Грише очки, но именно ослепший без очков Поляк привел Сережу той ночью домой. Фактически он был членом семьи Довлатовых и сохранил ей верность после смерти Сережи. Вот я и думал, что такому человеку просто грех не поделиться воспоминаниями о самом популярном ныне в России прозаике. А он успел только дать этим воспоминаниям, которые уже никогда не напишет, название: «Заметки Фимы Друкера». Под этим именем Довлатов вывел его в повести «Иностранка». Образ иронический и доброжелательный. В жизни Сережа тоже подшучивал над ним, но беззлобно:

– Гриша – книголюб, а не книгочей. Книг не читает, а только собирает и издает. Не верите, Володя? Спросите у него, чем кончается «Анна Каренина»?

Уходят те, кого ты знал и кто знал тебя, и уносят по частице тебя самого. И хоть ты пока еще жив, но ты как бы уменьшаешься в размере, улетучиваешься, испаряешься, пока не сойдешь на нет, даже если будешь все еще жив.

Как долго я живу, думаю я, провожая мертвецов. Боюсь, в

нашем и без того немногочисленном военном поколении не будет долгожителей. Вспоминаю точный стих Слуцкого про нас: «Выходит на сцену последнее из поколений войны – зачатые второпях и доношенные в отчаяньи…»

А сейчас – сходит со сцены.

Постскриптум

Пародия сопровождает нас до могилы – и за ее пределы. Посмертный юмор судьбы следует учитывать тем, кто печется о посмертной славе.

Приключения с телом начались сразу же после его кончины в ночь на 28 января 1996 года. Утром его вдова отправилась с ближайшими друзьями в соседнее кафе, а на дверях повесила записку с координатами этого кафе и с просьбой в дом не входить. Однако поэтесса МТ, бывшая когда-то его секретаршей, но давно отставленная и к демиургу доступа последние годы не имевшая, из-за чего была великая обида (помню ее день рождения, когда обещан был «генерал», но не явился, МТ в расстроенных чувствах, день рождения насмарку), взяла реванш и, несмотря на записку и полицейского, проникла в дом и провела у трупа полтора часа, пока не была выдворена разгневанной вдовой. Как беззащитен покойник! Если мертвому дано видеть, что творится с его телом, легко представить ужас ИБ, когда он беспомощно взирал на недопустимого соглядатая.

Что произошло за эти полтора часа между живой поэтессой и мертвым поэтом, вряд ли когда станет известно. Вариант «Нравится не нравится – спи, моя красавица» с подменой на мужской род, отпадает именно ввиду этой подмены, хотя Миша Шемякин изобразил в серии казановских рисунков мертвого сердцееда в гробу со стоящим болтом и скачащую на нем фанатку-некрофилку. Думаю, впрочем, что и треп на высокие темы, которого Марина великая мастерица, пришиб бы покойника ничуть не меньше. Как профанация.

Хождения по мукам тела великого поэта на этом не закончились. Спор, где ему быть захороненным – в Нью-Йорке или в Питере («На Васильевский остров я приду умирать…»), был решен в пользу Венеции, тем более сам возжелал, чтобы его бренные останки покоились на Сан-Микеле:

> Хотя бесчувственному телу
> равно повсюду истлевать,
> лишенное родимой глины,
> оно в аллювии долины
> ломбардской гнить не прочь. Понеже

свой континент и черви те же.
Стравинский спит на Сан-Микеле…

Венеции ему пришлось дожидаться 17 месяцев. В конце концов, виза была выдана, пропуск в вечность получен, ИБ отправился в Италию.

Первая неприятность произошла в самолете: гроб раскрылся. А когда, уже в Венеции, его грузили на катафалк, гроб переломился пополам. Переложенный в другой гроб, ИБ прибыл на гондоле на Сан-Микеле. Пытались было положить его в русской части кладбища, между могилами Дягилева и Стравинского, но Русская православная церковь разрешения не дала, потому что ИБ не православный. Несколько часов длились переговоры, в конце концов решено было хоронить в евангелистской части – в ногах у Эзры Паунда: два поэта, еврей и антисемит. Поверх барьеров, так сказать. Вдова, сын, близкие, друзья, роскошный венок из желтых роз от Ельцина и проч. Тут, однако, обнаруживается, что в могиле уже кто-то есть. То есть чьи-то останки. Венецианские могильщики в срочном порядке роют новую, куда и опускают на веревках гроб. Стихи над могилой, комаровские ландыши, кремлевские розы. Все расходятся. Один из провожавших (не Харон) возвращается и обнаруживает, точнее не обнаруживает гигантского венка от российского президента. Некто уже успел перетащить его на могилу Эзры Паунда. Если только не сам Эзра. Венок от Бориса Ельцина на могиле Эзры Паунда! Кощунство? Фарс? Игры покойничков? Чтобы сам Эзра спер ельцинский венок? С него станет.

Знал бы ИБ, что ждет его за гробом!

Мораль см. выше: бесчувственному телу равно повсюду истлевать.

Без всяких «хотя».

Елена Клепикова. Бродский – там и здесь

Кто тогда из молодых, талантливых, гонимых не пытался поймать за хвост советского гутенберга?

Бродский – не исключение. Вернувшись из ссылки – как, впрочем, и до – мечтал напечататься в «отечестве белых головок». Носил стихи во все питерские журналы. Вещал на подъеме в отделах поэзии. В срок справлялся о результате. Огорчался не сильно, но все-таки заметно огорчался. И никогда не интересовался резонами, полагая в природе вещей.

К нам в «Аврору», где я работала редактором отдела прозы, он забегал не только со стихами, но и поболтать с приятелями в просторном холле, заглянуть к юмористам, ко мне, к обожавшей его машинистке Ирене Каспари, пообщаться с Сашей Шарымовым, ответственным секретарем и англоманом – он тогда тайком переводил стихотворную часть набоковского «Бледного огня». Как раз в отдел поэзии, в котором хозяйничала невежественная поэтка, полагавшая кентавра сидящим на лошади, а Райнера Марию Рильке – женщиной, Бродский заходил только по крайней надобности.

С печатаньем было глухо, Бродский был, что называется, на пределе и уже намыливался – тогда еще только книжно – за границу. И обком, и опекуны-соседи из КГБ прекрасно понимали, какое это чреватое состояние.

Насчет гэбистского опекунства. Бродский заметил, что если взять за вершину разнобедренного треугольника, поставленного на Литейном проспекте, «Аврору», то две другие точки этого треугольника упрутся слева в логовище КГБ, справа – в дом Бродского. «Аврора» таким путем – это пункт связи между ним, к «Авроре» приближающимся, и гэбистами, ведущими за ним неусыпный надзор. Ход конем через «Аврору» – и он, хочешь не хочешь, в гостях у КГБ. Или – обратный ход конем – КГБ в гостях у него. В этом не было позерства. Однажды, когда Ося, договорившись зайти в «Аврору», передумал, гэбист под видом автора напрасно прождал его в фойе битый час. Где-то в начале 70 года Бродскому было внятно предложено занести в «Аврору» подборку стихов на предмет публикации. Бродский занес стремительно. Заметно приободрился. Всегда потрясает этот сиятельный эффект надежды посреди кромешной тьмы безнадежности. Авроровская машинистка Ирена, и так в отпаде от Бродского, вдохновенно печатала его стихи. Затаивший надежду, как спартанского лисенка, Бродский излучал на всю редакцию уже нечеловеческое обаяние. Даже тогдашний главный редактор, партийная, но с либеральным уклоном, дама Косарева подпала под интенсивные поэтовы чары, заручившись, правда, поддержкой обкома. С которым у нее отношения осложнились после того, как ее засекли в Смольном с магендовидом на шее.

– Помните, когда американские журналисты к нам заявились? – жалилась бедняжка Косарева, вернувшись из Смольного сильно к вечеру с распухшей физией и чернее тучи. – На прощанье я им, как полагается – модельку крейсера «Аврора», а они мне эту цепочку со звездочкой. Откуда знать, что знак Сиона? что шесть концов, а не пять? Я и не вникала. По мне, что пять концов, что шесть, да хоть два! – звезда есть звезда, наш

родной советский знак. А меня там мордой об стол за эту звездочку, да еще как сионистку преподнесли. На чью мельницу, говорят, ты воду льешь?

В обкоме, просмотрев Осину подборку, предложили, как положено, что-то изменить. Не сильно и не обидно для автора. Бродский отказался, но заменил другим стихом. Еще пару раз обком и Бродский поиграли в эту чехарду со стишками. И одобренная свыше подборка была, впервые на Осиной памяти, поставлена в номер.

Ося так расслабился, что стал, по своему обыкновению, напускать мрак и ужас. Подпустил мне что-то о сестрорецком кладбище, где скоро будет и он лежать – это по поводу предстоящей ему в тамошней больнице операции геморроя. Так он заговаривал зубы своей, ни на какие компромиссы не идущей, советской судьбе.

Впрочем, перспектива сверления больного зуба также связывалась у него напрямую со смертной мукой. И в итоге – с кладбищем. Он вообще охотно и часто себя хоронил.

Короче, обком с КГБ на компромисс с публикацией Бродского пошли, а вот Осины коллеги – группа маститых и влиятельных писателей – воспротивились бурно, хотя и приватно.

Поздним вечером в пустой «Авроре» собралась в экстренном порядке редколлегия молодежного журнала – средний возраст 67 – исключительно по поводу стихов Бродского, уже готовых в номер. Ретивые мастодонты раздолбали подборку за малую художественность и сознательное затемнение смысла. «Пижон! – ласково укоряла Вера Кетлинская. – Зачем пишет „…в недальнее время, брюнет иль блондин, появится дух мой, в двух лицах один“? Это же безграмотно: блондин-брюнет-шатен. Да разве и дух в волосах ходит? Ему, сопляку, еще учиться и учиться. А сколько гонору!» – и много смеялись над волосатым духом. Не уловив простейшего метафорического парафраза.

А если б и уловили – еще бы больше куражились. Ангел – демон – Бог – откуда у советского поэта религиозные позывы? На публикацию Бродского в «Авроре» был наложен категорический запрет. Помню опрокинутое лицо партийной дамы Косаревой. Ну никак она не ожидала, что литературная своя братия окажется погромнее официальной. Помню, как Ося приходил, растравляя обиду и скорбь, забрать стихи. Ему бы с большим удовольствием отослали почтой или с курьершей – жил он рядом. Но послессылочный Бродский уже не позволял, когда мог, топтать его глухо, под ковром. Тоскливое и скучное его лицо показывало, как далеко зашла в нем – последний раз в отечестве – надежда напечататься. Хотя бы и в ничтожной «Авроре».

Вот он выходит из отдела поэзии в коридор, где я его поджидаю и завлекаю в свой кабинет – объясниться. Он нехотя идет, садится на угол стола, обхватив себя как бы ежась руками – типичная у него неприязненная поза – я рассказываю, как Кетля задурила на блондина и брюнета, и вдруг – скорби как не бывало. Ося как бы очнулся, сообразив в какое болото попал.

И тут вошел, заняв собой всю дверь, Сережа Довлатов. Страшно оживился, увидев Бродского. Брякнул некстати: «Ага, и ты сюда ходишь!» Бродский вспыхнул, схватил со стола свою папку и был таков.

«Что такое, что с ним такое?» – удивился Довлатов и стал выспрашивать подробности.

Между ними тогда не было притяжения, скорее – отталкивание.

Довлатов был до мозга костей прозаик. Бродский – маниакально зациклен на стихах. К тому же у них были разные представления о художественном. И как ни пытается, после смерти Довлатова, Бродский, ратуя за первородство поэзии, возвысить Сережину прозу в ранг стиха, остается в силе пушкинское «общее место» по поводу их, поэзии и прозы, равноценной полярности: стихи и проза столь различны меж собой, как вода и камень, лед и пламень.

Кстати, больше Бродский стихи не носил в «Аврору». И вообще завязал с советским печатным словом. Ценил свое время и нервы. Довлатов продолжал, и даже с большей частотой, обивать пороги непреклонных редакций. Его упорство – уже десятилетнее, страдальческое, без проблеска надежды – походило на истерику. Когда в ответ на Сережины жалобы я приводила примеры редакционных мытарств Бродского, Наймана, Рейна, даже Высоцкого, стихи которого у нас рассыпали в верстке, Сережа всегда возражал: они – особый случай, они – со славой, он – рядовой писатель и в этом качестве должен иметь рутинный доступ к читателю. Это, говорю, из Вяземского с пренебрежением – «рядовое дарование». «Ни в коем случае, – возражал Сережа, – никакого пренебрежения, тем более – снижения. Примите за факт».

Жаль, что Довлатову не довелось прочесть изданное совсем недавно и мало кому известное литературное интервью Бродского в Вене в первые дни после отъезда из СССР.

Там высказывается – гениально просто – близкая Довлатову мысль, что, лишая пишущего человека печатного выхода, его потихоньку, но взаправду удушают как творческую личность.

В июне 1972 года Бродский говорит о группе поэтов, «которые могли бы сделать очень многое, но, кажется, уже

поздно. Не то чтобы их съели, их не уничтожили, не убили – нет. Их, в общем, более или менее задушили. Им просто не давали выхода… пришлось искать свой собственный путь и быть своим единственным собственным судьей, никакой среды, никакой атмосферы… пока все это не перешло за грань…» Кто это? Уфлянд. Еремин. И даже андеграундные гении, «ахматовские сироты» – Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев – «если бы им дать возможность работать нормально – это было бы замечательно, это было бы интересно, но я боюсь, что уже тоже too late… если бы была какая-то аудитория, была бы какая-то конкуренция, то, может быть, что-нибудь бы и вышло. А так, я думаю, они, в общем, все более или менее сходят с рельсов». Единственный путь, по мысли Бродского, творчески выжить – «и в конце концов – знаете, как: изящная словесность, вообще искусство – это такая вещь, которая, если только ты абсолютно одержимый человек, ты будешь заниматься ею, несмотря ни на какие обстоятельства».

Эти зоркие прогнозы Бродского были бы чрезвычайно важны для Довлатова, если бы он узнал о них в том 1972 году. Хотя он все это знал и раньше, без Бродского, года на три-четыре раньше. Он тогда задумывался (ясно из текстов), как изгойно писателем-невидимкой выжить и не сломиться и не дать себя задушить – безостановочно и нормально (любимое тогда отрезвляющее слово) работая в официальной литературе, куда тебе вход напрочь закрыт. Выжить в мире призраков, но без самоотвержения и без психических срывов, и без творческого рукоблудия (писать для себя) – не сходя с будничной житейской колеи. Как окружить себя литературной средой, вызвать к жизни читателей, критиков, живую атмосферу? Задача не из легких, не в реальности поставленная и не в действительности разрешимая. И что он еще понимал: в этих экстремальных условиях, форс-мажор, поэту выжить легче, чем прозаику.

Вот из его письма, до сих пор не опубликованного: «С поэзией все иначе.

Ее труднее истребить. Ее можно прятать в кармане и даже за щекой».

У прозаика Довлатова факт и вымысел взаимообратимы, спариваются легко. Он вообще из затейных авторов, никогда не гнушался выдумкой окрутить и, соответственно, исказить реал. К тому же он – по Бродскому и как сам Бродский – «абсолютно одержимый человек».

Литература для обоих – единственная подлинная реальность, дело всей их жизни и даже не дело, а сама их жизнь была литературой. Писательство – судьба, от которой никуда не деться.

А в личном плане вот что у нас с ними в Нью-Йорке произошло. Условно говоря – инверсия. Еще точнее – рокировка. Ленинградское приятельство с Довлатовым перешло здесь в тесную дружбу: мы сошлись, сблизились, сдружились, плотно, почти ежедневно общались, благо были соседями. Зато с Бродским видались реже, чем в Питере. Когда мы прибыли, пятью годами позже Бродского, Ося нас с Соловьевым приветил, обласкал, расцеловал, подарил свои книжки, дружески пообщался со старым своим, по Питеру, знакомцем рыжим котом-эмигре Вилли и свел нас с сыном в ресторан. Однако отношения как-то не сложились, хотя Владимир Соловьев – единственный! – печатно отметил его полувековой юбилей, опубликовав в «Новом русском слове», флагмане русской печати за рубежом и старейшей русской газете в мире, юбилейный адрес к его полтиннику и издав в Нью-Йорке «Трех евреев», где он главный фигурант.

Точнее будет сказать, отношения имели место быть, но в полном объеме не восстановились – прежние, питерские, дружеские, теплые, накоротке.

Что тому виной? Мы изменились – или изменился Бродский?

Сошлюсь опять на Довлатова, который вывел гениальную формулу отношений с «новым» Бродским: «Иосиф, унизьте, но помогите». Сережа считал Бродского влиятельным литературным вельможей, зависел от его, Бродского, милостей, отпускаемых Сереже скупо, туго и оскорбительно. Довлатов был так подавлен, а скорее – затравлен авторитарностью Бродского, что при случае выпаливал как клятву: он – гений, классик, идолище, лучший из русских поэтов, критиковать его не смею и, чтобы не было позыва, книг его последних не читаю вовсе.

Но, конечно, примириться или принять за норму литературный деспотизм «нового» Бродского Сережа не мог – хотя бы из юмора, и, случалось, бунтовал – напрямую или, чаще, вприглядку. Помню очень смешную сценку у нас дома, когда Сережа с упоением и священным ужасом внимал, как я рискнула «дать по шапке гению» (его слова).

Говорили о наклоне Бродского в прозе рассуждать наугад, наобум и в лоб, прикрываясь тоновой спесью и крутостью стиля. Я не могла простить ему оплошной фразы – а их десятки! – что по России, как и в жестковатом семействе Бродских, плачут редко.

Я возражала: кабы так, другая бы жизнь была у страны – порезвей, добыточней, умственней. А так – вся морда России в слезах. Слезы очень расслабляют нацию – до полного изнеможения. Особенно в 50-е годы – как их должен был помнить мальчиком Бродский – когда отходили от шока войны и массовых

казней. И вот зашлась, захлюпала вся нация, со всеми своими нацменьшинствами и невзирая на их темпераменты и разные нравы. Так оттаивает стекло после снежных и крутых морозов.

Плачу и рыдаю, и захожусь в плаче, и уже не хочу перестать, такая экзальтация рыданий, а потом бурные всхлипы и икота на полчаса – до упадка сил и потери сознания. Это нервы гудят и воют у тронутой России – как провода под токами высокой частоты. Куда ни глянь по улице, в квартире, на природе – всюду слезоточивый настрой, у мужиков и баб едино.

Готовность к плачу в народе моментальна, и повод нужен самый ничтожный – чем радостнее, тем рыдательней. При радости, от дуновения счастья особенно обильно льются российские слезы, до истерики. Не унять, как ни старайся, ни кривись.

Мужчины плачут тайком и втихомолку. Женщины в России плачут в охотку и не таясь. Как рыбы в воде, в рыдательной стихии отечества.

Всего этого, лезущего в глаза и в душу, Бродский не схватывал. «Я, Боже, глуховат. Я, Боже, слеповат». В стихах не врал почти никогда.

«Еще!» – инфантильно потребовал Сережа, когда я наконец иссякла. Он был услащен критикой Бродского. Не из злорадства, конечно.

Он ликовал, когда элементарные нормы литературного общежития, попранные Бродским, были – хотя бы частично и мимолетно – но восстановлены. Это как бы отлаживало систему мер и веса в Сережиной пунктуальной душе.

Бродский эмигрантскую публику – единственный тогда Сережин читательский контингент – третировал. Поставил себя безусловно вне критики и даже обсуждения. Так замордовал читателя-соотчича, что тот и пикнуть невпопад страшился. Впопад и в жилу было: корифей-титанкумир. В ином для себя контексте Бродский в дискурс не вступал.

Мы его шутя звали генералиссимусом русской поэзии. Он любил раздавать генеральские чины своим поэзо-соратникам и однопоколенникам. Имитируя славу Пушкина и его плеядников. В стихах был аристократом. В стратегии и тактике по добыванию славы и деньжат – плебей и жлоб. Что не могло не сказаться и на его поздних стихах. Увы.

Я говорила с Довлатовым о Бродском, а хотела бы – не пришлось – сказать это самому Бродскому. Как много раз бывало в Ленинграде, и он выслушивал по поводу стихов – однажды целую ночь напролет в его комнате-берлоге с Володей Соловьевым и Сашей Кушнером – внимательно и охотно.

Стихи он писал в России. В Америке – обеспечивал им гениальное авторство, мировую славу, нобелевский статус. Поэтическая судьба его закончилась в России. За границей он стал судьбу делать сам.

Канонизировался в классики. Взращивал у себя на Мортон-стрит лавровое деревце на венок от Нобеля. Сооружал пьедесталы для памятников себе. Страдал неодолимой статуйностью. Дал понять современникам и потомкам, что мрамор предпочтительнее бронзы. Эстетичней и долговечней. Это когда побывал в Риме и прикинул на себя тогу римского императора. Тотчас признался в стихах, что чувствует мрамор в жилах.

Все это ужасно смешно.

– Я этого не слышал! – выкрикивал Сережа с наигранным ужасом. – Я ухожу. Я уже ушел!

Вот так мы с ним однажды, незадолго до его смерти, поговорили.

Соловьев, который написал о Бродском четыре книги, считая эту, и дюжину эссе, одно из них назвал «Два Бродских». Так и есть. Я осталась верна питерскому Бродскому, городскому сумасшедшему и гениальному поэту.

Мифы и реалии. Разговор с Наташей Шарымовой

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Наташа, мы с вами не только земляки по Питеру и Нью-Йорку, но еще и принадлежим – плюс-минус – к поколению, которое сходит сейчас со сцены, а центровики – те уже сошли. Я говорю не о шестидесятниках, но о более поздних, рожденных в «сороковые роковые». Когда мы с Леной Клепиковой делали книгу о Довлатове, вы нам очень помогли. Одни фотографии чего стоят! И не только. В самом деле, вы – архивариус питерского андеграунда, а когда он чуть ли не в полном составе мотанул за бугор, вы продолжили свою фотолетопись в Нью-Йорке. Это помимо прочих ваших ипостасей – художник, культуртрегер, импресарио. Однако для этой юбилейной книги о Бродском мне мало ваших замечательных фотографий, хоть они составят отдельную авторскую тетрадку, книжка в книжке, ваше персональное шоу, но мне хочется еще разговорить вас о человеке, которого мы хорошо знали с питерских времен. Our mutual friend, да?

У вас не только точный фотоглаз, но и чутье на людей. Тот самый инстинкт пророчески-слепой, о котором писал Тютчев. Договоримся сразу: по ту сторону добра и зла. Бродский как есть, минуя примитив «что такое хорошо, что такое плохо».

Что вас в нем больше всего поражало? И что вас в нем

разочаровало?

НАТАША ШАРЫМОВА. Володя, ответ на первый вопрос лежит на поверхности – наверное, с самого первого дня нашего знакомства я знала, что Иосиф безошибочно распознал свое предназначение, свой жизненный сценарий, точно понял свою роль. Чтобы определить это, не надо быть психологом или тонким знатоком человеческой природы: свой выбор, свой вектор, свое призвание, и, если хотите, «свою миссию» 18-летний Иосиф Бродский декларировал, манифестовал и внушал – сначала себе, а потом другим. Не заметить эту яркую и открытую позицию было невозможно.

Энергия молодого Иосифа была естественным образом сфокусирована, все его мысли, чувства – насколько я могу судить, конечно, – и поступки уже были подчинены одной цели – служению поэтической музе, простите за пафос. В этом выборе – выборе жизненного пути – не было расчета, но не было и сомнений. Выбранный путь – был неизбежен – к чему бы он ни вел. И, если вы относились с симпатией к тем ранним творениям Иосифа, то чувствовали исходящую от него убежденность и обреченность. Со стороны вы видели человека, который знает, что делает. Он тогда любил повторять слова Мандельштама, переданные ему Ахматовой: «Ко всему готов…»

Его жизнь и поэтическая судьба в этот период (с конца 50-х и в 60-е) складывались спонтанно. Иосиф, начинающий поэт, жил жизнью обычного молодого человека определенного ленинградского круга. Его отношение к коммунистической идеологии (нет!) или его литературные вкусы (назову условно – Цветаева – Мандельштам – Фрост – Фолкнер), музыкальные пристрастия (джаз, венецианцы, Бах) не были оригинальны. Иосиф разделял некий джентельменский набор привязанностей, убеждений и ценностей. Да вы и сами знаете, принадлежа к тому же поколению, хоть и помоложе.

Иосиф много читал. Читали тогда все. Ходил в Публичку, в оба ее здания – на Садовой и на Фонтаке. Ходили все. Пропадал в букинистических магазинах, как все мы.

Спорил в курилке, пил кисель в столовке, ел гречку или перловку с грибами и шкварками в забегаловке у Филармонии. Работал в геологических партиях. Ходил в гости, болтал на кухнях, читал стихи барышням. Как все.

Как все – в этом определенном ленинградском кругу…

Но если вам нравились опусы Иосифа, то вы замечали, что внутри него течет какая-то иная жизнь – напряженная и уникальная. Лишь ему, Иосифу Бродскому, присущая.

Извергаются вулканы, полыхают молнии, штормит… И что эта внутренняя жизнь только и важна для ее автора, а реальность – это так, по большей части – досадные недоразумения.

Думаю, никто из молодой литературной братии и близко не приближался к тому высокому вольтажу, который существовал в психическом, эмоциональном и интеллектуальном поле Иосифа. Скрытный Иосиф был очень общителен и абсолютно непроницаем. Но иногда прорывалось – мог разоткровенничаться и сказать, помешивая ложечкой в стакане, что-то такое, из своих внутренних запасов (привожу по памяти):

– Вот все мы пишем, сочиняем…

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Кто – «все»? Кого Бродский имел в виду и кого имеете в виду вы, Наташа? Простите, что перебиваю.

НАТАША ШАРЫМОВА. «Все» – это Найман, Рейн, Бобышев, в первую очередь. Потом Уфлянд и Еремин плюс Виноградов и Аронзон.

Возможно, еще Хвост и Волохонский…

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Одни только ленинградцы?

НАТАША ШАРЫМОВА. Нет, почему? Из москвичей Красовицкий, Сапгир, Холин. Кого-нибудь, разумеется, я забыла. Так вот, продолжу за Бродского – по памяти:

– Писать лучше всех – не проблема, – считал он. – Нобелевская премия?! Я ее, конечно, получу, но дело не в этом. Да?! Дело не в этом…

Надо расширить границы, поднять планку… сделать что-то новое… изменить… продвинуть…

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Когда вы от него впервые услышали про Нобелевскую премию? Я помню его питерский стишок на французском, которого он ни тогда, ни потом не знал:

Prix Nobel?
Oui, ma belle.

НАТАША ШАРЫМОВА. О том, что он станет нобелевским лауреатом, Иосиф говорил мне где-то в начале 60-х. Я как-то даже и не удивилась этой, спокойно произнесенной, тираде молодого человека. Или уже не очень молодого, поскольку я не помню, сказано это было до или после ссылки. Зато обстановку помню отлично. Весна, часов пять.

Светло. Мы сидим у Иосифа в его закутке, пьем чай.

Если – до ссылки, то ситуация могла сложиться так: я, возможно, сфотографировала рукописи Иосифа или Антологию английской поэзии, одолженную кем-то из «форинеров» на день либо два, у себя на службе, в фотолаборатории, в Институте

челюстно-лицевой хирургии, куда устроил меня Александр Иванович, отец Иосифа. Или в каком-нибудь другом месте, где я трубила по фотографической линии. Не в этом дело. Короче, распечатала и приволокла мокрые снимки к нему на Пестеля. Мы раскладывали отпечатки на диване у окна, на раскладушке, на полу… А потом Иосиф усаживал меня в кресло и поил чаем-кофе.

Скрученные эти мои мокрые фотки (их нельзя было сушить на работе из соображений тайны и безопасности) Иосиф надолго запомнил: знакомя меня в 77-м в кафе «Флориан» в Венеции на Биеннале Непокоренных с Сьюзен Зонтаг, моим кумиром, которая, как пишет одна мемуаристка, находилась с Бродским в это время в нежных отношениях и очень хотела выйти за него замуж (за 10 лет до Нобелевки!), о чем я, конечно, тогда ни слухом ни духом… Так вот, знакомя меня с Сьюзен, Иосиф произнес:

– Эта питерская особа, рискуя жизнью и работой, снимала микрофильмы с моих стишат и со стишат Джона Донна, а выносила их за пределы «режимного ящика», где занималась этой нелегалкой, пряча пленки и снимки под своими цветастыми цыганскими юбками.

«Режимный ящик» – это я сейчас так говорю, не помню, как Иосиф сформулировал и перевел понятие «оборонное секретное предприятие». Но юбки – сто процентов его слова. «Under her colorful gypsy skirts…» Это он ради красного словца. Фотографии через проходную военного завода на острове Голодай я проносила в обычной сетке-авоське. Снимки оборачивала вокруг бутылки молока, которое выдавали нам «за вредность», бутылку ставила в пакет из газеты, так чтобы горлышко торчало, и спокойно шествовала в потоке работяг, заранее приготовив пропуск допуска.

От слов Иосифа я готова была провалиться сквозь брусчатку площади Св. Марка – или чем там эта пьяцца вымощена? Это было весной, в апреле… надо бы свериться с фотографиями. Не важно… А тогда я зарделась, как, бывало, краснел сам Иосиф. Еще бы! Вместо серьезных разговоров, какое-то необузданное веселье и полное легкомыслие.

По-моему, затея Иосифа сработала: всю остальную жизнь Сьюзен Зонтаг, встречая меня в Нью-Йорке, вспоминала мои цыганские одеяния…

Что поделаешь, imprinting…

Что еще в Бродском поражало? Дерзость. Смелость, о которой, помоему, никто не вспоминает. Об интеллектуальной или еще какой – да. Но об обычной – если смелость может быть обычной – нет. Он любил рискованные ситуации. Надеюсь, кто-

нибудь из его геологического прошлого добавит детали. А в Ленинграде начала 60-х вместе с другом, художником Гариком Гинзбургом-Восковым, любил забираться на крыши заброшенных соборов: Смольного или храма Спаса на Крови.

Пора, по-моему, рассмотреть структуру личности и гений Иосифа Александровича Бродского профессионалу-психологу с позиций современной науки. То, что Иосиф Бродский представлял собой человеческую особь, иерархически определяемую, как Alfa-male, сомнений нет, но частности, подробности… В его присутствии – и это касается не только меня лично – хотелось быть/казаться умнее, остроумнее, тоньше, красивее, выше, если хотите. Я не о росте.

Динамика личности и динамика внутреннего вулкана, который когда-то бушевал у него в груди, – необыкновенно интересно. Захватывающе!

Марина Темкина, друг Иосифа Бродского конца 70-х – начала 90-х, говорит: «Что сделал Бродский для русской поэзии, в основном уже выяснено и сформулировано. Настало время других исследований».

Что меня в нем разочаровало?

Ну, почему он всегда голосовал за республиканцев?!

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Это что! Он был правее Папы Римского.

Особенно в отношении своей географической родины. Поддерживал бойкот Московской олимпиады, например. Но я хочу, Наташа, вернуться к вашим снимкам. Бродский там часто не один, а с кем-то или в окружении. С известными и неизвестными, русскими и американцами, мужчинами и женщинами. Вот что меня интересует: отношение Бродского к людям и его отношения с людьми. То есть вы знали Бродского не только самого по себе, но и отраженно, во взаимодействии с другими. Я близко, тесно и часто с ним общался в Питере, дал его портрет в «Трех евреях», когда мы прибыли в Америку пятью годами позже него, чуть ли не на следующий день он явился к нам в отель «Люцерн», приветил, повел в ресторан, встреча была теплой, дружеской, но Бродский стал здесь каким-то иным. В Ленинграде – городской сумасшедший, от которого исходила эманация гения, а здесь он как будто лишился этой своей оглушительной оригинальности. Типичный такой американский профессор с портфелем. Комильфо. Чем дальше, тем больше – с каждой новой встречей: больше самоуверенности, карьерности, катастрофически быстро старел. Мы встречались все реже, наши пути разошлись, в борьбе за доступ к телу живого Бродского я не участвовал. А борьба шла аховая, знаю со слов того же Довлатова, который воспринимал

Бродского как литературного пахана и распределителя благ: «Иосиф, унизьте, но помогите» – гениальная Сережина формула. Помогал унижая – унижал помогая. Комплексы наизнанку?

«Я не люблю людей», – признавался он в своем мизантропстве. Великий поэт – да, но и пацан, шпана, блатарь, как его называл Вагрич Бахчанян. А что скажете вы? Ваши наблюдения?

НАТАША ШАРЫМОВА. Ну, зачем же так? Городской сумасшедший? Осторожнее, читатели могут только это и запомнить… В Питере Иосифа любили, холили и лелеяли. Приглашали в гости, беседовали, помогали… Пылинки с него сдували… Вот вы и Лена, к примеру… Не писательская номенклатура и не следователи из Большого дома, разумеется…

Согласна с вами, что Сергей Довлатов воспринимал Бродского, как генерала от литературы. Это говорит, как я вижу теперь, об определенной довлатовской чуткости, понимании того, что происходит внутри Бродского. К этому я еще вернусь и постараюсь сформулировать так, чтобы окончательно разобраться самой и познакомить вас, Володя, с моими соображениями.

Не уверена, что фраза «Иосиф, унизьте, но помогите» – была когда-либо сказана Бродскому. Слишком афористична для экспромта.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Да, Сережа не был импровизатором, а при Бродском и вовсе терял дар речи. Это из лестничных реплик. Но, согласитесь, что формула хороша, один в один.

НАТАША ШАРЫМОВА. У Иосифа на Мортон-стрит не умолкал телефон. Но автоответчик он покупать не хотел: «Придется потом весь этот бред слушать…»

Иосиф был моим соседом по Вест-Виллиджу, семь минут ходьбы…

Эта география объясняет в какой-то мере наше общение. Иногда мы случайно встречались на улице. Раз я увидела его на Бликер-стрит, около Шестой авеню, он рылся в коробках с джазовыми пластинками, этот магазин существует до сих пор. Бродский приходил ко мне со своими гостями, русскими, по преимуществу, появлялся на днях рождения и других посиделках.

На моем девятом этаже в Westrbeth жил известный нью-йоркский актер Джозеф Чайкин, с которым дружила Сьюзен Зонтаг. У него во время третьей операции на сердце случился инсульт. Иосиф не раз говорил, что постарается избежать подобной участи.

В этом же здании находилась студия хореографа Мерса Каннингхема, где время от времени появлялся Михаил Барышников, я его встречала в лифте, он ехал на 11-й этаж, на

занятия, на репетицию, на встречу.

Думаю, если бы я жила в Вашингтон-Хайтс или Джерси-сити, Иосиф не добрался бы ко мне в гости. Хотя кто знает…

Распределитель благ, говорите. Наверное, это соответствовало действительности. Он и мне, как десяткам своих знакомых, написал рекомендательное письмо в Свято-Сергиевскую гимназию в 78 году. У меня оно погибло во время потопа вместе с подшивкой газеты «Новый Американец». Свято-Сергиевская гимназия закрылась в 90-х, архивов ее я разыскать до сих пор не могу.

Одна моя знакомая удивлялась в середине 80-х: «Если бы у меня были такие друзья, как у тебя, я бы уж заставила их устроить меня на приличную, хорошо оплачиваемую работу…» А мне не хотелось обременять Иосифа своими неурядицами: я считала, сама справлюсь, без его помощи.

Что касается «доступа к телу», то кто его знает? По причине соседства, меня как-то этот феномен в отношении Бродского не коснулся. Но мне случилось столкнуться с ним по поводу «доступа к телу» четы Алекс Либерман – Татьяна Яковлева. В Нью-Йорке гостила Валентина Полухина, нынешний главный в мире бродсковед, выпустила полтора десятка книжек о Бродском. Алекс или его галерейщик прислали мне приглашение на открытие выставки Либермана. Увидев нас с Валей, Гена Шмаков, к которому Иосиф относился весьма дружески, воскликнул: «А вы как сюда попали?» Мы с Валей переглянулись и расхохотались.

Да-с, были люди, которые затрудняли общение с Бродским. Полагаю, не без его участия…

Что же касается «комильфо», «профессора с портфелем»… А чего бы вы, Володя, хотели? Естественная адаптация… Хотя бы во внешности…

Круг знакомых Иосифа Александровича постоянно расширялся, но в сутках только 24 часа, значит, кто-то из прежних друзей-приятелей уходил на периферию… Но это же случается в жизни любого человека…

И у меня, и у вас, Володя, тоже есть друзья, которые были нам близки в прошлом, а сейчас – нет. Дело житейское.

Иосиф знал-чувствовал, что «бронзовеет», и в одну из наших последних встреч говорил с сожалением, что утрачивает масштаб человека…

Володя, я вам очень-очень признательна за эти ваши вопросы. Благодаря вам, я на многое теперь смотрю иначе. О многом задумалась. Вы не поверите, он мне даже приснился.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Кто? Бродский?

НАТАША ШАРЫМОВА. Представьте себе! На днях мне

приснился такой вот сон Веры Павловны. Я сижу за компьютером и строчу для вас эти заметки. Кроме письменного стола и окна перед ним – никакого интерьера… Вдруг слышу голос Иосифа: «Весьма недурно… даже хорошо…» Сами понимаете, от этой похвалы у меня вырастают крылья.

Вижу, Иосиф стоит за спиной и читает текст на экране моего компьютера. В привычном своем коричневом пиджаке, голубой рубашке, без галстука. Возраст – среднеамериканский, начало 90-х. Спокоен и даже весел. Вдруг достает непонятно откуда паяльник и деревянную доску и выжигает на ней мои слова, которые ему понравились. Я пытаюсь их прочесть, но вижу только янтарно-желтую поверхность доски и коричневые буквы, которые я не могу сложить в слова… «Пиши, пиши,», – говорит Иосиф, усмехаясь. Тут я просыпаюсь, и все мои сомнениямуки исчезают. Я получила одобрение и привет из неземных сфер, как бы к этому ни относиться.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Сон в руку.

НАТАША ШАРЫМОВА. Вот-вот. А потому продолжаю с высочайшего одобрения. Вы говорите, Сергей Довлатов воспринимал Бродского как «пахана»… Что ж, можно выразиться и так, наверное. Но я бы отнесла это понятие к жизни человека неразвитого, а Бродский таковым не был. С ним происходило другое. Что именно?

Иосиф, сформировавшийся в России, был в некотором смысле – по-русски – совершенно безбашленным, общинным, соборным человеком. При всех его гимнах индивидуализму. Эта русская соборность сидела у него внутри и руководила им, избегнув логического осознания и анализа. Сейчас объясню, что я имею в виду.

В юности он отчетливо ощущал свое поэтическое призвание. Миссию. Вы согласны?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Миссию – несомненно, но придется сменить одну букву, чтобы определить, какое коренное изменение произошло с ним здесь, в Америке. Не миссия, а мессия. То есть мессианство. В его собственном представлении, которое он навязывал русскоязычной аудитории. В англоязычной это бы не прошло, он и не совался, тем более обжегся, когда с имперских позиций вступил в спор с «нацменом» Кундерой. Хороший для него урок. Я пишу об этом в эссе «Два Бродских». Отсюда и название.

НАТАША ШАРЫМОВА. Небольшой корректив в вашу, Володя, слишком логическую схему. Когда Бродский осуществил свой личный сценарий, перед ним возникли иные задачи. Он начал себя ощущать ответственным за всю мировую поэзию и стал

формировать «группу поддержки». Или эта группа стала формироваться сама? Нет, не только русские. Американцы, итальянцы, скандинавы, китайцы и т. д. Поэтический Интернационал из поэтов всех времен и народов, живых и мертвых. Он хотел, я думаю, вывести поэзию на новый уровень, отсюда все его заявления о том, что поэтическое творчество – высший вид человеческой деятельности.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Что, конечно, есть сильное, я бы сказал, цеховое преувеличение. Натяжка или гипербола, как хотите. А почему не проза, не архитектура, не драма. Почему пусть даже великое стихотворение выше Софокла, Шекспира, Парфенона, Моцарта наконец?

Тогда уж музыка. «Одной любви музЫка уступает…» Да и «группа поддержки» – зачем гению коллектив, которого он выше по определению?

НАТАША ШАРЫМОВА. Понимаете, Иосиф чувствовал себя лично ответственным за благополучие членов этой группы, за их будущее, будь то Фрост или Гораций, Алешковский или Довлатов. Да, необязательно поэты, согласна.

Ни в коем случае это не было осознанным либо сознательным выбором, а скорее нечто на уровне инстинкта, подсознательное, химически-биологическое.

Я могу подтвердить свои догадки о внутренней мотивации Бродского тем, что Иосиф году в 90-м или 91-м вместе со своим студентом Эндрю Кэроллом занялся «литературным проектом», целью которого было распространение поэзии по американским городам и весям. Он мечтал о том, чтобы поэтические антологии продавались в супермаркетах по символическим ценам, а в гостиницах рядом с Библией лежали бы сборники стихов. Было разложено несколько тысяч поэтических книг в номерах американских отелей. Кажется, этот проект, хоть и вяло, функционирует до сих пор.

А помните, с каким энтузиазмом Бродский принял участие в акциях Poetry in Motion, когда в поездах нашей подземки были развешаны плакатики со стихами?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Типа герм на греческих дорогах с напутственными сентенциями, да? По определению поэта Геннадия Кацова, супрематизм в действии. Если ответствовать перед древними греками, по мысли нашего нью-йоркского поэта и журналиста, стиховые гермы в сабвее не просто поджидали путников на дорогах, но отправлялись вместе с ними в путь. По всей метрокарте. Похоже, время действительно следует по спирали, а иногда замыкается в кольцо, считает Геннадий Кацов.

НАТАША ШАРЫМОВА. Да и помимо этих сабвейных герм, как

вы говорите. Да мало ли! Бродский был членом Совета Кафедрального собора St. John of Divine, а там был, помните, «поэтический уголок». Составлял сборники, посвященные любимым поэтам. Принимал участие в конференциях. Всего не упомнишь. «Забота о поэзии», – как он говорил, была для него не социальной ролью, а внутренней необходимостью. Бродский осознавал себя вождем воображаемого поэтического братства (вот, она – соборность!), если кому-то больше нравится слово «пахан», то это…

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Ну, не пахан. Реша́ла…

НАТАША ШАРЫМОВА. Ладно, дело личное. Что же до его «не люблю людей», это все-таки не признание, а декларация. С одной стороны – эпатажное, хлесткое высказывание. Запоминающееся. Автор манифестирует свое несогласие с гуманистической традицией, с христианскими и буддистским ценностями. Глобально замахнулся…

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Если бы это было заявлено прозой, в интервью, скажем, или в эссе, то да – по крайней мере, не исключено, что эпатаж, декларация, поза. Но это как раз стихи, а в стихах Бродский не врал, не лицедействовал, не паясничал, как перед объективом, относясь к стиховой речи очень серьезно, почти свято.

Кровь моя холодна.
Холод ее лютей реки,
промерзшей до дна.
Я не люблю людей.

Конечно, сделаем поправку на профессионально отчужденный характер писательства: у каждого писателя в сердце осколок льда, Грэм Грин прав. Короче, не думаю, что это признание Бродский сделал красного словца ради. Но и не ради того, чтобы замахнуться на христианские или буддистские ценности.

НАТАША ШАРЫМОВА. Да, это вряд ли. Буддизм, вообще, полагает, что в результате бесчисленных и бесконечных перерождений все люди стали родственниками. И более того, каждый человек когда-то был твоей матерью. Поэтому, учит далай-лама, к окружающим нужно относиться соответствующе: нежно и любовно, заботливо и почтительно.

В юности Иосиф интересовался восточной философией, занимался практиками. Какими? Мне это узнать не удалось. Друг юности Иосифа художник Гарик Гинзбург-Восков, который покинул этот мир в апреле прошлого года, не захотел ответить на

этот вопрос.

Но в архиве Бродского Йельского университета в свободном доступе хранятся большие амбарные книги, в которых, как мне сказал Михаил Мильчик, Иосиф любил писать. Я искала в этих амбарных книгах рисунки, сделанные в Норенской, для монографии Мильчика «Бродский в ссылке». Рисунков не оказалось, но на полях одной страницы я увидела запись – рукой Иосифа: «Расписание медитаций».

Да, еще когда-то, полвека назад, Иосиф говорил нашей общей питерской подруге Элле Липпе, что он занимается восточными практиками.

В одном из последних интервью, опубликованном по-английски, Иосиф рассказывал о своем понимании индуизма-буддизма в тех рамках, в которых он его знал. Встречался Бродский и с далай-ламой.

Можно с уверенностью утверждать, что Бродский был знаком с концепцией четырех благородных истин, с концепцией страдания всех живых существ, с концепцией сострадания ко всем живым существам и с концепцией методики преодоления этих страданий, которую проповедовал Будда и его разнообразнейшие последователи.

Но был ли Иосиф сам знаком с каким-либо практиком буддизма, познакомился ли он с живой буддистской традицией, – об этом можно только гадать. Или все его знания о восточных учениях получены из книг? Как правило, Иосиф не знакомил одних своих приятелей с другими. Его многочисленные компании кружились сами по себе, не пересекаясь. И следов я никаких не нашла. Но это – ничего не значит…

Недавно от Аркадия Небольсина, нью-йоркца, историка, человека первой эмиграции, я узнала, что Иосиф был знаком с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Не помню, чтобы Иосиф об этом упоминал. Но Google знакомство двух этих титанов подтвердил. Оттуда я узнала, что Лихачев заказал Бродскому переводы Джона Донна для Пушкинского дома, и добыл ему справку, что он работает, не тунеядец.

Позже – цитирую – «Бродский сам разыскал Лихачева в Венеции, когда Лихачев был там на конференции, и они гуляли с ним весь день по Венеции. Бродский ему купил шляпу гондольера и сказал – не ходите в южных городах с непокрытой головой. И Лихачев ходил с ним в шляпе гондольера, и эта шляпа до конца жизни Лихачева висела за его креслом».

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А вы не слишком, Наташа, доверчивы?

Имею в виду к Google. Там можно нагуглить что угодно! Я

занимаюсь Бродским почти полвека, исписал о нем тысячи страниц, знал его близко с ленинградских времен, о Джоне Донне он имел самое приблизительное представление, разве что из эпиграфа к «По ком звонит колокол». Что не помешало сочинить ему свою прекрасную «Большую элегию Джону Донну». Он схватывал налету, sapienti sat, с полуслова, был совершенно неспособен к систематическому усвоению знаний, потому и бросил школу…

НАТАША ШАРЫМОВА. Там указание на какого-то Евг. Водолазкина, как на источник этой информации. Сейчас позвоню в Петербург Михаилу Мильчику и узнаю подробности. Я вам, Володя, перезвоню…

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Ну, что?

НАТАША ШАРЫМОВА. Звонила, там никто не отвечает. А жаль!

Академическая среда должна знать своих героев… Да разве Лихачев единственная знаменитость-невидимка в жизни Бродского? Я как-то привела Иосифа к Кеше Смоктуновскому, который лежал в больнице на Моховой – рядом с домом Иосифа, лечил глаза. Разговор с гениальным актером как-то сразу перешел к вопросам нравственности. Иосиф, мягко говоря, не одобрял того, что Иннокентий Михайлович читает по радио тексты Брежнева. Смоктуновский – в манере князя Мышкина – меланхолично, мягко, объяснял свой конформизм – необходимо, мол, содержать семью. О Смоктуновском от Бродского я никогда больше не слышала ни слова. Не знаю, встречались ли они в Нью-Йорке, когда Смоктуновский приезжал.

Вот мое предположение. Скорее всего Мышкин шагнул в «Шествие» со сцены БДТ, премьера «Идиота» состоялась там в 57 году, а «Шествие» помечено 61-м. Я была на этой премьере и смотрела спектакль в полупустом зале… До сих пор считаю Смоктуновского – Мышкина – Джомолунгмой художественного творчества.

А еще как-то я привела Александра Галича в редакцию журнала «Костер» на Таврическую. Там оказался Бродский. Вроде бы Галич и Бродский понравились друг другу, и Иосиф даже специально для Галича спел свою любимую «Лили Марлен».

Потом я встретилась с Бродским и Галичем в 77-м году в Венеции.

У Галича был концерт, а Иосиф через несколько дней читал там стихи, но вот вместе я их – нет, не помню. В Венеции стояла «высокая вода».

Архитектурные дивы идеально отражались, где только можно. От этой красоты кружилась голова…

Как я понимаю, отношение Иосифа к бардовской песне не изменилось в результате личной симпатии к Галичу. Так и осталось негативным. Галича Иосиф упоминает однажды в разговоре с Рейном. Разумеется, в Венеции.

Я хочу все-таки, Володя, возвратиться к его «Я не люблю людей». Да, это стихи. «Натюрморт», 1991. Бродский бросает вызов культурной традиции, дистанцируется от нее и обустраивает для себя особое место в философско-нравственном поле. Внимание сосредоточено на местоимении «я».

Люди, конечно, не ангелы. Лирический герой и реальный человек – не одно то же. Это общее место. Но я как-то не замечала, чтобы эта нелюбовь Бродского преобладала в стиле его жизни.

Если ты мизантроп, то не будешь ходить каждый день в гости. Запрешься у себя на Пестеля или Мортон-стрит, чтобы никого не видеть.

Будешь листать Брокгауза и Эфрона.

Но Бродский был не таков. У Иосифа всегда была тьма знакомых.

Он внимательно относился к друзьям, помогал им по мере сил. Посмотрите на десятки его стихотворений «по случаю». В том числе, Лене Клепиковой и Вове Соловьеву, Ларисе и Роме Каплан. А его рекомендательные письма в Америке? Две внушительные коробки, их, к сожалению, в прошлом году «закрыли» на 70 лет.

Мне Бродский после ссылки подарил фотографию молодой Анны Ахматовой работы великого Наппельбаума, с ее подписью Иосифу, сделанной в 1963 году. Среди его ленинградских и нью-йоркских подарков – книги, рисунки. Рисунки пропали во время обыска. Дай Бог, когда-нибудь найдутся…

Иосиф был очень щедр, а людей, наверное, не любил теоретически или в своих «стишатах»… У него всегда была тьма знакомых. Не любил как биологический вид, но не индивидуально. Хотя некоторых – сильно ненавидел.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Вот именно! Если начать перечислять, пальцев не хватит – от Евтушенко и Вознесенского до Кушнера и Бобышева. Ну, того Бродскому сам бог велел не любить. А касаемо тьмы знакомых, так ведь можно быть одиноким и в толпе. Я свой юбилейный адрес к полтиннику Бродского назвал «Апофеоз одиночества», а теперь это подзаголовок этой новой о нем книги. Когда его напечатало «Новое русское слово», я был в Москве, и о реакции Бродского знаю со слов Довлатова, хотя как раз сам Сережа был частью негативного хора вокруг этого эссе. А Бродскому – понравилось.

Именно в это время он начинает говорить на тему одиночества прямым текстом, то есть не только в стихах. Озвучив прозой отстоявшийся в стихах ИБ вывод об одиночестве как источнике вдохновения, я, по-видимому, подтолкнул его на заявления подобного рода в прозе и разговорах. Ну, к примеру, интервью Бродского спустя три месяца после публикации моего «Апофеоза одиночества»:

– Однажды вы написали, что «одиночество – это человек в квадрате». Поэт – это человек-одиночка?

– Одиночка в кубе или уж не знаю, в какой степени. Это именно так, и я в известной мере благодарен обстоятельствам, которые в моем случае это физически подтвердили.

– И сегодня вы остаетесь человеком более или менее одиноким?

– Не более-менее, а абсолютно.

НАТАША ШАРЫМОВА. Я о другом, Володя. О морализаторстве Бродского. Тут уж держись! Поэтически – его морализаторство для меня началось со «Школьной антологии». Я знала некоторых фигурантов этого цикла и была шокирована тем, что у гениального Иосифа персонажи-портреты получились более плоскими, чем люди в жизни.

И, вообще, по-моему, не барское это дело давать оценки живым людям, твоим приятелям. Тем более, что они не могут тебе никак ответить…

Эта склонность всех и все судить «по гамбургскому счету» – и склонность озвучивать свое мнение – более или менее уместна в дружеском трепе, когда он не выносится за пределы частного разговора.

Хотя и это сомнительно. Иосиф частенько, и в сердцах, говорил суровые, жесткие вещи о своих друзьях по обе стороны океана (Боже! Что он мог говорить обо мне? Представляю!) Думаю, по большей части его слова были справедливы. Они не предназначались для чужих ушей, и я не собираюсь их цитировать. Но, насколько я знаю, эти оценки есть в письмах Иосифа, которые когда-то станут доступны всем.

Дорогие потомки, помните, Иосиф Александрович – человек эмоциональный, письма написаны под горячую руку…

А бывало, что Иосиф перебарщивал. Занятый поиском метафизических истин, ответов на последние вопросы и мучимый ответственностью за поэзию, он терял чувство меры или пренебрегал ею. Не понимал или не хотел понять, что его заносчивые, надменные, резкие и несправедливые (или – справедливые) слова ранят людей.

Помню, я спросила его, почему он отрицательно отозвался об

«Ожоге» Аксенова. Иосиф ответил, что роман ему не понравился. Ну, да, мог не понравиться. Москва ему не очень нравилась… Но не мог же он не понимать, как он своим отзывом вредит Васе Аксенову, с которым приятельствовал-дружил. Лучше бы Иосифу этого не делать.

Он как-то пришел ко мне в учебный театр на Моховой, году в 65-м или 66-м. У меня в кабинетике сидела наша костюмерша и рассказывала о своих семейных невзгодах. Иосифу пришлось какое-то время слушать ее излияния. Когда она ушла, Иосиф сказал с пафосом: «Вот, ей умирать скоро, подумала бы о душе, пошла бы в церковь, грехи бы замаливать…» Я только ахнула: нашей костюмерше было-то чуть за сорок. Что это – мальчишеский идеализм, тоска по пастве?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Женщины в его жизни. Сам он считал себя мономужчиной. Как пишет Лена Клепикова, излучал нечеловеческое обаяние. Да я и сам свидетель, как женщины липли к нему. На этой почве у него возник даже мизогинизм. Хотя я считаю, что его женоненавистничество было частью его мизантропства. Лично на вас, Наташа, этот его мужской гипноз действовал? Вы были в него влюблены – хоть немного, хоть ненадолго?

НАТАША ШАРЫМОВА. Я ничего подобного не ощущала. Его сексуального обаяния не чувствовала. И никогда не была в него влюблена.

К сожалению, возможно.

Но я видела, что он нуждается в женской энергии, в женском обществе. Поэтому у него всегда было много женщин-друзей и женщинподружек. Женщины прекрасно чувствуют поэзию, а Иосифу всегда нужны были слушатели. Он многим, как и мне, в Ленинграде читал по телефону только что написанные «стишата»… Таков был стиль его общения и с мужчинами, и с женщинами. Он легко устанавливал со многими людьми эмоциональную связь, но был свободен от привязанностей.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Женщины в жизни Бродского – особая тема. Понятно, я ее касаюсь в своем «Post mortem», целая глава так и называется «Хроническая любовь», но это только касаемо трех «Б» – Басмановой, Бродского и Бобышева. Я думаю, всем троим не очень повезло друг на друга. У каждого было гипертрофированное Эго, каждый мечтал о любовном треугольнике иного рода: я люблю себя, себя любит меня, меня любит я, и мы все счастливы. Мечта поэта! Точнее, двух поэтов и одной художницы. А повезло разве что мне, как биографуроманисту – я выжал из этого трагического треугольника такой чудный сюжет! Лучшая глава в той, а может,

и в этой книге.

НАТАША ШАРЫМОВА. Как же, Володя, знаем! Вы разрушаете каноны и табу традиционной биографии и застолбили себя в этой роли, та ваша книга стала уже классикой жанра…

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Я бы только уточнил: не биографического, а портретного жанра. Есть разница.

НАТАША ШАРЫМОВА. Я сейчас о другом. При вашем иконоборчестве, вы не всегда справедливы к своим героям. И героиням. К той же Вике Беломлинской – я дружила с ней 17 лет, зачем вы ее так приложили в предыдущей книге, включив в завидущий ряд по отношению к Довлатову? Завистницей Вика не была. Да и сам ряд у меня вызывает сомнения. Так любую критику можно подвести под зависть. Да, люди – не ангелы, кто спорит, но все куда сложнее.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Даже у Сальери?

НАТАША ШАРЫМОВА. Даже у Сальери. Имею в виду реального Сальери, а не пушкинского персонажа. Помните Сальери в «Амадее» у Милоша Формана? Для меня он более убедителен. Ладно, вернемся к нашему герою. И к его женщинам. Под конец жизни – с этим, Володя, вы не станете спорить – Иосифу повезло с ними. Говоря о своей жене, он называл Марию не иначе как ангелом: «Правда, она похожа на ангелов итальянского Ренессанса, да?» А Энн Шелберг! Найти такую ответственную перфекционистку, редактора «Th e New York Review of Books», сделать своим литературным душеприказчиком и взвалить на ее плечи тяжелейшую ношу, которая с годами не становится легче.

Я говорю о Фонде наследия Бродского, который она возглавляет и несет ответственность за его посмертную литературную судьбу и репутацию.

Нет, Володя, я не была в Иосифа влюблена, но я его ставила очень и очень высоко. Думаю, Иосиф догадывался о природе моих чувств, и ему эта ситуация нравилась. С моей стороны не было удушающей привязанности, было восхищение, преданность и полнейшая необязательность во всем. Мы гуляли. Болтали, ходили в кино. Слушали гастролеров. Иосиф любил Летний сад. И особенно партер со скульптурой Януса.

В сложных жизненных ситуациях я обращалась к нему за советом.

А влюблена – платонически – я была в те годы – и позже – в Смоктуновского. Нас было трое девиц, и мы трепетно следили за всеми извивами его жизни и карьеры. Кулисы БДТ, площадки Ленфильма, даже его дом на Московском проспекте – мы проникали всюду. Но сохраняли дистанцию, прикрывались

профессиональной деятельностью: мы все трое изучали театр. Правда, в какой-то момент наша троица сошла с ума, и мы – коллективно – писали Иннокентию Михайловичу любовные письма от имени Любы Языковой, так звали самого красивого помрежа на Ленфильме.

Одно время, уже после смерти Иосифа, я стала считать его бодхисаттвой, просветленным существом, родившимся по своему выбору в России поэтом. Бродский столько сделал для оздоровления духовного климата страны, тронул сердца громадного количества людей, что мне казалось, человеку – это не под силу.

Сейчас «концепция бодхисаттвы» несколько померкла в моем восприятии, уступив место психологическому анализу личности.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Меня вот что еще интересует в качестве, что ли, продолжения этой темы. Он был избалован женщинами, но та единственная, которую любил он, его не любила, изменяла ему с другом. Не в укор ей будет сказано – ее дело. Ахматова считала, что Бродский путает музу с бля*ью, хотя не любвеобильной Анне Андреевне это говорить! С поправкой на общеизвестную ревность Ахматовой к возлюбленным поэтов от Пушкина до Пастернака, Бродского включая: она не больно их жаловала. Так или не так, но ИБ посвятил МБ уйму стихов, есть прекрасные, любовная лирика – «Новые стансы к Августе» – высокого класса. А кончил тем, что написал антилюбовное, грубое, обидное – диатриба ей же через океан. Все мои знакомые дамы, включая Лену Клепикову, отрицают это стихотворение, а мне нравится. Каков накал страсти! Это месть даже не Марине Басмановой, а самому себе за любовное наваждение и любовное унижение. Даже ее измену он переживал больше как честолюбец, чем как любовник. Как предпочтение ему другого мужчины – и другого поэта: Бобышева.

Любовь как Немезида. Кто кем манипулировал в этом любовном треугольнике – другой вопрос. Пострадали все трое и даже четвертый – Андрей Басманов. Детские травмы, они на всю жизнь. Вы как-то обмолвились, что Бродский назначил Марину… «Музой?» – спросил я.

«Своей женщиной», – поправили вы меня. В том смысле, что была ниша, а нише позарез нужна статуя. А каково живой женщине быть статуей? Вот Марина и сбежала с пьедестала, да? А не просто спуталась с его другом. Слово вам, Наташа.

НАТАША ШАРЫМОВА. Володя, как это сказано… Может, лучше эту ситуацию вообще не обсуждать, оставить в тайне, между ними?

Девушку, как вы прекрасно знаете, звали не Марина, а

Марианна.

Изменив ей имя, Бродский, думаю, был по-своему мудр – понимал, что хочет изменить ее личность и судьбу. Нет никаких оснований считать, что Марианна была с этими планами согласна. Я сужу лишь по статьям в Сети, в Википедии, где она названа именем, данным ей при рождении – Марианна Басманова.

Я с ней виделась всего несколько раз, и не имею никакого права приписывать ей какие-либо мотивировки. По общему ощущению, любовь Бродского она принимала, но считала ли она себя его невестой?..

Мне кажется, что реальная Марианна не вписывалась в сознание Бродского и что он имел дело с порождением своей фантазии, с фантомом, а потом удивлялся и страдал от того, что жизнь разворачивается не по его сценарию. С реальной Марианной и сыном Андреем Иосиф не смог жить, хотя и очень радовался его рождению.

Конечно, я безоговорочно в те времена верила словам и чувствам Бродского, не понимала, что он не знает самого себя – простите. И на всю катушку раскручивает мораль двойного стандарта, считая подобное положение вещей нормой. На все сто процентов.

Было ли в этой истории замешано профессиональное и личное соперничество? По-моему, оно возникло только задним числом.

Конечно, вряд ли Диме Бобышеву стоило объявлять Бродскому:

«Теперь заботу о Марине я беру на себя…» Но я же сторонний наблюдатель и не знаю, о чем Марина договаривалась с Бобышевым.

Я частенько слышу и читаю, что родители Марианны были настроены против еврея Бродского. Художник Миша Беломлинский, который их хорошо знал, говорит, это клевета.

Уверена, когда-нибудь, когда не будет нас – в российском ящике появится сериал о жизни Бродского, сценаристам придется потрудиться и напрячь свою фантазию, чтобы объяснить себе и зрителям логику драматургии любовного треугольника.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Мир, как тишина осенняя, подробен, да? Детали, частности, приколы, связанные с Бродским? Сам я много писал о Бродском: дюжина статей, несколько рассказов, книги о нем – «Три еврея», «Post mortem», «Два шедевра о Бродском». Эта – «Быть Иосифом Бродским» – четвертая. Московский критик точно отметил, что я пишу о нем с любовью и беспощадностью. Я люблю его стихи – не все, больше питерские,

чем американские. Что мне всегда было чуждо – культ Бродского среди его фэнов. Бродский при жизни был мифологизирован, чему сам немало способствовал. Его собственные слова: «Вокруг моей жидовской мордочки нимб». А после смерти – бродсковедение, бродскоедство, настоящая индустрия. Бродский стал китчем, клише, расхожей монетой, расхвачен на цитаты. Помните, мандельштампы и пастернакипь? А как насчет бродсконакипи и бродскоштампов?

НАТАША ШАРЫМОВА. Володя, вы все сами и сказали.

Я помню какие-то разговоры о том, что Иосифа извлек из геологических экспедиций и направил на поэтическую стезю Александр Уманский, с которым Бродский дружил в конце 50-х – начале 60-х. Уманского я никогда не видела, недавно узнала, что он в Америке, пыталась разыскать его через Гарика Гинзбурга-Воскова, но – увы… Гарик какую-либо информацию об Уманском сообщить отказался, говорил, что встреча с ним бессмысленна. Ни Гарика, ни Александра теперь уже не спросить.

Такое вполне могло быть… Томик Баратынского высветлился позже.

Выступил из тьмы памяти на авансцену различных интервью.

Тут я должна коснуться деликатной для русской традиции написания биографий или – автобиографий – темы, достаточно провокационной и неоднозначной. Русская биографическая традиция предпочитает классицистов, Корнеля: герой не таков, каким он был во плоти на бренной земле, а таков, каким ему должно быть.

Иосиф, ставший здесь Джозефом (перемена имени открывает простор для самых разнообразных спекуляций по поводу волевого изменения судьбы), не верил ни Богу, ни черту в устройстве своих земных дел. Похоже, он не стал дожидаться будущих исследователей – мало ли чего они могут нагородить! – а взял дело мифологизации и канонизации своей личности в собственные руки. Что ни говори, а все-таки он – гений!

И тогда некоторые люди и события исчезли из его жизни, рассказанной многочисленным журналистам. Некоторые факты – приобрели другую окраску. Иосиф сам менял даты, посвящения, убирал, возвращал. Даже некоторые мотивировки стали формулироваться иначе.

Думаю, не всегда осознанно, за 30 лет многое можно забыть, переосмыслить…

Известно, что Бродский, по его словам, мечтал о Венеции, прочитав в юности роман Анри де Ренье, действие которого происходит в Венеции. Однако в июне 72-го, когда Бродский жил в Лондоне у Спендеров, зашла как-то речь о том, что Спендер со

своим сыном от первого брака собираются на Рождество в Венецию, и Бродский решил к ним присоединиться. Об этом пишет Наташа Спендер. И никаких Анри де Ренье в ее рассказе нет и в помине. Ну, строго говоря, одно не противоречит другому. Я же думаю, что дело было так: эрудит Володя Герасимов рассказывал Иосифу об Анри де Ренье и упомянул о том, что Анри де Ренье жил в Венеции. Вот со временем акценты в памяти Иосифа и сместились.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Это не совсем так. Даже совсем не так.

Венецейские романы в русском переводе, конечно, есть. В начале 20-х годов вышло его русское собрание сочинений в 29 томах! Да я и сам много его читал, будучи большим поклонником. Например, «Краткая жизнь Бальтазара Альдрамина, венецианца». Анри де Ренье называл Венецию городом наслаждений: «Нельзя не быть веселым в Венеции».

Или вот еще замечательная цитата, несомненно, близкая Бродскому:

«Меня крайне веселила мысль, что я могу устремиться прямо вперед, не опасаясь оказаться снова на прежнем месте, как это слишком часто случается среди улиц и каналов Венеции, извилины которых, в конце концов, приводят нас, помимо нашего желания, на то же самое место, откуда мы вышли, так что, в итоге круженья по ним, кажется, что встречаешься с самим собой». Бродский не просто читал, но штудировал Анри де Ренье. Скажу больше, я сам дал Осе пару его томиков, изданных в Academia. Тем более, там, помню, были переводы нашего с ним любимого поэта Михаила Кузмина.

НАТАША ШАРЫМОВА. Ладно, проехали. Здесь вы, Володя, наверное, правы. Вот вам другой пример. Бродского как-то в Нью-Йорке спросили, слышал ли он Роберта Фроста в 1962 году в Ленинграде, в Пушкинском доме. «Нет, – ответил Иосиф, – я был в это время в тюрьме. Не был он ни в какой тогда тюрьме, работал в геологической партии. Но… в воспоминаниях Володечки Уфлянда, они вместе идут на эти чтения!.. Я это прекрасно помню, потому что была на том выступлении Фроста и щелкнула его.

И таких примеров, Володя, множество. Каждый, кто обращается к биографии Бродского, сталкивается с проблемой реальности и ее фиксации и вынужден для себя как-то ее решать.

Кстати, о легендарном Фросте. Знаете, Володя, вроде бы я сделала в бродсковедении одно любопытное открытие. И, кажется, ни по-русски, ни по-английски о том, что я обнаружила, нет ни слова. А я читала множество книг о Роберте Фросте.

Включая составленный Бродским сборник «Homage to Robert Frost», который вышел в 1996 году в Farrar Straus & Giroux, а оно специализировалось на нобелевских лауреатах, сущих и будущих. В этом сборнике их сразу три – Дерек Уолкотт, Шеймас Хини, Иосиф Бродский. Так вот, представляете, Роберт Фрост, начиная с 1929 года до самой смерти, выпускал к Рождеству небольшой буклетик-поздравление, который рассылался друзьям, коллегам, поклонникам и спонсорам. Этот проект начался по инициативе сотрудников издательства Holt, Rinehart and Winston, которое издавало книги Фроста. Кто-то из начальства позвонил Джозефу Блюменталю, владельцу Spiral Press, типографии с превосходной репутацией. Для этого первого буклета Блюменталь выбрал – похоже, сам, не ставя Фроста в известность – стихотворение «Christmas Trees», написанное в 1920 году. Тираж – 250 штук. Роберт Фрост увидел у кого-то это поздравление и попросил типографа, с которым впоследствии подружился, прислать ему несколько буклетов. Так началось их сотрудничество.

Последнее поздравление было напечатано в 1962 году и разослано примерно за месяц до смерти поэта. Тираж – 16 555 штук. Думаю, это поздравление было послано и в Россию, тем писателям, с которыми поэт встречался в Москве или Ленинграде в сентябре этого года: Анне Ахматовой, Корнею Чуковскому, Евгению Евтушенко.

Иосиф Бродский мог увидеть этот буклет, но мог и не знать о нем, пока жил в России, но чтобы он не знал о нем в Америке?.. Маловероятно, чтобы Иосиф, ставший частью американского литературного истеблишмента, не узнал об этой традиции: многие американцы, особенно в литературных кругах, коллекционировали эти Christmas cards Роберта Фроста. Однако сам Бродский ни разу не упоминал Роберта Фроста в связи со своими Рождественскими стихами или еще кого-нибудь, хотя «стихи к Рождеству» – устоявшаяся литературная традиция, в том числе и в православии.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Как интересно! А вы, Наташа, не хотите заняться подробным анализом цикла Фроста и отличий Рождественских стихов Бродского от фростовских?

НАТАША ШАРЫМОВА. Почему нет? Вот выкрою время и опубликую работу на эту тему. А пока давайте возвратимся к Бродскому. Во время последних четырех лет жизни Иосифа я его не видела – работала в Москве. Переписываться с ним мне было как-то не с руки. Понимание того, что такие письма автоматически становятся артефактами и предметом истории, парализовало меня. Кроме того, я испытывала определенную неловкость, Иосиф не хотел приезжать в Россию по разным

причинам, а я там работала и процветала. Сейчас же я думаю: какое счастье, что он тогда не поехал в Петербург! Убеждена, живым бы его не выпустили.

У будущих исследователей жизни и творчества Бродского будет широкое поле деятельности. Конечно, им помогут книги Валентины Полухиной либо литературная биография Льва Лосева. Но Леша был слишком близок с Иосифом, а потому чего-то не видел. Он многие годы общался с Иосифом по телефону, к письмам Иосифа, адресованным другим людям, доступа не имел, так что – бродсковедам пахать и пахать.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Я отношусь к книге Лосева-Лифшица куда хуже. Я бы сказал, что в ЖЗЛ крупно не повезло обоим нашим друзьям: книга-панегирик Леши Лосева и книга-диатриба Валеры Попова про Довлатова. Крайности, знаете, сходятся. Леша не допускает никакой критики Бродского, а потому обрушивается на любых его критиков. Ну да, Caesaris uxor non suspicitur. Из тамошних мне ближе позиция Виктора Куллэ, первопечатника Бродского в России и одного из первых бродсковедов. Да и поэт он в разы лучше нашего с вами Леши Лосева. Наташа, давайте начистоту. Бродский – великий поэт, но он забарматывает вусмерть, и его надо преодолеть, изжить, чтобы остаться собой. Что Виктору Куллэ удалось. Он сам об этом хорошо говорит: «Бродским нужно переболеть, как корью, или попасть под него, как под поезд. Выкарабкаешься – хорошо, а нет – безнадежное дело».

НАТАША ШАРЫМОВА. Дело осложняется еще тем, что Бродский вроде бы обратился к друзьям с просьбой не писать его биографию и не сотрудничать с будущими биографами.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А это не слухи? Где-нибудь это запи сано?

НАТАША ШАРЫМОВА. Нет, я не нашла первоисточник. А помните историю с Оденом, которого Бродский глубоко чтил и считал самым умным человеком XX века, а себя полагал чуть ли не духовным его двойником. Так вот, Уистен Оден всячески противился, чтобы при жизни кто-нибудь написал и опубликовал его биографию. Оден, разумеется, знал, а Иосиф, тоже разумеется, узнал об отношениях, как они сложились у Роберта Фроста с его биографом Эдвардом Томасом. Фрост сам назначил Томаса своим биографом еще в 37-м, но за тридцать лет общения Фрост и Лоренс возненавидели друг друга. И Лоуренс таки взял реванш за все унижения и во втором томе своего жизнеописания вывел Фроста весьма малосимпатичным господином. И это еще мягко сказано.

Вот чего Бродский опасался и хотел избежать. Чтобы чужие

люди не касались его личной жизни. Напрасные мечты, если ты – общественная персона. Вот и вы, Володя, в своих книгах про our mutual friend пишете о нем разное. Как вы сами напомнили, с любовью и беспощадн остью.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А другой критик называет мой метод многоаспектным, голографическим. Помните формулу западной, то бишь свободной журналистики: «Опубликуй и будь проклят». Так и эта книга «Быть Иосифом Бродским», в которой вы согласились участвовать. Главное – опубликовать ее, а там хоть на Страшный суд или прямо на костер. Коли нас занесло с вами в такую некрофильскую глушь, то кого – а вы встречались с великими мира сего – кого лично вы считаете самым-самым в искусстве?

НАТАША ШАРЫМОВА. Кешу Смоктуновского

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А Бродский на каком месте?

НАТАША ШАРЫМОВА. Рядом. Тоже – с нимбом. Тоже – рыжий.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А кто произвел на вас самое сильное впечатление?

НАТАША ШАРЫМОВА. Дюк Эллингтон. Вернее, его духи.

Хвост – Алексей Хвостенко.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А кто разочаровал при встрече?

НАТАША ШАРЫМОВА. Никто.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А кого из покойников вы позвали бы на свой день рождения?

НАТАША ШАРЫМОВА. Смоктуновского. Вместе с Соломкой, Саломеей, Суламифью, его женой, она, кажется, еще жива. Еще кого? Не по рангу. Марлен Дитрих, Эллингтона, Майлза Дэвиса, Толю Герасимова, Хвоста, Вику Беломлинскую, Ирину, мою сестру. И еще Леонардо, Данте и Бродского – пусть болтают друг с другом по-итальянски.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Если только Ося выучил этот язык в Элизиуме. При жизни он его не знал.

Скандал в Питере! Приключения запретной книги о Бродском (2004)

Автор ждал 10 лет, прежде чем решился опубликовать полный текст этого мемуарно-эпистолярного эссе о скандале вокруг моей книги «Post mortem» еще до того, как она вышла. Документальный характер моего отчета об этом прискорбном инциденте ставит читателя в надсхваточную позицию и позволит ему судить-рядить независимо от авторской позиции. Приводимые письма даны фрагментарно, а имя главного моего корреспондента –

в сокращении. Теперь эта публикация никому повредить не может, а ее детективный и сенсационный драйв не устарел и продолжает оставаться актуальным и поучительным. Увы…

Вот именно: плох тот убийца, который не может совершить убийство в свое отсутствие. Мне это удается – и неоднократно. Особенно в Питере, откуда я родом. Хоть напоследок удалось вырваться из этого гиблого города, и в Нью-Йорк я отвалил уже из Москвы. Но вот беда – не дает Питер о себе забыть, потому что сам никак не может забыть обо мне. Или это я не даю ему о себе забыть?

Такой вот случай. Сочинив новую книгу, я, как говорили прежде, в докомпьютерную пору, пишу с полдюжины писем российским издателям, с которыми не знаком ни лично, ни – в большинстве случаев – заочно, и предлагаю эту книгу издать. Обычно это московские издатели, но зная, что главредом питерского «Лимбус Пресс» служит переводчик и литкритик Виктор Топоров, который однажды принял участие в двухчасовом радиообсуждении моих «Трех евреев» и вообще пишет вроде бы независимо и часто диатрибы против той же питерской литературной кодлы, что и я, предложил ему нашего с Леной Клепиковой «Довлатова вверх ногами», нашу первую книгу о Сереже.

Надо отдать ему должное – он ответил мгновенно и попросил две недели. Однако книгу перехватило московское издательство «Совершенно секретно», с основателем которого, трагически погибшим Артемом Боровиком, у нас с Леной были когда-то дружеские отношения. Так что «Лимбус» пролетел, как фанера над Парижем. О чем я Топорову честно сообщил. Наши пути еще разок пересеклись, когда Наташа Дардыкина написала в «МК» восторженную рецензию на мой роман «Семейные тайны» и номинировала его на премию «Национальный бестселлер», которой заправлял Топоров. К тому времени, пышущий ядом и изливший его уже на всех окрест, ВТ зачислил меня во враги, о чем я, понятно, и не подозревал, а потому в очередную рассылку моей новой книги «Post mortem» включил «Лимбус» в число адресатов. После того как Игорь Захаров, с которым у меня был на нее договор, усомнился, что она отвечает канонам академической, агиографической биографии.

Не сравниваю, конечно, но Андре Моруа считал «Диккенса» Честертона лучшей из когда-либо написанных биографий потому хотя бы, что это вовсе не биография. Захаров попросил меня сделать кое-какие изменения, я отказался – так моя рукопись пошла гулять по свету (издательскому) и попала в рассылке в том

числе в «Лимбус». Я и не подозревал, что ВТ, нарушая элементарные приличия в отношениях с автором, вместо того, чтобы ответить автору лично (или не ответить), разразился в питерских «Известиях» «открытым письмом Владимиру Соловьеву», о существовании коего я узнал спустя год или больше, и то совершенно случайно, от прибывшего в Нью-Йорк писателя Ильи Штемлера.

Все мои попытки найти это письмо в Интернете результата не дали, зато я обнаружил несколько цитат из него в чьем-то, опять-таки интернетном, резком ответе Топорову. Содержание письма ВТ, насколько я понял, сводится к отказу меня печатать, что вполне можно было сделать, послав мне однофразовую емельку. Однако мстительная первопричина открытого (а для меня до сих пор закрытого) письма, думаю, все-таки не только в том, что я в свое время отозвал свое «Лимбусу» предложение с «Довлатовым вверх ногами», а в том, что мы с ВТ пусть не враги, скорее даже единомышленники, но именно поэтому конкуренты, и я написал в «Трех евреях» об отношениях – Бродского и Скушнера – за четверть века до того, как этой темой занялся ВТ. И часто очень неплохо – см., к примеру, его эссе «Похороны Гулливера» – так что на меня он напал из перестраховки либо по злобе, а то по пьяни. Откуда мне знать! Да и не очень интересно.

Судя по отрывкам, уровень его антисоловьевской филиппики значительно ниже даже его среднего уровня. Он, к примеру, советует мне, вместо того чтобы пересказывать сплетни 25-летней давности, рассказать о моем кураторе из КГБ и намекает, что им мог быть нынешний президент России. Бедный Путин – вот уж точно возвел на него напраслину. Зря грешите на президента, Виктор! Кто знает, пишет намеками Топоров. Чего гадать, когда я сам назвал в «Трех евреях» поименно и гэбистов, которые меня вызывали, и задействованных гэбухой питерских писателей. И дабы именно как конкурента нейтрализовать меня окончательно, пишет, что Скушнер и я похожи – оба чернявенькие, маленькие и подпрыгиваем. Это, конечно, очень сильный аргумент, наповал, Соловьев в нокауте. Куда проще было сказать, что оба – евреи, их спор – междусобойчик, что им делить-то? Третий еврей в «Трех евреях» – автор, который никогда этого не скрывал и никем другим не притворялся. Но к слову – в отличие от Скушнера – я не чернявенький (другой масти) и не подпрыгиваю (другая походка, иной стиль). Хотя как развернутая метафора еврея – сгодится, пусть и для бедных. Случаем, великий русский националист ВТ не путает меня с самим собой? Ведь мы, кажется, даже незнакомы с Вами, Виктор – по крайней мере, я Вас не помню. Что Вам посоветую словами Вашего тезки Виктора

Сосноры:

Жить добрее, экономить злобу.

А то ведь и злобы у нас квота – может не хватить на оставшуюся литературную деятельность. И на жизнь – мы на самом ее краю, если только не патологические долгожители. Вряд ли.

Рассказываю все эти байки к тому, как моя жизнь в Питере продолжается в мое отсутствие – как у того честертонова убийцы, который мог совершить убийство в свое отсутствие. Опускаю Скушнера с его уж и вовсе водевильной историей, что я был приставлен к нему в качестве соглядатая. Велика честь для такого поэта-совка, как он! Последний пример моего тайного присутствия в Питере, где физически меня не было, наверно, уже с дюжину лет – скандал вокруг моей невышедшей книги, тогда еще именуемой «Post mortem» без подзаголовка «Запретная книга». Он начался в Питере в конце мая 2004-го, за пару месяцев до ее объявленного издания, которое так в Питере и не состоялось, а издательство оказалось под угрозой выселения за одну только попытку ее издать.

История фантасмагорическая от начала до конца, зашкаливает в литературный скандал, но, Бог свидетель, я ее пишу, как говаривал Сухово-Кобылин, с натуры. В нем косвенно задействована «Литературка», опубликовавшая три больших, по полосе, куска из книги, о которой пойдет речь.

В тот свой наезд в Нью-Йорк Илья Штемлер взял у меня рукопись докуромана «Post mortem. Фрагменты великой судьбы» – о человеке, похожем на Иосифа Бродского, а не на памятник, каковой сотворили его товарищи еще при его жизни, с его согласия и при его участии, а после смерти кумирня (и кумиродельня) приняла и вовсе раблезианские, анекдотические масштабы. Вот мне и захотелось стащить его с пьедестала и сделать похожим на самого себя, каким знал и любил в Питере. Отношения были близкие, тесные, частые – он даже посвятил нам с Леной Клепиковой на день рождения классное стихотворение.

Но в отличие от мемуарных «Трех евреев», где Бродский – один из трех, на этот раз я выбрал жанр фрагментарного жизнеописания. Не житие святого, а судьба поэта.

Илье Штемлеру книга настолько понравилась («Ты пишешь сплошными афоризмами»), что он взялся пристроить ее в какое-нибудь питерское издательство.

Дальше события развивались необычно.

По нескольку раз на дню я получаю от разных интернетных

фирм предложения продать мне виагру по бросовой цене либо – подороже – сделать, с помощью имплантации, мой пенис бóльшим, чем он есть. Я нажимаю на клавишу delete и уничтожаю эти емельки не глядя.

Так же я стал поступать и с моим новым корреспондентом по имени Институт соитологии, решив, что тех же щей, но пожиже лей. Пока Илья Штемлер не сообщил мне из Питера, что означенный Институт соитологии вот уже неделю пытается связаться со мной по электронной почте на предмет издания моего докуромана, но я не отвечаю. Мой роман – и Институт соитологии? Хоть там и довольно откровенных описаний – в том числе на соитологическую тему. Я позвонил директору этого института Неонилле С-й. Оказалось, она вычленила из моего романа главный, с ее точки зрения, сюжет, и даже вынесла на обложку: «история одной измены на фоне жизни и смерти».

– Остроумно, хотя несколько сужает тему книги, – усомнился было я.

На это Неонилла, которая оказалась утонченным читателем и превосходным редактором, ответила мне развернуто в письменной форме – и весьма убедительно:

…Я не считаю, что «история одной измены» сужает смысл книги, наоборот, ведь вся книга пронизана этим чувством – здесь и измена женщины, и измена самому себе (нью-йоркский – уже не питерский), и измена родине (для меня это понятие не политическое, а родовое – именно здесь была его родина и его самого, и его стихов, бросив ее – он потерял и себя, и источник своего творчества), что приобретает особый оттенок в конце книги, я имею в виду ЦРУ и его идеологическую операцию… Так что «история одной измены на фоне жизни и смерти» и никак иначе!

Что до операции ЦРУ, то речь идет о включенном в книгу докурассказе «Мой друг Джеймс Бонд», который был напечатан в «Литгазете», в «Новом русском слове», «В Новом Свете» и других изданиях по обе стороны океана.

Скажу честно – мне льстила сама идея быть изданным Институтом соитологии, который, я полагаю, весьма кстати в стране с низкой рождаемостью и отсутствием сексуальной культуры. Тем более, помимо пикантной альбомной серии и инструктивных книг по соитию, у них была художественная серия, и моими соседями оказались маркиз де Сад, Дидро, Генри Миллер, Альберто Моравиа, Жоржи Амаду и прочие классики. Книгу решили издавать внепланово, срочно – к сентябрю, чтобы поспеть на Московскую и Франкфуртскую ярмарки. Заключили

договор, в срочном порядке сделали корректуру, включили в новый каталог, прислали автору макет обложки. Несмотря на занятость, мы с Неониллой общались регулярно – телефонно и электронно. Человек я обычно суеверный, но здесь дело в кармане, решил я, и послал обложку нескольким дюжинам знакомых в Москве, Питере, Америке и Европе.

И тут вдруг рано утром раздается звонок из Питера – в трубке упавший голос Неониллы. Я ей тут же перезваниваю (из Америки звонить в Россию дешевле, чем из России в Америку). Вот что выясняется.

Институт соитологии арендует помещение у питерского отделения Пен-клуба. И как только пришел из типографии новый каталог, тут же возник скандал из-за включенного в него докуромана Владимира Соловьева «**Post mortem. Фрагменты великой судьбы**».

– Если ты издашь эту книгу, выметайся на улицу.

Сначала я не поверил Неонилле. У страха глаза велики, говорю ей, не могут же они так откровенно вас прессовать и банить и себя подставлять, показываясь в таком неприглядном виде унтерпришибеевых, держиморд и шантажеров. Неонилла настаивает на своем и называет два имени из записных либералов: Кушнер и Гордин. Вот уж, воистину, сидят в танке и боятся, что им на голову упадет яблоко (эту реплику Юнны Мориц об одном из них я привел в «Трех евреях»). А о новой моей книге они, оказывается, судят по публикациям в «Литературной газете». В «**Post mortem**» затронуты две табуированные в Питере темы: конфликт Бродский – Кушнер и любовный треугольник трех «Б» – Бродский – Басманова – Бобышев.

Но это же секрет на весь свет, возражаю я. Сам Бродский говорил об этом лобковом – прошу прощения за оговорку – любовном треугольнике налево и направо: в стихах, в статьях, в интервью, в разговорах. Людмила Штерн подробно рассказала об их отношениях в книге «Бродский: Ося. Иосиф. Joseph». Наконец, и Бобышев в мемуарном томе «Я здесь» написал об этом – уж не знаю, как его теперь называть! – треугольнике с предельной откровенностью, выставив себя далеко не с лучшей стороны. Что же до конфликта «Бродский – Кушнер», то о нем писал и Кушнер, а уж горше, резче и язвительней, чем Бродский, о «придворном еврее» не написал никто, обозвав «амбарным котом».

Само собой, биограф Бродского не мог пройти мимо его трагической любви, которой тот посвятил несметное число стихов и которая изуродовала до монструозности его личность и сформировала как поэта. Все равно как если бы биографы Данте и Петрарки не упоминали Беатриче и Лауру! То же с идейным

противостоянием затравленного Бродского официальным и официозным Евтушенко и Кушнеру. Вот я и включил в мою книгу эти основополагающие факты – не ради сенсации, но токмо для понимания конфликта поэта с другими, с самим собой – и с Богом.

И это главный – когда реальный, а когда метафизический – сюжет моей книги, где Бродский – сложный, а не сусальный образ.

Честно говоря, поначалу я огорчился. Вспомнил, сколько усилий было потрачено моими питерскими земляками для запрещения другой моей книги – «Трех евреев», а все напрасно – она уже издана в Нью-Йорке, Петербурге и Москве. Московскому издателю – Игорю Захарову – Кушнер даже прислал письмо, что я негодяй и тайный сексот, но мы решили использовать его клеветнический донос рекламно и дали на задней обложке рядом с положительным отзывом Довлатова о «Трех евреях»: «К сожалению, все правда». Самому-то мне кажется, что, за старомодностью пощечин и дуэлей, единственная возможность ответить на книгу Соловьева – написать «Анти-Соловьева» (наподобие энгельсова «Анти-Дюринга»). Увы, кишка тонка, и вот, за отсутствием убедительных контраргументов пытаются скомпрометировать автора с помощью откровенных инсинуаций.

Но та моя в форме романа горячечная исповедь – дела давно минувших дней, хотя и вызывает корпоративную защиту, ибо некоторые ее персонажи стали сектой неприкасаемых в Питере. Здесь же, сочинив жизнеописание человека, похожего на Бродского, я оказался вовлеченным в скандал помимо своей воли еще до выхода книги целиком. Мне-то что, с меня взятки гладки. Наоборот, негативное паблисити обычно на пользу, как фильму Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», от дистрибуции которого отказалась фирма «Уолтер Дисней», а фильму дали высшую награду в Каннах. Быть запрещенным в России во времена литературной вседозволенности – это, само собой, великая честь. Будь дело только во мне, я бы сидел и помалкивал в тряпочку. Тем более лично мне грех жаловаться: в последнее время у меня там выходит книга за книгой – рано или поздно выйдет и «Post mortem». Неминуемо и неизбежно.

По натуре я вовсе не возмутитель спокойствия и не машина по производству скандалов, хоть и притягиваю их, как магнит. Отсюда, из Нью-Йорка, мне безопасно наблюдать, как литературный анекдот зашкаливает в литературный скандал, а маргинальные герои моей новой книги оказываются еще мельче и смешнее, чем я о них написал. Ну да: питерская окололитературная мелюзга. Мне, вообще, свойственно думать о

людях лучше, чем они есть. Но дамоклов меч повис над институтом, издательстом и милой мне по письмам и разговорам дамой, которая поверила в мою книгу, поставила на нее, а ее за это гонят на улицу!

Или в Питере часы идут назад быстрее, чем в остальной стране? А российская тоска по намордник заметна даже через океан. Есть мужики, у которых не стоит, если баба им не сопротивляется. Почему не быть таким писателям, которым для вдохновения позарез цензура?

Цензура как муза, да?

Дальше излагаю события эпистолярно. Некоторые письма спарены вместе, другие даны в извлечениях, фрагментарно – чтобы не подводить авторов и избежать повторов.

Владимир Соловьев – Ирине Богат и Игорю Захарову

Дорогие Ира и Игорь!

Давно не общались, а сейчас, по-моему, есть повод. Книга, у колыбели (а точнее при зачатии) которой вы стояли как две добрые феи: «Post mortem. Фрагменты великой судьбы».

С тех пор, как мы – не по моей вине – разбежались, я напечатал две большие – по полосе каждая – главы из нее в «Литгазете» («Дорогие мои покойники» и «Мой друг Джеймс Бонд») и несколько глав в нью-йоркской периодике (тот же «Джеймс Бонд», «Плохой хороший еврей», «Остров мертвых» и «Письмо из будущего») со шквальным обсуждением на здешнем радио и ТВ.

После Вашего прощального письма, Ира, книгу мгновенно взял «Аграф», но мои вполне умеренные требования (аванс, 100 авторских экземпляров, рассылка 'useful people') перенапрягли наши отношения. Через пару месяцев меня разыскал – через Илью Штемлера – питерский Институт соитологии (представьте, есть такой!). Помимо альбомов с разнообразными соитиями на фоне природы либо в машине, либо на письменном столе, у них есть художественная серия, и мой докуроман оказался в одном нестыдном ряду с маркизом де Садом, Дидро, Генри Миллером, Альберто Моравиа и Жоржи Амаду.

Так обстояли дела до конца прошлой недели, когда мне позвонила директор этого института и мой редактор Неонилла С-на и сказала, что Кушнер и Гордин предупредили ее, что вышвырнут из занимаемого ее институтом и издательством помещения ПЕН-клуба, если она посмеет издать эту книгу, так как, судя по опубликованным отрывкам в «Литературке», в книге упоминаются отношения Бродский – Кушнер и любовный треугольник Бродский – Бобышев – Басманова. Секрет Полишинеля: об означенном треугольнике писали все кому не лень – от самого

Бродского до Бобышева в его изданном недавно «Вагриусом» мемуаре «Я здесь». А хуже, чем Бродский написал о Кушнере в посвященном тому стихотворении, не написал никто. Понятно, биограф Бродского не может обойти некоторые факты его био – не ради сенсации, но токмо для понимания конфликта поэта с самим собой – и с Богом.

Короче, я остался без издательства, а моя лучшая книга – бесхозной.

Вот я и предлагаю Вам возвратиться к этой книге – своей эмбриональной судьбой и публикациями в периодике она доказала свою жизнеспособность и даже скандальность (помимо воли автора). В отличие от «Трех евреев», это новая книга, а не 25-летней давности, и ни разу отдельным изданием не выходила.

У нас все в порядке. Переехали в более тихий и чистый район (купили квартиру). Я пишу – на середине – мемуарный роман «Записки скорпиона» и уже печатаю из него портретные главы (Окуджава, Слуцкий, Мориц, Искандер, Довлатов, Эфрос, отец и сын Тарковские), хотя более важны событийные, сюжетные, там много сенсаций. Увлечен, хотя и сто́ит больших жизненных затрат ввиду того, что прошлое не вспоминается, а расследуется в сопоставлении с настоящим. Два времени в одном тексте. Момент истины, как в «Трех евреях», но на московско-нью-йоркском материале плюс сложнее по авторскому замыслу.

Привет от Лены Клепиковой.

Ваш Владимир Соловьев

Ирина Богат, «Захаров» – Владимиру Соловьеву

Дорогой Володя! Очень рада, что у Вас все отлично, и Вы с Леной купили квартиру. Я о Вас всегда помню и нежно. Очень жаль, что то, что мы зачали и выносили, хотя и не в муках, по крайней мере – с моей стороны, не нашло пока своих опекунов. Мы с Игорем через два дня улетаем в Берлин, пробудем там две недели, вернемся 21 июня. Улетаем по очень важному делу, так что моя бедная голова занята этим делом и к тому же здесь – в Москве – полный дурдом в моей жизни и не только фигуральный. Я поэтому сейчас совсем не могу сосредоточиться на Вашем предложении растить совместно наше дитятко. Но я обещаю, как только вернусь, подумать и серьезно. И я Вам тогда обязательно напишу. Вы так ничего и не переделали в Вашем-нашем романе??? Я все равно остаюсь при своем мнении относительно плода нашей любви. Я все равно считаю, что его развитие должно было пойти по-другому. Но Вы очень упрямый. Большой привет Лене и от Игоря. Вы не собираетесь в Москву? Ваша Ирина Б.

Владимир Соловьев – Ирине Богат, «Захаров»

Ира, спасибо за письмецо, отправленное перед отъездом в Берлин – испытал физическое удовольствие от Вашего, как говорили в старину, почерка. Тьфу – стиля. Все-таки Вы классный мастер писать письма. Как поэт говорил? И на бунтующее море льет примирительный елей. Какой-нибудь эпитет я, наверно, переврал. Бушующее море? Бог с ним.

Хоть Вам предотъездно не до меня, зато мне до Вас – всегда.

Вот еще парочка соображений по поводу «Post mortem. Фрагменты великой судьбы».

На Ваш вопрос: книгу я, понятно, подредактировал и дополнил, но композиция и концепция остались прежними.

Самая трогательная фраза в Вашем письме, что я очень упрямый. А вы с Игорем не упрямы? Нашла коса на камень. Выдавать на-гора очередное био ИБ, даже талантливо написанное, обречено на полный провал – как финансовый, так и остальной. Это бессмыслица при том изобилии книг о нем, из которых лучшая, конечно же, ваша книга интервью Полухиной. Из изданных. Из вообще книг о нем – по острому сюжету, глубинным ходам, полисемичной характеристике, трагическому образу Иакова в борьбе с ангелом и с самим собой, и обе битвы проиграны – ну, конечно же, лучшая – моя. Она закрывает бродсковедение как издательскую отрасль. Есть стихи Бродского – и есть книга Соловьева о нем: вровень. И вы это почувствовали, Ира, но на фрагментарном уровне, а целого не ухватили, потому что уцепились за шаблон академической биографии ИБ. В то время как Неонилла С-на из Института соитологии ухватила общий смысл измены и вынесла на обложку оба подзаголовка – свой и мой…

И еще: плод нашей любви, как Вы говорите, надо любить какой он есть, даже если он, на взгляд одного родака, слегка скособоченный, и помочь ему встать на ноги. То есть по-жидовски, а не как спартанцы, которые оставляли умирать ущербных детенышей на горе Тайгет, то ли сбрасывали с нее, не помню. Так бы мы лишились многих гениев, которые не уродились аполлонами.

Эти три недели у вас карт-бланш, жду вашего приезда. А нельзя ли дать мне знать из Берлина? В любом случае, счастливого пути. Ваш ВС

Неонилла С-на, Институт соитологи – Владимиру Соловьеву

Уважаемый Владимир!

Сами понимаете, если даже Вы, будучи так далеко, были поражены, то можете представить, как была поражена здесь я…

Я была готова к скандалу вокруг книги и не боялась его, но я

никак не ожидала, что скандал может разразиться вокруг лично меня (даже не вокруг издательства). А я довольно известный (и смею надеяться, уважаемый) человек в городе, свою репутацию зарабатывала годами, а теперь говорят, что, издав Вашу книгу, я буду представлена перед общественностью моего родного города как непорядочный человек, не уважающий частной жизни людей и способствующий тому, что эта жизнь будет беспардонно выставлена напоказ, принеся боль и горе описанным в книге героям.

…Руководство (Питерского Пен-клуба), с которым у меня установились хорошие, добрососедские отношения, дало понять, что изданием этой книги я навлеку скандал не только на себя, но и на них. И поскольку они не хотят никаких скандалов со стороны оскорбленных и униженных и просят меня не создавать почву для этого, то в случае игнорирования их просьбы наши отношения, естественно, будут разорваны. А если отношения будут разорваны, то продолжение моей деятельности рядом с ними будет невозможно. То есть в итоге, так или иначе, годами наработанные связи будут испорчены, я буду облита грязью на Питер и Москву и, как следствие, окажусь вместе с моим коллективом на улице. К такому повороту в судьбе я, признаться, не готова.

Возможно, у Вас больший иммунитет к таким вещам. Вы, как я вижу, наоборот стремитесь к скандалам вокруг своего имени, мне же это будет непереносимо – признаюсь честно, и главное непонятно ради чего?.. Их отношения и их разборки не стоят тех нервов, которые я истратила за эти два дня, и свою репутацию терять из-за них не хотела бы.

Поэтому я прошу четко и определенно – никому даже не упоминайте о том, что я Вам искренне рассказала, ни в коем случае не пытайтесь писать и играть на том, что издателя выгонят из помещения за издание Вашей книги. Это закончится для издательства катастрофой. Я надеюсь, Вы не хотите, чтобы я пожалела о том, что я вообще ввязалась в историю с изданием Вашей книги, которую, как теперь мне со всех сторон доносится – никто не хочет издавать. Причин приводят две: первая – потому что там задеваются интересы еще живых людей (а никто не хочет с ними никаких разборок, наездов или осложнений – сами знаете – не тронь… и вокруг будет чистый воздух), вторая – Соловьев – очень конфликтный человек, а посему лично с ним никто не хочет сотрудничать.

…Что касается создания идиотского положения, это действительно так, за что прошу у Вас прощения. Но когда я писала, что можно обнародовать наши с Вами издательские планы, я не подозревала о том, что ополчение будет выставлено

еще до издания и будет направлено на меня лично… На мои слова, что роман блестящий и написан замечательным языком, мне все в один голос твердят, что нет смысла читать Ваш новый роман, так как у Вас все об одном и том же, а именно – полив грязью всех, с кем так или иначе столкнула Вас судьба. Ну Вы постарались нажить себе врагов и славу, скажу я Вам…

Признаюсь – я, конечно, в бешенстве! Отвратительно, что я попала в ситуацию, в которой мне могут выкручивать руки, но виновата сама – не нужно быть никому обязанной. Поэтому у меня путь один – становиться на ноги и приобретать независимость от всей этой камарильи. Конечно, полоскание моего имени мне будет очень неприятно (и я поняла, что после издания книги это неизбежно), но самое страшное, если сейчас встанет под угрозу работа института. Вынужденные уйти из уже оборудованного помещения, мы окажемся в катастрофической ситуации на наших еще пока тоненьких и слабых оленьих ножках. К тому же, тема, которой я занимаюсь четвертый год – тема чрезвычайно в нашей стране щекотливая и сложная. Пока мне удается держаться на острие бритвы, но как только я сделаю хоть что-то, за что можно будет зацепиться – меня съедят, а, значит, и уничтожат не только мое дело, но и сексуальные исследования и просвещение в России еще на долгие годы. Сами знаете, как потом будут бояться мои последователи, если на их глазах развернется показательное аутодафе надо мной.

Каталог я изымать из оборота не буду… Всем моим друзьямписателям-единомышленникам она (обложка) очень нравится, и они сетуют, что издание книги откладывается из-за таких вот обстоятельств, но помочь мне не могут. Видите, даже заслуженный и уважаемый Штемлер, будучи членом правления Пен-клуба и имея в нем веский голос, посчитал, что защитить нас с Вашим изданием невозможно, потому что тоже понял, что скандал будет грандиозный и главное – нелогичный – «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать» – «Я виновата лишь в том, что издала книгу писателя, поднявшего руку на питерские "святыни", сама будучи коренной петербуржанкой – и кто я после этого!..»

Всех благ! Неонилла.

Ирина Богат, «Захаров» – Владимиру Соловьеву

Дорогой Володя!

Я ужасно люблю получать от Вас письма. В Берлине у меня будет ужасный нервный напряг, почему – объясню, когда вернусь.

Там лучше никаких решений мне не принимать. Ваша ИБ

Александр Иванов, Ad Marginem – Владимиру Соловьеву

Уважаемый Владимир!

Я прочитал фрагмент вашей книги в «Литературке». Звучит интересно. Вышлите нам текст для ознакомления, и мы примем решение.

С уважением, Александр Иванов

Владимир Соловьев – Неонилле С-ной, Институт соитологии

Дорогая Неонилла!

Спасибо за письмо с подробностями скандала и высокой оценкой «Post mortem», с чем автор не может не согласиться. Это у Пастернака «другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь, но пораженье от победы ты сам не должен отличать».

Я – отличаю, будучи профессиональным литкритиком (помимо других жанров, в которых работаю).

Я никак не ожидал, что послужу причиной этого безобразного скандала и не могу себя в нем винить, хоть чувство вины и стыда – основополагающие в моем характере, о чем Вы можете судить по тем же «Трем евреям». То, что Вам со всех сторон, как Вы пишите, наговаривают, что Соловьев «очень конфликтный человек, а посему лично с ним никто не хочет сотрудничать», и последнюю книгу «никто не хочет издавать» – полная лажа. Меня не интересуют скандалы, а если я их притягиваю, то исключительно потому, что пытаюсь прорвать мафиозную пелену лжи.

Главная причина данного скандала – патологический, монструозный страх тех, кто его устроил, перед правдой и гласностью.

Относительно сотрудничества со мной – бесстыжее фуфло.

В последние годы я издал в России немало книг, во всех случаях издатели сами выходили на меня, а издание последней книги «Аграфом» сорвалось из-за моей строптивости и завышенных требований (аванс, 100 авторских экземпляров и проч.). Плюс Вы к тому времени уже решили издавать мой роман.

Честно говоря, написав книгу, я теряю к ней интерес, да и сложно заниматься ее изданием через океан. Подвернулся Штемлер и отдал Вам рукопись, Вы ею увлеклись, решили издать – прекрасно. Независимо от конечного печального итога, я рад был с Вами познакомиться, пусть заочно, и с большой симпатией и уважением отношусь к Вашей работе, особенно важной в стране с низкой рождаемостью и отсутствием культуры секса. Боюсь, для гордино-скушнеров, с их корпоративно-мафиозной защитной реакцией, само Ваше желание издать мою книгу уже преступление – не меньшее, чем осуществление этого желания… Они будут переть на Вас как

носороги, если Вы будете молчать в тряпочку и делать вид, что ничего не случилось. Не гласность приносит вред, а безгласие. И никто не посмеет выкинуть Ваш институт на улицу, если сама эта угроза – а тем более ее причина – станет общеизвестна.

…Я привык писать и говорить правду, пусть и во вред себе, поздно переучиваться. Сначала я всем растрезвонил о готовящемся издании, разослал обложку – как Вы меня и просили, а теперь вынужден дать задний ход и, если спрашивают, объясняю все, как есть. Земля слухами полнится: ужé не я, а мне сообщают подробности с ссылкой на питерские источники, и мое знание превышает теперь то, что я узнал от Вас и Ильи Штемлера.

…Вся эта подлая история с запрещением моей книги до ее выхода – уже неотъемлемая часть моей писательской биографии.

Понятно, я очень за Вас переживаю – увы, через океан, и очень надеюсь, что обойдется, и они не решатся выполнить свои угрозы… А пока что главная жертва – автор. Никто Вас не неволил и не понуждал принимать к изданию мою книгу, но получив Ваши заверения, договор, обложку и проч., я расслабился, впал в эйфорию, перестал искать издателя. Это и ежу понятно, что раз они, как Вы пишете, выкручивают Вам руки и запрещают выпускать мою книгу, то Вы никогда уже больше к ней не возвратитесь, ибо их решительность воспрепятствовать изданию превышает Вашу его осуществить.

Кстати, я никого не поливаю грязью – это со мной пытаются произвести сволочной растопт и обрéзать яйца, не брезгуя никакими средствами, чему этот скандал с неизданной книгой – наглядный пример (очередной, но не единственный). Не говоря уж о наветах и инсинуациях. А я, наоборот, пишу о многих куда лучше, чем они есть и чем заслуживают. Или не пишу вовсе. Вы правы: не тронь говно и проч. Что до Бродского, которым они прикрывают как щитом свое ничтожество и бесталанность, то он принадлежит русской литературе, а не питерскому клану литераторов. Тем более – не отдельным его представителям, типа Гордина. И мой роман – о борьбе Иакова с Богом – и с самим собой, а не с литературной швалью, хоть та и может случайно попасть под раздачу. Что несомненно: мой роман будет издан как произведение того заслуживающее. И даже независимо от сходства его главного героя с Бродским.

Теперь о нашем с Вами сотрудничестве. Я не очень уверен, что Вы в нем после этого скандала больно заинтересованы, а наоборот, не жалеете, что связался черт с младенцем, только в обратном порядке (черт, само собой, я).

…Еще раз: независимо как сложатся наши дальнейшие отношения, я благодарен случаю (дабы не злоупотреблять словом

«судьба»), что познакомился с таким замечательным, своеобычным и талантливым человеком, как Вы. Я уж не говорю о том, что, несмотря на давление извне, Вы тончайшим образом почувствовали мой роман, рационально уловив в нем то, что у автора находилось в подсознанке. В последней главе, если Вы помните, я ссылаюсь на конан-дойловского профессора Мориарти: его исследование достигло таких высот чистой математики, что во всем научном мире не нашлось специалиста его рецензировать.

Я не сравниваю, но писал книгу по гамбургскому счету, без оглядки на читателя. И теперь, когда все так обидно сорвалось, я не сомневаюсь, что найду другого издателя, но не уверен, что мне повезет на такого же вдумчивого и проницательного читателя.

Ваш ВС

Владимир Соловьев – Ирине Богат, «Захаров»

Коли Вам так нравятся мои письма, Ира, то вот Вам к приезду (и с приездом!) еще одно письмецо с дополнительной информацией о «Запретной книге», как теперь называется «Post mortem».

Пока вы прохлаждались unter den Linden в Берлине, наш с Вами детеныш подрос, поменял имя и начал понемногу самораскручиваться, независимо от родаков. По его фрагментам в «Литературке» (и по питерскому скандалу с его запретом) им заинтересовались «Ad Marginem» и еще парочка издательств и просили прислать манускрипт. Это, конечно, не значит, что целая рукопись приведет их в неописуемый восторг, как пока что случилось только с Неониллой С-ной из Института соитологии, которая через меня пострадала. Точнее – могла пострадать, если бы я не раззвонил этот безобразный скандал urbi et orbi. Те, кто ей угрожал, теперь пытаются дать задний ход, дабы не пострадала их репутация на миру, и как бы снимают прежнее табу на книгу.

Собирают даже заседание питерского Пен-клуба под девизом: что угодно, только не скандал! Уже начался крутеж и обман – что книгу не зарубили, а только отложили, и просят меня не поднимать бузу. Театр абсурда, да? Или их страх перед обнародованием скандала больше страха перед самой книгой? И прав классик: и ныне смех страшит, и держит стыд в узде?..

Вы спрашивали меня, сделал ли я что-нибудь с книгой. Сейчас могу смело ответить: да. В приложении – а таковое, если Вы помните, составляет как бы документальный фундамент доку-, но не без художки романа и включает, в том числе, хорошо прозвучавший повсюду «Мой друг Джеймс Бонд» – добавил целую главу: о приключениях неизданной книги, куда вставил фрагментарно и нашу с Вами, Ира, переписку (с Вашего

позволения). В самой книге менять уже ничего невозможно, да и поздно – ребенок вышел из утробы, можно сломать ручку-ножку, а то и шею свернуть. А главное – уже есть предыстория этой неизданной книги, скандал с ее запретом – именно ее и следует издавать. Или не издавать. Конечный продукт – с дополнительной главой о скандале вокруг, с моими легкими поправками и небольшой правкой по вопросам Неонилллы из Соитологического института – приаттачу, как только (и если) Вы решите – и решитесь! – книгу издавать.

Однако теперь, Ира, в этой двойственной и нервозной ситуации вынужден Вас немного поторопить, чтобы в зависимости от Вашего ответа – вести себя с другими. Пока я, как девушка честная, ждущая жениха с прифронтовой зоны, выдержал натиск претендентов. Гипербола – в реале пока что пара-тройка, да и те предложили не руку, а только смотрины; а Соитологический институт, меняющий свое мнение ежедневно – не в счет: я им уже сообщил, что ищу другого издателя. Но сколько может девушка в расцвете физических сил ждать жениха? Да Вы и сами обещались принять решение, как только явитесь из Берлина в Москву deus ex machina. Привет Захарову и привет от Клепиковой.

Ваш Пенелопа (поневоле)

Неонилла С-на, Институт соитологиии – Владимиру Соловьеву

…В отношении СМИ. Как автору, Вам проще всего было сказать настырным журналистам короткую фразу, что у издательства изменились обстоятельства, и оно отложило или отказалось от издания книги, и все… В конце концов, существуют вещи, о которых не нужно рассказывать посторонним!.. Чем больше Вы будете рассказывать, как какие-то черные силы запугали издателя, что он отказался издать Вашу книгу, тем меньше у Вас останется шансов издать ее в России.

…То есть уже в стороне остается то, что Вы хороший писатель и Ваши произведения написаны отличным языком и, без сомнения, талантливо. Главное здесь – «не хотим связываться…», чтобы не попадать в неприятную ситуацию разборок. А основные проблемы и разборки возникли, например, у нас только по одной причине – мы «напоролись» на репутацию, созданную вокруг Вас, а также на Ваш стиль общения с людьми. Но я же не виновата в Ваших сложных отношениях с оставшимися здесь, в реальных или вымышленных обидах, которые были Вами им нанесены. Правда действительно убивает, но я в таком убийстве участвовать не хочу, даже если Вы трижды правы в своем вынесенном им

приговоре…

Всех Вам благ. Неонилла.

Владимир Соловьев – Неонилле С-ной, Институт соитологии

Дорогая Неонилла!

Я получил Ваше крученое письмо, где все поставлено с ног на голову, и я – в роли козла отпущения… Сошлюсь на Шекспира в переводе Пастернака:

> *Я не так*
> *Перед другими грешен, как другие*
> *Передо мной.*

Токмо для восстановления истины, которую Ваше письмо искажает до неузнаваемости, я вынужден напомнить Вам, что Вы позвонили мне и сказали, что Вас грозят выкинуть на улицу, если Вы издадите мою книгу, и потому Вы отказываетесь от нее… Затем был звонок Штемлера из Вашей редакции с обещанием поговорить с другими членами Пен-клуба и проч. Что дурака валять – без издателя я остался не по Вашей, а уж тем более не по моей вине.

Вы, что, хотите представить меня вдовой, которая сама себя высекла? Зарубившим собственную книгу, когда уже был известен срок ее выпуска, готова обложка, корректура и проч? Неонилла, милая, Вы же умная, тонкая, талантливая женщина, с кем Вы играете в прятки? И когда я хотел предать гласности этот гнусно-анекдотический эпизод, то думал исключительно о Вас, а не о себе: дабы нейтрализовать угрозу Вашему институту, и Вы не оказались на улице. По крайней мере, такова была моя первая реакция.

…Простите, Неонилла, но я верю Неонилле первого письма и не верю Неонилле второго письма. Или существуют две Неониллы? Или одна похитила «айдентити» другой? Вас словно подменили. А считать, что все испортил автор, называть его книгу, которая Вам же понравилась, Вы схватили ее концептуальную суть и решили немедленно издать, вредоносным проектом – я бы не назвал это джентльменским поведением по отношению к автору, который в этой скандальной истории оказался главной жертвой. Что меня огорчает с сиюминутной точки зрения, но не с вечной: предпочитаю быть преследуемым, а не преследователем… А чтоб от моих слов кто-нибудь взял да помер – ну и дали Вы маху, Неонилла! Гвозди бы делать из этих людей – в мире бы не было крепче гвоздей! Отморозок – да, то есть беспартийный, над

*схваткой, ни с кем, сам по себе, как кот у Киплинга, но не злодей. Всегда был независим, а здесь, на ПМЖ в Америке, моя независимость, понятно, укрепилась. Писатель-скорпион, но по жизни – добрый скорпион. Правдивый и зае*истый, но справедливый и милосердный. А обо мне Вы подумали, что отнюдь не железобетонный – каково мне выдерживать все эти садистические пертурбации с моей книгой? Вот мне и жаль, что выкручивание Вам рук, как Вы сами изволили выразиться, Неонилла, зашло так далеко, что Вы все шишки теперь валите на очевидную жертву этого мерзопакостного инцидента с запрещением моего романа.*

Ваша жалость избирательна, пострадавшего и страдающего автора Вам не жаль нисколечко, и вот Вы уже надеетесь, что я вовсе останусь в России без издателя.

Думаю, Вы ошибаетесь, хотя, конечно, не так просто найти издателя для такой во всех отношениях незаурядной книги, как моя.

Желаю Вам всего доброго и искренне надеюсь, что злополучная эта история пройдет для Вашего института бесследно. В любом случае, судя по последнему письму, Вы сделали все, чтобы загладить Вашу вину и получить индульгенцию. Но Вы даже не представляете, как грустно мне было его читать – будто и не Вы писали. Ваш ВС

История хоть и срамная, но мне не привыкать. В конце концов, это я первым 30 лет назад порвал с питерской бандочкой литературных головорезов и мароедов (а теперь и мертвоедов – на чужой славе, себе в карман), приблатненной тогда гэбухой – порвал буквально, физически и метафизически, «Романом с эпиграфами», который теперь известен по захаровскому изданию как «Три еврея». Ждать после моего разрыва объективности от людей, выведенных в той книге под их собственными именами – нет, не такой все-таки я наивняк. Однако по привитому с детства джентльменству полагал все-таки, что борьба будет вестись по правилам, в рамках литературы, не прибегая к запретным приемам. Пальцем в небо! В ходу у этой братии главный в литературе запретный прием – запретить книгу: сначала «Трех евреев», теперь «Post mortem».

Обычно я ссылаюсь на три издания «Трех евреев» – по одному на каждого еврея: нью-йоркское, питерское, московское. Даже четыре:

«Новое русское слово», тогдашний флагман свободной прессы в русской диаспоре, печатало главы из книги серийно, в номерах, наверно, десяти, по полосе в каждом, а потом в течение пары месяцев шла дискуссия с участием автора. «Как я теперь жалею,

что вляпалась в эту историю», – честно призналась мне главред Людмила Шакова, а теперь приблизительно то же самое говорит бедная Неонилла С-на.

Я предъявляю эти копирайтные данные в качестве доказательства, что негативным либо маргинальным героям «Трех евреев» не удалось уничтожить их автора. Честно говоря, хорошая мина при плохой игре.

Есть старая поговорка, смысл которой уже мне не ясен: Питер бока вытер. Применительно ко мне, думаю: Питер меня обанкротил.

Да, автор остался жив, «Три еврея» – как книга – тоже выжили, но уже к нью-йоркскому изданию (спустя 15 лет после написания!), а тем более к российским (спустя четверть века), книга идеологически и эмоционально выдохлась, потеряла свой полемический запал, а главное – утратила аудиторию, на которую была рассчитана. К тому времени читатели вообще отхлынули от литературы, потеряв к ней злободневный интерес. Сам жанр книги изменился: из горячечной исповеди она превратилась в мемуары, а то и в «весьма талантливый памфлет», как написал благоволящий к ней московский критик Павел Басинский. Конечно, питерские заговорщики, с их хорошо развитым запретительным инстинктом (если даже смогли изуродовать новомировскую подборку еще живого Бродского, изъяв из нее лучший стих – про амбарного кота Скушнера), предпочли бы уничтожить ее вовсе, и каждое ее новое издание было для них ударом под дых, но – прошу прощения за банальность – хороша ложка к обеду. Или как говорят здесь, в Америке, the right man at the right time (& in the right place).

История с изданием – точнее с неизданием «Трех евреев» – тоже роман: с сюжетом, интригой и, увы, без катарсиса, зато с happy end – пусть и условным, а может, и мнимым. Кто знает, может, они спасли мне жизнь, препятствуя полтора десятилетия изданию «Трех евреев»?

С наступлением либеральных времен питерская мафиозная кодла еще больше окрепла, и вот теперь, уже в новую политическую пору, они опять, пользуясь общим зажимом, надеются наложить замок на уста мои и заморозить мой роман на неопределенный срок, но уже другой, новый, то есть сделать его, учитывая отпущенное нам жизненное время, посмертной книгой. Надеюсь, на этот раз не выйдет.

Теперь меня одинаково удивляет, когда не издают – та же запретная книга о Бродском, она же – заветная – и когда печатают (эпатажные главы из нее в «Литгазете», «В Новом свете» (нью-йоркский филиал «МК»), «Новом русском слове», «Русском

базаре», «Панораме», «Слове», «России» и др.). Разве не поразителен сам факт публикации «Мяу с того света» в «Литературке»? Ох уж эти питерские «либералы», готовые перегрызть глотку любому инакомыслящему и предпочитающие сотрудничество с властями – мирному сожительству (ладно – сосуществованию) с отморозками с их нестайным инстинктом. Увы, в Америке Бродский стал таким же: беспрекословно подчинялся здешнему истеблишменту, но в русской комьюнити был литературным паханом: свободомыслия, а тем более инакомыслия, не терпел.

Мне-то что! Я еще боялся умереть автором одной книги, как Грибоедов!

Жив курилка! То есть я.

Они потому еще боятся моей книги, что написанная вровень с лучшими стихами героя, на которые она вся сориентирована, книга закрывает жанр бродсковедения, делает ненужными все эти бесчисленные, написанные под гранты либо из графоманства и честолюбия статьи, эссе, мемуары, книги. Несть им числа, хотя есть, понятно, и среди них редкие исключения.

Неожиданную поддержку получил из Оклахомы: ночью позвонил Женя Евтушенко, который поначалу обиделся на меня за публикацию повсюду докурассказа «Мой друг Джеймс Бонд» – о том, как поссорились Евгений Александрович с Иосифом Александровичем, а тут говорит:

– Вы, конечно, правильно сделали, что опубликовали это письмо Бродского против меня и свой к нему комментарий.

И добавил еще парочку жареных деталей, от которых я пока воздержусь.

А потом я достоверно узнал, как повстречались в Переделкино главред «Литературки» и Евтушенко, и сомневающийся Юрий Поляков спросил, что делать с этим рассказом Владимира Соловьева, и Женя, не колеблясь ни минуты, решительно сказал:

– Печатать, конечно!

Два года понадобилось Евтушенко, чтобы признать мою правоту, а главное – мое право как писателя и журналиста писать то, что я думаю. Что от него не отнимешь – да и зачем? – по сокровенной своей сути, Евтушенко – демократ. В отличие от того же Бродского, который совсем наоборот.

В одном специализирующемся на Бродском издательстве, которое запросило у меня книгу, мне посоветовали изменить имена героев и убрать цитаты Бродского: условие ее издания. Чтобы сделать главного героя анонимным? Чтобы обесточить сюжетный и концептуальный напряг книги? Чтобы обесценить ее

художественные и эвристические достоинства?

Лена Клепикова, наоборот, сомневается, зачем вся эта игра с эквивалентами, когда Бродский есть Бродский, и герой моего романа сюжетно, бытово и даже стилистически совпадает с прототипом. Даже англицизмы, идишизмы и нехарактерные для русского языка синтаксические конструкции, которые у иных читателей вызовут возражения, прямо заимствованы из «американской» речи Бродского, чему множество свидетельств в его стихах, интервью, воспоминаниях о нем, да и на памяти автора. Вплоть до религиозной нетерпимости и несоблюдения политкорректности по отношению к своим коллегам – как живым, так и умершим (в каждом случае в автокомментарии к моему докуроману указан источник). А вот что он выдал в «Оде на независимость Украины»:

> С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
> Только когда придет и вам помирать, бугаи,
> будете вы хрипеть, царапая край матраса,
> строчки из Александра, а не брехню Тараса.

Неизбежный вопрос под завязку: как бы отнесся к моей книге ее главный герой? Что не авторизовал бы – это само собой, да и не больно надо, никогда бы с такой просьбой к нему не обратился. И вообще с просьбами к нему не обращался, обеспечив себе тем самым независимость: зависеть от царя, зависеть от народа, а тем более от Бродского – не все ли нам равно. Вот именно! Покровительство Бродского было способом самоутверждения этого закомплексованного с детства человека. Гениальную формулу выдал Сережа Довлатов, которому Бродский казался всемогущим в раздаче американских благ (что не так): «Иосиф, унизьте, но помогите!»

Крик о помощи утопающего.

Помогал, но не помог.

Однако и участвующим, вместе с земляками-питерцами, в попытках забанить мой новый роман, Бродского не представляю. Иной уровень, да и не снизошел бы. На все прежние призывы питерцев поучаствовать в травле автора «Трех евреев» или хотя бы публично отмежеваться от моей книги, отвечал, по словам одного из ходоков (Женя Рейн), однозначно и лапидарно: «Отъе*ись». Полагаю, что хоть здесь я застарахован: если он при жизни вел себя по отношению ко мне не только дружески, но и по-джентльменски, то и из своей сан-микельской могилы не бросит в меня камень.

В разгар скандала – когда Питер отказался издавать мою

книгу – мы с Леной поехали в наш любимый Камсет-парк на Лонг-Айленде, где каждый сам по себе, а сходимся только к вечеру, за ужином на берегу залива. Парк этот божественный и на меня действует умиротворяюще, вдохновительно, я там подружился с одним шикарным деревом – на самом деле их четыре, но они срослись кронами, и летом выглядят как одно. Чего там только нет – сирень всех сортов, жимолость с дурманящим запахом, магнолия, рододендрон всех цветов, тюльпановое дерево с гигантскими цветами, каштаны, боярышник, шелковица; акация и черемуха, наперекор всем климатическим правилам, цветут одновременно; даже секвойя, единственная в нью-йоркском штате. Не говоря о живности – от зайцев и барсуков до лис с лисятами.

С зеленого холма там чудный открывается вид: сначала пресное озерко с дикими гусями и утками, через узкий перешеек – залив с белыми парусами. Соловей выдал пару рулад лично для меня, потом я слушал перекличку двух сов – на воле и в клетке, в здешнем птичьем уголке.

В заливе плавал замеченный мной недели три назад одинокий лебедь с пятью подрастающими лебедятами. Я уже знаю его историю – самку сбила насмерть машина, я горевал над ее трупом, прибитым волной к запруде у моста, когда стояла высокая вода. Лебеди живут парами и хранят верность друг другу всю жизнь. А это случилось как раз в разгар высиживания яиц. Лена тут же взяла пессимистичный вариант. Тем более сюда залетают черноспинные канадские чайкиубийцы и даже у лебедей-супругов склевывают яйца и убивают детенышей. Я видел, как обычно держатся семейные пары: плывут рядышком, а между ними, под их защитой – лебедята. И вот, в очередной свой наезд сюда, я увидел этого лебяжьего вдовца, выгуливающего по заливу пяток сереньких лебедят. Все это время, выходит, он сидел на яйцах. Чудо! Лена тут же сказала, что они обречены – одному родаку их не защитить от черных чаек. И вот каждый раз мы приходим сюда и видим этого одного-одинешенька с пятью растущими детками. А тут еще откуда ни возьмись появилась вдова или незамужка с явными видами на вдовца с детенышами. Когда я спустился к воде и стал крошить хлеб, лебедь с лебедятами клевали, а чужак приблизился ко мне и стоял на страже, определив дистанцию между мной и лебедями. Не так чтобы агрессивно, но недвусмысленно. Думаю, ему это зачтется, и лебяжье семейство примет его в свою компанию. И птенцам при такой двойной защите легче выжить. Даже Лена теперь надеется на хеппиэнд. Дай-то Бог!

Надо же, так совпало – именно сегодня мне попалась машина

с откинутым верхом и независимой такой, самодостаточной герлой за рулем, а на номере (я коллекционирую самые занятные) «2 of me» вместо обычного «2 of us». Почище виденной мной однажды «Tough girl». Даже не знаю, как это перевести. Вспомнил – по ассоциации – Ницше:

> *Немногие мне нужны, мне нужен один, мне никто не нужен.*

Вот так-то.

Вышагивая один из камсетных маршрутов в тот злосчастный для меня день, я стал мыслить, как говорил Бродский, всей силою несчастья своего. То есть начал в уме сочинять эту эпистолярную прозу, решив, что жизнь ее досочинит сама, подбросив мне парочку-другую писем – мне и моих собственных. Понятно, Лена была в курсе случившихся со мною метаморфоз и сочувствовала. Выйдя из машины, я заметил на земле десятидолларовую купюру:

– Единственная положительная эмоция за весь день, – пошутил я.

Оказалось, половинка десятки, кем-то нарочно или нечаянно разорванная. Как в шпионском детективе.

– Судьба с тобой поступает прямо-таки садистски, – констатировала Лена. – Сначала обложка книги, а сама книга запрещена, а теперь вот половинка чирика. Что будешь с ней делать?

– Возьму. На память о судьбе.

Еще я нашел в тот день подкову без дырочек, как бы и не от лошади – на счастье или наоборот?

На следующий день по дороге в библиотеку Лена подобрала целехонький сотник, который бесхозно валялся на тротуаре. Второй раз ей так везет. Первый – вскоре после нашего приезда в Нью-Йорк. Мы впервые видели такую крупную купюру и не поверили, что настоящая.

Тогда мы как раз сидели на мели, денег не было совсем. Отправились в супермаркет проверить и, если настоящая, отоварить бумаженцию. Но это совсем другая история.

Касаемо этой – с изданием, а точнее с неизданием моей запретной и заветной книги о Бродском – что ни говори, событие в моей бессобытийной жизни. Если не считать событием мою борьбу с двойным временем, которую я затеял в мемуарном романе «Записки скорпиона» и из которой не знаю, как теперь выбраться. Можно и так сказать: скандал в Питере – переписка продолжается, но эпистолярный жанр исчерпан – вклинился в мое мемуарно-романное писательство и оторвал от моей, на измор,

борьбы с хроносом и от куда более болезненных эпизодов моей жизни, которые тем более болезненны, что не знаешь, были или нет, а мне ну никак не примириться с невнятицей прошлого.

То есть увел от бездны. Той самой, которая бездну же призывает голосом водопадов своих: abyssus abyssum invocat… (дальше не помню). Тысячу раз прав Парменид: акт и объект исследования совпадают. Мучительно вспоминаю канувшую незнамо куда жизнь, а она бурно продолжается в мое отсутствие, но с моим непосредственным участием в главной роли, как у честертонова убийцы.

Ну как тут не поблагодарить питерцев за отвлек!

Спасибо.

Книга вторая

Последний поэт империи

Иосифу Бродскому – post mortem – в Элизиум. К 75-летию

Он умер в январе, в начале года.
Под фонарем стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
ему своих красот кордебалет.
От снега стекла становились уже.
Под фонарем стоял глашатай стужи.
На перекрестках замерзали лужи.
И дверь он запер на цепочку лет.

ИБ

Почему к Вашему юбилею – 75! – я выбираю эпистолярно-некрологический жанр? Отчасти в подражание Вам – Вы тоже любили отправлять эпистолы на тот свет. В прозе и в стихах. Скажем, послание своему собрату по перу Горацию в Древний Рим, где Вы его тыкаете, а я помню горестный рассказ Сережи Довлатова о вашей первой встрече в Америке, когда Вы его оборвали и обидели: «Кажется, мы с вами на „вы“».

Кто из вас прав и были вы в Ленинграде на «вы» или на «ты», не помню, но Вы держали Сережу здесь, в Америке, на расстоянии вытянутой руки да еще в ежовых рукавицах (за mixed metaphor не прошу прощения, у Вас их навалом), и Довлатов воспринимал Вас не как поэта, но как пахана – распределителя литературных благ в нашем эмигрантском болоте: Юзу Алешковскому выхлопотали почетную стипендию Гуггенхайма, а рассказы Довлатова порекомендовали в престижный «Нью-Йоркер». Но дружбы между вами не было – ни там в Питере, ни здесь в Нью-Йорке: Сережа говорил, что в Вашем присутствии у него язык прилипает к гортани – это у него, великого устного рассказчика!

Сережа просек этот Ваш нью-йоркский реваншизм за ленинградские унижения, сделал соответствующий вывод и выразил его в блестящей формуле: «Иосиф, унизьте, но помогите». Так и было: Вы унижали и помогали, помогали и унижали, а когда с Вашей подачи Довлатов стал, считай, постоянным автором этого престижного еженедельника, Вы обзавидовались ему – опять-таки со слов Сережи. Или это уже Довлатов брал реванш за свои нью-йоркские унижения и хотел, чтобы ему завидовал гений? Врать не стану – не знаю, а спросить теперь не у кого: оба-два на том свете. Я не собираюсь Вас тыкать – мы всегда были на Вы, но как теперь прикажете Вас величать: Иосиф, Иосиф Александрович, Джозеф, мистер Бродский? Буду называть, как называл при жизни:

Ося, пусть кое-кто сочтет за фамильярность и амикошонство.

Из Ваших потусторонних цидул – Элиоту или Горацию, Марии Стюарт или генералу Z – лучшая: «На смерть друга» (1973), хотя заокеанский слух оказался ложным, и друг – Сергей Чудаков, у которого я однажды заночевал на столе, другого места в комнате не оказалось – был тогда еще жив, а убили его только спустя 18 лет. Пусть ложный посыл, зато какой стих!

> Имяреку, тебе, – потому что не станет за труд
> из-под камня тебя раздобыть, – от меня, анонима,
> как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
> так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
> чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса —
> на эзоповой фене в отечестве белых головок,
> где наощупь и слух наколол ты свои полюса
> в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
> имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
> то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
> похитителю книг, сочинителю лучшей из од
> на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,
> слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
> обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
> белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
> одинокому сердцу и телу бессчетных постелей —
> да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
> в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
> понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
> и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
> Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
> Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
> вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,

чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

Другая причина моего к Вам посмертного обращения к этому юбилейному дню 24 мая 2015 года, что ровно четверть века назад к Вашему полтиннику я обратился к Вам с большим юбилейным адресом через газету «Новое русское слово», флагмана свободной русской печати за железным занавесом – я был единственный, кто сделал это посредством печатного слова. На это была дополнительная, маргинальная причина: за несколько дней до Вашего дня рождения, на который друзья собирались у Вас без приглашения – здесь на Мортон-стрит, как когда-то на Пестеля в Питере, я отбыл на нашу с Вами географическую родину, в родные палестины – в Россию: впервые после отвала оттуда в 1977 году. Вы не дожили два десятилетия до Вашего 75-летия, я Вас пережил – дело скорее случая, чем судьбы. Вы были старше меня и относи лись к нам с Леной Клепиковой дружески и нежно, слегка даже покровительственно, как старший брат, хотя разница была всего ничего – два года. Короче, не прерывать же традицию из-за такой малости, как смерть. Тем более до следующего Вашего юбилея – столетнего – мне ну никак не дожить.

И еще одна причина моего к Вам посмертного обращения по теперешнему адресу – Сан-Микеле, Остров мертвых, Венеция – я у Вас в неоплатном долгу, хотя формально вроде по нулям. Вы бывали на наших с Леной днях рождения и вместо подарка приносили самого себя: когда читали свои стихи – коронный номер любой питерской тусовки.

Однажды, в конце февраля 72 года, за пару месяцев до отвала, Вы сочинили и преподнесли нам на совместный день рождения поздравительный стих, и я расплатился с Вами только спустя 18 лет, когда опубликовал упомянутый юбилейный адрес в «Новом русском слове». По числу знаков у меня в разы длиннее, зато по качеству у Вас в разы лучше: шесть строф, зато каких! Вы начали шутя, но потом так подзавелись, что заздравный стих достиг высот большой поэзии.

Позвольте, Клепикова Лена,
Пред Вами преклонить колена.
Позвольте преклонить их снова
Пред Вами, Соловьев и Вова.
Моя хмельная голова

вам хочет ртом сказать слова.

Февраль довольно скверный месяц.
Жестокость у него в лице.
Но тем приятнее заметить: вы родились в его конце.
За это на февраль мы, в общем,
глядим с приятностью, не ропщем.

Опуская три строфы, тоже классные, но вот последняя – обалденно хороша:

К телам жестокое и душам,
но благосклонное к словам,
да будет Время главным кушем,
достанется который вам.
И пусть текут Господни лета
под наше «многая вам лета!!!»

Честно, я больше любил Ваши питерские стихи, которые звучат у меня в голове в вашем шаманско-канторском исполнении, да еще стихи первых лет эмиграции, которые доходили до нас в Питере и в Москве и где крутое человеческое одиночество было питательной средой Вашей поэзии, вдохновением, музой. Поэзия как апофеоз одиночества.

Беда, злосчастие, обида, измена, предательство, даже трагедия – источник настоящей поэзии.

Все эти стихи стали классикой, нет нужды их квотить, хоть соблазн велик. Они возникают сами по себе, по одному их названию: «Конец прекрасной эпохи» или «Разговор с Небожителем», «Лагуна», «Одному тирану» или стихи любовного цикла, посвященные отнюдь не загадочной МБ, пусть Вы и приписали к этой любовной линейке мстительный, злобный антилюбовный постскриптум, на который, не знаю как адресатка, Ваша femme fatale и мать Вашего сына, но обижены были многие женщины, а лично мне стишок вполне, в отличие от другой, более поздней Вашей анафемы МБ («Подруга, дурнея лицом, поселилась в деревне…»).

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал в партере китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.

Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь – человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

Хотя, конечно, здесь Вы лукавите, что больше ничего не связано с ее голосом, телом и именем. Марина Басманова была и осталась на всю жизнь Вашей единственной любовью, а посвященными МБ виршами, которые она никогда не любила, Вы ей выдали пропуск в вечность: обессмертили.

Помню, Вы полушутя-полумечтательно прикидывали, будет ли когда-нибудь почтовая марка «с моей жидовской мордочкой». Почему-то Вам это казалось важнее даже Нобелевской премии. Сообщаю Вам на тот свет, если Вас это до сих пор там волнует: марка с Вашей мордочкой появилась, но не в России, как Вы рассчитывали, а здесь у нас в США – **Joseph Brodsky** – в сериале «10 великих поэтов Америки». В России пока еще нет, но рано или поздно – неизбежно: в кайф заядлым филателистам и Вашим фанатам. Как знать, может, к этому юбилею?

Зато Ваши стихи, выйдя из лона русского языка, вошли в его золотой фонд, а отдельные строки растащены на цитаты и вломились в идиоматический состав русского языка, как «Горе от ума», а там что ни фраза – перл. Слава Ваша зашкаливает, Вы не

только обошли всех товарищей по поэтическому цеху, но отменили многих за ненадобностью, будучи последним поэтом империи. Помню Вашу, Ося, реплику: «За мною не дует». И до сих пор – нет никого, кто мог бы потягаться с Вами поэтическими силами, даже близко не стоят. Вот критическое резюме Вашего стихотворения «Письмо в оазис»: «Прости, старина, но ты не поэт – вот что сказано в этом стихотворении». Сколько в этом прекрасном стихотворении горечи, обиды, презрения. Хотя на самом деле оно шире и глубже, чем просто характеристика стихоплета, к которому обращено.

Не надо обо мне. Не надо ни о ком.
Заботься о себе, о всаднице матраца.
Я был не лишним ртом, но лишним языком,
подспудным грызуном словарного запаса.

Теперь в твоих глазах амбарного кота,
хранившего зерно от порчи и урона,
читается печаль, дремавшая тогда,
когда за мной гналась секира фараона.

С чего бы это вдруг? Серебряный висок?
Оскомина во рту от сладостей восточных?
Потусторонний звук? Но то шуршит песок,
пустыни талисман, в моих часах песочных.

Помол его жесток, крупицы – тяжелы,
и кости в нем белей, чем просто перемыты.
Но лучше грызть его, чем губы от жары
облизывать в тени осевшей пирамиды.

Что говорить, о чем спорить: настоящая поэзия перечеркивает стиховые суррогаты. А что касается злости – к подруге юности или к ливрейному еврею, то сошлюсь в Ваше оправдание на другого Иосифа – Осипа Мандельштама. Помните? «Литературная злость! Если бы не ты, с чем бы я стал есть земную соль?»

Пусть мизантроп и мизогин, а сами себя Вы обзывали «монстром», но лучшие Ваши поздние стихи написаны именно «враждебным словом отрицанья», как сказал нелюбимый Вами поэт Некрасов. А за пару месяцев до смерти выдали стиховую диатрибу православным прозелитам, тем самым «жертвам обреза, что целуют образа». Фактически, памятник собственному пенису, начиная с легко зашифрованного названия – «Aere perennius», а расшифровка внутри стиха:

А тот камень-кость, гвоздь моей красы —
он скучает по вам с мезозоя, псы.
От него в веках борозда длинней,
чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней.

Не могу сказать, что разделяю все эти Ваши негативные страстимордасти, но именно благодаря им Вы достигали прежних рекордных высот. Кто сказал, что поэзия – дело молодых? А поздний Тютчев? А князь Вяземский, который к старости только и стал большим поэтом? Самое тенденциозное и политнекорректное стихотворение «Ода на независимость Украины» (1994), которое друзья умоляли Вас не печатать. Я не из их числа. А Томас Венцлова, our mutual friend, нашел стихотворение азартным и смешным, но предупредил Вас, что читать его надо в Киеве.

Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
«время покажет Кузькину мать», руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.
То не зелено-квитный, траченный изотопом, —
жовто-блакытный реет над Конотопом,
скроенный из холста, знать, припасла Канада.
Даром что без креста, но хохлам не надо.
Гой ты, рушник, карбованец, семечки в полной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.
Скажем им, звонкой матерью паузы медля строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога!
Ступайте от нас в жупане, не говоря – в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть – так сообща, путь выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще.
Прощевайте, хохлы, пожили вместе – хватит!
Плюнуть, что ли, в Днипро, может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
кожаными углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом. Вашего хлеба, неба,
нам, подавись мы жмыхом и колобом, не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коль и была промежду.

Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом?
Вас родила земля, грунт, чернозем с подзолом.
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Это земля не дает вам, кавунам, покоя.
Ой да Левада-степь, краля, баштан, вареник!
Больше, поди, теряли – больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза –
нет на нее указа, ждать до другого раза.
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.

Кто спорит, злобное, грубое, несправедливое стихотворение – на месте украинских властей я бы объявил Вас посмертно persona non grata, – зато какое страстное, сильное. Помню последний наш с Вами, Ося, разговор: стоячим писать или нестоячим. Вы усмехнулись: «Стоячий период позади». Я сослался на Платона: все созданное человеком здравомыслящим затмится творениями исступленных. Лучшие Ваши стихи – стоячие, исступленные, без разницы, справедливы или нет.

Случай беспрецедентный: Вы первый и, наверное, единственный еврей, кто назвал себя «кацапом». Были ли Вы великодержавным националистом, а аналогичные выпады Вы позволяли себе и против других этносов: скажем, против чехов в открытом письме Кундере, за которое на Вас накинулась интеллектуальная элита Нью-Йорка, а то и ко всем восточноевропейцам скопом в пьесе «Демократия»? Скорее державником, чем великодержавником, а тем более не русским националистом: «Я – еврей, русский поэт и американский гражданин» – Ваше самоопределение. Но как русский поэт, Вы были еще мало сказать государственником, но еще – и в первую очередь – имперцем: петербургская культурная традиция, озвученная художниками-мирискусниками. А что, в самом деле, не будь русской империи, не было бы и русских апогеев и апофеозов – ни Пушкина с Баратынским и Тютчевым, ни Толстого, ни Достоевского, ни Менделеева, ни Мечникова, ни Юрия Гагарина, ни Мандельштама с Пастернаком, ни Вас, Ося.

Отсюда Ваши римские стихи, хотя, конечно, ничего общего со славянофильской идеей Третьего Рима. Отсюда чеканный, маршевый, торжественный ритм Вашего стихотворения «На смерть Жукова»:

Вижу колонны замерших звуков,

гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же, прими их – жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.

Если маршал оказался в опале в спасенном им отечестве, то тем поэт-имперец – не у дел. И не только потому, что нет пророков в своем отечестве, а еще и по той лингвистической причине, что власть не признает тех, кто защищает государство на языке, которым она не владеет и который не понимает. Сошлюсь на самого себя – в «Трех евреях» я писал про Вас:

Поэт государственного масштаба, имперского мышления и политической дидактики, ИБ оказался во времени, когда ни о каком

альянсе между Державиным и Фелицей не могло быть и речи.

Литературное отщепенство – это единственное, что ему оставалось, Его голос был, однако, усилен акустикой пустого зала. Так начинается мировая слава, минуя отечественную.

Да, Вы были последним имперским поэтом. И сами выбрали, где Вам покоиться: на Сан-Микеле. На Вашем венецейском памятнике надпись из элегии любимого Вами римского поэта Проперция:

Letum non omnia fi nit

Что значит: со смертью не все кончается. Вы не только заслужили, но и выстрадали свое бессмертие, Иосиф Бродский.

Post Mortem
Запретно-заветная книга об Иосифе Бродском

Резонансная, на грани фола, с уклоном в скандал запретная книга Владимира Соловьева о Бродском «POST MORTEM» написана от лица юной особы, которая, благодаря родителям (художник критикесса), с младых ногтей вращалась среди великих мира сего от литературы и искусства, а после отвала за кордон снова оказалась в том же – плюс-минус – кругу. Здесь, в Америке, она определилась как профессиональный фотограф («фотографиня», как она сама себя величает), и к ее услугам частенько прибегают русско-американские випы – Барышников, Довлатов, Ростропович, Шемякин и другие. Она у них – а иногда между ними – мальчик на побегушках (несмотря на гендерное отличие от последнего). Самый близкий ей из этой разношерстной компании – семейный друг, по ее подозрениям, бывший чичисбей ее матери, мнимотаинственный персонаж, обозначенный в этом докуромане, ему посвященном и к нему адресованном, инициалами – ИБ: поэт, изгнанник, нобелевец и прочее. Секрет Полишинеля, а после двух изданий этой книги – одна с подзаголовком «Запретная книга о Бродском», а другая под шапкой «Два шедевра о Бродском»: секрет – на весь свет. Вот почему в настоящем издании автор впервые декодирует, точнее, раскодирует этого литературного персонажа и ставит его реальное имя. Однако автор снимает с себя ответственность за высказывания рассказчицы, которая не совсем его altra ega, хотя «горячо».

Футуристский пролог был написан десять лет назад как бы из будущего, а потому у читателя есть теперь возможность сверить

мрачные прогнозы русской Кассандры (как, впрочем, и самого Бродского) с наступающей на нас реальностью. Что сбылось, а что еще нет.

Ах! почто она предвидит
То, чего не отвратит?

Сюжетный и концептуальный стержень – любовная драма Бродского, его открытая, так и не зажившая до конца кровоточащая рана. С другой стороны, однако, эта драма – кормовая база его поэзии.

Психоаналитический парадокс: скажи мне, с кем ты спишь, и я скажу, кто ты. Бродский сам дал ключ в руки биографа, посвятив бессчетное число стихотворений своей «снежной красавице», измена которой стала причиной Катастрофы, пустившей его жизнь под эмоциональный откос. Недаром он в качестве постскриптума к своей любовной лирике сочинил антилюбовный стих, который ему не могут простить многие женщины. Собственно, потому и роман-исследование, чтобы прозвучал пронзительно-болевой камертон жизни, поэзии и судьбы Бродского.

Название первого питерского издания – «POST MORTEM. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИЗМЕНЫ НА ФОНЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ». Увы, это объявленное и запущенное в производство издание так и не состоялось – книга была запрещена литературно-мафиозным истеблишментом города, а потому на обложку московского издания был вынесен подзаголовок «ЗАПРЕТНАЯ КНИГА О БРОДСКОМ», которое теперь, наверное, стоит переименовать: «ЗАВЕТНАЯ КНИГА О БРОДСКОМ».

Либо дать оба эпитета через дефис?

В предыдущей книге авторского сериала «Фрагменты великой судьбы» – «БЫТЬ СЕРГЕЕМ ДОВЛАТОВЫМ. ТРАГЕДИЯ ВЕСЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА» – были опубликованы три главы, напрямую связанные с Довлатовым. Здесь даны с незначительными сокращениями все главы, но далеко не вся книга: вынужденно, по техническим причинам, опущен обширный автокомментарий – книга в книге, который служил своего рода громоотводом, заземляя и подтверждая художество ссылками на документы. С подлинным верно. Тем паче читатель имел возможность благодаря автокомментам сравнить заимствования из Бродского с моими собственными открытиями и откровениями, которые я ему приписал, хоть и было немного жаль. Два исключения: сокращенный коммент к главе «Голова профессора ИБ» и целиком к семантически ключевому и сюжетно стержневому, а художнически лучшему отсеку книги, вровень с высшими литературными

образцами, которым автор следует в своей работе, – к главе «Хроническая любовь. Реконструкция на четыре голоса». Тут особый автокомментарий – не построчный, но общего, обобщенного характера, а в роли источников выступают эпиграфы из стиховых, прозаических и оральных заявлений Бродского, но дабы дать слово не только протагонисту, но и антагонисту к монологу ДБ даны эпиграфами стихи Дмитрия Бобышева, а в комментарии – цитаты из его воспоминаний.

Любопытствующий читатель – вычеркиваю «может» – должен (императив!) обратиться к предыдущим «риполовским» полным изданиям «Post mortem» 2006 и 2007 годов, дабы заглянуть в источники, которыми пользовался «породистый автор», как меня здесь величают – в том смысле, что не дворняга, хотя именно дворняжки – плод настоящей любви, а не случек.

По жанру «Post mortem» – роман, хоть и с реальными героями, а потому – при портретном сходстве основных персонажей и аутентичности их поступков, реплик, словечек и интонаций – неизбежны и преднамеренны беллетристические швы, топографические подмены, хронологические смещения и прочие анахронизмы, исходя из требований сюжета, контекста, концепции и ритма прозы. Ну да: дух важнее буквы. Касаемо Бродского, автор стремился сделать его «живее всех живых» – реальнее реального Бродского, который в последние годы жизни сильно забронзовел и покрылся патиной. Цель автора – превратить условное в безусловное, маловероятное и даже невероятное – в абсолют. Чтобы художественный образ подменил и затмил своим сюрреализмом реального человека – задача под стать человеку, с которого Бродский в этой книге списан. В его энергичный и энергетический, как он сам говорил, «стоячий» период. А потому портрет художника на пороге смерти есть одновременно портрет художника в молодости.

Цель этой книги – как и предыдущей о Довлатове и следующей о Евтушенко – дать не анкетную биографию, а портрет писателя на интимно-личностном уровне и одновременно в историческом и культурном контексте.

P.S. Дорогие мои покойники
Письмо на тот свет

За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, как сказуемое за подлежащим.

ИБ

Помимо стремления к реорганизации, катастрофизм милленарного мышления может также найти себе выражение в вооруженных конфликтах религиозного и/или этнического порядка. К двухтысячному году так называемая белая раса составит всего лишь 11 (одиннадцать) процентов населения земного шара.

Вполне вероятным представляется столкновение радикального крыла мусульманского мира с тем, что осталось от христианской культуры; призывы к мировой мусульманской революции раздаются уже сегодня, сопровождаемые взрывами и применением огнестрельного и химического оружия. Религиозные или этнические войны неизбежны хотя бы уже потому, что чем сложнее картина реального мира, тем сильнее импульс к ее упрощению.

ИБ. Взгляд с карусели, 1990

Наш мир становится вполне языческим.

И я задумываюсь, а не приведет ли это язычество к столкновению, я страшно этого опасаюсь – к крайне жестокому религиозному столкновению – пусть слово «религиозное» здесь и не совсем точно – между исламским миром и миром, у которого о христианстве остались лишь смутные воспоминания. Христианский мир не сможет себя защитить, а исламский мир будет давить на него всерьез. Объясняется это простым соотношением численности населения, чисто демографически. И для меня такое столкновение видится вполне

реальным. Я не святой, не пророк – и я не возьму на себя смелость говорить, чем окажется грядущее столетие. Собственно, меня это даже не интересует. Я не собираюсь жить в двадцать первом веке, так что у меня нет оснований для беспокойства… Будущее, каким его можно предвидеть, каким могу предвидеть его я – опять же, тут можно ошибиться, – это будущее, раздираемое конфликтом духа терпимости с духом нетерпимости…

ИБ – журналу «NaGlos», 1990

Скошен луг, поколение сметено, сдуло, смыло цунами времени, дорогие мои покойнички, раскидало вас по всей земле, один ты выбрал воду – образ времени как вечности. Или как смерти? Даже вдовы все – повымерли. Твоя только и осталась, но она другого рода-племени, то есть из другой эпохи, ровесница твоего сына, твоя дочь младше твоих внуков.

Ты давно уже классик в обнищавшей и одичавшей стране, где после краткого флирта с демократией все вернулось на круги своя: тоталитаризм с человеческим лицом. Когда с человечьим, а когда – со звериным: смотря по обстоятельствам. Слышу, как ты меня поправляешь из своей плавучей могилы на Сан-Микеле:

– Не унижай зверя сравнением с человеком.

– Не вяжись – ты же понимаешь, о чем я.

…Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, чтобы живым жить не мешали. Вы – постояльцы на том свете, мы – временщики на этом.

Зачем мертвым, чтобы их помнили живые? Зачем живым помнить мертвяков? Почему ты выбрал меня на роль своей земной памяти?

Новости? Тебя там интересуют наши новости? Россия? Европа? Евреи? Израиль, где ты так и не побывал, в чем тебя упрекали как евреи, так и христиане из евреев, сместил локальный конфликт в сторону мирового. С него, собственно, и началось: мощный форпост Запада на Востоке, последняя его опора и надежда, ядерная супердержава (взамен России). Как когда-то Россия послужила заслоном для Европы от татаро-монгольских орд, так теперь Израиль – от мусульманских. Как долго это может продолжаться? По крайней мере, четыре

исламские страны вот-вот присоединятся к ядерному клубу. Многие думают, что Израиль обречен и даже подыскивают для него место в Калифорнии с более-менее схожим климатом. Но пока что евреи, чья трагическая роль, ты считал, отыграна в XX столетии, стали главным героем – а для кого антигероем – нового: спровоцировав муслимов на войну против христианской цивилизации, они теперь ее от них защищают. Антисемиты считают с точностью до наоборот: война by proxy, христиане – Америка с Европой и Россией – наймиты Израиля, евреи – корень мирового зла. Война из временного превратилась в перманентное состояние, стала затяжной, если не вечной, статус-кво навсегда, весь мир теперь передовая, и где бабахнет завтра, сегодня неведомо никому. Цивилизация – по крайней мере, в ее американском варианте – наконец самоопределилась, отбросив политкорректность, что тебя, несомненно, порадовало бы: не две супердержавы противостоят друг другу, как в старые добрые времена, а две веры: христианская, расхристанная, дряхлая, выветрившаяся, остаточная – и муслимская, молодая, жизнеспособная, воинствующая, ты бы сказал: стоячая.

– Не сказал бы. – Опять замогильный корректив. – Эпитет с противоположным значением – в зависимости от рода существительного.

Стоячий ислам – да, но стоячая вера – как стоячая вода, то есть не проточная, застоявшаяся. Тромб. Стоячая вера и есть христианство, вера-анахрон – в противоположность стоячему исламу. Муслимы – покорные. Их сила – в покорности.

– Смотря кому.

– Это как раз все равно. Запад – индивидуализм, Восток – групповуха. Дихотомия Киплинга: Западу и Востоку не сойтись никогда.

Пусть даже они не совсем то, что при нем. Муслимы – это скифы нового образца.

Панисламизм! Хоть слово дико,
Но мне оно ласкает слух.

– Реет над нами, но уже не красное знамя, а зеленое знамя Пророка. А у нас в Америке своя флагомания: от старс энд страйпс рябит в глазах.

– Сим победиши. Все к худшему в этом худшем из миров. Чтобы отстоять свои достижения, цивилизация должна ими пожертвовать.

Чтобы победить муслимов, надо заимствовать у них волю, нетерпимость, ненависть, фанатизм.

– Стать драконом, чтобы победить дракона?

– Почему нет? В противном случае вы все станете Мохаммедами.

Женщин включая. Само собой, обрезанных. Все как у них там положено: похотник, срамные губы. Это лучше?

Легко тебе оттуда, со стороны, да еще с какой! Как ты не понимаешь?.. Будущее теперь совсем не то, что было раньше – при тебе. Джихад мирового масштаба. Война без конца, на веки вечные. Если цивилизация выстоит. А закончится только если падет под натиском ислама.

Война с невидимым, неуловимым врагом, который не признает правил и прячется в лабиринте. Враг-невидимка: повсюду и нигде. Разгосударствление войны как таковой. Новая профессия: бомбист-самоубийца, живая бомба, камикадзе джихада, флагеллант, фидаин. Фатализм с примесью мазохизма, мученичество как чин. Экстремизм – краеугольный камень и живительная сила ислама: несчастье должно радовать человека так же, как счастье. Само собой, Коран, сура номер такая-то, скоро будут учить наизусть в европейском халифате. Остатный мир в глухой обороне, коалиция страха, увы, уже распалась, пораженчество захлестнуло Европу, глобализм приравнен к неоколониализму, эйфория сменилась отчаянием: мировой жандарм в кромешном одиночестве вершит военные победы, которые на поверку оказываются пирровыми: в результате насаждаемой сверху демократии власть в оккупированных странах переходит к мусульманским фундаменталистам.

Америка – последний крестоносец на белом свете, до которого тебе давно нет дела.

Твоя Венеция, которой сначала предрекали погибель от высокой воды, а потом от гипертерроризма, уцелела – благодаря отделению Северной Италии от остальной (граница прошла по реке По), поголовному, после взрыва Миланского собора, изгнанию из Паннонии муслимов и глобальному потеплению. Да, обезлюдела из-за вынужденого домоседства американозов, евро и даже самураев, запустение ей к лицу, как раз в твоем вкусе. Зато с твоим Сверхгородом катаклизмы библейского масштаба: став главной мишенью и ставкой исламского гипертерроризма, Нью-Йорк как мифологема заменил Армагеддон.

Помнишь, еще до твоей женитьбы, которая свела тебя в могилу, вышли мы как-то из твоей берлоги на Мортон-стрит: солнышко светит, прохожие фланируют, как ни в чем не бывало, машины туда-сюда, а мы – к твоей любимой лагуне при слиянии Гудзона и Восточной, напротив мадам Свободы. И вдруг – шум: вертолет, военный. Ты сразу же сделал стойку. «Что с тобой?» –

тормошу тебя. Молчишь. Как вкопанный. Не сразу пришел в себя. «Знаешь, что мне вдруг показалось?

Что это уже началось. Первый день новой мировой войны. Все как обычно, а мир катится к гибели. Чем не начало Апокалипсиса?»

И да, и нет, как ты любил говорить. Кассандра не должна бояться трюизмов, а ты посмеивался над милленаризмом – оргией дальнозоркости у близоруких в связи с предстоящей сменой четырех цифр на годовом календаре, до которой тебе не суждено было дожить: «Наперегонки – кто раньше кончится: век или я?» Ты привык всех обгонять.

Что в поэзии! Даже когда рулил свой захламленный книгами и рукописями музейный «мерс» 72 года. Помнишь, мчал нас, безлошадных, по Лонг-Айленду?

Какой русский не любит быстрой езды – тем более еврей! – и гордился мощным двигателем своего «старика» и собственной лихостью (бессчетные штрафы, один арест за превышение скорости).

– Это про тебя! – воскликнула я, когда на номерном знаке обогнанной машины мелькнуло: «*I'm right*».

– Нет, про меня вот это. – И, ударив по тормозам, указал на соседний бампер: – «*Don't drive faster than your guardian angel can fly*».

Твой ангел за тобой не уследил. Да и как было уследить, если ты обогнал всех: свой век, своего ангела, свою смерть. Не она за тобой пришла, ты сам к ней явился раньше срока, устав ждать. Еще один образ смерти, она же – время: у ангелов опадают крылья.

А тогда, в Монтоке, где ты показывал нам океан, как личное открытие, и моя усмешливая, как всегда, мама, спросила, а чем он, собственно, отличается от моря, окромя водного количества, мы повстречали на берегу чудака-рыболова, который выбрасывал пойманную рыбу обратно в океан:

– *Oily and fishy*.

Я обернулась к тебе, требуя объяснений.

– Представь, для него голуборыбица слишком жирная, а главное – рыбная. Рыба не должна быть рыбной.

Я сделала большие глаза.

– Рыба должна быть мясом. Вот почему юсы так ценят туну – по-вашему, тунец: из нее можно делать стейки.

– Море – фикция, – это уже к маме. – Фикция безграничности в замкнутом пространстве. Если ты не видишь горизонта, значит его нет, да? Океан – это когда количество переходит в качество. Разница как между оседлым и кочевым человеком. То есть

принципиальная. Я – кочевник по судьбе и по назначению. В 32 мне выпала монгольская участь, но седло при мне как себя помню. Кочевник и океан – оба! – компрометируют идею горизонта. Воплощение бесконечности для конечного человека – вот что такое океан. А море для меня теперь что озеро. Маркизова лужа! Вот где разница сугубо количественная. Да и то, как сказать: те же Великие озера – чем не море? А Каспийское море, наоборот, – озеро? Только не надо мне про соленую и пресную воду, прошу тебя! Океан – это стихия, бунт, жуть, смерть. Предпочел бы быть похороненным на дне океана, как капитан Немо.

Мы только что прибыли в Америку, все было внове, ты был наш гид, видно было, как тебе нравится это занятие – показывать и объяснять.

Пароходиком, на «серкл лайн», мы объехали с тобой Манхэттен, прошвырнулись по Гарлему и Чайнатауну с его гастрономическим аттракционом (чайниз фуд ты предпочитал всем другим едам), нырнули в сабвей, которым ты гордился, как некогда москвичи – своим метро.

– Полная противоположность! – сходу отверг ты сравнение, стоило только заикнуться маме, которая не разделяла твоих восторгов и вообще предпочитала смотреть на новое как на старое. – Да там подземный дворец, лестницы-чудесницы и прочая показуха, а здесь духота, грязь, отбросы, вонь, миазмы, бездомные и криминалы, но это и есть доказательство живой, фонтанирующей, функционирующей жизни.

Вон, видишь, – и предъявил еще одно доказательство – бегущую по шпалам крысу. Стоявший рядом ниггер мгновенно отреагировал и запустил в несчастную банкой из-под кока-колы – визг, кровь на рельсах, подкативший к платформе поезд избавил крысу от агонии.

– «Все, что напоминает писк крысы, заставляет мое сердце трепетать», – прокомментировал ты. – Не напрягайся: Браунинг. Не тот, что пиф-паф, а Роберт. Не путать с другим поэтом Элизабет Браунинг, его женой.

И тут же изрек скороговоркой:

– Жизнь есть смерть, смерть есть насилие, нас всех ждет смертная казнь, легкой смерти не бывает, даже если умираем во сне в собственной постели, смерть – это ядерный взрыв, покойник смертельно опасен живым, ибо излучает радиацию, – и поведал нам свой сабвейный сон. Как выходишь из дома, торопишься на лекцию в Колумбийский университет, спускаешься в подземку, перуанцы или колумбийцы – одним словом, латинос – лабают на своих диковинных инструментах, еще одна лестница, другой

переход, успеваешь бегом к бродвейскому трейну, дверь захлопывается, но пространство вдруг становится на попа, поезд превращается в лифт и мчит тебя не по горизонтали, а по вертикали – вверх, вверх, все выше и выше. Ты выходишь на своей Сто шестнадцатой улице, но это уже не стрит, а лестничная площадка, 116-й этаж. Мучась одышкой, бежишь по лестнице, чтобы выскочить из этого жуткого сна на свежий воздух, но Бродвей встал дыбом и где-то далеко-далеко внизу твоя Мортон-стрит, твой дом, твой садик, твой кот, твои книги. Вздыбленный город. Город-небоскреб. Бродвей в стойке эрекции.

– Сны – это последнее, что еще удивляет, – сказал ты, словно извиняясь за свой сновидческий рассказ. – Явь – давно уже нет. Да и сны все ничтожней и чепуховей.

– В этом вся беда: разучился удивляться, – повысил голос, стараясь перекричать грохот поезда.

– Махнемся, детка! – Это ко мне. – Мой опыт на твою невинность.

Я была тогда невинна в большей мере, чем можно было предположить по виду и возрасту. Зато сейчас – старше тебя. Не по годам – по опыту. Старше тебя на 11 сентября.

– Прав был Маяк, всеми ноне позабытый: поэзия – вся! – езда в незнаемое. Кроме моей – теперь в знаемое, увы. Как в этом чертовом сабвее: знаю, куда еду и где сойду. То же – с сексом. Когда известно, что тебя ждет – конец перспективы. Отказ полнее прощанья, так у классика, да? К сожалению, прав. А мне теперь отказывает только одна шлюха. И зовут ее Музой. Но без нее и жизнь не в жизнь. Не жизнь, а ремейк. Коротаю жизнь в ожидании смерти: речугу толкну, заказную статью сделаю, если крупно повезет, стишком разрожусь. Все реже и реже. Я написал столько букв за свою жизнь – одной больше, одной меньше… Стишата пишу теперь не по нужде, а по обязанности. Чтобы остаться на плаву и подтвердить статус поэта. Не то Нобельку отберут.

Шутка. Уж коли угодил в лауреатник, то это навсегда. А стихи пишу, чтобы не разучиться писать стихи.

В отличие от библейского тезки, ты был больше сновидом, чем провидом, хотя сюрно́й твой сон оказался и вещим и зловещим. Будущее тебя тревожило не само по себе, а как эгоцентрика – твое в нем отсутствие: будущее как синоним небытия. Но ты предсказал, что новое столетие начнется под знаком столкновения ислама с остальным миром.

Война обетованная. А твой фаллический сон о вставшем Манхэттене, может, вовсе не эротической, а провидческой природы? В свете того, что с ним произошло. И еще угадал, что будущее выберет нечетное число. Ссылаясь на прошлое: 1939-й.

Вот тебе три нечетных числа кряду: 9.11.2001. Новый век пришел с опозданием, зато заявил о себе во весь голос. Эхо тех взрывов длится по сю пору.

Не искусство подражает жизни, а жизнь дублирует искусство. Причем самые низкие, самые низкопробные его формы. Не поверишь – катастрофа случилась по голливудскому образцу, один к одному, плагиат, когда тем далеким сентябрьским утром два «Боинга», захваченные муслимами, прошили башни-близняшки Всемирного торгового центра, убив тысячи и смазав силуэт города.

Только не спорь и не ханжи: о последнем ты бы жалел больше, чем о первых. Города́ ты любил, но странною любовью, мало что замечая округ, смотрел – и в упор не видел, отвлекался все время на себя, а потом не узнавал. Разглядывая мои фотографии, мог спросить: «А это где?», хотя щелкала с тобой рядом. Зато горожан – не любил вовсе: за неполноценность человечьей анатомии в сравнении со статуями и фасадами. Мраморную, да хоть оштукатуренная статику противопоставлял суетливой подвижности человечков. Люди синонимичны, от них знаешь, чего ожидать, предательство и преданность одного корня, в числителе у людей больше, чем в знаменателе, тогда как искусство – непрерывная, мгновенная смена именно знаменателя. Вот эстетическое кредо, за которое тебе влетело как мизантропу, коим ты и был, а не только мизогином. Traedium vitae – твои слова, хоть и не твои слова.

Не будь евреем, скорее всего стал бы еще и антисемитом. Господи, что я такого сказала, это просто так, гипотетически, в качестве трепа! Чем только тебя не попрекали окромя погоды. Это не значит, что не было справедливых.

С того сентябрьского вторника ненавижу самолеты. Сама ни ногой, а как вижу в небе – жуть. Снятся по ночам – на меня летят, со мной летят, внутри, извне, лично за мной охота. Хотя гражданская авиация теперь – из-за гипертерроризма, авиафобии и нефтяного кризиса – анахронизм, что твоя пишмашинка, за которую ты продолжал цепляться, ненавидя компьютеры. Самолеты, когда-то символ прогресса, теперь только военные, рейдеры, с ограниченным числом мест для пассажиров, вместо стюардесс – стюарды, амбалы-биндюжники, билеты выдаются как визы – с длительной проверкой и с одобрения властей.

Аэропорты исчезли с лица земли, ушли в подполье – гигантские подземные ангары, из которых по секретному расписанию самолеты выныривают прямо в небо. В Америке в моде опять поезда, ожили музейные ж. д. станции. Американский изоляционизм в махровом цвету: туризм отсюда на другие

материки – тем более, европейский в Америку – на нуле, бизнес – исключительно путем взаимной переписки по электронке: виртуальная связь, без физического контакта. Ты бы сказал, метафизическая. Обычная почта умерла после того, как конверты превратились в бомбы, бактерии и вирусы, зато реанимирован эпистолярный жанр, последняя сердечная отдушина: мейлы строчат страницами, в том числе – лирические и любовные. Как я – тебе, на тот свет, отсюда – из Futureland. Мир стал виртуален, как никогда. Столько времени кануло с твоей смерти, у ангела на твоей могиле давно уже отломились крылья.

Я была в автобусе, опаздывала на работу, когда все началось – фотоателье, где ишачу, в паре кварталов от пораженной цели. Все в один голос: «Как в кино!» Обгоняя автобус, бежали люди – не от, а к. На зрелище: думали, кино снимают, и оседают не реальные башни, а макеты.

Многие так и погибли – из любопытства. Зеваки-зрители превратились в массовку в этом гениально поставленном фильме, где не читки требуют с актеров, а полной гибели всерьез. Не Пулицера за снимки (я тоже успела нащелкать, техника, как ты помнишь, всегда со мной), а Оскара за постановку, за режиссуру, за спецэффекты, главным и вспомогательным актерам – всем! Включая массовку: несколько тысяч.

Эпигон, превзошедший оригинал. Все голливудские блокбастеры вмиг померкли – туфта. Низкопробный Голливуд, но высшей пробы. Шоковый видеоэффект. Гигантская пиарова акция ислама: не имея собственной визуальной эстетики, позаимствовал ее у Запада для борьбы с ним.

Эстетика как стратегия. Сдвоенный таран как эсхатологическое зрелище, как художественный документ, как произведение искусства. Реализм как сюрреализм. ТВ-сюр, reality show – не оторваться. По ящику прогоняли мильон раз, наверное – и до сих пор, спустя годы. Конец истории. Или конец света? Светопреставление. Макабр. Хоррор. Катарсис. Корабль мировой цивилизации столкнулся с айсбергом гипертерроризма. Пробоина, течь, смертельная опасность. 11 сентября – fin de siécle. Помнишь нью-йоркский аварийный номер? Так и говорят теперь: 911. Конец прекрасной эпохи, в твоем вольном переводе. Fin de la belle époque. Постхоррова эра. Кто знает, если Блок несказанно обрадовался гибели «Титаника» – есть еще океан! – ты бы, осудив идею, восхитился зрелищем: массовка – худшая из тавтологий. С твоей точки зрения. Так пусть погибнет мир. Римский имперец мирно уживался в тебе с пархатым жидом.

Пусть не мирно – не спорю.

– Зато я спорю! Блока терпеть не мог, со всеми его «слушайте

музыку революции» и прочей романтической лажей. Вот и дослушался.

Поэт-культуртрегер предал культуру, его породившую. Воспетая им океанская бездна его и поглотила. Поделом. Бездна бездну призывает.

Есть еще океан! Да. Есть. Но океан – это ужас и смерть, сами видели.

А есть еще поэзия, которая, заглядывая в бездну, ей противостоит.

Единственная! Потому что одной природы с океаном. Знаешь, детка, как отреагировал Гончаров, когда капитан фрегата «Паллада» вызвал его на палубу полюбоваться разбушевавшейся стихией? «Непорядок!» – и нырнул обратно к себе в каюту. Смешно, да? Но не без смысла, согласись? «И на бунтующее море льет примирительный елей» – лучшего определения поэзии не знаю, пусть и не лучшего из русских поэтов.

Картавый твой голос так и стоит в моих ушах, зато образ, облик, лик как-то стерся из памяти, заслоненный, вытесненный бесчисленными снимками, на которых ты похож и не похож на себя. Мои включая. Чтото есть в человеке, фотографией неуловимое. Вот ты смотришь сурово на меня со стены, пинап-бой, осуждаешь за мою книгу: сплетня, говоришь, а сам обожал сплетни и метафизику, «что в принципе одно и то же» – твои собственные слова. Или что можно Зевсу, нельзя быку?

И чем отличается сплетня от мифа? Миф – это окаменелая сплетня.

Мифология рождается из слухов и сплетен. Тот же Гамлет, например.

Король Лир, царь Эдип и прочие – несть им числа. Великие сплетники: Плутарх, Светоний, Тацит. А евангелисты, превратившие сплетни о Христе в великую религию? Как он должен был их ненавидеть! Как ты – своих христологов.

Обложен со всех сторон, ты в глухой посмертной обороне. Что ты защищаешь?

– Свой мир, детка.

– Или свой миф?

– Без разницы. Мир и есть миф. Поэт имеет право на миф о самом себе.

– Как и читатель: на собственный миф о поэте.

– На основании его стихов.

– И сплетен о нем. Ты отказываешь другим в праве голоса.

– Записным демократом никогда не был. Поздно переучиваться.

Горбатого могила не исправит.

Ты бы меня, наверное, не узнал, я уже в почтенном возрасте, хорошо еще, что сын, а не дочь – давно была бы бабушкой. А ты до конца звал меня воробышком, солнышком, деткой и проч., да и не в возрасте дело, есть вещи, увы, посерьезнее – замнем для ясности, как ты любил говорить к месту и не к месту. У меня больше нет времени ждать. Я писала эту книгу несколько лет после твоей смерти, по свежей памяти, когда ты, словно дибук, вселился, вцепился, не отпускал меня, пока не кончила: я это ты, ты это я, одному Богу известно, кто есть кто. Ты и есть мое гипотетическое alter ego, а кто еще?

– И как нашел я друга в поколеньи, читателя найду в потомстве я, – слышу в гортанном исполнении твоего любимого поэта.

Потомство – это будущее. А будущее – это смерть. Вот я и говорю: письмо на тот свет. Как ты – Горацию. Литературно-некрологический жанр: письма покойникам. А кому еще писать? Разве что ангелам. А ты заметил, что друг Баратынского не был ему читателем? А строчить читателю в потомстве – все равно что письмо в бутылке: всем и никому.

Вот я и строчила: себе, тебе, никому. Пока писала, собственной жизнью не жила. Голос мертвецу, рупор безгласому. Парочка еще та! Был, правда, прецедент, хоть и не до такой степени: Моисей – Аарон.

Есть предел опыта и совершенствования. Формула перфекционизма: лучшая книга написана покойником. О самом себе. С моей помощью.

С тех пор ни слова не добавила, кроме этого постскриптума, который, может, и лишний, но и без него как-то странно, так все круто перевернулось окрест – в одночасье. Точнее – десять минут, которые изменили весь мир. Делать вид, что ничего не произошло, пока я мурыжила рукопись, не решаясь пустить ее в свет? Решиться написать и не решаться напечатать – экий бред! Пропустила срок родов – что если мертворожденный?

Телегу ставлю впереди лошади.

Дня не было без тебя, когда писала. Не пойму только – ты ли являлся мне из водной могилы или я спускалась к тебе туда из жизни? Зря, наверное, разглагольствую, сам обо всем там знаешь. Не можешь не знать. От такого все мертвяки должны были проснуться, даже самые древние и тухлые. Да и ты уже не свежак – 20 лет как на том свете.

Смерть мгновенно сводит на нет возрастную, вековую, тысячелетнюю разницу – ты теперь ровесник Шекспира, Гомера, царя Соломона, царицы Нефертити.

Дыра в пейзаже, сказал бы ты. Дыра и есть, но покрупней той,

которую оставил ты, переселившись в новую среду. Каверны в пейзаже, в психике, в самой цивилизации – опасные пустоты. Не поверишь: все давно уже привыкли, как будто не было и в помине голубых столбов.

С тех пор пошло-поехало: на войне как на войне, лучшей мишени, чем Нью-Йорк, не придумаешь, город желтого дьявола, civitas diabolica, город Апокалипсиса. Так и есть. Не зря он тебе снился вставший на дыбы, как жуткий фалл-небоскреб. Бактерии и химию на нас уже испытывали, зато ядерный кейс удалось обезвредить в последний момент, за несколько минут до взрыва, хотя его владелец – пейсик в кипе – не вызывал подозрений (оказался араб). Атомная война прошла, слава богу, стороной и была кратковременной: между Индией и Пакистаном, пока обе стороны не израсходовали свой ядерный арсенал. Нью-йоркские бейсменты превратились в бомбоубежища (ты бы сказал – уебища), город небоскребов ушел под землю, в подполье, подземные лифты мчат нас к центру земли, мы живем теперь в катакомбах, как первые христиане. По всему немусульманскому свету муслимы загнаны в гетто, охрана извне и изнутри.

Тебя, понятно, занимает, что́ в городе, который ты переименовал в Санкт-Ленинград? Думаешь, все то же? Жалкие попытки реанимации, имперские потуги, местечковое прозябание? Чем провинциальнее, тем претенциознее; соответственно – наоборот, да? (Твое словечко, твой говорок.) Как бы не так! Не поверишь: Санкт-Петербург ныне – столица полицейско-демократической России. Бред? Самая что ни на есть реальность. Сразу после взрыва Кремля и перенесли. Бывшая столица империи стала столицей бывшей империи. Небольшая рокировка, а какая разница! Столица – на самом краю слаборазвитой державы, на расстоянии танкового марша от НАТО (из Эстонии, стратегического плацдарма этой организации). Возрождение авторитаризма прекрасно уживается с дальнейшим распадом страны и превращением ее в политического маргинала. Сбылась шутка времен застоя: Питер – столица русской провинции. Там уже вышел твой целлофанированный 12-томник, что вряд ли тебе в кайф, коли ты даже прижизненному четырехтомнику всячески противился, школьников заставляют вызубривать твои стихи, а на Васильевском острове, где обещал умереть – «Где живет, не знаю, а умирать ходит на Васильевский остров», ха-ха! – установлен, несмотря на протесты березофилов, памятник последнему русскому поэту – увы, в бронзе, а не в любимом тобой мраморе, который застрял у тебя в аорте: ты бы себя не узнал в этом вдохновенном пиите. То есть сама идея памятника как таковая пришлась бы тебе по душе, в которой ты

давно уже воздвиг себе рукотворный. Что памятник, когда даже филателистские мечтания тебя одолевали, так и говорил: «Боюсь, советской марки с моей жидовской мордочкой я не дождусь». Пока еще нет, но будет, будет, дождешься непременно, к твоему столетию, например, до которого лично я, само собой, не доживу. Ты давно уже перестал быть самим собой, впал в зависимость от мифа, который сам о себе создал, а потом другие – с твоих слов либо оные опровергая. Тем более посмертно: не принадлежишь больше самому себе, являясь собственностью тех, кто творит твой образ – согласно твоим завещательным указаниям или наперекор тебе.

А идею памятника успел оформить словесно, сработав свой собственный за пару месяцев до смерти, по образчику exegi monumentum, но, выбрав в качестве последнего вовсе не стих. Хулиганский стишок получился – если материализовать его образ в бронзу, вышел бы памятник твоему пенису в боевой изготовке. Ты этого хотел?

– Почему нет? Идеократии – любой – предпочту фаллократию.

Помнишь, на Большом канале перед палаццо Пегги, где всякой дряни навалом, эквестриан стоит – у всадника хер столбом. Это у него на Венецию стоит. Знак любви, если хочешь. Куда там твоему Шемяке с его всадником-импотентом!

Мой работодатель, у которого я была, можно сказать, штатным фотографом, тебе покоя не давал. Ревность? Подозрение в антисемитизме? А конный автопортрет, который установлен теперь на его могиле в Клавераке, – классный, пусть его член и лежит устало на лошадиной спине. Отработал свое. Или у мертвецов тоже стоит? Тебе там виднее.

Как ты не догадался дать точное описание собственного памятника – этакая памятка скульптору и архитектору! Да хоть бы намек!

Или твой exegi monumentum и был намек?

Не прислушались.

Ты все предпочитал делать сам – одних посмертных распоряжений и запретов оставил тыщу. Чуть не спалил дотла Венецию в день своей смерти – как еще объяснить пожар в Ля Фениче, где ты должен был выступать через пару недель? С тебя станет. Даже Остров мертвецов, где тебе теперь лежать до скончания веков, выбрал сам. Может, тот всадник на канале ты и есть? У тебя на Венецию и стоял, как на бабу.

Лучше бы на бабу стоял, как на Венецию.

Пусть памятник в Питере не тот, который ты себе сам бы поставил, все равно поздравляю: многоуважаемый книжный шкап

в стране, где книг больше не читают. Стихов – тем паче. А где их читают? Нет спроса – нет предложения. Как Матросов – амбразуру, ты закрыл собой книгу русской поэзии. Последняя ее страница, эпилог, занавес, тишина.

Дальнейшее – молчание. Даже бродскописцы поутихли, заглохла бродскоголосица, ты бы сказал, мир онемел без поэзии: что лес без птиц.

Книги вышли из употребления, исчезло с лица земли племя читателей, книгочей – такой же раритет, как шпагоглотатель. Одни только муслимы перечитывают свою Книгу, которая старше языка, на котором написана, и оригинал хранится на Небесах.

Вот сразу все и выложила: три твои обители, три ипостаси: улица Пестеля – Мортон-стрит – Сан-Микеле. Три города, тайно, неуловимо схожих друг с другом. Ты написал только о двух, потому что писал для третьего. Нью-йоркцам не нужен гид по собственному городу, разве что если бы его сочинил супермен. Писать нью-йоркцу про Нью-Йорк для нью-йоркцев – тавтология, а тавтологии – любой – ты боялся пуще смерти. А смерть – не тавтология?

– Смотря для кого, детка. Для могильщика – да, но не для мертвеца. Для мертвеца – внове, потому что впервой. Какой ни есть, а новый опыт. Одна беда – не с кем поделиться.

В одном граде ты прожил свою несчастно-счастливую жизнь городского сумасшедшего, так и говорил: «Счастливцев и Несчастливцев – на самом деле одно лицо, да?» В другом был одинок и несчастлив без счастья, несмотря на удачи, которые сыпались на тебя из рога изобилия на зависть коллегам, равно русским и американам, и, за несколько лет до смерти, женитьбу, но только чем она для тебя стала: несчастным счастьем?

– Что наша жизнь? Нет, не игра, как в оперетте у этого голубого популиста. – Чайковского не любил еще больше, чем Вагнера. – А если игра, то лотерея – лотерея неудач. Человек состоит из неудач, как счастье из несчастий. В каждом счастье примесь несчастья, соответственно – наоборот. Но есть разница, детка: в Питере я был счастлив в моем несчастии, моя шалава и была моим счастьем-несчастьем, просто я не сразу понял, что любовь не передается половым путем. Увы, увы, увы. С другой стороны, сама по себе кратковременность любовного акта, как его ни затягивай – большого места в жизни любовь занимать не должна. До меня это не сразу дошло: любовное постдействие – вот что такое моя жизнь в Питере. Tristesse после случки, да?

Как результат этого невыносимого напряга – стишки. Отдушина, замещение, сублимация – привет дедушке Зигги. Это и было моим счастьем в несчастии. Которого я бежал, будучи

кочевник и искатель приключений. В Нью-Йорке наоборот: несчастлив в счастии. Два раза чуть не женился, на волосок от счастья (оно же несчастье), а женился в третий раз, когда было поздно: физический статус не тот. Какое там счастье, когда в ящик глядишь и никакого иллюзиона, чем вся эта петрушка кончается! Вот кот – он счастлив беспримесным счастьем, ибо не подозревает о смерти, а до фиф ему уже нет дела после того, как яйки чик-чирик. – И чесал нервно котофея с длиннющим именем Миссисипи, названного так под впечатлением от нашей с тобой поездки в Нью-Орлеан. – Упрямый – не откликается. В отличие от моего тезки.

И бесполезно объяснять, что в имени кота должно быть не больше двух слогов, потому и не откликается. Отличие не котов, а имен: Миссисипи от Оси, твоего питерского кота.

А счастлив чистым счастьем без примеси несчастья был только в третьем граде, который был дан тебе в качестве недостижимого и непостижимого идеала, сиречь утопии. Cittá ideale del Rinascimento: здесь тебе суждено провести остаток времен. Хотя кто знает, где ты обитаешь виртуально, метафизически – если только ты не прав, и душа за время жизни не приобретает смертные черты. А если прав, нет тебя больше нигде, и я говорю с собственным эхом, пишу письмо самой себе и жду от себя ответа. Как в том анекдоте о психе, который написал себе письмо, доктор спрашивает о чем, а он не знает – еще не получил. Я и есть тот псих. Следую за тобой по пятам. По городам, где ты жил, по книгам, которые ты читал, вот только люди все повымерли. Да и сама жива ли – не знаю.

Жизнь после смерти – твоей как моей, хоть я помоложе твоей жены, но она оклемалась, а я – нет. Первый мертвец в моей жизни – Довлатов, потом – ты, а после один за другим: твои друзья, твои враги, мои – сначала папа, потом мама. Расплата за то, что была на равных и по корешам с теми, кто старше. Вот и осталась одна. Одна – среди могил. Разбросаны по белу свету. Папа с мамой – в Бостоне, редко бываю, а скоро некому будет прийти. Довлатов – в пяти минутах, в Куинсе, в кедровой роще, от которой одно название, еврейское кладбище что мебельный магазин, слон в посудной лавке, чужой среди своих.

Шемякин – в Клавераке, посреди любимых холмов, под самим собой на коне, полускелет, полу в доспехах, с поникшим пенисом на крупе, с посмертной маской на все четыре стороны, заблаговременно снятой с живого. Соловьев – на Стейтен-Айленде: вид аховый – океан, маяк, буддийский храм, да только ему все это теперь по барабану. Ростропович – в Москве, на Новодевичьем, рядом с Вишневской: неужели и там лаются, как в

жизни, мат-перемат? Дальше всех ты: на Сан-Микеле, сначала под самодельным крестом, теперь под мраморной стелой цвета охры, кириллица с латиницей, выгоревший снимок под целлофаном, поверху – камушки и ракушки, внизу – крошечная цветочница. Поодаль, под двуспальной плитой – Эзра Паунд, которого ты ненавидел как еврей, да и он бы тебя, наверное, по той же причине – как еврея.

Каково тебе коротать вечность с антисемитом? Но и ему повезло: подложили в соседи жида. Сочувствую обоим. Или вам там теперь без разницы? Ищут могилу Эзры, натыкаются на тебя. Редко когда наоборот.

Народная тропа не то чтобы заросла, но любителей поэзии – поэтов тем более! – осталось так мало, не все ли равно, кому из мертвых достанутся живые цветы. На твое 75-летие собралось здесь несколько заговорщиков, меня включая: выпили кьянти и граппы в твой помин, даром через проход мраморный стол стоит – надгробная плита о четырех лапах британскому послу в Венеции сэру Артуру Кларку.

А где лягу я? В отличие от тебя, мне – по фигу. Нервы на пределе, щитовидка вспухла, биопсию вот взяли, но от химиотерапии – решено! – откажусь: зачем продлевать жизнь? Жизнь ныне еще в меньшей цене, чем в твои времена.

Мне теперь столько, сколько было тебе, когда ты рухнул на пороге своей комнаты, разбив очки. Молодая красивая вдова, лепечущая сирота с траурно опущенными губками, разноязыкие некрологи, венки, венки, венки. Ты лежишь в массивном, обитом медью гробу, сжав мертвой хваткой католический крест, который вряд ли когда держал в жизни. Я узнала о твоей смерти в городе, куда ты отправишься в посмертное путешествие через полтора года – по земле, по воздуху, по воде.

На вечное поселение.

Спор двух городов из-за твоих мощей был решен в пользу третьего.

Как сам возжелал – чтобы твои останки плавали в Лагуне:

– Умереть бы в Венеции. На худой конец, провести в ней остаток вечности…

Программа-максимум и программа-минимум.

Единственный из своего поколения, ты заглядывал за пределы своей жизни.

Слабо тебе заглянуть в обратном направлении? Из прошлого – в будущее? Или вы там заняты играми с вечностью, и мы для вас мелюзга, суета сует, никакого любопытства?

Почему из двух стран, где ты прожил две жизни, ты выбрал третью, переименовав в Скиталию, хотя скитальцем был в любой

точке шарика, окромя одной шестой, а та, сжимаясь, как шагреневая кожа, без республик, без Кавказа, теряя Дальний Восток и Южную Сибирь, наверное, уже одна восьмая или девятая, я знаю?

– Не ленись – подсчитай, – опять слышу твой загробный голос.

Квота времени. Не буду.

Вся земля – Скиталия: для живых равно, что для мертвых.

Может, потому ты и любил Италию, что нигде не был так одинок?

То есть самим собой: бедуином, кочевником, скитальцем.

Скиталец в Скиталии.

Мечтал умереть в Венеции, боялся умереть в Питере (потому ни разу и не съездил), умер в Нью-Йорке.

Я с тобой говорила после твоей смерти, но ты был еще жив.

Ты умер в ночь с субботы на воскресенье, а я позвонила тебе в воскресенье утром.

Какое-то чувство во мне шевельнулось, проснулась чуть свет и – к телефону. Слышимость через океан никакая, впервые не узнала тебя – глухой, незнакомый, механический голос. Решила, шум атлантических волн, но ты сказал, гости шумят внизу, а ты наверху, у себя в каюте. Мы не общались несколько месяцев, разговор не клеился.

– Ну, как ты?

– Живой пока. Хотя полной уверенности нет. Сердце пошаливает.

Немного тружусь, немного помираю. Всего понемногу.

– А как насчет выступления в Ля Фениче? По городу уже расклеены афиши.

– Без меня, – и характерный твой горловой смешок.

Надежда свидеться с тобой в Венеции истаяла, как облако.

Стало вдруг тебя ужасно жалко:

– Как приеду – сразу к тебе, – пообещала я.

– По новому адресу.

До меня не сразу дошло.

– Привет Сереniссиме. Мазл тов.

Твои последние слова.

До сих пор гложет.

Помню твой рассказ о звонке из Москвы:

– Понимаешь, детка, есть люди, которые не подозревают о смерти. Да что о смерти! О времени! О временных зонах. Одна дура из московского издательства разбудила среди ночи по абсолютному пустяку. Только заснул, накачавшись валерьяной и слипинг пиллс, а тут звонок. Спрашиваю, знает она который у нас

час? – Одиннадцать часов утра, говорит. – Это у вас одиннадцать, а у нас, в Нью-Йорке? – И у вас одиннадцать. Ни тени сомнения! Послал ее подальше. То есть к Эйнштейну, дальше некуда, пусть старик разъяснит ей $E=mc^2$. А пока что сна ни в одном глазу. Да и сон на самом интересном месте. Все равно что прерванный акт, да?

Ладно, разница во времени. А как объяснить, что в тот же день увидела тебя с вапоретто? Ты медленно, задумавшись, шел по своей фондаменте дели инкурабили, такой родной и одинокий, я не могла обознаться, хотя говорила с тобой всего несколько часов назад, и ты был в своей чердак-кающе в Бруклине. Набережная неисцелимых! К тому времени ты был уже стопроцентный мертвяк по любому времени. Разница в пространстве?

Я тебя слышала и видела после твоей смерти, но как это объяснить?

Тогда я и села сочинять послание к тебе на тот свет, хоть и сбиваюсь иногда с «ты» на «он». Без разницы: ты – это я, я – это он, он – это ты. Цитирую тебя близко к тексту.

А ты почему молчишь? Не подашь знака оттуда? Предсмертная записка не в счет. Обещал! Говорил, что неистребимая страсть к писанию: даже на смертном одре – и за его пределы. Обязательно дам знать – было бы кому. Жди.

Так и не дождавшись, сама затеяла с тобой разговор. На предмет выяснения отношений. О том, что не успела при жизни. А ты все молчишь. Может, потому и нет оттуда вестей, что мертвым живые еще безразличней, чем мертвые живым?

Скоро узнаю.

Двойник с чужим лицом, или Проблема сходства и несходства

Как различить ночных говорунов?

ИБ. Горбунов и Горчаков

На крайний случай я могу усесться перед зеркалом и обращаться к нему.

ИБ. Письмо Горацию

Чему только меня не учили в детстве: музыке, танцам, стихосложению, рисованию, даже шахматам – не в коня корм.

Единственное, что в жизни пригодилось, – это подаренный папой на мое 13-летие фотоаппарат «Зенит», а уже поэт подсказал мне объект: «крыши Петербурга», превратив хобби в приключение. Сколько чердаков и крыш мы с ним облазили в поисках удачного ракурса! Он – со своей камерой, я – со своей. Фотография была одним из его периферийных увлечений – наравне с музицированием и рисованием. Как-то меня изобразил – сходство схватывал, рука уверенная, линия виртуозная, но оригинального таланта лишен: рисунки под Пикассо и Кокто. То есть был одарен маргинально, чего бы ни касался, но гений воплотился исключительно в стихах. Больше всего любил рисовать автопортреты – то в лавровом, а то в терновом венке. По ним можно судить не о том, каким он был, но как воспринимал сам себя. И как подавал другим.

Когда я его щелкала – кривлялся и вставал в позу. Так ни одного натурального снимка и не вышло. Перед камерой он так же неестествен, как перед зеркалом. А застать его врасплох – ни разу. Ни одной нормальной фотографии – ни у меня, ни у других. До самого конца держал свой имидж под контролем, был на службе у себя пиарщиком. Вся его публичная жизнь – театр одного актера. А каким он был наедине с собой?

Так мы с ним развлекались фотографией – ничем другим! – пока не свалил за бугор, а столько-то лет спустя и мы вслед. Я так думаю, если б не его отвал, культурная миграция из Питера была бы не такой буйной – половина бы осталась. «Я сплел большую паутину» – его собственные слова. Мы были частью этой паутины. Можно и так сказать: вывез постепенно с собой своих читателей. Нынешняя его всероссийская слава, которая началась после Нобелевки и разгорелась ярким пламенем post mortem – это уже нечто иное, чем широко известен в узких кругах времен моего питерского тинейджерства, когда мы с ним корешили и он даже посвятил мне стишок, в тот самый мой день рождения, когда я перепила, было дело. Он теперь печатается в последнем томе его собрания сочинений, а иногда входит в избранное – из шутливых стишков самый серьезный. Из того дня рождения я мало что запомнила – даже как он меня вынес на февральский снежок и приводил в чувство, стыдно сказать, помню с чужих слов. В том нежном возрасте я вовсю занималась мастурбацией, а в свободное от нее время – тоже тайно – сочиняла стихи, отлынивая от школьных занятий и уроков музыки, которые не пошли впрок. Как, впрочем, и занятия поэзией – мои вычурные стихи невнятны мне теперь самой: сублимация похоти, а не эманация таланта. Даже странно – росла вблизи гения и ничемушеньки не выучилась.

Гений… Написала это слово и задумалась. Сам таковым себя не считал, хотя и сознавал, что оторвался от своих современников не на полкорпуса, а значительно больше, оставив прочих поэтов далеко позади и считая их мелюзгой – даже тех, кого в глаза, а то и печатно хвалил. За исключением стихового, к любому другому слову относился безответственно. Он столько роздал аттестатов зрелости и путевок в жизнь, что из рекомендованных им пиитов можно составить ПЕН-клуб. «Ты у нас прямо как Державин», – язвила мама. Зато кого невзлюбил, тому ставил палки в колеса, пока не сошел в гроб. Евтушенке, например.

– Я – не гений, а чемпион, – уточнял он. – Олимпийский. Иногда рекордсмен. А гением стану после смерти. Если стану. Недолго ждать.

Что он имел в виду? Посмертную славу? То есть памятники, марки, стихи в школьной программе, международные научные конференции и прочую ерундистику, как он сам выражался, хоть и не был к ней совсем уж равнодушен? Или, заглядывая за жизненный предел и ощущая недоосуществленность себя как Божьего замысла, надеялся добрать в безмолвии вечности, пусть это уже и не для земных ушей и никогда до них не дойдет?

Он сам взялся проталкивать мои питерские «крыши» в американские издательства, но книга вышла уже после его смерти. В соответствующей – он бы сказал «спекулятивной» – модификации: я добавила несколько его питерских фоток, редакторша придумала подзаголовок «Поэт и его город», а наш общий земляк Сол Беллоу сочинил предисловие. Может, сделать второй том про Нью-Йорк – не меньше ему родной город, чем СПб, да и списан с того же оригинала: оба – Нью-Амстердамы. А третий том – про Венецию, где мы с ним пару раз разминулись: он наезжал туда под Рождество, на зимние каникулы, а я – ранней весной – на ежегодные маскарады с Мишелем, моим основным работодателем. Пока однажды чудным образом не сошлись друг с другом, но это было уже после его смерти – так никогда и не узнаю, видел ли он меня, зато я видела четко, с нескольких метров, ошибиться невозможно, успела щелкнуть. Только в Венеции такое и могло произойти. Метафизическая копия Петербурга: тот самый ландшафт, частью которого охота быть, то есть осесть навсегда – его мечта.

Сбылось: нигде столько не жил, сколько ему предстоит на Сан-Микеле.

Отец у него, кстати, был военный фотокор, пока его не поперли из армии как еврея.

Его сыну я обязана профессией, хоть он и отрицал за фотографией статус искусства:

– Еще чего! Тогда и зеркало – искусство, да? В смысле психологии – ноль, а как память – предпочитаю ретину, – и, глянув на меня, пояснил: – Она же – сетчатка. Точность гарантирована, никакой ретуши.

– А как документ? – спрашиваю.

– Только как пиар и реклама.

Сама свидетель (и участник) такого использования им фотографии.

Звонит как-то чуть свет:

– Подработать хочешь, фотографинюшка?

– Без вариантов.

– И поработать. Снимаю на весь день.

– Какой ненасытный!

– Путаешь меня с Мопассаном.

– А ты, дядюшка, кто?

– Разговорчики! На выход. Не забудь прихватить технику. Мы вас ждем.

То есть вдвоем с котом, которого тоже нащелкала: фотогеничен и не выпендривается.

Было это еще до Нобелевки. «Тайм» взял у него интервью для своей престижной рубрики «профайл» и предложил прислать того же фотографа, что пару лет тому сделал снимок для его статьи в «My turn». На что он ответил: фотограф уже есть, и вызвал меня.

Примчалась сама не своя – снимок в «Тайм», думала, откроет мне двери ведущих газет и журналов, поможет в издании «Крыш», которые, несмотря на его протекцию, кочевали тогда из одного издательства в другое: был он не так влиятелен, как хотел быть или казаться, но ходокам из России пускал пыль в глаза – одни его считали богом, другие паханом, что в его случае одно и то же. Не могу сказать, что заказы посыпались один за другим, но виной тому навязанная мне этническая специализация. Мне предлагали снимать одних русских эмигре, а тех здесь раз-два и обчелся. То есть суперстарс: Барыш да Ростр, да и те уже были на излете артистической славы. До Солжа допущена не была, а потом он укатил на историческую родину. Довлатов до американской звезды не дотягивал, хотя с твоей легкой руки широко печатался в лучших здешних журналах и издательствах: мешало безъязычие (твое объяс нение). По означенной причине так и не стала папарацци. Единственный мой постоянный клиент – Мишель. Не путать с другим Мишелем, которого ты предпочитал называть Мишуля или Барыш, а моего – Шемякой. Коверкал всех подряд, и мы вослед, каждый значился у тебя под своим иероглифом, а то и двумя: Маяк, Лимон (он же Лимоша, а когда рассорились, обменявшись любезностями, – ты его Смердяковым от прозы, а он

тебя поэтом-бухгалтером – Лимошка), АА, Серж-Сергуня, Бора-Борух (не путать с Барухом), Ребе, Карлик, Зигги, Французик из Бордо, Женюра, он же – Женька (не Евтух), – вот тебе, читатель, ребус-кроссворд на затравку. С Мишелем Шемякой мы разъезжаем время от времени по белу свету, и я запечатлеваю его художественные подвиги и встречи с великими мира сего для истории. В Кремле побывала дважды: у Ельцина и Путина. Когда была в Венеции – по случаю установки памятника Казанове – узнала о твоей смерти.

Первая смерть в моей жизни.

Не считая Марты.

Моей кошки.

Вот что нас еще сближало, хоть наши фавориты и разнополы. Как и мы с тобой. У меня – самки, у тебя – самцы. Само собой: кошачьи.

А Шемяка тот и вовсе двуногим предпочитает четвероногих – любых: котов, псов, жеребцов. У него их целый зверинец. К сожалению, все породистые. И все – мужеского пола. Животных он считает непадшими ангелами – в отличие от человека: падшего.

Касаемо «Крыш Петербурга», то ты помог не сам, а твоя смерть. Так получалось: я тоже имею с нее гешефт. Однако в посмертной вакханалии все-таки не участвовала. Одна моя коллега, которая снимала тебя на вечерах поэзии, выпустила в здешнем русском издательстве кирпичальбом, по полсотни снимков с каждого вечера, где один от другого разнится во времени долями минуты. Одна и та же фотка, помноженная на 50. Альбом фоточерновиков. Выпущенный во славу поэта, этот альбом на самом деле, набивая оскомину твоей «физией», развенчивает миф о тебе. До России, слава богу, не дошел. Пока что.

А вызвал ты меня тогда в свой гринвич-виллиджский полуподвал, поразительно смахивавший на твои питерские полторы комнаты, само собой, не одной меня ради. Промучились мы не день, а целых четыре, которые я теперь вспоминаю как самые счастливые в моей жизни.

Тоном ниже: пусть не самые – одни из. Ты вставал в позу, делал лицо, а я щелкала, щелкала, щелкала. И непрерывно пил кофе – сначала свой, потом допивал из моей кружки. В перерывах водил меня в ближайшую кафешку – в «Моцарт», в «Реджио», хотя китайскую еду предпочитал любой другой, но боялся, что я приму тебя за жида или шотландца, а хотел сойти за ирландца. Такова была поставленная передо мной цель.

– Старичок такой из польских евреев, всех под одну гребенку,

то бишь по своему образу и подобию, даже гоя превратит в аида, а меня и превращать не надо – архетипичный, – объяснял он про отвергнутого фотографа, пока я устанавливала аппаратуру. – Мы с тобой, солнышко, пойдем другим путем, как говорил пролетарский вождь. Моя жидовская мордочка мне – во где! (Соответствующий жест.) Посему сотворим другую. Знаешь, древние китайцы каждые семь лет меняли имя?

– Не въезжаю, – сказала я.

– Возьми телефонный справочник, открой на моей фамилии. Сколько там у меня двойников? Сосчитай.

– Да на это полдня уйдет!

– Это ты сказала. Господи, что за имя для гения! Банальнейшая еврейская фамилия. Как там Иванов, а здесь Смит. С той разницей, что моя – и там и здесь, плюс в Лондоне, Париже, Иерусалиме и на Северном полюсе.

Так и есть. Однажды знакомила с ним американа (опять его выраженьице, да и вообще весьма повлиял на формирование моего русского, благодаря ему и сохранила в чужеязыкой среде), прихвастнув, что нобелиант. «Как же, помню, – подтвердил американ. – В области медицины, если не ошибаюсь». – И крепко пожал руку новоиспеченному доку.

Плеснул себе в стакан водяры, а на мой удивленный взгляд:

– В качестве лекарства – для расширения коронарных сосудов.

Да еще дымил как паровоз, прикуривая одну сигарету от другой, откусывая и сплевывая фильтры. При его-то сердце! И еще отшучивался:

«Винопитие и табакокурение». Одно слово: крейзи. Пусть и не это его сгубило.

– Тебе не предлагаю. Ты на работе. И работа предстоит не из легких: сделать из старого еврея моложавого ирландца.

– Да ты, дядюшка, еврей от лысины до пяток!

– Причем тут лысина? – обиделся или сделал вид. – Лысина как этническое клише, да? Не пойдет! Лысина – интернациональна. Пятка – тем более. Еврейская у меня только одна часть тела, да и то не в Америке, где 80 процентов обрезанцев. От этноса независимо, ирландцев включая. В том и отличие американских айриш от ирландских и британских. Но ты же будешь фотографировать не моего ваньку-встаньку, а физию ирландца-обрезанца. Похож, да?

И состроил гримасу.

В Питере у него была ирландская, в клетку, кепочка, которой он ужасно гордился. Не оттуда ли его мечта о перевоплощении именно в ирландца? Тут, правда, и «мой друг Шеймас Хини» –

«насквозь поэт, хоть как все ирландцы, говорит, не раскрывая рта». Ирландия была его слабостью. Ах, зачем я не ирландец!

– Природа нас, согласись, большим разнообразием не балует: у всех один и тот же овал, а в нем – точка, точка, запятая, минус – рожица кривая. (Снова гримаса.) Выбор не так чтобы велик, а потому все пойдет в дело: мои серо-голубые, веснушки, рыжие волосы… – И глянув в большие глаза, которые я ему сделала, что у нас означало понятно что: – Будь по-твоему, их остатки. Как и остатки синевы в очах пиита. Ингредиенты – налицо. Точнее – на лице. А теперь перетасуем их как карты. Новая генетическая комбинация из старых хромосом. Сделаем меня не похожим на меня, хоть и узнаваемым. Знакомый незнакомец. Двойник с чужим лицом. А разве в зеркале это я? Да никогда! Вот и пусть дивятся, узнавая неузнаваемое. Или не узнавая узнаваемое. Задание понятно?

Путем многих проб и ошибок, добились в итоге этого четырехдневного марафона с редкими передыхами чего он хотел. Вот и передо мной стоит теперь задача: сделать его похожим и непохожим.

Одновременно.

Чтобы укоры сыпались отовсюду:

– Непохож!

– Так это же не он.

– Похож!

– По чистой случайности.

И что сочту за комплимент – уличение в сходстве или упрек в неточности? Сам-то ты сравнивал себя с Зевсом, который родил Афину из собственной головы.

Без чьей-либо помощи.

Увы (то есть alas – любимое его словечко в обоих языках), я – не писатель, а фотограф. Потому никаких выдумок, никаких случайностей. Только немного ретуши, чтобы сделать героя не похожим на самого себя – слегка изменить био, сместить хроно, на манер Прокруста вытянуть или укоротить ему рост. Может даже измыслить иную причину смерти? Переделать аида в гоя, как на том снимке? Либо питерца превратить в москвича? Поменять матримониальный статус? Да хоть пол сменить! Получится персонаж-транссексуал. Моя проблема: степень и допустимость сжатий и смещений. Ведь все это внешнее, то есть несущественное. Дать его метафизический портрет, как сделал мой Мишель. Он – линией и цветом, я – словом.

А как обойтись без его стихов, в которых он выдает себя с головой – даже маскируясь? Он маскируется, а я вчитываюсь и сравниваю художественную текстуру с реальной, тогда как

большинство принимает за чистую монету все, что он там наплел. Как сохранить дистанцию между литературным персонажем и реальным прототипом? Если я смещаю его био и даю псевдоним, то табу на стихи, тем более они растасканы на цитаты, и оригинальное давно уже стало общедоступным, тривиальным, избитым, соскользнув с индивидуального уровня на общеязыковой. Вот-вот: давно уж ведомое всем, как твой любимчик изволил однажды выразиться. Решено: твои стихи – моей прозой, раскавычивая и переиначивая. А какой изыскать ему псевдоним? Пометила пока что инициалами – ИБ, а там поглядим.

Нелепо, конечно, отрицать его био-судьбо-физическое сходство с другим знаменитым пиитом, у которого я заимствую стишки для эпиграфов под теми же инициалами – именно ввиду этого сходства. С тем чтобы отмежеваться от стихов самого ИБ, чтобы мой роман не скатился в докудраму, которую я, как и он, терпеть не могу. Слишком мудрено? Куда нелепее, однако, отождествлять одного с другим. Как и Бродский, ИБ – поэт, певец, изгнанник, нобелиант, обрезанец, сердечник, смертник, у него две руки, две ноги и один нос – как и то, чьей сублимацией нос является. Вот! Мой герой – это сублимация, а не реальность, метафизика, а не действительность. Существо виртуальное, пусть и вполне – и даже чересчур – физическое. Я не о том, что истекал как персик, даже ладони всегда мокрые, а боли боялся – шприца или бормашины – больше смерти. Я о пяти чувствах. Сам про себя сказал, что глуховат и слеповат. Единственный орган, на который он полностью полагался, было обоняние.

Человек не равен самому себе. То есть непохож на себя. Если те, кого я знаю лучше, незнакомей остальных, с кем знакома шапочно, то самый незнакомый среди них – среди нас! – я сама. В моем случае: прекрасная незнакомка – вот кто я для самой себя. Отбрасывая гендерный признак и генерализируя: знакомый незнакомец. Ты прав: самое лживое изображение – в зеркале, в которое ты, тем не менее, заглядывать любил, называл мордоглядом и боялся, что однажды не обнаружишь в нем себя. Невосприятие себя в зеркале демонстрировал на коте, который – как и любой другой зверь, наверное – никак не реагирует на себя в зеркале и на снимке.

Фотография пахнет фотографией – ничем больше. Заглянуть внутрь ей не дано. А я хочу дать внутренний образ – скорее рентген, чем фото. Как в том школьном сочинении: «Чичиков отличался приятной внешностью, но неприятной внутренностью». Либо цыганская байка про лошадиного эксперта, который не смог сказать заказчику ни какой масти отобранный им скакун, ни

жеребец это или кобыла.

Высочайшего класса был знаток, на внешнее – ноль внимания.

Как войти в венецейскую раму и заглянуть в зазеркалье?

Что там в зазеркалье?

Алиса, говорят, была объектом домогательств со стороны автора: не та, что в Зазеркалье и Стране чудес, а настоящая: прототип литературной. В конце концов, заподозрив неладное или поймав грешников на месте преступления, Алисины парентс дали от ворот поворот писателю Льюису Кэрроллу. Он же священник и преподаватель математики Чарлз Лютвидж Доджсон.

Dr. Jekyll & Mr. Hyde.

Как далеко зашел писатель-математик-священник в своих отношениях с Алисой Лидделл? Как далеко в страну чудес завел он эту девочку, которая служила ему моделью и музой? И возлюбленной? Была ли одна страсть сублимирована другой – литературной? Игра ложного воображения (привет Платону), как и сказка, ею вдохновленная и ей посвященная? В чем кается Льюис Кэрролл в своем дневнике – в греховных помыслах или в свершенных грехах, вспоминая 51-й покаянный псалом царя Давида? А тот уж точно грешник: соблазнил Вирсавию, а Урию услал на фронт, на верную гибель.

Бедная Алиса! Бедная Арина!

То есть я.

А сколько было Беатриче, когда ее повстречал Данте? А Вирджинии, когда та стала женой Эдгара По? Алиса была в лолитином возрасте. А я?

Помню себя с тех пор, как помню тебя.

Dr. Jekyll & Mr. Hyde был также фотограф, хотя и узкого профиля: фотографировал главным образом девочек в соблазнительных позах, с «женским» выражением на лице, а с настоящими бабец был патологически робок.

Реалист или воображенник?

А во что играли мы с тобой? Что осталось в потенции, она же – латенция?

Вот урок: не педофильский, а литературный. Почему Льюис Кэрролл, дав волю воображению, оставил Алису Алисой, а я означаю тебя двухбуквенным псевдонимом? Плюс урок фотографический: кого он изобразил на знаменитом снимке – Алису невинное дитя или Алису в зазеркалье своих запретных страстей? Странный взгляд у этой тинейджерки: нежность, взаимность, поощрение, даже подстрекательство.

Игрового или рокового характера?

Как вымышленное сделать достоверным, а действительное неузнаваемым?

Часами говорить о каком-нибудь предмете или человеке, не называя его – искусство, которым виртуозно владел поименовавший его Стивенсон.

Не ответственна ни за сходство, ни тем более за несходство портрета с оригиналом, героя с прототипом, образа с материалом, из которого его леплю. Из, а не с. Беллетристический жанр оправдан еще и ввиду исчерпанности вспоминательного, ибо мемуары о нем беллетризированы и только притворяются документом. Мой рассказ не претендует на то, чем не является. Наоборот: настаиваю на художественном вымысле, который есть правда высшей пробы. Не в пример мемуарным фальшакам, где ложь только притворяется правдой. Потому что мемуары суть антимемуары, то есть квазимемуары: по определению. У меня – правдивая ложь, у них – лживая правда. Проза дает иной инструментарий, включая скальпель. О Кутузове мы судим по воспоминаниям современников или по «Войне и миру»?

Вот именно.

Кто кому сочинит некролог?

Sir, you are tough, and I am tough.
But who will write whose epitaph?

JB

Годом раньше, на следующий день после нашего переезда на запасную родину – так Бродский называл Америку, – ты повел всех нас в мексиканский ресторан, а оттуда мама с папой помчались на встречу в NYANA, которая занималась трудоустройством новых американцев, а мы с тобой отправились в твою гринвич-виллиджскую берлогу.

Сидим в твоем садике-малютке в плетеных креслах, тянем остывший кофе, привыкаю постепенно к тебе новому, то есть старому – новому старому, а в Питере ты был старый, тот есть свой в доску, но молодой. Столько лет прошло – ты продолжаешь мне тыкать, я с тобой, как детстве, – на «вы».

– Что будем делать? – спрашиваешь. – Или ты переходишь на «ты», или я – на «вы». А то как-то недемократично получается.

– Какой из вас демократ! – И напоминаю ему историю с Довлатовым, которая докатилась до Питера. Со слов Сергуни, который жаловался на Бродского в письме к нам.

Самое замечательное в ней была реплика Довлатова, которую он – увы и ах! – не произнес. В отличие от Иосифа, который в разговоре был сверхнаходчив, все схватывал на лету и мгновенно отбивал любой словесный мяч, у Сергуни была замедленная реакция, да еще глуховат на левое ухо, импровизатор никакой, свои реплики заучивал заранее наизусть либо придумывал опосля, как в тот раз.

При первой встрече в Нью-Йорке Довлатов обратился к тебе на «ты», но ты тут же прилюдно поставил его на место:

– Мне кажется, мы с вами на «вы», – подчеркивая образовавшуюся между ними брешь шире Атлантики.

– С вами хоть на «их», – не сказал тебе Сергуня, как потом всем пересказывал эту историю, проглотив обиду, – будто ему что еще оставалось.

«На „их“» – хорошая реплика, увы, запоздалая, непроизнесенная, лестничная, то есть реваншистская. Все Сережины байки и шутки были сплошь заранее заготовленные,

импровизатором, репризером никогда не был.

Услышав от меня о присочиненном довлатовском ответе, ты удовлетворенно хмыкнул:

– Не посмел бы…

Почему ты был так строг с ним?

Надо бы разобраться.

– Демократ никакой, – соглашался ты со мной. – Одно дело – Серж, ты – совсем другое. Приятно, когда юная газель с тобой на «ты».

– Приятно передо мной или перед другими?

– Перед собой, птичка. Я в том возрасте, когда мне, как женщине, пора скрывать свои годы. Может, это я так к тебе подъезжаю, чтобы сократить расстояние. А то все дочь приятелей, тогда как ты уже сама по себе.

И без перехода:

– Еще девица? Ждешь принца с голубыми яйками?

– Много будешь знать – состаришься, а ты и так старик.

– Мгновенный старик, – поправил ты, не ссылаясь на Пушкина.

Так уж у нас повелось – перебрасываться общеизвестными цитатами анонимно либо обманно: лжеатрибуция называется.

– Тем более. Оставим как есть. Ты же сам этого не хочешь, дядюшка, – сказала я, переходя на «ты».

– Почему не хочу? – удивился ты.

И тут же:

– Ну, не хочу. Давно не хочу. То есть хочу и не хочу, безжеланные такие желания. С тех самых пор. А если через не хочу? Знаешь, в Пенсильвании есть городок, Intercourse называется. Новое имя Содома и Гоморры. Представляешь, чем его жители занимаются с утра до вечера и с вечера до утра?

– В другой раз как-нибудь, – сказала я уклончиво, забыв о твоем присловии, которое тут же и последовало:

– Другого раза не будет.

– Для тебя. А для меня будущее всегда впереди.

И вместо вертевшегося на языке: «А если ты помрешь на мне от натуги?» (как и произошло, метафорически выражаясь, – слава богу, не со мной) – смягчила, как могла, отлуп:

– Ты не подходишь мне по возрасту, я тебе – по имени.

Намек на лингвистический принцип, который срабатывал у тебя на сексуальном уровне: делал стойку на любую деваху с именем той – изначальной, главной, единственной, которую ты назначил своей женщиной и музой, а она взбунтовалась против крепостной зависимости. Нулевой вариант, предтеча, Первая Ева, Лилит, а настоящей Евы так и не дождался. Одним словом,

демониха и роковуха.

– По имени как раз подходишь: где Марина, там и Арина. Одна буква, плюс-минус, всех делов!

И тут же зашел к вопросу о нашей гипотетической близости с другого конца.

– В мои лета не желание есть причина близости, а близость – причина желания.

– В мои – наоборот. На кой мне твои безжеланные желания! А возраст у тебя в самом деле для этих дел не очень шикарный, – вставляю одно из любимых твоих словечек.

– Много ты знаешь, пигалица! Мой друг Уистен (указание, что был накоротке с Оденом, с которым знаком был шапочно и кратковременно, всего за год до смерти последнего, да еще языковая преграда – английский у Иосифа в то время был пусть не на нуле, но в зачаточном состоянии) очень точно на этот счет выразился: никто еще не пожалел о полученном удовольствии. Сожалеют не о том, что поддались искушению, а о том, что устояли.

– Как знать! – ответила многопытная ягница, и ты расхохотался.

Вот тогда ты и предложил мне:

– Не хочешь быть моей герлой, назначаю тебя моим Босуэллом.

– Это еще кто такой?

– Про Сэмюэля Джонсона слыхала? Босуэлл был ему друг и сочинил его жизнеописание.

– А как насчет Светония? Жизнь тринадцатого цезаря?

– Тебе все смех*ечки и пи*дихаханьки, – огрызнулся ты и вкратце ознакомил со своими соображениями о латинских мраморах и их реальных прототипах, которые неоднократно варьировал в стихах, пьесах, лекциях и эссе, вплоть до мрамора, застрявшего у тебя в аорте из предсмертного цикла.

А знакомством с великими мира сего продолжал гордиться даже после того, как сам примкнул к их ареопагу, а некоторых превзошел:

«Только что звонил мой друг Октавио…», «Получил письмо от моего друга Шеймаса…», «Должен зайти мой друг Дерек…» – литературная викторина, читатель, продолжается, из легких. А уж про тех, у кого титул, и говорить нечего: «Мой друг сэр Исайя», – говорил ты чуть не с придыханием (после следовала пауза, чтобы оценили) о довольно заурядном британце русско-рижско-еврейского происхождения, единственная заслуга которого перед человечеством заключалась в том, что он заново ввел в литературный обиход слова Архилоха о лисах и ежах.

Печалился, что нет ни одной твоей фотки с Ахматовой, которую не поделил с Найманом («Можно подумать, что АА – личное Толино достояние»), – кроме той знаменитой, где стоишь, сжав рукой рот, над ее трупом. Всякий раз призывал меня «с аппаратурой» на встречи с Барышниковым, Ростроповичем, Плисецкой и прочими, хотя не уступал им в достижениях, но поприще их деятельности соприкасалось с масскультурой, а твое – нет. Комплекс недоучки, я так думаю. Шемякин, мой основной работодатель, и вовсе помешан на знаменитостях: снимается со всякой приезжей швалью из шестидесятников, которые ему в подметки не годятся, включая власти предержащие. Когда там у них, в России, была чехарда с премьерами, он ухитрился сфотографироваться с каждым из них – от Черномырдина до Путина, с которым с тех пор по корешам. Над ним, понятно, по этому поводу насмехались, а он отшучивался: «Промискуитет по расчету». В самом деле, он же еще и скульптор, от госзаказов зависит.

– И все-таки жаль, что я не балерина, – шутанул как-то ты, а всерьез предлагал продавать сборники стихов в супермаркетах и держать их в отелях и мотелях наравне с Библией, которая тоже суть (не моя, а твоя грамматическая вольность) стишата: не лучше не хуже прочей классики. С твоей подачи (или при твоем непосредственном участии?) в нью-йоркском сабвее появились сменные плакатики с логотипом «Poetry in Motion» и стихами Данте, Уитмена, Йейтса, Фроста, Лорки, Эмили Дикинсон, пока не дошла очередь до застрельщика. Ты в это время как раз был на взводе, что с тобой в последнее время случалось все реже и реже, и тиснул туда довольно эффектное двустишие:

Ты, парень, крут, но крут и я.
Посмотрим, кому чья будет эпитафия.

И вот звонишь мне в сильном возбуждении:

– На выход. С вещами.

То есть с техникой.

Ну, думаю, опять знаменитость. Прокручиваю в уме знакомые имена, тужась вспомнить, кто жив, а кто помер. Пальцем в небо. А тогда коп при регалиях – прочел стишок в сабвее и явился за разъяснением: кому адресовано, спрашивает.

– А ты как думаешь?

Вопросом на вопрос.

– Тирану.

Исходя из того, что Бродский – русский, да еще поэт и еврей, а в России тирания.

– Нет, коллеге.

И исходя уже из личного опыта:

– Поэт – тиран по определению.

Коп над разъяснением задумался еще крепче, чем над стишком, – не ожидал, что меж русскими писателями такие же разборки, как среди криминалов. Ты гордился этим полицейским читателем – больше, чем другими. Как представителем, с одной стороны, народа, а с другой – власти. Почитал обоих: уважение вперемешку со страхом, привитые с детства, несмотря на романтические наскоки и усмешки.

Единственный мой снимок, который повесил у себя кабинете. Как символ триединства.

Помимо моей фотки от этой исторической встречи остался еще подаренный копом полицейский фонарик, с которым ты не расставался в своих италийских скитаниях, направляя его прожекторный луч на фрески и картины в полутемных церквах.

Двустишие это обросло комментариями: кому оно посвящено?

Я знаю доподлинно и в надлежащем месте сообщу. Или не сообщу – по обстоятельствам: в зависимости от контекста и надобности. А пока что: зря ты хорохорился. Ты обречен был проиграть в том споре – и проиграл: моська одолела слона. И тот, кто тебя на этот стих подзавел, сочинил эпитафию, самую лживую и отвратную из всех. Если бы ты прочел, в гробу перевернулся.

Единственный, кого ты пережил из гипотетических антагонистов этого стишка, чему сам страшно удивился: Довлатов. Довлатов, думаю, удивился бы еще больше, узнав, что он, Сережа, умер, а Бродский все еще жив и даже сочинил ему эпитафию. Ведь он заранее занял место на старте будущих вспоминальщиков о Бродском, а ты к месту и не к месту прощался в стихах и в прозе с жизнью, на что у тебя имелись веские физические показания. Сережа и не скрывал, что книжка о тебе на случай твоей смерти, а та казалась не за горами, у него уже вся готова: «Вот здесь», – и показывал на свою огромную, как и все у него, голову.

А оказался единственным, кому не довелось литературно, то есть профессионально воспользоваться смертью Бродского, которого он обогнал сначала в смерти, а благодаря ей – в славе.

Говорю о России.

Интересно, дано Довлатову знать это там, за пределами жизни? Или это все суета сует и жизни мышья беготня перед лицом вечности, да и есть ли та на самом деле – под большим вопросом.

– Вот все кручинятся по поводу ранней кончины Довлатова,

да? – Разговор через пару недель после Сережиной смерти. – Во-первых, не такая уж ранняя: 49. Лермонтов вполовину меньше прожил, да и Пушкин умер на 12 лет раньше. Но и им сочувствовать не след – это вовторых. Скорее – завидовать их везению. А Сереже и повезло и не повезло – слишком долго жил. По сравнению с Пушкиным и Лермонтовым.

– А по сравнению с Толстым?

– Ну, ты загнула! А что граф в последние десятилетия сочинил?

Сплошь лажа. Вздорный был старик, сколько крови всем попортил. Если 70 – библейская норма жизни, то остальные годы – заемные, да?

Похищенные у природы. Зачем продлевать жизнь, зачем влачить жалкое существование, зачем пародировать самого себя. Жизнь, как басня, ценится не за длину, а за содержание.

– Сенека, – с ходу выдала я.

– Умирать надо молодым.

– Как и жить, – говорю.

Мгновенно:

– Вот как рождаются афоризмы: умирать, как и жить, надо молодым. Увы, я уже вышел из возраста, когда умирают молодым.

Ты знал, что плакальщицы и плакальщики по тебе давно уже приведены в состояние наивысшей боевой готовности.

Рассказывал, как Раневскую спросили, почему она не напишет воспоминания об Ахматовой. «А она мне поручала? – огрызнулась Раневская. – Воспоминания друзей – посмертная казнь».

– Это бы еще полбеды, – продолжал ты. – А как насчет воспоминаний шапочных знакомых и даже незнакомых, которые будут клясться в дружбе с покойником? Как говорила та же АА: его здесь не стояло.

Хрестоматийный пример: ленинское бревно. В том субботнике его с вождем тащили мильоны. Судя по воспоминаниям. Так и представляю поток посмертных воспоминаний обо мне: «Я с ним пил», «Я с ним спала», «Я ему изменяла», «Он мне сломал жизнь». Обиды, реванши, фэнтези, фальшаки. Лжемемуарный курган, а под ним надежно запрятаны стихи, до которых потомок уже никогда не докопается. Конец света!

Вот этой смерти я и боюсь больше, чем физической. De mortuis nil nisi bene – почему?

– Почему? – вторит тебе Эхо. Которая нимфа. – Лучше тогда: о живых или хорошо, или ничего. Мертвым не больно.

– Ты откуда знаешь, пигалица! Может, им больнее, чем живым.

Мертвецам не подняться из гроба и не встать на свою защиту. Господи, как мертвые беспомощны перед живыми! Я бы запретил сочинять мемуары про покойников, коли те не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Как говорил сама знаешь кто: дальнейшее – молчание. Если мертвецам не дано говорить, то никто из живых не должен отымать у них право на молчание. Коли зуд воспоминаний, вспоминай про живых. Нормально?

– А как насчет некрологов?

– Что некрологи! Визитные карточки покойников. На зависть живым! Если вдуматься, человек всю жизнь пашет на свой некролог.

А знаешь, что некрологи на всех знаменитостей написаны в «Нью-Йорк таймс» впрок и лежат в специальном «танке», дожидаясь своего часа, как сперматозоиды гениев. Мой – в том числе.

Как всегда в таких случаях, сделала глаза-колеса.

Хихикнул.

– Ты же понимаешь, я не об этих живчиках, будь неладны, до сих пор отвлекают. У них там, в редакции, есть даже штатный некрологист.

Подвалил как-то ко мне с вопросником, не скрывая шакальего некрофильства. Я ему: «Дай прочесть!» Ни в какую! Гробовых дел мастер, замеры делал! А сам возьми да помри через полгода. О чем стало известно из некролога в той же «Нью-Йорк таймс». Сам же и сочинил загодя, в чем честно в собственном некрологе признался. Юморевич фамилия.

Из наших.

Имея в виду понятно кого.

– А почему бы тебе, дядюшка, тоже не сочинить себе некролог загодя, пока есть такая возможность?

– Пока не помер?

– Хоть бы так, – говорю.

– Был прецедент. Эпитафия себе заживо. Стишок. Князь Вяземский написал в преклонны годы.

– Тем более. Возьми за образец. Коли ты другим отказываешь в праве писать о себе.

– С чего ты взяла? Я не отказываю. Вранья не хочу.

– А правды?

– Правды – боюсь.

И добавил:

– От себя прячусь. Всю жизнь играю с собой в прятки.

– Не надоело?

– Голос правды небесной против правды земной, – напел ты незнамо откуда взятые слова на знакомый мотивчик. – В детстве мечтал стать летчиком и, знаешь, в конце концов стал им. Выражаясь фигурально. Почему летчиком, а не танкистом? Механизм ясен? Чтобы глядеть вниз из-за облаков. Что я теперь и делаю. Я не о славе. Яркая заплата на ветхом рубище певца. Довольно точно сказано родоначальником, на уровне не хуже Баратынского, который лучше. Понимаешь, детка, я уже по ту сторону жизни, за облаками, и гляжу на земных человечков с высоты – нет, не птичьего, бери выше! – ангельского полета. Пусть они там – то есть здесь – обливаются слезами, что мне ваша земная правда, чувство вины и etc, etc, etc? Как говорил Виктор Юго, которого в России зачем-то переименовали в Гюго: пусть растет трава и умирают дети.

– Это называется по ту сторону добра и зла, – подсказала я.

– Что делать, искусство требует жертв. Погляди на меня – что осталось от человека? Ради искусства я пожертвовал собой…

– …и другими.

– И другими. Искусство превыше всего. Человеческие трагедии – его кормовая база. Мы унаваживаем почву для искусства.

Думал ли ты так на самом деле или только так говорил?

С одной стороны, прижизненная слава, конечно, кружила голову, внюхивался в фимиам, кокетливо отшучивался: «Там, на родине, вокруг моей мордочки нимб, да?»

– Дядюшка, а твоя фамилия случаем не Кумиров? – спрашиваю. – Ты сам с собой, наверное, на «вы», как Довлатов с тобой.

С другой стороны, однако, опасался, что после смерти, которую напряженно ждал вот уже четверть века и навсегда прощался с близкими, ложась на операцию геморроя или идя к дантисту, слава пойдет если не на убыль, то наперекосяк, что еще хуже.

Сам творил о себе прижизненный миф и боялся, что посмертно твой собственный миф будет заменен чужим, сотканным из слухов и сплетен.

– Стишата забудутся, а мемуары незнакомцев останутся. Ужас.

– Но не ужас, ужас, ужас!

Анекдот из его любимых – про бля*ей*.

Ухмылялся:

– Предпочитаю червей мухам.

Мухи над твоим будущим трупом начали кружить задолго до смерти. В Израиле то ли в Италии, а может, и там и там,

поставили про тебя спектакль, так ты трясся от возмущения:

– Какой-то сопливый хлыст с моим именем бегает по сцене и мои стихи под ладушки читает. Каково мне, когда сперли мое айдентити!

Раз психанул и выгнал одного трупоеда: еле оторвал – так присосался. Тот успешно издавал том за томом сочиненные им разговоры с покойными знаменитостями, невзирая, что некоторые умерли, когда он был еще в столь нежном возрасте, что ни о каких беседах на равных и речи быть не могло (как, впрочем, и позже), а к тебе стал подступаться, не дожидаясь смерти. Ты как-то не выдержал:

– А если ты раньше помрешь?

Грозил ему судом, если начнет публиковать разговоры, но тот решил сделать это насильственно, явочным путем, игнорируя протесты:

– Трепались часа три в общей сложности, от силы четыре, а он теперь норовит выпустить двухтомник и называет себя Эккерманом.

– Он что, тебя за язык тянул? – сказал папа. – Никто тебя не неволил. Не хотел бы – не трепался. Жорж Данден!

– Как ты не понимаешь! В вечной запарке, в голове за*б, особенно после премии – сплошная нервуха. Не успеваю выразить себя самолично, письменным образом. Вот и остается прибегать, прошу прощения за непристойность – воробышек, заткни уши! – к оральному жанру. Лекции, интервью, все такое прочее. А там я неадекватен сам себе. Написал в завещании, чтоб не печатали писем, интервью и раннего графоманства. Шутливые стихи на случай – сколько угодно.

К примеру, который про воробышка. Ничего не имею против. Даже наоборот.

– Что до самовыражения, ты уже исчерпал себя до самого донышка, – сказала мама, которая присвоила себе право резать правду-матку в глаза. Зато за глаза могла убить человека, тебя защищая.

– Пуст так, что видно дно, – без ссылки на Теннисона, но нам круг цитируемых авторов был более-менее знаком, хотя и нас нет-нет да ставил в тупик. – Ты это хочешь сказать?

– Не слишком рано ты занялся самомифологизацией? Хотя это уж точно не твоя прерогатива. А с Соломоном, пусть и паразит, вел себя, как нехороший мальчик.

– У него после того самого трепа с вами весь организм разладился, – выдал справку тогда еще живой Довлатов, а тот сам словно аршин проглотил в твоем присутствии. – Месяцами приходил в себя.

– Он не имеет права писать обо мне как о мертвом. Пусть дождется моей смерти. Недолго осталось.

– Я бы на вашем месте был счастлив, – сказал Довлатов почтительно. – Если он Эккерман, вы – простите – Гёте.

Сергуня был тонкий льстец. Он доводил прижизненные дифирамбы до абсурда, который, однако, не дано заметить обольщаемому лестью.

«Он не первый. Он, к сожалению, единственный» – вот одна из печатных нелепиц Довлатова про тебя, которая тебе так понравилась. Вот уж расстарался, так расстарался!

– А как же остальные, включая Довлатова? – вякнула я.

А один общий знакомый – из бывших, твой бывший близкий друг, а теперь смертельный враг Дима Бобышев – и вовсе рассвирепел:

– Что значит – единственный? Что за холуяж! Вот уж лизнул, так лизнул. Креативно лизнул. До самых гланд!

Но Довлатова было уже не остановить: доведя свою мысль-лесть до абсурда, сам абсурд Сергуня возводил в некую степень: лесть становилась все изощреннее, абсурд – соответственно – еще абсурднее. Альбом снимков знаменитых русских с анекдотами про них Довлатов выпустил под названием «Не только Бродский» – в том смысле, что и другие тоже, хотя его одного хватило бы для этой воображаемой доски почета русской культуры. Один портрет на всю доску. Даром что Иосиф, в честь которого тебя назвали.

Само собой, изощренная эта лесть тебе льстила, не говоря уже о том запредельном эффекте от противного, когда этот верзила, который мог тебе запросто врезать в рыльник, отправив в нокаут с первого удара, кадит тебе и пресмыкается.

Довлатовские габариты не давали Иосифу покоя, и время от времени он проходился на их счет: «2 м × 150 кг = легковес», имея в виду его прозрачную, легкую, ювелирную прозу. На самом деле до двух метров не хватало четырех сантиметров, а вес ты и вовсе гиперболизировал, скруглил. Да и главная причина этого настороженно-реваншистского отношения к Сергуне была в другом. См. ниже.

– С его цыплячьим умишком? – кипятился Бродский по поводу Эккермана. – Поц он, а не Эккерман. Если б только обокрал, так еще исказит до неузнаваемости. Как принято теперь говорить, виртуальная реальность. Выпрямит, переврет, сделает банальным и пошлым. Пес с ним! А воспоминания друзей! Плоский буду, как блин.

– Могу тебя успокоить. Из нас никто не напишет про тебя ни слова, – сказала мама. – Если, конечно, переживем тебя, а не ты

нас.

– Еще чего!

– Всё возможно.

– Теоретически.

Я промолчала, хотя и не собиралась сочинять гипотетический мемуар на случай твоей смерти. Но от слова свободна. Да и не мемуары это вовсе, а роман, хоть и пишу по воспоминаниям.

Иосиф в Египте

Взбесившийся официант!

ИБ про Лимонова

На мой взгляд, это – дурной человек, негодяй, – это мое личное ощущение, основанное на личном опыте, – но, кроме того, это чрезвычайно вредная фигура на литературном и политическом горизонте. И состоять с ним в одной организации я просто не считаю для себя приемлемым.

ИБ про Евтушенко

Вознесенский – это явление гораздо более скверное, гораздо более пошлое. В пошлости, я думаю, иерархии не существует, тем не менее Евтушенко – лжец по содержанию, в то время как Вознесенский – лжец по эстетике. И это гораздо хуже.

ИБ про Вознесенского

……..
……..

ИБ про Бобышева

…Кушнер, которого я до сих пор ставлю ниже остальных, хоть он и был очень популярен и еврей…

Посредственный человек,
посредственный стихотворец…
Крошка Цахес, он же – Тохес.

ИБ про Кушнера

Кажется, я поняла: твои дутые похвалы той же природы, что и твои огульные филиппики, пусть и с противоположным знаком.

Из последних: разгромная внутренняя рецензия на роман Аксенова и выход из Американской академии, когда туда избрали иностранным членом Евтушенко, а его не забывал до самой смерти: за два с половиной месяца до кончины затеял новую против него интригу, когда Евтушенко взяли профессором Куинс-колледжа и даже послал телегу его президенту. Отрицание на типовом уровне – как самого известного из шестидесятников-сисипятников, которому к тому же удалось сочетать официозность с диссентом? Давнишняя та обида – что Евтух, когда с ним советовались в гэбухе, посодействовал твоему перемещению из обреченной державы в куда более перспективную, о чем ты сам мечтал с младых ногтей? Или все-таки соперничество? Хоть и поэты разных весовых категорий, но Америка – не тот ринг, где зрители и рефери способны в этом разобраться. Для здешнего культурного истеблишмента вы оба – представители русской культуры в Новом Свете, два ее полномочных посла. Две статуи в довольно тесной нише, которая сужалась все более из-за потери интереса к России после того, как та перестала быть империей зла. Оказаться в одном городе – ты преподавал в Колумбии, Евтушенко в Куинс-колледже – с твоей точки зрения, полный караул.

– А почему ты не отказался от Нобелевки в знак протеста, что ее давали разным там Иксам и Игрекам? – спросил папа. – Тому же Шолохову?

– Есть замечательное русское выражение…

– Рядом… – начали мы хором, зная наизусть все замечательные русские выражения, которые ты употреблял-злоупотреблял и называл инородной мудростью.

– Не сяду. Как и с Вознесенским. Близнецы-братья. Два братадегенерата. Вот и пусть сидят рядом. Я – пас. Гусь свинье не товарищ.

Улетаю, улетаю. Шутка.

Сноска-справка прямо в тексте. Это из лагерной байки про зэкаконферансье, он обращается к аудитории «Товарищи…», а майор из зала: «Гусь свинье не товарищ», на что конферансье и говорит: «Улетаю, улетаю» – и скрывается за занавесом. История, которую мы от тебя слышали тысячу раз.

Потом ко мне лично:

– Как это ты, солнышко, говорила в далеком, увы, детстве? «Посмотрите на их личи». Личи – не скроешь, на то они и личи. Конец света.

Неужто я так хорошо говорила? Ты меня любил цитировать – собственные перлы помню благодаря тебе. Например: «Самолеты ходят по небу, как мухи по стеклу». Или про себя: что я «маля». На что язвамама добавляла: «Умом!» Кто ценил мой дар косноязычия, так это ты.

Если б не эмиграция! Какой талант пропал! Разве что этой книгой наверстаю, хотя все время тянет перейти на английский.

А ссылка на личи, хоть и плагиат – очень в твоем духе. Человека ты воспринимал на физиологическом уровне – всеми порами, ухом, глазом, ноздрей, разве что не облизывал! И всегда полагался на первое впечатление, ни шагу в сторону, мог повторить характеристику, данную при первовстрече, спустя десятилетия.

– Личи и в самом деле – не приведи Господь! – продолжал ты с видимым удовольствием. – Вознесенский с годами все больше походит на хряка, Евтух – чистая рептилия, Бобышев – замнем для ясности, у Кушнера – мордочка взгрустнувшего дебила, у Лимошки гнусь на роже проступает как сыпь. Идем дальше?

Стоп, s.v.p.! А то никого не останется. Ищу человека: ау! Даже подыскивая пристанище в Нью-Йорке «дружбану» Рейну, объяснял знакомым, почему не поселяет у себя: «Женюру люблю, но нобелевскую медаль сопрет – без вопросов».

Есть дамы прекрасные во всех отношениях, но не писатели. Совсем наоборот: монстр на монстре и монстром погоняет. Тот же Гоголь, который про дам сочинил, жестоко мучил животных. Некрасов – картежный шулер. А Лермонтова взять! Скольких людей он бы еще обнесчастил злым языком и дурным характером, кабы не Мартынов: доведенный оскорблениями, вызвал на дуэль и убил в честном поединке, прекратив поток безобразий. Про личи и говорить нечего, хоть мы к ним и привыкли.

Всмотритесь в лицо Достоевского: наполовину – лицо русского крестьянина, наполовину – физиономия преступника: приплюснутый нос, маленькие, буравящие тебя насквозь глазки и нервически дрожащие веки, большой и словно бы литой лоб, выразительный рот, который говорит о муках без числа, о бездонной печали, о нездоровых влечениях, о бесконечном сострадании, страстной зависти! Он великий художник, но отвратительный тип с мелкой и садистической душонкой.

Это не я пишу, что и по стилю видно, а датский критик Георг Брандес, которого ты незнамо откуда выкопал, немецкому философу Фридриху Ницше.

Представим теперь Достоевского соседом по квартире! Даже по лестничной площадке. Так это всё классики, а что взять с современников? У тебя у самого лик святого, что ли? Нимб вокруг головы? Как бы не так! Лучше и вовсе не знать вашего брата лично, а любить на расстоянии – читая книжки. Тот же Лимонов. Помню, как-то защищала его от Довлатова, а Сережа говорит: «Вы с ним ближе сойдитесь!» Спрашиваю: «По корешам или как с мужиком?» Этот вопрос Сережу то ли смутил, то ли обидел. Мне повезло – знала обоих шапочно. В отличие от тебя. Тем не менее хочу уточнить кое-что в твоих отношениях с Лимошкой, как ты стал его называть после разрыва.

На раннем этапе его заграничных мытарств ты ему потворствовал – с твоей подачи в мичиганском «Ардисе» вышла его первая книга плюс подборка стихов в «Континенте» с твоим предисловием. И хотя ты терпеть не мог знакомить одних своих знакомых с другими, свел Лимонова с нью-йоркскими меценатами Либерманами, главным твоим тяни-толкаем в вознесении на мировой литературный олимп, Нобельку включая. «Смелости недостаточно – нужна наглость» – один из любимых тобой у Ежи Леца афоризмов.

Лимонов, однако, отблагодарил тебя посмертно не за покровительство, а за бабу, которую ты ему передал со следующим напутствием:

– Можешь ее вые*ать, ей это нравится. У меня для такой кобылы уже здоровье не то.

Ссылкой на нездоровье и даже импотенцию осаживал осаждающих тебя кобыл, кобылок и кобылиц.

Отношения с Лимоновым не сложились, причин тому множество.

Одна из: он не из породы управляемых. Тем более – покровительствуемых и благодарных. А для тебя покровительство было одной из форм самоутверждения в пред– и особенно в постнобелевский период. Когда Довлатов взмолился: «Унизьте, но помогите», это была не просто адекватная, но гениальная формула твоей доброты к соплеменникам. Однако в отличие от Довлатова, который из породы самоедов и готов был стелиться перед кем угодно, Лимонов не принял бы помощь, которая его унижала. Либо принял бы, а в благодарность укусил, а то и откусил руку дающего. Честолюбие распирало его, литературные претензии и амбиции были ничуть не меньше твоих при куда меньшем потенциале. Потому и приходилось добирать

внелитературными средствами что не додала литература, с которой он в конце концов завязал, обозвал на прощание пошлой нае*аловкой и пустился во все тяжкие военно-политической авантюры, писательству предпочтя армейский прикид и автомат Калашникова. Уже за одну эту измену литературе его следовало посадить, но посадили его, увы, за другое. Потом выпустили, и в конце концов он примкнул к патриотической истерии. Когда ты вытравлял в себе «политическое животное», не гнушаясь им, впрочем, но используя исключительно в языковых целях в стиховых гротесках, Лимонов всячески его в себе лелеял, пока не взлелеял политического монстра. Но я все-таки думаю, что политика для него – одна из форм паблисити, перформанс, хеппенинг, пиарщина. И что потешная партия нацболов – пьедестал для ее дуче-изумиста. Но это уже за пределами твоей жизни – может, любопытно будет узнать, если у тебя есть возможность заглянуть оттуда в этот мой файл.

По поводу лимоновского изумизма – в ответ на мое «скандал в природе литературы» – ты, помню, говорил:

– Не других изумлять, а самим изумляться, ибо мир изумителен. – И повторил по слогам: – И-зу-ми-те-лен.

– А как же «красавице платье задрав»? – вспомнила я обидный для нас, девушек и б. девушек, стишок. – Лично я хочу, чтобы видели дивное диво. По-другому – не желаю.

– Если хочешь, эти стишата – изумление перед собственным изумлением. Что ты еще способен. Изумляться, трахаться – едино, – и приводил как пример изумления и страсти к Венеции эквестриана со стоячим болтом на Большом канале. – Alas, это чувство глохнет, атрофируется. Nil admirari – формула импотенции, хотя мой друг Гораций имел в виду нечто другое. Весь этот скепсис, мой включая, – не от хорошей жизни. Изумлять других хотят те, кто сам не способен изумляться. Изумист Сальвадор Дали, например, был импотент, мне Таня Либерман рассказывала, а ей сама Гала сообщила. Хочешь знать, тщеславие – это альтруизм, работа на публику. Талант, наоборот: высшая форма эгоизма и самоудовлетворения. То есть внутрь, а не вовне. Вот почему твой Лимонов – эпатёр, а не писатель.

Это ты задним числом оправдывая себя за историю с «Это я – Эдичка», когда, в ответ на просьбу редактора дать пару рекламных слов на обложку, с ходу стал диктовать по телефону:

– Смердяков от литературы, Лимонов…

Напрасно издатели отказались: негативное паблисити могло бы сыграть позитивную роль. Лимонов объяснял этот кульбит так: ты помогал соплеменным литераторам в русских изданиях, но боялся конкуренции в американских – пытался приостановить

публикацию поанглийски романов Аксенова, Аркадия Львова, Саши Соколова. В долгу перед тобой он не остался и обозвал «непревзойденным торговцем собственным талантом» и предсказал – как в воду глядел! – что «в конце концов, с помощью еврейской интеллектуальной элиты города Нью-Йорка, я уверен, Иосиф Александрович Бродский получит премию имени изобретателя динамита» (цитирую дословно). Вот тогда ты его и пригвоздил: «Взбесившийся официант!» и иначе как шпаной с тех пор не называл. Бросал брезгливо: «Гнилушка». Посмертно Лимонов взял у тебя реванш и выдал целый каскад антикомплиментов: бюрократ в поэзии, поэт-бухгалтер, сушеная мумия и проч. и проч. Теперь, надеюсь, вы квиты?

Суть этого конфликта, мне кажется, вот в чем: тунеядец, тля, трутень, пария, чацкий, городской сумасшедший в Питере, ты стал в изгнании членом всемирного литературного истеблишмента, тогда как Лимонов был за его пределами, застрял в андеграунде, да так и остался навсегда лимошкой и шпаной. А шпанистость была ему присуща изначально и осталась до сих пор. Человек обочины, возмутитель спокойствия, анфан террибль, отброс общества, он всегда на стороне аутсайдеров – сам аутсайдер. Выдает за личный выбор, ссылаясь на французский опыт.

Оказавшись за бортом американской жизни, Лимонов эмигрировал из Америки во Францию (в обратном направлении проследовал Шемякин, его приятель и мой работодатель; как пишет Лимонов, обменялись столицами) – причем овладел французским настолько, что стал французским журналистом, а мог бы и писателем – кончил бы жизнь академиком. Так он сам считает. Сомнительно. На самом деле это горемычная его судьба – быть подонком среди подонков. Всюду: в Харькове, в Москве, в Нью-Йорке, в Париже, опять в Москве.

Пусть Смердяков от литературы, но Лимонов сам обнаруживает в себе столько монструозного, что уже одно это говорит о его писательской смелости. Он и в самом деле похож на героев Достоевского, необязательно на Смердякова, но в отличие от тебя я ставлю это ему в заслугу. В героях Лимонова – полагаю и в нем самом – гнидства и подонистости предостаточно, он падок на все, что с гнильцой, с червоточиной, но пусть бросит в него камень тот, кто чист от скверны и сам без греха. Знаешь, как Соловьев назвал статью о нем? «В защиту немолодого негодяя», перефразируя название его собственной повести «Молодой негодяй».

– Ты что, единственный в мире судья? – спросила как-то, когда ты выдал очередную филиппику против Лимонова, а он

тебе покоя не давал.

– А кто еще? – последовал наглый ответ.

В чем я уверена, автобиографическую прозу Лимонова нельзя принимать за чистую монету. Литературный персонаж, пусть даже такой вопиюще исповедальный, как Эдичка, не равен его создателю Эдуарду Лимонову. Вопрос будущим историкам литературы: где кончается Эдичка и начинается Лимонов? Кто есть Лимонов – автобиограф или самомифолог? Что несомненно: из своей жизни он сотворил житие антисвятого. Как отделить зерна от плевел, правду от вымысла? Ради литературы он готов возвести любую на себя хулу.

Я, например, склонна верить не Эдичке, а Эдуарду Лимонову, когда он позднее стал открещиваться от героя в самой скандальной сцене своего первого романа: в изнеможении несчастной любви отдается негру в Центральном парке. Лимонов выдает теперь эту сцену за художественный вымысел. Вот абзац из его пасквиля «On the Wild Side» – о художнике Алексе, подозрительно смахивающем на моего Шемяку:

*Алекс знал, по меньшей мере, одну из моих жен, но почему-то упорно продолжает держать меня за гомосексуалиста. На людях. Я никогда особенно не возражаю: после выхода моей книги «Это я – Эдичка» многие в мировом русском комьюнити считают меня гомосексуалистом. Однажды, я был как раз в обществе Алекса в тот вечер, мне пришлось дать по морде наглецу, назвавшему меня грязным педерастом. В русском ресторане в Бруклине. Я сам шучу по поводу моего гомосексуализма направо и налево. Но не Алексу, по секрету рассказавшему мне как-то, как его еще пятнадцатилетним мальчиком совратил отецнастоятель в русском монастыре, меня на эту тему подъе*ывать.*

Вот что я думаю. Адепт «грязного реализма», скандалист и сквернослов, Лимонов не стал бы отмежевываться ни от какой грязи – он достаточно долго прожил в Америке и Франции, чтобы досконально изучить механику негативного паблисити и эпатажной славы: скандал лучше забвения, подлецу все к лицу, рвотные сцены в его духе. А главное, Лимонов такой бешеный женолюб – не только в подробно описанной им любви к Елене Щаповой, но и в деперсонализированной похоти к нерожалым бабенкам с тесным влагалищем, что представить его за голубым делом лично для меня невозможно – даже в качестве сексуальной двухстволки или единичного эксперимента. Но сюжетно и композиционно – как знак отчаяния любви – эта шокирующая сцена позарез необходима, художественно и эмоционально, как

своего рода катарсис. Что же касается ее правдоподобия, здесь все говорит в пользу Лимонова-писателя. Именно: над вымыслом слезами обольюсь…

Вот где вы с ним сходитесь, как параллельные линии за пределами Эвклидова пространства: в горячей точке отвергнутой любви. Потому я и задержалась на Лимошке. Поверх этих внешних различий, на самой глубине, по существу между вами разительное сходство. Я не о вождизме и не о самцовости, которые, если их вывернуть наизнанку, совсем наоборот, от униженности и комплекса неполноценности, но о прямых любовных аналогиях. Оба потерпели сокрушительное поражение в любви и оповестили о том urbi et orbi, устно и письменно, в стихах и прозе.

Можно и так сказать: любовное унижение сформировало вас – одного как поэта, другого как прозаика: раненое ego. Одна и та же механика творческого сублимата: унижение в жизни – выпрямление в литературе. Литература как замещение и реванш. Не знаю, как в жизни – об этом у нас еще будет возможность покалякать в соответствующей главе, – но творчески лучше быть влюбленным, чем любимым.

Прошу прощения за этот утилитарный подход, конечно, но скольких шедевров мы бы не досчитались, сложись любовь иных художников счастливо. А скольких – гипотетически – не досчитались! Что, если у тебя инстинкт литературного самосохранения притупился, а у Лимонова-Смердякова развит лучше и продлился дольше, пока он не запродал душу дьяволу политики со своей запретно-потешной партией во славу, опять-таки скандальную, ее лидера? Вот он, мятежный, и ищет бури и счастия бежит.

Может быть, потому вы и разошлись, не узнав друг в друге товарища по несчастью?

Был у тебя и другой случай неузнавания самого себя, из-за чего мы с тобой разбежались незадолго до твоей смерти. До сих пор гложет. А тебе в той новой среде, где ты обитаешь, все, наверное, по барабану? Никакого оживляжа. Никакой движухи.

В отношениях с коллегами тебя заносило то в одну, то в другую сторону.

Больше всего нас поразило, когда ты согласился сделать вступительное слово на вечере гастролера из Питера, которого там терпеть не мог – ни как стихоплета, ни как человека, ни как гражданина тем более. Это про него ты сказал: «Евреем можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Будучи сервилистом и приспособленцем, он припеваючи жил при любом режиме, был поэт на все времена и любые оправдывал. Само собой, ты делал

стойку при одном его упоминании.

Не говоря о виде. Демонстративно уходил посреди его чтения. Стойкая аллергия голодного на сытого. Не выносил ни литературно, ни человечески, ни физически – все тебя в нем отвращало. У общих знакомых всегда была проблема с днями рождения – кого звать в гости: обоих – испортить вечеринку.

И вот, на волне гласности и перестройки он одним из первых прилетел в Нью-Йорк и с треском провалил экзамен, который ты устраивал вновь прибывшим. И продолжал его проваливать в каждый свой новый наезд.

То есть ты, конечно, любил повторять, что проверка на вшивость тебе не по душе – потому хотя бы, что ее никто не выдерживает:

– Почти никто, – добавлял ты объективности ради.

Тем не менее проверки устраивал своим знакомым постоянно – по разным поводам. Мог, к примеру, поручить приятельнице расспросить прибывшего из Питера в Америку на вечное поселение Бобышева о своем киндере, а после того, как та, честно выполнив поручение и отчитавшись, ждет благодарности, порвать с ней. На ее слезные доводы, что сам же просил, раздраженно ворчал:

– А ты и обрадовалась! Могла бы отказаться. Никто тебя не неволил. А теперь дружишь с моим заклятым. Нарушила клятву верности.

Так вот, когда the Russians are coming, ты всех в обязательном порядке спрашивал, стоит ли тебе ехать на географическую родину, а потом знакомил нас с результатами опроса. Само собой, речь шла не о возвращении – о посещении. Сам ехать не собирался ни насовсем – «Не могу эмигрировать еще раз, да и не представить, как бы я там теперь жил после моего американского опыта. Что я там забыл?», ни туристом – «Туристом в страну, где вырос и прожил лучшие, хоть и худшие, годы моей жизни? Где похоронено мое сердце? Еще чего! На место преступления – всегда пожалуйста, но не на место любви». Вопросы интервьюеров на тему приезда отводил когда как: уклончиво – подождем, пока выйдет книга стихов, а то и резко – мое личное дело, куда мне ехать, а куда нет. Общественным мнением по данному вопросу живо, однако, интересовался. Кокетство? Розыгрыш? Провокация?

Экзамен?

Голоса москвичей разделились. Андрей Сергеев, самый альтруистский друг, отверг идею приезда как гибельную и сказал то, что ты хотел услышать: живым не выпустят, друзья и враги растерзают, как менады Орфея (образ тебе, однолюбу, любый). Питерцы, которые твою нобелевскую славу рассматривали как

коллективный успех и пеклись токмо о справедливом дележе, не просто советовали, но все как один требовали приезда, который должен был превратиться в их общий триумф, надеясь во имя твое выхлопотать гранты под журналы и фонды – сиречь, себе в карман. Из друга ты превратился для них в дойную корову.

Особенно для тех, кто никогда твоим другом не был. Как неназванный мной поэт, который превзошел всех в меркантильстве. У нас здесь говорят user. То есть меркантил – есть такое слово? Почище Наймана.

С ножом к горлу, хоть и тихой сапой. Попрошай и шантажер. Вымолил вступительное слово, а потом упросил выдать ему в печатной форме, и ты в качестве почтальона использовал Довлатова, только чтобы самому не встречаться еще раз. Корил тебя Ростроповичем – что тот регулярно наведывается в Россию и меценатствует с купеческим размахом; попрекал гамлетовой медлительностью, измышлял все новые поводы для приезда, не терпящие отлагательств.

– Одной поездкой тут не обойдешься. Рука дающего не скудеет.

Уже была образована комиссия по торжественной встрече и устройству твоих вечеров, которую он же и должен был возглавить. Прижизненная комиссия по наследству, считай. И даже когда ты совсем уже был плох, всего год тебе остался здесь, на земле, снова затеял с тобой долгий и теперь уже очевидно бессмысленный разговор о поездке, а когда ты сослался на здоровье, ткнул тебя поездками в Европу: «Даже в Финляндии был – до Петербурга рукой подать!»

И вот на этого приблатненного гэбухой литератора ты обрушил каскад похвал, хотя прочел текст скороговоркой, чтобы скорее отвязаться, сам чувствуя фальшь и стыдясь сказанного. И сразу смылся.

Имени не называю – не заслуживает. Кому надо – и так поймет.

Прозрачно.

– Ты с ума сошел! – изумилась тогда мама. – Разве не о нем ты говорил, что серый, как вошь? Что любовь к его стихам – стыд, позор и падение русского читателя?

– Я что, спорю? – огрызнулся ты. – Звезд с неба не хватает, да еще трусоват в придачу. Бздун.

– Трусоват – это в лучшем случае, – сказала мама. – Я бы сказала: подловат. Хуже Евтуха с Андрюхой – у тех хоть общественные заслуги, Бабий Яр, то да сё.

– Я что, дегустатор дерьма, чтобы сравнивать их амбре?

– «Сидит в танке и боится, что ему на голову свалится

яблоко», – процитировал папа Юнну Мориц.

– «Пьет бессмертие из десертной ложки», – это я, без ссылки на «Трех евреев».

– Противноватый, – согласился ты. – Слюнявчик. Самая выдающаяся посредственность русской поэзии. Знаешь, я всегда предпочитал плохих поэтов, но настоящих – хорошим, но ненастоящим. По гамбургскому счету, он не поэт вообще, а компилятор. Лучшие стишки у него – пересказ или имитация других. Паразитирует на чужой поэзии и чужих мыслях. Плагиатор. То есть воришка, да? Антология русской поэзии и мировой литературы. Без сносок. Но кому охота гонять по книгам в поисках первоисточника – что и у кого он сп*здил?

Чтобы быть поэтом, необходима как минимум личность, да? У него она отсутствует начисто. Это с одной стороны, до которой никому нет дела. А с другой – ну как не порадеть родному человечку! Как-никак еврей.

– Непостижимо! – воскликнула мама. – При чем здесь еврей?

– Ливрейный еврей, – уточнил папа. – Единственный на моей памяти, кому еврейство в помощь. Как что: еврея обижают. Любую критику в свой адрес объявляет антисемитизмом.

– А если критик сам еврей? – спросила я.

– Значит, клеветник и кагэбэшник, – сказал папа. – Как, к примеру, Соловьев.

– На самом деле он много мельче и гаже, чем Соловьев дал в «Трех евреях», – сказал ты, которого раздражало само сопоставление тебя с ним, пусть и в твою пользу, но как бы вровень. – Чему свидетельство как раз его носорожья реакция на «Трех евреев», где весь наш питерский гадюшник разворочен. Если Соловьев кагэбэшник, в чем сам тебе спьяну признался, как ты теперь утверждаешь, то почему, поц моржовый, ты тут же его не разоблачил перед общими знакомыми, а продолжал держать в друзьях как ни в чем не бывало и приглашать на дни рождения и прочие новые годы? Отстреливаться надо умеючи.

– А вся эта гнусь тебе вдогонку, что ты уехал с заданием! – подбросила добрая мама дров в костер, на котором у твоего мнимого друга уже лопались глаза от жара.

– Ну, на это я, положим, положил. Тем более прием испытанный, а он небрезглив в средствах. Холера ему в бок!

– Как он приободрился, когда ты укатил за окоем! – Это опять мама. – Vita nuova! Еще бы лучше, если бы ты помер.

– Почему ты не помер? – спросила я.

– Потерпи немножко, детка, недолго осталось.

Твой рефрен в последнее время, который, увы, не выглядел кокетством.

Тут взял слово папа и доложил о поведении слюнявчика в твое отсутствие:

– Тогда гэбуха и стала лепить из него официального поэта, в противовес тебе антибродского. Понятно, с его ведома и согласия. Пример толерантности властей: талант, интеллектуал, еврей, и никто не ставит ему палки в колеса. А твои неприятности – по причине собственной неуживчивости. От чего страдает Гамлет – от эпохи или от себя? Ты – Гамлет, сам виноват в своих несчастьях. И в чужих – тоже. В частности: в его. Он, конечно, на тебе зациклился, ты у него как бельмо в глазу. Каждый виток твоей тамошней славы – его личное несчастье. Твоя Нобелька – наповал, еле очухался. Да тут еще гласность – серпом по яйцам.

– Зато слухи, что тебе здесь не пишется, – для него как глоток кислорода. – Это мама. – А однажды – ты тогда лежал в больнице – позвонил нам и сказал, что вроде бы ты умер. По «Голосу» передавали.

Тихий ужас.

– Кого преждевременно хоронят, тот долго живет, – выдал папа, не стыдясь, прописную, хоть и не абсолютную истину, но мы его тут же простили, ибо желали тебе того же. – Казнить горевестника не за что, тем более если весть не подтвердилась. Вряд ли он сам ее выдумал.

– Да, на выдумку не горазд, – согласился ты. – Чужое подбирает.

Что плохо лежит.

– Или подворовывает, – сказала мама. – Гомункулус гэбухи, гомо советикус, поэт-совок.

Таков был ее окончательный приговор, обжалованию не подлежит.

Из нас единственная, мама была сторонницей смертной казни.

– Он не виноват, что я пережил слух о моей смерти, – вступился ты.

– Вот я и говорю: это ты во всем виноват, дядюшка Гамлет! Тебя не гложет твой еврейский guilt? Теперь нам понятно, почему ты спел ему осанну.

– Может, я его таким образом унизить хотел, да?

– Унизить? – удивилась мама. – Да ты ему путевку в вечность выдал. Он теперь будет размахивать твоей индульгенцией перед апостолом Петром.

– Не думаю. Атеист до мозга костей. В потустороннюю жизнь не верит.

– Так он здесь, на земле, свое возьмет, подключив тебя к своей земной славе. Ты еще будешь ему завидовать.

– Уже́, – сказал ты загадочно, но той же ночью все объяснилось – по телефону.

– А может, у тебя комплекс твоего библейского тезки, хоть ты и назван в честь другого Иосифа, который Виссарионович? – предположила я и мысленно уже назвала эту главу, хотя тогда ее еще в помине не было (как и самой книги), «Иосиф и его братья», имея в виду его коллег по поэтическому цеху – Евтушенко, Вознесенского, Лимонова, Рейна, Кушнера и прочих, но потом переделала – может, зря – на «Иосифа в Египте», то бишь в Америке – в лучах всемирной славы.

Папан-маман на меня воззрились, полный апофигей, а ты, как всегда, с полуслова:

– О чем мечтал Иосиф в Египте? Простить своих предателей, которые сбросили его в колодец, а потом продали в рабство, а он добился признания на чужбине, как я, да? – пояснил слова дочери ее родакам, хотя терпеть не мог пускаться в объяснения. – Пусть так. Что с того?

Ноу хард филингс. То есть незлопамятный, камня за пазухой не держу.

Я – поэт, а не читатель. Мне настолько не интересны чужие стихи, что уж лучше на всякий случай похвалю. Давным-давно всех обскакал, за мной не дует.

– Крутой лидер. Бродскоцентрист.

Мой подковыр.

– А портрет Иосифа Виссарионовича висел над моей детской кроваткой, и я, честно, не знал, кто мой отец родной – вождь народов или мой благоверный родитель?

– Простить предателя – это поощрить его на новое предательство, – сказала мама с пережимом в назидательность.

Как в воду глядела.

До тебя там, в новой среде, не дошло? Жаль все-таки, если покойники не знают, что о них пишут и говорят пока еще живые.

Среди твоих лжевспоминальщиков пальма первенства, безусловно, у него. Какая жалость все-таки, что у покойника нет возможности прочесть, что о нем вспоминают пока еще живые! Знаешь, что пишет этот махлевщик в своих фантазийных мемуарах? Только не переворачивайся, пожалуйста, в гробу, очень тебя прошу! Что ты носил его фотографию в бумажнике, и та вся истерлась – так часто ты ее вынимал, чтобы еще раз глянуть в любимое лицо. Что даря транзистор «Сони», пообещал: «Я скоро умру – и все будет твое». Что на поздравление с Нобелькой ответил: «Да! Только в стихах – чернуха. И чем дальше, тем черней». Жаловался, что не с кем перекинуться словом, а тем более о стихах – только с ним. Ты у него в роли

Державина, а сам он, понятно, Пушкин, тем более тезки, да и фамилии странным образом аукаются:

Александр Пушкин – Александр Кушнер.

Фу, проговорилась!

Так вот, несмотря на то что старше тебя на четыре года, но именно ты, как Державин некогда Пушкина, благословляешь его, в гроб сходя, на царствование в русской поэзии. Может, он впал в детство? Или всегда был на таком ясельном уровне? Взгрустнувший даун, как ты его припечатал однажды. А все эти параллели между ним и тобой – не в твою, понятно, пользу: что он вынужден был ишачить школьным учителем в юности, а ты ради хлеба насущного учительствовал до самой могилы.

Или описывает твою крошечную полуподвальную квартирку на Мортон-стрит – какое сравнение с его питерскими хоромами! И в том же духе. Вот и крещендо: мы-то думали, что у него там сплошь нобелевские премии и оксфордские мантии, а ему – то есть тебе – было плохо, плохо! – повторяет он как заклинание.

Если будешь так ерзать, непременно угодишь в соседнюю могилу, а там сам знаешь кто: Эзра Паунд!

Тем более эту волынку – что тебе плохо – он затянул на следующий день после твоего отъезда из Питера: как доказательство, от обратного, своего modus vivendi. Понимаешь: чем тебе хуже, тем ему лучше. И наоборот.

Первое его везение – твой отвал из Питера, но главное – из жизни.

Смерть как источник вдохновения. Но почему, почему, почему ты не умер раньше – до того, как сочинил против него этот злое*учий стишок-диатрибу? Знал бы ты, как он теперь от него защищается! То есть от тебя. Какое бздо напустил!

– В чем дело? Я что же, избегал его? Забыл его после отъезда? Не посылал ему книг? Не хоронил его отца? А где был он, когда меня громили в газете «Смена» и журнале «Крокодил»? Или в 1985 году, когда меня обругали в центральной «Правде», – и это было замечено всеми, только не им? Мог бы заступиться по западному радио.

А что, если он в самом деле не понимает истинных причин твоего стиха, а потому измышляет фиктивные, подтасовывая факты и приписывая тебе слова, которых ты говорить не мог даже стилистически?

Так же как не понимает, почему Соловьев сочинил о ваших питерских контроверзах «Трех евреев»? Как пишет о нем мемуаристка в связи с его измывательством над затравленным Довлатовым в Таллине: «Был отвратителен. И этого не понимал совсем». Экземпляр еще тот, боюсь, на вербальном уровне

общение с ним невозможно. Ему бы задуматься, почему у разных людей он вызывает схожие чувства, а он, как носорог, рвется в бой, обалгивая и клевеща критиков. Ты был прав: он прожил всю жизнь в оазисе, чему доказательство его агрессивно-защитные реакции. Мстительные, подлые, лживые насквозь воспоминания. Стыдно читать, неловко за автора, но чаще – жутко смешно. Иных, может быть, смех страшит и держит стыд в узде. Только не этого. Как был совок, так и остался. А теперь надеется, что всех переживет и уже некому будет опровергнуть его слабоумную брехню.

А еще ссылается на тебя через стих, подключив к борьбе с Соловьевым и произведя посмертно сначала в друга, хотя были заклятые, а теперь уже и в брата. Подожди: еще подселят его к тебе в могилу как родственника. Мало тебе Эзры!..

– Сдаюсь, – согласился ты вдруг и ткнул себя вилкой в щеку. Даже капля крови выступила, но не так все-таки, как когда ты вилкой проткнул насквозь руку одному нашему гостю, который по незнанию приударил за твоей нареченной. – Прокол вышел. Уломал. На коленях ползал. Прослезился, гад. Говорил, его из-за меня донимают. Соловьев в «Трех евреях» нас стравил, меня конфеткой, а его говном вывел, а потом и на меня наехал. Тоже хорош: чужой среди своих и среди чужих. Трикстер. Наоборотник. Стравив, поставил на одну доску. Отрицая, увековечил сравнением. Уникальный, однако, случай: ухитрился использовать свой страх, выжал его в «Три еврея», превратил в книгу. А я и дал слабину. Вот и вляпался. Промашка. Самому стыдно. Но – поправимо.

Скруглил разговор и тут же смылся.

Часа через три – за полночь – всех разбудил: прочел по телефону потрясающий стих, которым съездил тому по физии, сведя на нет собственные дифирамбы. Один из немногих у тебя в последнее время поэтических прорывов. Так подзавел тебя, поганец. А потом прибыли послы из отечества белых головок и уговаривали повременить с публикацией. Когда не удалось, умолили снять посвящение. Ты даже хотел всю книгу, которой суждено было стать последней и которая вышла после твоей смерти, озаглавить по этому стихотворению, но один доброхот из твоей свиты – точнее Семьи, то есть мафии, – упросил тебя не делать этого: мол, слишком большой семантический вес придашь ты тогда этому стиху и тем самым уничтожишь его адресата. А какая гениальная вышла бы перекличка сквозь четверть века, какое мощное эхо, в твоем духе – одна книга отозвалась в другой, и круг замкнулся на пороге смерти:

«Остановка в пустыне» – «Письмо в оазис».

Литературный генерал, ты был окружен в последние годы не только приживалами и подхвостниками, но и идиотами. Во главе с питерцами, которые примеряли тайком твою мантию и крошили твой триумф, как рыбий корм в аквариуме. Как они спешили сделать тебя своим крестным отцом, загнать в могилу (чтобы ты не взял свои слова назад!) и усыпать ее цветуечками. Вот я и говорю, что слюнявчик в отчаянии – что ты не умер прежде, чем дезавуировал стихом дежурные комплименты, которые он у тебя выклянчил.

Ты сам окружил себя идиотами, когда у тебя притупилась художественная бдительность, атрофировался инстинкт интеллектуального самосохранения. Уж лучше твоя злость, даже злоба, чем умиленнорасслабленное состояние, которым не пользовался только ленивый.

Вот почему мы так обрадовались тогда этому стиху, надеялись, что не рецидив, а возврат.

Ни то, ни другое: ты написал еще три таких злых стиха. И все в эпистолярной форме: стихи-послания. Как этот мой роман – письмо тебе на тот свет. Один стих – антилюбовный и несправедливый, но сильный – своей femme fatale. Другой – имперский, антиукраинский, так и назвал: «Ода на независимость Украины». А за пару месяцев до смерти – православным прозелитам, тем самым жертвам обреза, что целуют образа. Фактически, памятник собственному пенису, борозда от которого длинней, чем вечная жизнь с кадилом в ней.

– Ты ему должен быть благодарен, – сказала я. – Послужил тебе музой.

– То есть антимузой? Подзарядил севшие батареи? Ты это хочешь сказать? Нестыдный стишок, да? Это называется отрицательным вдохновением. В смысле: от паршивой овцы хоть шерсти клок.

Что со стишками полный завал и муза забыла к нему дорогу, скулил постоянно.

– Она тебе давала клятву верности?

– Верность, ревность – от перемены слагаемых и прочее, – и меланхолично, без никакого любопытства спрашивал: – С кем она сейчас?

– А если ни с кем? Если она поменяла профессию?

– Стала бля*ью? Так эта девка всегда слаба на передок. Знаешь, Ахматова, когда узнала про мои любовные нелады понятно с кем, выговаривала мне, что пора бы уже отличать музу от бля*и. Она и Натали считала бля*ью – зря Пушкин с ней связался. Одно отдохновение – Александрина, свояченица… – Сделал паузу, а потом ответил на никем не заданный вопрос: –

Да, в том числе. Ах, мне бы свояченицу! А я с тех пор разницы не вижу. Что муза, что бля*ь…

О своем любовном поражении распространялся налево и направо в мельчайших деталях, хотя вроде бы не мазохист. Ставя в неловкое положение слушателей. Любовь – высокая болезнь, и, как больной, ни о чем другом говорить ты не мог, только о своей болезни, пока не перескочил на метафизику. Метафизика – как способ самолечения и преодоления самого себя.

– Тогда представь, она – я о музе, а не о твоей арктической красавице – с другим. Да, да – с тем самым. Ты так его тогда расхвалил, что и музу убедил. Вот она и переметнулась от исписавшегося пиита к фавориту. С твоей подсказки. Теперь он ее ублажает ежедневной порцией рифмованных строчек. У него стихи как вода из крана.

– Забытого закрыть. И не ублажает, а насилует, крошка. И терзает.

Бедняжка! А надо наоборот.

– Невпродёр.

– Не поэт музу, а муза насилует поэта. Господи, какое это блаженство – быть изнасилованным музой!

– А может, дядюшка, ты все-таки мазохист? Коли ждешь насильницу. А представь, твоя муза пошла покакать.

– Так долго? У нее что – запор? Раньше полсотни стихов в год – норма, а сейчас дюжину с трудом наскребаю.

– А ты не дожидаясь вдохновенья.

– То есть без эрекции?

– Фу! Ты запутался в метафорах, – говорю на его манер.

Его любимый анекдот на предмет mixed metaphor: «Мама, а клубника – красненькая, с черными точечками?» – «Да». – «А она с усиками!» – «Ну да. Отстань!» – «С усиками и ползает?» – «О, черт! Опять божьих коровок нажрался!»

Треп трепом, но иногда мне казалось, что музу, путая, ты отождествляешь вовсе не с бля*ью, а с мамашей всей этой великолепной девятки: Мнемозиной. Как говаривал поэт, с которым тебя сравнивают твои фаны: «Усладить его страданья Мнемозина притекла». А к тебе она перестала притекать, забыла адрес. Тем более ты его сменил: одну державу на другую. Вот твоя память и стала давать сбои. Не в буквальном, конечно, смысле. Все, что тебе оставалось теперь – следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминанья. В памяти, а не в душе! Может, потому тебе и Тютчев не по ноздре? Как реалист романтику? Тогда вот тебе твой любимчик: «Дар опыта, мертвящий душу хлад». И не есть ли тот твой антилюбовный эпилог к любовному циклу, который ты писал всю жизнь, а тут решил опровергнуть,

результат душевной амнезии?

Она же – атрофия. Проще говоря – энтропия, с которой ты начинал борьбу, как только продирал глаза. Я ничего не путаю? Атропос, мойра, неотвратимая. Сиречь смерть.

Ты умер до того, как ты умер.

Поясняю: ты умер прежде, чем умерло твое тело. Привет Одену.

Стихотворение – точно труп, оставленный душой. Привет Гоголю.

А сколько таких трупов оставил ты?

Нобелевский синдром: злосчастной этой премией прихлопывают писателя как могильной плитой. Привет тебе.

Так говорил ты, дожидаясь Нобельки: хоть бы кто после нее сочинил что-нибудь стоящее! Ты – не исключение.

– Так что же, после Нобельки казнить? – поинтересовалась я.

Нобелька и есть казнь. Жертвоприношение писателя на алтарь поппопсы.

Сиречь масскультуры.

А как, кстати, величать эту переметчицу – с заглавной или с прописной? муза или Муза? Одна из или единственная? Нисходящая метафора: муза – бля*ь. Восходящая метафора: Муза – старшая жена в гареме поэта; не альтернатива любовницы, а ее предтеча, метафизический прообраз всех физических возлюбленных.

Ты писал Музу с большой буквы. Наперекор тебе буду писать музу с маленькой. Понял, почему?

– Ты пользуешься тем, что я не могу тебе ответить, – слышу замогильный голос.

Да. Пользуюсь. Ты забивал всех словами, обрывал на полуслове, слушал только себя, каждую вторую фразу начинал с «нет» – даже когда в конце фразы приходил к тому же, что утверждал собеседник. Собеседник! Тебе был нужен слушатель, а не собеседник. Ушная раковина – чем больше, тем лучше. В идеале, как у Диониса в сиракузских каменоломнях.

Ты привык к многолюдному одиночеству. Как говорил Довлатов, толпа из одного человека. Лучшие годы жизни ты прожил в стране, где у стен уши – даже когда один в своей питерской берлоге, у тебя был слушатель. Это твой идеал: слушатель, у которого нет голоса. И вот теперь безголосые берут реванш у монологиста за свое вынужденное немотство.

В том числе – я.

Выходит, главный предатель – это я, решившись на эту книгу незнамо для кого. Для тебя? За тебя? Написать то, на что сам ты так и не решился? Приходил в ужас от одной такой возможности

– кто-нибудь обнаглеет настолько, что сочинит за тебя твое био. Присвоил себе эту прерогативу: о себе только я сам, биография поэта в его стихах. Отрицал биографов как вуайеристов.

А разве писатель не вуайерист по определению – за другими или за собой, без разницы? А вместе с ним – и читатель. Литература есть подглядывание за жизнью: сопереживание, возбуждение, катарсис. Театральная сцена, где отсутствует четвертая стена – наглядный пример массового вуайеризма. Или скрытая камера, как в Застеколье, когда миллионы телезрителей держат под колпаком как бы самих себя – таких же, как они, банальных человечков. Антитеза Зазеркалью: там все наоборот, шиворот-навыворот, а в Застеколье – все как есть. Пусть тавтология, а сама жизнь? Каждый день просыпаться и каждую ночь засыпать – не трюизм? Ты видел лето, осень, зиму и весну – больше ничего тебе не покажут, да? А разве весна равна весне? Ты даже секс находил монотонным – и ритм, и позы. Так и есть, коли без божества, без вдохновенья. А застекольщики – кто? Те, кто на экране, или те, кто перед экраном? Разве писатель не той же породы – мониторит в замочную скважину, хоть и устарелое понятие.

С кем спорю? Перед кем оправдываюсь? Почему не выложила все тебе при жизни?

Стихи – не единственное био поэта, даже такого в молодости настырно автобиографического, как ты. Поэзия – род реванша; твоя – особенно. Биография вперемешку с лжебиографией, плюс-минус – вот что такое твоя поэзия. Био в жанре фэнтези. Поэзия есть поэзия есть поэзия есть поэзия. То есть антиавтобиография. В зеркале мы выглядим иначе, чем в жизни: перед зеркалом мы неестественны. Не существование поэта в стихах, а сосуществование со стихами. Маскарад, маскировка, камуфляж, макияж. Ты примериваешь в стихах маски – какая самым правдоподобным образом скроет твое лицо. Лицо – и лик. Лица – лики – личи. Ты балансируешь на самом краю: сказать в стихах всю правду – сорваться в пропасть. Поэзия и неправда. Поэзия и вымысел. Вымысел как миф. Правдивая ложь. Лживая правда. Пишу тебе в личку, ты мне в ответ:

– Без мифа нет поэта. Поэт – герой собственного мифа. Творчество есть мифотворчество. Чем мы хуже богов, которые творят о себе мифы? Поэт – не от мира сего. То есть демиург. Не спорь, детка. Творчество того же корня, что Творец. Само собой, с большой буквы.

Знаю, презираешь меня из могилы за подглядывание, за вуайерство, за замочную скважину, за ковыряние в чужом носу, за предательство, за эту книгу-сплетню, которую пишу. А ты за мной

сейчас не подглядываешь из гроба? Кто из нас соглядатай? Кто вуайерист?

Слышу твой шепот прямо мне в ухо:

– От кого от кого, а от тебя, солнышко, не ожидал такой подлянки.

Что ты там про меня накопала – и накропала – и наклепала? Сиречь наплела.

– Но ты же сам назначил меня Босуэллом, – хнычу я, стыдясь своей затеи.

– Вот именно – Босуэллом. Без права на собственное мнение. Тем более – на подгляд. Все вы одинаковы! Оден биографов за версту не выносил – боялся больше женщин. А Фрост решил перехитрить судьбу и нанял Томпсона, чтобы тот сочинил ему прижизненное био. Круто ошибся! Тот ему и вдарил по первое число: что был самодовольный эгоист, тасовал премии и награды, в глаза пел аллилуйю, за глаза говорил гадости и вообще отъявленный негодяй. А ты, знаешь, кто?

– Вуайеристка.

– Хуже, воробышек.

– Папарацци.

– Стукачка. Стучишь на меня читателям, вбивая гвозди в мой гроб своими домыслами. Пользуясь тем, что я лишен права голоса отсюда.

– У тебя была возможность. Наплел про себя в три короба. Теперь моя очередь.

Да, я – вуайеристка. Да, стукачка. А что мне остается? Я одна знаю о тебе то, что ты тщательно скрывал от всех. Как сказал не ты: сокрытый двигатель. Никто не просек даже, что ты имел в виду вовсе не пространство, а время, когда написал, что человек никогда не вернется туда, где был унижен.

Ты уже никогда не вернешься. Ни туда, где был унижен, ни туда, где был возвышен.

Время бесповоротно и безжалостно.

Ты хочешь житие святого, а не биографию смертного. Hagiography but biography. А то, что я пишу, даже не био, а портрет. Разницу сечешь?

Можно написать био, а портрета не схватить, зато для портрета биография не так уж и обязательна, только фрагменты – не биографии, а судьбы. То, что задумала, – портрет Дориана Грея, но наоборот. Живя год за три, ты прожил за свою жизнь несколько жизней, сжигая сам себя интенсивностью проживания. Физически ты одряхлел, состарился прежде времени, выглядел много старше, чем был, а был много моложе, чем был. Что есть старость? Это несоответствие самому себе. Ты бы узнал себя,

повстречай 30 лет назад мгновенного старика? А если бы узнал, не пришел бы в ужас?

Ужас, ужас, ужас.

Сослагательные вопросы, из области ненаучной фантастики. А вот реальные – на затравку.

Признал бы мгновенный старик самого себя в том городском сумасшедшем, влюбчивом, отчаянном, гениальном, каким ты был 30 лет назад в трижды поименованном городе? Беспризорный гений – опять ссылка на Довлатова – вот кем ты был, а кем стал? Ты уже не понимал собственных чувств, которые тогда тобой – то есть не тобой, а им – двигали. Заматерел, зачерствел, усох. Отсюда твой антилюбовный мадригал, постскриптум к любовному циклу, лебединая песнь песней, могильная плита, которой ты прихлопнул молодость и любовь. Но ведь к тебе самому можно обратить твои же слова, изменив гендерный адрес: где еще, кроме разве что в фотографии, ты пребудешь всегда без морщин, молод, весел, глумлив? Да, время бессильно перед памятью, а поэзия – вот где вы круто ошиблись, сэр! – есть слепок именно памяти, а не времени. Той самой памяти, которая тебе отказала, когда судьба послала тебе моего Артема – пусть не клон, но двойник, и ты не признал в нем себя. Это и положило конец нашей дружбе, которую я возобновляю этой книгой, надеясь, что смерть разгладила твои морщины и вернула прежний облик.

Нет, одной метафизикой, боюсь, не обойтись. Физикой – тем более. Я пишу двойной портрет: физический и метафизический, молодой и дряхлый, гениальный и бессильный. Чтобы они скрестились в тебе одном, как солнечные лучи в увеличительном стекле. Ладно: пусть будет лупа. Хотя старомодно плюс непристойная рифма. Вот именно.

Вопрос не в жанре, а по сути: как быть с табу? Идеальный биограф, считал ты, должен быть как переводчик: конгениален оригиналу. То есть призывал других к тавтологии, которой сам же боялся. А портретист?

– У портретиста, детка, – грассируешь ты из сан-микельской могилы на еврейско-французский манер, – и вовсе нет выбора. Что ему противопоказано, так это буквализм. – И цитируя анонимно уже самого себя: – Шаг в сторону от собственного тела – вот что есть автопортрет. Кто изобразил Ван Гога лучше самого Ван Гога? Искусству портрета следует учиться у автопортретистов.

– Как же, многому у тебя научишься! Чей это синий зрачок полощет свой хрусталик слезой, доводя его до сверканья в «Римских элегиях»?

– Синий зрачок – мой. Уж не знаю, какой он там у меня на самом деле – синий, серый!

– Зато я знаю, сероглазый король! А ты и в рисунках изображал себя синеглазкой! Таково твое представление о себе самом, но у меня-то о тебе представление другое. И серое от синего я отличить в состоянии.

В отличие от тебя. Да и не такой уж ты огненно-рыжий, как в собственной мифологеме, а скорее – рыжевато-русый. Или, как истый романтик, цветовые контрасты ты предпочитаешь полутонам, а нюансы и вовсе не воспринимаешь? Ты, дядюшка, слеповат и глуховат, сам знаешь.

– Ты еще скриблографией займись, детка! Полный вперед!

– А что! У тебя рисунков на полях не меньше, чем у Пушкина. Автопортреты включая. В лавровом венке, в римской тоге, с синим глазом. Вот только не знаю, подсознательные это рисунки или вполне сознательные.

– Знаешь, сразу же после смерти Пушкина его друзья спорили, какого цвета у него глаза.

– А твои питерские друзья уже не помнят, где ты там жил – на Рылеева или на Пестеля. Ты хочешь превратить прижизненный миф в посмертный?

– Помнишь кривого владыку, которому никак было не угодить: одного художника казнил за правду – что нарисовал его без глаза, другого за лесть – что с двумя глазами, зато одарил милостями того, кто изобразил его в профиль. Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Федериго да Монтефельтро помнишь? Который в Уффици? Вот и пиши меня, как того – Пьеро делла Франческа. Если не хочешь быть казненной. В профиль, детка!

– Который из?

– Хороший вопрос. У меня теперь есть время подумать. Конец связи.

Или ее начало?

Пусть в профиль, но в оба два профиля одного лица. Кривой и здоровый. Два портрета в одном. Две книги под одной обложкой. Два Бродских.

– Гальюн! – гогочешь ты, как помешанный.

Какой у меня выбор? Выполнить твою волю и оставить современников и потомков в тумане невежества о самой яркой литературной фигуре нашего времени? Или продолжать говорить правду, нарушив волю самого близкого мне человека, а ты доверял мне как никому? Лояльность мертвецу или ответственность перед истиной? Платон мне друг иль истина дороже?

А как бы ты поступил на моем месте? Нет, не на своем, а именно на моем: сокрыть истину согласно волеизъявлению покойника или наперекор – сказать все как есть?

Эта книга как первое соитие: наперекор стыду и страху.

Нам легче дитя в колыбели убить, чем несытую похоть утишить.

Вильям, но не Шекспир.

Комплекс графа Монте-Кристо

Я просто достаточно хорошо себя знаю – что я такое, какой я монстр, какое исчадие ада… Достаточно взглянуть в зеркало…

Достаточно припомнить, что я натворил в этой жизни с разными людьми.

ИБ – Томасу Венцлове. 1988

Со стороны могло казаться, что ты добился чего хотел и должен быть если не счастлив (на свете счастья нет и проч.), то хотя бы доволен. Вышло наоборот. Именно осуществление большинства твоих желаний и привело тебя к беспричинной, казалось бы, тоске, а молодая жена еще больше усугубила преследующее тебя всю жизнь чувство неудачи: тебе снова пришлось доказывать себя без никакой надежды доказать.

– Я пережил свои желанья, я разлюбил свои мечты, – напел ты мне как-то на ухо словно по секрету.

Сделала большие глаза.

– Всю жизнь я чего-то ждал: каникул, женщины, публикаций, переводов, заграницы, профессуры, гонораров, Нобельки, наконец.

Я прожил в неосуществимых, фантастических, диких мечтах-прожектах и все, представь, осуществил.

– Так в чем же дело?

– Удачи не так радуют, как огорчают неудачи.

– Какие у тебя неудачи, если ты всего добился? Вроде бы ты из самореализовавшихся, нет? Если жизнь – экспансия, то тебе дальше некуда.

– Вот именно! Если Бог хочет наказать человека, Он исполняет все его желания. Признание есть прижизненная смерть.

– Верни Нобельку, – предложила я.

– Знаешь, что говорил самый знаменитый венецианец?

– Марко Поло?

– Да нет! Куда ему до Джакомо Казановы, которому твой Шемяка смастерил памятник в Венеции. Человек может добиться чего угодно, писал этот старый враль и трахаль, стать Папой Римским или свергнуть короля, стоит только захотеть по-настоящему, и только возраст ставит естественную преграду всемогуществу желаний. Ибо человеку уже ничего не достичь, коли он в возрасте, презренном для Фортуны, а без ее помощи надеяться не на что. Цитирую близко к тексту. Бог от меня отвернулся. Мой бог. Личный. Я потерял своего бога. Живу теперь один. Что говорил Бэкон о надежде?

– Надежда умирает последней, – брякнула я.

– Надежда умирает предпоследней. Последним умирает человек, который надеется. Мы дни за днями шепчем «завтра, завтра», а у меня завтра уже нету. Старость – это девичьи грезы без никакой надежды на их осуществление. Надежда – хороший завтрак, но плохой ужин, как говорил Бэкон. Фрэнсис, а не Роджер. Не путай, птенчик. Как и братьев Шлегелей, Гримм, Гонкуров, Стругацких, Вайнеров и даже Тур, хоть те вовсе и не братья. Жисть удалась, да? У меня все уже позади, ждать больше нечего, источники радости иссякли, воспоминания угасли, пропал интерес к жизни, я в ней уже все сделал. Достиг предела. То есть конечного пункта. Гёте в «Поэзии и неправде», знаешь, что написал? Отвращение к жизни может иметь причину физическую и нравственную. Так вот, у меня – обе. Немчура этот рассказывает, как один англичанин удавился для того, чтобы не иметь больше необходимости всякий раз переодеваться.

– Слава богу, ты у нас не англичанин.

– Намек понял. А все равно… От собственного голоса устал. Не удовлетворение, а пресыщение. Знаешь про меня хрестоматийный стишок? Все, что мог, он уже совершил, создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил. Не слабо, да?

– И никаких больше желаний? Ни одной мечты?

– Ну уж, никаких! Кое-какие остались на самом донышке. Как сказал не скажу кто: Фортуна, случается, дает слишком много, но достаточно – никогда. Реальные мечты – все сбылись, а нереальные, неосуществимые – затаились. Как у большевиков: программа-минимум и программа-максимум.

– И какая же у тебя программа-максимум, дядюшка?

– Сколотить капитал и обрести бессмертие.

– Первым условием бессмертия является смерть, как сказал Ежи Лец.

– Нежилец, – скаламбурил ты.

«Как и ты», – промолчала я, глядя на твою старообразную

мордочку.

– Еще какой жилец! – сказала я вслух, вспомнив, как Лец лопатой, которой копал себе могилу, треснул по шее немца, приведшего его на расстрел, а потом прошагал в мундире эсэсовца через всю Польшу.

– Тебе воздвигнут мавзолей на Дворцовой площади, – добавила я. – В зеркало глянь – ты и так уже мумия: и сам по себе, и во что тебя превратили литературные иждивенцы. У питерцев давно уже московский комплекс, и они помирают от зависти: у тех есть, а у нас нет.

А кого всунуть в мавзолей – им без разницы. Был бы мавзолей – тело найдется. Сначала А, потом статуя.

– Меня зароют в шар земной, – процитировал ты незнамо кого, и спросить уже не у кого.

Когда допишу эту книгу, к ней понадобится комментарий: не к моим словам, а к твоим. Особенно к цитатам – тем, источник которых мне неведом, а тобой сознательно замутнен. Не могу даже поручиться за их точность.

– Бог отвратил свое лицо от меня. – И тут же – от высокого к низкому: – Знаешь такого грузинского поэта по имени Какия?

– Ни то, ни другое тебе не грозит, – возвратила я тебя к мечтам о башлях и бессмертии.

– Не скажи! Рубль доллар бережет.

– Так то в России!

– Ты спрашивала о мечтах, а мечты, по сути, и должны относиться к сфере несбыточного. Как сказал твой Нежилец, сумма углов, по которым я тоскую, явно превышает 360 градусов. А сбыточные, укороченные – лажа. Суета и хлопоты, а не мечты. Плюс-минус несколько лет без разницы тому, для кого мера времени – вечность. А вечность не за горами. Как сказал сама знаешь кто, мы существуем во времени, которое истекает, но стараемся жить sub specie aeternitalis. Он же: быть всегда, но не собою снова. Не дай бог! Отсюда: вечность не есть бессмертие.

Бессмертие есть память, тогда как вечность есть пустота.

– Так ты, дядюшка, больше не хлопотун?

– Не о чем больше хлопотать, воробышек. У людей я уже все выхлопотал. А Бог еще никому не делал поблажки. Зловредина. It’s sour grape, perhaps. Привет Эзопу.

Но я-то знала, что гложет тебя нечто другое.

Несмотря на все свои внешние успехи, с собственной точки зрения, ты недоосуществился, не успел, а потому и считал свою жизнь неудачей – от измены любимой женщины, пусть ты сам назначил ее любимой, не спросив у нее, и предательства друга (совместный акт) до – трудно поверить, но так – эмигре. Твои

собственные слова:

– Отвал за окоём был, наверное, ошибкой. Ошибкой, в которой никогда никому не признаюсь. Даже самому себе. Там – тоска по мировой культуре, здесь – тоска по русскому языку. Для карьеры – ОК, зато стишкам – капут. С памятью вот перебои: там помнил все до мельчайших деталей, на какой стороне раскрытой книги прочел то или иное предложение. А здесь не могу вспомнить, чем был занят утром. Нет, не в возрасте дело. Мозг перегружен и изнурен, вот и отказывает служить.

Две жизни на одного человека – чересчур, да? А премию так и так отхватил бы. Жил бы в Питере – еще раньше дали. КГБ – мой главный промоутер.

Пару секунд спустя:

– Шутка.

Твой постоянный рефрен – то ли из страха быть непонятым, то ли из кокетства.

В разгар борьбы за Нобелевку возбужденный Довлатов передавал всем по секрету слова Сьюзен Зонтаг, твоего друга, а поговаривают, что и любовницы, несмотря на ее лесбийские утехи с Энни Лейбовиц:

– Им там дали понять, в их гребанном комитете, что у него с сердцем швах, и он не доживет до их возрастного ценза.

Вот тебе и поспешили дать премию, отступя от геронтологического принципа. В связи с чем один из комитетчиков вспомнил голливудскую формулу: мы ему переплачиваем, но он того стоит.

Больше, чем не дожить, ты боялся, что Нобелевку получит Евтух или кто-нибудь из той Ко.

После премии ты прожил еще восемь лет.

А Довлатов, так и не дождавшись твоей смерти, на случай которой собирал о тебе анекдоты и варганил книжку, сам помер, когда его растрясло в «скорой», и он захлебнулся, привязанный к носилкам. Кто бы догадался перевернуть его на бок! Или сама судьба выбрала в качестве исполнителей двух дебилов-латинос? «Как грудной младенец помер», – так отреагировал на его смерть ты, который из всех смертей интересовался только своей.

– Слишком большое ты ей придаешь значение.

Так и сказала.

– Цыц, малявка! Это я своей жизни придаю значение, потому что исказят до неузнаваемости. Уже сейчас, а что будет, когда стану хладный труп! Покойник не желает, чтобы под его именем фигурировал самозванец.

Хотела сказать, что и своей жизни он придает излишнее значение, но вспомнила: «Берегите меня – я сосуд…» Что-то в

этом роде у Гоголя, от тебя же узнала, точно не помню. В том смысле, что не само по себе бренное мое тело («Уж слишком оно бренное. Там бо-бо, здесь бобо» – твоя рефренная жалоба), а огонь, мерцающий в сосуде, хоть это уже и не Гоголь. Пусть не огонь – Божья искра. И еще говорил, что Бог шельму метит, имея в виду свой дар. Гению мстит сама природа.

Сиречь он сам.

Неоднократно предсказанная в стихах и разговорах, долгожданная тобою смерть грянула, тем не менее, как гром среди ясного неба. Убил бы меня за клише. «Не чужесловь – своеобразен гений»: изобрел свой афоризм из двух чужих.

– Страх толпы. Панургово стадо: один за всех, все за одного. Демофобия, как говорят у нас в деревне. Извне и изнутри. Хуже нет, когда толпа толпится в самом тебе. Один человек может быть толпой так же, как толпа – одним человеком.

Твое собственное объяснение. А довлатовское – см. выше: толпа из одного человека.

– Он так часто прощался с читателями, что грех было бы обмануть их ожидания, – откомментировал его смерть один пох*ист из твоих друзей, ставший врагом номер один.

Этот твой бывший друг, который увел у тебя фемину (точнее, брал взаймы во временное пользование, чтобы тебе досадить), единственный из ахматовского квартета никак печатно не отреагировал на твою смерть, хотя когда-то, пока не стряслась беда, вас связывала почтительная дружба на бытовом, литературном и даже метафизическом уровне.

Прямым доказательством чему – вы так и остались на «вы», несмотря на тесноту общежития в вашей питерской ложе, все дивились этому вашему «выканью». (Довлатов не в счет – он из дальнего окружения.)

Чем тесней единенье, тем кромешней разрыв, как сказал бы ты, анонимно сам себя цитируя. А потом, с разрывом, ваша связь тайно упрочилась: уже на физиологическом уровне, через общую… «вагину» зачеркиваю и вставляю «минжу», из любимых тобой словечек, хотя лично мне больше нравится «разиня». Не знаю, надолго ли хватит его молчания. Коли даже великий немой заговорил.

Понятно я говорю?

К кому этот вопрос?

Ты бы понял с полуслова. Sapienti sat, – из твоих присловий, хоть и жаловался, что латынь у тебя паршивая, но какая есть: от тебя и под набралась. Прерывал на полуслове: «Мы это уже проходили», разъяснение равнял с тавтологией, считал, что повторы сокращают жизнь.

Папа говорит, что Бобышев войдет в историю, как Дантес, зато мама настаивает на свободе любовного волеизъявления, тем более тебя самого заносило в сторону: «Да стоило ему поманить – никакой катастрофы не случилось. Почему он не женился, когда родился ребенок?»

В самом деле – почему? Когда родился Андрей, мой папа предоставил незарегистрированной семье один из двух принадлежащих ему в коммуналке на Герцена пенальчиков, но ты сбежал от семейного счастья на третий день. «Побег от тавтологии, от предсказуемости», – объяснял ты друзьям. Спустя год в эти спаренные крошечной прихожей комнаты вселилась мама на четвертом месяце. Здесь и состоялось наше первое с тобой свидание, которое не удержала моя младенческая память, тогда как ты помнил и рассказывал подробности. От этой встречи сохранилась фотография, которой я всегда стыдилась: ты, при галстуке и в черном парадном костюме, держишь на руках голую девочку с гримасой младенческого идиотизма на рожице и внятной половой щелью между ног. Стыдно мне, само собой, первого.

А мама и Дантеса защищает – того, настоящего, пушкинского, – полагая, что настоящим монстром был Пушкин. Бобышева – тем более. В том смысле, что легче всего его какашкой объявить, а он с твоим ребенком возился как со своим, когда ты сделал ноги.

– К интервью готова? – спросил меня этот бывший друг, а теперь уже и бывший враг.

– Всегда готова, – в тон ему ответила я, хотя про меня никто не вспомнил, пока не вышел тот последний, дополнительный том академического собрания сочинений, куда тиснули, уж не знаю где раздобыв, твой шуточный стишок мне на день рождения, где сравнивал меня со «смышленым воробышком, что ястреба позвала в гости».

Ястреб – это, понятно, ты. Всегда относился к себе романтически и даже слегка демонизировал, но в ересь не впадал и жалел себя яко сосуд скудельный.

Что такое, кстати, скудельный?

Полезла в словарь, а там в качестве иллюстрации слова Гончарова, которые подошли бы эпиграфом ко всей этой штуковине, которую сочиняю, да только там возраст другой указан:

«Надо еще удивляться, как при этой непрерывной работе умственных и душевных сил в таком скудельном сосуде жизнь могла прогореть почти до сорока лет!»

О ком это он? Про Обломова?

Хоть я и ждала этого звонка, подготовилась, отрепетировала до мелочей, что скажу и о чем умолчу, застал меня врасплох. Так долго ждала, что перестала ждать. Вот и растерялась, когда до меня дошла очередь.

Этот – употребляя ненавистное тобою слово – текст взамен интервью, от которого пришлось отказаться. Ответы зависят от вопросов, а вопросы задают чужие люди – чужие мне и чужие тебе. И вопросы – чужие и чуждые, то есть никчемные. А так я сама себе хозяин: задам себе вопросы и сама же на них отвечу. Если сумею. Или не отвечу. Тогда задам тебе. Хоть ты и играешь в молчанку. Бог с ними, с ответами. Главное – вопрос поставить верно.

Опять слышу твой голос: не вопросы требуют ответов, а ответы – вопросов.

Вопрошающие ответы.

Стыдно мне вдруг стало покойника, беззащитного, беспомощного и бесправного перед ордой профессиональных отпевальщиков.

Точнее, плакальщиков.

То есть – вспоминальщиков.

В том числе лже-.

Профессия: человек, который знал Бродского.

И еще одна: человек, который знал Довлатова.

Даже тот, кто знал шапочно либо вообще не знал: ни тебя, ни Довлатова.

Индустрия по производству и воспроизводству твоего образа.

Бродсковеды, бродскоеды, бродскописцы.

Довлатоведы, довлатоеды, довлатописцы.

Борзописцы и трупоеды.

В первую очередь брали интервью у тех, кто рвался их давать. Потом пошли поминальные стихи, мемуары, альбомы фотографий, анализы текстов – гутенбергова вакханалия, а ты бы сказал «прорва», доведись тебе заглянуть за пределы своей жизни. Хотя кто знает.

Даже те, кто знал тебя близко по Питеру и часто там с тобой встречался, вспоминают почему-то редкие, случайные встречи в Америке и Италии – блеск нобелевской славы затмил, заслонил того городского сумасшедшего, кем ты был, хоть и не хотел быть, в родном городе.

А про Питер или Москву – опуская детали и путаясь в реалиях. Потеря кода? Аберрация памяти? Амнезия? Склероз? Маразм? Прошлое смертно, как человек, который теряет сначала свое вчера и только потом свое сегодня. А завтра ему и вовсе не принадлежит, хоть и тешит себя иллюзией.

Соревнование вспоминальщиков – а те как с цепи сорвались, не успело остыть твое тело, – выиграл помянутый трупоед из волчьей стаи – даром что Волков! – издавший на нескольких языках пусть не два, как грозился, но один довольно увесистый том мнимо-реальных разговоров с покойником, дополнив несколькочасовой треп стенограммами твоих лекций в Колумбийском, которые разбил вопросами и выдал за обмен репликами. Униженный и изгнанный своим героем, он таки взял реванш и, нахлебавшись от тебя, тайно мстил теперь своей книгой. Ходил гоголем, утверждая равенство собеседников, что ты получал не меньшее удовольствие от бесед с ним, чем он – с тобой, и даже, что послужил тебе Пегасом, пусть ты его порой и больно пришпоривал, но он терпел во имя истории и литературы – именно его мудрые вопросы провоцировали покойника на нестандартный, парадоксальный ход мышления, и кто знает, быть может, эти беседы потомки оценят выше, чем барочные, витиеватые, перегруженные, манерные, противоестественные и противоречивые стихи. В самом деле, зачем обливаться слезами над вымыслом, когда можно обратиться напрямик к докудраме, пусть драма спрямлена, а документ – отчасти фикция? Зачем дуб, когда есть желуди?

Между прочим, с Довлатовым произошла схожая история, когда посмертно он стал самым знаменитым русским прозаиком и начался шабаш округ его имени. А так как он жил, в отличие от тебя, не в гордом одиночестве на Олимпе – «На Парнасе», слышу твою замогильную поправку, – но в самой гуще эмигре, то и вспоминальщиков о нем еще больше.

Одних вдов – несколько штук: питерская, эстонская и две американские, хотя женат он был всего дважды. Точнее, трижды, но жен – только две. Когда Сергуня сбежал в Эстонию, чтобы издать там книжку и поступить в Союз писателей, не учтя, что руки гэбухи длиннее ног беглеца, то да – прижил там дочку от сожительницы. Да еще на Брайтон-Бич к одной доброй душе уползал во время запоев, как в нору, чтобы просохнуть и оклематься, но женат на ней не был, да та и не претендует на вдовий статус. Попробовала бы она! Даже ее попытка поухаживать за Сережиной могилой на Еврейском кладбище в Куинсе была в корне (буквально!) пресечена его аутентичной вдовой: высаженный брайтонкой куст азалии был с корнем вырван его главной, последней, куинсовской женой, которую можно обозначить как дваждыжена. Ибо вторая и третья его жены – на самом деле одно лицо, хоть и перемещенное в пространстве через Атлантику. На этой своей жене он был женат, разведен и снова женат уже в иммиграции. Что касается первой, та была, по

его словам, жена-предтеча, femme fatale, которая оттянула все его мужские и человеческие силы, выхолостила и бросила, а потом, уже после его смерти, объявила свою дочь, которая родилась незнамо от кого несколько лет спустя после того, как они расстались, – Сережиной. В жанре племянников лейтенанта Шмидта.

В общей сложности, вместе с самозваной, Довлатов стал отцом трех дочерей (уверена, что еще объявятся), а тосковал по сыну, который у него и родился после его смерти. Интересно: пол ребенка он хоть успел узнать?

«Что ты несешь, воробышек!» – слышу возмущенный голос с того света.

«А художественный вымысел? – отвечаю. – Мечтать о сыне, который родится только после его смерти, куда эффектнее, чем умереть, когда твоему сынку уже восемь и радость отцовства нейтрализована запоями, халтурой и „не пишется“».

Как и было на самом деле.

Сергуне, однако, удалось – уже из могилы – отмстить неразумным хазарам (сиречь евреям): и тем, кто успел сочинить о нем воспоминания, и тем, кто только собирался это сделать. Один из его адресатов опубликовал том переписки с ним, несмотря на завещательный запрет Довлатова на публикацию писем. Вот где злоязыкий Сережа отвел душу и всем выдал на орехи, не пощадив отца родного, а о посмертных вспоминальщиках и говорить нечего. Скандал в благородном семействе. Кто бы повеселился от этого скандала, тайно ему завидуя, так это ты!

Не будучи так эпистолярно словоохотлив, как Довлатов, ты, наоборот, оставил после себя сплошные дифирамбы и панегирики, хотя мизантроп был не меньше, чем тот. Или мизогинист? Несмотря на позднюю женитьбу. Женатый мизогин. Мизогиния как часть мизантропии.

Мизантроп как скорпион – кончает тем, что жалит самого себя: объект человеконенавистничества – любой человек, включая субъекта.

В твоей гомофобии мы еще разберемся – воленс-неволенс, как ты бы выразился. Равнодушный ко всей современной русской литературе, ты раздавал налево и направо, в устном и письменном виде, комплименты литературным лилипутам, и те пользуются ими теперь как пропуском на тот самый литературный Олимп (он же Парнас), где ты восседал в гордом одиночестве, зато теперь там тесно от вскарабкавшихся – в том числе с твоей помощью – пигмеев. Вообще, после твоей смерти они сильно распоясались. Как после твоего отвала за бугор –

питерцы. А тем более после твоего окончательного отвала: отсюда – в никуда. Само твое присутствие держало всех в узде. Ты бы их не узнал.

Кого ты терпеть не мог, так это соизмеримых, то есть конкурентоспособных авторов. Кого мог, мордовал, давил, топтал. Даже тех, кому помог однажды, мурыжил и третировал. «Унизьте, но помогите», – сказал тебе Сергуня в пересказе «Соловьева и Вовы» (опять твоя кликуха – она же автоцитата, а Довлатов называл его «Володищей», подчеркивая, от обратного, малый рост). Мол, ты и помогал Довлатову, унижая, и унижал, помогая. Как и все у Соловьева, с касаниями, но по касательной, без углублений. Нет, чтобы копнуть, но его листочки интересуют, а не корешки. Спасибо дяде Вове: мне и карты в руки.

Чего больше было от твоей помощи – пользы или вреда? Не знаю.

Практически – да, пользы. А в остальном? После каждой такой просьбы Довлатов ударялся в запой. Такого нервного напряга стоила ему любая.

Как и само общение с тобой.

Классный рассказчик, он терял дар речи рядом с тобой.

– Язык прилипает к гортани.

– Он тебя гипнотизирует, как известно кто известно кого, – говорю Сергуне.

Он и тут тебя оправдал:

– Его гипноз – это мой страх.

А тебя забавляло, что такой большой и сильный у тебя на посылках.

Я бы, однако, избегла тут обобщений, хоть ты и тиранил свой кордебалет, держал в ежовых рукавицах свиту, третировал литературных нахлебников. У тебя была своя держава, коей ты был державный владыка, и державил круто, яко тиран. Зря, что ли, тебя назвали в честь вождя всех народов? «Все в этом мире неслучайно», – картавил ты и в качестве примера приводил Державина, самого державного из русских поэтов. В тебе самом умер поэт-державник – власть чуралась одо– и гимнописцев, чей язык ей не внятен. Фелица отвергла твои притязания, а так бы какой шикарный ряд: Державин – Гёте – Киплинг – Бродский. «За державу обидно», – повторял ты, когда та поползла по швам, слова генерала, которого прочил в российские президенты, а победил полковник госбезопасности, с которым дружит мой Мишель, но это уже за пределами твоего жизненного пространства, да и вряд ли тебе интересно. Недаром и Рим твой идеал. Однако с Довлатовым у тебя был свой счет – с питерских времен. Двойной: женщина и литература. Память о юношеских

унижениях. Как сказал известно кто: травмах.

В одной ты признался, но иронично, свысока, равнодушно, уже будучи мизогином: что осаждали с ним одну и ту же коротко стриженную миловидную крепость, но из-за поездки в Среднюю Азию, чтобы хайджакнуть там самолет (все равно куда – не в, а из), ты вынужден был снять осаду, а когда вернулся после самолетной неудачи, крепость уже пала. То есть дело в отсутствии и присутствии: останься ты на месте поединка, его исход не вызывал никаких сомнений. А вообще – не очень-то и хотелось.

Хорошая мина при проигранной игре.

На самом деле другая мина: замедленного действия.

Боясь твоей мести, Довлатов официально, то есть прилюдно, отрицал свою победу, но как-то шепанул мне, что победил в честном поединке еще до того, как ты отправился на хайджак.

Равнодушие и ирония вовсе не означали, что ты забыл и простил Довлатову тот свой проигрыш. Точнее, его выигрыш. А ты бы предпочел, чтобы это был твой проигрыш, а не его выигрыш. Что и дикобразу понятно. Тем более этот Сережин выигрыш – не единственный. Ваш с ним питерский счет: 2:0.

Ты не забыл ни этот сухой счет не в твою пользу, ни тесную связь между двумя его выигрышами, но о том, другом, предпочитал молчать – ни одного печатного да хоть просто изустного проговора. Тем более молчал в тряпочку Сергуня, который предпочел бы, чтобы того выигрыша, который вы оба скрывали, и вовсе не было. Очень надеялся, что ты о нем позабыл, хотя и знал, что помнишь.

Довлатов боялся не гения русской литературы, а распределителя литературных благ.

Он погружался в пучину ужаса, когда думал, что нобелевский лауреат и литературный босс помнит, как, когда и, главное, кем был освистан на заре туманной юности.

Помнили – оба.

Еще вопрос, какое унижение для тебя унизительней – любовное или поэтическое?

У кого самая лучшая, самая цепкая память?

У злопамятного графа Монте-Кристо.

Память у него – злое*учая.

Как у тебя.

Ты и был граф Монте-Кристо во плоти и крови. Со всеми вытекающими последствиями. Ты помнил все свои унижения, и было их не так мало. А может, Дантес Бобышев и не преувеличивал, когда говорил, что ты ему перекрыл кислородные пути?

– Обида – женского рода, унижение – мужеского, – вспоминаю чеканную твою формулу.

– А месть?

– Месть – среднего.

И еще:

– Странная штука! Любое унижение – все равно какое, без этнической окраски – напоминает мне, что я жид. Сам удивляюсь. Моя ахиллесова пята? Уязвим, как еврей?

Папа считал, что ты бы меньше, наверное, переживал ту, главную, измену, которая перевернула твою жизнь и сделала нечувствительным ко всем прочим несчастьям, включая арест, психушку и ссылку, если бы твоим соперником был соплеменник, но мама отрезала: «Чушь!», с ходу перечеркнув саму гипотезу. А я так думаю, что даже антисемитизм твоего соперника, если он есть на самом деле, в чем сильно сомневаюсь, связан с вашим соперничеством.

Осторожней на поворотах! Евреи давно уже из меньшинства превратились в большинство во всем мире, а с большинством воленс-ноленс приходится считаться. Тем более здесь, в жидовизированной, как ты говорил, Америке, где обвинение в антисемитизме равносильно доносу – как там когда-то в антисоветизме. Вредный стук, как сказал Довлатов. На него стучали, что лжееврей, только притворяется, на самом деле – антисемит. Даже Парамоху оставим в покое с его тайными страстями. Тебя самого попрекали, что так ни разу не побывал в Израиле. Мой Шемяка, тот и вовсе ходит в махровых, ты ему даже обещал дать в рыло при встрече, хотя все куда сложнее. Может, вы не поделили Манхэттен? Ты обосновался в Виллидже, а Шемякин рядышком, в Сохо, пока не свалил в свой Клаверак от греха подальше. Мама говорит, что и на своих питерских тещу и тестя, которые ими так и не стали, ты возвел напраслину – они не любили тебя лично, а не как еврея. Никто же не обвиняет твоих парентс, что они не любили свою несостоявшуюся невестку как шиксу, а тем более в русофобии. Условие твоих встреч с сыном было – чтобы тот не знал, что ты его отец. «Гнусь, конечно, но почему антисемитизм?» – спрашивает мама. «А Гитлер – антисемит?» – слышу глухой голос из Сан-Микеле, где ты лежишь рядом с антисемитом Эзрой Паундом.

Никуда тебе не деться от антисемитов.

Как Эзре – от евреев.

Еврей притаился в тебе где-то на самой глубине, но время от времени давал о себе знать. Напишу об этом отдельно.

Неужели и тогда, в той огромной, в одно окно, довлатовской комнате в коммуналке на улице выкреста Рубинштейна,

освистанный после чтения поэмы, ты почувствовал себя жидом?

В оправдание Сергуни хочу сказать, что в тот злосчастный для обоих вечер он был литературно искренен, а не из одних только низких побуждений, коварства и интриганства, пусть интриги и были всю жизнь его кормовой базой: он не любил твои стихи ни тогда, ни потом.

Не мог любить – вы противоположны, чужды друг дружке по поэтике.

Ты, как экскаватор, тащил в свои стихи все, что попадалось на пути, а Серж фильтровал базар – отцеживал, пропускал сквозь сито, добиваясь кларизма и прозрачности своей прозы. Литература была храм, точнее мечеть, куда правоверный входит, оставив обувь за порогом. Главный опыт его жизни был вынесен за скобки литературы, да так и остался невостребованным за ее пределами. Для Довлатова проза – последний бастион, единственная защита от хаоса и безумия, а ты, наоборот, мазохистски погружался вместе со стихами в хаос. Не думаю, чтобы Сергуня был среди твоих читателей, а тем более почитателей. То есть читал, конечно, но не вчитывался – через пень колоду. Не читал, а перелистывал – чтобы быть в курсе на всякий случай.

Зато ты его прозу читал и снисходительно похваливал за читабельность: «Это, по крайней мере, можно читать». Потому что прозу не признавал как таковую, а редкие фавориты – Достоевский, Платонов, ты их называл старшеклассниками – были полной противоположностью Довлатову.

Наверное, тебе было бы обидно узнать, что у нас на родине Сергуня далеко обошел тебя в славе. Мгновенный классик. И никакие Нобельки не нужны. Еще одно твое унижение: посмертное. Не только личное, но еще иерархическое: телега впереди лошади, торжество прозы над поэзией. Ты считал наоборот и в посмертной статье о Довлатове – том самом некрологе, который ты сочинил о нем, а не он о тебе! – написал о пиетете, который тот испытывал перед поэтами, а значит, перед поэзией. Никогда! Довлатов сам пописывал стишки, но не придавал значения ни своим, ни чужим, а проза стояла у него на таком же недосягаемом пьедестале, как у тебя поэзия. Цеховое отличие: вы принадлежали к разным ремесленным гильдиям. Среди литературных фаворитов Довлатова не было ни одного поэта. А оторопь – точнее, страх – он испытывал перед авторитетами, перед начальниками, перед паханами, независимо от их профессий. Таким паханом Довлатов тебя и воспринимал – вот причина его смертельного страха перед тобой.

В Питере ты им не был – в Нью-Йорке им стал.

Литературный пахан, не в обиду тебе будет сказано, дядюшка.

Тем более нисколько не умаляет твой поэтический гений.

Случалось и похуже: Фет – тот и вовсе был говнюшонок.

Поэт – патология: как человек мыслящий стихами. Нелепо ждать от него нормальности в остальном. Тем более – предъявлять пре тензии.

Ссылался на Шекспира: совесть делает человека трусом.

Твоя собственная железная формула: недостаток эгоизма есть недостаток таланта.

У тебя с избытком было того и другого.

Были и вовсе некошерные поступки, но я еще не решила, буду ли про них.

Даже если не Довлатов был организатором и застрельщиком остракизма, которому тебя тогда подвергли, все равно ты бы не простил ему как хозяину квартиры. Точнее, комнаты. Ни от тебя, ни от Сергуни я той истории не слышала. Как говорит, не помню где, Борхес, все свидетели поклялись молчать, хотя в нашем случае ни один не принес клятвы, а просто как-то выветрилось из памяти, заслоненное прижизненным пиететом Довлатова к тебе и посмертной твоей статьей о нем. Да и как представить сквозь пространство и время, что самый великий русский поэт и самый известный русский прозаик, дважды земляки по Питеру и Нью-Йорку, были связаны чем иным, нежели дружбой и взаимоуважением?

Информация о том вечере тем не менее просочилась.

«Сегодня освистали гения», – предупредил, покидая благородное собрание, граф Монте-Кристо.

Так рассказывает мама, которая увидела тебя там впервые. Еще до того, как познакомилась с папой, который зато был знаком с твоей будущей присухой, когда ты не подозревал о ее существовании, – причина моих невнятных, в детстве, подозрений. Читал ты, облокотясь о прокатный рояль, главную достопримечательность той комнаты, если не считать высокой изразцовой печи малахитной окраски с медным листом на полу. «Гением он тогда еще не был, – добавляет мама. – А поэма была длиной в Невский проспект вместе со Староневским».

Папа не согласен: «Гениями не становятся, а рождаются». У меня своего мнения на этот счет нет. Что знаю точно – не в поэме дело. А в миловидной крепости. Хотя нужна тебе была вовсе не крепость, а победа.

Победа досталась другому. Вдобавок этот другой освистал поэму. С тех пор ты и сам ее разлюбил – поэму, я имею в виду: «Шествие». Двойное унижение. Такое не забывается.

Дружбы между вами не было – никогда. И не могло быть. Наоборот: взаимная антипатия. Да и встречи с той поры нечастые: случайные в Питере и подстроенные либо выпрошенные Сережей в Нью-Йорке.

Что же до чувств: у одного – страх, у другого – чувство реванша. Говорю об Америке. Униженный в Питере – унижает в Нью-Йорке. Человек есть не то, что он любит, а совсем наоборот. Помощь – это зависимость, зависимость – подавление, подавление – унижение. Вот природа твоего покровительства Довлатову, и вы оба об этом знали.

А теперь, разобравшись, – спасибо, старый добрый Зигги, – знаю я.

О вреде женитьбы, или Еще не изобретена была виагра

Отстранение есть исход многих сильных привязанностей.

ИБ. Письмо Горацию

Любовь сильней разлуки, но разлука длинней любви.

ИБ. Двадцать сонетов к Марии Стюарт

Чем тесней единенье,
тем кромешней разрыв.

ИБ

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал в партере китайским веером,
И туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.
Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.
Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною

чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более немыслимые, чем между тобой и мною.
Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь – человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.
Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

ИБ

До сих пор, вспоминая твой голос,
Я прихожу в возбужденье…

ИБ

А в том, что не откликнулась на его заходы – скорее все-таки намеки, чем прямым текстом – нисколько не раскаиваюсь, хоть и жаль было старого, одинокого, неприкаянного. Бабы так и говорят: «Я его пожалела…» Есть в этом известная доля (если не больше) криводушия – будто не того же хочет баба, что и мужик. Как в том анекдоте: «Настоящий мужчина всегда добьется того, что хочет от него женщина». Еще вопрос, кто этого хочет больше. Слепой Тиресий, исходя из своего бисексуального опыта,

утверждал, что баба в десять раз больше наслаждается сексом, чем мужик. Будто я его не жалела – еще как! Но все-таки не до такой степени. Да и на кой он мне безжеланный! Остаточный мужик, который весь свой пыл и сперму давно израсходовал. Пыл – на одну, сперму – на остальных. Считал себя мономужчиной, баб навалом – быть в его гареме 101-й!

– 51-й, – слышу замогильную поправку.

Без разницы! Выбор огромный, вот ты никак и не мог выбрать.

В конце концов, угомонился, нашел, что искал. Привел к нам как-то миловидную девушку моего примерно возраста, которая, в отличие от меня, не умела отделять любовь к стихам от плотской, то есть человеческой любви. Полная противоположность его Лолит. То есть Лилит. Типичная Маргарита! Жалеть, что не оказалась на ее месте, – все равно что жалеть, что не стала его вдовой.

Он и сам бы потом каялся, если б я согласилась. Согласно его сексуальному кодексу, это было бы не совсем хорошо по отношению к его друзьям – моим парентс, хотя лично я не понимаю, какой им ущерб оттого, что их великовозрастная дочь перепихнется с их другом. Инцест не инцест, а все равно – табу. Хоть и был ходок, но ставил себе пределы, был в этих делах моралистом. Или ханжой. Вслух решал для себя проблему, распространяется ли табу то ли на экс-жену, то ли на вдову приятеля – чем кончились его сомнения, не знаю.

Сама-то я, конечно, представляла себе физическую с ним близость мильон раз. А с кем не представляла! С первым встречным! С папой и даже с мамой – почему нет? Все это было в детстве – больше любопытства, чем похоти, и дикие мечты. Такой разгул фантазии, как я теперь понимаю, верный знак невинности и девства. Секс, конечно, нечто грандиозное, умом и словом непостижное, но его девичье предвкушение, разнузданное воображение, неистовство онанизма – какой прикол, какое блаженство!

– Растрата духа на постыдные мечты, – выдавал он из своего многотомного цитатника.

Не думаю.

Шутя он романился со мной, а я, ревнуя к маме и жалея, в связи с гипотетической мимолетной меж ними связью, папу, предполагала увести его от мамы, пока не поняла, что это было бы папе вдвойне обидно: и жена, и дочь. Папина всетерпимость меня раздражала, а в том, что он мучится, не сомневалась. Или дружбу папа ставил выше любви? Выше подозрений? Или выше

любви и дружбы ставил поэзию?

– Он у нее был первый? – начинала я пытательный сеанс с твоей снежной женщины.

Отец – смущенно и, как мне кажется, неуверенно:

– Какое это имеет значение…

– Еще какое! – и вспоминаю первое соитие, которое тогда еще не произошло. – Женщина родится запечатанной, первый мужик распечатывает ее. Такое не забывается. Это на всю жизнь, – делюсь я с папой своим гипотетическим постдевичьим опытом.

Никак не реагирует – привык к моим штучкам-дрючкам.

– А ты – у мамы?

– Спроси у мамы.

И ушел, оставив дщерь в глубокой задумчивости.

Маму пытала об отношениях с тобой отдельно и даже – это циничное подлое детское воображение без тормозов! – подозревала, не ты ли мой настоящий папан, пока ты не стал ко мне подваливать. Но и тогда – а что, если наоборот, и тебя самым естественным образом тянет на инцест со мной, как Мольера с дочкой?

Дома меня до 17 лет звали «ребенком» – кто знает, может, с умыслом – чтобы задержать мое сексуальное развитие, куда как продвинутое на словах. Вполне модерные вроде бы люди, но тайно мечтали, чтобы я сохранила гимен как можно дольше. Пришлось поставить их на место:

– Скажите спасибо, что не беременна и не на игле.

Постепенно их воспитала. Как известно, ребенок рождает родителей. Не наоборот.

Было это еще в Питере. Потом мы укатили. Как шутил папа, из-за меня – родить меня подгадали в День американской независимости.

Как было этим не воспользоваться!

– Знак свыше, – утверждал папа.

– Знак качества, – шутил ты. – Made for the USA.

Или бессознательная инициатива появления на свет в День независимости принадлежала фетусу? То есть мне?

Официально мой день рождения справляет вся страна, а мой собственный – никто.

– Легко запомнить, легко и спутать.

Это твои слова.

Себя помню с тех пор, как помню тебя. Знала все твои стихи наизусть сызмала, не понимая тогда еще половины слов и не улавливая общего смысла. Друг дома – пожалуй, больше все-таки папы, чем мамы, хоть знаком был сначала с ней и дышал к ней неровно, а я, ревнуя, подозревала черт знает что, осуждая маму за

измену, папу за либерализм, а тебя обзывая чичисбеем – ты стал фактором моего самосознания. Случись у меня в детстве душевные травмы, был бы их главной причиной, только у меня их не было. Была ли я в тебя тогда влюблена?

На принца не походил ни ухом ни рылом – какой принц, когда потеет, лечится от геморроя, изо рта кисловатый такой запашок гнилых зубов, потому что пойти к дантисту для тебя – все равно что на казнь? У нас дома был твой культ, для меня ты – скорее вожатый, чем мужик.

Шутил:

– Дождусь, когда подрастет, и женюсь.

– Ты сначала спроси у нее согласия.

Это мама. Да я бы мигом тогда согласилась – только чтоб ей досадить.

– А мы по старинке. Главное – заручиться согласием предков.

Нормально, Воробышек?

– Ненормально, потому что слово нафталинное. Предки!

– А как сказать?

– Ну, антиквариат, – выдавила я из себя, стыдясь. – На худой конец, родаки.

– Ну как, родаки, не против?

Тут вся загвоздка: мама ни за что бы меня за тебя не выдала.

Или я все тогда напридумала?

Да я и сама, поразмыслив, не пошла бы. Потом – тем более. Не потому, что тебе пятьдесят, и не потому даже, что в 50 ты выглядел на все 70. Хотя твоей жене и дивлюсь. Ты, правда, увел ее у старикана-профессора; статистически геронтофилка даже в выигрыше. Но тот, в отличие от тебя, был моложав, спортивен и не хватался как что за левый бок:

– Бо-бо.

Касаемо меня: по-другому устроена, предпочитаю любовь внутри поколения: Ромео и Джульетта. То есть вровень, а не снизу вверх, а потом наоборот: сверху вниз. Общая физиология и психология: порывы, позывы, импульсы, иллюзии. Нет, не только секс, но и секс – тоже. На кой ты мне на исходе мужской силы, когда весь жар души и все либидо достались другой, а как мономужик ты сдулся и выдохся? Дрожать, что на мне помрешь? Ну да – в миг последних содроганий, как сказал твой предшественник, имея в виду малую смерть, а я – большую.

Как и случилось.

Метафорически выражаясь. Потому что не на мне, конечно.

И еще, дабы покончить со мной раз и навсегда. То есть с моим предамериканским периодом.

В Америку я приехала половозрелой (читай – перезрелой) 17-

летней девицей. Сиречь недефлорированной. И оставалась недотрогой еще два года – до встречи с моим будущим мужем и единственным (пока что) мужчиной. После чего ты стал называть меня замужней девственницей. Причина такой невероятной при современных нравах проволочки – отдельный сюжет. Дойдет очередь – расскажу подробнее.

У меня все с некоторой задержкой. Первая менструация только в 17, все в классе давно уже истекали раз в месяц, делясь впечатлениями и манкируя физкультурой.

А когда мне гланды вырезали? В 19! Хотя следовало – еще в колыбели. Папа с мамой исходили из модной тогда теории, что в человеке нет ничего лишнего – в том числе гланды и аппендикс. Мне даже антибиотики не давали, хотя из-за гланд у меня в горле и по всем слизистым оболочкам – гениталии включая – выступали нарывы, и температура подскакивала до 42. Дорогу в школу по этой причине я забыла начисто, и, когда мне, наконец, гланды удалили, началась непривычная для меня и довольно неприятная школьная пора. Тогда я и попыталась собственным усилиями вернуться к аллерго-стрептококковым ангинам. Дело было зимой, и свои опыты я проводила в нашей неотапливаемой коммунальной уборной. Открыла фортку, полила каменный пол водой и стала босыми ногами. Для пущего эффекта побрызгала водой заодно и грудь и, взобравшись на стульчак, подставила ее студеному воздуху.

Добилась чего хотела – снова ангина с искомой температурой. Меня с трудом отходили – думали рецидив, но я во всем сама призналась.

Тогда и стали разбираться в причинах лютой моей ненависти к школе, а разобравшись, порешили отвалить из отечества – одна из причин.

Однако именно в это время школа, наоборот, стала притягивать меня со страшной силой. Имя этой силы – одноклассник Артем. Короче, меня увезли в самый разгар любовного томления. Как я жалела, что не успела ему отдаться! Точнее – соблазнить и дефлорировать. Потому что девственником он был еще большим, чем я.

Пора, наконец, и свое имя открыть, а то все воробышек, птенчик, птичка, пигалица, малявка, козявка, ребенок, солнышко. Или оно уже где-то мелькнуло? Там, где плюс-минус одна буква – подхожу или не подхожу тебе в качестве герлы по имени? Назвать так вычурно свою дочь могли только мои насквозь пролитературенные парентс. Или это с твоей подсказки? По созвучию с твоей присухой-роковухой? С тебя станет! Еще одно подозрение: если не кровный отец, то крестный.

Единственная ассоциация с этим именем у русского человека – Арина Родионовна. А я и есть Арина Родионовна: коли папа Родик, Родя, то дочь пусть будет Арина. Не сомневаюсь, чья идея, хоть ты и отшучивался!

Что в имени тебе моем? А то, что само по себе это имя старит человека, не говоря уже о сниженном социальном статусе: во-первых – старушка, во-вторых – няня. Да еще крепостная! Не по этой ли причине мое задержавшееся детство? И девство. Пока не появился Артем, выступала в роли дуэньи при подружках. Одним словом – вуайеристка. По другую сторону стекла от настоящей жизни. Долго так продолжаться, сами понимаете, не могло, и если б не эмиграция…

Можно сказать и так: матримониально ты был дефлорирован еще раньше, чем я – физически.

Твоя женитьба была скоропалительной, для всех неожиданной, а для женщин твоего круга, даже тех, кто не имел никаких на тебя видов, – огорчительной и даже обидной. Тебе даже пеняли, что не сдержал обещания, данного в день своего 50-летия, решительно тогда отвергнув тост с пожеланием женитьбы и отцовства и словно бы подтвердив своим хроническим холостячеством название и концепцию юбилейного адреса, который опубликовал к твоему полувеку Володя Соловьев. «Апофеоз одиночества» назывался.

– Бог решил иначе: мне суждено умереть холостым. Писатель – одинокий путешественник, – сказал ты тогда.

А тут вдруг ни с того ни с сего:

– Участь моя решена, я женюсь, – явная цитата, а из кого – не знаю, и спросить больше некого. Не обращаться же к тебе туда по столь ничтожному поводу.

Папа, как только ты познакомил нас с Марией Соццани, прямо выложил, что женитьба оттянет всю твою творческую энергию, сославшись на князя Вяземского и на повесть Генри Джеймса «Урок мастера», которую я так и не смогла одолеть. Тоска зеленая!

– Счастья хочется, – хихикая, жалился ты. – Простого, как мычание. Самого что ни на есть банального. Что говорил Шатобриан, а повторял Пушкин? Что счастье можно найти лишь на проторенных дорогах. Или другой классик, из нелюбимых: все счастливые семьи похожи друг на друга, да? Вот я и хочу быть похожим на остальных. Устал бегать тавтологии и жить чистой метафизикой. Правы были физические менады, что разорвали метафизического Орфея. Страсть – это и есть физика, жизнь, реальность, а метафизика – это память, Орфея или моя, без разницы. Надоело выдрючиваться и куражиться.

– Надоело быть поэтом, – уточнила суровая мама.

– Женитьба – это отказ от метафизики в пользу физики, – сказала умная девочка я. – А у тебя хватит сил на физику?

– В том смысле, что я стар и хвор? Что у нашего брата поэта не бывает счастливых браков? Что поэт – эквивалент неблагополучия и катастрофы? В принципе, так и есть. Знаешь, как Чехов называл свою Лику, а она трахалась с кем ни попадя – от Левитана до Потапенко. Адская красавица. От нее исходил дух веселья, загула, скандала. Да нет, я о своей. Вот я и угробил полжизни на мою адскую красавицу. Пока не дошло: женщина – это черновик посвященного ей стихотворения. Хотя не женился из-за другой девы, но та и вовсе бля*ь, заглядывает все реже, ее поведение мы уже обсуждали. Я – человек, ничто человеческое мне не чуждо, хотя нечто и чуждо.

– А мы думали, ты Бог, – съязвила встревоженная мама. – В смысле демиург.

– Для слуг, жен и друзей великих людей не существует, – расширил ты афоризм-трюизм и с ходу выдал следующий: – Чем отличается великая гора от великого человека? Когда подходишь к горе, она становится все больше, а великий человек – все меньше. Привет предкам.

– И средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней ты, дядюшка, – вмешалась я в этот исторический разговор. – Гулливер оказался лилипутом.

– Молчи, ребенок! – повысила голос мама, срывая на мне обиду.

Даже если меж ними ничего, все равно жаль, когда женится твой чичисбей и принципиальный холостяк.

– Единственный дом, где меня обижают и унижают и где разбивается сердце поэта. Heartbreak house.

– Единственный дом, где тебе говорят правду.

– На кой мне она? Правда – хорошо, а счастье лучше.

И шмыгнул носом, утирая отсутствующую слезу. Суровый славянин, он слез не проливал.

– Она, конечно, твоя поклонница, – сказал папа.

– Ну и что? Почему поклонница не может быть любовницей!

– Женой, – поправил папа.

– А чем еще старая развалина, как я, может привлечь юную плоть?

– Ты ей ночи напролет будешь читать стихи?

На мою реплику никак не отреагировал.

– Настоящая любовь только за деньги. Дико звучит, но так. Или за славу. Что в условиях развитого или недоразвитого капитализма одно и то же. Там, где все продается, соответственно

все покупается.

– И старческой любви позорней… – продолжала я. – Она антиквар?

На этот раз мама меня не одернула. Признать его старость – все равно что свою. Для своих лет она дай Бог, папа ее до сих пор девочкой величает (а кто тогда я?), хоть грачи улетели и вешние воды отошли.

Мучившая меня с детства загадка, объяснение которой пришло, когда меня все это уже не колышет: сношались или нет?

– А как насчет «Афродиты гробовой»? – ответил он цитатой на цитату. – Какие-то вещи начинаешь понимать под занавес. Вот, к примеру, Аксель Мунте описывает обезумевших от похоти людей в холерном Неаполе.

Опять сноска внутри текста.

Время от времени он открывал для себя нечто второстепенное и носился как с писаной торбой, противопоставляя общеизвестному. Начав читать и так и не дочитав «Человека без свойств» Музиля, провозгласил этого занудного господина выше трех других зануд – Пруста, Кафки и Джойса, вместе взятых, а модного у интеллигенции Томаса Манна пренебрежительно называл немчурой, изготовителем романов, человеком-вакуумом и считал, что тот останется в литературе только благодаря Михаилу Кузмину:

> То Генрих Манн, то Томас Манн,
> А сам рукой тебе в карман.

Из западной прозы предыдущего столетия всяким там Гюго – Стендалям – Диккенсам предпочитал Анри де Ренье, у которого спер для своей эссеистики форму коротких, в страницу-полторы, главок. Баратынского, чью «Афродиту гробовую» упомянул, ставил выше Пушкина и всего знал наизусть, а моего любимого Тютчева и вовсе игнорировал.

«Циники» Мариенгофа считал лучшим русским романом XX века, до конца которого не надеялся дожить, о чем оповещал как в устной речи, так и стихом. Отвергал всю мировую философию, включая модного Кьеркегора, исключение делал только для французика из Бордо, Шеллинга и Бергсона. А из русских завис на «узком» Шестове, в одном ряду с любимой Цветаевой, зато Бердяева, Флоренского и Владимира Соловьева (не путать с нашим породистым автором Владимиром Соловьевым) в грош не ставил. Ссылаясь на антиков, хаял демократию, противопоставляя ей просвещенный абсолютизм. Хоть и взял за правило каждое Рождество поздравлять его виновника с днем рождения,

неоднократно высказывался в пользу политеизма, а единобожие называл тиранством. Изъездив Италию и считая ее, а не Америку, второй родиной, начисто отрицал великую итальянскую троицу: Микеланджело – за маньеризм, Рафаэля – за слащавость, Леонардо – за измену искусству с наукой, зато боготворил венецианцев Карпаччо, Джорджоне, Гварди, всех трех Беллини и даже заурядного бытописца Лонги, цитируя не к месту Козьму Пруткова: «Я вкус в нем нахожу». Гайдна противопоставлял «устаревшему» Моцарту, а несколько дорических колонн, сохранившихся от храма на мысе Сунион, – Парфенону. Раздражался на Чайковского, Штрауса и Толстого, утверждая, что эти три господина – главные эстетические ингредиенты советской пропаганды: недаром и поделом. «Войну и мир» называл «кирпичом», само название – претенциозным и кретинским. Начал было подъе*ывать Фрейда, но, когда ему указали на Набокова как на прецедент, круто сменил точку зрения и стал защищать от него доброго старого Зигги. Набокова, не вдаваясь в подробности, называл литературным набобом. Что в этих оценках было от реальных чувств, а что от куража и понта, судить не берусь, да и неважно. Часто употреблял по отношению к писателю, музыканту и художнику слово «обожаю», и это означало, что был к нему равнодушен или вовсе не знал. В своем невежестве никогда не признавался, но любил им пококетничать:

– «Война и мир»? Не читал.

Думаю, и в самом деле не читал. Точнее: не дочитал. Да и кто этот кирпич одолел полностью, окромя спецов? А он и вообще не чтец был прозы. Ругать и хвалить имел обыкновение не читая, а в последние годы словари и энциклопедии предпочитал литературе. Схватывал на лету, с половины, а то и трети книги, до конца не дочитывал ни одну, предпочитал небольшие, разбитые на краткие главки: тех же Ренье и Мариенгофа, из современников – Довлатова.

Аксель Мунте и был как раз из породы раритетов, хотя когда-то «Легенда о Сан-Микеле», полная художественного – и нехудожественного – вымысла автобиографическая книга скандинава-парижанина-италофила, была переведена на полсотни языков, а его фантастическая вилла – до сих пор главная достопримечательность Капри. Именно в любимой своей Италии ИБ и открыл этого допотопного литератора-аматера и обильно цитировал к месту и не к месту. В том числе, примеряя на себя: «Мне ничего не нужно, кроме того, чтобы мне не верили». Чего страшился – что стихи разойдутся на цитаты, как «Горе от ума», станут общедоступны, как часть масскультуры, которую рифмовал с макулатурой.

– Пир во время чумы? – спросила я, когда он упомянул холеру в Неаполе.

Это у нас была такая забава, словесный пинг-понг – перебрасываться цитатами, как мячиком. На этот раз он первым вышел из игры.

– Чумы, холеры – без разницы, но почему? Непреложный закон равновесия между смертью и жизнью, утверждает мой швед пост-Полтава. Там, где какая-то случайная причина нарушает это равновесие – чума, землетрясение или война, бдительная природа тотчас начинает выравнивать чаши весов, создавая новые существа, которые заменили бы павших. Вот мужики и бабы и трахают друг друга в полном беспамятстве. А рядом смерть – в одной руке любовный напиток, в другой – чаша вечного сна. Смерть – начало и конец.

– А ты здесь при чем? – спросил папа.

– При том! Старческая похоть либо похоть туберкулезников – той же природы. Что проглядывает для нас в женщине в момент соития?

Слабый отблеск бессмертия, надежда на генетическую вечность. Тем более для смертника – последняя возможность забросить семя в будущее.

– Ты уже однажды забросил, – напомнила мама.

– Неудачно. Полный завал. Имею право на еще одну попытку?

К тому же она – Мария. Арина – Марина, Марина – Мария.

Марией звали его мать, Мариной – оставленную им в Петербурге фемину, его первую любовь (она же – последняя), которую он называл «врагиней», «ягой» и «дамокловой женой» и посвятил ей все любовные стихи плюс одно антилюбовное. Говоря о ней, ссылался на Стесихора и Еврипида, а те, как известно, считали Елену Троянскую: один – наваждением, другой – видением. Здорово она тогда его достала, коли он теперь отрицал само ее существование, но все еще был зациклен на ее имени и жену подобрал по именному принципу.

– Что говорить, сильный аргумент в пользу твоей женитьбы, – сказал папа. – Реванш с Марией за поражение с Мариной.

– А что! У мужиков обычно физический стереотип, со стороны непонятно – зачем меняет шило на мыло? Похожи, да? В одну масть. А у меня как пиита – еще и лингвистическое клише. Архетип, так сказать.

Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Не оно, а она. И не только слух.

Вот и торчу на ней. Реванш? Даже если реванш. Отступать уже некуда.

Очень гордился, что зачал, что зачал под 50.

Козел в Питере был еще тот, даже запах козлиный, который мама объясняла коммунальными условиями его тогдашнего существования: одна ванна на несколько семей. Это еще мои девичьи от него импрешнс, питерские: потеющие подмышки да мужской возбуждающий запах.

Или это я потом напридумала – насчет возбуждения? Самец по преимуществу, с харизмой, с талантом, но и талант на сексуальной основе.

Лучшее, что сочинил в Питере и первые годы в иммиграции – стоячим, да еще каким: стоячим и горячим. Хотя потом отрицал самцовость как творческий фактор, проповедуя равнодушие, остраненность и флегму:

– Скука? Как признак мыслящего тростника. Знак цивилизации, если угодно.

Это уже в Нью-Йорке, отстаивая свой новый статус-кво и опровергая себя прежнего.

Помню, как вы с папой собачились на этот предмет в отеле «Люцерн», что у Центрального парка, куда ты явился к нам на следующий день после нашего приезда и повел в китайскую столовку: стоячим писать или не стоячим?

Теперь ты отстаивал нестоячий способ, что было адекватно не только твоему нынешнему профессиональному письму, но и твоей сексуальной энергии. Про первое можно было сказать словами Флобера:

«Он приобрел часы и потерял воображение», а про второе лучше всего написал ты сам: красавице платье задрав, видишь то, что искал, – ни больше и ни меньше. Пересказываю прозой – и впредь постараюсь, – чтобы не испрашивать у вдовы разрешение на эксцерпцию. В Питере был воображенником, а здесь перестал и отстаивал теперь право на существование каков есть. Говорю не в укор, а с жалостью, хотя он предпочел бы укор и обложил бы меня потоком контраргументов и трехэтажным матом.

Когда впервые увидела его в Джей-Эф-Кей, не выдержала и заплакала: облысел, морщины, выпирающий живот, кривая ухмылка. Глаза стали белесыми, почти бесцветными, но взгляд – тот же. Нет, не потускнел. И голос, слава богу, тот же. Постепенно привыкла. Будь русофилкой, сказала бы, что это мичиганщина его состарила. Как и было на самом деле, но это потребовало бы долгих пояснений. То, что мы застали в Нью-Йорке, были останки человека, мужа, пиита. Он весь был в прошлом, и мы его любили за прошлое. Хотя уже не так, как прежде.

А настоящего было бесконечно жаль. Потому папан с тобой и сцепился тогда в «Люцерне», не узнав тебя в тебе, а я качу на тебя сейчас бочку.

– Что было, то было, – сказал ты, идя на попятную. – Стоячий период позади.

И перекинулись на политику: политическое животное с ног до головы, ты теперь отрицал политику и отстаивал искусство для искусства.

Что не мешало тебе возвращаться к ней постояно: в трепе, в стихах, в интервью. Живой оксюморон, ты не стеснялся противоречий.

То же самое с Приапом, который занял место Эроса, но не заменил его.

Жаловался на проблемы с эрекцией и спермой. Больше, правда, прозой – устной и письменной, чем в стихах. Странно: тебя травмировала импотенция, а не безлюбость. Ты разучился влюбляться. А если это связано: Эрос с Приапом, импотенция с невлюбчивостью?

Твоя метафизика не от хорошей жизни. Сам так считал.

Импотент не узнавал в себе самца и отвергал былую самцовость.

Хуже того: былую любовь.

Изменился ты и в самом деле катастрофически.

Ты уже не понимал собственных чувств, вызванных – или вызвавших? – любовной катастрофой, которая разломила пополам твою жизнь. А вовсе не судебный фарс – потому ты и отнесся к нему с таким неделанным равнодушием, что было не до того. Ты прожил две жизни, и вторая перечеркивала первую.

Или наоборот?

Ты больше не узнавал себя в рыжем мешуге с голодным сердцем и вздернутым болтом, а узнал бы себя тот в живой мумии, каким ты стал в Нью-Йорке?

Вопрос вопросов, потому и возвращаюсь к нему постоянно.

Анахрон, скажешь ты, имея в виду интервенцию настоящего в прошлое. Контрабанда настоящего в прошлое, уточнил бы тот, судьбу которого ты взял за образец, а не достигнув, стал отрицать.

Прошлое вызывало у тебя не ностальгические, а реваншистские чувства.

Но, в отличие от графа Монте-Кристо, который простил и пожалел свою Мерседес (не путать с твоим «мерсом», который ты называл «дом на колесах»), ты, спустя четверть века, вдарил своей через океан антилюбовным стишком, который есть доказательство от обратного твоей хронической к ней любви. От себя куда уедешь, нет таких дорог. Даже если были: позади всадника усаживается его любовь. И так до самой смерти, у которой будут ее глаза: Verra la morte e avra i tuoi occhi, твердил

ты на языке, который не знал. Ты оставил в Питере ее стареющую двойницу и подмену, а с собой увез: без морщин, молода, весела, глумлива!

Что делает с человеком время!

– Оно его трансформирует, – слышу картавый голос. – И отступает перед памятью. Сиречь поэзией.

Вот почему два голландца так неистово писали автопортреты, пытаясь остановить мгновение и уловить неуловимое. Коли ты помянул одного из них, то я продолжу: автопортреты Ван Гога – это портреты разных людей, каковы ваны гоги и были в разные времена. То же – с рембрандтами.

То же – с тобой: сюжет своей жизни положил в основу стихов, а я движусь теперь в обратном направлении и выуживаю из них биографический подтекст, соотнося поэзию с реальностью. По принципу: «Не верь, не верь поэту, дева!» – как сказал сам поэт, хоть и не самый у тебя любимый. Не так чтобы тотально: когда верю, а когда – сомневаюсь. Ты писал свой портрет таким, каким себя видел, а под конец – каким хотел, чтобы тебя увидели другие (потомков включая).

За пару месяцев до смерти ты сочинил свой «Памятник», с его порноподменой: Monumentum a(ere) pe(re)nnius. Памятник не себе, а Приапу. В твоем варианте – в отличие от горациево-пушкинского – не памятник крепче меди, а памятник крепче пениса как мерила крепости, и не слово тленья избежит, а семя, заброшенное в вечность. Памятник собственному члену – твердая вещь, камень-кость, гвоздь моей красы, – что, впрочем, очевидно из названия, тем более – из самого стиха: фалл обеспечит вечную жизнь, а не фаллическое кадило. Христианином тебя ну никак не назовешь, несмотря на эти рутинные подношения Иисусу на день рождения. Спецнаказ, соцзаказ.

Похоть или ностальгия по похоти – по твердой вещи, которая с годами, увы, утрачивает свою твердость? А подзавел тебя на стишок Толя Найман, с его удручающим прозелитством и пошлыми призывами немедленно креститься. Что странно, так это твой отказ от воинствующего индивидуализма в пользу семейного, родового, генетического инстинкта. От христианства назад к иудаизму с его «плодитесь, размножайтесь» и отрицанием вечной жизни? См. об этом отдельную главу под названием «Плохой хороший еврей».

Или…

Меня вот что интересует: о своем х*е ты писал стоячим?

Или это из категории «мечты, мечты, где ваша сладость» – два вопросительных знака в конце:??

Детородный орган или мочеиспускательный крантик?

Несмотря на внешнее тщедушие и потливость, ни мозгляком, ни еврейчиком не был. Скорее шпана, чем интеллигент. Роста хорошего, руки дюжие. На том моем дне рождения, когда посвятил мне стишок с воробышком и ястребом, я от волнения перепила – так ты не только вынес меня на свежий воздух, но и внес обратно домой, а жили мы тогда на четвертом, лестница крутая, да и я была не из легковесов, это сейчас, сев на диету, постройнела. Не тогда ли, от перенапряга, начались у тебя сердечные проблемы? Mea culpa? Или все-таки врожденный порожек?

Перфекционист: стопроцентность как недостижимый идеал и как достижимая цель. Желание есть его осуществление. Скорее двужильный, чем сильный. Скороход, хоть и без сапог-скороходов – одной волей. Шел напролом семимильными шагами, всех обошел, потеряли из виду – сначала виртуально, потом физически. Высший импульс – перегнать всех в жизни и в смерти. Желание, страсть и воля, начав, довести до конца, пусть даже конец есть смерть. Напряг как при оргазме; он же – смерть. Напряг при оргазме и есть смерть. Для других – малая, для тебя – настоящая.

В том моем частном случае – донести, а не уронить и не сбросить.

Лично я ничего не помню – только по рассказам других. Все попытки перехватить у него ношу или хотя бы подсобить, отвергал с презрением. Взмок весь, а донес. Как тот греческий гонец, который добежав с депешей, упал замертво. Вот и ты – все делал сверх своих возможностей, хоть и говорил, что fatum non penis, in manus non recipis.

– В вольном переводе: выше х*я не прыгнешь, да?

Основное твое занятие – от рождения до смерти.

Женитьбу включая.

Запрет был не только на курение и алкоголь, но и на секс.

– Ты биограф или соитолог? – опять вмешивается он из могилы.

– А ты сам? Отрицал секс, противопоставляя ему работу, а кончил его апологетикой, воспев собственный пенис! – имею в виду уже упомянутый стишок.

– Not so elementary, Watson.

Снизойдя к просьбе покойника, накладываю замок на уста мои.

Не в обиду твоей вдове будет сказано (тебе – тем более), но в принципе тебе было без разницы с кем и на ком – для реванша сгодилась бы любая. Женитьба как доказательство нелюбви: потому и женюсь, что больше не люблю. Свобода от любви, и как

следствие этой свободы – семейные узы. Пусть даже далекий слабый отсвет той изначальной ты и узрел своим третьим, метафизическим глазом – в масти, в имени: Марины – в Марии, Лилит – в Еве. О том, что Адам однолюб, и Ева – жена, а не возлюбленная, и ежу понятно. Безумная, отчаянная надежда мгновенного старика, каким ты стал, израсходовавшись к 50, – начать жизнь сначала. Vita nuova! Хотя не это тебя сгубило, мама не в курсе. Твою женитьбу переживала тяжелее, чем твою смерть, – вот и придумала, что надорвался. Не в том смысле, что она заездила тебя до смерти. А слухи «привожу лишь затем, чтобы ничего не пропустить, а не оттого, что считаю их истинными или правдоподобными».

Привет Светонию, чьих «12 Цезарей» штудировала перед тем, как засесть за жизнеописание 13-го.

……

……

Ты и сам переживал, что не можешь соответствовать жене, вдвое (плюс-минус) его младше, а виагра еще не была изобретена. В нынешние времена и Хемингуэй не подстрелил бы себя, охотник и зверь в одном лице – навиагрился бы себе вволю, не дожидаясь вдохновения.

«Жена – прижизненный гроб», – отшучивался ты, но и ей можно посочувствовать: семейная непруха всегда взаимная.

В случае с ИБ проблема другая. Твоя жена похожа на нимфоманку еще меньше, чем я. В отличие от меня: из породы поклонниц и собирательниц автографов.

Я – нет. Твои стихи любила больше, чем твою славу, а тебя самого – больше твоих стихов.

Что тебя мучило? Что оставишь ее вдовой, а дочь – сиротой? Тебе осточертело в своем поколении – вот результат. Среди своих обречен был на повторы и клише. Хотел второго дыхания. Вот и задумал катапультировать из своего поколения в чужое. За эту измену Бог и покарал.

Несмотря на внезапность, случайность и мимолетность (даже в отпущенных ему жизненных сроках) женитьбы, именно она, подпортив бобыльную анкету, сбила его жизненный ритм и усугубила трагизм судьбы.

Все равно что вытащить нож из раны. А так бы – с ножом в левом боку и рефреном «сердце пошаливает» – проходил еще пару-тройку лет. Сильно переживал, что пришлось переехать из Виллиджа в Бруклин. Прерыв жизненной инерции, благодаря которой только и жил: топографический, матримониальный, семейный, сексуальный, физический и бытовой.

Прожил всю жизнь холостяком, а умер женатым человеком,

так и оставшись в крутом одиночестве. А кто не одинок наедине со смертью?

Помимо имени и нордической внешности важен был еще возрастной фактор: женился на женщине того же приблизительно возраста, как твоя питерская фафа, когда ты видел ее в последний раз, придя на Глинку попрощаться: навсегда.

Вот почему высказываемую биографами гипотезу о женитьбе, вынужденной беременностью его будущей жены, я все-таки отвергаю. Да, ты не был в нее влюблен, истратив весь свой любовный потенциал еще в Питере, но все-таки любил ее – скорее как дочь, чем как женщину, а после рождения ребенка говорил:

– Теперь у меня две дочки.

Доля истины в этой шутке была.

Хоть здесь тебе повезло – на девочку. Во-первых, учитывая самцовую и эгоцентричную твою породу, младенца мужеского пола любил бы с неизбежной примесью соперничества. Во-вторых, пацан у тебя уже был: плод – зачеркиваю вашей – твоей страсти. Вылитый ты, будто Марина и вовсе не участвовала в зачатии – еще одна причина, почему множественное число пришлось заменить единственным. Со всеми твоими недостатками минус достоинства. Та же патологическая неспособность к учению – Марина возила его в школу на такси, иначе его бы, как тебя, турнули из восьмого класса (а не сам ушел – еще один self-myth). Прошу прощения за штамп: природа отдыхает на детях гениев. Замыслив жениться, ты называл первого отпрыска «эскизом».

Мы с Андреем почти ровесники. Не очень чтобы артикуляционный.

20-летним недорослем прибыл на пару недель из Петербурга, удручив родителя дурным вкусом, роколюбием, песенно-есенинщиной и гитарой, с которой не расставался. Я его несколько раз наблюдала в контексте – «у Казани», среди других хиппи. Самое смешное, что тоже писал стихи, но какие! И распевал под гитару на ступеньках собора. Само собой, шок был при встрече еще какой. Культурный шок. А ведь перед его прибытием лелеял какие-то смутные планы: «Может, полюбимся друг дружке, да? Одна кровь как никак…» – которые пришлось оставить.

Ты и жениться надумал сразу же после этой встречи-невстречи с так похожим на тебя физически Андреем. В которой – так я теперь думаю – виноваты обе стороны. Андрей, наверное, все-таки без вины виноватый. Как мог он соответствовать твоим представлениям, когда ты оставил его крохой, он тебя знал только по фотографиям, его становление как личности прошло без тебя. Помню (мне было пять лет), как мы с папой пришли в

дом на Глинке, посередке между Николой и Мариинкой, и пока папа трали-вали с Мариной, я глядела на щуплого нелюдимого однолетку – он рисовал за огромным дедовым столом и оттого сам казался крошечным: ты в детстве! И вот Андрей прибыл к тебе в Нью-Йорк, ты окружил его стеной презрения, не дожидаясь его отъезда, направо и налево трепался о своем разочаровании и так и не купил ему видеоплейер, а он его вымечтал еще в Питере.

И вообще, Юпитер: ты сердишься – значит, не прав.

Нюха родилась у тебя в Нью-Йорке – бывает же такое! – в один день с внуком в Питере.

– Снова художественный вымысел! – слышу возмущенный венецейский окрик.

– Хронологический анахрон.

– Ужасное слово – внук, да? – это уже твои слова здесь, на земле.

Вторичное отцовство было, если хотите, его реакцией на сам процесс старения, у него такой преждевременный и мгновенный.

– Чем ближе зима, тем все больше похожи мы на наши снимки в паспорте.

– Ежи Лец?

– Не угадала. Хотя близко. Другой поэт-поляк-еврей, поколением старше. Жизнь, увы, единственна и непоправима.

Отцовский статус перечеркивал статус деда – по крайней мере, в твоем представлении.

Фауст и Маргарита?

Холодно.

Мастер и Маргарита?

Теплее. Ты и меня, как читатель помнит (если не забыл), пробовал на эту фатальную роль, да я отказалась. Вместо того, чтобы пожалеть тебя, пожалела себя.

О чем не жалею.

Бенцы, или Мизогинизм как часть мизантропии

Кровь моя холодна.
Холод ее лютей
реки, промерзшей до дна.
Я не люблю людей.

ИБ. Натюрморт, 1971

Ты всегда подозревал, что ты
сам, возможно, так же ужасен, как

дракон, и в определенных обстоятельствах ты можешь вести себя так же мерзко, как он. То есть ты всегда предполагал, что в тебе больше от монстра, чем от святого Георгия.

ИБ о самом себе – Дэвиду Монтенегро, 1987

…Я не чувствую себя нобелевским лауреатом. Чувствую себя просто исчадием ада, – как всегда, как всю жизнь. Я просто достаточно хорошо себя знаю – что я такое, какой я монстр, какое исчадие ада… Достаточно взглянуть в зеркало… Достаточно припомнить, что я натворил в этой жизни с разными людьми.

ИБ – Томасу Венцлове, 1988

…Когда мне было двадцать два или двадцать три года, у меня появилось ощущение, что в меня вселилось нечто иное. И что меня, собственно, не интересует окружение. Что все это – в лучшем случае трамплин. То место, откуда надо уходить. Все то, что произошло, все эти «бенцы», разрывы с людьми, со страной. Это все, при всей мелодраматичности этих средств – а в жизни других нет, – это всего лишь иллюстрации такой тенденции ко все большей и большей автономии. Которую можно даже сравнить с автономией если и не небесного тела, то, во всяком случае, космического снаряда.

ИБ – Аманде Айзпуриете, 1990

Казалось, ты расквитался с прошлым раз и навсегда, сжег за собой мосты и корабли, сменил, как змея, кожу и начал vita nuova. Mixed metaphor, снова слышу твой замогильный голос, на что я: «А как насчет Шекспира – у него метафора на метафоре и метафорой погоняет?» – «Не читал» – имея в виду по-английски. В самом деле, пастернакова Шекспира предпочитал Шекспиру шекспирову, хотя Лозинский точнее – очередной твой подъё* Пастернаку, а тот не давал тебе покоя: как поэт, как прозаик, как нобелевец и как еврей-отступник.

Кое-какие заусеницы, конечно, остались. По нашему семейному убеждению, жена у тебя была хоть и любящая, но не любимая, то есть, по Аристотелю, она как любящая была божественнее тебя любимого.

Ты, правда, уже был любящим – да еще каким! – то есть божественным в Питере, но потом ударился в противоположную крайность, низвергнув любимую с возведенного тобой же пьедестала с помощью нехитрой теоретической уловки: объект любви – ничто в сравнении с самой любовью. В конце концов, что такое любимая женщина как не творение любящего, а сама по себе – пшик и фикция? Можно сказать и так: скорее ты любил свою любовь к ней, чем ее самое. Твое отрицание живого объекта собственной любовной лирики рикошетом задевало всех остальных женщин, даже самых тебе близких. В самом деле, как могла сочетаться стойкая твоя мизогиния с любовью к женщинам вообще, к жене конкретно, да хоть к дочери? Эти метаморфозы – превращение влюбленного в мизогиниста и последующая женитьба мизогиниста – и являются одним из главных сюжетов этого жития несвятого.

С увяданием мужественности, но с прибавлением славы усилился приток к тебе женщин: вешались на шею, отбоя не было – в обратной пропорции к нужде в них: чем меньше женщину мы любим и прочее. Аристотеля ты цитировал теперь в вольном пересказе Фицджеральда:

– Как легко быть любимым, как трудно любить…

– Кому как, – скромно потупив очи, возражала юная жрица любви.

– Как сказал один герцог или кто он там, из двух любовников один любит, а другой только позволяет себя любить. Вопрос, кто из них в выигрыше.

В конце концов у тебя выработался стойкий иммунитет к женщине как таковой. Ты рассматривал ее с холодным расчетом на предмет получения того минимума физических утех, который положен тебе как мужику. «Любовь», «люблю» отсутствовали в твоем лексиконе по отношению к реальным женщинам, само

буквосочетание стало казаться тебе непристойным либо смешным.

Пусть даже мизогиния часть мизантропии, а твоя мизантропия притча во языцех, вот твой постулат, дословно: к определенному возрасту, считал ты, любой человек – гомофоб, и ненавидит род людской за редкими исключениями (и на том спасибо). Включая самого себя, добавлял ты милостиво. Как будто от этого легче другим!

И еще одно противоречие: коли ты мизантроп, то не жди, а тем более не требуй любви к себе от других. Мизантропство – полбеды, хуже – кокетство мизантропством. Ты был мизантроп-кокет. Точнее: и мизантроп, и кокет мизантропством.

У тебя, правда, человеко– и себяненавистничество с детства, сам признавался. «Достаточно глянуть на себя в зеркало – монстр и есть монстр, – говаривал часто, скорее опять-таки игриво, чем покаянно. – Чего только не натворил я с людьми. Особенно с близкими».

Считал себя «исчадием ада» и то же самое выражение применил в статье о своем тезке, за 13 лет до смерти которого ты родился и в честь которого был назван: «Недаром» – это твой, а не мой коммент (хихикая). Да и «Одному тирану» – это, конечно же, обращение к самому себе. Изначальный импульс поэзии определял как потребность услышать собственный голос. Монологичен до мозга костей, а излюбленный жанр эпистол или разбивка на диалоги – игра с самим собой в поддавки. Все твои горбуновы и горчаковы, туллии и публии и прочие dramatis personae – не что иное, как раздвоение (увы, не шиза, а прием) твоей личности. Alter и atra egi. Способность слушать другого – на нуле, а отсюда уже его полная неспособность к усидчивому чтению – не прочел ни одной более-менее крупной прозы, включая те, которыми восхищался. Тем более – которые ругал. Само собой, невосприимчивость к окрестному миру (не только к природе) – окромя самого себя ничего больше не видел и ничем больше не интересовался. Склад ума – а не только характер – нарциссианский. С той поправкой, что Нарцисс, глядя на свое отражение, может каяться и казнить себя сколько угодно, получая от этого скорее удовольствие, чем наоборот, но не поздоровится тому, кто скажет ему то же, что он говорит сам себе, пусть даже один в один либо эвфемизмами.

Вот, кручусь вокруг да около, а что-то главное упускаю.

После женитьбы, хмыкая, говорил:

– Теперь я – моногамный мизогин, как один скандинав сболтнул про другого.

Сноска: Георг Брандес – о Генрике Ибсене.

Твое матримониальное счастье у нас дома было под бо-о-ольшим вопросом. Ну, ладно мама – у нее были (возможно) на то субъективные причины. Ладно я, хоть я и отрицаю за собой какие-либо поползновения, каковые могли исказить объективное восприятие его женитьбы. Кто вне подозрений, так это папа. Даже если он ревновал маму к тебе, то, наоборот, должен был радоваться, что тот, наконец, уполз в семейную нору. Однако и папа сомневался.

Со второго лица на третье – путем остранения от объекта исследования. Перед следующей многоголосой главой, когда автор и вовсе устраняется, дав слово четырем персонажам.

– Тихая пристань, – сказал ИБ как-то, но никто так и не понял, что именно имелось в виду.

– Могила еще тише, – тут же встряла я с присущим мне тактом.

ИБ согласился:

– Воробышек, как не всегда, прав.

Женоненавистничество ИБ многопричинно – от изначальной любовной травмы до кордебалета, который крутился вокруг него еще с питерских времен, предлагая ассортимент различных услуг, включая те самые. Баб у него было без счета, а могло быть еще больше, но перелетев через океан, ИБ не то чтобы стал в этом деле щепетилен – скорее брезглив. И брюзглив: «Не в ту минжу сунулся», – мог сообщить после разочаровавшего коитуса. Все стало наоборот, чем у нормальных людей: не баба, а ИБ жаловался, что баба тебя разочаровала. Баба или бабы? Сам определял это как «смену координат, точнее ориентиров»: там – романтические и романические, здесь – литературные, метафизические:

– Любовь слишком мгновенна. Отлюбил, а что потом делать? Работа длится дольше. Вот я и выбрал.

А когда шебутной «Вова Соловьев» напечатал к 50-летию гения-лауретата панибратский юбилейный адрес, вызвав взрыв недовольства у друзей и клевретов, ИБ, не вдаваясь в подробности, взял статью под защиту:

– Название хорошее: «Апофеоз одиночества». Человек – существо автономное. Чем дальше, тем больше. Я уж не говорю о смерти. Один как перст. То есть куда больше! Пусть не небесное тело, а космический снаряд, скажем? Спасибо судьбе, что в моем случае она подтвердила это физически. Все мои бенцы, то бишь разрывы – с друзьями, с бабами, со страной, – есть стремление к абсолюту. Как сказал классик из нелюбимых? И манит страсть к разрывам, да? Свобода? Она же одиночество. То есть смерть. Ее-то я и выбрал. Самолично пересадил себя на другую почву.

Прижился – да, но с неминуемыми потерями. А если начистоту, сократил свой жизненный срок. Жизнь, как басня, ценится не за длину, а за содержание – это мы уже вроде проходили, да? Кто это сказал, детка?

– Сенека, – голос детки.

– Так вот, хоть и Сенека, а неправ. Жизнь – что человеческая, что муравьиная, что мушиная – вообще не ценится. Ни природой, ни этим, как Его, каждый раз забываю? Ну да: Богом. А Бог терпеть не может жалоб. Помимо того, что моветон, каково Ему выслушивать жалобы на самого себя? Нашли на Кого жаловаться. А главное – Кому! Человек – стрингер по определению, вся жизнь в условиях высокого риска. Если уж кому на Него жаловаться, то черту. В отличие от Его сыночка, я не возоплю на кресте «Пошто меня оставил?» Околеванец – условие жизни, а на кресте, на электростуле или в собственной постельке – разница чисто формальная. Коли человек одинок в смерти, и никто ему в этом деле не в помощь, то и в жизни – тоже, несмотря на иллюзион, с помощью которого мы коротаем время до смерти.

Смерть нам явлена при жизни – это наши о ней мыслишки. Жизненная суета и есть последний заслончик, которым я отгораживаюсь от мыслей о смерти, не даю им овладеть мной. Чтобы не сойти с ума от смертной тоски. А иллюзии, увы, выпадают к старости, как зубы – все до одной. Вставная челюсть иллюзий, ха-ха! Вот Паскаль – тот как задумался на эту тему, так до самого конца ни о чем другом больше думать не мог. Крыша у него поехала, когда до него дошло, что жизнь и есть смерть. Пусть и медленная. Полная противоположность твоему Сенеке. Вот кто был не промах. Подошел к самому краю, но железно так, как только стоики умели, сказал себе: если хочешь ничего не бояться, помни, что бояться можно всего. И я как-то держусь, хотя от мыслей о смерти меня отделяет еще меньше, чем от самой смерти. Пока что. На этой паскалевой шкале одиночество – это человек в квадрате. И я одинок абсолютно, несмотря на массовку. Вывод: я – человек в кубе. Паскаль был одинок в энной степени, ибо отказался от массовки и остался с безносой один на один. А апофеоз или наоборот – это как посмотреть. То есть взгляд со стороны. Что мне по фигу.

– Итак, мы для тебя массовка, – обиделась мама.

– Если мы для тебя массовка, то и ты для нас массовка, – выровняла я наши отношения, чтоб не задавался.

Знаменитую апологию одиночества и самодостаточности Ницше – немногие мне нужны, мне нужен один, мне никто не нужен – ИБ трактовал как эвфемизм онанизма, который есть верность самому себе и при определенных условиях

предпочтительней романтических и романических связей, ибо те требуют душевных трат. Этой теме – душевной и эмоциональной экономии – посвящено нигде пока что не опубликованное стихотворение «О преимуществах мастурбации» – отстоявший итог печального любовного опыта ИБ, деперсонализация секса как такового.

– Либо проституция. Что советовал Персий Флакк? Воробышек, заткни уши! «Когда в тебе воспылает бурное и неудержимое желание, излей накопившуюся жидкость в любое тело». Венера без Эроса. Нет, не Венера, а Муза, а с ней любовь с годами все безответней. Деперсонализация любви: все равно с кем. Умирать буду, вспомню, как девушка у стойки улыбнулась мне в открытую дверь и пальчиком поманила, когда брел мимо по какой-то привокзальной римской вие. Не путать с Вием! Скорее всего бля*ь, но кто из них не бля*ь! О присутствующих помалкиваю.

Да и лучше априорно считать бля*ью, чем опять же априорно – идеалом. Зависит от точки отсчета: в одном случае, баба выигрывает, в другом – проигрывает. Мужик сам толкает женщину на ложь, творя из нее кумира, любая трещина в котором – катастрофа для него. Или другая история. В поезде Милан – Венеция напротив сидела, с дедушкой Зигги на коленях и карандашом в руке, но все время отвлекалась и карандаш посасывала – вот-вот! – напропалую со мной кокетничая. Само собой – молча. Сплошные флюиды, будто никого, кроме нас, в вагоне нет.

Почему не откликнулся? По незнанию итальянского? Из-за Марины?

В бейсменте, когда мусор выносил – поворошил рукой в брошенных шмотках, а под ними бездомная девочка, смотрит на меня спросонья дивными своими глазами – как короткое замыкание. Снова сбежал.

Еще одна нищенка с юным интеллигентным лицом в темном углу Коламбус Серкл – еще одна упущенная возможность, жжет как изжога.

А вчера в ресторане попридержал дверь, пропуская ужасть как красивую негритянку – и снова искра промеж нас. Ни одна из них никогда меня не вспомнит, а я помню всех и торчу на них будто это было вчера.

А меня, наверное, помнят те, кого я начисто позабыл. Да и что такое любовь? Абсолютная случайность – что встретил именно эту, а не ту. Миражистая жизнь, не врубаюсь. Ну что, в самом деле, я на Марине застрял!

Женился бы лучше на той привокзальной бля*и: там хоть

знаешь что к чему и что почем, никаких иллюзий. Из бля*ей, как известно, самые лучшие жены: они свое уже от*лядовали. А хуже всего девственницы – у них все впереди, дай им все попробовать да сравнить, у кого толще.

На этой фразе мама демонстративно нас покинула. Папа остался – из солидарности: как мужчина. А я как кто? Как девственница. Хотелось все про себя узнать заранее.

– Любите самих себя – этот роман никогда не кончается, – цитировал он в сотый раз понятно кого и в ответ на мое «чем ты и занят всю свою жизнь» мгновенно парировал следующей цитатой:

– Если идешь к женщине, захвати с собой… – что? Плетку! Где моя плетка, чтобы отшлепать эту женщину-ребенка?

Весь состоял из цитат, человек-компендиум, цитаты как костыли, но коверкал их на свой лад, перевирал, извлекал боковой либо обратный смысл.

Здесь потребуется сноска, хотя, наверное, ее следовало сделать значительно раньше. Почему никто меня не стеснялся и говорили в моем присутствии о самых интимных вещах и употребляли ненормативную лексику – и не только лексику? Так уж повелось у моих продвинутых родаков в отношении их единственной дитяти. Они исходили из того, что в школе и на улице я слышу – или услышу – кое-что почище, а потому надо приучать дочь сызмала. Да и не только разговоры. С раннего детства я видела моих парентс голыми, папа бы, может, и застеснялся, но моя преодолевшая стыд мама заставила и папу не стесняться своей голизны при мне:

– Пусть видит, что вы из себя представляете, чтобы потом никаких иллюзий.

Было дело: однажды застукала их и вовсе в фривольной ситуации, хоть и под одеялом – к сожалению. Мама не растерялась:

– Теперь видишь, каким элеметарным способом ты была сделана, – сказала она, выглядывая из-под папы.

– Чур, братика! – сказала я.

– А ну, марш отсюда! – скомандовал папа, хотя я предпочла бы остаться, чтобы досмотреть до конца, но мама сказала, что зрелище более-менее однообразное и конец мало чем отличается от начала.

Не сказала бы! Одна звуковая дорожка чего стоит – слушать интересней, чем смотреть! Мне было тогда 11, а досмотрела-дослушала уже по телеку пару месяцев спустя, завершив таким образом свое сексуальное образование (теоретически). Кстати, тот фильм, помню, мы смотрели всей семьей, и папу-маму, уверена, он возбудил, в то время как у меня вызвал только

здоровое любопытство.

Они таскали меня с собой повсюду, я такого наслышалась в детстве – меня ничем не удивишь, по сравнению с тогдашними впечатлениями моя нынешняя взрослая замужняя жизнь – сплошная невинность. Вот они, плоды современного воспитания! Во взрослых компаниях привыкли ко мне настолько, что совершенно не стеснялись в выборе сюжетов и слов, а ИБ, будучи кокет и жеманник, перед тем, как что-нибудь выпалить, шутливо предлагал мне заткнуть уши или по кинуть собрание, надеясь смутить меня таким образом, да не на ту напал.

Все эти его довольно однообразные шуточки продолжались, когда я стала взрослой – как будто я ею и не стала. Но именно благодаря этому нашему возрастному неравенству, отношения наши как раз и выровнялись, несмотря на его тиранство-паханство по отношению к остальной публике. Баб тиранил не меньше, чем мужиков, словно мстя им за ту свою давнюю обиду. Приставучих и вовсе презирал, а особенно тех, с кем прежде «обожались и обжимались» (его словечки). Философия ИБ после Катастрофы сводилась к довольно простому правилу: зачем вся дева, раз есть колено. Одно и то же колено ему быстро приедалось, связи были поверхностными, случайными, одноразовыми, предпочитал по-быстрому. За одним только исключением, о котором, не знаю, буду ли. И не считая кратковременной все-таки, ввиду смерти, женитьбы. Чего всеми силами избегал, так это возобновлений и продолжений: «В одну и ту же дважды? Да ни за что! Имею в виду реку».

Гераклита перевирал постоянно, трактуя каждый раз на новый лад:

«В одну и ту же ямку снаряд не падает. По Гераклиту». Или по поводу встречи с уже помянутым мной подонком, нагрянувшим из Питера:

«Супротив Гераклиту, в одно и то же говно вляпался дважды». Еще одна форма его борьбы с тавтологией?

Одной здешней диссертантке, с которой у него были траливали в Питере, наотрез отказал, заявив, что после сердечной операции импотент, что было не совсем еще так, хотя удивление по этому поводу и фантазии на этот счет были утрачены, эрекция возникала по сугубо физическим причинам: переполненный мочевой пузырь либо тряска в автобусе. Откуда я знаю? Его собственные слова. «Еще во сне, – добавлял ты. – По совсем уж невнятным причинам».

Кстати, знаменитое «конец перспективы» – внимание бродсковеды! – относится именно к вагине, а никак не к политике.

Даже Л. не удалось его соблазнить, а эта абсолютная фригидка знаменита именно тем, что коллекционировала гениев. И негениев тоже.

Не было в иммиграции мало-мальски подающего надежды литератора, которого бы она не поимела. «Сквозь ее пи*ду прошла вся литература в изгнании», – говорил про нее Довлатов, сам не избежавший призыва. Как может быть толпа из одного человека, так одна женщина может представлять из себя целый бля*оход, а тем более такая бесстрастница, как Л. В конце концов спилась и стала литературным критиком.

– Он мне лазил под юбку, – утверждала она под пьяную руку.

– И всё?

– К сожалению.

Даже если ИБ, действительно, лазил ей под юбку, в чем я сильно сомневаюсь, то инициатива все равно исходила не от него. Сама видела, как, усадив гостя на диван, она лезла через него, чтобы открыть фрамугу, то есть подставлялась. В связи с ней ИБ рассказывал о своих подростковых переживаниях, когда парикмахерша терлась минжой (любимое его словечко) о его руку, лежащую под простыней на ручке кресла, а он не знал, что делать. Так и остался с замершей рукой на всю жизнь, жалел до конца дней.

Что я заметила: в вопросах секса даже у таких преждевременных старичков типа ИБ остается что-то инфантильное, хоть он и перестал удивляться. Самая невинная из нашего гендерного сословия испорченнее в душе, чем самый Дон Жуан из их. Тот же Казанова – сущий ребенок! К сожалению, во всем остальном ребенок в ИБ как-то испарился, хоть он и повторял: чтобы не впасть в детство, оставайся в нем навсегда. А сам как-то рано повзрослел, а потом преждевременно постарел – состарился. Что не могло не сказаться на стиховом потенциале.

Американский мизогинизм ИБ (все-таки лучше, чем словарная мизогиния) был в том числе реакцией на его российскую влюбчивость.

Там он был большой ходок, хоть и любил одну женщину, а та оказалась блудней и курвой с рыбьей кровью. Так он сам говорил. А потому влюбчив да отходчив – все его питерские романы носили мгновенный характер, продолжения не имели: спринтер в этих делах. Влюбчивый однолюб, а однолюб, как известно, может сделать несчастной только одну женщину. Ее и себя. Что и произошло.

– Хронический случай, – объяснял он всем желающим. – Вирус в крови. Вывести можно только со всей кровью. Как сказал опять-таки не я, а жаль: высокая болезнь. От себя добавлю:

неизлечимая. Единственный эскулап – небезызвестная мадам. Безносая и с косой.

У меня есть доказательство, что ИБ до самой смерти любил только МБ, и в надлежащем месте я это доказательство предъявлю. Если решусь. А не решусь, читателю ничего не останется, как поверить мне на слово. Остальные бабы – как он говорил, ляфамчик – были для него на одно лицо. Точнее – на одну муфту. Отношение: от равнодушного до презрительного:

– А ты замечала, детка, что все чудища в греческих мифах – женского рода: гарпии, мойры, эринии, горгоны, химеры, ехидны и прочие граи и Ламия?

– Что еще за граи и Ламии?

– Ну, знаешь, не знать грай и Ламии! Граи родились старушками, и у них на троих был один глаз и один зуб – пользовались по очереди.

А Ламия на сон грядущий вынимала из орбит свои глаза, как не я свои зубы, и те продолжали за всем следить, пока она спала. Недреманное око, но во множественном числе. Вот что такое женщина! Суккуб. Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.

Если бы не та его личная Катастрофа, ИБ, может, и мизогинистом не стал. Кто знает: ни мизогинистом, ни иммигрантом, ни нобельцем, ни сердечником. Жил бы себе и жил в Питере до сих пор. О это сослагательное наклонение…

Пусть прозвучит кощунственно, но должен быть благодарен Марине за измену. Без той измены он, может быть, и не смог бы реализовать свой потенциал. Потому он и раздул любовный эпизод до размеров жизненной катастрофы, мыльной опере придал трагические черты – из творческого инстинкта. Катастрофа – его главный литературный, поэтический и карьерный импульс. Как поэт и как человек он сформирован Катастрофой, которую создал все-таки сам, пусть и из жизненного материала. Можно сказать и так: он есть причина и следствие той Катастрофы. Его так называемое мужество в тюрьме, на суде и в ссылке – по причине его эмоционального перерасхода: у каждого есть свои квоты, он весь истратился на любовные переживания. Отсюда его равнодушие к внешним перипетиям жизни да и к ней самой – он был ведом судьбой, жизнь по барабану. Он как бы попал в иное ведомство: парки уже плели и расплетали нить его судьбы, голос нарсудьи доносился до него глухо, издалека и не имел большого значения.

Было бы упрощением сводить литературную карьеру ИБ к реваншу за любовное невезение. Что несомненно: та неудача стала главной подпиткой не только его поэзии, но и его судьбы,

из человечьей беды он извлек литературную выгоду, вырвал победу из рук пораженья, творил себя и свою жизнь всей силою несчастья своего. Слово в слово.

В качестве примера приводил великого британского меланхолика лорда Теннисона, который написал классное стихотворение, вдохновившись разгромом британского отряда в Крымскую войну и гибелью капитана Чарлза Нолана: вырвал трофей из поражения. И еще рассказывал о музее человеческих неудач где-то в Ново Скоше. Фразу о tristesse после случки я уже приводила. «Посткоитальные страдания юного Вертера», – шутил он уже в Нью-Йорке. И перевертыш американской поговорки как постулат: цепляйся за седло сбросившего тебя коня.

Что касается женщины как таковой, то ее общедоступность – особенно замужней – стала смущать его инфантильно-романтическое сознание, живо напоминая, как разом потерял он двух близких людей – любимую и друга. Не простил ни той, ни другому, хотя связь у тех была случайная, мимолетная. «Перепихнулись – и всех делов», – объясняла его бывшая подружка, а друг будто бы даже подвел под это дело довольно замысловатое основание – философскую базу, как он говорил.

Мол, на самом деле, это был перенос латентной страсти к другу на его подругу, сексуальный эвфемизм из-за предрассудочной нерешительности перейти с ИБ на «ты» и трахнуть. Говорю со слов Довлатова, а тот мог, конечно, и передернуть, подвести под образ ДБ, которого относил к породе достоевских персонажей, а те любую свою гнусь объясняют высшими материями.

Что верно, так это что объектом творческого либидо ДБ был сам ИБ, а не МБ. То есть в переносном смысле. Не как муж, но как пиит. Но поединок с поля поэзии, где был обречен на проигрыш, ДБ перенес на любовное и взял-таки реванш за литературное поражение, уязвив и унизив друга, в котором видел соперника, а тот в нем – нет. ИБ был так забалован не только литературными, но и любовными успехами, что его мужское ego просто не успело приспособиться к такому провалу. А что, если не только Дима Бобышев, но и Марина Басманова – оба брали реванш? За чтó – было обоим. Но я пишу не их парный портрет, а жизнеописание ИБ. Он не привык к поражениям, потому это и стало Катастрофой. Она же – вдохновение. ИБ был романтик, трагедия – его муза.

Жизнь ИБ – как личная, так и поэтическая – делится на два периода: до Катастрофы и после Катастрофы. Все остальные принятые у исследователей периодизации – до суда и после суда, до ссылки и после ссылки, до отвала и после, до Нобельки и после Нобельки – условны, а то и вовсе вздорны.

С его точки зрения, не столько само сношение, сколько антураж был с подлянкой – снюхались они, когда гэбуха обложила ИБ со всех сторон, до ареста осталось всего ничего, все уговаривали ИБ остаться в Москве, но он, чуя неладное в любовном тылу, примчался в Питер – само собой, на самолете, на поезд у него никогда не хватало терпения, – где его тут же и схватили. Кто знает, отсидись он в столице… Но опять-таки, не было бы тогда и его великой судьбы, не говоря уж о внешних знаках – суд, слава, ссылка, отвал, Нобелька и проч. В том и суть, что гения судьба тащит силком, а этот и не отбрыкивался, эмоционально расслабленный и равнодушный ко всему – включая арест, суд, дурдом и ссылку – кроме измены-предательства. ИБ подловили там, где он менее всего ждал подвоха. А счеты с гэбухой и советской властью – мелководье по сравнению с той бездной, куда он летел вниз головой по вине ли друга, подружки или своей собственной: разберемся вот-вот с их же помощью.

Безотносительно к контексту, супостат и супостатка, как я уже вроде бы упоминала, были единственными гоями в его разношерстой во всех других отношениях питерской компашке. Наше семейство не в счет, ибо со стороны.

Его подружка так и застряла в Питере, а бывший друг, который осудил ИБ за отвал в виршах и устно («Сейчас ты в заграничном том пределе, куда давно глаза твои глядели»), сам вскоре женился на американке русского происхождения, переехал в Америку, переженился на русской еврейского происхождения и сетовал, что ИБ, в отместку, перекрыл ему здесь кислородные пути. На самом деле прямого такого указания со стороны мэтра не поступало, но мир литературной иммиграции и сопредельный ему мир американской славистики – это тесное гетто, члены которого, сочувствуя либо угождая страдающему гению, подвергли литературного Иуду пусть не тотальному, но довольно чувствительному остракизму, который закончился только после смерти ИБ, и Иуда стал выпускать книжку за книжкой с совсем даже недурными виршами. Вообще, из ахматовских сирот Бобышев, после ИБ, – самый талантливый, пусть и с большим от лидера отрывом. Он долго – дольше других – сдерживал свой вспоминательный зуд, но в конце концов и он включился в «волшебный хор» посмертных мемуарщиков, выдав свою версию их совместной истории, предварительно оглашенную им в стихах. Тем не менее я заставлю его говорить в этой моей книге как на духу. Или – на исповеди у психоаналитика. Пусть сравнит свои мемуары со своим же монологом, мною за него сочиненным.

Еще в Питере, подростком, я осуждала именно его, а ее жалела (с кем не бывает!), но все равно удивлялась, что ИБ

восстановил с ней (почему тогда не с ним?) отношения и заделал ей ребеночка. Что бы там ни говорил в свое оправдание Сальери, сваливая вину на Марину, инициатива на самом деле исходила от него, без разницы, кто первым скинул исподнее. Девица она была шальная, но я и теперь ее жалею.

Тем более в свете того мстительного антилюбовного стишка, который ИБ сочинил в качестве эпилога к своей любовной лирике.

– Лучшее, что в этой жизни написал, – насмарку, весь душевный капитал в нее вложил, а теперь, сама понимаешь, – банкрот, – хныкал он, а ее с тех пор иначе, как лярвой, курвой, зае*анной дамой и спящей – со всеми – красавицей, не называл, и свой уход трактовал как бегство от тавтологии – тавтологии секса, тавтологии любви, тавтологии семейной жизни.

Эврика! Его страх тавтологии – это страх жизни.

– Выбирая то, что привлекает других, обнаруживаешь свою собственную вульгарность. Подруга напрокат? Подержанная баба? Делить любимую женщину с другом? Дефиниция друга: будущий враг. Не говоря о гигиене: все равно, что пользоваться с кем на пару одним презервативом.

– Фу, какая гадость! – сказала мама.

– Вот именно! Ладно, пусть будет эвфемизм: одной зубной щеткой.

Что дела не меняет. Никогда не понимал и не приму феномен женской полигамии. Бля*ь можно трахать, но не любить. Любить можно только то, что принадлежит лично тебе. Любовь – это частная собственность, а красота – тайна за семью замками. Общедоступной красоте место в музее восковых персон или в борделе.

– А как же Клеопатра?

– Жуткая уродка! Одно – на экране, когда ее там разные Вивьен Ли, Лизы Тейлор и Сони Лорен изображают, другое – в жизни.

– Ты ее видел в жизни? – поинтересовалась я.

– Я ее видел в музеях, детка. Статýи сохранились. Толстая такая коротышка в полтора метра с длинным-предлинным носом. Как ты знаешь, будь нос Клеопатры покороче – иное было бы лицо мира. Но Паскаль и представить не мог, что у нее нос, как у Сирано де Бержерака. Он бы тогда Клеопатру заменил Еленой, которая тоже изменила лицо мира, пусть древнего, собрав у Трои тысячи кораблей, что наш поэт смог сосчитать только до половины. Клеопатра! А личико у этой карлицы – в ореоле черных, как смоль, завитков. Отсюда изометафора: заплетенные в волосы змеи. Жгучая брюнетка. Семитский тип, короче.

В его устах – антикомплимент. Хотя его окружение и состояло по преимуществу из евреев, его гарем, напротив, носил интернациональный характер с весьма редкими, случайными вкраплениями соплеменниц, связь с которыми он приравнивал к инцесту. По преимуществу блондинки, большинство гойки, по этому разряду я и проходила, помимо личных качеств. Из его изречений: «Мало того, что сало русское едим, так еще и девок русских е*ем». При чем здесь сало?

– Значит была сексапилка! – предположила я.

– Да, сексапилка. В том смысле, что ее пилили все, кому не лень ночи напролет. Хоть и шла по дорогой цене. Заманиха. Шмара. Проходной двор. Мужиков привлекала не только царским саном, но и запахом спермы, который и был ее главным благовонием. Есть такие охотники – по живому следу, чужая сперма их дико возбуждает. Бобышев, например. Плюс колхозно-кибуцное сознание. То есть недостаток воображения, да? Я не из их числа. Учти на будущее: голая баба возбуждает пять минут, одетая или полураздетая – всю жизнь. Вот тебе пример из личной практики: будь у Марины телефон на дому, я бы так, наверное, с ума по ней не сходил. Являлся к ней, чтобы услышать ее голос, а сама звонила крайне редко. Да еще переть через весь город – с Пестеля на Глинку! Любовь – это бег с препятствиями. А то, что уже было в употреблении – извиняюсь. Да, индивидуалист. Да, собственник. Любовь и есть собственность. Как и поэзия.

Папа говорил, что ИБ переживал предательство друга чуть ли не сильнее измены, а ту списывал на физиологию – его мозги не могли переварить не измену как таковую, а саму возможность измены, заложенную Богом в любой женщине:

– За что и пострадала Дездемона, а не за гипотетическую измену, которую совершала мысленно и неизбежно совершила бы на самом деле – с тем же Кассио, например, который ей куда более адекватен, чем экзотический Отелло, а тот потому и сходит с ума, что ей не пара.

– Ну и что? К чему ты клонишь? – раздраженно сказала мама.

– А к тому, что все бабы – бля*и.

– Ну уж все… – примирительно сказал папа.

– Пусть докажут обратное.

– А как насчет презумпции невиновности?

Это я.

– Мы не в юридическом мире, а в физическом. Точнее – физиологическом. Где, наоборот, презумпция виновности. Не на деле, так в потенции.

– А как насчет импотенции?

Опять я.

– В том-то и дело, что бабе импотенция не помеха. Иные фригидки – почище любой нимфоманки! Говорю на основании собственного опыта.

– Который возводишь в универсальный.

Это, конечно, мама.

– А на какой еще опыт мне ссылаться?

– На женский! – снова встреваю я, у которой этого опыта, увы, еще не было.

– Еще чего! Мой единственный опыт: скромница – она же скоромница. Разницу сечете?

– Одна буква! – кричу я, но он не обращает внимания.

– На вид монашенка, но мы-то знаем, что такое монастырь на Руси.

Эпицентр разврата! Кто им позволил казаться такими неприступными и невинными!

– Бог, – высказался, наконец, и папа.

– Мужик должен хоть раз схватить триппер – чтобы знать, что такое баба!

– Такой мальчишечник у вас начался, что нам с Ариной здесь делать нечего, – сказала мама.

– Я же не о присутствующих! Про них, а не про вас! – взмолился ИБ.

– А теперь представь аналогичный разговор про евреев, а когда ты вскакиваешь, чтобы дать всем в рыло, тебе говорят, что не о присутствующих.

– Сравнила!

– Нас дискриминировали дольше, чем вас, – сообщила я.

– Недодискримировали!

С той самой любовной травмы и невзлюбил человечество – обе его половины. Или раньше? Хоть он и менял постоянно причину ухода из школы – от бунта против тирании до классической неуспеваемости, из-за чего даже остался на второй год (двухарь по английскому!), но часто у него прорывалось, что просто стало невмоготу видеть морды как учителей, так и однокашников. Вот я и говорю, что мизантроп с малолетства. И его жестокость следствие его романтизма. Или идеализма? К примеру, считал идеалистом Гитлера, который ничтожил мир, потому что не нашел для себя места и счел не соответствующим идеалу (евреи, те вообще выпадали из его идеальной конструкции). Идеальным примером идеализма считал Прокруста с его испытательным ложем. А как соотносились в его представлении он сам и его идеал? Себя скорее жалел, чем любил. Любить – не любил никого.

– Я слишком долго тет-а-тет с собой, чтобы себя любить.

Притерся, свыкся, надоел, ничего от себя нового уже не жду. От других – тем более. Кина́ не будет. Хоть и обрыдл давно самому себе, но предпочитаю одиночество общению. Да и квота негативных ощущений у меня – через край. Жаль, по факту своего рождения не могу быть антисемитом. Хотя Торквемаду взять – основал инквизицию, чтобы бороться со своими соплеменниками. Или Шарло. Что говорил этот лысый коротышка нордическому красавцу Фридриху? «Я бы, грит, евреев ненавидел еще больше, но не могу. Потому, грит, что именно они делают революцию».

Любимое его присловье: «Не бойтесь обижать людей». Что ИБ и делал постоянно и на чем мы в конце концов разбежались, когда его мизантропство рикошетом задело и меня, хоть он потом и оправдывался, что не подозревал о наших с Артемом отношениях. И любовная обида его юности – объяснение, но не оправдание. Понять – не значит простить (пусть шаблон). Или еще раньше, когда Александр Иванович тиранствовал и ремень гулял по заду будущего гения русской поэзии?

Папаша был дубоват, брутален и груб – чистый совок, горд, что угадал родиться 7 ноября в день Октябрьской революции, хоть и на дюжину или около того лет раньше. Ладно, про Марию Моисеевну, в девичестве Вольперт, деликатно промолчим. Это потом была создана – не без участия сына – легенда о милых, тонких, интеллигентных родителях. Чего не было, того не было.

Нет, не любовь, а обида – его питательная среда. Со всеми вытекающими последствиями. Культ страдания делает человека безжалостным, надменным, спесивым. Помню наш с ним спор о цветаевском «гетто избранничеств, вал и ров – пощады не жди». Мы их трактовали с разных сторон: он – к пользе поэтов, я – в их осуждение.

Обида стала его внутренним двигателем, источником вдохновения, страсти и человеконенавистничества. Он и был ярым кошачником из-за разочарования в человеках. Любить животных, я заметила (в том числе, по себе), куда легче, чем людей – меньше ответственности. А он так даже идентифицировал себя с котом – стал бы иначе называть кота своим именем: Ося? А все эти его сорные «мяу» в устной речи – вплоть до названного так эссе?

– Человека не погладишь, а он в ответ не промурлычет. Наоборот: ты его гладишь, он тебя кусает.

Справляющего нужду кота приводил в качестве контриллюстрации к чеховскому постулату:

– В человеке все должно быть прекрасно, да? А теперь представь человека за этим занятием. Ну? Женщину…

Странно, что именно ссущая баба была ниспровержением ее с

пьедестала: ссущая баба есть сущая баба (с его т. зр.). Других мужиков, наоборот, это возбуждает. Лимон писал, как подставлял ладони под струю Лены Щаповой. Или это две стороны мужского инфантилизма? И как насчет ссущих мужиков – что есть их сущность?

Молчит, как им там и положено.

Помимо того антилюбовного стиха в его любовном цикле, есть также помянутое мною и нигде пока не напечатанное стихотворение «О преимуществах мастурбации» с шутливой ссылкой на библейского Онана, который оказался прав, а не Бог, учитывая перенаселенность нашего шарика. Далее парафраз уже помянутой мной анонимной цитаты: лучше мастурбировать, чем транжирить дух на постыдные мечты. Инфантильное удивление: неужели это дивное тело, чудесные шнифты, бо жественная грудь, весь этот совершенный физический аппарат принадлежит ничтожеству? Да сколько угодно! Значит, и Венера Милосская?

И личный лейтмотив стихотворения: постскриптум-опровер жение – не только собственных стихов, но и всей своей жизни. Вместе с другими неопубликованными текстами и дюжиной редких фоток стихотворение хранится у нас дома с распоряжением ИБ поступить с ним как нам заблагорассудится. Папа считает, что гения надо печатать всего как есть, мама полагает, что надо попридержать, пока сойдут в могилу его современники – включая младших, как я, а у меня почему-то нет права голоса. А если бы было?

Это и в самом деле не очень пристойные стишата про то, что рукоблудие избавляет от унизительной зависимости одного человека от другого и является победой человека над Богом, который устроил эту ловушку, чтобы запущенный им природный механизм – биологический перпетуум-мобиле – продолжал работать сам по себе, без Его участия либо вмешательства. Это в метафизическом смысле – преодоление Бога, а на индивидуальном – возможность извлекать высшее блаженство, не прибегая к посредникам и не превращая удовольствие в боль, муку и тоску: любовь в одиночку. Вывод: любовь есть анахронизм и атавизм, недостойный homo sapiens.

Такая вот метафизическая и суперменная теория.

Думаю, в отрицании любви как некоем преувеличении отличия одной бабы от другой он был искренен, ибо, будучи человеком импульсивным, жил сиюминутно и не узнавал себя прежнего, не понимал, что стряслось с ним в юности, из-за чего сходил с ума, что сделало его тем, чем он стал. Прежние свои чувства полагал теперь блажью и дурью.

Само существование Марины оказалось под вопросом: не

плод ли она моего воображения? А был ли мальчик? То есть девочка. Как еще объяс нить, что с голосом, который приводил его в возбуждение, спустя всего несколько лет больше ничего не связывало? Душа за время жизни приобретает смертные черты? Омертвение не только памяти, но и души, потому что какая же душа без памяти?

Это как в том гениальном анекдоте на вечную тему «три возраста», когда мужики с одного необитаемого острова видят баб на другом: юноша тут же бросается вплавь, средних лет строит плот, а старик говорит: «Сами приплывут».

Что-то угасло в твоих воспоминаниях, если не сама память была на исходе, в душе настала великая сушь и как результат – апофеоз суходрочки.

Теорией дело, однако, не ограничивается. В стихотворении поименно либо узнаваемо задеты реальные люди – как мэн, так и вумэн, что говорит не в пользу автора, который дал в нем волю своей мизантропии. Будь это великое стихотворение опубликовано, посмертный скандал неизбежен. А почему, собственно, нет? С каких это пор мы боимся скандала? Мне кажется, негативное паблисити могло бы оживить славу ИБ либо, сняв с нее академическую патину и добавив хулиганский – нет, не подтекст, а надтекст! Если Довлатов в post mortem опубликованных письмах вылил ушат помоев на всех своих знакомых, друзей и родственников, беря посмертный реванш у собственных мемуаристов, то почему заказано это сделать ИБ, о котором не пишет только ленивый, а в друзья норовят посмертно пролезть такие заклятые при жизни, как гомункулус гэбухи Саша Кушнер? Тем более этот стих раскрывает истинную причину любовной драмы ИБ, а не те почти официальные или даже неофициальные, которые излагаю я. Истинную, понятно, с его точки зрения. А не пересказать ли мне это стихотворение прозой, дав слово мертвецу?

Мертвец не всегда прав, голос с того света – не истина в последней инстанции. Здесь мое коренное несогласие с «Расёмоном», чьим приемом я воспользуюсь, дав слово не только мертвецу, но и живым: каждому из участников любовного треугольника – точнее четырехугольника, но не отдавая предпочтение ни одному из голосов. Мертвец – на равных правах с живыми! Нет у него никакого перед нами преимущества. Разве что во времени, точнее в вечности. У нас – время, у него – вечность. Наше существование – величина временная, переходная, мнимая, тогда как мертвость – устоявшаяся, постоянная, вечная. Ну и что? Мертвец может лгать или ошибаться, как и живой.

– Как говорил один гречана, в один и тот же асфальт ступить неможно – еще одна прижизненная вариация мертвеца на гераклитову тему. – Хотя время – это уж точно наше жидовское, а не греческое, изобретение. К тому же сравнительно позднее: Бергсон, Эйнштейн, Пруст. Я, наконец.

– Ты нашел свое утраченное время? – спросил Воробышек, проявляя недюжие ассоциативные способности, за что и была им ценима.

Хотя не только.

– Мне нечего искать – я никогда время не терял. Понимаешь, стареют все. Даже Сусанночки вроде тебя – для меня, старца. Помнишь страх ГГ, что его Лолиточка состарится. То есть станет нормальной девицей, да? Классный ход. Не стареет только похоть. Но похоть целенаправлена памятью. А в памяти все тот же объект. Достаточно вспомнить ее запах, чтобы вздрючить моего ваньку. Odor di femina. Хочу только ее. Идефикс. Кого бы ни трахал, сравниваю с ней. Не в пользу той, которую трахаю в данный момент.

– Кого ты трахаешь в данный момент? – поинтересовалась мама.

– Хорошо, что я тебе не дала, – не помню, сказала я или подумала.

– Кто знает, а вдруг бы ты перешибла памяти хребет? – догадался он. – А так обречен до конца дней – недолго осталось – еть собственную память.

– Ну и как?

– В отличие от реальных девуль, не приедается. Приедается всё, лишь тебе не дано прие*аться. Прав был Боря. Хоть и не помнящий своего родства, но в этих делах дока. В моем случае время, помноженное на пространство: смутный такой объект желания сквозь даль времен и океана, но один и тот же. Потому и не скочурился, что обеспечиваю ей вечную молодость. Да и когда умру, пребудет младой в моих стишках.

– Может, в этом и есть твоя судьба и высшее назначение твоей поэзии?

– Есть старое-престарое голливудское кино, «Мистер Скеффингтон» называется. Бетти Дэвис там играет одну такую безлюбую дамочку, на влюбленного мужа и вовсе зиро аттеншн, как я на твой подъе*.

Тот отваливает с дочкой в Берлин, а вокруг соломенной вдовы продолжает увиваться золотая молодежь. Короче, кокетка, а может, и кокотка – смотря по обстоятельствам. Потом вдруг катастрофически дряхлеет, волосы и зубы выпадают, морщины, короче, все прелести старости налицо. Точнее – на лице. Глянь на

мою мордочку, а теперь представь меня женщиной, когда-то всеми любимой. Как у нетвоего Пруста в последнем томе, когда он после долгой болезни встречается на аристократической тусовке с прежними знакомыми и с трудом их узнает, а они – его. Ну, само собой, эта кокетка-кокотка дико переживает свое старение. Обычная история. И вдруг мелькает такая мысль – что в глазах любящего женщина не стареет. Возвращается муж из конц лагеря, еврей, кстати, играет его Клод Рейнс, такой не от мира сего, архидобрый тип, сцена, где он рыдает с дочкой в ресторане, а с ними весь зал – на всю жизнь. Нашу бывшую красотку предупреждают, что экс-муж теперь калека и развалина после всех этих немецких дел, и как раз с ним она ни в какую не желает встречаться, потому что он ее любил, и она его любила, хоть и не знала этого, а теперь, когда знает, – развалина и уродка. Но в конце концов выходит к нему. И здесь, помню, все мы в таком чудовищном напряге – как бы там наци его ни изувечили, но он сейчас увидит свою шальную красотку в ее нынешнем физическом обличье, и его любви – капут. Но Голливуд он и есть Голливуд. Уж коли какую цель поставит, то идет к ней всеми правдами и неправдами. Я еще в Питере эту фильму видел, ее у нас выдавали за трофейную, хотя вроде бы мы воевали с Германией, а не с Америкой.

Или я ошибаюсь? Но нам тогда все эти копирайтные дела были по херу. Главное: окно в Европу. То есть в забугорье. Так мы и стали американофилами – через то трофейное кино. Ну и тащились мы тогда от него! Вот когда начался наш отвал с родины. Внутренними эмигрантами мы еще пацанами стали, а уже потом свалили физически. А любовь? Разве не проигрываем мы ее сначала в воображении? Любовь – это вообще жанр фэнтези. Или род недуга. Само собой, душевного.

Спиноза влюбленного считал безумцем. Потому что чем отличается одна дивчина от другой? Можно подумать, что у одной меж ног нечто иное, чем у остальных.

– То же самое можно сказать и про мужиков.

– Об том и речь! Обоюдное доказательство, что любовь относится к жанру фэнтези.

– Ну и чем кончается то трофейное кино? – напомнила я, потому что о физиологическом сходстве женщин меж собой слышала от него и прежде.

– Ах, это трофейное кино, наша школьная отрада! Попадались там и шикарные фильмы, до сих пор слезу вышибают. «Мост Ватерлоо», «Леди Гамильтон», «Газовый свет», «Судьба солдата в Америке», которая здесь оказалась «Th e Roaring Twenties». Первые уроки любви. Был попеременно влюблен в

Вивьен Ли, Оливию де Хевиленд, в Марлен Дитрих. А молоденькая Ингрид Бергман – с ума сойти! И само собой, с каждой имел дело.

– В воображении.

– Ну, как сказать. А рукоблудие? Мастурбация – это воображение или реальность? Под каждую дрочил.

Сюжет его будущего стихотворения. Или оно тогда уже было написано?

– И самая великая любовь моей юности – Зара Леандер в «Дороге на эшафот». Она же – Мария Стюарт. Это я был тот юный паж, который преклоняет свою рыжую голову на королевское бедро, изумительнее которого нет, не было и не будет. Потому что бедро обречено, как и голова. Та Мария предопределила все остальное: вкусы, предпочтения, любовь. Протообраз, прототип, архетип – я знаю? Либидо было закодировано раз и навсегда. Заколдованный круг даже этимологически:

Мария – Марина – Мария. Как ни хороша была моя монашкаледашка, она все-таки была отклонением от идеала по определению. На пару-тройку градусов. Ибо идеал – недосягаем. Думаешь, Марина все это не понимала? Как-то говорит: «Ты меня с кем-то путаешь». – «А ты не путайся с кем попадя, тогда и путать не буду». Я ей все рассказал про Мари. Потому она с Бобышевым, наверное, и сошлась, чтобы соответствовать образу. Обе – бля*ищи. Не муфта, а постоялый двор, место общего пользования.

– Так чем кончается твое смотрибельное кино про бывшую красотку и ее бывшего мужа? – снова напомнила ему. – У тебя, дядюшка, не склероз? Больно ты отвлекаешься.

– Запала, да? Я понимаю – теперь, – что натяжка, мелодрама, дешевка. Слезоточивое такое кино. Короче, шмальц. Но тогда – в полном отпаде. От самой идеи: что любимая для любящего остается навсегда одной и той же. Потому что мистер Скеффингтон возвращается из концлагеря абсолютно слепым, а над голосом, как известно, время не властно. То есть буквально: для него она та же, что была. Лю-би-мая.

Вот я и есть тот слепой. Зови меня мистер Скеффингтон. А прозрею на смертном одре, как Дон Кихот.

– Так кто ты, дядюшка, мистер Скеффингтон или Дон Кихот?

– Я Федот, да не тот. Уже не тот. Давно не тот. Зато ты – та. Не старей, котеночек. И не ржавей, как я. Никогда. В чем мне повезло, знаешь? Я не доживу до твоего 30-летия.

– А я доживу?

– Статистически – да.

Я всегда, с детства, завидовала ее холодной, нордической,

молчаливой и загадочной красоте. Ее прозвища – ледашка, ледник, ледниковый период, глетчер, айсберг, северный полюс, фригидка, холодильник, морозильник, айс-крим, снежная женщина – еще больше подогревали мое любопытство. Она была совсем другой, чем наше окружение – и чем его окружение, и никак не вписывалась. Никто из знакомых – его и наших – с ней не контачил и не дружил, если не считать Бобышева, хотя дружбой их контакты можно назвать разве что из патологической любви к эвфемизмам. Одно из его постоправданий – что это сам ИБ подтолкнул их друг к другу, поручив ему попасти ее в свое отсутствие.

Другое – что она сама на него набросилась, ему ничего не оставалось, не унижать же девушку отказом. Третье – что бес попутал, с кем не бывает, к тому же по пьянке. Четвертое, пятое, десятое, двадцатое – до конца дней ему суждено оправдываться. Самое удивительное, что сразу же, как только ИБ возвратился из Москвы, ДБ бросился к нему и все выложил. Чем, как мне кажется, подвел Марину, которая вовсе не собиралась ставить ИБ в известность о происшествии, не придавая ему большого значения. «Мужики всё дико преувеличивают», – сказала она как-то папе, и хотя я не знаю контекста, но уверена: речь об измене.

И еще говорила, что никаких обязательств ни у нее перед ИБ, ни у ИБ перед ней не было: они не были женаты, он погуливал на стороне, чего и не скрывал от нее. А она, что, и должна носить пояс верности? Она его, что, крепостная девка?

Превращаю свой рассказ в сплетню? Не без того. Хуже: перемывание чужих косточек. Ты бы, конечно, не одобрил. Но мне и не нужно твое одобрение. Я пишу не авторизованную биографию, а твой неавторизованный портрет. «Вы напишите о нас наискосок», – сам предсказал. Вот я и пишу о тебе наискосок, но не в школьной тетрадке, из которой давно уже выросла, а в памяти моего компьютера.

Бобышев, конечно, не пакостник, а извращенец. Боюсь, он признался бы тебе в грехопадении, даже если ничего бы и не было. Подозреваю, что признание в грехопадении предшествовало самому грехопадению, и когда ты пытал обоих, тем самым подсказывал и подталкивал. А у Димы патологическая, чисто русская потребность в грехе и покаянии, в покаянии и грехе. Где причина и где следствие – черт ногу сломает. Дурная бесконечность. Сладость греха – в самом табу. Я-то думаю, что именно желание покаяться вызвало это предательство.

Чего только он не плел в свое оправдание! Знаю со слов общих знакомых. Что близость с Мариной была единственным

способом сблизиться с тобой, реализацией его латентной однополой страсти. И что каждый раз, когда он трахал Марину, он ощущал полное с тобой духовное единение через физическую близость с твоей женщиной, которая теперь стала вашей общей. Словно ты незримо присутствовал при каждом их соитии, становясь свингером и заединщиком. А хотелось, чтобы присутствовал на самом деле. Вот был бы кайф! «Для всех троих», – убежденно добавлял Дантес-Сальери-Иуда.

А в чем причина грехопадения Снежной женщины? Был такой фильм, японский, так и назывался «Снежная женщина» – шел только в кинотеатре «Гигант», что на Петроградской, у зоопарка. Неизгладимое впечатление моего детства, как у ИБ – трофейные фильмы. Там два лесоруба замерзают в лесу, и смерть является в виде Снежной женщины. Одного лесоруба она жалеет, но берет с него слово, что тот никому никогда под страхом смерти не обмолвится о чуде. Лесоруб возвращается в деревню, потом туда является прекрасная незнакомка – любовь, женитьба, дети, безоблачное семейное счастье и полное доверие между супругами. А его все мучит и томит тайна Снежной женщины – что он не может поделиться ею с любимым человеком.

Короче, не выдерживает и рассказывает жене о том видении в лесу.

Само собой, она и есть та Снежная женщина, и она должна его убить, но снова жалеет и навсегда исчезает, оставив его соломенным вдовцом в безутешном горе. Вот в чем пойнт: нельзя выдать тайну даже тому, кто тебе ее доверил. Во всей этой истории – я говорю не о японской, а о питерской – действительно, что-то ненашенское, самурайское. Групповое харакири, не иначе. ИБ смаковал эту историю всю свою жизнь, а ДБ потому и двинул в Америку, чтобы телепатически, но с более близкого расстояния сыпать соль на рану другу-сопернику-врагу, а отраженно – самому себе. Как говорят у нас в деревне, феномен пси. Ну точь-в-точь как братья у Стивенсона во «Владетеле Баллантре»!

А теперь представьте себе царя Эдипа, но написанного не древним греком, а древним иудеем. С этническими и индивидуальными поправками. Ты и есть тот самый Rex Хочувсёзнать. А я как раз не хочу все знать, а знаю. Да только остое*енили вы мне все: ИБ, ДБ, МБ да еще примкнувший к ним АБ – понятно кто? Ну вас всех к лешему. Сами заварили кашу, сами и расхлебывайте.

Экшн!

Хроническая любовь

Моя невеста полюбила друга.
Я как узнал, то чуть их не убил.
Но Кодекс строг. И в чем моя заслуга,
что выдержал характер. Правда, пил.
……
И горло хочет громко крикнуть: Суки!
Но почему-то говорит: Прости.

За что? Кого? Когда я слышу чаек,
то резкий звук меня бросает в дрожь.
Такой же звук, когда она кончает,
хотя потом еще мычит: Не трожь.

Я знал ее такой, а раньше – целой…

ИБ. Любовная песнь Иванова, 1968

Я всматриваюсь в огонь.
На языке огня
раздается «не тронь»
и вспыхивает «меня!»

От этого – горячо.
Я слышу сквозь хруст в кости
захлебывающееся «еще!»
и бешеное «пусти!»

ИБ. Горение, 1981

Зная мой статус, моя невеста
пятый год за меня ни с места;
и где она нынче, мне неизвестно:
правды сам черт из нее не выбьет.
Она говорит: «Не горюй напрасно.
Главное – чувства. Единогласно?»
И это с ее стороны прекрасно.
Но сама она, видимо, там, где выпьет.

ИБ. Речь о пролитом молоке, 1967

Зачем лгала ты? И зачем мой слух
уже не отличает лжи от правды,
а требует каких-то новых слов,
неведомых тебе – глухих, чужих,
но быть произнесенными могущих,
как прежде, только голосом твоим.

ИБ. Элегия, 1968

…Она,
конечно, ничего не говорила.
Но я-то знал! Чтоб это знать, не нужно
быть Шерлок Холмсом, вроде вас.
Вполне достаточно обычного вниманья.

Тем более…

ИБ. Посвящается Ялте, 1969

…Иль зависть заурядная? Протест
Нормального – явлению таланта?
Нормальный человек – он восстает
Противу
сверхъестественного. Если
Оно с ним даже курит или пьет,
Поблизости, разваливаясь в кресле.

ИБ. Феликс. 1965 (в объяснение предательства Бобышева)

Иосиф блюл себя, но с самого начала на протяжении лет общения со мной – и, конечно, не только со мной – бывал предельно откровенен. Не боялся говорить с подробностями о своих обидах, претензиях к кому-то, о своей удаче, о горе, оскорбленности, уязвленности. О своей действительно душераздирающей истории – с предысторией, с развитием шажок за шажком. До истории и помимо нее у него было огромное количество увлечений – он рассказывал, как в юности чувствовал себя, как он выражался, мономужчиной.

ИБ в представлении Андрея Сергеева

Вернемся к скрытому неврозу и

детской травме, к терапии и этике. Когда мне было 24 года, я увлекся одной девушкой, и чрезвычайно. Она была чуть меня старше, и через какое-то время я начал ощущать, что что-то не так. Я чуял, что она обманывает меня, а может, даже и изменяет. Выяснилось, конечно, что я волновался не зря; но это было позже. Тогда же у меня просто возникли подозрения, и как-то вечером я решил ее выследить. Я спрятался в подворотне ее дома и ждал там примерно час.

А когда она возникла из полутемного подъезда, я двинулся за ней и прошел несколько кварталов. Я был напряжен и испытывал некое прежде незнакомое возбуждение. В то же самое время я ощущал некую скуку, поскольку более или менее представлял себе, какое меня ждет открытие. Возбуждение нарастало с каждым шагом, с каждым уклончивым движением; скука же оставалась на прежнем уровне. Когда она повернула к реке, возбуждение достигло пика – и тут я остановился, повернулся и пошел в ближайшее кафе. Потом я сваливал вину за прерванное преследование на свою леность и задним числом корил себя, особенно в свете (точнее, во мраке) развязки этого романа; я был Актеоном, преследуемым псами запоздалых сожалений.

ИБ. Коллекционный экземпляр, 1991

К несчастью – а может быть, и к счастью для меня, – приговор по времени совпал с большой моей личной драмой, с изменой любимой женщины, и так далее и так далее.

На любовный треугольник наложился квадрат тюремной камеры, да? Такая вот получилась геометрия, где каждый круг порочный. Свое душевное состояние я переносил гораздо тяжелее, чем то, что происходило со мной физически.

ИБ – Свену Биркертсу, 1982

В то время у меня был первый и последний в моей жизни серьезный треугольник. Manage a trois – обычное дело, двое мужчин и женщина, – и потому голова моя была занята главным образом этим. То, что происходит в голове, беспокоит гораздо больше, чем то, что происходит с телом.

ИБ – Хеллен Бенедикт, 1985

– …Это было настолько менее важно, чем история с Мариной, – все мои душевные силы ушли, чтобы справиться с этим несчастьем.

– …Она не дает мне почить на лаврах.

…Как-то он признался, что Марина – его проклятие.

– …Как это ни смешно, я все еще болен Мариной. Такой, знаете ли, хронический случай.

ИБ – Людмиле Штерн

…без всяких гарантий ответной любви.

Ибо, как любая добродетель, верность стоит чего-то лишь до тех пор, пока она есть дело инстинкта или характера, а не разума. Кроме того, в определенном возрасте и к тому же при определенной специальности, ответная любовь,

строго говоря, не обязательна.

Любовь есть бескорыстное чувство, улица с односторонним движением… Ибо любовь есть роман между предметом и его отражением.

ИБ. Fondamenta degli Incurabili

Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существование для тебя.

ИБ. Сонет, 1967

Ночь. Мои мысли полны одной
женщиной, чудной внутри и в профиль.
То, что творится сейчас со мной,
ниже небес, но превыше кровель.

ИБ. Письмо генералу Z, 1968

Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью
не приносили утешенья мне.
Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и

руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки
и выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва
умышленного. Ибо в темноте —
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе.
В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных, – тогда я
не дернусь к выключателю и прочь
руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недосягаемостью в ней.

ИБ. Любовь, 1971

Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги.
Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее, виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! Все не по-людски!
Я вас любил так сильно, безнадежно,
как дай вам Бог другими – но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит – по Парменид у – дважды
сей жар в крови, широкостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться – «бюст» зачеркиваю – уст!

ИБ. Двадцать сонетов к Марии Стюарт, 1974

Я любил тебя больше, чем ангелов и самого…

ИБ. «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…» 1976

На место преступления вернуться еще можно, но на место любви…

ИБ – Томасу Венцлове, 1988

Поэзия настолько более сконцентрирована, она точнее, нетерпеливей, в ней больше мучительного напряжения, как в ночи любви. Я могу назвать себя «one-night-stand», ведь порой память об этой единственной ночи остается навсегда. А потом рождается любовь, и это же происходит с поэзией…

В России похоронено мое сердце, но в те места, где ты пережил любовь, не возвращаются.

ИБ – Фрицу Раддалю, 1989

Я покидаю город, как Тезей —
свой лабиринт, оставив Минотавра
смердеть…
…чтоб больше никогда не возвращаться…
Ведь если может человек вернуться
на место преступленья, то туда,
где был унижен, он прийти не сможет.

ИБ. К Ликомеду, на Скирос, 1967

До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу в возбужденье…

ИБ. Элегия, 1982

Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил, но забыть одну жизнь –

человеку нужна, как минимум, еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

ИБ. «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером…», 1989

Не в словах дело: от голоса устаешь! От твоего – и от своего тоже. Я иногда уже твой голос от своего отличить не могу. Как в браке, но хуже… Годы все-таки…

ИБ. Мрамор, 1982

Сколь же радостней прекрасное вне тела: ни объятье невозможно, ни измена!

ИБ. Письма римскому другу, 1992

Любовь сильней разлуки, но разлука длинней любви.

ИБ. Двадцать сонетов к Марии Стюарт, 1974

…между любовью и предательством существует определенная иерархия:…первое кончается вторым, а не наоборот. И, хуже того, последнее долговечнее первого.

ИБ. Коллекционный экземпляр, 1991

Из двух вещей, составляющих смысл жизни – работы и любви, – выжила только работа… Переводя на язык родных осин выражение «заниматься любовью», я бы сделал упор на «заниматься».

ИБ – Андрею Сергееву

– А любовь? – спросила я. – От нее вы тоже уходите?

Он взял маленького игрушечного льва, который почему-то сидел на журнальном столике, и начал задумчиво перебирать ему гриву.

– Ну, она попадает в ту же категорию, – сказал он наконец. – Просто из всего, о чем нам говорят, что это важно: любовь, работа и прочее, – выживает только работа. Если работаешь серьезно – делаешь выбор между жизнью, то есть любовью и работой. Понимаешь, что с тем и другим тебе не справиться. В чем-то одном приходится притворяться, и притворяешься в жизни.

Если выразиться более определенно, то сознаешь, что относишься к любимой как к чему-то на неполный рабочий день, тогда как полный день занимает работа. Но она относится к любви как к полному дню, и начинаются трудности. К тому же сама работа уходит от себя.

– Но почему нужно все время уходить?

Бродский отложил льва, теперь похожего на Растафари.

– Это побег от предсказуемости, – ответил он. – Все меньше возможности принять определенную какую бы то ни было форму душевной или экзистенциональной рутины. – Он устало закрыл лицо руками, долго и сильно тер его. – Это в значительной мере связано с безнадежным ощущением, что ты никто, и должен сказать, такова особенность моего скромного «я». Так или иначе, я всегда это чувствовал. Более или менее принадлежишь жизни или смерти, но больше никому и ничему. – Он поднял взгляд и слабо улыбнулся. —

К вам это не относится.

ИБ – Хеллен Бенедикт, 1985

ИБ

Я вымечтал, выклянчил, вытребовал у бога этот город, где покоится мой прах, а смятенный дух носится над сверкающей лагуной, не отражаясь в ней. Посмертное тщеславие? Какое там! Велика честь лежать в изножии у Эзры Паунда! Дважды присутствовал на собственных похоронах – в Нью-Йорке и здесь, в Венеции. Хотел быть там, где меня никогда не было, хотя каждое Рождество я здесь был. Был и не был.

Нигде не был так одинок, как здесь. Чужеязычье и одиночество. Чужеземец, изгой, пария. Италия – Скиталия. Так странно было просыпаться в Венеции все еще живым. Смерть в Венеции. Смерть и Венеция.

Смерть = Венеция. Синоним смерти, репетиция смерти, прижизненный образ смерти. Город, одетый в траур. Черные лебеди Венеции, гондолы-катафалки, скользят вплотную с собственным отражением.

Опрокинутый факел с потушенным огнем жизни. Остров мертвых, как у Бёклина в Метрополитен. Моя могила с камушками и цветами. Всю жизнь писал мертвецам – Одену, Элиоту, Горацию, Ликомеду, Телемаку, Марии Стюарт, покойному тирану, римскому другу, генералу Z, имяреку. Теперь пишу живым – пока еще живы – с того света. Навсегда приписан к городу, где мечтал – в молодости, эдакий декаданс! – себе пулю в лоб. Город самоубийц. Любовь к Венеции и есть любовь к смерти. То есть к судьбе. Только ни о чем этом не ведал, когда ты подарила в день рождения гармошку сепий с зимними видами – тебе достались от бабушки, та провела в Венеции медовый месяц, как не мы с тобой, у нас его не было вовсе, моя вина.

Это были не две, а одна любовь – к женщине и к городу. Зациклен на обоих. Рассматривал тебя спящую и корпел с лупой над открытками, пока ты спала, – одно занятие. Роман с городом – роман с женщиной. Ледовая женщина и мертвый город – не зная друг друга, не подозревая о сходстве. Когда я был с тобой, я был в городе, в котором никогда не был. Расставшись с тобой и страной, стал регулярно наведываться в этот зимний мертвый город. Мертвый сезон в мертвом городе, когда он мертвее мертвого. И снова был с тобой здесь – мысленно: одиночество вдвоем. Как тогда, так и теперь. Две идефикс слились в одну: венецейская марина и питерская Марина. И в Питере: жила рядом

с Мариинкой. Перевертыш времени: думал, Мариинка названа в честь тебя, а удлиненная буква – как в библейских именах. И вот теперь смерть возвратила мне тебя, моя фам фаталь, хоть ты все еще жива в другом городе и никогда не была в этом.

В том, другом городе ты и подзавела меня на всю жизнь – и за ее пределы. Твой голос, жест, плечо – навсегда. Питер – твое обрамление, фон моей любви, место действия моей страсти и твоей бесстрастности, твоего безлюбия. Одной любви нам за глаза хватит на двоих, убеждал тебя и себя, любовь – улица с односторонним движением, бескорыстие по определению, грех требовать ответной – как прибыли с прибыли: нравится, не нравится – спи, моя красавица. Или как в том анекдоте: целуя Спящую красавицу, Иван-царевич на третий день усомнился – может, она действительно мертвая? И в самом деле чувствовал себя некрофилом рядом с твоим бесчувствием, хоть и не фригидка, отнюдь. Но одной только минжой, душа – без участия. Душа – как кошка: сама по себе, а где гуляет, с кем – неизвестно. Была независимой, будучи связанной: даже на девятом месяце! Узы любви, узы семьи, узы жизни – тебе все нипочем. Вот именно: не от мира сего. Всю жизнь любил смерть: мертвую женщину, мертвый город. Умирал на тебе и в нем, умирал в тебе и в нем, малая смерть, сердечный инвалид, страх смерти, страх любви, страх смерти без любви, холод, безъязычие, одиночество, тоска. Страх – тайный двигатель жизни. Уполз под наркозом с операционного стола, был найден на лестничной площадке и водворен обратно, операция геморроя: страх сильнее анестезии. Стихи – упражнения в смерти. Все страхи сбываются в смерти. Здесь всё мертво, кроме твоего остраненного голоса, а в нем правда и ложь как две капли. Зачем лгала? Саднит после смерти еще сильней. На правду из зеркала глядит ложь и усмехается. А кто глядит из зеркала на ложь?

Правда? Или тоже ложь? Не только я – ты сама уже не отличала, а теперь вряд ли помнишь. Память мертвеца во сто крат сильней памяти живого: здесь нет ничего, что могло бы отвлечь от земных обид. Здесь я живее живого, каким был на краю моей жизни, тренируясь в смерти и учась жить в небытии. Обречен спрашивать, чтобы не быть услышанным. Это не я мертв, а ты мертва. Всегда была мертва. Сколько сил и времени ушло, чтобы ты раздвинула ноги! Железные трусы! До сих пор в ушах твое «Не тронь!» Не ледяшка, а мертвяшка.

Жизнь оказалась длинной, но смерть длиннее: смерть есть вечность, а вечность – отсутствие времени. Я здесь уже был, дежавю, отрепетировал, вызубрил свою смерть, она была во мне, жила со мной, ничто здесь не удивляет, смерть есть возвращение

на круги своя. Земля безвидна и пуста, тьма над бездной, один мой дух носится над водой, не отражаясь в ней, и вопрошает, вопрошает, вопрошает. Могила пуста, душа мертва, но дух алчет ответа. Душа умерла вместе с телом, а дух обречен на вечную муку немых вопросов. Нет ответа. Ни там, ни здесь.

Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное, земное перешел.

Вот я бреду за тобой, прячась за собственной тенью, а ты ускользаешь, раздваиваясь, тень самой себя, а я – тень тени, ты ускользаешь, выскальзываешь, как из объятий, я слежу за одной, а другая уже милуется с другом, две ты, два он, один я. Много кровушки попортил мне твой кабальеро! Почему именно с ним? Почему именно с ней? Главное – чувства, говоришь ты моими словами, но мои слова – правда, а твои – ложь. Одни и те же слова могут быть правдой и могут – ложью. Если бы у тебя был кто до меня, но ты была целой и осталась целой после того, когда я распечатал, откупорил тебя – и пил, пил, пил.

Твое доверие я принял за любовь. Ты была целой до лжи и измены.

Mochita. Я начал ревновать до всего. Поц он, а не кабальеро! Явился с признанием, когда признаваться было не в чем. Гипотетическая ревность: изменяла – катастрофа, нет – тоска. Ревность как подсказка?

Не ври опять: началось со лжи, а кончилось изменой. Не наоборот. Железные трусы оказались с дыркой. Невыносимая пошлость лжи. Измена не как случайность, но как следствие лжи.

– Ложь – это мечта, пойманная с поличным, – смеешься ты. – Зачем тебе правда?

– Зачем мне правда теперь? – шепчу я. – Помнишь, договорились: ты скажешь правду перед смертью, все равно чьей. За кем бы ни пришла первой. Зачем тебе правда на смертном одре? – смеешься ты. Чтобы унести с собой. Вместе с любовью. Смерть дольше жизни, но любовь дольше смерти: вечность в квадрате.

И если даст Господь,
Сильней любить я стану после смерти.

Господь дал.

Я был невиннее, чем ты: я был слеп. На оба глаза, а третий был обращен внутрь. Видел только собственный omphalos. То есть

ничего окромя себя. Внешний мир был невнятен и ненужен, не отличал закат от восхода. Ты называла вещи именами, я слышал их впервые. Смотри! – говорила ты. Гриб, говорил я. Какой? – спрашивала ты. Я узнал имена грибов и звезд, деревьев и цветов. Цветок стал незабудкой, мальвой, иваном-да-марьей. Репейник и чертополох, перестав быть синонимами, оказались дальними родственниками. Рябина, калина и бузина – разные деревья то ли кустарники. Опята – летние и осенние. Как и маслята. А белые – луговые и боровики. Как ядерная реакция – бесконечный распад и дробление.

– Его зовут весёлка, – и указывала на фаллический, несъедобный на вид гриб. – Смотри внимательно: он растет на глазах – пять миллиметров в минуту.

Сюда бы Пруста или Эйнштейна – наглядный урок времени! Все равно что следить за минутной стрелкой. Оказался деликатесный гриб, когда ты зажарила в сметане. По виду – все равно что есть собственный член. Стоячий.

Я знал цвета и контрасты, ты научила меня полутонам и нюансам.

Я узнал, что в радуге не шесть цветов, а шестью шесть – как минимум.

Я любил море, ты любила реку, я любил ветер, ты любила дождь, я любил простор, ты любила лес. Я любил мир через себя, ты любила мир сам по себе. Ты подняла мне веки, сняла с глаз катаракту, зрачок расширился от удивления, в ушные раковины ворвался шум мелодий, да здравствует мир без меня, но обязательно с тобой – как с его пятичувствием. Я родился заново, увидев мир впервые. Я был нем – ты вложила мне речь в горло: я заговорил. Мне нечем было тебя отдарить – я был нищ. Ты пела: «Я сказал тебе не все слова». Я сказал тебе не те слова. Прости. И все-таки как жаль, что я не стал для тебя тем, чем ты была для меня. Мне снились сны с тобой, и до сих пор – представь себе, покойникам снятся сны, которые недоснились им в жизни, – а в твоих снах меня нет, alas. Тебе снится кто угодно – только не я. Даже в снах ты не со мной, а с другими. Завоевал весь мир, а тебя – нет. Я был для тебя ничем. Ты удивлялась и даже умилялась моей импульсивности, нервности, истеризму, моему любовному горению, но даже редкая твоя умильность не чета любви. Любовь стала для меня синонимом унижения. Так и остался тебе чужим. Любви между нами не было: была моя любовь и не было твоей.

– А если я не способна любить? – спрашивала ты, вырываясь из моих объятий. – Вот Бог и поделил обязанности: одному – быть любимым, другому – любить. Ты любишь, я принимаю твою любовь. Бог создал нас противоположно, чтобы мы дополняли

друг друга. Во всем!

Двуспинное животное. И наш с тобой бог, если бы мы его тогда создали по своему образу и подобию, был бы двуспинным.

– У нас с тобой нет общего бога. Ты была двуспинным чудовищем не только со мной.

– А ты, милый?

– Я – по страсти. А ты – ледовитая и бля*овитая. Переходящее знамя.

– Переходящий кубок.

– Тебе смешно?

– Я не придаю этому такого значения.

– Потому и не женился, что нельзя жениться на облаке.

– И нельзя быть верным ветру. Ищи ветра в поле. Перекати-поле.

Верность никак не вознаграждается. А ты не ходил на сторону? Ты бы не изменял, может, и я бы не изменила. А так – квиты. Хотя все равно счет в твою пользу. Ретро втроем. Сам говорил: главное – чувства.

Единогласно? Измена, но не предательство – твои слова.

– А вот не мои слова: Я – малый мир, созданный как клубок.

– Клубок змей.

– Я тебя выслеживал, но не уследил. За мной следили, а я – за тобой. Шел следом, как шпик, а потом бросил – то ли устыдился, то ли усомнился, а потом всю жизнь жалел. Мог остановить, схватить за руку, пресечь измену.

– Неправда! Тоже мне Шерлок Холмс! Сама сбросила хвост и ушла дворами.

– Я дал тебе уйти. Гамлетов паралич воли. Пусть будет как будет.

– Или равнодушие.

– Тогда – нет.

– Признание за женщиной права на собственное тело?

– Никогда! Ненавижу феминизм. Скорее попытка встать над схваткой собственных чувств.

– Есть еще вариант: желание измены. Я знала, ты идешь за мной, и не подала виду. Хочешь правду? Ты начал ревновать до того, как я изменила тебе. Ревность – это подсказка. Твоя слежка дико возбуждала. Под колпаком у любовника, а на самом деле ты у меня на прицепе. Почему не подразнить? Это была наша с тобой любовная игра, и она нас обоих возбуждала. Один из нас ее прервал. Ты сам хотел, чтобы это случилось. Почему, узнав, простил? Была уверена: всему конец. А у нас закрутилось снова. Лучше бы на этом кончилось. Тебе нужна была встряска. Как в той оперетте, помнишь? Господи, пошли мне на душу великое

преступление! Но почему измена – преступление? В других языках измена партнеру и измена родине разведены в разные слова.

– Когда это случилось, предпочел бы предательство измене. У меня было то и другое: измена женщины и предательство друга. Он же – соумышленник. Измена обрекает человека на банальность. Банальные мысли: какой во мне изъян или какой в нем плюс? Банальные муки: с кем тебе лучше? Банальное воображение: как ты стонешь под ним? какие вытворяешь штуки – не он с тобой, а ты с ним? Ведь не только он тебя, но и ты его. Измена – это предпочтение. Зачем тебе запасной любовник?

– Как видишь, пригодился, хоть и ненадолго. Не так мне, как нашему с тобой сынку, когда ты свалил за бугор. Да и когда ты был рядом, от тебя проку… Наш с тобой псевдосупружеский союз дал трещину. Измена? Расширение опыта, поиск адекватности, бунт против мужских собственнических инстинктов: я – не раба, раба – не я. Наконец, генетически – выбор отца будущему ребенку. Если хочешь, естественный отбор, на который самка имеет такое же право, как самец.

– Чистая случайность, что мой сын – мой сын. Родись он раньше или позже… Выходит, не зря сомневался.

– Выходит, зря. Тогда уже не было выбора. Подзалететь я могла только с тобой. Или ты нарочно заделал мне ребенка, чтобы связать по рукам и ногам? В любом случае, ты не очень утруждал себя возможными и неизбежными последствиями. В отличие от него. Он – кабальеро.

– Но почему именно он?

– Поэт. Как и ты. Я была нужна ему из-за тебя, но и он мне был нужен из-за тебя. Не классический любовный треугольник, а тройственный союз, который распался с твоим отвалом: осудив тебя, твой другвраг подался за тобой – ты был ему нужнее, чем я. Мы оба с ним понимали коверканную природу наших отношений. Ты – нет. Ударился в эмоции, в истерику, встал в позу. Ты разыграл любовную драму на питерской сцене, а зрителями – знакомые и незнакомые. Даже сходя с ума, ты лицедействовал. Ревность – это игра воображения, психосоматическая хворь, театр одного актера. Ты ничего не потерял, я не ушла от тебя к нему, я осталась с тобой.

– И с ним.

– И с ним. Ты просто перестал быть собственником-единоличником.

Он дал мне свободу.

– Все было с подлянкой: спелись перед самым арестом.

– Подлянка – обвинять нас с Бобышевым в твоем аресте.

– Я был эмоционально разоружен и уязвим. Как в ступоре. Мой столбняк на суде приняли за мужество. Ты уходила к нему, когда мне было хуже некуда, когда ты была мне нужна: перед арестом, когда я был в ссылке. Уходила и возвращалась, возвращалась и уходила. Приехала ко мне в Норенское, а уехала с ним вдвоем. Вот я и говорю: с подлянкой.

– Никакой бы измены не было, если б твой дружок не растрезвонил о ней по всему свету. Помнишь ковбойскую песенку: «Лучше бы я и сегодня не знал того, о чем не знал я вчера». Не спрашивай – и тебе не солгут. Человек не может страдать от того, что не знает. Того, что не знаешь, не существует.

– Для того, кто не знает. Но я знал. Нутром чувствовал, точнее хером, что в тебе побывал кто-то еще.

– Еще до того, как там кто-то побывал, кроме тебя. Догадки, сомнения, ревность – специи любви. Это только добавляло страсти. Ревность – допинг. Ты возомнил себя мономужчиной, пора было спустить тебя на землю. Как ты любил говорить, небольшой корректив. Благодаря которому твоя самооценка стала более трезвой.

– Не трезвой, а циничной. И не самооценка, а оценка мира и себя в нем. Твоя измена превратила девственника (в душе) во вседозволенника (там же). Каков я есть, я есмь результат твоей измены. Точнее – был.

Я стал монстром, и оправданием для любого моего гадства было мое отчаяние. Чувство вины пришло потом – как ответвление памяти.

Чувство вины – это убийца внутри нас.

– Высокие материи! А бабы потому и изменяют или делают вид, что изменяют, чтобы подзавести мужика и удержать. Если б не это, ты бы еще раньше отвалил к своему гарему. А так, ревнуя, набрасывался на меня как с голодного края. Измена – озоновая прочистка любви.

Как второе дыхание. Моя измена продлила нашу любовь. Ну, ладно – твою, велика разница! А твоя ревность – мою молодость. Все, что у меня было – молодость. Единственное мое время – молодость. Пока ты буйствовал на почве ревности, я не старела, хоть вешние воды давно уже отошли. Ревность – единственная форма любви, которую ты тогда признавал.

– Не любовь, а мука. До сих пор саднит. Это и есть ад, хоть нет ни ада, ни рая.

– А ты как думал? Любовь и есть мука. Любить иных – тяжелый крест, как не ты сказал. Не любить – тоже мука. Махнемся?

– Поздно. Смерть – это невозможность ничего переделать в

своей жизни. Бессилие. Чувство вины. Перед тобой, перед собой – все равно.

Непоправимое прошлое, отсутствие вариантов, пытка воспоминаний.

Все, что со мной могло случиться, уже случилось.

– Господи! Но это случится с каждым из нас! Будто бы нет больше смертей окромя твоей. Тебе повезло – самое страшное у тебя позади.

Умереть так же естественно, как родиться. Ты не имеешь права жаловаться. Согласись: смерть – худшая из тавтологий.

– Единственная, которой мне не удалось ни избежать, ни пережить, ни описать – за пределами земного опыта.

– А жизнь? А любовь? Жизнь тавтологична по определению, как ты любишь говорить.

– Любил.

Любил. Думал, что пережил любовь, а любовь пережила меня и переживет тебя. Любовь больше и дольше объекта и субъекта любви.

Я прожил еще одну жизнь, чтобы забыть предыдущую, в которой была любовь, а в новой любви не было – и не могло быть. Любовь, как и жизнь, дается один раз. Я глянул за кромку любви – все равно что в бездну – и отпрянул. Но поздно. Мне уже не избавиться от этого знания. Пусть наваждение, стыд, боль, мука, тоска, рай и ад, великое рабство, которое я предпочел бы теперь абсолюту свободы, а тот и есть смерть, но я узнал о ней еще при жизни, когда заглянул в пустоту без любви. Сиречь смерть. И вся моя жизнь после тебя – борьба с этим ненужным, посмертным знанием. Борьба с энтропией.

То есть с самим собой. Как сказал опять же не я, а Йейтс: распря с другими людьми порождает риторику, с самим собой – поэзию. А риторика и есть риторика. Как говорят у нас в деревне, элоквенция. И только здесь, в новой среде, я стал, наконец, гением, разругавшись с собой живым, но здесь нет ни бумаги, ни пишмашинки, да хоть гусиного пера, а читателя и подавно, но стихам читатель не нужен. Эмили Дикинсон знала это при жизни, я – узнал после смерти. Читательская надоба – поэту без надобности. Условие абсолютной гениальности – абсолютное отсутствие читателя. Вакуум – идеальное условие для поэтического эксперимента. До меня дошло только сейчас. Вот почему я вспоминаю гениальные строки, а не свои. Я забыл свои, но помню чужие стихи.

И все сокроет тьма.

Только гению дано испытать при жизни посмертный опыт. Ад недовоплощенности. Бесы рая, ангелы ада. Бодлер мечтал выдернуть перо из крыла ангела. При жизни не удалось, а потом? То есть теперь. В смерти нет времени. Смерть есть безвременье. Междумирие. Мертвецы – вместе с нерожденными.

Блуждаю между двух миров,
Один уж мертв, в другом нет силы для рожденья…

Мой голос глохнет, пустота поглощает его, здесь нет ни тени, ни эха, смерть поглощает меня, тьма над бездной, и только мятежный дух носится над водой, не отражаясь в ней. Смерть есть непроницаемость.

Мир без тебя не полон, даже мир смерти. Смерть затягивает все глубже, глубже. Как стремительно ты удаляешься от меня. Как далеко ты теперь.

– Ты еще дальше…

МБ

как далеко ты теперь твой образ изгладился из памяти стариком не знала а молодым забыла неужто ты до сих пор все помнишь злопамятный как слон да и что помнить ничего не было перепихнулись и всех делов случка как у собак анекдот как мужик наутро бабе после того что случилось должен как порядочный человек на вас жениться а она ему ой ты господи а что ж такое случилось в том и дело что ничего пшик один а ты мстительный какой столько лет прошло а ты все помнишь стишок против меня сочинил не обидно а скорее смешно да и непонятно о чем что с того что в церковь хожу что в том зазорного поглупела а ты поумнел годы берут свое разве ты раньше так писал да я не только об этом стишке ты исписался стал мертвец при жизни а что бобышев тоже поэт не хуже но нереализованный несостоявшийся просто тебе повезло посадили судили сослали то да сё ну и еврей конечно стали бы тебя так раскручивать если б не еврей и нобельку бы не дали и бобышева третировали потому что русский ты говоришь антисемитизм бывает конечно кто спорит на улице тебе ножку подставили и жидом обозвали ты и есть жид чего открещиваться зато компании ваши сплошь еврейские русские допускались по процентной норме для размыва я среди вас как белая ворона гордился что стопроцентная русская будто мы в израиле а не в россии и как что бойкот обструкция бобышева именно как русского и

третировали так чем тогда скажи русофобия лучше антисемитизма та же история с найманом еще хуже жену увел но ему же никто бойкота не объявлял у тебя кордебалет был тебе любая давала почему тебе можно а мне нельзя как в том анекдоте про Бога ну не люблю я его и никогда тебя не любила даже влюблена не была твой почин ну не силой так напором взял проходу не давал некуда от тебя деться заарканил как рыбу на крючке а потом забрюхатил против воли вот ты и есть обворованный вор тем что стала для тебя ты для меня так и есть не стал сам знаешь ни разу я тебе этого слова не сказала и никому не сказала пусть безлюбая хотя неизвестно но и я для тебя не стала тем что ты писал это все стихи поэзия есть демагогия тебе с паперти выступать но не с нашей церковной а с вашей синагогальной не любила ни тебя никого другого какая разница кто входит в тебя что тот мужик что этот не все ли равно главное сам акт все равно с кем когда подзаведешься полная отключка уже и не помнишь кто тебя е*ет секс обезличивает партнера безымянное орудие производства ха-ха вот именно производства не до любви когда никак не насытиться слишком молода для любви похоть сильнее любви если только та не художественный вымысел в чем в чем а в этом мы такие же животные как остальные животные почему я должна была себя сдерживать ты же любил меня как раз за естественность за непосредственность что от меня можно что угодно ждать шальная так почему я должна быть неестественной с бобышевым если бы я ему не дала это была бы не я у меня нормальные здоровые инстинкты измена как и верность дело инстинкта а не рассудка или принципа или морали а тем более когда нет настоящей любви почему не попробовать еще с одним вдруг любовь возникнет как следствие секса а без любви я свободна никаких обязанностей и обязательств перед тобой как у тебя передо мной любовь любовь любовь это все слова ты был мастер слов вот и плел кружево брюссельское тень на ясный день а все проще на физиологическом уровне остальное пристройка и словеса любовь отвлекает и извращает то нормальное естественное что могут дать друг другу мужчина и женщина наши тела созданы для взаимного услаждения а любовь это отклонение и выдумка ведь могли никогда с тобой не встретиться какая там любовь дело случая вышла бы замуж ни любви ни оскорблений нормальная семья у сына отец у меня муж ну любовник на стороне все как у людей а не шиворот-навыворот стала обывательницей глупость из всех пор а ты попробуй расти в одиночку ребенка у меня был отец у тебя был отец хоть и порол тебя по любому поводу да видимо недопорол и все твои тиранские наклонности от твоего семейного

рабства плоть от плоти своего отца ты брал реванш за детские унижения пусть такой но у андрюши никакого отца не было заместо отца нобелевский лауреат тебе все всегда было по фигу только ты сам пуп земли так и говорил гений всегда прав для слуг и жен нет великого человека но на самом деле именно слуги и жены правы а гений всегда неправ чтобы стать гением ты перестал быть человеком гений выел в тебе человека мужа отца ночь провел в больнице у родного сына тот вот-вот Богу душу отдаст а сколько потом трезвона да не нужны мне все эти твои чертовы импортные лекарства чтобы потом языком чесать как ты их доставал и чего тебе это стоило правильно тебя бобышев выгнал когда ты заявился к нам когда андрюша помирал не надо ли чем помочь тебе не стыдно если нам за тебя стыдно а твои скудные посылочки оттуда так навсегда и остался в той своей мещанской семеечке на пестеля где тебя никто не любил и ты никого не любил все бесслезные как на подбор отец остолоп дуб и садист ты сам говорил сед как лунь и глуп как пень мамаша обывательница до мозга костей зачем ты приплел в своем очерке что она по-французски читала а отец латынь знал шлифуй уши кому другому какие там латынь с французским у них и русский на уровне покушать да помыть руки перед едой помешана на уборке пылемания у тебя по наследству а меня невзлюбили с первого взгляда другой породы шикса это они были русофобы а не мои антисемиты мы с тобой дружок разных кровей то есть разных семей а не аид и гойка сравни моих с твоими земля и небо да не зазнаюсь я но есть разница ты мне кучу стихов написал а про отца с матерью только прозой да и то поанглийски с трудом выдавил ни одного не то что поэтического а просто доброго русского слова не нашлось для них вот ты и отгородился английским потому что ничего более противоположного поэзии и литературе и быть не могло чем твоя узколобая семеечка мои пейзажи писали а для твоих природа не существовала вовсе и ты такой был тебя надо было водить как слепого и носом тыкать но ты хоть восприимчив и благодарен нет ты другой но как только ты укатил все что от меня сошло как загар зимой забыл все мои уроки будто и не было забыл меня и что сын у тебя забыл и понесся к зияющим высотам то есть к славе и пустоте а те суть смерть измена катастрофа трагедия все на повышенных тонах для тебя даже измена литературная проблема чужие чувства тебе всегда были по фигу только свои и почему измена почему катастрофа почему трагедия распсиховался-то чего все напридумал это же чистая случайность на уровне анекдота чего трагедию разводить было бы с чего измена это приключение то от чего не отказываются и никогда потом не жалеют а жалеют

наоборот если не воспользовались у французов железное правило от пяти до семи что хошь то и делай и ничего не спрашивай и не рассказывай се ля ви а ты все пытал да допытывался почему отчего сколько раз было ли еще не все ли равно сколько раз что один что десять если раз уже согрешила с ним мужик тот же самый семь бед один ответ не новая измена а продолжение старой если наши тела уже знают друг друга то нет больше никакой измены а продолжается прежняя грехопадение может совершиться только один раз и вообще что было то было и быльем поросло прошлое в прошлом забыть выкинуть из головы как ваши говорят знание умножает скорбь а ты застрял на этом и ни с места себя замучил и меня тоже что же мне топиться из-за ерунды такой а представь что это было до тебя что не ты первый у меня а он какая разница когда это случилось что меняет в отношениях что изменилось во мне да и там внутри ничего не изменилось подмылась никаких следов сам говорил процесс чисто физический то есть физиологический душа бездействует не до нее похоть сильнее всего остального нельзя винить женщину за то что требует ее природа наоборот сдерживаясь она изменяет себе как была задумана Богом мало ли что с нами вытворяют гениталии человек их раб а не хозяин и что пусть измена но не предательство или как у мушкетеров неверность но не измена а сам изменял и хвалился что мономужчина что это профилактика гигиена любви нужна физическая и моральная разрядка а я бы наоборот молчала в тряпочку ничего бы и не узнал одни подозрения не пойман не вор если бы не твой дружок а того понесло с него и спрашивай я для него как трофей всюду таскал с собой пока ты в москве неизвестно с кем почему меня не взял так хотела тогда прошвырнуться в столицу а тот только и делал что демонстрировал меня всем и каждому ему нужен был ты а не я победа над тобой вот он и побежал к тебе как только ты прилетел во всем каяться или хвастаться а скорее то и другое вместе вот кто извращенец так это он любовь для него ужас и сладострастие а не любовь помешался на собственном аморализме а тот есть обратная сторона морализма он мечется меж двух огней оборотень а не человек он тебя предал со мной а меня предал тебе а потом прибежал ко мне плакаться что иначе поступить не мог да и ты хорош трепался о своем несчастье налево и направо устно и письменно стихами и прозой сор из избы выходит я бля*ь не мужичье вы а уродцы все у вас через пень колоду а вообще он добрый и наивный дитё и ты у него навязчивая идея чем думаешь мы заняты были в постели помимо этого дела которое сам знаешь слишком кратковременно и быстротечно прости за двусмысленность вот мы и коротали ночь и заполняли паузы

разговорами о тебе ты был промеж нас третий нелишний ночь поэзии а не е*ли не одной е*ли бобышев твои стихи наизусть шпарил вперемешку со своими и наши соития именно они делали тебя еще ближе каждому мы думали о тебе даже в самый-самый как ты нас всех повязал мы и сошлись чтобы освободиться от твоего гипноза твоей власти твоей тирании а получилось наоборот будто мы не обычные люди а герои какого мифа бежим от него а оказываемся все больше в нем закручены это воронка твоей судьбы нас все глубже затягивала как мы ни рыпались и ни дергались а ты в это время пожинал славу и премии выколачивал да ты бы если б понадобилось через наши трупы переступил на пути в свой прижизненный мавзолей к своей нобельке будь проклята ты сам этого хотел не хотел бы ничего бы не случилось сам нас подталкивал друг к дружке это не ты поручил бобышеву меня пасти в твое отсутствие вот он меня и пас читая твои и свои стихи и пытая меня о тебе и я его о тебе мы обменивались нашим тайным о тебе знанием и постель была завершением этого обмена апогеем мы не друг друга познали а тебя когда сошлись физически с твоим другом все равно что с тобой ты поручил ему меня чтобы он заменил тебя в том числе в этом ты наперед обо всем догадывался все шло по твоему тайному плану была уверена ты сам этого хочешь и ждешь не дождешься когда все произойдет ты хвастал мною перед бобышевым как он потом мною перед тобой под видом покаяния что-то изощренно-извращенное в вас обоих черт ногу сломит не бабье это дело разбираться в мужичьих комплексах а как ты после него на меня набросился мой дикий еврей мой ласковый зверь цитировал кого-то про остывшую готовность и что твои сексуальные батареи подзаряжены наново и всем нам было хорошо тебе и мне мне и ему вам обоим вы поэты Божьей милостью только ты состоялся а он воплотился в стихах а не в судьбе судьба сикось-накось а стихи у него волшебные только закодированы не мог прямым текстом и про меня он лучше написал чем ты потому что вся твоя любовная лирика это о самом себе а у него про меня он меня любил я его тоже родная душа нет не вегетативный выбор и не запасной игрок и не по новогодней пьянке в зеленогорске именно в том вашем кагале где было так тоскливо так одиноко все чужие вот я и поднесла свечу к серпантину а от него к занавескам они вспыхнули было так красиво и весело пока они горели этот огонь все и решил когда его потушили он все еще горел меж нас чужаков на вашем пиру и какая-то сила бросила нас друг к дружке ты прав не случайная интрижка и не просто измена а предательство в чужом пиру похмелье но что делать если я вас обоих любила да выбирала и не могла выбрать а почему нельзя любить двоих почему надо

выбирать а некрасов с панаевыми а маяковский с бриками блок и белый с любовьдмитриевной гала с элюаром, эрнстом и сальвадором да мало ли мы должны были легализовать наши отношения и жить втроем два поэта и художница ну и что почему бобышев пошел на это как поэт он мне ближе сродство душ по сведенборгу единственный из ахматовских сирот природу чувствовал природа у него Божий храм как и для меня да славянская душа а что здесь плохого с каких это пор еврейская душа стала котироваться выше всех остальных а твоя была мертва мертворожденная это я разбудила ее скажи спасибо а потом снова окаменела высохла потому и стихи у тебя в америке как цветы в гербарии одним словом натюрморт мужики психопаты слишком большое вы придаете этому значение вам мало трахаться надо хвастаться победа одного самца над другим охотники а не е*ари фантазеры и комплексанты но это ваше дело а я свободна как птица ничем с тобой не связана не жена не невеста аборт хотела сделать бобышев отговорил жениться хотел на брюхатой пузо росло солитер брыкался на меня уже пальцем показывали от кого где муж мама с папой замучили а тебя возненавидели когда узнали что забрюхатил но не как еврея а как тебя лично надоел со своим еврейством да и какой ты еврей те примерные семьянины а ты выродок тебе семейные узы тесны поэт романтик дешевка три дня не выдержал и был таков а потом за кордон поминай как звали бросив с ребенком матьодиночка прочерк в метрике думаешь легко вылитый ты во всех отношениях патологическая неспособность к учебе в школу на такси возила чтоб не убег по пути еврейство ты говорил чистая эссенция ее надо разбавлять вот мы и разбавили каков результат и все на мне ты устранился еще когда здесь был а как будто уже не было так у кого из нас рыбья кровь кто ледяшка я которая взрастила парнишку или ты бросивший нас на произвол судьбы а когда увидел сыночка в своей треклятой америке разочарование видите ли так это ты считай в самом себе разочаровался да и измен бы никаких не было если б ты меня не бросал а так никаких на меня прав ни моральных ни юридических почему не женился когда тебя по семейному праву регулярно уестествляют аппетит проходит желания притупляются никакой потребности добирать на стороне что я нимфоманка какая это ты скорее нимфоман почему этого слова нет в мужском роде почему казанову не свели к врачу и не оскопили меня все это не так уж и колышит с ума не сходила по этому делу ни в девстве ни потом продержалась как видишь до встречи с тобой хоть и постарше а если бы не ты Господи если бы не ты если бы не ты если бы не ты неужели ты так и не понял что не целку мне сломал а всю жизнь душу

изгадил я теперь тень самой себя смертный грех совершила душевное самоубийство все тебе отдала а сама нищая потому и в церковь хожу что жизнь поломата а где еще утешения ждать когда так хреново до тебя до живого было не докричаться тем более до мертвого что мертвый что живой один черт ты был мертв для нас с андрюшей когда еще был жив как ты посмел стать чужим это же твой сын евреи говорят своим семенем обеспокоены больше других наций вот я и говорю что ты выродок и как ты смеешь предъявлять нам претензии да если бы заранее знать бежала бы куда глаза глядят от тебя какая это любовь ты не меня любил а себя любил и лелеял свою любовь как в той песенке loveless love безлюбая любовь я никогда не входила в твои планы ни жизненные ни творческие мама предупреждала что ты летун враль и пустоцвет вот ты и улетел сначала от нас потом из страны теперь из жизни всюду тебе тесно ну а там в могиле тоже тесно а на том свете простор теперь хоть ты угомонился вот разница меж нами ты перелетная птица а я дерево у меня родина а тебе родина земной шар и безверный человек а меня если что и спасает то вера да представь себе смеяться не над чем и если грешила то грехи свои замаливаю а ты так и ушел не раскаявшись потому и был так несчастен и одинок несмотря на премии что всю жизнь думал только о себе не принимая в расчет никого эгоист законченный семейное счастье для тебя обывательский трюизм вот ты и выкаблучивался всю жизнь чтобы не показаться не дай бог банальным вижу тебя насквозь защищал горгону медузу соловья разбойника голиафа и все двенадцать жертв геракла кретина политеизм противопоставлял монотеизму что проку ты оставался банальным только наоборот антибанальным отталкиваясь от банального ты не стал оригинальным а только оригинальничал выпендреж сплошной и кураж даже в стихах хоть есть и хорошие но у бобышева потенциал не меньше но чисто поэтический поэт не ниже тебя но без твоей судьбы и не еврей потому он и мне понадобился что не еврей и никакой не антисемитизм но тебя было мало с оголтелым твоим эгоцентризмом ничего не видел вокруг тебе надо пальцем показывать звезду цветок дерево не знал их названий был слеп и глух как все вы ну большинство какая разница я о тенденции ты схватывал на лету но не мог никогда сосредоточиться все происходило у тебя в голове ты называл метафизикой а метафизика взамен самого существенного чего в тебе не было или не стало вложив в тебя так много Бог забыл вложить главное да представь себе чувства а это выше и ума и таланта и метафизики ты не чувствовал ни людей ни природу тебя надо было водить за руку и тыкать даже о моей беременности ты узнал последним

хотя невооруженным глазом а ты меня видел голой ё* как ни в чем не бывало ну если не глазом то х*ем должен был заметить ведь там все изменилось матка опустилась ты ее доставал своим обрезанным а ведь я даже почувствовала когда это произошло да представь себе зачатие что-то там лопнуло и замкнулось полный кайф выше всякого оргазма но тут же подумала вот подзалетела что делать будем а ты как бык в страсти ярости гневе ревности ничего не замечал только собой был занят носился со своими переживаниями как с писаной торбой волос расщеплял на четыре волосины метафизика твоя треклятая а про аборты ты забыл как убегал ненавидел мой скулеж а что мне оставалось кому как не тебе а ты избегал меня до и после и блядовал с первой попавшейся ища утешения от моего нытья и твое выжидание пока я не приду в норму а еще ревновал меня и пытал продолжаю ли с бобышевым и что андрей неизвестно от кого коли тот им занимался больше чем ты андрюша его папой называл вот тебе сукин ты сын после всего этого да будь моя воля начать жизнь заново от кого угодно только не от тебя а еще говорил что из-за меня перестал различать где ложь где правда а зачем тебе правда правда хорошо а счастье лучше ложь это язык любви правдивая ложь жизнь важнее правды правда это твоя метафизика и ты не был со мною правдив я не жалуюсь это право на жалобы ты тоже себе присвоил а теперь-то что тебе от нас нужно оставь нас хоть сейчас ты же мертвец мертвец мертвец Господи ну за что мне напасть такая выть хочется а не молиться вот я скулю и вою как побитый жизнью пес

ДБ

Закрыв глаза, я выпил первым яд.
И, на кладбищенском кресте гвоздима,
душа прозрела: в череду утрат
заходят Ося, Толя, Женя, Дима
ахматовскими сиротами в ряд.
Лишь прямо, друг на друга не глядят
четыре стихотворца – побратима.
Их дружба, как и жизнь, необратима.

Дмитрий Бобышев. Все четверо

Только ночью, себя от него отделив одеялом,
ты лежишь, семикрыл, рыжеват, бородат, космоват,
и не можешь понять, кто же ты – серафим или дьявол?

Основатель пустот? Чемпион? Идиот? Космонавт?

Дмитрий Бобышев – Иосифу Бродскому

Моя свобода и твоя отвага —
не выдержит их белая бумага,
и должен этот лист я замарать
твоими поцелуями, как простынь,
и складками, и пеплом папиросным,
и обещанием имен не раскрывать.

Дмитрий Бобышев. «Моя свобода и твоя отвага…»

Что это было – нравственный недуг,
Всего лишь любопытство или шалость…

Дмитрий Бобышев. Не помню откуда

Тогда, с тогда еще чужой невестой,
шатался я, повеса всем известный,
по льду залива со свечой в руке,
и брезжил поцелуй невдалеке.
И думал он в плену шальных иллюзий:
страсть оправдает все в таком союзе,
все сокрушит; кружилась голова,
слов не было.
Какие там слова!

Дмитрий Бобышев. Общее воспоминание

Тот новогодний поворот винта,
когда уже не флирт с огнем, не шалость
с горящей занавеской, но когда
вся жизнь моя решалась.

Дмитрий Бобышев. Вариации темы

Но как остановились эти лица,
когда вспорхнула бешеная птица
в чужом дому на занавес в окне,

в чужом дому, в своем дыму, в огне…
Немногое пришлось тогда спасти!
Нет, дом был цел,
но с полыханьем стога
сгорали все обратные пути,
пылали связи…

Дмитрий Бобышев. Диалог с уходящей

Но отчего же так во тьме широко
поет его беда с припевом рока?
Что за – для сердца непомерный – стук
звучит в его грудной органной фуге?
И страшное подумалось о друге:
что если счастлив он от этих мук?
Не ищет ли страданьям он продлений,
и, может, это цель – любовный крах?

Дмитрий Бобышев. Догадка

Беда, беда, – зову я, выбегая.
Навстречу мне желанная беда.

Дмитрий Бобышев. Не помню откуда

Что вязало двоих,
одного доконало…

Дмитрий Бобышев. Развязка

Приснился он или со мною слился,
но я один. Его здесь больше нет.

Дмитрий Бобышев. Эпилог

Как пес, я взял твой след в ее теле. Твой запах в ней возбуждал меня больше, чем ее собственный. Да: пес. Да: зверь. Домашний и дикий, пес и волк. Метафорический зверь есть мифологический зверь, есть метафизический зверь. Недовоплотившийся или наоборот пере-. Как я. Я и есть тот зверь, которого нет. Вымышленные существа суть вымершие существа.

Не фантастические, а бывшие, но не сущие, из невыживших, как динозавры или мамонты. Ной, говорят, невзлюбил, взревновал, позавидовал и истребил лучших на ковчеге. Того же кентавра, который научил Асклепия врачеванию, воспитал Пелея, Ахилла, Нестора, Диомеда, Мелеагра, Патрокла, Кастора и Полидевка – завидуя его мудрости и авторитету, а говорил – что искажает божественный образ человека. И единорога из зависти к его рогу, приняв за пенис и исходя из того, что приручить его могла только непорочная дева, коих на ковчеге не оказалось.

Или они были мутанты? А человек – не мутант обезьяны? Фатальная описка природы. Инфернальная порода человека.

А разве сущий носорог менее удивителен, чем небывший единорог с его маниакальной тягой к девственницам? Разве летучий мыш с человечьим лицом не столь же фантастичен, что помесь человека с конем – кентавр? Морской конек – и конек-горбунок? Слон – и мамонт? И кто есмь я в этом бестиарии? Бестиарий или паноптикум? Зверь или уродец? Супермен – это сверхчеловек или метафизический зверь? Хаоках, бог грома у индейцев племени сиу-дакота: замерзает в жару, потеет в мороз, смеется в горе и плачет, когда счастлив. Бобышев = Хаоках.

Зверь смеха в плаче. Мой болт кончается змеиной головой. Я сохранил девственность в разврате, единорог мой домашний зверь, враг другу и друг врагу – вот кто я. А кто я сам себе? Друг? Враг? Я – это другой.

Я – это ты. Ты – это я.

Пропорот болью и снедаем самоедством, по ту сторону океана, а значит добра и зла, в кромешном одиночестве Урбаны, Иллиной(с), я сам не знаю, кто я – иуда или спаситель? Я сыграл роль, и сыграл ее классно, даже если внес отсебятину, но навязал мне эту роль ты. И ты же осудил меня за нее. Я был у тебя на побегушках. Да я бы и не глянул в ее сторону, не будь она твоей.

Для чего ты ее поручил мне? Я был твой заместитель, взял над ней опеку, то есть на поруки, носил на руках. Главное – чтоб ей было хорошо и безопасно. Ей было хорошо и безопасно. Если со мной ей было лучше, чем с тобой, – не моя вина. Выполнил твое поручение – ты должен быть благодарен. Пусть инстинктивно, импульсивно, вдруг, нас захлестнуло, в сознанке я бы себе этого, может, и не позволил. Какая там проблема выбора – мы не могли противиться судьбе, которую ты выбрал для нас троих. В минуты роковые нашей жизни мы действуем бессознательно. Это потом до меня дошло, что не по своей, а по твоей воле. Ты – автор и режиссер, мы с ней – твои актеры. Если только не высшая воля простерла свою длань над всеми нами. Разве не знак свыше, что даже фамилии у нас на одну букву: три

«Б». Псевдотреугольник, как псевдогруппа у древних египтян, когда один и тот же человек изображен несколько раз в ряд. То, что произошло, должно было произойти. Ананке – Неизбежность и Необходимость, мать мойр: Клото прядет день и ночь нить жизни, Лахесис отмеряет ее длину, Атропос, неотвратимая, обрезает ее ножницами. Твоя нить обрезана, моя отмерена.

А теперь представь твое разочарование, если бы я вернул твою деву в целости и сохранности – ни трагедии, ни биографии, ни изгнания, ни Нобеля, ни имени. Я – твой кентавр, имя – Хирон, я сделал тебе судьбу, а ты в благодарность ранил меня отравленной стрелой, от которой я умираю и никак не могу умереть. Я первым выпил яд, но ты первым от него умер, оставив меня корчиться в муках.

Ближе, чем друзья, – только враги. Мой лучший враг, мой заклятый друг, скованы одной цепью, обручены как жених и невеста, облучены общей судьбой, повязаны на всю жизнь, а теперь вот и на всю смерть.

Даже смерть не разорвет эти узы – ни твоя, ни моя. Любовь разрушительна, ненависть созидательна. Чем бы ты был без ненасытной ко мне ненависти? Я принимаю твою ненависть как вызов и как любовь.

Ненависть – высшая степень любви. Любовь можно удовлетворить, но не ненависть. Плоть насыщаема, дух алчет. Любовь смертна и бессмертна ненависть.

Кому она изменяла – мне или тебе? Кому лгала? А я не корчился от ревности и зависти к тебе? У каждого своя правда, а не одна на всех.

Почему ее простил, а меня – нет? Своей судьбой ты перечеркнул мою. Я – сноска к твоей биографии. Одна из: иуда, яго, дантес – имя нарицательное без имени собственного. Если бы не тот клятый Новый год, когда мы всем чужие и все чужие нам? Ты должен был, поручая ее, обрезать мне яйца и назначить своим евнухом: я бы пошел на это. Тогда я еще не был макрофобом, которым стал благодаря тебе (а не юдофобом – ни в одном глазу!), и признавал твое главенство: евнух так евнух. Ты оставил мне яйца – я пустился во все тяжкие разврата. Тебе никогда не представить, каким девственником может быть развратник!

В отличие от тебя, я не был женолюбом и не стал женофобом. Нет, голубым я тоже не был, фрейдистский бред об измене и ревности тут ни при чем. Все сложнее. Даже если где-то на самом дне бессознанки и притаился страх, что у нас с тобой случится грех и единственный способ избежать его – трахнуть вместо тебя твою красавицу. Она стояла между нами, оттягивая твои силы – ты ее поставил на пьедестал, я сбросил вниз, доказав, что баба

есть баба, курица не птица. Я открыл тебе глаза, в благодарность ты уничтожил меня.

В ту новогоднюю ночь были сожжены не только занавески, но и мосты. Не крепость взял (сама отдалась), а перешел Рубикон. Подключился к вашей электроцепи, и меня прошиб ток твоей страсти. Ты подзарядил ее, а потом меня. Я отнял вспаханное тобой поле и пропахал его заново, но ты перее* ее опять – по-своему. Твое мощное дикое необузданное всесокрушающее либидо – я чувствовал его змеиным кончиком своего члена, когда входил в нее вслед за тобой. Это был рай, но мусульманский, с одной-единственной гурией на двоих: она возвращалась каждый раз девственницей – от тебя ко мне, от меня к тебе. Дело случая: твой сын мог быть моим сыном. Когда она шла на аборт, никто не знал от кого. Война не на жизнь, а на смерть, поле сражения – баба: кто кого перее*ет. Я вошел не в нее, а в твою судьбу – через нее – навсегда, утратив свою собственную. Единственный из нашего квартета я отправился за тобой в Америку, где ты перекрыл мне кислородные пути – я был отвержен друзьями, женщинами, издателями. Порушенная судьба. Здесь, в Америке, я стал тем, чем ты был в России: пария, изгой, отщепенец. Я стал тобой. А кем стал ты, перестав быть собой?

Нобелевским лауреатом.

Женщина, вставшая промеж нас, соединила нас через свою промежность. Чья память сильнее – память *уя или память пиз*ы?

Я представлял тебя в ней и дико возбуждался, а ты? Мы входили в нее по очереди, ревнуя, досадуя и ненавидя-любя друг друга. Я чувствовал тебя в ней, а ты меня? Я побывал на твоем месте, ты побывал на моем месте. Ее тело знало твое тело, а теперь ее тело знало мое тело, наши с тобой тела соприкасались через ее тело, о эта чудная, упоительная посредница меж нами. В конце концов она догадалась что к чему, а ты? То, что должно было нас сблизить, разбросало в стороны. И все равно: я словил свой кайф, а ты? Горе, что я тебе принес, – источник высочайшего наслаждения для тебя. Ты смаковал несчастье, ты был счастлив в беде, любовное крушение – твоя цель и нирвана. Чем бы ты был без меня? Что ты без Катастрофы, как ты высокопарно окрестил то, что тогда произошло? Никто, ничто, ноль без палочки, пшик. А кто я? Свингер? Альфонс?

Жиголо? Чичисбей? Исполнитель вторых ролей? Роль Иуды? Пусть Иуда. Без Иуды нет Христа. Но и Христа нет, а есть два Иуды: я предал тебя, ты предал меня. Как отличить Горбунова от Горчакова? У нас одно назначение на земле. Да исполнятся сроки земные и смертные.

Мы сыграли с тобой в одном спектакле – тебе досталась

слава, мне позор и лепра. Мы соавторы одной судьбы. Не ты с ней и не я с ней, а мы с тобой – двуспинное чудовище. Монстр о двух головах. Два пениса: один обрезанный, другой нет. Сиамские близнецы, не поделившие бабу. Ты так и не понял, что нам достаточно было одной. Два поэта с одним сердцем. Ты умер, а я жив. Я жив, потому что нельзя умереть дважды, а умер я в новогоднюю ночь, когда она подожгла занавески, и я сжег все корабли. Мне ничего не оставалось, как доиграть свою роль.

Теперь уже недолго осталось, но я доиграю до конца. Играю за нас обоих, ибо ты уже не игрок. Тебе не до наших земных игр, а ваши тамошние, что, азартней? Ты ревновал к живому, я ревную к мертвецу. Есть только один способ преодолеть тебя – стать тобой. Я играю все роли в этом моноспектакле: тебя, себя, Марину, Андрюшу. Я его любил как своего – какая разница? Ты заделал ей ребенка – для меня. Твой был мне роднее своего, которого у меня нет, потому что есть твой. То есть мой. Твой, мой – все равно чей. Собственность – это условность: на баб, на детей, на стихи. Родила от тебя, а могла от меня: у нас были равные шансы, мы оба е*ли ее с одной целью, сами того не сознавая. Я был более предусмотрителен, чем ты, но ты оказался более предусмотрителен, чем я. Ты ей оставил небольшой выбор: ребенок или аборт? Родила от тебя, но не тебе. Я возился с Андреем как со своим. Он и есть мой, потому что твой. Твоя женщина, твой ребенок – мои. Твои стихи – мои стихи. Но я написал их сам. Там твой портрет, ее портрет, мой портрет, наш семейный портрет с ребеночком у нас на коленях. Знаешь, труднее всего дается свой портрет. Даже у великих: автопортрет проигрывает на фоне портретной галереи. «Давид Копперфильд», например. Странно: изнутри выходит хуже, чем извне. Мнимость литперсонажей, которые автобиографичны по сути: я писал тебя, а вышел я. Ты узнаешь себя в моем автопортрете? Я узнаю тебя в твоем. Мы квиты: как пииты, как мужи, как родаки, как твари. Да: групповуха. Но не manage à trios, а – manage à quatre. Не трехугольник: четырехугольник.

Квартет. Квадрига. Квадратура круга. Нас было четверо еще когда нас было трое. Не только до его рождения, но и до зачатия, которое могло произойти в любое мгновение, от любого из нас. Я это чувствовал, ты – нет. По своему чудовищному эготизму – и эгоизму! И эгоцентризму! – ты не учел физический потенциал наших отношений. Ты был равнодушен ко всем, кроме себя. Еще до того, как он родился, ты сомневался, твой ли он. Ты ревновал к нему. Он отнял у тебя бабу: сначала чрево, потом грудь. То, что не принадлежало тебе единолично, теперь принадлежало единолично ему. Он был твоим, но мог быть моим и стал моим –

в конце концов. Это ты стал бездетен, когда он родился, а не я. Сам сравни: что твои пять минут похоти по сравнению с часами ночных бдений у постели задыхающегося ребенка? Он часто и тяжело болел – вот-вот умрет. Дни и ночи напролет – мы с Мариной вырывали его оттуда, а он нырял обратно, мы снова брались за дело. Так кто же ему тогда настоящий отец – ты или я? Ты, бессознательно зачавший его, или я, отвоевавший его у смерти и давший вторую жизнь?

Какой это был несчастный ребенок! Он искал отца, как бэби ищет грудь. Ты был для него Осей: условие ваших свиданий. Дикость? Кто спорит: дикость! Кот Ося. У тебя был настоящий кот Ося, и у него ты был кот Ося. Ты мяучил с ним, как твой кот Ося с тобой. Это был твой эсператно: ты мяукал со своим котом, своими предками, своими бабами и друзьями, даже с врагами. Вот ты и с ним мяу. Он так привык к тому, что ты кот Ося, что не признал бы в тебе отца, даже если бы разрешили. Зато любого другого мужика, окромя тебя, называл папой, но с вопросительной интонацией, мучась и сомневаясь: папа? Хотели досадить тебе, а ранили его.

Детская травма.

Я один откликнулся на его призыв и заменил тебя. Это был жалкий, потерянный, брошенный ребенок, я возился с ним, ощущая родство: сиротство в этом чужом и холодном мире. Мы нашли друг друга: две одинокие потерянные души. Он любил меня и продолжал искать отца.

Он тебя искал всю жизнь и потерял навсегда в вашу встречу-невстречу в Нью-Йорке. До сих у меня стоит в ушах его вопрос-надежда:

– Папа?

АБ

– Папа?

Мама – папа? Деда – папа? Дима – папа? Ося – не папа. Ося – кошка. Он приходит и говорит «мяу». Мяу, кот Ося.

– Папа?

– Спи, детка! Спи, родной! Проклятая температура! Никак не сбить! Всё за мои грехи. Но тебе-то за что? Виноград и оскомина? Но где виноград? Оскомина и оскомина. Кислый виноград. Выпей водички, маленький. Завтра тебе будет лучше.

– Где папа?

– Завтра, милый. Ну, почему ты опять сел? Ложись. Ночь. Все спят – птицы в небе, слоны в зоопарке, в норах мыши и кот на

крыше.

– Кот Ося?

– И кот Ося спит, будь он неладен, хоть ему не спать, а бодрствовать положено рядом с тобой. На пару со мной дежурить у твоей постели. Но ему нет до нас дела. Завтра заявится со страдальческой миной, закрывая лицо руками. Театр одного актера.

– А Дима?

– Оба здесь будут, горе мое. Господи, ну за что мне все это! Только бы ты выздоровел! Корь проклятая…

– Не плачь, мама. Завтра будет папа.

Если Дима папа, почему нельзя сказать Диме «папа»? Если Ося папа, почему нельзя сказать Осе «папа»? Почему мама не папа? Зачем папа, когда есть мама, деда, баба, Дима и кот Ося? У всех есть папы, только у меня нет папы. Еще и у Исуса, говорит кот Ося. Но он не Исус, говорит мама и щупает губами мой лоб. Не дай бог, говорит кот Ося.

Все в доме рисуют, но я не хочу рисовать. Деда, баба, мама – все рисуют и меня заставляют, но я не хочу рисовать. Хочу петь, как мама.

Я люблю ее голос, но она поет не мне, а когда приходят гости. Я тоже люблю гостей. Мы с мамой любим гостей-мужчин, потому что каждому можно сказать «папа». Папа? Но больше всех мама любит Диму и кота Осю. Один из них папа, но каждому строго-настрого запрещено откликаться на «папу». Вот они и отказываются быть папами.

– А кого бы ты выбрала в папы – дядю Диму или кота Осю? – спрашиваю маму, потому что сам не знаю, кого выбрать.

– Не знаю, – говорит мама.

А потом, подумав, говорит:

– Дима добрее, но Ося – несчастнее.

– А кто лучше папа – добрый Дима или несчастный Ося?

– Спи, детка. Утро вечера мудренее. Завтра и обсудим, кто лучше папа. Есть же еще папы, помимо этих двух.

Дима чаще бывает у меня, особенно когда я болею, как сейчас.

А кот Ося приходит реже, с диковинными подарками, но мяукнет раздругой – и к маме. А меня одного оставляют. Всегда приходит, когда бабы с дедой нету. Баба с дедой его терпеть не могут – так говорит мама.

– А ты?

– Терплю, как видишь, – смеется мама.

– Баба с дедой не любят кошек?

– Кошек любят, а кота Осю – нет.

Тихонько подкрадываюсь и отворяю дверь. Совсем голые оба и как странно танцуют – без музыки на одном месте, тесно вжавшись друг в друга и двигая попами, но не из стороны в сторону, а взад-вперед – это кот Ося, а мама – вверх-вниз.

– Я тоже так хочу! – кричу я и бегу к ним.

– Несносный ребенок! – говорит кот Ося, отрываясь от мамы и поворачиваясь спиной, но я все равно успеваю заметить, что пипирка у кота Оси большая, голая, красная и мокрая. А мама смеется и, взяв меня на руки, относит обратно, а сама возвращается к коту Осе.

У моей мамы самая лучшая грудь в мире! Она мне рассказывала, когда я был сосунок и мы были на пляже с голыми женщинами, я подбегал к каждой, смотрел на грудь, примеривался, сравнивал и убегал обратно к ней: у мамы лучше. Но потом я заметил большуюпребольшую грудь, хотел к ней пристроиться, но тетя засмеялась и прогнала меня: «Рано еще тебе, пострел, о грудях думать!» Почему рано? Наоборот. Тогда я думал, а теперь уже нет.

Когда кот Ося склоняет надо мной голову, он больше похож на птицу, чем на кошку.

– Кот Ося – птица, а не кошка, – говорю я маме.

– Да, он птица, – соглашается мама. – Птица перелетная. Ему здесь холодно. Он скоро улетит на юг, в дальние страны.

– А дядя Дима? Он тоже улетит в дальние страны? Он не похож на птицу.

– Он не похож на птицу, – соглашается мама. – Но он тоже может улететь, если улетит кот Ося.

Странно, думаю, зачем дяде Диме улетать вместе с котом Осей, если я ни разу не видел их вместе. Они всегда приходят порознь, и голая мама танцует то с одним, то с другим, а я подглядываю, хоть и знаю, что нехорошо. Нехорошо подглядывать, но когда я подглядываю, мне хорошо. Я тоже хочу так танцевать с мамой – чтобы она была голой и чтобы я был голый и чтобы она так же вскрикивала, как с ними. Как будто ей больно, но ей не больно, наоборот. Почему она вскрикивает, если ей не больно? Они такие разные, кот Ося и дядя Дима, а танцуют с мамой одинаково, когда стоя, а когда лежа, совсем по-разному. И это уже не танец, а такие прыжки вдвоем в кровати, на которые так смешно смотреть. Как в цирке.

Но почему они никогда не танцуют втроем? Почему никогда не приходят вместе? Я думаю, Дима и Ося на самом деле – это один и тот же папа, раз они одинаково танцуют с мамой и никогда не могут появиться одновременно. Он переодевается то в Осю, то в Диму, а кто он на самом деле, никто не знает. Он сам не

знает. И когда он голый, он боится повернуться ко мне лицом, чтобы я не узнал, кто он на самом деле.

Я хочу петь и рисовать, как мама. Мама рисует лучше всех. Я хочу рисовать, как она, но я не хочу учиться рисовать. Я хочу сразу нарисовать наш дом, этот большой-большой стол, это окно, эту улицу в окне, бабу с дедой, и маму, и дядю Диму, и кота Осю – с одним тайным лицом.

Всё-всё-всё сразу нарисовать и больше не рисовать никогда, а только петь, петь всегда, как мама, все говорят, у меня ангельский голос, но это скоро пройдет. Все говорят, что голос ломается. Я так боюсь, что голос сломается и будет больно-больно. Наверное, он уже ломается, потому что я весь горю, губы пересохли, не могу глотать, так болит горло. Это голос ломается, я перестану быть ангелом и не смогу петь, как мама.

Я хочу петь, петь, петь на весь мир своим ангельским голосом, как мама поет, как птицы поют, как кошка поет, когда ее гладишь и она мур-мур, как весь мир поет, а я должен учиться рисовать, у меня температура и нет папы – ни папы Димы, ни папы кота Оси, ни папы мамы.

Я так люблю, когда она лежит со мной голая и поет песню, я хочу танцевать с ней, как танцует Ося-Дима, но когда я просыпаюсь в ночи, ее уже нет – она спит то с дядей Димой, то с котом Осей и никак не хочет понять, что он один человек.

– Ты должна, наконец, выбрать между нами, – говорит ей папа Дима, гладя меня по голове. – Ты же сама видишь, ребенку нужен папа, а какой из него отец!

– Ребенку нужен папа! – кричу я и просыпаюсь.

Дима целует меня в лоб – какие у него холодные губы!

– У него жар, что же делать, что же делать? – поет женский голос.

– Это один человек! – кричу я и еле слышу свой голос. – Как ты не можешь понять, что это один человек! – захожусь я в плаче, и что-то лопается у меня в горле.

– Это конец! – шепчу я, потому что у меня сломался голос.

– Что ты говоришь такое! – плачет мама.

Теперь я не могу петь, но могу рисовать. Если мама не может между ними выбрать, я выбираю сам. Я рисую моего папу. Кот с птичьим лицом и мокрой пипиркой. У них всегда мокрые пипирки после танца с мамой. Когда они голые танцуют стоя, сидя, лежа и еще по-всякому, они уже ничего не замечают, вот я и подсматриваю, я все про них знаю, а про себя нет. Когда мама ложится ко мне голая, я не знаю, что мне делать, чтобы танцевать с ней, как Дима и Ося, и я пописал на нее, чтобы пипирка была мокрой, но мама рассердилась, а за что? Я ей все объяснил, она

стала смеяться, как шальная – так кот Ося про нее говорит.

Как нарисовать кота Осю и дядю Диму с одним лицом, с одним телом и с одной мокрой пипиркой? У моего кота с птичьим лицом пипирка вышла больше, чем хвост. Два хвоста? Или две пипирки? Одна пипирка просто так, как хвост, а вторая большая-пребольшая, когда они танцуют с голой мамой, у меня никогда такая большая не вырастет.

А теперь я пририсую папе крылья, как у ангела. Какого роста ангелы?

Это большие птицы или малые птахи? Я нарисовал этому коту-птице с двумя хвостами-пипирками куриные крылья, чтобы он никуда не улетел. Он тут же быстро-быстро ими задвигал и прокудахтал:

– Я улетаю, – кудахчет кот Ося.

Я хватаю резинку, чтобы стереть ему крылья, но уже поздно – они растут на глазах.

– Видишь, у него жар, я не знаю, что делать, он не спит и рисует, – сказала мама.

– Я пришлю оттуда лекарства. Я буду тебе писать.

– Стихами, пожалуйста, – говорит мама и слишком громко смеется.

Сейчас заплачет – она всегда, когда так смеется, потом плачет.

– Что ты рисуешь? – спрашивает кот Ося. – Какое-то мифологическое существо, не поймешь кто.

– Это ты с Димой, – сказал я.

Кот Ося помрачнел.

– В этом доме все сговорились меня обижать.

– Кому ты нужен, – говорит мама, вытирая слезы.

– А почему крылья? – спрашивает кот Ося.

– Потому что ты улетаешь, и Дима улетит.

– Никуда он не улетит, твой Дима. Он здесь прописан навечно. Как крейсер «Аврора» – на вечном приколе. Он из тех, кто держится за юбку, даже если это чужая юбка.

Это он о маминой юбке. Только Дима держит ее совсем не за юбку, когда с ней танцует, хотел рассказать ему, у них это немного по-другому, чем с ним.

– Ты хочешь мне что-то сказать? – спрашивает кот Ося, но я не уверен, что ему понравится мой рассказ. Все, что связано с Димой, ему не нравится, хотя это один и тот же зверь, я это знаю теперь точно, раз они одинаково, хотя и каждый по-своему, танцуют с голой мамой.

– Нет, лучше не буду, – говорю я. – Зачем тебя расстраивать перед полетом.

– Господи, какой ужасный ребенок, – говорит кот Ося, но я понимаю, что он и не хочет, чтобы я ему рассказывал. Хоть и не знает про что, но на всякий случай. Он всегда больше говорит, чем слушает. Помоему, он боится слушать.

– Давай ему скажем, – говорит мама, ни на кого не глядя.

– Как ты танцуешь с Димой? – спрашиваю я.

– Ты танцуешь с Димой? Ничего не понимаю! – говорит Ося.

– Какие же вы у меня дураки! – смеется-плачет мама.

Потом поворачивается ко мне и говорит:

– Ты все ищешь своего папу. Вот он стоит перед тобой, твой папа.

– А как же Дима? – говорю я и плачу.

– Дима – наш общий друг, – говорит мама.

– Не мой! – говорит кот Ося, который теперь папа.

– Почему не твой? Был – твой. Ты же меня с ним и свел и оставил на поруки. Он не изменился от того, что взял меня на поруки.

– Зато я изменился.

– Опять за свое! Давай хоть в последний день оставим эту бодягу.

– Для кого бодяга, для кого – нет.

Они всегда обо мне забывают, когда выясняют отношения.

– Я болен! – кричу я, чтобы обратить внимание, но из моего горла один только хрип да сип.

– Что ты хочешь, детка? – спрашивает мама.

– Я болен, – говорю я.

– Я знаю, милый. Но ты скоро поправишься. Вот папа улетит, и ты сразу поправишься.

Коту папе Осе эти слова не нравятся, но он молчит.

– Кто папа? – спрашиваю я.

– Я – твой папа!

– Но все зовут тебя Осей, – продолжаю пытать кота Осю.

– Верно. Я – Ося. Кот Ося. Для всех. А для тебя папа.

– А почему ты не сказал раньше?

– Спроси у мамы! – не выдерживает папа Ося. – Это был такой против меня заговор. Чтобы ты не знал, что я отец. Дурацкое такое условие. Иначе меня бы к тебе не пускали.

– Но почему теперь, став папой, ты сразу улетаешь?

– Устами младенца… – говорит мама.

– Потому что это другое дурацкое условие! От меня не зависит. Теперь у тебя, наконец, есть папа, но он улетает.

– Ты папа-птица?

– Да, я – птица. Ястреб.

– Петух, – говорю я.

– Почему петух?! – сердится кот папа Ося.
– А ты вернешься? – говорю я.
– Вернусь, – говорит папа и целует меня.
Папа Ося меня обманул.

Хроническая любовь. Автокомментарий

In Memoriam Joseph Brodsky
Th e lichen cries on cedar branches in the rain.
Th e raven cocks his head, looks me in the eye,
and caws again and again and again.
Th e breeze brings another gentle wave home.
Across the ocean, do you dream of me tonight, my darling?

Eugene Solovyov. Across the ocean

Этот многоголосый скорее блок, чем глава, являясь художественным вымыслом Арины, не нуждается в подробных комментариях, но только в кратком общем. Зато несколько страниц эпиграфов, вынесенных в отдельную, начальную подглавку, выполняют функцию внутритекстовых сносок и указуют на источники. Суть, по замыслу автора, жанровая модификация сносок, хотя и без точного указания – какая к чему.

То есть без четкой атрибуции стиховых, прозаических и оральных высказываний ИБ. Да и невозможно прерывать внутренние монологи сносками и ссылками. А приведенные вразброд цитаты пусть читатель сам распределяет, перераспределяет и классифицирует по собственному усмотрению.

Тем более некоторые эпиграфы приведены парно и содержат если не сюжетное сравнение, то по крайней мере стилевое смещение, а чаще – сопоставление, противопоставление и уравнение. Если воспользоваться гегелевской триадой: теза – антитеза – синтез. Начиная с первой пары, которая рисково и пикантно составлена в параллель «не трожь» в первом стихотворении и «не тронь» во втором. Да еще по ситуативной общности классического треугольника, описанного в гротескной, насмешливой, издевательской «Любовной песне Иванова», стилистически и хронологически близкой к стихам из «Школьной антологии» – manage á trois самого ИБ (+ДБ и МБ), на основании чего и можно считать исповедь алкаша закамуфлированным, пародийным, автоироничным признанием самого ИБ (по принципу классического объяснения в любви в третьем лице) и

ставить в пару с открыто-исповедально-любовным «Горением». Маска – скорее на древнегреческий, чем венецианский манер – алкаша Иванова позволяет ИБ сделать признания, немыслимые для него прямым текстом в автобиографических стихах.

Скажем, «я знал ее такой, а раньше – целой», что непонятным образом волнует рассказчицу и рассказчика, хоть вопрос девства вроде бы перестал быть актуальным, но не для нас с Ариной. Сверхфункция маски в том, что она не скрывает лицо, а, наоборот, выявляет его скрытые, тайные, сокровенные черты – ну да, по принципу остранения – слово, в которое в иных изданиях моих книг редактор или корректор вставляли ненужную букву «т» сразу же вслед за первой. Надеюсь, в этом издании такого не произойдет. Научился ли Бродский этому приему у Шкловского, который впервые ввел этот термин в словарный оборот, либо у супермодного в те времена Брехта (die Verfremdung), которого вовсю переводил на русский его тогдашний друг Ефим Эткинд (разбежались, когда ИБ за несколько лет до смерти женился на его бывшей любовнице Марии Соццани), либо у английских метафизиков и имажистов – без особой разницы. По-любому, легче делать признания в третьем лице, чем в первом – об этом знал Марсель Пруст, узнал Иосиф Бродский и знает Владимир Соловьев. Вот почему, кстати, широко заимствуя у Бродского для своего героя «ИБ», автор в долгу перед поэтом-другом не остался и одарил главного персонажа этой книги своими собственными заветными – скажем так: наблюдениями.

Само собой, Иванов или Орфей (как и Тезей, Эней, Одиссей, Новый Дант и другие авторские псевдонимы) – не совсем ИБ, но такие аналогии и переносы, как и в целом биографический, то есть все-таки буквальный подход к поэзии, оправданны советом самого ИБ: «Поскольку каждое произведение искусства, будь то стихотворение или купол, является автопортретом, мы не будем во что бы то ни стало проводить различия между личностью автора и лирическим героем стихотворения. Как правило, такие разграничения совершенно бессмысленны хотя бы потому, что лирический герой неизменно является авторской проекцией». Хоть это и сказано в связи с Оденом («„1 Сентября 1939 года“ У. Х. Одена»), но явно на основании собственного поэтического опыта. Если и можно упрекнуть рассказчицу – и комментатора – в буквально-биографическом подходе к стихам ИБ, то этот упрек, как видим, можно переадресовать и самому ИБ, коли он ищет биографический подтекст даже в куполе. Несомненно, в критике и литературоведении подобный подход недопустим (привет Тынянову и всей честной К° формалистов) – иное дело биографический, а тем более мнимобиографический жанр.

Реконструкция любовной драмы героя (точнее, героев), собственно, и произведена на основании вынесенных в эпиграфы высказываний, хотя ими не ограничена. Вдобавок, само собой, довольно дифференцированное знание комментатором с питерских еще времен (в том числе, со слов ИБ, который в этих делах скрытностью не отличался) подробностей этого любовного четырехугольника. А не треугольника, как ошибочно полагал ИБ, не включая сюда будущего, а потом сущего отпрыска сына Андрея, который родился от Бродского, а мог от Бобышева – шансы 50 на 50, коли Марина Басманова попеременно давала обоим.

Куда дальше, если даже, приехав на побывку в Норенскую к ссыльному поэту, она отбыла обратно в Питер вместе с неожиданно (?) нагрянувшим Бобышевым – после самого крупного скандала в жизни этой отнюдь не святой троицы. Оставив горевать, ревновать, мучиться и писать любовные стихи к МБ – одни из лучших в его поэзии. Так и есть: путем сублимации. А вот и статистическое подтверждение: добрая половина написанных в ссылке стихов посвящена Бродским своей любовнице-изменчице. Сомнительно, чтобы они были сочинены, если бы ИБ и МБ жили-поживали в счастливом браке. Другой вопрос: бывают ли браки счастливыми? Независимо, чья это была стратагема – любовная Марины Басмановой или совместническая спаррингпартнера Бобышева, который перенес заведомо проигранный им поэтический поединок в иную плоскость – генитальную. Да и не так чтобы важно. Все мои мужские симпатии на стороне Бродского в этот его норенский период. Он много и часто, повторяясь, рассказывал мне о своих любовных муках (не мне одному), и я живо представлял себя на его месте. А стал бы я делить свою девушку с другом, да и с кем попадя?

Ужас, ужас, ужас…

Уж коли мне приходится ссылаться на самого себя, то вот еще один вспоминательный наплыв.

Место действия – Ленинград, время – скорее все-таки вторая половина 60-х, точнее не помню. Зато точно помню – ранняя весна. Я довольно долго засиделся у Оси в его «берлоге», вышли мы поздно – сумерки, сыро, зябко. Нам было по пути: он ехал к Ефимовым, я – домой. Троллейбус, как сейчас помню, двойка. Мы тряслись сзади на просторной такой площадке без скамей, держась за поручни, время от времени, на светофорах и остановках, нас бросало друг к другу, что создавало ощущение неловкости и близости. Не помню в связи с чем, я назвал имя Марины, имея в виду Марину Рачко, жену Игоря Ефимова, которую все, кроме меня, звали Машей. Никак не ожидал от него

такой реакции на имя. Знал, что это его болевая точка, идефикс, bête noire, но чтобы до такой степени!

Когда выяснилось, что он зря сделал стойку, и догадываясь о моей реакции на его реакцию, он вдруг спросил:

– Извините за нескромный вопрос: вам Лена изменяла?

Я растерялся, но уж слишком ИБ был серьезен, чтобы реагировать на него тоже серьезно:

– Ну, кто же это может знать наверняка! Язык любви – язык лжи.

– Язык лжи – это язык нелюбви, – возразил он резко, и я мгновенно согласился, о чем потом жалел.

– Если речь о ревности, то не так уж и важно, имела место измена или нет. Неизвестность томит хуже известности. Измену – точнее, саму ее возможность – представляю очень живо. Воображение у меня работает на крутых оборотах. Отелло по сравнению со мной щенок. Да еще сны с их дикостью и бесконтрольность. Там Лена у меня бля*ь бля*ью. Со всеми знакомыми.

– И со мной?

– А то как же! Вот недавно снилось, как Лена запросто, без напряга и стыда, признается, что спала с вами, и я безумец-ревнивец наяву (ко всем и ни к кому) спокойно это во сне воспринимаю как само собой разумеющееся. Почему нет?

– А теперь представьте, что вы просыпаетесь, и оказывается, что это вам вовсе не снилось, а на самом деле. Что тогда?

Подвох? От одной такой возможности меня передернуло.

– Да, нет, я не о себе, а вообще, – утешил он меня. И уточнил: – С другом. Что бы вы сделали?

– Не знаю.

– Вот и я не знаю. Шесть лет, как не знаю.

Подумав, добавил:

– Я старше вас не на два года, а на этот вот опыт.

У Пяти углов он вышел, оставив меня в сомнениях: не о нем, а о себе. А что бы сделал я на его месте?

Такая вот история.

Если что и нуждается в комментарии, то отнюдь не сюжетные выверты и скрытые цитаты, а причины измены (опять это клятое слово!) квазирассказчицы и автора в натуре собственным же принципам двухкнижия в этом текстовом отсеке, но поддаться этому соблазну значило бы отбивать хлеб у современных и будущих историков литературы, если таковые выживут в противостоянии конкурентам.

Очевидна – по контрасту с предыдущими и последующими главами – рокировка текста Арины и текстов ИБ: в самом деле,

телега впереди лошади. Как и положено эпиграфам, но не комментам. Читателю предстоит самолично решить, как соотносятся заявления ИБ и его монолог, а заодно и монологи остальных фигурантов в этой весьма рисковой четырехголосице. В отличие от других глав, в которых вымыслу положены пределы и если не каждый пассаж, то многие могут быть подтверждены самим ИБ, каковая задача и выполняется худо-бедно автокомментарием в отдельных изданиях «Post mortem», а здесь, по техническим причинам, опущенным, эти четыре потока сознания, разные даже стилистически, невозможно заземлить научными или даже псевдонаучными примечаниями и педантично привязать к документальным высказываниям тех, кому они приписаны.

Тем более реальные имена присвоены все-таки беллетризованным персонажам.

Сам этот четырехголосник – а фактически пятиголосник, считая голос комментатора (соблазнительно, пусть я кощунник, было бы по библейской ассоциации назвать его моим «Пятикнижием») – с легко угадываемыми литературными образчиками: «Расёмон» Акутагавы и еще в больше мере Куросавы, «Шум и ярость» Фолкнера и, само собой, «Семейные тайны» Владимира Соловьева, с подзаголовком «Роман на четыре голоса». В данном случае – рассказ на четыре голоса. Четыре Б – по-видимому, по аналогии с упомянутыми в тексте пятью Б (Блок, Белый, Брюсов, Бальмонт и Бунин) – это ИБ (Иосиф Бродский), МБ (Марина Басманова), ДБ (Дмитрий Бобышев) и АБ (Андрей Басманов).

Три других голоса отнюдь не подголоски главному персонажу книги, а скорее коррективы, а то и в опровержении версии, излагаемой ИБ орально и текстуально и приведенной в эпиграфах. Но и монолог мертвеца, то есть главного героя, отнюдь не тождествен один в один высказываниям его прототипа, а в ряде случаев является существенной к ним поправкой.

К примеру, если гармошка сепий с ведутами Венеции прямо заимствована из устных и печатных рассказов ИБ – «…девушка, за которой я ухаживал, подарила на день рождения набор открыток с рисунками сепией, который ее бабушка вывезла из дореволюционного медового месяца в Венеции, и я корпел над ними с лупой», – то его земное и заземленное (в данном случае точнее было бы сказать «приводненное») понимание метафизической цитаты из Библии «Земля же была безвидна и пуста; и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою» – выправлено в соответствии с его предполагаемым потусторонним опытом. В самом деле, предположить, что «если Он носился над

водой, то значит, отражался в ней» – изустное заявление ИБ, подтвержденное им в венецейском эссе: «В любом случае, я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать»

(«Fondamenta degli Incurabili»), – такой подход слишком материалистичен для метафизика, коим ошибочно все-таки полагал себя ИБ. Наделенный новым опытом, ИБ в своем загробном монологе сам себя как бы поправляет, когда говорит, что смятенный дух носится над лагуной не отражаясь в ней, и еще пару раз варьирует это свое посмертное наблюдение. В самом деле, кто может быть большим метафизиком, чем мертвец? У него нет другого выбора.

Монолог ДБ, в свою очередь, начинается эпиграфически – со стихов Дмитрия Бобышева, в которых выражена иная, его собственная версия на тему «обожались и обжимались», и даже стилистически выстраивается под этого реального прототипа (один из ориентиров – классный бестиарий Дмитрия Бобышева – Михаила Шемякина «Звери св. Антония», подаренный мне одним из них), хотя и не в такой цитатной зависимости, как речь главного персонажа романа. И вообще семантическое наполнение монологов – в частности, монолога ДБ – принадлежит, конечно, нам с рассказчицей, а не прототипу, и зависимо разве что системой образов молодого, питерского Бобышева, а не поворотом сюжета. Ключевой образ – с подожженными Мариной Басмановой в новогоднюю ночь занавесками – не только вычитываем из приведенных в эпиграфе стихов Бобышева («Тот новогодний поворот винта, когда уже не флирт с огнем, не шалость, с горящей занавеской, но когда вся жизнь моя решалась»; «Но как остановились эти лица, когда вспорхнула бешеная птица в чужом дому, в своем дыму, в огне…»), но и подтвержден независимыми источниками. Галина Шейнина, например: «Накануне этого Нового (1964) года Бобышев предупредил, что приедет с девушкой. Девушка оказалась Мариной Басмановой.

Дима объяснил, что Иосиф поручил ему опекать Марину во время его отсутствия. Мы встретили ее приветливо, но дальше отношения не сложились. Марина всю ночь молчала, загадочно улыбаясь à la Джоконда. Под утро, заскучав, она, все с той же загадочной улыбкой, подожгла на окнах занавески. Пламя вспыхнуло нешуточное, и она прокомментировала: “Как красиво горят”. По всему стало ясно, что Димина опека зашла слишком далеко…»

Сам Бобышев в своих скорее обиженных, чем реваншистских воспоминаниях дает этот эпизод несколькими фразами: «Как

пришли, со свечами, мы продолжили свой ритуал, танцуя. Маринина свеча подожгла серпантиновую ленту, и огонек, побежав, прыгнул на занавеску.

– Красиво!

Начавшийся было пожар потушили, мы поднялись в горницу и задремали „под польтами“. Год обещал выдаться незаурядным» («Октябрь», 2002, № 11).

Цитируемые воспоминания ДБ «Я здесь» остались как источник незадействованными и даже невостребованными рассказчицей. Причина – хронологическая: этот семантически и композиционно ключевой, контрапунктный отсек «Post mortem» был закончен летом 2002, то есть до того, как Бобышев дошел, наконец, в своих мемуарах до их общей с ИБ истории и обнародовал ее в ноябрьской книжке журнала «Октябрь» за 2002 год, а та дошла до Нью-Йорка – через Интернет – только под Рождество. Не впадая в оценочно-рецензионный жанр, что увело бы комментатора в сторону, отмечу, что в наиболее важных аспектах ДБ прямым и косвенным образом подтверждает догадки, прозрения и знания автора этой книги: что в то время как ИБ демонстрировал свою близость с МБ, сама МБ отстаивала и подчеркивала свою независимость: «Иосиф на языке зверюшек и земноводных старался показать их зависимость, она, наоборот, свою независимость. И она держалась независимо: вот ведь, звонила, заходила ко мне сама, – очевидно, ни перед кем не отчитывалась. Она даже подчеркивала свою отстраненность.

– Как же Иосиф? Мы с ним были друзья, теперь уже, правда, нет.

Но ведь он, кажется, считал тебя своей невестой, считает, возможно, и сейчас, да и другие так думают. Что ты скажешь?

– Я себя так не считаю, а что он думает – это его дело.

„Я себя так не считаю“, – значит она свободна, и этого достаточно»; что как поэт ДБ был ближе МБ, чем ИБ: «Моему любимому поэту.

Марина», – надписала она подарок ДБ; что для МБ роман с ДБ был не просто увлечением или адюльтером, но своего рода стимулятором и ultima ratio в ее конфликтно-любовных отношениях с ИБ: «…поиски объяснений ее (Марины) колеблющегося поведения в совсем уже чуждом ряду понятий – в стратегии кокетства, в использовании меня как средства уловления не меня, а его, его, – вот в чем был „потерянный рай“ ослепившего меня на минуту счастья»; что и ДБ не просто запал на МБ, но рассматривал ее скорее как трофей в поэтическом турнире с ИБ: «Хотелось… счастья, но добытого в одолениях и усилиях, за которые дорого и с хорошим риском плачено»; «а –

треугольник? Его напряжение то ослабевало, то вновь выпирало углами – им явно манипулировала Марина, для меня ее притягательность вовсе не исчезала, но стала восприниматься уже как литературный трофей, то затеняясь унынием, то подсвечиваясь надеждой», либо весьма характерная сцена, когда ДБ, будучи в гостях у МБ, узнает, что ИБ стоит напротив у дома – в опровержение заявления Бродского, что он, хотя и выслеживал в ту ночь Марину, но прекратил слежку, не дойдя до дома своего бывшего близкого друга, а теперь удачливого соперника и лютого врага: «Марина, ахнув, отдернула занавеску. Я шагнул к окну и, скрестив руки, встал с ней рядом. На той стороне улицы у дома Всеволожских стоял и смотрел на освещенные окна Иосиф. Марина запахнула занавеску и чуть не зашипела:

– Отойди! Как ты можешь так?»; что ДБ еще в стерильно-платонический период отношений с МБ («Наши общения с Мариной, и так дистиллированные, не замутнялись никакими ухаживаниями и как будто собирались остаться надолго в состоянии бестелесного и восхищенного интереса друг к другу») рассказал о них ИБ, вызвав понятный вопрос последнего, спит ли он с ней, от которого ДБ ушел, оставив ИБ в больших сомнениях; честный Яго, ДБ выдает свой поступок за порядочность, но его можно трактовать и совсем иначе – ну, хотя бы как хвастовство (эвфемизм).

Вплоть до угаданных автором «Post mortem» отношений беременной МБ с ДБ:

«Вдруг – звонит и врывается ко мне в закут моя лира, мандолина дражайшая, вся в слезах, в испареньях адреналиновых… Что случилось, в чем дело? Оказывается, на четвертом месяце, хочет делать аборт, просит адрес врача или какой-нибудь частной клиники. Но почему же такое решение? Я – против. Если двое хотели сделать ребенка, то надо вынашивать и рожать. Нет, она этого совсем не хотела и даже не предполагала, все – едва ль не умышленно – он.

…Но если она ищет кардинальных решений для этих интимнейших дел, то почему же – ко мне? Нет, опять же ко мне, уже с девятимесячным брюхом, и теперь: приму ль я ее навсегда? Конечно же, именно навсегда и приму, и никак иначе! Что там Толстой – ведь и у Достоевского не было ничего подобного. Забрезжила какая-то пародия на задуманное некогда счастье: Арлекин переодевается в панталоны Пьеро и роняет на сцену граненые ананасы слез».

Однако куда важнее, чем эти совпадения, – прорывы моего романа в неведомые вспоминателям области: по классической формуле, автор начинает там, где те кончают, дырявя документ.

Воспользовавшись опять-таки классическими формулировками, сформулируем собственную антитезу; «давно уж ведомое всем» – или «страстное земное перешел»? В последнем помощь Бобышева-поэта, метафорически схватившего в синхронных и аутентичных стихах описанную в «Post mortem» драму – даже там, где она являет вполне мелодраматический лик – куда значительнее, чем гипотетическая помощь от Бобышева-вспоминаль щика, будь даже его мемуары напечатаны вовремя.

К слову, воспоминания Бобышева были восприняты в штыки как бродсковедами, так и бродскофэнами, которые исходят из лжепосыла, что гений выше критики и всегда прав. Однако даже Пушкин не утверждает, а вопрошает, совместны ли гений и злодейство. О монструозности гениев достаточно написано и без меня, да и сам Бродский неоднократно и на разные лады – от кокетливо-иронического до самоуничижительного – обзывал себя монстром. Чувство вины никогда не покидало его – скорее на ветхозаветный, пусть и поверхконфессиальный (Jewish guilt), чем на католический (mea culpa) и даже на кальвинистский манер, на который он обычно ссылался, хотя был с кальвинизмом знаком разве что поверхностно. Это было в его природе – все схватывал на лету.

Касаемо dramatis personae, то будучи все художественными натурами, они воспринимали свою драму сквозь литературную призму. В ход шли литературные сравнения. У самого ДБ противостояние любовников описано в духе Достоевского, где ДБ – князь Мышкин, ИБ – Рогожин, а МБ, соответственно – Настасья Филипповна. Друг Бродского с питерских времен, Лев Лосев – Леша Лифшиц, сам литератор, в своей лженаучной и лжеобъективной, а на самом деле ультратенденциозной, с передергами, агиографии ИБ в ЖЗЛ заменяет этот ряд на грибоедовский: ИБ, само собой, – Чацкий, МБ – Софья Фамусова, а ДБ, понятно, – Молчалин. «Выявляется контраст между богатым и сложным интеллектуальным миром Бродского и пошловатым – его соперника, коллизия скорее не из Достоевского, а из Грибоедова, которого Бродский так любил декламировать: «А вы? о Боже мой! кого себе избрали!»

Я бы сказал, пошло обвинять в пошлости Дмитрия Бобышева, талантливого поэта, писателя с отменным вкусом и сложную, страдающую натуру.

Оговорим заодно абсолютное право Софьи Фамусовой, кого любить и кого не любить. Зато мы не имеем никакого права осуждать МБ за то, что она предпочитала ДБ как поэта, как человека и как любовника. Виноваты ли Наталья Николаевна, Любовь Дмитриевна, Анна Андреевна и Марина Павловна, что не

любили – соответственно Пушкина, Блока, Гумилева и Бродского? Или Лиля Брик, которая любила своего мужа Осипа Брика и не любила любящего ее любовника – Маяковского?

Прошу прощения за банал, сердцу не прикажешь. Как и другим человеческим органам. Пушкин написал гениальное стихотворение «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением» с потрясающей последней строфой:

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом все боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле!

Вот именно: поневоле, а не по доброй воле! Это вовсе не значит, однако, что жена Пушкина была фригидкой. С родоначальником, судя по его стиховому признанию – да, но не с Дантесом, императором Николаем или вторым мужем Ланским (родила ему трех дочерей), с которыми она, возможно, была как раз «вакханкой» по пушкинской классификации в первой строфе, а медицински – нимфоманкой. Говорю гипотетически, предположительно – никто со свечой не стоял. Между прочим, расхожее сравнение Марины Басмановой с Натальей Гончаровой-Пушкиной-Ланской находит неожиданное подтверждение в одинаковом прозвании обеих «поджигательницами»: Натали – как синоним «интриганки», зато Марина в самом деле подожгла занавески в новогоднюю ночь 1963/64 на даче в Зеленогорске, куда заявилась вместе с Бобышевым, с которым уже блудила, но оглядываясь назад, ДБ теперь считает, что послужил орудием в любовной стратагеме МБ с ИБ.

Спустя несколько дней Бродский срочно возвращается из Москвы на «место преступления» и вскрывает себе вены – неудачная попытка самоубийства.

Уместно ли здесь приводить знаменитое наблюдение Ортеги-и-Гассета, что гениальность отталкивает женщин? Не знаю. А потому на всякий случай вот его главный тезис: «Быть может, в истории женщине предназначена роль сдерживающей силы, противостоящей нервному беспокойству, потребности в переменах и в движении, которыми исполнена душа мужчины. Если взглянуть на вопрос в самой широкой перспективе и отчасти в биологическом ракурсе, то можно сказать, что основная цель

женских порывов – удержать человеческий род в границах посредственности, воспрепятствовать отбору лучших представителей и позаботиться о том, чтобы человек никогда не стал полубогом или архангелом».

Названные влюбленные поэты догадывались конечно же о нелюбви любимых ими женщин, но ошибочно полагали, что одной великой любви каждого из них с лихвой хватит на двоих – это во-первых, а вовторых, влюбленный божественнее любимого (привет Платону), а в их случае любовь еще и подкормка поэзии, пусть в роли музы выступает бля*ь.

К сожалению, помянутый агиограф Бродского не чист на руку и довольно часто махлюет, идет на откровенный подлог. Вот он приводит стихотворение не только посвященное МБ, но и прямо к ней обращенное, а пишет, шельма: «Бродский верил, что в нем это преображение было произведено любовью к одной женщине». А не лично Мариной Басмановой? Как так? Для сравнения – само стихотворение как свидетельство обратного – гимн не любви, а любимой, единственной любимой, недаром Бродского так волновала прискорбная судьба однолюба, как он сам, Орфея, а мне он говорил, настаивая на моногамной природе любви: «Есть квота любви, положенная на человеческую душу, – любить можно только один раз», с чем я, на основании собственного любовного опыта, поспешил согласиться.

Я был только тем, чего
ты касалась ладонью,
над чем в глухую, воронью
ночь склоняла чело.

Я был лишь тем, что ты
там, снизу, различала:
смутный облик сначала,
много позже – черты.

Это ты, горяча,
ошую, одесную
раковину ушную
мне творила, шепча.

Это ты, теребя
штору, в сырую полость
рта вложила мне голос,
окликавший тебя.

Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
даровала мне зрячесть…

Монолог неартикуляционной, безъязыкой, молчащей, то есть внетекстовой и даже внесловесной МБ – наперекор и в опровержение императивных, хоть и с чужих слов, постулатов ИБ о примате языка, а тем более поэтического, над бытием и над временем – имеет легко опознаваемый литературный прецедент, но в сторонней литературе, и немыслим без внесинтаксического потока сознания Молли в 18-й, последней, лучшей главе «Улисса». Младенческий, дадаистский монолог АБ (то есть Андрея Басманова) – сочетание младенческого лепета с неожиданными прозрениями – построен по принципу «устами младенца глаголет истина». Литературный прецедент не прослеживается.

Автопортретные эти монологи не кажутся комментатору абсолютно адекватными реальным прототипам. Во всяком случае, не один к одному. Хотя горячо. Пусть сам прием рискован, сомнителен и спекулятивен, хоть и художества ради. Сплетничество, мелодраматизация, психоаналитические упрощения или, наоборот, усложнения, перенос собственных, само собой, субъективных оценок во внутреннюю речь четырех Б – такой тип наррации возможен разве что по прошествии более значительного отрезка времени после описываемых событий, по меньшей мере post mortem всех его фигурантов, а не так вот при живых еще персонажах всей этой трагической истории. Я уж не говорю, что сама затея отдает кой-кому может показаться бестактностью, а иным скандалезностью. Естественно, комментатор Владимир Соловьев, будучи историком литературы, отмежевывается от разгула фантазии прозаика Владимира Соловьева, но известно, что роман только тогда выходит на прямую удачи, когда герои перестают повиноваться автору. О ком я сейчас? Не знаю. Скорее все-таки о четырех Б, чем о рассказчице Арине.

Или обо всех кряду? Включая самого себя?

С другой стороны, именно благодаря избранной манере – потоки сознания, фикшн, проза, belles-lettres, а тем более belles-lettres d’amour – появилась возможность воссоздать эту трагическую любовную историю, дав ее в четырех лицах, ибо треугольник материализовался в конце концов в четырехугольник: двух поэтов, их общей возлюбленной и – наше с рассказчицей привнесение в этот жанр – сына ИБ и МБ, к

которому ДБ испытывал отцовские чувства и к которому ИБ, в самом деле, допускали только при условии полной анонимности. Как жалился Ося комментатору, из-за антисемитизма родителей Марины, чей антисемитизм, если таковой имелся, не зоологического, а скорее идеологического и – в данном случае – выборочного свойства.

Четыре эти потока сознания – четыре точки зрения на один и тот же сюжет, что позволяет дать его объемно и до известной степени объек тивно, изнутри и со стороны одновременно, что соответствует авторскому кредо – работать не только над воспроизведением, но и над остранением реала. Заметано?

Даже если в действительности это было не совсем так, то вышло не менее интересно, чем то, что было в действительности.

Иду и здесь вослед моему герою, который подвел итог этому мучительному, пунктирному, прерывистому – сошлись, разбежались, сошлись, разбежались, пока не разбежались окончательно и навсегда вскоре после рождения у них сына – в прекрасном, но и субъективном стихотворении – потому и прекрасном. Как начал эту главу со стихов, так стихом и кончу.

Так долго вместе прожили, что вновь
второе января пришлось на вторник,
что удивленно поднятая бровь,
как со стекла автомобиля – дворник,
с лица сгоняла смутную печаль,
незамутненной оставляя даль.

Так долго вместе прожили, что снег
коль выпадет, то думалось – навеки,
что, дабы не зажмуривать ей век,
я прикрывал ладонью их, и веки,
не веря, что их пробуют спасти,
метались там, как бабочки в горсти.

Так чужды были всякой новизне,
что тесные объятия во сне
бесчестили любой психоанализ;
что губы, припадавшие к плечу,
с моими, задувавшими свечу,
не видя дел иных, соединялись.

Так долго вместе прожили, что роз
семейство на обшарпанных обоях
сменилось целой рощею берёз,

и деньги появились у обоих,
и тридцать дней над морем, языкат,
грозил пожаром Турции закат.

Так долго вместе прожили без книг,
без мебели, без утвари, на старом
диванчике, что – прежде чем возник —
был треугольник перпендикуляром,
восставленным знакомыми стоймя
над слившимися точками двумя.

Так долго вместе прожили мы с ней,
что сделали из собственных теней
мы дверь себе – работаешь ли, спишь ли,
но створки не распахивались врозь,
и мы прошли их, видимо, насквозь
и чёрным ходом в будущее вышли.

Арест, суд, ссылка
Пропущенная глава

Арест: Ленинград, 13 февраля 1964-го

Суд: Ленинград, 18 февраля и 13 марта 1964-го

Ссылка: Архангельская область, Плесецкий район, станция Коноша, 30 км через лес – деревня Норенское, до 23 сентября 1965-го

Плохой хороший еврей

…блуждает выговор еврейский
по желтой лестнице печальной…

ИБ. Рождественский романс, 1961

Пусть я – аид, а ты всего лишь гой…

ИБ – Михаилу Барышникову

…из меня плохой еврей…

ИБ – Мириам Гросс

Я, знаешь ли, плохой еврей.

ИБ – Людмиле Штерн

Нельзя быть бóльшим евреем, чем я.

ИБ – Адаму Михнику

Если уж говорить, еврей я или не еврей, думаю, что, быть может, я даже в большей степени еврей, чем те, кто соблюдает все обряды. Я считаю, что взял из иудаизма – впрочем, не столько считаю, сколько это просто существует во мне каким-то естественным образом – представление о Всемогущем как

существе совершенно своевольном. Бог – своевольное существо в том смысле, что с Ним нельзя вступать ни в какие сделки – например, я сделаю то и за это получу это, совершу какое-то количество добрых дел и за это попаду в Царствие Небесное. Это то, что мне в христианстве в высшей степени кажется несоответствующим, по меньшей мере достаточно сомнительным. Моя любимая книга в Ветхом Завете – это Книга Иова…

ИБ – Ежи Иллгу

С течением лет я чувствую себя куда бóльшим евреем, чем те люди, которые уезжают в Израиль или ходят в синагоги. Происходит это оттого, что у меня очень развито чувство высшей справедливости. И то, чем я занимаюсь по профессии, есть своего рода акт проверки, но только на бумаге.

Стихи очень часто уводят туда, где ты не предполагал оказаться. Так что в этом смысле моя причастность… не столько, может быть, к этносу, сколько к его духовному субпродукту, если хотите, поскольку то, что касается идеи высшей справедливости в иудаизме, довольно крепко привязано к тому, чем я занимаюсь. Более того, природа этого ремесла в каком-то смысле делает тебя евреем, еврейство становится следствием. Все поэты по большому счету находятся в позиции изоляции к обществу.

ИБ – Дэвиду Бетеа

…я ближе к иудаизму, чем любой

иудей в Израиле. Просто потому, что если я и верю во что-то, то я верю в деспотичного, непредсказуемого Бога.

ИБ – Свену Биркертсу

Парадокс? Оксюморон! Каким образом плохой еврей может быть бóльшим евреем, чем любой другой еврей, включая кошероедов?

Рассказывал о своей первой лжи – как, заполняя библиотечный формуляр, споткнулся о пятый пункт и солгал библиотекарше, что не знает. Оживившись, она предложила ему сбегать домой и спросить у папы-мамы.

– Моя первая ложь была связана с определением моей личности.

Ссылался на аналогичную историю, рассказанную Ахматовой: как Амедео скрывал от нее возраст (сказал, что 24, а ему было 26) и не с ходу признался, что еврей.

– Я, что, обязан при каждом знакомстве растегивать ширинку и демонстрировать свой обрез, да?

– Так ей и сказал?

– А ты думаешь!

– А она?

– А она: «Нет, вам как раз этого делать не надо». В том смысле, что я типичный, от меня за версту несет. Здесь русский дух, здесь русским пахнет. То бишь еврейским. В отличие от нетипичного Модильяни.

«Даже по телефону» – добавляет. Что «р» не выговариваю, намек на картавость. А я, может, грассирую, как истый француз.

– Так кто же ты – ирландец или француз? – не выдержала я, вспомнив нашу с ним фотосессию по выдавливанию из него аида и превращения в айриш.

– Увы, еврей. Стопроцентный – без малейших примесей. И даже больше.

– То есть?

– АА называла меня Полтора Кота, ее кис-кис так звали, а один раз, по той же кошачьей аналогии: «Не обижайтесь, но вы типичный Полтора Жида». – «Чего обижаться! – говорю. – Бессмысленное слово, без никаких нюансов. Тем более, цитата». В любом случае, преуменьшала.

– Как так?

– Не полтора, а два жида. Я – жид на 200 процентов.

– Загадками говоришь, дядюшка.

– Двойной еврей. Как причина – раз, как следствие – два. Как причина – по папе и маме, на генетическом уровне, без примесей.

Как следствие – на историко-метафизическом. Бог для меня суть произвол и насилие. Как и следует из Библии, но мне не нужны ни цитатные подтверждения, ни доказательства, у меня это понимание на интуитивном уровне, путем откровения. Мы диалектику учили не по Гегелю, а метафизику не по Аристотелю, но по Джону Донну. Библию – по Книге Иова. Там гениальная догадка, что Бог ведет с человеком борьбу на индивидуальном уровне. Не всегда и не со всеми. Со мной – определенно.

Соответственно и у меня с ним личная тяжба. На равных. С переменным успехом. Между Ним и мной борьба не на жизнь, а на смерть. Даже если Он меня не замечает. Или делает вид. Иова помнишь? Или того молодца, которому Бог ногу сломал. Представляешь, получить такую отметину от Бога на всю жизнь! На месте Иакова – был бы счастлив.

Знак равенства, пусть временного. И судьбы. По-гречески: АНАНКЕ.

У меня свой счет с Богом. Ветхозаветный такой поединочек. Вот-вот кончится – понятно, в чью пользу. Борьбой с Богом человек укрупнен и возвышен, а жизни мышья беготня – это для простых смертных, коим я тоже являюсь по совместительству: Нобелька, почетные мантии, всё такое. А черч с синагогой – для массового потребления. Отсюда – злоупотребления. С обеих сторон, дружок. Если я не иудаист, то по крайней мере кальвинист, что по сути одно и то же.

– То есть ты все-таки христианин.

– Нет. То есть да, но в ином смысле. Христос – да, христианство – нет. Разницу сечешь? Вся эта христианская фигня – я совершаю энное число добрых дел на земле и за это мне уготовано теплое местечко в Царствии Небесном – не что иное, как я тебе, а ты мене. Постыдный торг! Бог – последний, с кем можно вступать в сделку. Жизнь не базар, райские кущи не отменяют смерть, никто оттуда не подал весточки.

Этот Боженька – для нищих и малодушных. Они и есть – по определению – нищие духом. То есть убогие.

– Убогие – значит у Бога? – спросила я.

– Как же – разбежались! Особенно прозелиты из евреев. Жертвы обреза. Это у нас с Пастернака повелось – креститься. Под влиянием «Доктора Живаго». Массовое обращение в истинную веру.

В связи с выкрестами-обрезанцами рассказывал анекдот:

– Куда вы, меньшинство? – К большинству.

И добавлял:

– Компактное большинство, как у Ибсена во «Враге народа».

– Я тоже чуть было не заделался, крест на шею повесил –

было дело, снимок сохранился, стыд да срам. Пока не дошло: христианство изжило себя. Мы живем в пост– и даже постпостхристианскую эру. Да и не их я полку. И ничьего – сам по себе. Как та самая киплингова киска.

Мяу. Или как колобок: я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя, православие, и подавно уйду. И только смерть слизнет меня, как лиса, – будто не было. Но пока жив – не бывать тому. От «помилуй-мябоже» меня подташнивает, настоящая аллергия. Да православие – это и не христианство, а некая смесь, хрислам. И вообще, кто говорит от имени Бога, пусть предъявляет удостоверение с Его печатью. Я сам себе судья, прокурор и защитник. То есть един в трех лицах. Триединство, но мое, а не ихнее. Если я сам себя не прощаю, то какой мне толк, что Бог меня простит. Мои отношения с Ним на ином уровне, пусть даже почта в один конец. Homo sapiens если не отлучен, то бесконечно отдален от Бога. Бог сам по себе, человек сам по себе. Иначе и быть не может. Те времена, когда Бог хватал за руку спятившего на почве веры Авраама, боролся с Иаковом или являлся в огненном кусте Моисею, канули безвозвратно. Да, я допускаю личный характер отношений с Богом, но только в те доисторические времена, когда Он играл покрупному, сделав ставку на избранный Им народец. Точнее – на отдельных его особей. Ладно – пусть представителей. А когда сговорились – Заветом называется, – адьё и был таков. Как там этот немчура говорил? В человеке Бог снимает с себя ответственность и возлагает ее на плечи homo sapiens. Но́шу эту следует безропотно нести до самого конца. Потому что ропщи не ропщи – один результат, и потому что ноша – от Бога. Все остальное – от лукавого. И не торговаться с Ним – все равно не услышит. Он давно уже оглох от старости и земными делами больше не интересуется. Оглохший Бог – это Богметафизик. Есть церковный Бог для всех, и есть мой личный Бог, у меня разговор с Небожителем вровень. Все эти коллективные хоровые мероприятия, с молитвами и господи-исусе – набившие оскомину трюизмы. Православие хуже остальных: в других церквях хоть сидишь, можно соснуть под музыку и речитатив, а здесь – часами стоя выслушивать всю эту поповскую бредятину. Не комфортно, лично я рухну на первой минуте. И куда ни глянь, ханжеские мордочки. Да из одной только нелюбви к групповухе. А толпу ненавижу. Особенно – в самом себе. Война клише! Это, так сказать, на поверхности, а есть еще на глубинке, подкорочные причины. Замнем для ясности. Фрейд, слава богу, мертв. А больше – некому.

Хотя – в свете посмертных приключений с его телом, о чем

см. ниже – может, и зря не поддался уговорам того же Наймана подумать о душе и креститься: Париж стоил обедни. А тот особенно усердствовал, доводя до белого каления, в результате чего и возникла уже помянутая мной хулиганская вариация на тему «Exegi monumentum» с легко разгадываемым названием-шарадой «Aere Perennius», где христианским ценностям – вечная жизнь с кадилом в ней – противопоставлен этот penis, membrum virile, приап, х*й, камень-кость, гвоздь моей красы.

Подзавести тебя на высокий стих могла теперь только злость, чему четыре свидетельства, четыре стишка, написанных «враждебным словом отрицанья» – антилюбовное, антикушнеровское, антиукраинское и это вот антихристианское.

А не ерепенился, лежал бы сейчас среди своих, между Дягилевым и Стравинским, а так угодил в соседи Эзре Паунду! РПЦ наотрез отказала тебе в месте под православным солнцем. То есть в русском пантеоне Сан-Микеле. Как нехристю.

Помню, позвонил как-то при мне один общий еще по Питеру знакомец – тот самый, про которого Довлатов говорил, что антисемитизм только часть его говнистости. Кто-то, помню, вякнул о его культуртрегерских талантах, но ИБ презрительно отмахнулся, назвав радиофилософом (тот подвизался на «Либерти»): «Для внутреннего потребления.

За всю жизнь в Америке опубликовал по-английски полстатьи в Мухосранске, а носился с ней как с писаной торбой». Считал Парамоху ослабленной, окарикатуренной копией Розанова, а того терпеть не мог за ерничество и жидоедство. Так вот, звонит этот дважды земляк и поздравляет с Ханукой.

– Не праздную, – отрезал ИБ.

– От своих открещиваешься? Тут-то чего? Перевез свои идишные комплексы через океан? Здесь вы – в подавляющем большинстве, титульная нация, мировая закулиса вышла на авансцену. А мы, русские, – наоборот, нацмены: и здесь, и там, и всюду. Включая собственную страну, где мы нацмены в квадрате.

– Горбатого могила исправит. Я о жидовских комплексах. Как и о жидофобии – антисемитизм как болезнь неизлечим.

– Только не в моем случае. Вылечился – с помощью психоанализа.

Сам себя психанальнул – вскрыл детскую травму, нанесенную мне одноклассником Мариком Каминским. Перековал мечи на орала. Из жидофобов – в жидофилы. Выкрест, но наоборот. Прозелит.

– Заруби себе на носу: не ряды жидеют, а жиды редеют. Не примазывайся.

– По доброй же воле. Попутчик, так сказать. Если ты

обрусевший еврей, то я объевреившийся русский. Ты как гений из секты неприкасаемых, а я – из секты жидовствующих. Была такая на Руси в древние времена. Вот я теперь и жидовствую.

– Не на Руси, а в Новгороде, – поправил ИБ домодельного радиофилософа.

– Разница?

– Твоя московитная Русь авторитарна, а наш Новгород демократичен. Первое окно в Европу, задолго до Петра.

– Пока его не заколотил царь Иван.

– Хватит базарить. Поди лучше, сделай обрезание.

– До какой степени надо ненавидеть евреев, чтобы петь им аллилуйю! – прокомментировал ИБ, бросив трубку.

– До какой степени надо довести антисемита, чтобы он пел аллилуйю евреям! – сказала мама сочувственно. – Что ему еще остается?

Он вынужден окружением, условиями существования: еврейская аудитория там и еврейская среда здесь. Бедный приспособленец!

– Нет, здесь не только приспособленчество. Бери повыше! Умственная извращенность, то есть достоевщина розановского разлива. Фигляр – вот и поменял полюса: любит то, что ненавидит, и наоборот.

Жидолюб! Как бы не так! Жидолиз! Банальный антисемитизм, приправленный филосемитизмом. А из-за вынужденности он еще больше ожесточается и озлобляется. И все его теории – чистая лажа! Надо же до такого договориться! Что евреи – не мораль мира, а его физиология, не дух, а плоть, не смысл, а жизнь. А как же Авраам, Моисей, Иисус, Маймонид, Спиноза, Маркс, Фрейд, Пруст, Бергсон, Эйнштейн, Пастернак, Мандельштам и прочие метафизики и духовидцы? Несть им числа? Да я наконец! А чего стоит его теория об отсутствии у евреев middle class – только идиоты или гении, а гении не являются показателем нации, к которой принадлежат случайностью своего рождения. То есть признает евреев, но только самой высокой пробы, отбор строжайший, Бабель у него до Гамбурга не доезжает.

– А ты?

– Мне это как-то до фени. Он не из книгочеев, говно от конфетки отличить не может. Держит меня в качестве дальней мишени и время от времени почтительно подъе*ывает. Считает, что евреи прячутся за своих гениев, но что общего между Эйнштейном и Левой из Могилева?

Русское быдло ему любо на уровне ненормативной лексики и сленга, зато на еврейского мещанина у него аллергия из-за – так

он считает – убогого, а то и коверканного языка: лучше бы уж говорили на своем идише!

– Евреи для него – идефикс, – сказал папа скорее сочувственно. – То ли корень жизни, то ли корень зла – в зависимости от контекста. В отношении евреев у него вообще широкий спектр чувств: от восхищения до священного ужаса. Еврейские козни видит повсюду, но борьбу считает бессмысленной, обреченной на провал: если даже Сталину с Гитлером не удалось… Выстроил культурный ряд, который замыкают: Вагнер, Достоевский, Розанов, Честертон и он.

– Что я и говорю: вторичен. Антисемитизм – разновидность не говнистости, а тавтологии.

– А еврей не тавтология? – спросила мама. – Особенно с доской почета из випов. Скособоченность на собственных знаменитостях.

С припиской к своему полку великих gentiles, то есть гои по-вашему:

Шекспир – ученик Монтеня, соавторство конгениальных Моцарта и его либреттиста Лоренцо да Понте.

– А что! Без Лоренцо не было бы ни «Фигаро», ни «Флейты». И дело вовсе не в его еврействе, а в его масонстве. В «Волшебной флейте» – масонский код, без него ничего не понять. Как не понять вне антисемитизма этого говнюшонка.

– Бубер ему интересен исключительно как еврей, а не сам по себе, – сказал папа.

– Ну, Бубер, положим, сам по себе и не существует, это он прав. Зато Спинозу или Пруста он в упор не видит.

– Для него они уже не евреи, а голландец и француз, – сказала мама. – Как и есть.

– Ну, это когда как. Абсолютных ассимилянтов не бывает – не тут, так там взыграет, прорвет плотину, – и, не опускаясь до объяснений, вернулся к герою-антигерою разговора: – Знаешь, что он мне однажды выдал? Что я выбираю себе вечных спутников по национальному признаку. Ну, понятно, еврей-филистер – его возвышает сама принадлежность к сонму великих по этому второстепенному все-таки признаку, но тебе-то зачем, спрашивает. Ты же сам по себе со своим числителем – зачем тебе этнический знаменатель? Во-первых, не твое собачье дело, говорю, во-вторых, как насчет Овидия, Горация, Джона Донна, ехал грека через реку Кавафиса и прочих гоев? Я уж не говорю о рашн – от Баратынского, хоть и Абрамыч, до Марины Ивановны, пусть у нее и библейский темперамент, Иов в юбке и вообще шикса, то есть породненная. А тута и вовсе сплошной интернационал: инглиш Оден, полячек Милош, ниггер Уолкотт,

айриш Хини, да мало ли! Хотя есть и семиты: Пушкин, скажем. Все смеются, да? Шутка. Касаемо евреев, есть данность: я виноват, что половина русских поэтов этого века евреи? По меньшей мере! Соответственно, половина моих любимчиков будут евреями. Плюс-минус. Мы – народ книги. Сиречь – графоманов. Почему мы такие умные? Это у нас на генетическом уровне: чтение справа налево. А когда вырастаешь, приходится переучиваться, чтобы хоть внешне быть как все. Тут и возникает конфликт между генетическим знанием и благоприобретенным: читая, ты мысленно выворачиваешь строчку наизнанку, чтобы проверить, все ли там в порядке. Да еще этот двухтысячелетний тренинг – талмудили над Книгой и отточили аналитические способности, а модерн таймс их как раз и затребовали. Мы тут как тут – физики и лирики. XX век сплошь жидовизирован. Эйнштейнов, Боров и прочих нобелей от науки опускаем, там от жидяры в глазах рябит. Взять признанных литературных титанов:

Пруст и Кафка – евреи, у Джойса главный герой главной книги – еврей. Знаешь, кстати, почему? Да потому что сам чувствовал себя евреем, а к Ирландии принадлежал случайностью рождения. Был ирландцем, а стал евреем. Еврейство как выбор. Не говоря – всякие там модильяни, шагалы и фрейды. Пикассо и тот, говорят, маран. А тут, в Америке, – куда ни ткни. Если видят тенденцию в моих предпочтениях, что сказать о моих отрицаниях? Выходит, я антисемит, что держу на нуле такую посредственность, как Кушнер, а? Но этот хитрован за пределами настоящей поэзии, а если вернуться в ее пределы, довольно узкие, кстати: от Мандельштама фанател, а Пастернак – обычный еврей, несмотря на православный загар, мне не нравится его вектор.

И почему я должен оправдываться? Перед кем? Кого хочу, того и люблю. Сначала любовь, а потом анкета. Это они потом оказываются евреи. Мы их любим не за это. Шутка. Когда увлекся Шестовым, кто мог думать, что он Шварцман!

– Выбор на бессознательном уровне, – промолчала я. – То есть утробном.

– То же – с Бергсоном: интуитивизм, метафизика, жизненный порыв, творческая эволюция – будто я сам писал. А какой стилист! Даром ему, что ли, Нобельку по литературе дали? Туда же – оказался яуврей. Как и французик из Бордо. Обоих почитал чистокровными лягушатниками. Да и откуда знать? В первом издании в «Литературных памятниках» был, говорят, абзац о еврействе Монтеня, зато во втором, факсимильном за единственным этим заключением, – абзац этот сняли: израильская агрессия, борьба с мировым сионизмом, то-се – вот его и офранцузили. Окромя Фрейда, Кафки и Малера всех

остальных австро-евреев почитал чистокровными немцами: от нелюбимого Стефана Цвейга до любимых Артура Шницлера и Бруно Шульца. Куда дальше – открыл для себя на старости Мариенгофа, «Циники» – лучший русский роман XX века, тут уж, думаю, меня не словишь – рашн по маме, по папе швед под Полтавой. Так он такой же свиден, как Лермонтов – скот, а я – айриш. Self-myth. Тут уж я совсем ни при чем. Что же мне, разлюблять их только потому, что оказались с припи*дью? Так он мне, знаешь, что говорит? Что я чувствую с ними родство на утробном, то есть бессознательном уровне. А, пес с ним. У него пунктик с евреями.

– Как у тебя с антисемитами, – не удержалась я. – Или с теми, кого ты занес в черный список.

Это за тобой водилось: как что, сразу антисемит. Бобышев, Шемякин, Маринины родаки, хотя никто из них антисемитом в точном смысле этого слова не был.

– Последнее предупреждение, – сказал ты.

Почла за благо промолчать, лучше его не напрягать по этой теме, однажды уже нарвалась.

Сам-то шутил о евреях рутинно, до оскомины, часто плоско – один твой «яуврей» чего стоит! или «евреем можешь ты не быть…» – но чужих шуток на эту вечно горячую тему не понимал и не признавал.

Мгновенно ввинчивался в штопор ссоры. Так и произошла та история с книгой, когда он обозвал меня Далилой, пояснив на всякий случай:

– Любимая библейская героиня антисемитов, как у феминисток – Юдифь.

Пожаловался как-то, что нет первого сборника стихов, нью-йоркского издания 1965 года. И вот обнаруживаю случайно – на свою беду, как выяснилось – в русском отделе куинсовской библиотеки, откуда я эту книжечку просто-напросто увожу, рискуя непостылой свободой – чего не сделаешь ради хорошего человека, пусть даже он монстр и бяка! Тем более вся испещрена читательскими надписями.

Нарядным таким каллиграфическим почерком с завитками. Через страницу – начиная с титула.

Прямо под названием книги вписан подзаголок: бред сумасшедшего еврея. Там, где издательство – Inter-Language Literary Associates – добавлено от руки: ЦРУ. В предисловии, против фразы, что главным застрельщиком в твоем деле был Лернер: Один еврей е*ет другого. Там, где сказано, что ты с детства страдаешь хроническим нервным заболеванием: псих от рождения. К посвящению Рейну добавлено: еврею и педерасту;

к Бобышеву – педерасту, против строчки «Создавая свой мир, окружаем стеною и рвами для защиты его»: масонство. Общий вывод: Это не стихи, а говно. А педерасты из ЦРУ печатают это, чтобы дрочить других педерастов в СССР.

Ну, думаю, обхохочемся. Библиографическая редкость и исторический документ: чтобы в Нью-Йорке нашелся тип, мыслящий в категориях советской пропаганды – это надо же! И вот как-то, когда у него еще парочка-другая гостей была, вынимаю книжку и зачитываю надписи. Первой, титульной, похихикал, а споткнулся там, где один еврей е*ет другого.

– Что за антисемитская херня!

Выхватил у меня книгу и – в мусоропровод! Весь оставшийся вечер демонстративно меня избегал. Только что не выгнал. Да я и сама пораньше смылась, обидевшись на Далилу. Как будто это я писáла! И почему на психа, дегенерата, масона и педераста не обижается, а на еврее зациклило? Сама виновата, пора бы знать – что делать, если они такие чувствительные. Но чтобы до такой степени? Как дите малое: чуть что – в обиду. А обида, хоть и женского рода, но еврейского происхождения. Как и мужеское унижение. Поверх, так сказать, гендерного различия. Так он считал, хоть и не любил вспоминать ни те, ни другие:

– Если помнишь унижение, то длишь его во времени. Удваиваешь, утраиваешь – до бесконечности. То есть до конечности твоей жизни.

Представляешь, являются тебе все обиды и унижения на смертном одре, да? Жуть!

Почему унижение и обида однозначно ассоциировались у него с антисемитизмом? Не то чтобы сам интерес к еврейству у него возникал исключительно как реакция на антисемитизм, но антисемитизм он чуял за версту, принимал на свой счет и свирепел. Иногда выдавал за антисемитизм близкие, но все-таки не идентичные явления. Когда ему на это указывали, говорил о моральной, а не юридической дефиниции.

Либо о латентном, эмбриональном антисемитизме. Даже мою маму подозревал, хотя от нее доставалось и эллину и иудею, без разбора, остра на язык. Когда я вступилась за Шемякина, сославшись на его густо еврейское окружение, продолжал настаивать:

– У каждого антисемита есть про запас, в качестве алиби на Страшном суде, приятель-еврей. Как и каждый уважающий себя жидило должен иметь под боком жидомора.

Знал бы, что ему лежать рядом с Эзрой, про которого говорил без ссылки на Одена, что сперва дал бы ему Нобельку как поэту, а потом – на стул как коллаборанта. Хотя – с моей точки зрения –

не заслужил ни того, ни другого. Вот и получил за ради красного словца антисемита в вечное соседство. Да и Эзре не позавидуешь.

– А вам-то зачем?

– Из здорового мазохизма. Он же инстинкт самосохранения. Чтобы не зазнаваться и не почить на лаврах. Взгляд со стороны. То есть сбоку. Фюрер, если хочешь, сыграл в еврейской истории положительную роль: вывел еврейский народ из гетто на авансцену, превратил в центральный персонаж мировой истории. Не говоря уж про Государство Израиль, которое фиг бы без Гитлера образовалось – никто бы не позволил, да и евреев столько бы не наехало. Адольф Алоизович выдал нам индульгенцию впрок, палестинцам можно посочувствовать: христиане рассчитываются ими с евреями за собственные грехи.

А тогда, со злосчастной этой книгой, мне, считай, еще повезло – он одному заехал в ухо, когда тот спьяну выдал анекдот-загадку: сколько евреев помещается в одной пепельнице? Легкий налет антисемитизма, который свойствен продвинутым евреям и который у него выражался, когда он юморил в заздравных и автографных стишках или изустно, не мешал ему вставать на дыбы, когда кто-нибудь из гоев позволял себе нечто подобное. Я уже упоминала его угрозу Шемякину – наглядное тому свидетельство.

С неделю мы дулись друг на друга, а потом – как ни в чем не бывало.

Натурально, когда я слетала в Питер на неделю, выполнив заодно пару-тройку его поручений, сделанный мною снимок его дома показать ему не решилась. Там, рядом с его подъездом, было вырезано ножом по штукатурке «В этом доме с 1940 по 1972 год жил великий русский поэт имярек», но «русский поэт» был густо замазан зеленой краской, а взамен выцарапан «жид». Кто-то ему без меня донес, а он уже мне пересказал, обрадовавшись еще одному экскьюзу:

– Теперь ты понимаешь, почему я туда ни ногой?

В том-то и дело, что на житейском, то есть обывательском уровне был скорее идишным евреем, чем библейским иудеем. Хотя кто их когда видал? Чтó древние иудеи, когда никто не знает, как на самом деле выглядел Иисус! В своих реакциях и обидах ИБ был не больно оригинален. Как это часто бывает у продвинутых евреев, в этом вопросе придерживался самых общих мест. Противоположное общее место (Тургенев, кажется). В трепе и шутливых стишках мелькала у него антитеза «гой – аид» (как в известном стишке Барышу) либо, наоборот, синтез «аид – гойка», да еще пояснял, что еврей-аид вытеснил из главных европейских языков грека Аида: «И поделом!»

Будучи, однако, человеком незаурядным и, как смерти, боясь трюизмов, он и свой обывательский интерес к еврейским сюжетам делал, хоть и не всегда, как сказал Парамоха о своем антисемитизме, «пробой высокого качества». Отсюда упомянутые ереси и крамолы о Гитлере как творце новейшей еврейской истории:

– Кончается жидовский век. Век трагедии и триумфа. Трагедия и есть триумф. Что имена перечислять – жизни не хватит! Главное имя – Гитлер. Куда мы без него? Он сделал наши претензии обоснованными, сметя с пути препоны. Мой тезка ему тоже пособил – не без того. После Холокоста любое проявление антисемитизма стало преступлением против человечества, что и развязало нам руки. Антисемитизм и Холокост – это переход количества в качество. Холокост – цунами антисемитизма. Вот все теперь жидам и чешут пейсы. По сути тот же мировой порядок, но на еврейских основаниях. Америка как проводник еврейской идеи. «Протоколы сионских мудрецов» на самом деле подлинник, евреи тайно гордятся ими и пользуются как шпаргалкой.

Не всегда можно было разобрать, когда говорит серьезно, а когда треплется. Куража ради.

Любил парадоксы, типа: «Происхождение мифа о еврейском богатстве: евреи за все расплачиваются. Часто вперед». Или анекдоты: «Папа, мы евреи? – Нет, сынок. – А когда ими станем?»

Что же до помянутой истории с его тестем и тещей, которые ими так и не стали (к взаимному удовольствию обеих сторон), зато стали антисемитами, перенеся нелюбовь к несостоявшемуся зятю на весь его род-племя, то это и есть моя поправка к его жалобам: до знакомства с ним антисемитами не были. Да и заделались ими не сразу, а постепенно, по мере развития событий – Марина забеременела, родила, стала матерью-одиночкой, ИБ так и не женился на единственной женщине, которую любил. Что тому причиной? Об этом отдельно, в предпредыдущей главе, где дала слово всем сторонам любовного треугольника.

Даже четырехугольника. Несложившиеся отношения со старшими Басмановыми ИБ объяснял антисемитизмом. Как и разрешение посещать Андрея на условии, что тот не будет знать, кто его отец.

Мой папа считал, что если Павел Иванович Басманов и был прежде антисемит, то сугубо теоретический, как и вся компания от мала до велика (имею в виду их художественный рост), Филонова и Стерлигова включая (Стерлигов был учителем Марины, а сам – учеником Малевича). И теоретический этот антисемитизм не задевал ни жидов (портной, парикмахер, дантист и прочая полезная обслуга), ни иудеев, ностальгический

взгляд которых был обращен на Восток («Туда им и дорога», – считал гипотетический тесть, даже если они намыливались в противоположном направлении), но исключительно на ассимилянтов, которые явочным порядком проникли в русскую культуру, искажая, смещая и пародируя ее исконные черты. Как ни странно, он относил своего несостоявшегося зятя не к ассимилированным евреям, а к иудеям, полагая их отъезд из страны явлением положительным: «Баба с возу, кобыле легче», в то время как об отъезде врачей, дантистов, парикмахеров и прочих искренне или деланно скорбел:

– Не успели вырастить национальные кадры. Пустоты в теле государства. Как у кастрата.

Был будущий тесть, так им и не ставший, художником-нонконформистом, округ тусовался молодняк, в том числе мой будущий папа.

С Мариной он познакомился прежде ИБ и даже слегка (или не слегка?) приударял за ней, пока не повстречал мою будущую маму. Вот почему я так живо интересовалась, целой ли Басманова досталась ИБ – доносить плеву до 24-х, когда их пути пересеклись, мудрено. В противном случае честь дефлорации этой ледашки-бля*ушки (смотря с кем) принадлежала моему папе.

Мама утверждает, что она запросто, не прилагая особых усилий, вытеснила Марину из сердца папы, а точнее, перенаправила его не такое чтобы уж очень агрессивное либидо. Насколько могу судить со стороны, у папы усредненный темперамент, хотя наблюдала их с мамой за этим делом только однажды. Альтруист-папа рассказывает иначе: что это ИБ легко и безболезненно отбил у него Марину, а уж потом появилась моя будущая мама.

– Да и отбивать не надо было, – добавлял папа скороговоркой. – Меж нами ничего не было. Отношения сугубо дистиллированные. Бесконечные прогулки и бесконечные разговоры. Марина была тогда помешана на двойничестве: отражениях, зеркалах и прочих мнимостях.

Не без влияния, понятно, Стерлигова. Хотя сюжет вечный, питерский, с Пушкина начиная.

Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит…

Было, не было – папа человек скромный и скрытный, и даже если было, утверждал бы, что не было, но, когда у Марины родился сын, а мой будущий папа еще не был женат на моей

будущей маме, он предоставил святому семейству одну из двух смежных комнат в коммуналке на Герцена. Семейное счастье длилось недолго, ИБ не выдержал и трех дней и бежал от бытовухи – из папиной коммуналки в свою собственную, на Пестеля, обратно в родные пенаты, под родительское крыло, к котлетам, клецкам и шкваркам, а Марина с выблядком вернулась домой, к Павлу Ивановичу и Наталье Георгиевне, в их замысловатую квартиру, выкроенную из танцевальной залы пушкинских времен. См. его теорию колобка и кочевья, применимую и на данный случай: побег мой произвел в семье моей тревогу. Все равно откуда и от кого: из школы, от Марины, из России. Побег из жизни, кульминацией которого является смерть. А смерть разве не тавтология? Сам говорил: худшая из худших.

Человек принадлежит жизни временно, смерти – навсегда.

Еще через пару месяцев в две папины смежные комнаты вселилась моя будущая мама, уже брюхатая мной, хотя никакого брюха у нее не было до самого конца, и когда родила, знакомые дивились: «Как ты успела! Неделю назад виделись – ты еще не была беременна!» – «А как насчет аиста?» – отвечала мама. «Аист приносит, аист уносит», – мрачно шутил ты. О том, что меня угораздило родиться 4 июля, я уже писала, хотя ни мама, ни папа, о себе уж не говорю, не помышляли тогда об отъезде.

Меня интересуют сейчас не факты и не сплетни, а чувства: ревновал ли ИБ Марину к папе? Ревновал ли папа маму к ИБ? А женщины? Уверена, что женская ревность ни в какое сравнение не идет с мужской.

Тьма факторов: от генетического (женщина может понести в результате соития, а мужчина, само собой, нет) до социального (принадлежность женщины, пусть мнимая, мужику-собственнику) и психоаналитического (комплексы, страх перед сравнением и выбором).

Почему ты все-таки воспринимал любую обиду на антисемитском уровне? Жиду предпочла русского, говорил ты о главном несчастьи своей жизни – измене Марины с Бобышевым. Даже суд над собой считал антисемитским, хотя ни слова на эту тему не было. Правда, сам арест произошел под антисемитскую гармошку: когда ИБ вышел из дома, к нему подвалили трое и стали цеплять именно по этой части, а потом еще и избили. Знаю со слов мамы – а она откуда? – потому что ты об этом не распространялся, да и сам суд, использовав в первые годы в Америке в пиаровых целях, потом похерил в своей памяти и терпеть не мог, когда напоминали. Победитель не желал вспоминать, когда был жертвой. Тем более, жертвой-евреем. Зато

любил повторять чужое четверостишие и сожалел, что не он сочинил:

А нам, евреям, повезло:
Не прячась под фальшивым флагом,
На нас без маски лезло зло,
Оно не притворялось благом.

Конечно, будучи ярко выраженным плюс картавый говор – и карикатурить не надо, находка для врага! – ты сталкивался с антисемитизмом сызмала, можно собрать с дюжину сторонних свидетельств, потому что ты сам – молчок: от дразнилки до подножки, от облома до вынужденной лжи, от бей жидов до спасай Россию.

И это все в меня запало,
И лишь потом во мне очнулось.

Или не очнулось – тем более: на подсознательном уровне. Обостренное, уязвленное еврейство, но зажатое, под прессом сознания, воли и стратегии. Потому и такое сильное, что подавленное. Обижался со страшной силой, когда тебя тыкали в твое еврейство, называли идишным поэтом, еврейским Пушкиным и проч. Зверел.

Еврейские обиды были из самых глубоких, потому, наверное, ты и остальные зачислял по этому разряду? Или что-то я не секу?

Какое, к примеру, имеет значение, что твоим соперником оказался русский, белая ворона в вашей еврейской по преимуществу шобле в Питере? Говорю о мужиках, бабы как раз были в основном гойками, никогда не скрывал своих славяно-нордических предпочтений, твоя крылатая фраза «В ней слишком большая капля еврейской крови» была отрицательной характеристикой, типа твоих же «конец света», «полный завал», «полный караул», «жуть» и проч., но в конкретном, сексуальном применении. Связь с соплеменницами приравнивал к инцесту:

– Мы, евреи – одна большая семья. По мне можешь судить, к чему приводит кровосмешение.

– ???

– (по слогам) К вы-ро-жде-ни-ю.

– Первобытные легенды, чтобы оправдать и усилить табу на инцест.

Это я, как крупнейший специалист по сексуальной антропологии.

И в качестве антипримера:

– Или взять твоего сына-полукровку. Это что – возрождение и прогресс?

– Это уже перерождение личности. Как при Альцгеймере.

В твоем интернациональном кордебалете – скорее все-таки, чем гареме – белые женщины (так он называл блондинок) составляли большинство: от Лилит-Марины до Евы-Марии. Вот именно! Смуглая леди твоих несонетов была белолицей и бледнокожей: «Стопроцентная русская!» – сам удивлялся ее присутствию среди себе подобных. С нее на пороге смерти ты и склонировал – от имени до внешности – свою итало-русскую жену, но та не стала ни твоей музой, ни твоей судьбой: мизогин был однолюбом.

– Мужчины предпочитают блондинок, да? – оправдывался ты. – Тем более обрезанцы, как я. Есть грех: люблю белых женщин. В добрые старые времена меня бы линчевали.

Комплекс ниггера, жидяры, нацмена, армяшки, человека кавказской национальности? Как сам выражался – по ту сторону политкорректности: черный жоп, да?

Когда подлавливала тебя на противоречии или подлянке, ссылался на бэкграунд своей зае*анной нации (так и выражался) – словно бы и не личные это дела. В чем тогда отличие от антисемита? Самоуничижение не противоречило и не исключало высокомерия – взрывная еврейская смесь.

Что бы изменилось, будь Бобышев еврей?

Что ты имел в виду, когда, рассказывая о предательстве друга и изме не герлы, резюмировал: «Снюхались – рыбак рыбака видит издалека»?

– Без Марины я – ноль без палочки, – говорил ты, будучи в ином настроении.

– В смысле?

– Обязан всем.

В этом мне предстояло разобраться только после твоей смерти.

Плохой или хороший еврей, но еврей со всеми вытекающими последствиями. Включая восприятие природы. Здесь у ИБ был пунктик, то есть комплекс – именно еврейский. Пусть не пунктик, но некий этноцентризм – несомненно. Что нисколько не мешало его культурному протеизму. Будучи яркой индивидуальностью, ИБ не судим на родовом уровне, но плоть от плоти своего племени, разделял с ним как его взлеты, так и провалы. Сам говорил, что природа ему не позарез, хотя в Америке, как и в России, ее в избытке. ИБ свез нас в Монток, чтобы продемонстрировать мощь американской природы, а

продемонстрировал собственную немощь в ее восприятии. Океан нам показал, как личное открытие, а я вычитала в путеводителе, что в нескольких милях отсюда уникальное место – зыбучие движущиеся дюны, остатки деревьев третичного периода. Короче, пока парентс бродили по берегу, я его увлекла в эти самые уникальные дюны, которые оказались еще уникальнее – прямо в песках стояли великолепные белые и красные. Чудо, да и только! Знакомая примета, связь с прежним миром, хоть и в диковином обрамлении: дюнные грибы. А он тащился позади, увязая в песке, мучась одышкой и хныча: keep off the dunes. Я его тычу в грибы, а он талдычит: бледная поганка. В том смысле, что замучила его до смерти: «Так вот где таилась погибель моя! Мне смертью грибы угрожали!»

Зато потом уплетал их за обе щеки в виде грибного жаркого. Природу воспринимал в уже приготовленном виде. И в стихах у него так, я о поздних: природа в виде гербария. Мне все было внове, природа незнакомая и узнаваемая, смещенные сроки, например: черемуха и акация, но цветут одновременно, в воздухе горечь со сладостью, так странно. А у него на всё про всё: мы это уже проходили. ИБ разучился удивляться. А умел?

Было бы нелепо его этим равнодушием пенять, но отметить необходимо, ибо сам ИБ довольно часто к этой теме возвращался.

– Еврею нужна не природа. Еврею погода нужна.

– Новое стихотворение? – жадно спросила я.

– Цитата. Темная ты девушка, Арина. Лучшего русского поэта нашего времени не знаешь.

– Лучший поэт всех времен и народов – ты, дядюшка.

– Это само собой. А после меня, с большим отрывом от лидера…

– Шекспир, Овидий, Гёте и Пушкин, – подсказала я.

– Нет, те – вровень, – и это, нисколько не смущаясь. – Как видишь, им повезло – в хорошую компанию попали.

– А кто же за тобой, хоть за тобой и не дует? На приличном от тебя расстоянии?

– Борух. Из кирзятников. Тот же, что сдул у меня стишок о еврейском везении, который должен был я написать: «А нам евреям повезло…» Пальма первенства у Слуцкого. Про евреев и солдат – класс! Что, впрочем, одно и то же. Розанов – дурень. «Представьте еврея на коне или с ранцем…» Дожил бы он до наших дней – в танке, в самолете, с атомной бомбой под мышкой. Еврей – солдат по определению. И в древние времена и в нынешние. Вот я, например, чем не солдат? Мечтал стать моряком и летчиком, но не прошел по процентной норме и стал поэтом. Но в душе как был, так и остался солдат. Просто

временно – на два тысячелетия диаспорной жизни – еврей про свое солдатское назначение позабыл. Вот я и говорю, что еврею природа по барабану.

– А как же Левитан и Писсарро? – возражаю я, защищая от ИБ его племя. – Или Фет с Пастернаком? Да мало ли…

– В том-то и дело, что мало. Но и те что есть… С червоточинкой. То есть с лирическим уклоном. Чем отличается Левитан от Шишкина?

У Иваниваныча природа как есть, сама по себе, а у Исакильича – пейзаж настроений и субъективизм. С одной стороны, он природу дополняет, а с другой ущемляет, представляет искаженно, на свой, а не на ее манер. Знаешь, что Барух писал? Не тот, а другой, который Бенедикт?

Что есть natura naturans и есть natura naturata. Понятно?

– Темно, как у негра в жопе, – честно призналась я.

– Поясняю. У Блока есть статья «О иудаизме у Гейне». Сравнивает, как чувствовали природу Гёте и Гейне. Арийское восприятие и иудейское. У одного natura naturata, у другого natura naturans. Гейне чувствует природу, как пламенный иудей – это исуснавиновское солнце, горящее в его собственном мозгу, в то время как Гёте воспринимает ее спокойно, как нечто данное нам от Бога и неизменное. Блок, однако, считает, что Гейне чувствует природу и так и этак, тогда как Гёте – только так. Но это гениальное арийское чувствование natura naturata, добавляет Блок, есть измена Гейне ничуть не менее гениальному иудейскому чувствованию natura naturans.

Глянув на мое все еще опрокинутое личико:

– Ты права, детка – некоторое умствование в этом противопоставлении, конечно, есть, и идет оно опять-таки от иудейского рационализма, свойственного и выкресту Спинозе и полукровке Блоку. Или возьмем еще одного нехристя – Пруста. Сам-то он к природе неровно дышал, но у него есть такой иронически-автобиографический персонаж – тоже, кстати, Блок, но не Саша. Так этот не-Александр Блок на вопрос о погоде отвечает, что живет до такой степени в стороне от всяких атмосферических случайностей, что его чувства не утруждают себя доведением их до его сознания. Само собой, еврей. Ему даже погода по хрену.

– Можно подумать, что весь русский народ в отпаде от природы.

Особенно сейчас, – сказала я, спускаясь на землю и подыгрывая ему.

Американское воспитание, чертова политкорректность!

– Океюшки. Доброе слово и кошке приятно. Но мы в

комплиментах не нуждаемся. – И чеша котофея: – Правда, Миссисипи? Чужого не надо, свое не отдадим. Я много над этим думал. Ты можешь представить, что импрессионисты или там барбизонцы – ну, как школа – возникают в Сахаре или пустыне Гоби?

– Так с тех пор евреи уже две тысячи лет кочуют по странам с вполне приличными ландшафтами.

– Кочуют. В этом все дело. Природа – родная стихия для аборигена, но не для пришельца, коим чувствует себя еврей в любой стране проживания, а теперь еще и включая Израиль, alas. Не успевает привыкнуть. А ты знаешь, что на идише только два названия цветов: роза и лилия. Теперь представь, идут русский с евреем по лесу: для одного – все родное и названное, для другого – чужое и чуждое. Да еще безымянное.

– Зато взгляд со стороны.

– Не просто чуждое, а враждебное, опасное. Абориген любит природу, еврей ее боится.

Сделала большие глаза:

– Она, что, кусается?

– Ты это сказала. Именно так: кусается, цепляется, жалит. Природа для еврея – сплошь poison ivy. Ядовитая природа.

– И для тебя, дядюшка?

– Я – другое дело. Природа для меня – благоприобретенная привычка. Спасибо Марине – даровала мне зрячесть! До нее был слеп.

Марина сняла с глаз катаракту, а в ссылке я впервые увидел природу во всей ее унылой и неукротимой мощи. Жизнь на природе мне нравилась. Продлись наши трали-вали с Мариной или моя ссылочка, наверное, сроднился, кабы не помер. Животворное действие земли, дыхание природы тебе в жидовскую мордочку, подзол, навоз, пейзане, иконы, в деревне Бог живет не по углам and then and then and then. Да еще русская красавица антисемитских корней рядом. Смотришь, стал бы почвенником, не вмешайся мировая закулиса.

– А как же Пастернак?

– Дался тебе этот Пастернак! Что ты меня им тычешь? На нем свет клином сошелся, да? Говорю же, он – исключение. Я – нет.

А что доказывает исключение? Одно – врожденный инстинкт, другое – благоприобретенный. С Пастернаком природа – до конца его дней. А я снова зарос катарактой. Она же – короста равнодушия. То есть заново ослеп. Вернулся в первичное состояние. Не в коня корм.

Пусть там у Пастернака дышат почва и судьба, зато у меня – судьба и асфальт. Или там брусчатка, я знаю? Что тоже не так уж

плохо. Природе предпочитаю гербарий. Метафизику – физике. Порядок – стихии. Рукотворному – нерукотворное. Кроме человека. А созданное человеком – самому человеку. И думаю, прав. Именно как еврей.

Речь, предупреждаю, не об индивидуумах, но об этносе. Этнос может существовать на вегетативном уровне, плодясь и размножаясь, а может – на историческом. Евреи как народ Книги – народ пассионарный, исторический. А природа – внеисторична по определению.

Природа – вечность, история – время. Главное, мне кажется, отличие древних иудеев от других племен, что нам пришло в голову записать собственную историю. Семейную хронику Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа с братьями мы превратили во всемирную историю.

Story для нас – уже History. Само собой, с большой буквы, ибо пафос и риторика нам не чужды. Вынужден пользоваться английскими словами, потому что по-русски история есть история: два разных значения в одном слове. Он рассказал историю, он попал в историю, колесо мировой истории – одно слово! Для евреев история и есть Священное Писание. У нас нет религии, наша религия – это наша история. А теперь наша история и для вас, христиан, священна. Сама знаешь, человек – политическое животное. Так вот, еврей – животное историческое. На уровне опять-таки нации – а не отдельных индивидуумов – можно говорить об историческом восприятии, историческом сознании. Помню, у Айрис Мёрдок один герой говорит о другом, что тот, будучи евреем, чувствует себя частью истории, не прилагая к тому особых усилий. И добавляет: «В этом я ему завидую».

Нашел чему завидовать! Будто легко быть историческим животным в отрыве от матушки-природы. А вот тебе и наш жидовский вывод.

Цивилизация с ее тайнописью и масонскими знаками для посвященных выше природы с ее даровыми, то есть дешевыми, то есть доступными всем и каждому радостями, освобожденными от смысла и таланта, которые есть в искусстве или в мастерстве. Понимаешь, детка, потрясающим может быть и пейзаж, но фасад Ломбардини говорит тебе, что ты можешь сделать сам.

Питерскую свою мишпуху чуть ли не в полном составе перевез через океан, а кого не хватало, прибывали на побывку, канючили и канифолили ему мозги. Посему на днях рождения и других мероприятиях был окружен теми же еврейцами разных сортов – кровниками, полукровками, матримониально породненными или просто жидовствующими, но без тех вывертов,

как у Парамохи. Если начну перечислять, страницы не хватит. Кто кого выбирал: он – евреев, или евреи – его?

Или не было вовсе свободного выбора?

В Питере они звали себя фимами – после того, как хозяин тошняка, куда они всей кодлой частенько наведывались за шашлыками, а ему их семитские физии порядком обрыдли, высказал им свое мнение: «Эй, вы, бля*и! Фимы е*анные!» Именно ИБ полез с кулаками на защиту своего этноса, к которому принадлежал неслучайностью своего рождения, но был остановлен приятелями: «Вы разных весовых категорий», – сказал рефери Рейн, растаскивая их: трактирщик был ростом с императора Петра. Прозвище пришлось. И прижилось. Кто-то вспомнил, что и «импрессионисты» были поначалу оскорбительной кличкой.

В шашлычную фимы продолжали ходить как ни в чем не бывало.

Арийские вкрапления среди питерских фим были редкими, великороссы бросались в глаза: Бобышев, Миша Петров да еще мой папа. Однажды, глянув на нас будто в первый раз, ИБ сказал:

– Совсем-совсем без припи*ди?

– Если не считать Адама, – ответила мама.

– А каково нам тысячелетиями в диаспоре? Креститься вынуждены были, да, кот? – И он потрепал по щеке своего отца-выкреста, а называть друг друга котами у них была такая семейная игра, как и мяукать на разные лады – иногда целыми днями, кроме «мяу» и «мур» в различных интонационных кодировках, других слов не произносилось, чистый дурдом! С отцом отношения у него были снисходительнодружеские, наоборотные: был как бы отцом своему отцу.

Тут мой папа встал и направился к двери.

– Ты куда? – забеспокоился О.

– Пойду, что ли, сделаю обрезание.

Сюжет циркумзиции среди фим и жидовствующих был переиспользован, пикировки и шутки на эту тему носили рутинный характер, вплоть до упомянутых жертв обреза, целующих образа, и загадки про ирландцев – чем отличаются британско-ирландские айриш от американских. Напоминаю: наличием либо отсутствием крайней плоти.

Вот история с Довлатовым.

Тот считал, что в иммиграции, в таком плотном кольце евреев, мудрено не стать антисемитом, даже будучи евреем. Не обязательно продвинутым.

Само еврейское имя тянуло к юмору. Шапиро или Рабинович – синоним смешного, а «зямка» или «абрам» – и вовсе поговорка,

анекдот, кликуха: зависит. Родиться Рабиновичем в России – все равно что калекой. Можно себе представить великого русского поэта, писателя, ученого или композитора Рабиновичем? Зато здесь имя им легион – ну как тут не свихнуться. И предлагал посочувствовать тому же Парамохе.

По утилитарным причинам Довлатова крутануло в противоположную крайность, когда он на еврейские деньги стал издавать «Новый американец», русский еженедельник с еврейским акцентом. Позвонил ему Марамзин из Парижа – тот самый, что подзалетел за составление машинописного четырехтомника Бродского, – и спрашивает:

– Правда, что ты обрезался? У нас здесь такой слух прошел.

– Хочешь, чтобы я тебе х*й через океан протянул в качестве доказательства? Клянусь: крайняя плоть при мне. И пребудет до конца.

Как был антисемит, так и умру, – сказал этот еврей армянского разлива.

И то сказать: к тому времени он уже порвал с еврейским еженедельником, укрепившись в своей позиции еще больше. Антисемитом он, понятно, не был, скорее юдоедом, а потому свое злоязычие, необузданное политкорректностью, распространял на все и вся окрест, себя включая: главный объект.

Так ни разу и не побывав на Брайтоне – «Зачем? Чего я там не видал?» – и вообще относясь к эмигре усмешливо: «языковая окраина Нью-Йорка», «для поэта роль улицы, двора, базара», хоть здесь и приходится знаться с кем «дома и базарить не стал», ИБ тем не менее защищал от нападок: евреев от евреев же. А те в самоотрицании доходили до погромных призывов:

> …нужен, дескать, новый Бабель,
> дабы воспел ваш Брайтон-Бич.
> Воздастся вам – где дайм, где никель!
> Я лично думаю одно —
> не Бабель нужен, а Деникин!
> Ну, в крайнем случае – Махно.

Говорил, что не хочет уподобляться свинье под дубом, добавляя от себя:

– Зачем рыба, коли есть икра?

Рыба была у него сквозным образом – в стихах, в прозе, в разговорах. Никакого отношения к христианской эмблематике, где рыба – то аббревиатура Христа, то символ веры. Скорее с фаршированной рыбой, которую звал «рыба-фиш».

Про антисемитизм евреев, который, впрочем, не принимал

всерьез («Семейные дрязги! Милые ссорятся – только тешатся»), у него была формула-метафора, мне кажется, не совсем точная:

– Это как Гулливер боится, что благородные лошади-гуигнгнмы заметят его родовое сходство с презренным человекоподобным еху.

Страх еврея перед синагогой. Тем более – поверженной. А у меня – перед торжествующей. Иудеохристианская цивилизация. Ханука в Кремле. Еврея – в Папы Римские! Мяу.

А сам? Был ли он свободен от комплекса еху?

Мечтал ли Гулливер стать лошадью?

Хоть никогда после того случая с библиотекаршей и не открещивался от своего еврейства, но то, как сам заявлял о нем без всякого повода, особенно в нееврейских или прореженных компаниях, говорило само за себя. Потому что произносить еврея шепотом и кричать его во всю глотку, с моей точки зрения, – одно и то же.

Кто знает, при его мизантропстве, которое он всячески прокламировал и рекламировал, он бы, возможно, стал антисемитом, не будь евреем. То есть включил евреев в орбиту своего человеконенавистничества. Как-то решилась и высказала ему эту научную гипотезу.

– Одно другому не помеха, солнышко. Была здесь одна нацистская организация, так ее фюрер сам оказался на поверку пархатым. Представляешь! «Нью-Йорк таймс» разоблачила. Вечером того же дня он застрелился. Трагедь, да? А знаешь, что ответил Август Стриндберг Георгу Брандесу, который на самом деле Коэн? «Я так ненавижу женщин и собак, что на евреев у меня просто не остается сил. Вам повезло».

У меня та же история: квота ненависти заполнена. Им – то есть нам – опять повезло. Шутка.

В Нью-Йорке он оказался еще в более тесном еврейском гетто, чем в Питере. Как он сам говорил, в кольце блокады.

Во-первых, эмигре, еврейское по преимуществу. Во-вторых, нью-йоркский профессорско-культурный истеблишмент. ИБ отмежевывался и от тех и от других. От русско-еврейской общины – с первых дней, включая питерских знакомцев, многие из которых уехали под влиянием его собственного отвала. А это был именно отвал, а не изгнание, как пытался ИБ представить в своем автопиаре (еще один его self-myth), потому что покинуть любезное отечество мечтал сызмала – с первого трофейного фильма.

Наша семья была из немногих питерцев, с которыми ИБ сохранил отношения. Потому что этнически русские? Была ли у него процентная норма на евреев среди своих двойных земляков,

не знаю, но питерцев скопом называл ракетой-носителем, которая должна была сгореть, выведя его на орбиту мировой славы. Шутка: его, а не моя. Но в каждой шутке, включая эту, доля правды, пусть покойник и убьет меня за трюизм. Кстати, любой трюизм начинает свой жизненный путь как парадокс, а самоочевидным, расхожим и заезженным становится ввиду его истинности – моя реплика в сторону Сан-Микеле. Это потом, когда вошел, слился, отождествился с сильно жидовизированной американской культурной элитой, он старался и от нее держаться на расстоянии, но делал это с предельной осторожностью, понимая могущество кланамафии.

Говорил, что больше евреев его интересуют иудеи – и в самом деле, если на евреев, за редким исключением юношеских, шутливых либо ювеналовых стишков, было табу в его поэзии – разве что в качестве стаффажных фигурок в общем пейзаже, то библейские их предки Авраам и Исаак стали героями длинного-предлиннного, но не скучного его стихотворения, и он бы накатал еще несколько на библейские сюжеты под впечатлением впервые прочитанной Библии, и то не всей, а отрывками и урывками, кабы не был вовремя остановлен Ахматовой:

– Хотите стать популяризатором Священного Писания? Слава Емельяна Ярославского не дает покоя?

В итоге, античных стихов, особенно с латинскими сюжетами, у него куда больше.

Церковь отрицал – любую, ссылаясь на Владимира Соловьева, но не моего соавтора по этой книге, а его предшественника: «Перегородки, разделяющие конфессии, не доходят до неба».

Тем не менее, как я уже упоминала, вменил себе в обязанность выдавать по стишку на Рождество, хотя с каждым годом заздравица Иисусу давалась все трудней, буквально вымучивал из себя, но печалился, что не доживет до Его двухтысячелетия, и даже подумывал написать заздравный стишок загодя – с тем, чтобы опубликован был посмертно.

– Может, и упустили свой шанс, кто знает. Проморгали Христа. Вот я на всякий случай и поздравляю его с днем рождения, хоть были люди и покрупней. Как в том анекдоте про Рабиновича, который отказывается показать Богу фигу.

– Ради бога! Все его знают наизусть, – попыталась остановить его мама.

Не тут-то было! Он любил, хоть и не умел, рассказывать анекдоты, сплошь бородатые.

– А, Воробышек? Ты знаешь анекдот про Рабиновича?

– Про которого из?

– Хороший вопрос. «Если Бога нет, – ответил Рабинович, –

кому показывать фигу? А если есть, зачем с ним ссориться?» Так и я – зачем ссориться с наместником Бога, даже если он обычный ребе или лжемессия? Что я! Даже Рим, посопротивлявшись пару столетий, в конце концов признал обрезанца – спасибо маме Константина. Предусмотрительная ля фамм.

В религиозной искренности самого императора сильно сомневался, объясняя его разворот к Христу меркантильными соображениями, а Рим любил как раз дохристианский: римские катакомбы и муки ранних христиан нимало не волновали, Иисус был неотъемлемой частью ближневосточного пейзажа, «один из наших», подразнивал он гоев, а евреев попрекал, что не признают своего национального героя, и грозился вступить в здешнюю секту «Jews for Jesus».

Его попрекали во всем окромя погоды – в том числе, что его Иисус так и не вышел за пределы Ветхого Завета и мало чем отличается от любимого им Иова, несмотря на иную атрибутику: потеряв все, стоять на своем. Его Иисус – это Иов на кресте, утверждали прозелитынеофиты, выискивая богохульские блохи в его рождественских стихах и отлучая от церкви, к которой он не принадлежал и не собирался, а будь последовательны, то есть воинственны в деле, яко на словах, приговорили бы к смертной казни, как муслимы Салмана Рушди. Да он и сам давал повод, открещиваясь от Нового Завета и противопоставляя ему Ветхий, в котором больше метафизического простора, перспектива не замкнута этикой:

– Коли Бог есть верховное существо, то не должен походить на человека. И ни на кого вообще. На то он и Бог, чтобы быть незримым и неназванным – здесь иудеи правы абсолютно. Идея их Бога – грандиозная. Иудаизм – это мощный поток в узком русле. А к чему свели христиане иудейского Бога? Что такое их богочеловек? Перевожу: божий человек. То есть нищий, юродивый. Каким и был Иисус. В лучшем случае – пророк, в худшем – лжепророк. Да, мой интерес к нему исключительно на младенческом уровне, до внесения в храм. Потому и сочиняю стишки к Рождеству, а не к Пасхе.

Зато Новый год как праздник отрицал:

– Еще чего! Тысяча девятьсот девяносто оный с Христова обрезания, да? Тогда уж лучше по китайскому календарю, коли нам так любезна чайниз фуд. Да хоть по римскому летоисчислению. А то выходит, что мои приятели Гораций, Вергилий и Проперций как бы и не существовали, ибо все умерли до его рождения, да? Один только Овидий, счастливчик, дожил до Иисусова 18-летия. Оба, кстати, жили на окраинах империи: один – в Иудее, другой – в Скифии. На моих родинах:

исторической и географической.

Так ни разу не съездил ни в ту, ни в другую.

За отказ побывать на Святой земле ему пеняли как иудеи, так и христиане (из иудеев же).

Попыткам приписать себя к христианскому стаду сопротивлялся ничуть не меньше – просто такие попытки делались реже. Упомянутый прозелит утверждал, что от евреев один прок – Иисус.

– Зато какой! – мгновенно реагировал ИБ.

Гроб Господень интересовал его еще меньше, чем историческая родина. Отшучивался:

– Что я, крестоносец!

Ссылался на занятость.

– А на Венецию, каждый год, есть время?

– Так то же Венеция! Сравнила…

В другой раз:

– Зачем мне Израиль, когда я сам Израиль? И портативная родина у меня под кожей, на генетическом уровне. Как говорили древние иудеи, omnia mea mecum porto. Еврей сам по себе, вне синагоги. К чему все эти причиндалы, когда я и так жидович?

И в самом деле – зачем? Когда он был евреем от макушки до пяток, или, как бы сказал он сам, – от пейс до гениталий.

Израиль называл Безарабией, а любые другие скопления однокровцев – Еврятником, Еврендией и Жидовией:

– Хороша страна Жидовия, а Россия лучше всех, – и уже всерьез добавлял: – Евреи – соль земли, а потому должны быть распределены по ее поверхности равномерно.

Не потому ли наотрез отказывался выступать в синагогах, хотя синагоги были просто дешевым, а то и бесплатным помещением с хорошей акустикой вдобавок? По этой причине сорвал как-то уже организованное ему турне по Америке – других подвел, а себя лишил приличного гонорара. С поездки в Израиль тоже мог снять навар, не говоря уж о том, что встречен был бы как национальный герой: самый известный поэт из живущих в мире евреев.

Антистадный инстинкт? Страх тавтологии? Не хотел быть приписан ничьему полку?

Отчасти.

Хоть и ссылался на Акутагаву, что у него нет принципов – одни только нервы, но был принципиальным апологетом диаспоры. Вслед за Тойнби считал, что евреи как некая религиозно-государственная целокупность свою роль в истории отыграли, и хихикал, цитируя анонс лекции одного евреееведа «Грозит ли евреям утечка мозгов?», а от себя добавлял, что Бог

пустил их в другие народы с историческим посланием – и сравнивал индивидуальные еврейские достижения в диаспоре и в Израиле: не в пользу последних.

– Какое историческое послание, дядюшка?

– Создание тотальных формул для масс.

– Например?

– Массрелигия – христианство. Массидеология – коммунизм. Массэкономика – капитализм. Масспсихология – психоанализ. Масскультура – Голливуд.

– Капитализм и коммунизм – не одно и то же.

– Почему? Коммунизм как поправка к капитализму. Соответственно – наоборот.

– А как насчет теории относительности?

– С помощью пропаганды довести $E = mc^2$ до народа. Элитарное сделать массовым. Пример хочешь? В 50-е здесь по ящику гнали популярную серию „Twilight Zone“. Не видала? Иногда, по праздникам, пускают марафоном сутки напролет. Попадаются гламурные ужастики. Так вот, к каждому заставка-эпиграф – формула Эйнштейна.

Беда только в том, что сапиенс, создавая масскультуру, сам себе роет могилу. Правда твоя, старина Шарло, хоть геноссе в Манифесто имел в виду совсем другого могильщика. Зато какая шикарная метафора!

Где евреи были у него желанные гости, так это в табльдоте и а-ля фуршет. Сам же поднимал эту вечно актуальню тему и сам же себя обрывал:

– Стоп! Проехали. Нас, евреев, всегда обрезают на полуслове, вот мы и научились понимать с полуслова. Как говорят латинцы, sapienti sat. То есть западло трекать, когда ежу понятно. А уж тем более кошерный вопрос: если не тормознуть вовремя – увязнуть запросто. Засасывает. В стишата и вовсе вход евреям и собакам воспрещен. Добровольное табу котофея. Да, киса? Шутка. Мяу.

Будучи Иосифом, то есть сновидом – как и он, научился разгадывать свои сны в тюрьме, – пересказал однажды дурацкий сон, что один из трех мушкетеров – еврей. И сам же удивлялся:

– К чему бы это, а?

Ссылался на Гейне: хороший еврей лучше хорошего христианина, плохой еврей хуже плохого христианина.

– Хороший плохой еврей лучше или хуже хорошего плохого христианина? – тут же спросила я.

Не удостаивая ответом, сослался на Достоевского: длительная дискриминация усугубляет качества человеческой натуры – как хорошие, так и плохие. Отсюда разброс иудейского племени на духовных и бездушных, на практичных и

бескорыстных.

– К какому полюсу ты причисляешь себя?

– Очередной подъе*? – деланно сердился он, хотя сердился на самом деле.

– А вдруг, дядюшка, ты стал антипод сам себе?

– А ты бы хотела, чтобы я на всю жизнь застрял в городских сумасшеших, как в Питере. Извини. Время шпаны кончилось. Оставим этот анахрон шпанистому Лимону. А еврей, извини, – это живой оксюморон XX века, – запускал он.

– Хочешь сказать, что в тебе есть и то, и другое, и третье.

– И четвертое, и пятое, и шестое, и десятое…

– С тобой поговоришь – считать научишься.

– Или разучишься. Дважды два – сколько угодно, только не четыре.

Еврей сидел в нем глубоко и выглядывал из подсознанки.

Как-то спросила, кем бы он хотел стать в следующей реинкарнации.

– Ну, например, – говорит.

– Например, мухой?

– Мухой – пожалуйства. Поэт и муза, да? Почему тогда не муха!

Поэт и есть муха. Поэт-муха.

Потрепались еще в том же гипотетическом направлении – кем он только не побывал за пару минут. А потом вдруг говорит:

– Кем угодно могу себя представить в другой жизни: мухой, червем, мартышкой, камнем. Даже женщиной. А вот гоем – никак. Конец света. Путь в высшее общество мне заказан. Кем родился, тем и умру: жидом.

А я еще раздумывала, принимаясь за это жизнеописание, как подретушировать прототипа, чтобы сделать его не похожим на самого себя во избежание литературных скандалов и судебных издержек – не перекрестить ли его, к примеру, полагая принадлежность к иудейскому племени случайностью рождения и пустой формальностью. Если пол не удалось сменить ввиду очевидной и ярко выраженной – не только в сексуальном плане – самцовости, то хоть этническую принадлежность, коли я пишу метафизический портрет. Не получается. К сожалению, мой герой все больше становится похожим на самого себя. Даже интонацию, стиль его речи не изменить – все его «да», «нормально», «шутка», «мяу», «лажа», «шикарный», «жуть», «конец света», «солнышко» навсегда застряли, навязли у меня в ушах.

Куда дальше: в другую масть не перевести – приходится оставить рыжим, как был в Питере, а здесь слинял, выцвел, полысел, стал как все: лысый профессор с портфелем под мышкой

– вечно опаздывал на лекцию. А в Питере, как все рыжие, то бледнел, как соль, то кровь приливала к лицу, когда волновался или трахался (с чужих слов – по воспоминаниям постельных партнерш). Говорил не ртом, носоглоткой.

Человек-оркестр. Духовой.

Рыжие – народ особый, незаурядный. Необычный набор хромосом. Отступ от нормы. Патология. Соответственно – обязательный дефект в организме. У него – злополучный порожек сердца, который свел его в могилу. Если только он сам не свел себя. На пару: совместными усилиями.

Кто ему не давал покоя, так это Пастернак – и как поэт, и как еврей, и как отступник.

За отступничество осуждал, ставя в пример Мандельштама, христианско-культурной ориентации которого не мешали ни «хаос иудейский», ни «почетное звание иудея».

В связи с Пастернаком рассказывал анекдот про Красную Шапочку:

– «Бабушка, а почему у тебя такой большой нос?» – «Еврей потому что», – сказал Волк и заплакал. Вот что такое «О если б я прямей возник!» Это плач Волка.

– То же самое мог бы сказать Иисус.

– Но не сказал.

– Потому что не поэт.

– Поэт и поэт – две большие разницы. Пастернак был скособочен на своем еврействе. Проклятие рождения, первородный грех и прочее.

Евреи, считал, рождаются с чувством вины, что прозевали Мессию, а собственный аморализм – жлобский уход от первой жены, несвидание с папой-мамой, когда его пустили за бугор, да хоть то, что заложил Мандельштама, когда базарил с Гуталином по телефону, – все списывал на преодоление еврейства как первородного греха. То есть на выпрямление. Хочешь знать, что есть его «Доктор Живаго»?

– Плохой роман.

– Я тебя умоляю. Никудышный! Был бы хороший, его бы так не раскрутили: Голливуд, Нобелька, скандал в Клошмерле. То есть в России. Это единственный в литературе православный роман.

– А «Воскресение»? «Мастер и Маргарита»?

– Недостаточно установочны. Русский человек не в состоянии написать настоящий православный роман. Здесь надобны взгляд со стороны и энтузиазм прозелита. Что есть христианство первых христианиудеев? Преодоление в себе иудаизма. Пастернак не хотел быть евреем, чтобы не чувствовать себя ни перед кем

виноватым. Еврейство для него – грубая ошибка природы, а православие – освобождение от моральной ответственности. Он считал, что ограничивал себя в жизни и литературе из-за своего еврейства, а будь русским – дал бы себе волю.

Сюда бы доктора Зигги – его случай, – хотя Фрейда подкалывал за сублимацию, а сам сублимировал, как онанировал в отсутствие МБ. – Это тебе не злобные портреты Гинцбургов у Серова или «скисающие сливки» Багрицкого, которые лично я как любил, так и люблю и тоскую. То есть по всей нашей еврейской кухне. Мама была лучшим поваром, которого я когда-либо знал, за исключением разве что Честера Каллмана, но у того ингредиентов в мильон раз больше. Она меня всегда отгоняла от плиты, когда я пытался схватить прямо с огня. Или втихаря пробирался на кухню и прямо рукой выуживал из кастрюли застывшую в жире котлету. А соскребать со сковородки поджаристые корочки! До сих пор слюнки текут! Дорого бы дал, чтобы изведать все это заново.

– Вернемся к Пастернаку, – предложила я, устав от его еврейскогастрономических сантиментов.

– В том-то и дело, что в детстве у Пастернака не было ни моих котлет, ни скисающих сливок Багрицкого. То есть ни ностальгии, ни проклятий, ни предательства, ни возвращения блудного сына. Кто знает, может, и посложнее, чем у нас с Эдди, то есть на утробном уровне, да?

Изначальная драма – сам факт еврейского, пусть и крещенного, рождения. А отсюда уже уход от идишной жены к гойке, предательство поэта-аида тирану-гою, отказ от родителей-выкрестов – так и не встретился с ними, хоть его выпустили в 35-м на какой-то вшивый конгресс в Париже. А табу на поездки в Питер, где пришлось бы воленсневоленс повидаться с кузиной-жидовкой – и еще какой!

– Там другое, – сказала мама. – Он не хотел видеть ее постаревшей. Очень нервозно относился к старению женщины.

– Да брось! С этой точки зрения она у него никаких таких чувств не вызывала – страшна, как смертный грех, с малолетства. Вы встречали когда-нибудь красивых умных женщин? О присутствующих не говорю, – спохватился ИБ. – Говорю исключительно о своих соплеменницах: у них ум и внешность не в ладу. Гойки – другое дело, – поклон в нашу с мамой сторону. – А потому эроса за скобки. Бóрис шарахался от евреев, стыдился родства. Стыд самого себя как жида. Типичный еху.

И в заключение:

– Нет, мы пойдем другим путем. Мяу.

Толпу не жаловал любую – русскую, еврейскую, хоть

мадагаскарскую, едино. Еврейскую, может быть, чуть больше других. Стыдился?

Когда мы мучились с ним, выдавливая из него еврея, как раба, и превращая в ирландца, потому что ему его жидомордия была «во где», как он сам говорил, проводя рукой по горлу – не желал походить на среднестатистического нью-йоркского интеллигента, коим внутри, кстати, и не был. Либо, по крайней мере, не хотел быть, а остаться, несмотря на Нобельку – шпаной, жлобом, выродком, изгоем, городским сумасшедшим, как в Питере. Хотя его питерская шпанистость вся сошла на нет в Нью-Йорке – стал мейнстримовцем и истеблишменцем. Внешне он являл собой нечто противоположное тому, чем хотел быть. Или казаться – без разницы. Beneath our masks we are all the same. Мы вытравляли из него не еврейство, а благопристойность, казенность, заурядность, ту самую ван хандред персентность, которой соблазняла его Америка и губила, ничтожила в нем поэта.

Это и есть печальный сюжет его американской жизни. Он же – сюжет моего романа, а вовсе не локальная тема этой главы о плохом хорошем еврее.

Голова профессора ИБ

А теперь я приступаю к главе, которая поневоле будет краткой и которую предпочла бы не писать вовсе. К биографии рассказчика она имеет бóльшее отношение, чем к биографии героя, хотя рассказчик тоже герой этой истории, пусть и маргинальный. С другой стороны, однако, это самая что ни на есть точка схода двух наших био.

Понятно, не только в наших с ним отношениях – но в соотношении его судьбы с моей равенства нет и быть не может. Он – главное событие моей жизни, я – деталь его био. Да не примет меня читатель за шварцевскую тень, гоголевский нос или, не дай Бог, Lui у Моравиа. Не в амбициях дело, а в обиде, а та встала горлом. Пусть моя обида на ИБ – не более чем сноска к его великой судьбе. И будь эта обида только моей личной, то есть единственной, единичной, случайной, я бы о ней помалкивала в тряпочку. Но обиженных им – легион. Что он взошел на литературный Олимп (пусть Парнас, без разницы) по трупам близких – это, конечно, фуфло. Но то, что дорогу изрядному своему таланту (если не гению) пробивал локтями, – факт. Не бойтесь обижать людей – его собственный постулат. Он и не боялся, хотя потом жалел. Иногда. Как в случае с тем же Аксеновым. Или со мной. Точнее с Артемом, но рикошетом

задело и меня. Есть разница, однако, между Аксеновым, роман которого, отвергнутый с легкой руки ИБ в «Фаррар, Страус энд Жиру», тут же был издан в «Рэндом Хаус», – и Артемом, который вынужден был из-за ИБ бросить колледж и сменить взлелеянную с малолетства профессию. Ведь на чем мы с Артемом сошлись? Помимо взаимного физического – и метафизического – притяжения.

Я для него – приятельница великого поэта, которого он знал наизусть.

Артем для меня – тот самый поэт, но в молодом, ровесничьем, во всех отношениях более прикольном варианте и с очевидным уклоном в прозу, которая как раз ИБ не давалась, и он ее иначе, чем презренной, не называл:

– Застряла, извини, в промежности: между развлекухой и заказухой. В отличие от самостийной поэзии, а той – зависеть от царей, зависеть от народа and then, and then, and then.

«Виноград зелен», – помалкивала я.

Как есть любовь с первого взгляда – у нас с Артемом, например, – так есть и нелюбовь: Иосиф и Артем невзлюбили друг друга с первой встречи. Можно сказать, не сошлись характерами. Причины: литературные и самцовые амбиции. Или это одно и то же? Не есть ли талант нечто вроде павлиньего хвоста, как Соловьев сказал про Довлатова? Оба моих мужика оказались дикими ревнивцами. ИБ никак не мог представить, что его крестница, которую он держал голым младенцем с бессмысленной рожицей и бесстыдной прорезью между ног и продолжал по инерции считать малолеткой с молочными зубами, живет полноценной (а иногда и сверх – ввиду задержки с началом) половой жизнью, да еще с его студентом, а студент, наоборот, довольно живо представлял своего профессора с синьорным правом первой ночи, меня включая, и все мои, впрочем, не очень настойчивые опровержения его не очень настойчивых, застенчивых, намеками, расспросов еще больше растравляли Артемово воображение.

Почему он ни разу не спросил меня прямо? Боялся показаться идиотом в случае отрицательного ответа? То ли, наоборот, опасался положительного? Ревнивца неизвестность устраивает больше всего: кормовая база его ревности, без которой ему уже жизнь не в жизнь.

Как раз ИБ спросил меня напрямик, но получил отлуп: не твое собачье тело.

Стыдно признаться, но их конфликт на сексуальной почве меня до поры устраивал и даже льстил моему постдевичьему честолюбию, потому я слегка обоих подразнивала, не подозревая,

во что все это выльется. Для меня – офигенная игра, но не для них. Я даже не заметила, как ее участники стали играть слишком всерьез и не по правилам – не по моим правилам. А когда заметила, было поздно: оба уже достали друг дружку, обратно пути не было.

Не получив от меня ни да, ни нет, ИБ догадался обо всем сам. В том числе, о ревности Артема к нему, и, хотя уж кто-кто, а он знал о ее необоснованности, стал подливать масло в огонь, демонстрируя, как он говорил, наш с ним special relationship. А вот чего я вовсе не ожидала от моего закадычного дружка, что он воспользуется в борьбе с Артемом своим ведомственным над ним преимуществом. Знала бы – вела себя иначе. Если б можно было все переиграть! И все-таки мои подначки – опосредованная вина, тогда как у ИБ – прямая, даже если не вполне осознанная. Главная – перед Артемом: ИБ не учел юности соперника, которому годился в отцы. И перед самим собой – не узнал в Артеме себя, каким был в Питере.

Уже после разрыва, которым кончилась их буча, Артем дал волю своему воображению, но направил его, слава богу, в писательское русло, сочинив – с помощью Соловьева – роман о человеке, похожем на его мнимого соперника, и поручив мне роль рассказчицы, чтобы врубиться хотя бы в виртуальную реальность, коли спасовал перед реальностью действительной и так и не выяснил, было ли что у нас с ИБ.

Он потому и не пытал меня, что все равно бы не поверил, что бы я ему ни наплела. Он и роман этот затеял как своего рода реванш – студента у профессора, прозаика у поэта, юнца у старца, реального любовника у воображаемого. Дуэль, однако, так и не состоялась по форсмажорной причине – ввиду натуральной смерти одного из его участников. Может, то и к лучшему, кто знает. Я не о внезапной его кончине, а о несостоявшейся дуэли. Артем говорит, что оптимальным читателем нашей с ним книги был бы ее герой, но я-то знаю ему цену как читателю: поэт – гениальный, читатель – х*евый. Да и совсем другую книгу о себе он вымечтал, назначая меня Босуэллом: чтобы я отмыла его имя от приставшей скверны, а я, наоборот, наношу мазки дегтем.

Но и медом тоже. Чтобы был живой, а не памятник, каким стал еще при жизни. Эта книга ему антипамятник. Одна надежда – что в новой среде его научили бóльшей терпимости не только к другим людям, но и к чужим текстам.

Время действия этой главы – постнобелевский, женатый, последний, предсмертный период жизни ИБ. Место действия – колледж Маунт-Холиок в Саут-Хедли, Массачусетс, от Нью-Йорка часах в двух скорой езды, а иной он не признавал на своем

заезженном «мерсе», и только по разгонной полосе. Последнее, как он сам говорил, уё*ище, куда он спасался от семейной жизни, которой был скорее удивлен, чем удручен. Для разочарования нужно время, которого ему жизнь – точнее, смерть – не отпустила. Его удивление граничило с раздражением, а не с разочарованием. Объективности ради: «удивлены» были обе стороны семейного союза (он же – конфликт). Его молодая (сравнительно) жена пыталась установить новые правила в новом (бруклинском) доме, откорректировать и ограничить круг знакомств и встреч и проч., но так и осталась просто его женой, а не «женой поэта», как ей мечталось, когда шла замуж. Под сокращение штатов наше семейство не попало, отчасти потому что мама по-бабьи сострадала ей не меньше, чем ему, в их семейных контроверзах. Мои родаки сохранили с ним дружбу до конца, когда мы с ним разбежались, и они, понятно, знали причину.

События развивались стремглав – сама виновата, привезя Артема к нему в Саут-Хэдли, где у него была берлога в полумиле от колледжа и куда он все чаще удирал от семейного счастья, переименовав деревушку в «станцию Астапово».

– Здесь и помру, мяу-мяу, – и откладывал очередную сердечную операцию, надеясь оклематься на природе.

Долина напоминала ему Карельский перешеек – ландшафтами и четырьмя временами года, тогда как в Нью-Йорке он насчитывал только два: ненавидимое лето и любимую осень. Мечтая о Сан-Микеле, примеривался на всякий случай и к здешним местам и, встречая нас с Артемом на пороге дома на Вудбридж-авеню, широким жестом указал на предлежащий сосняк, прореженный кленами:

– Кладбище про запас.

Вывезенный им на лоно природы Миссисипи гонялся за белкой и отвлекал хозяина от черных мыслей.

– Он думает, что это мышь с пушистым хвостом, – умилился он своему баловню и рассказал, что на белок здесь охотятся и употребляют в пищу.

– Жалко, конечно, но не более, чем коров, свиней или кур.

Его квота жалости сжималась и морщинилась, как старческая кожа, а он и так был тонкокожий аид, и в конце концов сосредоточилась на самом себе: если мы себя не жалеем, кто еще нас пожалеет? Со смертью парентс он чувствовал себя круглым сиротой, хотя разменял шестой десяток, а тут еще сердечные хвори. Элементарно: после двух не очень удачных шунтировок он боялся ложиться еще раз на операционный стол. Давным-давно, в Питере, он, уже под анестезией, сбежал с операционного стола,

но прикорнул на лестнице, где его изловили и прооперировали застарелый геморрой. Вроде бы две большие разницы: задний проход – и сердечная артерия. Но он жил в вечном страхе перед любым вторжением в его тело и бормашины дантиста боялся не меньше хирургического скальпеля:

– А если у него дрогнет рука – бор тебе в горло и пропорет бронхи? Был такой случай. Не со мной. Пока что. Никто не застрахован.

Лечь на операцию, говорил он, все равно что попасть в аварию.

Шанс на тот свет такой же, что выжить, плюс-минус.

Он так и не добрался до своего массачусетского Астапово, чтобы помереть или выжить – не успел, хотя планировал, вещи укладывал, одного дня не хватило. Кто знает, может, и обошлось бы. Я – не детерминистка: сослагательное наклонение у прошлого есть!

У его жены хватило такта не сопровождать его в этих поездках, и только раз коллеги и студенты, глазам своим не веря, обнаружили его в супермаркете, толкающим детскую коляску. Настолько сросся с ним образ вечного холостяка.

Я была у него в Холиоке-Астапово пару раз: поскучала у него на лекциях, зато развлеклась – вместе с ним и избранными студентами, а однажды с Барышом – в окрестностях: у него на Вудбридж, в соседних пабах и его любимых китайско-корейских ресторациях. Он мчал меня на дикой скорости по Долине – неразличимо мелькал за окном массачусетский пейзаж, к которому он был отменно равнодушен, пока мы не услышали за собой вой полицейской сирены. Я вздохнула с облегчением – жизнь моя спасена, зато мой крестный подзалетел за превышение скорости.

Отпустили бы с миром, выписав тикет и сделав просечку в талоне, как он старомодно выражался, но на его беду у него не оказалось при себе водительских прав, а срок регистрации «мерса» истек. Сами по себе штрафы и пойнты за скорость и незаконную парковку были ему не в новинку – целая коллекция штрафных баллов и квитанций. Наверное, после жизненной и эмоциональной встряски в России ему не хватало в Америке приключений, и мне кажется, он слегка фрондировал, смакуя рутинные столкновения с дорожной полицией. Разгон, взятый в России, требовал продолжения или хотя бы инерции – вот причина его борьбы с правилами движения и парковки. В том же Холиоке он ставил свой «мерс» поперек обозначенных полос, занимая сразу три стоянки.

Кой-кого это умиляло, других раздражало, остальные

пожимали плечами на выпендреж поэта. Артем назвал это онанизмом, а было наоборот: он сам себя взвинчивал, когда темперамент давал сбои. Если даже онанизм, то онанизм импотента.

– Мне не впервой, – заявил он в полицейском участке, намекая на свой советский опыт, который копам был до фени. – Платон прав: в государстве – любом – нет места поэту.

– И это говорит поэт-лауреат Соединенных Штатов! – сказала я, повышая его кредэншлс в глазах присутствующих, для которых Нобелевка – пустой звук.

Лауреат возразил цитатой – по-русски:

> Напрасно в дни великого совета,
> Где высшей страсти отданы места,
> Оставлена вакансия поэта.
> Она опасна, если не пуста.

Увы, наши разговоры возымели обратное действие.

– У нас в стране все граждане равны перед законом, хоть поэт, хоть президент, – назидательно произнес officer.

Так ИБ стал на ночь «содержимым» амхерстской тюрьмы. Все наши попытки вызволить его оттуда или хотя бы разделить с ним камеру кончились прахом. Единственное, удалось передать ему сердечную соску – его нитро. Наутро мы встречали его как будто он провел в заключении полжизни.

– Еще один опыт – уже ненужный. Даже на стишок не тянет.

Зато как оральный жанр вполне сгодился и стал одним из его любимых сюжетов. Рассказывать о себе обожал – иронично, но и умильно.

Колледж в Маунт-Холиок основан был как девичий и стал бастионом феминисток в Новой Англии, которых ИБ обобщенно обзывал «лесби-янками», несмотря на очевидное различие между теми и другими. Другой его каламбур (а каламбурил он непрерывно): взамен briefcase – grief-case. То есть горе-портфель – намек на осточертевшее ему профессорство. Но почему студенты должны любить преподавателя, которому осточертело преподавать?

Женский монастырь постепенно был разбавлен мальчишником из соседних колледжей, так что в его классах были представлены оба пола. В обеих гендерных категориях присутствовали его бывшие сограждане – чем дальше, тем больше. Это было общим явлением: у Евтуха в Куинс-колледже студенты и вовсе были сплошь бухарцы, оккупировавшие прилегающие районы и вытесняющие отсюда негров и испанцев.

Еще недавно державшие в страхе местное население, те ныне шарахаются от русского мата-перемата среднеазиатских подростков. Как нью-йоркский Брайтон был переименован в «малую Одессу», так Рего Парк, Кью Гарденс и Форест Хиллс называют теперь «малой Бухарой».

Объяснение – «Мама велела прослушать курс у Бродского (или у Евтушенко)» – фальшак. Никакого отношения к родительской ностальгии, но исключительно к кредитс, которых, чтобы получить степень бакалавра, надо набрать за четыре года 128. С этой целью студенты из б. СССР берут даже курсы родного языка, хотя обычно знают русский лучше преподавателя-американа. ИБ еще тем был для них хорош, что заранее сообщал студентам будущую отметку: B+, то есть четверка с плюсом, что вполне устраивало этих хитрованов, большинство которых не знало ни стихов ИБ, ни стихов вообще – равно русских или английских. У ИБ были все основания не любить студентов-соплеменников еще больше, чем аборигенов (не индейцев) – хотя бы в качестве козлов отпущения, потому что перед американами ему все-таки приходилось заискивать, но Артема он невзлюбил больше тех и других вместе взятых: лично. Тех и других – за невежество, Артема – за вежество.

Артем успел проучиться три года в петербургском университете на классическом отделении. Его последняя курсовая – о древнегреческой эпиграммистке Аните, хотя греческий у него – по его словам, не мне судить – слабоват. Латынью, да, сочинил мне пару любовных эпиграмм. Зато английский у него был сугубо книжный, скованный, тогда как ИБ, проживя почти четверть века в Америке, щеголял американскими идиомами, над которыми – за их старомодность – посмеивались студенты. Как-то Артем переспросил непонятное слово, ИБ его тут же высмеял за незнание английского. Парочка студентов покинула класс в знак протеста. Артем остался.

Главная его страсть – русская литература, он успел напечатать повесть в питерском альманахе «Петрополь». Один экземпляр он подарил ИБ, тот никак не откликнулся, а когда нетерпеливый автор сам спросил, в ответ услышал «лажа».

Артем был влюблен в ИБ заочно – по его стихам и моим рассказам, чем и объяснялся выбор им Холиока. Он предпочел бы не знать моего старшего друга вовсе, признавался Артем позднее: достаточно поэзии, поэт не создан для человеческого общежития, ИБ не исключение – и приводил примеры от злобного пакостника Лермонтова до картежного шулера Некрасова и негодяя Фета.

Помимо самцового характера их конфликта, была еще одна важная причина.

Он не сошелся характером с американской демократией, и конфликт с Артемом – только один из примеров этой физиологической несовместимости. Они приехали из разных Россий. Артем – из все-таки ужеещe демократической, тогда как ИБ – из тоталитарной империи, вывезя на подошвах соответствующие микробы. Авторитарный стиль.

Тиранские наклонности. Локотная тактика. Несмотря на гостеприимно-покровительственный прием поэта-профессора, Артем чувствовал себя в его присутствии скованно, до меня это не сразу дошло, хоть я и знала за нашим гением эту черту: давить и подавлять собеседника.

Помню, одна здешняя дама, прекрасная во всех отношениях, до того растерялась, что выдала ему следующий перл:

– Не пущайте меня, Иосиф.

– Да я вас лучше скушаю, – мгновенно отреагировал тот, кого она назвала именем, которое я избегаю в этом тексте употреблять.

И облизнулся.

Того хуже было в классах.

Чтобы Артем был одинок в своем неприятии стиля ИБ, никак нельзя сказать. Даже его домашняя заготовка для затравки и знакомства – «Прежде чем я закончу это предложение, вы поймете, что английский не является моим родным языком» – далеко не у всех вызывала замышленную реакцию именно ввиду ее натужности. Само его обращение к классу – boys and girls – не просто было за пределами политкорректности, то есть принятого в колледжах хорошего тона – но еще и коробило нервно-вкусовые окончания слушателей. Так обращаются к собакам – не к людям. Даже то, что, несмотря на категорический запрет, ИБ дымил в аудитории, стреляя сигареты у студентов, кого смущало, кого раздражало и никого не умиляло. Коробило его самодовольство и высокомерие – профессорство было для него еще одной формой самоутверждения, а студенты со школьной скамьи привыкли к равным с учителем отношениям. Его деление студентов на фаворитов и аутсайдеров казалось оскорбительным. Многие не выдерживали и бросали его курсы. Кто оставался, метался между отчаянием и надеждой.

Когда одна студентка (тоже, кстати, русская), рыдая, все ему прямо высказала, он ответил, что тоже в отчаянии – от их невежества, бескультурия и варварства. И хихикнул:

– Распалась цепь, но живы звенья, – поставив плачущую студентку в тупик.

Женщин в истерике терпеть не мог. Вообще, право на проявление сильных эмоций было его личной прерогативой.

– Законченный монологист, – жаловался Артем. – Разучился говорить по-человечьи. Истина в кармане, вещает и изрекает, пренебрегает чужим мнением. Профессор никакой, а на гуру не тянет, несмотря на претензии. И вечно опаздывает, – добавил Артем.

Как-то предложил студентам латинских поэтов, с которыми им следовало ознакомиться.

– Надеюсь, вы слышали о таких… – и перечислил пару-тройку имен.

– А вы почему не записываете, Артем?

– Потому что и так знаю.

– Вы знаете Вергилия, Горация, Проперция и Овидия?

– А также Катулла, Марциала, Федра, Персия, Ювенала, Тибулла…

– Стоп! Вы их читали по-русски?

– Нет.

– По-английски? – еще больше удивился профессор Доуэль, который сам знал римских авторов исключительно по русским переводам.

Артему ничего не оставалось, как признаться:

– По-латыни.

– Вы нас разыгрываете, Артем! – и расхохотался.

Артем молчал.

Класс замер. Дело принимало серьезный оборот. Таинственность предмета спора еще больше усиливала интерес к нему. Класс следил за поединком – на правах античного хора, без права на вмешательство.

– Может, вы нам что-нибудь тогда прочтете из классиков на их родном наречии?

– Кого именно?

– Да хоть Вергилия.

– Из «Буколик», «Георгик» или «Энеиды»?

– Ну, уж это на ваш выбор.

Артем стал читать. ИБ перебил его на четвертой строке и сказал по-русски:

– Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, образованьем, слава богу, у нас немудрено блеснуть. Вместо того, чтобы забивать нас своей эрудицией и вызывать комплексы, переведите-ка лучше, Артем, эти бессмертные строки на английский.

Что Артем и попытался сделать, но профессор снова перебил его, сказав, что это кощунство переводить Александра Сергеевича таким корявым и примитивным английским.

Оба позвонили мне вечером и наябедничали. И оба говорили

о нуворишестве друг друга. То, что сказал Артем, мне не понравилось своей спесью:

– Чтобы говорить о латинских авторах, их надо читать в подлиннике.

– А как насчет французских, немецких, китайских и прочих? Ты отказываешь нам в праве суждения о том, что тебе известно лучше, чем нам?

– Я говорю о преподавании. Профессор должен знать больше студента. Иначе не имеет смысла ни тому, ни другому.

Тем же вечером позвонил профессор:

– Твой Артем… – начал он.

– Не мой – сам по себе, – отмежевалась незнамо зачем и тем самым развязала профессору руки. Имею в виду язык.

– Тем более. Проблема даже не в том, что не-твой Артем давит и подавляет, а в том, что отбирает у меня будущее. Пришлось поставить на место.

– Ты с ума сошел.

– Пусть не выпендривается.

– Выпендриваться можно только тебе?

– Ночная кукушка перекричит дневную, да?

Вот тут до меня и дошло, что я – главная причина их распри.

– Будет буря – мы поспорим, – и шваркнул трубку.

Бури долго ждать не пришлось.

Второй скандал – по поводу длиннющего списка мировой литературы, обязательного для чтения – от «Махабхараты» и «Гильгамеша» до Карла Поппера и Октавио Паса. Артем до сих пор уверен, что ИБ и половины не прочел из рекомендованных им книг. На обсуждении мой бойфренд, понятно, ни словом не обмолвился об этом, но высказал ряд суждений по существу: почему в списке нет Монтеня, Толстого, Пруста, Джойса, Набокова? почему Саккетти, а не Боккаччо? почему Элиас Канетти представлен старомодным трактатом «Толпа и власть», а не нобелевским романом «Ослепление»? Лоренс Штерн – «Тристаном Шэнди», а не «Сентиментальным путешествием»? Достоевский – «Бесами» и «Записками из подполья», а не «Преступлением и наказанием», «Идиотом» и «Братьями Карамазовыми»? почему в шекспировом реестре отсутствует «Король Лир»? почему, наконец, из австро-евреев не первоклассные Кафка, Цвейг, Артур Шницлер и Бруно Шульц, а скромноталантливый Йозеф Рот с «Маршем Радецкого» – не потому ли, что сюжет разворачивается в Бродах, откуда родом все Бродские? Слово за слово (Толстой устарел, Джойс нечитабелен, Набоков претенциозен, «Король Лир» – вещица так себе, кто такой Шницлер – первый раз слышу и проч. и проч.), спор начал

зашкаливать в скандал. Оба были на пределе, зато слушатели – в отпаде.

– Не вы один решаете, что читать и что не читать, – сказал Артем.

– А кто еще?

Встал из-за стола и с портфелем под мышкой, потухшей сигаретой в одной руке и чашкой с остывшим кофе в другой покинул аудиторию.

Наконец, они схлестнулись из-за Мандельштама. By proxy. То есть заочно.

ИБ разбирал гениальное «С миром державным я был лишь ребячески связан…» по косточкам – по строчкам, по словам и даже (гипербола Артема) по буквам.

– Музыку он разъял как труп, хотя для патологоанатома недостаточно образован. Самоучка и дилетант! – припечатал Артем.

– А бэкграунд? В Питере у него был большой опыт работы с трупами – вкалывал в морге.

Что говорить, в его лекциях присутствовал некий буквализм, чего совсем не было в его разговорных эскападах. «Ну, занудил», – подслушала я как-то реплику одной его студентки и приняла на свой счет – так мне было за него тогда обидно. Было это еще до появления Артема. Как профессор был неузнаваем, будто подменили: другой человек, чем тот, кого я знала близко и сызмала. По большому счету, профессорство – тем более, критический анализ – ему не давались, хоть он и публиковал свои лекции в виде эссе и собирал в книги, но сам цену им знал и отзывался пренебрежительно – что из-под палки, ради денег и карьеры, дабы держаться на плаву. Делал исключение только для двух лирических очерков про детство. Считай, стихотворения в прозе. Он так и не нашел свой преподавательский стиль, чувствовал себя не в своей тарелке, часто повторял, что глупеет, учительствуя:

– Отдаешь студентам остатки своего разума, а взамен получаешь их глупость и невежество.

Для литературных разборов ему катастрофически не хватало систематического образования. Не говоря уж о том, что ему было трудно сосредоточиться на чем-нибудь, окромя самого себя, с годами его эгоцентризм приобретал характер полной отключки от внешнего мира. Его литературоведение – странная такая комбинация наукообразного шкрабства и дилетантского мудрствования.

Вот именно: от лукавого.

С Мандельштамом он превзошел самого себя, разгадывая его

стихотворение, как кроссворд, по пути начисто утратив его смысл и мощь. Студенты скучали, а Артема как человека импульсивного трясло. Лучше бы он прямо тут же и вытряс свое несогласие, но он – памятуя мой совет избегать скандалов – сдержался, затаился и только потом выплеснул свое несогласие в письменной форме. Результатом его трясучки и была курсовуха по Мандельштаму, где Артем дал себе волю и, не опускаясь до спора и даже не упоминая ИБ, написал об этом стихотворении сам.

Забегая вперед: свой мандельштамовский разбор ИБ в периодику так и не тиснул и в последний момент – уже на стадии galley proof – изъял из очередного, которому суждено было стать последним, сборника своих эссе: побочный результат этого не только литературного поединка. Зато курсовая Артема была классной. Как будто это сам ИБ сочинил, когда был юн, горяч и писал стоячим. Стихотворение о стихотворении, хотя и в прозе. Мир державный в представлении и трактовке Артема – это мир властный, имперский, взрослый, родительский, мир императива, кастрации и страха, мир, от/из которого Мандельштам бежал без оглядки, но который его нагнал и прикончил. Нет, эта работа не была политизированной, она была исступленной, наивной и чистой, поэзия и политика скрестились на высшем уровне судьбы и смерти.

Понятно, ИБ не мог ограничиться рутинным и обещанным В +, не имел права, но и признать свое поражение, тем более на его собственном поле, было невыносимо – это я знаю точно. Это было испытание – не только для него, но и для нас всех. Включая мою с ним дружбу. Я давно уже жалела, что свела их с Артемом. Как раз у ИБ была замечательная привычка: не знакомить одних своих приятелей с другими.

Короче, мы с нетерпением ждали реакции профессора Доуэля-Бродского, но никак не ожидали той, что последовала: он просто зарубил курсовую Артема.

– Работа ужасна, стиль неприемлем, в вечную поэзию примешана скоропортящаяся политика, – выдал он Артему, возвращая реферат. – В подробности вдаваться не обязан. Достаточно с меня дискуссий в классе. Сыт по горло.

Артем был сокрушен, раздавлен – речь шла не только о его честолюбии, но о судьбе. Пусть не о судьбе, а о профессии или карьере, хотя кто знает?

Это была моя инициатива, я напомнила Артему о формуле Довлатова: «Иосиф, унизьте, но помогите». Артем попросил ИБ дать ему еще одну возможность, хотя на самом деле это Артем давал ему возможность исправить то, что тот напортачил. ИБ

согласился не подавать оценку как окончательную, и Артем засел за новую работу. Выбрал нейтральный сюжет, месяц ишачил, работа вышла вымученной, из-под палки и с постоянной оглядкой, но отвечающая общепринятым стандартам – и понес в деканат. Там ее завернули. Оказалось, еще три недели тому ИБ прислал ведомость с отметками, где против имени Артема стоял «неуд». Артем тут же забрал документы из колледжа и вернулся в Нью-Йорк за куском хлеба на другом поприще.

Я позвонила ИБ:

– Hi, monster. То, что ты сделал, – подлянка, а причина – что ты уже не узнаешь себя. У тебя отшибло память. Ты мертв.

– Ошибаешься, детка. Причина – что я узнал себя. Этим твой бой меня и достал. Тот я не нравлюсь себе нынешнему.

– Ты думаешь, тому тебе понравился бы ты сейчас? – и повесила трубку.

Навсегда.

Нет худа без добра: мы с Артемом перестали тянуть резину и поженились. Не могла я его в такой ситуации оставить одного. Знаю: сказать про человека, что он близок к самоубийству – не сказать ничего. Я спасала Артема, а спасла ИБ – случись такое, было бы на его совести. Она у него и так перегружена. Артем медленно возвращался к жизни. Секс как терапевтика. А для меня секс как секс. И договорились к той истории больше не возвращаться – никогда. На само его имя у нас было наложено табу. До самой его смерти – через семь месяцев. Я была тогда в его Венеции с Шемякой. Маскарад, установка памятника Казанове, пиаровы акции маэстро, я на подхвате: фотограф, переводчик, гид, антрепренер, да мало ли! Сбилась с ног. Фигаро тут, фигаро там.

Работа меня и спасла от погружения в боль, а боль – нешуточная.

Кто знает, мне, может, было хуже, чем Артему: потерять такого, с беспамятного младенчества, друга, друга-наставника – всем хорошим и нехорошим во мне обязана тебе и никому другому. Если б не Венеция, боль одолела меня и прикончила.

Через две недели ты бы приехал сюда, чтобы выступить в Ля Фениче – последняя возможность для нашего примирения. Там и договорились встретиться. И тут на меня обрушился последний удар: твоя смерть.

Голова профессора ИБ
Сноска в тексте

Хоть автор настоятельно отсылает читателей этой книги к обширному своду автокомментариев в более полных «риполовских» изданиях «Post Mortem» 2006 и 2007 годов (в составе книги «Два шедевра о Бродском»), однако вынужден вкратце изложить принцип художественных сдвижек в этой главе. Фон и драйв соединены подставой, или, по-Борхе совски, лжеатрибуцией: схожая история случилась с ИБ в мичиганском университете в Анн-Арборе, а не в Маунт-Холиоке, Саут-Хедли, Массачусетс, где его конфликты со студентами часто кончались разрывом, но до такого драматического крещендо больше не доходили (по крайней мере, у автора нет таковых данных). Причина этого хронологического переноса – сюжетная: ИБ преподавал в Анн-Арборе в самом начале своей университетской карьеры, тогда как Артем, бойфренд Арины, берет два курса у него незадолго до смерти главного героя книги. Да и весь роман, как читатель уже изволил заметить, есть портрет художника на пороге смерти – несмотря на многочисленные набеги в прошлое.

24-летней преподавательской деятельности ИБ посвящено непомерно много воспоминаний и суммарных очерков.

– Какой я замечательный преподаватель, не правда ли? – кокетливо обращается ИБ к аспирантке после одного из своих семинаров.

– Преподаватель вы, честно говоря, никакой, – отвечает ему Валентина Полухина, будущая мемуаристка и исследователь его творчества. Ее книги и мемуар Андрея Сергеева, пусть тот и считал себя Пигмалионом, а Бродского своей Галатеей, – самые-самые из книг о Бродском.

Адекватная с академической точки зрения, такая оценка его преподавательской деятельности не объемлет, понятно, незаурядной личности ИБ, который проявлялся на кафедре редко во всем своем блеске – чаще во всей своей нищете, а потому рядом с комплиментарными отзывами мы находим и весьма критические, на авторов которых яростно, грубо и бездоказательно обрушивается панегерист Лев Лосев в своей агиографии Бродского в ЖЗЛ. И то сказать: составители посвященных ему сборников и организаторы соответствующих семинаров и чтений приглашали к участию в них аристархов, а не зоилов.

Последние со своей ложкой дегтя проклевывались в индивидуальном порядке.

Почти 15-летний тенюре ИБ в Маунт-Холиоке более-менее сносно описан в очерке Константина Плешакова «Бродский в Маунт-Холиоке»

(«Дружба народов», 2001, № 3) – на основании бесед с коллегами и студентами ИБ. Стивом Биркертсом, Питером Виреком, Эдвином Крузом, Питером Скотто, Мэри Джо Салтером, Биллом и Джейн Таубманами и Джо Эллисом. С говорливыми Таубманами (неоднократно) и молчаливой Викой Швейцер (пару раз), самым близким здесь ИБ человеком, комментатор и сам виделся во время лекционных наездов в Пять колледжей и Массачусетский университет в конце 70-х – начале 80-х. Жили мы тогда с Леной Клепиковой в гостевом доме в Амхерсте и общались со всеми, кто так или иначе был связан с Россией (политикал департмент) и русской литературой (славик департмент) – от «последнего акмеиста» поэта Юрия Иваска до молодежного лидера Венгерской революции Ласло Тикоша, переквалифицировавшегося здесь в слависты. Плюс, конечно, рассказы самого ИБ о студентах и его студентов – о нем. Арина права: скорее, чем о конфликтах, можно говорить о физиологической несовместимости ИБ – не со студенчеством, а с американской демократией, которая нигде так наглядно не проявляется, как в колледжах и на кампусе.

Недостаток плешаковского отчета – в весьма приблизительном знании американской вообще и университетско-кампусной фактуры в частности. Случаются у него проколы и в русских реалиях: «Дом под номером 40 на Вулбридж-авеню находится в полукилометре от колледжа. Он был построен 250 лет назад – в середине XVIII века; по российскому счету – во времена Елизаветы и Екатерины. В этом смысле он ровесник ансамблей Росси». Ошибка здесь почти в целое столетие: главные санкт-петербургские ансамбли Росси созданы в 20—30-е годы следующего, XIX века. Понятно, что американских ошибок у Плешакова куда больше – от описания флоры и фауны Массачусетса до физиологии нравов университетской жизни. К примеру, на первой же странице он описывает визиты койотов к мусорным бакам: «Каждый визит вызывает сенсацию, и местная газета не преминет отвести койоту и соответствующему баку всю первую полосу – вне зависимости от того, что творится в Белом доме или на Балканах». Во-первых, койоты, один из звериных символов американского Запада, в Массачусетсе не водятся, специалисты по мусорным цистернам здесь – еноты и черные медведи. Во-вторых, Front Page (первая страница) любой американской газеты, где бы она ни выходила и какой бы у нее ни был тираж, традиционно состоит из дюжины материалов –

местных, общенациональных и (реже) международных, которые продолжаются уже внутри газеты.

Несколькими строчками ниже о белках: «Здесь их не любят и относят к разряду крыс…» На самом деле здесь – в Америке – их любят и подкармливают, несмотря на запреты кормить диких зверей. К сожалению, на белок до сих пор охотятся и употребляют в пищу, что никак не скажешь о крысах, которыми брезгуют даже кошки.

Само собой, еще больше ошибок касаемо человеческого сообщества – в Америке в целом и в массачусетской долине, где расположены Пять колледжей, в частности. Мелочи, конечно, но они мешают отнестись с полным доверием к маунт-холиокскому очерку Плешакова. Человеческая фауна описана приблизительно, тенденциозно и бродскоцентристски – с точки зрения героя очерка, который жил в перманентном конфликте с любой человеческой средой, университетскую включая.

Пожалуй, это самое досадное – не фактические ошибки, а сам жанр панегирика, избранный Плешаковым для своего очерка, когда почти во всех описанных автором конфликтах он априорно на стороне своего героя. Спасибо и на том, что он эти конфликты описывает, а не замалчивает, как агиограф и аллилуйщик Лосев. Однако мифологический флер вокруг героя сильно мешает нормальному человеческому (и человечному) восприятию его злоключений в Массачусетсе.

Реальный антагонист мичиганской драмы, перенесенной Ариной на массачусетскую почву, – писатель и риелтор Александр Минчин, в ту пору аспирант Мичиганского университета, где ИБ, благодаря усилиям издателя-слависта Карла Проффера первоначально приземлился в качестве преподавателя (после провального дебюта в Куинс-колледже в Нью-Йорке, о чем комментатору доподлинно и в подробностях известно из первых рук, так как спустя несколько лет мы с Леной Клепиковой были взяты в это заведение в качестве scholars-in-residence.

Александр Минчин сам же свою конфликтную с Бродским историю обнародовал в жанре неформального интервью с ИБ. Что важно – еще при жизни ИБ, со стороны которого ни устных, ни печатных опровержений, по словам Минчина, не последовало. Сначала в книге «15 интервью» (Нью-Йорк, из-во им. Платонова, 1989) и сразу же вслед в московском таблоиде «Совершенно секретно» (1991, № 12); этот номер, полученный мной в составе комплекта «Совсека» от его главреда Артема Боровика, я тут же передал ИБ вместе в другими привезенными из Москвы материалами о нем, а ИБ живо, до болезненности, интересовался

всем, что о нем писала советская и постсоветская пресса; наконец, после смерти ИБ в книге «20 интервью» (М.: Эксмо-пресс, 2001) – все три публикации без никаких изменений. К ним и отсылаю любопытствующего читателя.

А теперь вкратце два моих разговора касательно этого «производственного» конфликта – с ИБ и с Александром Минчиным.

Конспект первого – с ИБ – извлекаю из дневника, где, к сожалению, не ставил дат. Скорее всего конец 91-го или самое начало 92-го, сразу по возвращении из Москвы.

– Зачем вы мне эту гадость подсунули?

– Какую гадость? – не сразу же соображаю, о чем речь, так много вывез из Москвы материалов.

– Интервью Минчину, которое я ему не давал.

– Вы легко узнаваемы даже на стилевом уровне. Ваш говорок, Ося.

– Мало ли что я говорю!

– Вы не несете ответственность за сказанное?

– Только за написанное, хотя там тоже много херни. Мысль изреченная есть ложь. Что же касается трепа… Имею я право расслабиться?

– По полной программе?

– Элементарно: быть самим собой. Как в том анекдоте: ну не люблю я его!

– Так то говорит Бог, оправдываясь…

– Бог, демиург – не вижу разницы. Поэт творит наравне с Богом, слыхали?

– Гюго.

– А когда не требует поэта к священной жертве Аполлон…

– Тогда поэт приносит в жертву близких?

– Ну, с Сашей Минчиным в близких отношениях не бывал. Бог миловал. И за кого вы меня принимаете, Вова? Что я – голубой?

– ???

– Шутка.

……

Лет десять спустя, а именно 3 декабря 2002 года, комментатор получил дополнительную информацию от Александра Минчина, который помнит старую обиду будто это было вчера, что не мешает ему относиться к ИБ как к поэту объективно, с высокой оценкой его стихов до 1985 года и отрицательной на написанные в последнее десятилетие его жизни. По культурно-образовательному уровню Саша Минчин был на порядок выше аспирантов-американов, а потому называть его культурно неподготовленным и заурядным студентом либо

молодым и малокультурным недорослем, как это делает упомянутый Лосев, не утруждая себя аргументацией, но шельмуя и оскорбляя Минчина (как, впрочем, и других критиков Бродского) – отдает спесью и хамством. Спорят не с лицами, а с мнениями – это старинное правило нарушено этим панегиристом не однажды. Как раз перед туземными студентами ИБ заискивал («лизал им…»), зато отыгрывался на русских. «Хамелеон» – определение Минчина. По его словам, аналогичная история случилась позднее с сыном художника Льва Межберга.

У 20-летнего с небольшим Саши Минчина была, однако, и уязвимая пята: он только приехал в Америку, английский у него был еще слаб, чем не преминул воспользоваться ИБ. Минчин взял у него сразу два аспирантских курса: по русской и по английской поэзии. Однажды, не поняв чего-то, Александр переспросил ИБ. В ответ – резкая отповедь. Сокурсники были возмущены профессором; одна из студенток сказала Александру, что впервые за шесть лет учебы в американских колледжах и университетах сталкивается с такой «профессорской» грубостью. Это и в самом деле не в демократических университетских традициях. В конце концов, Минчин «выписался» с курса английской поэзии. Как теперь говорит, не из-за обиды, но по причине, что его английский был недостаточен для понимания английской поэзии. Однако ИБ счел, по-видимому, его уход демаршем и стал мстить в классах по русской литературе: «хамил и наглел». И наконец последовала «страшная месть»: отметка «С» за реферат. На мой вопрос, было ли в самом реферате нечто могущее возмутить ИБ, Минчин ответил, что, возможно, его эмоциональный подход к Мандельштаму. Последняя встреча между бывшими профессором и студентом произошла в Нью-Йорке на премьере спектакля Льва Додина «Стройбат». По словам Минчина, ИБ направился к нему «с масляной улыбкой», но Минчин отвернулся и прошел мимо.

Остров мертвых

Человек смотрит на себя – вольно или невольно – как на героя какого-то романа или кинофильма, где он – в кадре. И мой заскок – на заднем плане должна быть Венеция…

ИБ. Разговоры с Соломоном Волковым

Венеция из тех городов, где и чужак и местный заранее знают, что они экспонаты.

ИБ. Fondamenta degli Incurabili

Наконец, мы выскользнули в Лагуну и взяли курс к Острову мертвых, к Сан-Микеле.

ИБ. Fondamenta degli Incurabili

Зря ты тянешь на Шемяку. Его антисемитизм – твоя выдумка. Не в большей мере, чем ты сам. Бóльших антисемитов, чем евреи, не встречала. Понятно: что можно Зюссу, нельзя быку. Шемякина можно любить или не любить, но только не за это. Округ него – рой ваших, никакого напряга, а нечастые вспышки – по пьяной лавочке, когда он расшивается. Жид для него не этническая характеристика, но моральная метафора. Как для твоей Цветаевой, но не восходящая, а нисходящая.

Да, представь себе: Шемякин – моралист, несмотря на весь свой имморализм. Или vice versa. Моралист-аморалист, но не циник! В нем одном – все братья Карамазовы, включая Смердякова. Слева глянешь – Алеша, справа – Дима, в центре, само собой, – Иван, и из-за всех выглядывает Смердяков. Такой вот лжегрупповой портрет.

Тебя отец сёк, да? В трезвом виде – за дело. А за Мишей пьяный родак, которого он мечтал убить, гонялся с шашкой наголо – и они с мамашей вылетали в окно, спасаясь от полковника-кавалериста. На смену полковнику-алкашу пришли трезвые полковники из гэбухи, пока на русский престол не был посажен полковник полковников, с которым Миша теперь на короткой ноге. Языком психоанализа, отцовская фигура, хоть Шемякин и старше своего посаженного отца лет на десять.

Но все это уже за пределами твоей жизни, спи спокойно, русская история возвращается на круги своя, поводок уже натянут, но намордник еще не надет.

Раннее, как у тебя, – нет, не половое – политсозревание: вызовы, тюря, дурдом, где его накачивают химией, и он шизеет по-настоящему.

Чего у него нет, так это вашего генетического иммунитета к репрессиям, который выработался у евреев за тысячелетия диаспорно-изгойной жизни. Сам говорил: мог бы жить и работать

где угодно, за исключением газовой камеры. Вот крыша у Миши и поехала. Плюс ампула в животе: трудоголик сменил алкоголика, но время от времени срывы. Тогда он – безтормозной, клоник папани, шашка наголо, взятки гладки. Да он и сам говорит, что человек отвязки, бурлеска, карнавала, переводя патологию – минуя психологию – в эстетику. Сам знаешь, лучше глядеть на себя со стороны, чем изнутри. Лучше быть врачом, чем больным, но врачу – исцелися сам, а он на той же набережной неисцелимых, что и мы все.

Как от отца – в окно, так от КГБ он спасается в сванетских монастырях, где монахи его и развратили (версия Лимона, со ссылкой на Мишу). Не то чтобы голубой, ему без большой разницы, к сексу отменно равнодушен, сильные психические заскоки, но женщин – близких – он теперь обвиняет: мать – что настраивала против отца, сама давая повод для ревности, не зря же он бил ее смертным боем; жену – что сделала диссидентом и поссорила с государством. А так бы – тишь, благодать и гармония. Не то чтобы бздошный, но обоих – отца и государство – ныне идолизирует, зализывая детско-юношеские травмы.

Точь-в-точь как Федор Михайлович в трактовке Зигмунда Яковлевича: отец – садист, государство – репрессант, в итоге – после десятилетней каторги – да здравствует царь, он же батюшка. Не суди Шемяку шемякиным судом: помимо психобзиков, есть в его нынешнем заигрывании с государством и государем еще и практический расчет. Это поэт может быть независим, хотя бы с виду, а скульптору, да еще такого размаха, государство – позарез как заказчик. Россия – в перспективе – рынок сбыта монументальной скульптуры, а Венеция – так: случайность, везуха. Хоть он и торчал на Венеции, как ты, и такое у него чувство, что его трость уже стучала в предыдущей инкарнации по венецейской брусчатке. Вот и разница: его – déjà vu, твой – post mortem.

Каждый год мы с ним ездим сюда на маскарады – не столько других поглядеть, сколько себя показать. Ты прав: здесь любой, даже местный житель, турист тем паче, чувствует себя экспонатом. А вот Шемяка из экспоната превратился в экспонента. Его Казанова мгновенно стал неотъемлемой частью Венеции. Но и твоя «Acqua Alta» попадается на книжных развалах. Помнишь, ты читал здесь «Лагуну» – лучшее у тебя про Венецию, потому что остальное – только не лезь в бутылку – травелог в рифму или без. Сам говорил, что, когда читал, где-то около Ля Фениче, вокруг фрески Гварди или Тьеполо (в изо ты не мастак, мозги уже не те, жаловался), почувствовал себя вдруг в некоем силовом поле, и нечто своим стишком сам к этому полю

добавляешь. В первый раз тебе удалось проникнуть в этот лабиринт за амальгамой – и в последний. Больше никогда, как ни бился. За семью замками! Так и остался чужаком в самом родном тебе городе. И Шемякин в нем – не завидуй! – временщик: пока стоит его памятник Казанове на Рива дельи Скьявони. В твоем вольном переводе: на Словенском берегу. Зря цепляешься – классный памятник. Что с того, что цитата из Феллини?

Забыла литературный термин, который в обратном переводе значит «лоскутное одеяло»?

– Ты забыла, сама и вспоминай. Покойник – не суфлер. Спроси у живых.

– Тебя нет, спросить здесь больше не у кого. Разве что у Соловьева, но он такую бодягу разведет! Что мир искусства цитатен насквозь, сам язык есть система цитат, вплоть до присвоения, плагиат – понятие юридическое, ну моральное, а никак не эстетическое. Цитата есть цикада, неумолчность ей свойственна.

– Неумолкаемость.

– ?

– У Осипа Эмильевича: неумолкаемость. Хотя неумолчность, может, и лучше.

– А сама Венеция, что ли, не цитата?

– Венеция – это сон, который возвращается до последнего вздоха.

Или выдоха – у кого как. И после, о чем свидетельствую сама знаешь откуда. Лучшее из того, что создано на земле. Да, вариант рая. Да, Атлантида, то есть самостийная цивилизация, отсюда страх, что и судьба ее ждет атлантидова. Я бы, наверное, нашел свою метафору, но поздно родился, а о Венеции не писал только ленивец. Конкурс метафор! Гёте: республика бобров. Монтескье: место, где должны жить только рыбы.

Лучше всех у Хэзлита: этот город мог бы превзойти только город, построенный в воздухе. А Пруст сказал, что это восточный город, из «Тысячи и одной ночи». Тоже верно. Великий соблазн или, если хочешь, идефикс: стать частью этого сказочного ландшафта, которой – частью – тебе не стать. Разве что ценой жизни. То есть смерти. Но исполнение всех желаний и есть смерть. Нет, не я на фоне Венеции, а так – мелкая деталь, статфажная фигурка, как у Пуссена или Лоррена. Разглядеть можно разве что в лупу. То есть без претензий, как у твоего Шемяки.

– Ты не видел его памятника. Отличная стилизация! Двойное чувство фактуры – самой бронзы, в которую отлиты фигуры, и того же, скажем, камзола или платья на заводной кукле,

последней партнерше великого трахаля. От этих цветочков в бронзе не оторваться! И самое удивительное, что не фронтальная композиция, как обычно, а отлично смотрится отовсюду – спереди, сзади, от Дворца дожей, с Соломенного моста, с набережной, со сверкающей лагуны. Ты просто завидуешь.

– Чему?

– Что так и остался здесь туристом, а он, как таран, проник внутрь.

– Как троянский конь.

– Ты понимаешь, о чем я говорю.

– Если о туризме – да. Мимопроезжие люди, проходимцы, зеваки, туристы по определению, где бы ни были, гости, временщики, туристы по всей земле – ты об этом? Что же до твоего работодателя…

– Все торчат на Венеции – Вагнер, Пруст, Рескин, Генри Джеймс, Томас Манн, Иосиф Бродский, наконец. Для вас Венеция – фон, а Шемякин изменил сам фон, вписав в него еще один памятник. Облеплен, кстати, туристами. За что ты их так ненавидел, будучи сам из них?

– При 60 тысячах аборигенов несколько миллионов туристов в год!

Носорожье стадо. Зачем им Венеция? Венеция для них Диснейленд.

Надо строить для них повсюду Диснейленды, пусть даже под видом Венеции. Как в Лас-Вегасе. Почему нет? Они не отличают оригинал от подделки. Шлюзные ворота, чтобы запрудить человеческое море, – единственное, что спасет Венецию. А туристов ненавижу как тавтологию.

– Твой страх тавтологии сам стал тавтологией – худшей, чем та, что его вызвала. Ты не имеешь права проклинать туристов и исключать себя из их числа. И что есть Венеция без туристов?

– Ты это сказала. Это и есть моя Венеция: Ghostown.

– Твоя Венеция, Венеция Пруста, Венеция Висконти, Венеция Шемякина, но есть же какая-то общая, объективная, реальная Венеция?

– Есть: Венеция-трюизм.

– А твоя не трюизм?

– Моя – метафора.

– А за метафорой – не трюизм?

Может быть, Венеция и в самом деле трюизм? Венеция гондольеров и самураев с камерами и есть та истинная Венеция, которую ты так яростно отрицал, боясь тавтологии в самом себе? А что, если ты любил именно ту Венецию, которую изничтожал в своих писаниях, стремясь к оригинальности во что бы то ни

стало? Помнишь, что случилось с Генрихом Шлиманом в Гиссарлыке? Пробиваясь сквозь наслоения цивилизаций к той единственной Трое, которую любил и знал по Гомеру, он по пути уничтожил ее, не заметив. Счастливец! умер, не ведая, что сотворил с вымечтанной Троей. А ты не проскочил мимо Венеции?

Почему именно Венеция, где твое одиночество было крутым, как яйцо, которое ты готовил себе на завтрак и всегда переваривал, думая о другом? В том числе о яйце как органическом, нерукотворном консерве. Венеция – пунктик? заскок? ритуал?

– Метафизическая копия Петербурга потому что. То есть улучшенная. Прогресс шагнул так далеко, что копия не искажает, а улучшает оригинал. Эпигон превосходит мастера.

– Анахронизм, – возражала я. – Что было раньше?

– Само собой, Питер. Лично для меня. Остальное по барабану.

У меня своя хронология, своя историческая последовательность. Как и город, которому обязан рождением, как страна, которой обязан жизнью, любовью, стихами – всем! – я принадлежу времени, которого больше не существует, детка. Мы исчезли с карты, изжив себя – нас больше нет. Зато Италия пребудет вечно, даже если распадется на прежние города-государства. Прекратил свое эфемерное существование Ленинград, а никаких санктпетербургов я не знал и знать не желаю, зато Венеция, о Венеция… Помню, впервые здесь, ночь на ступенях Стацьони, сетчатка бездействует, морской ветер, в ноздри бьет родной запах. Для кого свежескошенная трава или рождественская хвоя с мандаринами, а для меня – запах мерзнущих водорослей. Что есть запах?

Нарушение кислородного баланса, вторжение чужеродных элементов.

Это был запах Балтики, Невы, ветра. Перенос Питера во времени и пространстве. Реинкарнация? Сублимация? Эвфемизм? Сам черт ногу сломит в этих проклятых терминах. Ведь даже эти крылатые венецейские львы, грамотеи и книгочеи – я их сразу узнал!

– Вариант Пегаса?

– Какой, к черту, Пегас! Братаны питерских сфинксов! Ты что, не заметила? У меня на книжке питерских стишков сфинкс, а на обложке здешних – лев с крылышками. По аналогии и различию. Только наши себе на уме, а эти, хоть и с книжкой под мышкой, простованы. У нас – египтология, фиванский цикл, царь Эдип, доктор Зигги и прочая достоевщина, а здесь – простенько и со

вкусом: «Pax tibi, Marce!» Обожаю! Чувство абсолютного счастья. Ну, ты понимаешь… А вписаться в контекст этого плавучего города, нырнуть в его подводное зазеркалье – все равно что умереть. Именно: здесь надо родиться – или умереть. На крайний случай: быть погребенным. Вот я и умер, закрепив за собой вечное право на Венецию, в котором мне было отказано при жизни. На отшибе времени и пространства – в Сан-Микеле. Смерть – пропуск в бессмертие: прописка в Венеции.

Может, по запаху ты и Нью-Йорк отождествил с Питером, а уже потом подыскивал исторические обоснования: вода и камень, общий прообраз – Амстердам, и прочее, поверх главного несходства: Манхэттен стиснут, зажат на маленьком острове, а СПб – просторен и продут сквозняками пространства и времени. Твой взгляд – субъективный и умозрительный – игнорировал визуальную реальность. Но то, что ты воспринимал нервными окончаниями, существует на самом деле, черт побери! Или ты забрал с собой в могилу весь этот мир, оставив дыру в пейзаже?

Как Анри де Ренье, твой любимый писатель – и описатель Венеции, – прибыл сюда по следам Казановы, составляя его жизнеописание, как Генри Джеймс – по следам вымышленного Асперна, так и я беру твой след в этом мниможивом-тайномертвом городе. Впечатываю свои шаги в твои следы. От Арсенала сворачиваю вправо – ход конем, – перелетаю через 12 мостов – улица Гарибальди, самая широкая и самая невенецейская в Венеции, – кафе «Парадизо», железный стул, где ты сидел и писал. Выдавливал из себя по капле «Fondamenta degli Incurabili»?

Четверть мили по фондамента Нуова – у больницы Джованни и Паоло направо – и дальше вдоль больничной стены – спиной к Сан-Микеле…

Маршрут первый, маршрут второй, третий, четвертый, пятый. Не так уж много. Венеция за три дня. Хоть ты прожил здесь года два в общей сложности, но маршруты оставались прежние: классические.

Ни разу в нем не заблудился, как я – постоянно, с самого первого раза, когда мы были здесь транзитом в Америку, мама чуть с ума не сошла, а я часа два крутилась на одном месте, возвращаясь на тот же кампо: безъязычие, безлюдие, ночь спускалась на чужой город. Нет, ты не из тех, кто блуждает по заколдованному городу по ночам, ища дорогу домой. Разве что теперь – из Сан-Микеле. Как можно избежать тривиальности, глядя на парадную Венецию из-под арок «Флориана»? Хоть ты и выдал филиппику туристам, но сам так и не стал путешественником, оставшись туристом в Венеции. Увидеть,

чтобы увидеть – или увидеть, чтобы описать, вымучивая из себя метафоры?

Есть и удачные. Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно в жемчужном небе за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервис. Отлично!

Каждый маршрут приводил тебя к Острову мертвых. Включая последний: Бруклин – Сан-Микеле.

За что ты полюбил Анри де Ренье? Что последний парнасец открыл тебе Венецию в том, как ты выражался, нежном возрасте, когда ты впервые его прочел, хотя тебе уже было 26? Как же нежно надо к себе относиться, чтобы считать этот возраст нежным! Урок композиции: качество рассказа зависит не от сюжета, а от того, что за чем следует, – и бессознательно связал этот принцип с Венецией? Он научил тебя прозе – отрывистой, на коротком дыхании, малыми пробежками, короткими, в полстраницы, главами, – которой написаны лучшие твои эссе, включая худшее – про Венецию. Ты даже не помнишь точно названия, одолживший тебе книжку Гена Шмаков помер от СПИДа, вот ты и называешь «Необыкновенных любовников» – «Провинциальными забавами». Или нарочно заметаешь следы?

Вот эта книжка передо мной – с твоими отчеркиваниями на полях.

И вот абзац, подчернутый дважды. Эврика! Секрет твоего бессознательного выбора – не место действия и не композиция, а именно сюжет:

«Они жили в двух соседних дворцах, и все было общее между ними, вплоть до женщин, которыми не раз они делились по-братски. Один получал от них больше любви, другой извлекал из них больше наслаждения. Альберто де Коркороне, меньший ростом, проявлял себя пылким и чувственным; Конрадо де Коркороне, высокий, казался ласковым и мечтательным. Альберто вел себя со своими любовницами страстно, Конрадо – нежно. Поэтому любовницы Конрадо довольно быстро забывали, что он их любил, а любовницы Альберто долго помнили его любовь».

Зря тебя пытала – сама разгадала твою любовь к Венеции. Это была застарелая, как рана, страсть, а Венеция – другое имя, эвфемизм.

Все твои мысли о самоубийстве, о смерти, о погребении в Венеции, крутое одиночество и смертная тоска, весь твой некрофильский роман с этим городом – продолжение без окончания твоей ленинградской бесконечной любви. Морской ветер, запах мерзлых водорослей, гнилостные каналы, acqua alta – посмертное воплощение – и перевоплощение – балтийских вод,

питерских наводнений и несчастной любви.

Адриатика, Атлантика, Балтика – один и тот же ветр щекотал тебе ноздри. При жизни тебе было дано посмертное видение. Венеция по аналогии с Ленинградом.

Ghostown.

И еще одна фраза, отчеркнутая тобой:

«…любовники исчезли, не узнав меня, потому что любовь видит только самое себя».

Зачем ты врал? Зачем врал самому себе? Неправда, что ты прекратил слежку и повернул назад. Неправда, что она ускользнула от тебя, ушла дворами. Ты выследил, догнал, видел их, но они прошли насквозь, не признав тебя, и исчезли в ночи. Не видели тебя в упор. Им было не до тебя. Любовь видит только самое себя. Ты уже тогда был призраком.

А кто ты теперь?

Почему Альберто победил в любви Конрадо? Потому же, почему Конрадо победил Альберто во всем остальном. Карты и любовь? Даже в любви ты любил свою любовь больше любимой. Затянувшийся на всю жизнь роман с самим собой, который – по определению – никогда не кончается. Пусть даже ты любил свою любовь, а себя не любил.

Любовь к любви больше любой другой любви к кому бы то ни было.

Нарциссизм – не когда себя любишь, а когда любуешься собой, когда не оторваться от себя, пусть даже твоя мордочка тебе не по вкусу. Так Венеция глядит в бесчисленные свои отражения в болотных водах каналов. А может, и Венеция тебе близка своим нарциссизмом?

Как все сплелось и встало, наконец, на свои места: – медная гондола на мамином трюмо с пуговицами, иголками и таблетками. – вышитый лоскут с Palazzo Dukale на валике дивана в твоей питерской берлоге. – черно-белая копия «Смерти в Венеции» на контрабандном просмотре в Театральном институте у Исаакия. – гармошка венецианских сепий, подаренная тебе Мариной на день рождения. – одолженный Шмаковым томик Анри де Ренье в переводах Михаила Кузмина – о братьях, мирно деливших любовниц, как вы с Бобышевым не поделили одну. – наконец, живой город мертвецов, к которому ты прикипел жизнью и смертью.

Венеция как возможность загробного взгляда на жизнь.

В день твоей смерти, рано утром, позвонила тебе в Бруклин, чтобы рассказать про афиши Ля Фениче с анонсом о твоем выступлении – чем не повод? Голос как с того света. Но это и был голос с того света, учитывая разницу во времени! Откуда мне

было знать? У Арсенала села на вапоретто в сторону Острова мертвяков – сама не знаю зачем.

Тайный вожатый? Ты? В утренней мгле и неге из воды всплывала Венеция – стояла acqua alta. С вапоретто, сжатая толпой не туристов, а утренних хмурых невыспавшихся аборигентов, увидела тебя на набережной неисцелимых. То есть обреченных, да? Обрученных со смертью. Облученных смертью. Нет исцеления. Конечная остановка – Остров мертвецов.

Не сразу узнала, ты стал моложе, походка была легкой и быстрой, какой давно не была, одолеть расстояние длиной с фасад стало для тебя проблемой. А здесь – не шел, а летел, не касаясь подошвами мокрой брусчатки. Фалды плаща цвета хаки развевались на ветру, как крылья у ангела, не поспешая за тобой. Любимая ирландская кепка в клетку, темный пиджак, белая рубашка с открытым воротом. Куда ты летишь, не видя и не слыша ничего окрест? Я надрываюсь с вапоретто, но и сама уже не слышу собственного голоса из-за грохота мотора.

Галлюцинация? Предвидение? Видение? Я видела тебя в миг твоей смерти. Только что с того, если ты меня не видел.

Или видел?

Видел или не видел?

Молчишь.

Выскочила на Сан-Микеле, пересела на встречный вапоретто, бегом по воде на набережную неисцелимых. Тебя и след простыл. Ушел, убежал, улетел. Куда? Пометалась по городу, заблудилась, твои сторожевые львы крылышкуют мне на каждом повороте. Устала, пот градом, шлепаю по колено в воде обратно в альберго. Вода всё прибывает, город на глазах уходит под воду, что твоя Атлантида. Шемякин с порога:

– Где тебя носит? Твой друг умер ночью в Нью-Йорке.

И тут только дошло – ты летел, чтобы поспеть на этот клятый переполненный венецианцами вапоретто в Сан-Микеле. Навстречу смерти. Конечная остановка – Остров мертвых, кладбище изгнанников.

Позвонила в Нью-Йорк. Так и есть: выбегая из комнаты, упал на пороге, разбил очки и расквасил себе лицо. Остывшее тело нашли под утро.

Не выходи из комнаты, не совершай ошибки.

Так торопился на Сан-Микеле, что забыл, о чем предупреждал сам себя четверть века назад.

К полудню город уже был в воде по пояс, и гондолы плыли по рио, кампо и фондаме́нтам – как гробы с разбитого кладбища у твоего коллеги, хоть он и оставил тебя равнодушным. Если аш два о, ты считал, есть образ времени, то Венеция – образ смерти.

И не есть ли тогда твой роман с ней – род смертолюбия? Неосознанная мечта о Сан-Микеле?

Теперь ты здесь экспонент, а экспонат – твоя могила.

Если метафизику ты противопоставлял физике, всему физическому и человеческому, то смерть как вечность предпочтительней тогда всего мгновенного и мимолетного, человеческую жизнь включая, да? Этот город настраивает на смерть – не только душу, но и тело. Приступы смертолюбия чуть не обернулись как-то приступом смерти. Ты мечтал умереть в Венеции – и чуть не умер, настигнутый сердечным приступом. На крайний случай: быть в ней погребенным. Чего ты и добился в конце концов. Пусть твое нынешнее бытие и под вопросом.

Парадокс времени. Прошлое, которого нет. Нигде: ни в пространстве, ни во времени. Адрес, параметры, координаты прошлого? Существует ли оно в параллель настоящему? Или только взамен ему? Вот я сейчас рою, как крот, подземный ход из лабиринта будущего в лабиринт прошлого. Что не существует, так это настоящее, протекающее сквозь пальцы.

Разница во времени – да: ты скончался ночью в Нью-Йорке, но здесь, в Венеции, ты был еще жив, тебе осталась еще пара часов вдыхать кислород. Но как быть с пространством, которое ты ставил всегда ниже времени, делая ему исключение только здесь, в Венеции, вневременная красота которой есть единственная фора пространства, которой нет у времени? Какая сила перенесла тебя в миг смерти из твоей бруклинской каюты на затопляемую набережную, в город, который казался тебе вариантом рая, хоть у тебя и не было тогда возможности сравнить копию с оригиналом.

А теперь?

Можешь представить такое? Наутро после твоей смерти я разговаривала с тобой живым и видела тебя с вапоретто, днем Венеция ушла по пояс в воду, а ночью венецейское небо озарилось огненными сполохами – Ля Фениче вспыхнула, как спичка, и сгорела дотла: зачем ниша, когда нет статуи? Когда отполыхал священный огонь, в который раз пожрав оперный театр, над Венецией долго еще стоял траурный смог. Город оделся в траур. Несло горелым. По каналам и улицам плыли крошечные гондолы – черные головешки. Зеленую муть накрыл серый пепел.

Пепел и алмаз.

Последняя дань Города – последнему на земле Поэту.

Или это ты сам поджег и чуть не спалил всю Венецию, воздвигнув себе памятник из огня и пепла?

P. P. S. Мяу с того света, или Жизнь как ремейк

Смерть – это то, что бывает с другими.

ИБ. Памяти Т. Б., 1968

Впрочем, долой ходули —
До несвиданья в Раю, в Аду ли.

ИБ. Памяти Т. Б., 1968

Как и договаривались, пишу с того света. Человек слова в обоих смыслах. Обещал прислать весточку, если случится оказия. Случилась.

Отправ ляю с Орфеем, чуть не разминулись, мнимонечаянная встреча: он со своей дивчиной наружу, а я вверх тормашками, сама понимаешь – куда. Хоть один, думаю, наказ пусть выполнит, коли не повезет с главным.

Что тебе сказать про ад? Дежавуист, вроде меня, легко узнает местность по прежнему опыту: не послабже земного, те же круги, каждый следующий поплоше предыдущего. Никого не виню окромя себя. Как сказал один слепец – нет, не Гомер: «Повсюду я в Аду. Ад – это я». Он же – на все тот же сюжет потерянного рая: «Яростный поток вечно пылающей серы». Само собой, несет горелым, на то и огнь поедающий и неугасимый, но все лучше конечного ледяного озерца по имени Коцит в центре земли, коего надеюсь не достичь с учетом претерпелых мною земных мук. Еще неизвестно, кто больше напортачил: я – в жизни, или она – мне?

Знал всегда, что умру зимой, снег как саван, зима и есть смерть. Как сказал опять-таки не я (или все-таки я? память дает сбои, на что она мертвецу? что с ней делать на том – теперь на этом – свете?): такой мороз, что коль убьют, то пусть из огнестрельного оружья. Настоящий Ад – это Арктика, вечная мерзлота и все такое. Всегда предпочитал жар хладу, на этой почве – форточку закрыть, форточку открыть – разбежались с одной девулей, озеро огненное и серное лучше того ледяного, в которое вмерз Люцифер, будь проклят, но это все равно что пожелать ему долгих лет жизни, то есть вечности, ибо нет бóльшей вечности (если оных не одна и они сравнимы), чем осуществленное проклятие. Ужас тьмы, как сказал некий святой, но чего Иероним не просек, что эта тьма внутри тебя, твоя личная тьма, ты слеп, как Гомер, Мильтон, Борхес, слепой музыкант и все семь слепцов Брейгеля. Или их шесть? Округ свет и огнь, а в душе темно, как у негра не скажу где из-за политкорректности. Одно

утешает в этом мраке вечного огня, что и огонь, и тьма от Б-га, как при жизни утешало, что боль невнятицы – от любви и от любимой (пусть не любящей).

Петроний круто ошибся, полагая, что душа без тела играет. Тут тебе не до игр. Как я и сказывал, душа за время жизни приобретает смертные черты. Посему бестелесая претерпевает вполне телесные муки.

А кара, как ты догадываешься, язвит именно согрешивший член.

Нет, совсем не тот, на который ты подумала – зачем так буквально?

Совсем иной член души-тела. Как раз сам membrum virile, с которым еще при жизни были проблемы и который, как меня предупреждали сведущие патологоанатомы, первым сгнил и отпал, вроде бы избежал наказания за не такие уж многочисленные, как оказалось, грехи. Я – не Казанова, которого твой мудило (как его капоты? или за их отсутствием он теперь прыгает спьяну на ferri гондол?) спулил у Феллини и осквернил Венецию – передавай привет, коли ты с этим трудоалкоголиком днюешь-ночуешь в моей Венеции, бросив умирающего друга, а я – от него – Феллини, ежели повстречаю в этом самом перенаселенном месте: нас здесь тьма, не сравнить с вашим шариком, где смертность-рождаемость и прочая демография, зато у нас – сплошняком протекает вечность, то есть безвременье. Да и этот пиз*очет – я о Казанове – сильно, говорят, завысил свои любовные подвиги: 122 бабы за 39 лет сексуальной активности. А вот Артур Шницлер подсчитал в дневнике сколько у него было оргазмов за год – эстет, однако! Жил на кончике своего х*я (я про обоих). Вопрос: грех послушаться или ослушаться детородного зова, коли сам Б-г вменил в обязанность плодиться и размножаться генитальным путем, не дав альтернативного способа. Mio e Lui. Пусть Lui и не лучший вожатый, другого нет, без него как без рук, ха-ха.

Греховным признан совсем другой член моего грешного тела. То есть грешной души. Вот тебе открытие с того света, дружок: душа грешит еще больше, чем тело, а здесь воздается именно за намерения, а не за дела: и помыслить не моги! Ты уже, конечно, догадалась, какой одновременный член души и тела признан главным греховодником.

И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый…

Остальное – туфта. В чем родоначальник круто ошибся, так это в способе наказания согрешившего члена: ни о каком удалении языка, наподобие гнилого зуба, нет и речи. Я подвешен за язык на крюк как клеветник, претерпевая прелютыя муки различныя. Все мои попытки доказать, что это был грех не языка, что язык как раз безгрешен и невинен яко бэби, а грешны рука, мозг, сердце и, будь по-твоему, х*й – всуе, ибо здешние собеседники побивают меня каменьями моих собственных цитат о языке как праматери, альма-матер, родине, музе и прочее литературы. Говорил? Кто спорит – говорил, но Оден и Роб-Грийе талдычили о том же самом – где они? Ау! Нет, отвечают сверху, они не были так зациклены на языке, как ты. Язык был для тебя Молохом, в жертву которому ты принес поэзию. Да, говорят мне здесь, вначале было слово, но не в конце. Ты превратил слово в самоцель: хозяин слова, ты стал его рабом. Язык уничтожил тебя как поэта, заставил служить себе, а не поэзии. Поэзия, как и балет – Барышу привет, жду не дождусь, а то покалякать не с кем! – есть возможность невербального общения.

Каково мне выслушивать всю эту бодягу, а? Здесь не поспоришь.

А кто рядом в таком же подвешенном состоянии за сотворение из языка кумира, догадывашься? Вертаю взгляд вправо – Джойс за «Поминки по Финнегану», влево – Набоков за «Аду». Голгофа, хоть и без Христа.

Я-то думал, что Набока будут терзать в аду истребленные им в массовом порядке, без разбора и без нужды, бабочки. Энтомологический холокост! И он еще смеет упрекать Гоголя, что тот палкой колотил «чертовскую нечисть» – перебегавших дорогу ящериц, а Пруста – что отрезал крысам головы, когда мучила бессонница (на самом деле прокалывал их шляпными булавками)! Крысы, ящерицы, бабочки, без разницы – божьи твари с одинаковым правом на жизнь. Хоть бы раз, пусть опосля, пожалел о своих жертвах! Но эксперименты с языком здесь сочли бóльшим грехом, чем эксперименты с чешуекрылыми. Если успею, расскажу мою собственную историю с чешуекрылым – случилась аккурат в канун моей кончины.

Как видишь, соседи – так себе, но могли быть хуже. Представь Эзру Паунда с его лютым антисемитизмом на месте этих двух юдофилов!

Б-г миловал, но и с этими оба-два о чем калякать на вечном досуге?

Разве что о том же языке, а он яко таракан, вездесущ, неприкаян и вечен: оба переживут человека, и когда тот вымрет, тараканы будут калякать на человечьем наречии.

Нет, не жалею о своем грешном и празднословном. Когда даже воспоминания выцветают, что цветы в гербарии, остается – язык. Что жизнь, когда даже слава изнашивается! Языковые игры предпочитал любовным, последние отпали сами собой. Как там у классика? Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный… Он один сохранил мне верность, а я ему – нет: блуд с английским. Но там, увы, улица с потусторонним движением. Тьфу – односторонним. Как и любовь, которая есть луч, посылаемый любящим любимому, и отражаясь от него, возвращается к исходной точке – это по Прусту, но своими словами, потому что здесь нет книг, все книги остались на земле, а память мертвеца, даже свежеиспеченного… Ах, что говорить! Пусть жалуются живые, а мертвецы помалкивают.

Да и мало ли, о чем я трепался там, на земле! Я и сейчас праздно суесловлю, греша этим треклятым грешником, когда сочиняю тебе отсюда туда цидулу. Кто начал пить, тот будет пить, да? Мне уже не разучиться писать – даже на том свете. Все равно что. Заместо стихов, которым разучился на этом. Как говорил помню кто, догадайся сама: чернильная лихорадка в крови. А некий янки из Коннектикута – Перкинсом звать – целые полвека вел в Ливерпуле, Нова Скоша, дневник, пропустив только три дня по уважительной причине: такой мороз, что замерзли чернила в чернильнице. Как у меня в жилах стынет кровь.

Вот я и есть тот diarist что бы ни строчил: волшебные стишки, заурядные эссе, никакие письма.

Привык писать мертвецам не первой свежести, а теперь, сам мертвец первой свежести, – пишу живым. Сначала – моей кромешнице, как обещал: к тебе я буду прилетать, сны золотые навевать etc, etc, etc.

Теперь – тебе. Харон, кстати, оказался добродушым старичкомвзяточником, но ты знаешь: ворюга мне милей, чем кровопивец. О монетах, понятно, и речи нет, тем более драхмах, гребет только гринами – предпочитает налом, в крайнем случае – кредит кард. Хорошо захватил с собой Американ Экспресс.

Что сказать по существу? Что жизнь оказалась слишком долгой, а здесь, где покоятся нерожденные, и вовсе вечность коротать да еще в компании таких же отпетых, как я, язычников? Тебя, дружочек, не хватает, но мы расплевались перед моей смертью и скорее всего разминемся после твоей, если только тебе в грехи не запишут излишнюю суровость к моим грехам. Да и откуда знать, как наше слово отзовется!

О том, что Артем тебе больше, чем знакомый, и не подозревал. По привычке держал тебя в девушках. Как сказал не

я, а Вова Соловьев, которому тоже наше с кисточкой: все еще девочка, но уже не девушка.

Предупредила бы – был бы с ним поосмотрительней. И что ты в нем нашла (вопрос в сторону)? Сломал ему карьеру? Но не жизнь! Согласись: не одно и то же. Нет худа без добра – благодаря мне он подался в риелторы, вполне перспективная и прибыльная профессия, учитывая ваших будуших деток, детка, о которых лично мне и думать не хочется. Будь на то моя воля, я бы тебя вообще заспиртовал в том девичьем состоянии, в котором любил. Что делать, если именно такой ты осела в моей памяти, а память консервативнее, чем ее мнимый хозяин (на самом деле – раб). Уже́ дефлорированная ты не есть ты, хоть и нет хуже греха, чем невинность. Избавляясь от нее, мы избавляемся от первородного греха, да? В дохристианскую эпоху – как и теперь в постхристианскую, post aetatem nostram – считали иначе: утраченный стыд что сломанная целка: никогда не вернется. Моя Арина – матрона, мать семейства? Чтобы ты – и обабилась? Б-г миловал – я не дожил.

Сама знаешь, есть вещи несовместные… Пытаюсь представить тебя беременной – фу! Как говорила моя мама, краше в гроб кладут. Не есть ли дефлорация – знак времени, а вовсе не старение и не смерть? Что же до твоего боя, то работа риелтором (или риалтером? риаэлтером?) нисколько не помешает ему заниматься литературой (чур, только не русской! кому она нужна здесь? то есть там? да где угодно!), как моя профессура не мешала сочинять стишата. Ты считаешь, помешала? Голова профессора Доуэля? Не обо мне речь, а о твоем суженом-ряженом.

Ну, конечно, знал – не отпираюсь. Потому и завелся. Но и он меня подзавел. То есть ты. Надо же – притащить его сюда из Питера! А если это любовь? Как у меня? Не дай тебе Б-г, детка. Врагу не пожелаю. Любовь есть патология и уродство – сужу на основании собственного опыта. Я свое отлюбил. Liebestod, гибель любви. Как там у моего друга Горация про сирен, по-нашему – русалок? Desinit in piscem. Увы, все кончается рыбьим хвостом.

А что суть мои стишата? Следствие следствия, тень тени. Пусть уж лучше пишет стихи твой Артем – тебе, а не ты – ему. Не то чтобы хочу выставить себя вашим благодетелем, но и оправдываться: подлецу не к лицу. Или как там в вашей псевдонародной мудрости? Даже монстр имеет право на последнее слово – если не перед казнью, то хотя бы опосля. А смерть и есть казнь, которая предстоит каждому человеку, а не только убийцам и выродкам. Все мы – на death row, или, как изволил выразиться классик из нелюбимых, на роковой стоим очереди. Последняя в моей жизни.

Вопрос: выродок ли я? – куда более актуален, чем вопрос, с которым ты ко мне подъезжала: гений ли я? Могла бы сама догадаться, а так получался подъ*б. Увы, вопросы связаны.

И что есть гений?

Гений, как и даун, есть урод. Две крайности, которые сходятся, ибо за пределами статистического человека. Отклонение от нормы. Горбун тащит на горбу свой дар. Гений – не счастье, а бремя. Гений – раб своей гениальности. То есть судьбы. Как среднестатистический человек – раб своих гениталий, и институт евнухов – не как стражей в гареме, а как высших сановников – оправдан высокими государственными соображениями. Гений – на поводу и на поводке своей гениальности.

Как следствие – нравственные загибоны. И вые*оны.

– Ты себя чувствуешь гением? – вопрошала ты меня с присущей тебе, как и всем биографам, бестактностью. То есть напрямик.

– Я себя чувствую монстром, – не ответил тебе я, потому что такой ответ был бы неверно истолкован как кокетство в ожидании опровержения, которого бы не последовало, даже сделай я паузу, ибо ты набралась правду-матку-резать от своей маман, которой тем не менее привет, как и ее супругу. А уж теперь – после истории с Артемом – мне и вовсе нет пощады. Что я монстр, ты теперь убедилась на собственной шкуре. То есть на шкуре близкого тебе человека.

А если я родился монстром? Как некто, скажем, шестипалым либо, хуже того, минотавриком? Так что же, всех уродцев в младенчестве с Тарпейской скалы сбрасывать? Нет, у нас, евреев, так не приято, что с большим удивлением отметил еще Тацит, воспитанный в иных – мягко говоря, римских – традициях. А теперь, сама видишь, весь ваш христианский мир взял эту нашу гуманитарную идейку на вооружение, и даун или уродец – на каждом шагу. Коли монстру сохранили жизнь, то должен он как-то уживаться с самим собой, да? А совесть – это такая прокладка между Я и Сверх-Я. Если я ничего не путаю, д-р Зигги.

А что, если любой гений монстр? Не в оправдание и не в утешение, а исключительно в теоретическом плане. Лично мне судить трудно, потому что окромя себя гениев не встречал: за других не скажу.

Конечно, все мы уродцы в той или иной степени. Человечество есть паноптикум, но в этом равенстве гении первые среди равных, ибо равны в бóльшей степени, чем другие. Вот тебе еще один пример, как из двух чужих афоризмов можно сварганить свой собственный. И средь детей ничтожных мира – не

быть может, а совершенно точно – всех ничтожней.

Кто, детка?

Я.

Если хочешь, гений дает своим латентным уродствам волю, доращивает их до уровня характера. Свой ад носит в себе, а потому объективный ад, в новой среде – для него не внове. Ну, то, что гений и злодейство совместны – это и ежу понятно, хоть Пушкин и поставил знак вопроса. А сам Пушкин? Вот Лимошка даже его причисляет к священным монстрам.

Как знать. Я не спец – ни по гениям, ни по монстрам, а только по самому себе: монстру – уж точно, а может, и гению, кто знает. Сюда бы синьора Ломброзо, слыхала такого? Увы, в наш – теперь ваш – политкорректный век вышел не токмо из моды, но и из употребления. Он гениальность и преступность равнял с безумием. А как насчет обратного равенства?

Всякий ли гений – монстр?

Каждый ли монстр – гений?

Разгуливающий на свободе масскиллер (тот же Потрошитель, к примеру, а как веревочка ни вейся – это для трусливой заурядности) или попавший в лапы правосудия сексуальный маньяк (сколько угодно!), да хоть багдадский вор – не есть ли любой преступник высшего класса гений в избранной им деятельности? Как, скажем, Моцарт в музыке?

И чего мы на этом застряли, а?

Не слышу.

Знаешь, в чем разница между мужиком и бабой? Помимо того, что у вас нет чувства вины и физиологического оргазма. Вы думаете, у вас в запасе вечность, мы же чуем, что смерть притаилась в нас, как змея: выжидает. Есть, конечно, тупари и среди нашего брата, но у меня тонкачество в крови. Даже кожа тонкая, вены просвечивают с детства, как не у всех ашкенази. Я рано взрослел, в обгон сверстников, а потом стремительно старел, дряхлел, умирал, точь-в-точь, как тот мальчик в рассказе Айзека – нет, не Азимова и, вестимо, не Ньютона. Смерть как таблица умножения – с ней не поспоришь. Родиться – это начать умирать. С младых ногтей знаю, как жизнь моя скукоживается. А под конец – идефикс. Как у Паскаля. Страх смерти вообще, а не только собственной. Ну ладно я, но Моцарт, Бах, Шекспир – даже они не избегли общей участи. Что больше всего смущает, так это одноразовость жизни. Жизнь напрокат. Вот недавно – в той еще жизни – безносая постучалась во время бенца, но я не открыл. Робко так постучалась, проверочно, хотя пульс рваный, боль острая, грудь в обруче то ли в корсете – ни вздохнуть, ни пернуть. Визит старой дамы. У кота девять жизней, а у человека? Пару-

тройку своих я уже прожил.

Прощально глянул на книжные полки. Не знаю, с кем жальче расстаться – с читаными или нераскрытыми? А вдруг именно в них то самое? Так и не дочитал «В поисках утраченного времени» – не успели перевести при мне на русский, а вроде именно в последнем томе разгадка времени, что и меня цепляло.

В следующий раз, боюсь, она взломает дверь. Я про костлявую.

Мгновение – и целый мир рухнет в небытие.

Папа говорил: сдаю. Мама: пора на свалку. Оба: годы берут свое. Но сколько им было и сколько – мне? Старость – это расширение словаря в нежелательном направлении медицины и фармакологии. А какой словарь у смерти? Пользуюсь пока старым. То есть устарелым – как и при жизни. Ты думала, я в отпаде, когда ты меня поправляла: не предки, а родаки; не сникерсы, а кроссовки; не трахаться, а чикаться? Не в отпаде, а в отчаянии. Там я работал с голоса, схватывал на лету – улица, лестница, тошняк (мы говорили тошнилка), а здесь добираю из словаря и от новоприбывших. Помнишь, как на тебя набросился? Не в том смысле, понятно. А на Юза! Моцартом обозвал. Хоть я и не в восторге от того же чикаться. Говорю, понятно, о глаголе, а не о действии. Родаки – да, кроссовки – куда ни шло, но почему чикаться? Но это вторично: нравится не нравится – спи, моя красавица! Вот это и есть моя оптимистическая трагедь – потеря языкового кода. Господи, куда меня занесло! Чужой город, чужая страна, чужое время, чужой язык. Иссяк родник родной речи. А не податься ли вместо Сан-Микеле на Брайтон и пройти мертвецом курс живой русской речи? Или инкогнитó на родину белых головок?

Единственная радость-сладость изгнания – все мои оседлые друзья, враги и подруги навсегда остались в том возрасте, в каком бросил их на растерзание Левиафана. Ее включая. Только я шнифты закрою и т. д. и т. п. Все остались живы – и Левиафан сыт и человеки целы. Никакой ностальгии по людям и березам, здесь навалом тех и других, зато дикая тоска – по русской новоречи. И по староречи – тоже. Мой нью-йоркский кордебалет – мертвому припарка. Мои склеротические усилия – услышать, схватить, запомнить. Я уже вхожу в русскую речь своим стихом, но не русская речь – в меня. Словарь – подпитка, но нельзя заменить роман с языком на роман со словарем. Небольшая вроде бы такая ранка – с Атлантический океан шириной, а так и не срослась, бля. Зато фокусное расстояние: отсюда виднее, что там у них происходит. Ничего хорошего. Вид у родины плебейский что кирпичный завод. Как обустроить Россию, ха-ха! Да гори она

синим пламенем.

Как и любая другая страна – от Америки до Израиля. Как все это ничтожно по сравнению с вечной болью любви, измены, смерти. Разве можно чем-то еще интересоваться кроме самого себя!

Как говаривал старик Гораций, coelum, non animum mutant, qui trans mare currunt. Тем более – через океан.

Кстати, о ностальгии. Набираю, помню, Москву, прошу главреда.

– Перезвоните через пару минут. Он на линии.

– Мне сложно. Я звоню из Нью-Йорка.

– Не надо было так далеко забираться.

Пока я жду переключения на другую линию, дивчина пересказывает кому-то наш разговор, гордясь своей репликой. Ее юмор стоил мне 30 долларов.

Билл придет уже в мое отсутствие.

Жизнь изговнилась, не стоит вы*банного яйца, я выпал в осадок.

Удачи в микромире и полный завал в макро. Не звезда, а звездочка, осколок, исчезающий метеорит. Пора, мой друг, пора – ввиду хотя бы исчерпанности жизненных ходов, поэтических сюжетов и родной речи. Как неплохо сказал плохой поэт, отцокало Пегасово копыто. Еще лучше у хорошего поэта: «Того уж Вяземского нет». Смутные какие-то видения всплывают в памяти, но что это – ретро или фэнтези? И спросить больше не у кого. Свидетели детства, отрочества и юности все повымерли или лгут – или поклялись молчать. Как не сказал Шекспир, ленивое воображение не дорисует остальное. Даже эрекция – факт памяти и воображения, а не физиологии.

Кранты.

Так странно просыпаться утром – еще жив. Возраст – это преодоление земного притяжения: каждое утро вставать, надевать штаны, расстегивать ширинку, застегивать ширинку, чистить зубы, доставать из-под двери «Нью-Йорк таймс», кому-то звонить, с кем-то встречаться. Однообразный, постылый ритуал. Я вступил во владения Б-га, где мое волеизъявление ровным счетом ничего не значит. Конечно, мы все ходим под Ним, нас всех подстерегает случай, над нами сумрак неминучий и проч., но сейчас уже не случай, а закономерность. Только не надо, прошу тебя, что случай псевдоним Б-га, когда Он не хочет подписываться своим именем. Опять твой Ежи Лец? А кто? Запамятовал.

Цитату помню, хозяин из головы выскочил. Давно пора провести всеобщую национализацию афоризмов и парадоксов. Зачем дуб, когда есть желуди?

Жизнь состоит из одних цитат. Пронумеровать все цитаты и вызывать по номерам нужную. Как в том анекдоте о пронумерованных анекдотах: шесть – все ржут, 18 – рассказчик схлопотал по морде, при дамах такие анекдоты не рассказывают.

Знаю, что знаете все мои анекдоты, цитаты и стихи, а потому не место мне среди живых. Рассказать, что ли, Набокову или Джойсу? Не дойдет.

Если нам не принадлежат наши бабы, то наши мысли – тем более.

Про тела и говорить нечего.

Самый эпиложный эпилог моей жизни.

Плохел, плохел, пока не помер.

Мое тело стало обременительно, обрыдло, остое*енило мне. Инвалид по всем статьям – от сердечного костыля до бифокальных стекол и вставной челюсти. Зато все как на подбор, ни один не ноет и не шатается. В остальном жизнь зае*ла, а смерть доё*ывает. Какое тело получает человек от Б-га – увы, не в подарок, а напрокат: совершенное, послушное, приносящее тьму радостей и наслаждений! И в каком виде возвращает, умирая! Почему не на всю жизнь даны человеку зубы, сетчатка, слух, сердце, желудок, член, и все постепенно выходит из строя?

Память включая. Еще не афазия, но уже амнезия. Кретинею понемножку. Кто там стоит в очереди за моим автографом? Мистер Альцгеймер?

Память есть вечность, а беспамятство – смерть. Как говорят старики: то, что не вспоминается, не стоит и вспоминать. Зачем старику память?

Лишние переживания. Потому и сбои, пока вовсе не атрофируется – чтобы легче было расстаться с жизнью. Своего рода анестезия. Беспамятство – прижизненная смерть. А уж на том свете с ней и вовсе делать нечего. Зато никто больше не обзовет злопамятным слоном или графом – как его? – Монте-Кристо. Корни высохли, жизненные соки иссякли, воспоминания вымерли, батарейки сели. Человек умирает постепенно, свыкаясь со смертью. Даже при нормальном цикле он сначала теряет вкус к жизни, а потом уже и саму жизнь. Причина и следствие. Жизнь как ремейк. То есть тавтология. Она же пародия. Дежавю.

Все было встарь, все повторится вновь.

Жизнь как ремейк и есть гиньоль и смерть. Я выполнил все функции, возложенные на меня Б-гом. Произвел потомство – даже два, а может, и три, если считать девочку от кордебалетной девочки, сочинил стишки – есть неплохие, и даже от Б-га, получил Премию. Что еще?

Жизнь сошла на нет. Отпутешествовал. Отлюбил. Отписал.

Отчитал: книги все читаны-перечитаны, и само собой отпала одна из главных функций моего организма – чтение: нечего больше читать, кроме последнего непереведенного тома Пруста. Но ради него одного тянуть лямку? Меняю непрочитанную книгу на ненаписанный стишок! В моей сорной памяти осели книгохранилища. Поэзия – вся! – наизусть. Что русская, даже переводная, Хикмет, Тувим, Галчинский и прочие оттепельные коммуняги, на которых взошел, пока не перескочил на английских метафизиков, – стихи вбиты в мозг, как гвозди.

Обречен на тавтологию: в чтении, в писании, в любви. Не только любовь, но и секс остались позади, о чем я тебе жалился при жизни. Потому у меня больше ничего и не выходит ни со стишками, ни с бабами, ни с любовью, ни с чем – я исполнил свое предназначение на земле.

Как сказала Сусанна одному из старцев: «Кому ты нужен, старый хрен!» Кому из – без разницы. Оба – хороши. А в самом деле, окажись на их месте два молодца, как бы тогда реагировала эта библейская Пенелопа? Да я и в изначальной сомневаюсь – десять лет хранить верность своему мудаку? Верность – это еще не любовь. Может, даже противоположна любви. А сроки у них в эпосе чисто эпические: Троянская война – семь лет, странствия Одиссея – десять лет, странствия Моисея – 40 лет: чтобы померли все, кто еще помнил, что в египетском плену было не так уж худо. Память перетасовывает прошлое. Кто знает, может, мои любовные несчастья и были моим единственным в жизни счастьем? В этом мире желаний, ревности и измен, настоящих и мнимых – сам черт ногу сломит. Возьмем сны, которые отпускают наши тайные желания. Ибо – бард прав – мы из той же материи, что наши сны.

Снилась мне как-то мама, красивой и желанной, какой я, поздний ребенок, знать ее не мог, да и не уверен, что была когда красавицей.

Или такой ретрово-хреновый сон. Вот только не помню – там, на земле, или уже здесь. Сидим мы с моей куклой в плюшевой утробе синема, помню даже, что за movie, не имеет значения, глажу рукой ее колено, продвигаясь известно куда, а там натыкаюсь на чью-то еще руку.

Well, well, well. Это как в том анекдоте про туннель. «Если бы я знал, что такой длинный…» – говорит муж жене. – «А разве это был не ты?» Но то в анекдоте, а в жизни, то есть во сне… Жизнь и есть анекдот, коли родная пи*да такая гостеприимная. Прошу прощения: вагина. То есть влагалище – хорошее русское слово, сама понимаешь, от «влагать».

Представь: встречается моя рука с рукой-предшественницей, и что, думаешь, дальше? Пожимаем друг другу руку. Там. В

темной плюшевой утробе. Нет, не в синема, а в вагине. Я не знаю – кому, и он не знает – кому. Или знаем? То есть прощаем друг друга? Хоть они меня и поимели самым мерзким образом, по полной программе, стало мне вдруг обидно и как-то все равно. Зато теперь, отсюда, думаю: а чего, собственно, прощать? Нашли наконец друг друга, хоть искали нечто иное. Место встречи изменить нельзя. И не надо. Колумба помнишь? Искал Индию, нашел Америку. Вот мы с ним оба здесь и оказались. Оба – без нее.

Ну что за предсмертная бредятина! В чем ее эзотерический смысл?

Если есть?

Нет, ночные страшилки меня уже не страшат. Чувствую, что вот-вот умру и что вечен.

А теперь не сны, а явь. Неровно дышишь к тварям Божьим? Вот тебе парочка историй из Брема.

На Лонг-Айленде есть зайка, который – единственный! – заставляет меня усомниться, ту ли я выбрал профессию в земной жизни. То есть: та ли профессия выбрала меня? Само собой, из литературных – какой из меня, к черту, врач, адвокат или инженер! Нет, никаких комплексов, но поэтический завод кончается раньше прозаического, поэт как балерун и проч. А зайчишку этого проклятого я повстречал, когда весь мой поэтический дар был израсходован, иногда всуе, увы. Да и не уверен, что косой для стишат подходящий – нет, не герой, не сам по себе, как у Пришвина – Паустовского, но – как сюжет.

Так вот, этот лонг-айлендский заинька каждый раз поджидает меня в Хантингтоне, на повороте в Камсетт-парк, и бросается под колеса. Путаю одного серого с другим? Ни в коем разе. Знаю как облупленного – мой персональный заяц. Торможу в последний момент, выбегаю, уверенный, что раздавил, но никаких следов, будто сон, а на обратном пути этот паршивец сидит как ни в чем не бывало на обочине. Как-то даже обнаружил на машине кровавые пятна – оказался раздавленный помидор. Или у него девять жизней, как у моего Оси и у моего Миссисипи? Чего он меня дразнит, этот заяц-самоубийца, не знаешь? Может, он посланник Божий, а? Какой-то мне знак, а что за знак – пас. Не врубаюсь – и всё! Пришвин, тот, помню, написал, что вся тайна мира – в зайце. Ах, зачем я не прозаик!

Почему о вислоухом вспомнил? Не поверишь! По аналогии с тараканом, а тот явился мне аккурат после твоего сегодняшнего звонка – в разгар моей предсмертной депрессухи. Если только депрессия не является нормальной, адекватной реакцией все еще мыслящего по инерции тростника. Как эрекция, только с

обратным знаком. «Привет из Венеции», – сказала ты, а я как раз наладился туда на вечное, сама понимаешь, поселение. Хотя бесчувственному телу равно повсюду истлевать – тем не менее! Когда-то, в юности, мечтал там умереть, но как-то случилось мне там помирать на самом деле, совсем расквасился, да еще колотун взял, что никак не объясниться из-за их тарабарского наречия, который у меня на нуле, как у них наш инглиш. Сердечный приступ, помноженный на приступ страха. Есть от чего запаниковать. Как говорят в народе, panic attack.

Приснилась мне, помню, ospedale, куда меня отвозит роскошная такая «скорая» со скрипичным грифом – одним словом, гондола. Та самая ospedale, что напротив Санти Джиовани е Паоло, обожаю фасад сей чиезы, а задами она выходит на фондамента супротив Сан-Микеле, где я окажусь в обездвиженном состоянии post mortem. В больничке этой, понятно, нелады с языком, но сначала один, потом другой и наконец все айболиты свободно говорят по-русски без никакого акцента, а больничные стены уставлены стеллажами с книгами, сплошь русскими, и я обнаруживаю разрозненые тома полного собрания сочинений родоначальника. Боль отпускает, бенц позади, ухожу со стопкой этих фолиантов под мышкой, договариваюсь с докторами, что буду пользоваться их библиотекой регулярно. Только вот книжная ноша не по силам, острое такое бо-бо, от которого и просыпаюсь.

Еле ноги унес. Вот тогда и прозвал Скиталией. Бесчувственному телу как раз тарабарщина не помеха, а вот пусть не чувственному, но коечто еще чувствующему – как то боль, как сейчас например… Короче, решил умереть все-таки в Америке, а в Скиталию вернуться в бесчувственном состоянии.

Вдруг, уже на исходе жизни, твой венецианский звонок. Неспроста, думаю. Звонок есть знак. Родной твой голосок оттуда как намек, что пора сматывать удочки. Я и сам знаю, что пора. Пора, мой друг, пора.

А тут еще этот чертов таракан, о котором обещал и вроде бы успеваю, хотя слева бо-бо и грудь как обручем и в спину, бля, отдает.

То есть никакой он не таракан, пусть и похож, но как сквозь лупу – гигантских таких размеров водяной жук, хрупкое и ломкое ископаемое, совершенно безвредное, хоть и чудище.

С Грегором Замзой знакома, да?

Он самый.

Вылитый!

Миссисипи их обожает, но без взаимности. Зацепляет одного когтем, переворачивает на спину, а потом сидит над ним, как

Гулливер, и наблюдает как тот шевелит конечностями. Чистый садист, что говорить. Коту потеха, а каково лжетаракану? Как только тот затихает, Миссисипи его нежно так лапкой трогает – тот опять сучит своими ножками-ручками.

Только на этот раз я не выдержал, отнял у кота живую игрушку и – в окно. Взял с полки Кафку, читаю про Грегора Замзу, перевоплощаясь в него, как тот в жука. Овидиев этот рассказ про меня: мне тоже в тягость мое тело, которое давно уже и не мое. Теперь представь: внизу гости, гостья с косой у порога, я с Францем и Грегором за письменным столом, за окном ночь, вдруг Миссисипи вскакивает на подоконник и носом прямо в оконную сетку. Включаю свой полицейский фонарик, направляю луч в окно. Жуть! По другую сторону сетки, цепляясь конечностями, сидит этот тарканище из динозавровой эпохи и вращает на меня свои шарнирные шнифты. Приполз обратно, хочет домой. Может, у него здесь жена, детки. Как у меня. Щелкаю по сетке – он снова летит в преисподнюю.

Как вот-вот я. Думаешь, вернется? Имеет такое же право на этот дом, что и я. Хоть и не платит рент. Даже большее, потому что я – не жилец.

А где мой дом?

В Сан-Микеле? Если реэмигрировать, то только в Скиталию!

Господи, как я устал!

Живу через силу. По инерции. Стыдно, что отсвечиваю. Перед друзьями, перед врагами, перед будущей вдовой, перед будущей сиротой, перед собственными стишатами, которых разучился писать. Весь выложился. Да и то сказать: старомодное занятие в виду грядущего – точнее нагрянувшего – хама. Он же – варвар. Последние проблески сознания, секса и таланта. Жизненный мизер. Хорошо сохранившийся труп. Живой трупешник. Отходняк-доходяга. Какое там вдохновение – редкие, внезапные и короткие, не хватает на стишок, вспышки. То же – с сексом: не донести до цели. Что предпочтительней: Эрос без Венеры или Венера без Эроса? А когда ни того, ни другого? Отсутствие выбора.

Я свое отлюбил и отъе*ал. Соскочил с этого дикого жеребца. Живу на пределе. Пора делать ноги отсюда. Не осень, а смерть патриарха.

Думаешь, сам не знаю, что мысли, а тем более разговоры о смерти – бессмысленны, непродуктивны, постыдны. Именно поэтому мертвецам место в могиле, а не среди живых. А я умер задолго до своей преждевременой смерти. Б-г давно махнул на меня рукой. Кого хочет наказать, лишает разума, да? В моем случае, производительной силы. Разве это жизнь, если хер

набирает силу только в минже – когда набирает, а когда не набирает? То же со стихом, которому ну никак не набрать силу, спасает остроумная концовка – или, наоборот, выдает с головой. Качество жизни – как и поэзии – снизилось настолько, что стоит ли тянуть лямку?

Были кризисные, застойные, тупиковые времена, от самоубийства останавливало только буриданово сомнение, в какой пальнуть висок.

Много на эту тему размышлял, а размышление отвращает от действия (привет Гамлету). В чем преимущество самоубийцы перед остальными смертными? Он точно знает, когда тю-тю, а мы тщетно пытаемся угадать. Как я, например. Или Пушкин, так и не отгадавший годовщину своей смерти. Самоубийство и есть преодоление этой тягостной неизвестности. Оракул или цыганка – паллиатив. Иное дело – когда берешь судьбу в собственные руки. Самоубийство есть посягательство на прерогативы Б-га. Как и онанизм. Единственное, в чем мы можем Его – нет, не победить – но преодолеть. Да, ценой жизни – собственной или потомства, но она в любом случае не бесконечна, а быстротечна. Ценой остатка, который есть неизвестность. В моем предсмертном возрасте хронологическая разница была бы и вовсе незначительной.

Но именно поэтому и отпала необходимость, когда сама la morte стучится в дверь. А потеря тяги и воли к жизни такова, что нет сил и на самоубийство. Лишен права на самоубийство – умер самым что ни на есть натуральным образом.

Помнишь, мы с тобой придумали совместный афоризм: умирать, как и жить, надо молодым. Самоубийством тоже надо кончать молодым.

Короче, помышлял – и размышлял – о самоубийстве, а однажды даже вскрыл себе вены, когда моя роковуха спуталась с моим дружбаном, в лучшие годы моей жизни. Вспоминаю о них с ностальгической нежностью и пускаю слезу, когда настал предсмертный беспросвет – от физической немощи до тотальной импотенции. Включая поэтическую. Выяснилось, что поэзия – дар таинственный, ненадежный, не на всю жизнь. В те самые худшелучшие годы моей жизни был выход в поэзию, спускал пары, а теперь они скапливаются перед окончательным взрывом. Так и зовется в народе: разрыв сердца.

А теперь про Доссо Досси. Слыхала такого? А жаль. Он проиллюстрировал нашу с тобой сентенцию еще в XVI веке. Самый остроумный ренессансный художник. Пусть маргинальный, но я предпочитаю его всеядному Леонардо, слащавому Рафаэлю и даже Микеланджело, стишки которого

предпочитаю его мраморам. А мой Доссо Досси – живописец-аллегорист. Очень хорош у него Зевс, рисующий – не отгадаешь! – бабочек! И ноль внимания на жалобы Добродетели, а та недовольна людьми и богами, что ее игнорируют или насмехаются. Между Зевсом-живописцем и ябедой-Добродетелью – Гермес, он прикладывает палец к губам, чтобы она не потревожила Мастера. Добродетель, представляешь, ждала приема у Зевса целый месяц, да так и не дождалась! По аналогии – Пушкин на полях статьи Вяземского:

«Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона». А какая прелесть, что Громовержец рисует не что-нибудь величественное, под стать ему самому, а именно бабочек.

Этот феррарец далеко за пределами своего XVI века, скорее в духе Оскара Уайльда или Россетти – не само Возрождение, а его стилизация в духе прерафаэлитов.

Само собой, не мог этот эзопоязычник пройти мимо хрестоматийного тогда сюжета «Три возраста». Сколько я навидался в Италии вариаций на эту вечно актуальную тему! Но лучше, чем у Доссо Досси – ни у кого! Хоть до третьего возраста я и не доживу, вот потому и западаю на этот сюжет. Феррарец самый пойнт схватил. Дети с одной и старики с другой стороны завидуще подглядывают за центральной сценой: молодые занимаются любовью. Именно: только молодой е*ущийся мир и стоит внимания. Думаешь, мне на том свете вместо мочи сперма стукнула в голову, тем более крантик один и тот же? Здесь нет ни мочи, ни тем более спермы – один мозг. Да, голова профессора Доуэля тире Бродского – как опыт метафизического существования.

Отстоявшийся вывод моей неудачной по большому счету жизни: единственное сто́ящее (и стоя щее) на земле занятие – секс. Или стихи. По сути – одно и то же. Базис-надстройка, субстанция, да хоть сублимация, хотя сама жизнь со смертью суть сублимация стишков и прочей творческой эманации индивидуума. Остальное – лажа. А мы с Миссисипи всего этого, увы, лишены: он – кастрат, я – мертвец. Отколоколили наши с ним колокола. Из всех людей, кого знал, ближе всего оказались… Нет, не бабы и не друзья – коты! Вот гляжу я на него, а он глядит в пространство.

Мяу.

Тебя все еще колышет, с чьим именем на устах умирает рыцарь прекрасной не во всех отношениях дамы? Вариантов множество – от мамы до фафы. Как и имен. Да хоть Миссисипи, хоть и длинновато, ты права. Тем более для последнего дыхания.

Выбирай сама, мой Босуэлл, тебе запросто – как моему псевдобиографу. Какое выберешь, такое и произнесу, евангелистка чертова. Евангелие от Иуды. А думаешь, канонические Евангелия пришлись бы Иисусу по ноздре? Ты напишешь обо мне книгу, но не ту, которую я бы хотел о себе прочесть. Потому что биограф должен быть объективен, а у тебя появился субъективный фактор: обида на меня за Артема. Вот ты и покатишь на меня бочку – бочку дегтя в ложке меда. Так, кажется, гласит пословица? Или мне снова изменяет память? С пьедестала – мордой в грязь. Фейсом об тейбл, как говорят на Брайтоне. Не зарекайся: ты меня предашь до первых петухов.

Какая в конце концов разница, откедова письмо – с того света или из его предбанничка, в котором в предсмертной депрессухе жду не дождусь околеванца? Слово перед казнью, как сказал некий чех с петлей на шее. Как живой с живыми говоря, хотя уже мертв. Знала бы ты, какая тонкая, прозрачная, невидимая грань отделяет жизнь от смерти!

Письмо на тот свет, письмо с того света – почта в один конец. Обратный адрес в таких письмах не так уж и существен – можно и не ставить. Как и сам адресат – чистая условность. To whom it may concern.

В вольном переводе: письмо в бутылке – тому, кто найдет первым.

Всем – и никому.

Послание важнее как получателя, так и посылателя (сама знаешь куда), а потому пусть будет анонимно. Мой совет: коли у тебя такой писательский зуд и соблазн непреодолим, назови меня инициально: ИБ.

Что в имени тебе моем, коли мне самому оно больше не нужно? Имя – само по себе, я – сам по себе. Пусть буду узнаваем, но не узнан.

– Как тебя звать, прекрасная маска?

– Я – ИБ.

Я бы, конечно, мог надиктовать тебе из могилы автобио длиной в жизнь, но масло масляное: я уже все сказал о себе в стишатах. Как там говорят на нашей географической родине? Котлеты – отдельно, мухи – отдельно. Стихи стихами, а биография биографией. А ты не путаешь, птенчик, биографию с ро́маном, а ро́ман со сплетней? Видеоряд моей жизни тянет на ро́ман, а какой ро́ман без сплетни? Чем отличается сюжет от сплетни, а сплетня от метафизики? Тем более покойник любил то и другое: перемывать косточки и витать в эмпиреях, куда он в конце подзалетел навсегда. Привет из эмпирей. Взять классиков.

У Достоевского все ро́маны держатся на сплетнях, «Горе от

ума» – сюжет-сплетня, а уж такого любителя сплетен, как Пруст, во всей мировой литературе не сыщешь. Вот тебе жанровая подсказка: романсплетня. Чем не подзаголовок?

Тем паче, к тому времени, когда ты закончишь мое псевдо– (ибо я под псевдонимом) жизнеописание, будут исчерпаны и выродятся в пародию все прочие способы постичь меня в литературоведческом, тем более в мемуарном жанре. Любые мемуары – антимемуары, роман автора с собственной памятью, а та – известная сказительница-исказительница. У слова вообще реваншистские наклонности: добрать то, что упущено жизнью. Знаю по себе. В мемуарах не меньше вымысла, чем в ро́мане, зато ро́ман не притворяется. Наоборот! Лучше откровенный фикшн, чем лжемемуар. Когда человек клянется говорить правду, только правду и ничегошеньки кроме правды, ему ничего не остается как лгать. Мемуары сочиняют лжесвидетели, ро́маны – правдолюбцы.

И запомни, s. v. p.: документ в ро́мане выглядит квази, реальный герой проигрывает рядом с вымышленными. Остранение, да? Осторожней с фактами: сама знаешь, больше фактов могут лгать только цифры.

Пиши и не оглядывайся на будущего читателя. Паче – критика. Помнишь, Конан Дойл написал о профессоре Мориарти: его исследование достигло таких высот чистой математики, что во всем научном мире не нашлось специалиста его отрецензировать. То, о чем мечтал прототип твоего героя, дорожа мнением кота о себе больше, чем читательским.

Пиши вровень с героем, не пресмыкаясь и не снисходя. Но и без подъё*а, please.

Тебе предстоит сыграть мужскую роль, но я всегда был убежден, что неудачи с Гамлетом оттого, что его играют мужики. Два исключения:

Сарочка Бернар и Зиночка Райх. Одолжи у своего бойфренда на время яйца. Привет ему с того света, пусть простит мертвеца. Кто спорит, peccadilo, бес попутал – не узнал в нем самого себя, каким был и перестал быть. Вот и потерял связь с самим собой. Не узнать себя – на снимке, в зеркале, в ближнем – есть самоубийство. Передай Артему, что в метафизическом смысле я уже наказан, строк постыдных не смываю, у всех прошу прощенья, хотя за миропорядок и его бардачное устройство прямой ответственности все-таки не несу.

Жалобная книга – на небесах.

А потому никаких соплей в связи с моей преждевременной кончиной. Во-первых, покойник этого не любил, во-вторых, никакая не преждевременная – я прожил через край и остаточные годы воспринимал как принудиловку. Вот тебе последняя цитата,

а другие пусть рыщут в поисках ее источника:

«Лицо ее закройте, мои глаза ослепнуть могут —

Столь юной умерла она…»

«Не думаю. Несчастие ее, Что прожила так долго».

Рефрен: умирать надо молодым.

Главное, мой друг, соблюсти пропорции. Напиши о человеке, похожем на меня, чтобы сделать меня похожим на человека, а не на памятник, которым я стал при жизни. Сам себе и сотворил сотоварищи, кто спорит? Зачем поэту пьедестал? Из инстинкта самосохранения, детка: памятник пуля не берет. Вот и забронзовел, хотя мечтал о мраморе.

Разве я не предлагал установить на постаменте вместо меня – его? Lui.

Сделай меня похожим на человека, детка, а не на монстра. Памятник и есть монстр, я бы сам свалил с пьедестала, да поздно: только тут усек.

Сделай меня похожим на самого себя, каким я был и перестал быть.

Сделай Бродского похожим на Бродского больше, чем он сам.

До встречи в Венеции.

Жди меня – я не вернусь, как не сказал муж АА. Или сказал?

Привет меньшинству. От большинства.

Покедова.

Будь з.

Дальнейшее – неописуха, как сказал напоследок сама знаешь кто.

Мяу.

Преданный тобой, но преданный тебе до и за гробом –

Virtually yours, Отгадай кто, детка!

27 января 1996 года, ночь. Или уже 28 января? Как у вас в Венеции давным-давно.

Brooklyn, NY

P. P. P. P. S. Воленс-ноленс вдова передаст тебе это письмо с причиндалами (стишата, рисунки, фотки), а ты уж поступай в меру своего разумения. Вот и долгожданный стук – пошел открывать дверь. Пока сама не взломит. Найдут под утро лежащим на пороге, морда в крови, очки разбиты, без признаков жизни, коих было мало и при жизни. Ниоткуда с любовью.

Приложения

Канва жизни Иосифа Бродского
Даты. События. Комменты

Скорее даже не канва, а компендиум жизни ИБ, но в отличие от официальных и академических хронологий сделан упор на значительные и знаковые явления – опять-таки скорее судьбы, чем жизни Бродского. Отдельные параграфы прокомментированы или проиллюстрированы в соответствии с драйвом и концепцией книги, конспектом которой эта «канва жизни» является, а потому даны ссылки не только на тексты ИБ, но и на соответствующие главы этого издания. Личный элемент в отборе фактов и их трактовке неизбежен: жизнь ИБ дана глазами его питерских друзей Владимира Соловьева и Елены Клепиковой. Тот же, к примеру, турнир поэтов – Бродского, Евтушенко и Кушнера – в нашей ленинградской квартире, единственное, а потому историческое совместное выступление трех этих поэтов (вместе с его гипотетическими последствиями) представляется автору куда более важным, чем указываемые в хронологиях присвоение почетных званий, случайные знакомства, встречи и совместные выступления ИБ с другими поэтами. Зато сведены к минимуму перечисления полученных Бродским наград, премий, званий. Кто знает, может такая субъективная точка отсчета – plane of regard, как говорил покойник – приближает нас к объективному абреже его жизненного маршрута, который в его случае оказался судьбоносным.

24 мая 1940. В Ленинграде в клинике профессора Тура на Выборгской стороне родился Иосиф Бродский, единственный ребенок в мещанской еврейской семье фотографа Александра Ивановича Бродского (1903–1984) и бухгалтера Марии Моисеевны Бродской (в девичестве Вольперт, 1905–1983). Несмотря на то что прадед по отцовской линии был из кантонистов, ребенок был по настоянию матери тайком обрезан и также тайком крещен приходящей няней – по нулям. Или как писал поэт-искровец Дмитрий Минаев, хотя совсем по другому поводу:

«…вдвойне убийственный обряд: как христиан их здесь крестят и как евреев обрезают». Назван Иосифом в честь Сталина, портрет которого висел над его детской кроваткой до самой смерти вождя. До восьми лет рос без отца, пока тот служил в армии с начала войны до 1948. После его возвращения отношения между отцом и сыном не сложились, сплошь

конфликты: чуть что, старший Бродский хватался за ремень. «… чья речь уже давным-давно чуждается любых глубин духовных», – напишет ИБ об отце в неоконченном стихе. Отношения с матерью – на сугубо физиологически-кулинарном уровне. Безлюбая и бездуховная семейная атмосфера травматически действовала на ИБ и способствовала его нервическим приступам и фобиям, когда, его словами, «психика садится».

И вослед Акутагаве Рюноскэ повторял: «У меня нет принципов – одни нервы». В детстве его преследовал страх одиночества, на которое он был обречен пожизненно при всей многолюдности его «взрослого» окружения. Позднейшая – не скажу идеализация – скорее мифологизация родаков, особенно post mortem, когда они с разницей в год умерли в Ленинграде, так и не свидевшись с единственным сыном после его вынужденной эмиграции – это, конечно же, типа некролатрии, тоски по родительской любви, которой у него никогда не было. См. стихотворения «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…» (1985), «Памяти отца: Австралия» (1989) и эссе «Полторы комнаты» (1985). Измена любимой, но не любящей его женщины, предательство близкого друга, непризнание его поэтического таланта, а потом зависть коллегоднокорытников и прочие схожие факторы усугубили детскую эту фрустрацию и сформировали из ИБ отъявленного анахорета и мизантропа:

«Кровь моя холодна. Холод ее лютей реки, промерзшей до дна. Я не люблю людей». С малолетства ИБ привык полагаться только на самого себя. См. главу «Апофеоз одиночества» в этом издании.

21 мая 1942. Мария Моисеевна Бродская с двухлетним сыном эвакуируется на транспортном самолете из блокадного Ленинграда в Череповец.

1944. Возвращение из эвакуации в Ленинград.

1 сентября 1947. Ося Бродский поступил в школу № 203 на улице Салтыкова-Щедрина (Кирочной). После третьего класса перешел в школу № 196 на Моховой улице, а спустя еще несколько лет пошел в школу № 181 в Соляном переулке в седьмой класс, в котором остался на второй год из-за четырех двоек – по точным наукам и по английскому. Перешел в школу № 286 на Обводном канале, а потом – в школу № 289 на Нарвском проспекте, которую бросил, уйдя из восьмого класса. В школе рутинно сталкивается с антисемитизмом, что усугубляло его одиночество и изгойство. «Когда меня спрашивали про мою

национальность, я, разумеется, отвечал, что я еврей. Меня и спрашивать не надо, я “р” не выговариваю». Оскорбляли самыми разными способами – от бессмысленной дразнилки «Жид, жид, кровожид, по веревочке бежит, а веревка лопнула и жида прихлопнула» до скороговорки «На горе Арарат растет крупный виноград», которую Осе ну никак было не повторить из-за картавости. Не тогда ли возникло у него обостренное, болезненное отношение к своему еврейству, когда он обвинял в антисемитизме родителей его возлюбленной Марины Басмановой, своего соперника Диму Бобышева и даже Мишу Шемякина – вот уж без вины виноватый? «Я – еврей по крови, русский поэт и американский гражданин», – определял ИБ координаты своей личности. См. главу «Плохой хороший еврей». За восемь с небольшим лет сменил пять школ. На этом его формальное обучение заканчивается. Во всем остальном – самоучка. Образовывался, как он сам говорил, by osmosis (осмотически). Включая секс: с уходом из школы в 1955 году совпало его первое соитие – в 15-летнем возрасте.

Сентябрь 1955. Бродские переезжают в дом Мурузи на улице Пестеля (Пантелеймоновская) – д. 27, кв. 28 на втором этаже – «полторы комнаты» в большой коммунальной квартире, где у Оси появляется искусственно огороженное пространство – его «берлога». Здесь он прожил без малого 17 лет, вплоть до своей эмиграции, о чем сообщает установленная на здании мемориальная доска. О встречах ВС и ЕК с ИБ в его «берлоге» см. главы «Бродский – это я!» и «Сравнительные жизнеописания не по Плутарху» Владимира Соловьева и «Возвращение к Бродскому» Елены Клепиковой.

1956. Поступает фрезеровщиком на завод № 671 (бывший «Арсенал»). Как в школах, меняя одну на другую, так и в своей трудовой деятельности ИБ был «летуном», переходя с работы на работу, его трудовая книжка пестрит штампами: санитар в больнице, а потом помощник прозектора в морге (анатомировал трупы), кочегар в бане, истопник в котельной, матрос на маяке и проч. С 1956 по 1963 год ИБ сменил 13 рабочих мест, что и ставилось ему в вину на суде по обвинению в тунеядстве. Как и то, что за эти восемь лет он проработал всего 32 месяца.

1957. Поздний поэтический дебют – первые опыты стихосложения в 17 лет.

Лето 1957, 1958, 1959, 1961 и 1962 – сезонная работа в

геологических экспедициях. Первые два года – в Архангельской области, куда будет позднее сослан, как тунеядец, на принудительные работы, а также в Южной Якутии, где покупает том стихов Баратынского, ставшего его любимым поэтом, в Восточной Сибири, в Северном Казахстане, в каспийских степях, на Дальнем Востоке.

1959–1960. Знакомство с Евгением Рейном, Дмитрием Бобышевым, Владимиром Уфляндом, Булатом Окуджавой и композитором Борисом Тищенко, у которого позже (январь 1962) ИБ уведет невесту – художницу Марину Басманову.

14 февраля 1960. Выступление молодых поэтов в ДК им. Горького на пл. Стачек у Нарвских ворот. Скандал после чтения Бродским «Еврейского кладбища». Первые вызовы в КГБ с профилактическими беседами.

Апрель 1960. Знакомство с Борисом Слуцким, который из современных русских поэтов оказал на ИБ самое сильное влияние. Ему близка его поэтика и тематика, особенно еврейская.

Лето 1960. Путешествие на Тянь-Шань, где дважды тонул – переходя горную речку и пытаясь пройти под скалой.

Конец декабря 1960. Самарканд. Недоосуществленный план угона самолета в Иран.

7 августа 1961. Совместная с Рейном поездка в Комарово, где ИБ знакомится с Ахматовой в ее «будке». Начало дружбы ИБ с Ахматовой и формирование вокруг нее «волшебного хора»: Бобышев, Бродский, Найман, Рейн. «Младший Ося», называют его АА и Надежда Яковлевна Мандельштам. См. главу «Анна, Иосиф и сэр Исайя».

Осень 1961. Работа лаборантом на кафедре кристаллографии Ленинградского университета.

2 января 1962. Борис Тищенко знакомит ИБ с художницей Мариной (Марианной) Басмановой, двумя годами его старше. Возлюбленная и муза Бродского, будущая мать его сына Андрея, такого же непутевого в смысле школьной прилежности (Марина возила его в школу на такси – а что ей оставалось?), но без гения его отца, т. е. без никакого возмещения. Ну да, на детях гениев природа отдыхает. Их неистовый роман, на измор, с изменами,

расставаниями, скандалами, вспышками и затиханием страсти, продлится шесть лет: «Ты – ветер, дружок, я – твой лес…». Амок: единственная в жизни Бродского любовь, адресат его прекрасной любовной лирики – М.Б., которой ИБ выдал пропуск в вечность своими стихами. См. его книгу «Новые стансы к Августе» и главу «Хроническая любовь. Реконструкция на четыре голоса» в этом издании.

29 января 1962. Арест и два дня во внутренней тюрьме КГБ.

10 мая 1962. Очередной скандал на выступлении ИБ – на этот раз после чтения поэмы «Зофья» в Красной гостиной Дома писателей.

29 ноября 1963. Фельетон «Окололитературный трутень» в «Вечернем Ленинграде», где Бродскому приписано авторство двух стихотворений Бобышева – сигнал к травле ИБ.

Конец декабря 1963. Во избежание ареста бегство в Москву, Новый год встречает в психбольнице им. Кащенко, чтобы получить свидетельство о психической неустойчивости, откуда на следующий день сбегает в Ленинград, узнав, что его девушка Марина Басманова путается с его другом Димой Бобышевым, которому он поручил ее пасти в его отсутствие, и встречала с ним Новый год на даче в Зеленогорске, где подожгла занавески. Символическая метафора, наподобие сжигания мостов, да?

4 января 1964. Объяснение между Бобышевым и Бродским. Попытка самоубийства – ИБ режет себе вены.

8 января 1964. Подборка писем в «Вечернем Ленинграде» с требованием суда над «тунеядцем Бродским».

13 февраля 1964. Арест ИБ на улице, сопровождаемый антисемитской бранью милиционеров, что действует на Бродского сильнее, чем арест. На следующий день в камере у него случился первый сердечный приступ.

18 февраля 1964. Первое заседание суда, который по неадекватной просьбе адвоката направляет ИБ на трехнедельное обследование в психушку на Пряжке. Три дня – в отделении для буйно помешанных.

«Мне делали жуткие уколы транквилизаторов. Глубокой ночью будили, погружали в ледяную ванну, заворачивали в

мокрую простыню и помещали рядом с батареей. От жара батарей простыня высыхала и врезалась в тело».

13 марта 1964. На втором заседании суд приговорил ИБ к пяти годам принудительных работ. Спустя 10 дней, после отсидки в «Крестах» (вблизи от «Арсенала», где ИБ вкалывал), он этапирован под стражей в «столыпине», тюремном вагоне, в Архангельскую область, где селится в деревне Норенская Коношского района в бревенчатой избе в одну 12-метровую комнату с крошечным окошком и без никаких удобств: ни газа, ни электричества, ни водопровода, а уборной не было даже во дворе. Тем не менее: «Один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не хуже. Но лучше, пожалуй, не было».

Знаменитые слова Ахматовой в связи с арестом – судом – ссылкой Бродского «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял», – говорит его старший друг с очевидным оттенком зависти, а АА завидовала даже похоронам Пастернака.

1964–1965. Работает разнорабочим, бондарем, кровельщиком, возницей, грузчиком и пастухом. Несколько побывок в Ленинграде. Самообразование Бродского в ссылке, включая знакомство с английской поэзией с ее формирующим влиянием на его стихи. В Норенской его навещают родители и друзья, однако самым знаковым в его судьбе стал приезд Марины Басмановой, а вслед за ней Димы Бобышева. Бурный скандал и совместный их отъезд из Норенской.

1964–1965. Коллективные письма в защиту Бродского и в опровержение его хулителей. Среди подписантов – автор этой книги. В защите ИБ участвуют такие столпы советской культуры, как Шостакович, Маршак, Чуковский, Паустовский, Твардовский, Юрий Герман. Письму Жана Поля Сартра председателю Верховного Совета Анастасу Микояну от 17 августа 1965 года суждено было сыграть решающую роль в освобождении ИБ. Сделанная Фридой Вигдоровой запись суда печатается в престижных иностранных газетах и журналах, по ней ставится радиоспектакль на Би-би-си. К Бродскому приходит международная слава, которую ему предстоит еще отработать: стихами.

1965. – В Нью-Йорке без ведома автора вышла первая книга Бродского «Стихотворения и поэмы», сделанная по неавторизованным самиздатным спискам.

23 сентября 1965. Официальное освобождение ИБ, однако он едет сначала не в Ленинград, а в Москву, где живет у своего друга Андрея Сергеева, а Евгений Евтушенко устраивает ему выступление в МГУ.

Октябрь 1965. Прибыв в Ленинград, ИБ первым делом явился к Ахматовой и, по чистой случайности, мы с ним там встретились: он открыл мне дверь, а пришел я за сигнальным экземпляром «Бега времени» с рисунком Модильяни на обложке. Мы обнялись с Осей, хотя тогда еще друзьями не были. Он поблагодарил меня за то, что я подписывал письма в его защиту, но как-то, мне показалось, Бродский отнесся ко мне ревниво. Было это за полгода до смерти АА. См. главу «Анна, Иосиф и сэр Исайя» в этом издании.

26 октября 1965. Иосиф Бродский и Владимир Соловьев приняты в так называемую «профгруппу» при ленинградском отделении Союза писателей, что позволяет его членам не работать и при этом не быть обвиненными в тунеядстве. Начало тесных отношений между нами – отчасти благодаря регулярному общению в этом жидовском предбанничке для писательского молодняка. Помню, нас мобилизовали на выборы: чтобы поторапливать нерадивых избирателей, дабы те, не мешкая, проголосова ли за блок коммунистов и беспартийных, демонстрируя гражданскую свою активность. У каждого из нас был свой участок, свои пять-шесть домов, и в штабе висела диаграмма, которая, намекая на не объявленное соревнование между нами, должна была поторапливать уже нас, агитаторов, и я помню необычайную Осину активность, словно он демонстрировал советской власти, на что он способен, и его дома́ проголосовали первыми, Бродский их мобилизовал, уговорил, сагитировал – и гордый своей победой первым покинул избирательный участок. См. главу «Три поэта» в этом издании.

1966 – до самой эмиграции. Регулярные наезды в столицу. В июне 1966 года Евтушенко приглашает ИБ читать стихи вместе с ним, Ахмадулиной и Окуджавой в МГУ, а также в ФБОНе (Фундаментальной библиотеке общественных наук) и на переводческой секции Союза писателей. Успеха его выступления не имеют, а одно кончается полным провалом.

1967. Лондонское издание неавторизированного сборника переводов «Joseph Brodsky. Elegy to John Donne and Other Poems.

Tr. by Nicholas Bethell».

8 октября 1967. Рождение у ИБ и МБ Андрея Басманова, неудачная попытка совместного семейного житья (у художника Эдика Кочергина) и спустя несколько месяцев, в начале января следующего года окончательный разрыв шестилетних отношений.

Осень 1968. ИБ читает Елене Клепиковой и Владимиру Соловьеву «Письмо в бутылке», произведя на нас сильнейшее впечатление. Еще через несколько дней знакомит с рукописью «Остановки в пустыне».

Собственно, с этого времени наше с ним приятельство переходит в дружбу с регулярными встречами.

Передача в Америку книги «Остановка в пустыне» через переводчика Джорджа Клайна. Книга выходит в 1970 году в Нью-Йорке в издательстве им. Чехова, возобновленном бизнесменом Эдвардом Клайном.

Декабрь 1968. Очередная попытка фиктивного брака для отвала за кордон – на этот раз с британкой Фейт Вигзел.

Сентябрь 1969 – май 1972. С самого основания молодежного журнала «Аврора» до отъезда из России ИБ регулярно посещал редакцию, благо она находилась в десяти минутах от его дома. Кабинет редактора отдела прозы Лены Клепиковой – место схода молодых писателей Андрея Битова, Иосифа Бродского, Виктора Голявкина, Сережи Довлатова, Жени Евтушенко, Саши Кушнера, Владимира Соловьева, Бориса Стругацкого и др. Лена Клепикова дает Бродскому «для прокорма» рукопись на внутреннюю рецензию. Попытка напечатать в журнале подборку его стихов, предпринятая по инициативе главреда и при поддержке властей, кончается неудачей: подборка зарублена редколлегией.

См. об этом главу Елены Клепиковой «Бродский – там и здесь».

1968–1972, 20–25 февраля. Совместные дни рождения Елены Клепиковой и Владимира Соловьева, на которых представлен цвет молодой ленинградской интеллигенции, за что ИБ прозвал наш дом «оазисом в пустыне». Бродский всегда приходил без подарка, но лучшим подарком был он сам, когда читал стихи. На один из таких наших дней рождения он преподнес нам поздравительное стихотворение, одно из лучших у него в жанре «стихов на случай».

Конец сентября 1970. Ночь в доме Мурузи. После банкета в первую годовщину журнала «Аврора», заполночь, Владимир Соловьев, пусть в подпитии, но остро переживая отсутствие на этой литературной мишпухе Бродского, требует от Лены Клепиковой и Саши Кушнера, чтобы они вели его «к Осе», паче он живет рядом. Нагрянув нежданно-негаданно «к поэту в гости», мы проводим у него целую ночь в разговорах, до рассвета. Бродский читает свое новое большое стихотворение «Post Aetatem Nostram», начиная с первой строки «Империя – страна для дураков». См. стилизованный рисунок Сергея Винника «Иосиф Бродский и Владимир Соловьев в „Авроре“» и мемуар Елены Клепиковой «Возвращение к Бродскому».

Весна 1971. Когда именно – точно не помню, у нас дома состоялся этот турнир поэтов – Евтушенко, Кушнер, Бродский. Никогда до и после эти три поэта не встречались. Победителем из него, само собой, вышел ИБ. Благожелательный и по натуре добрый Женя Евтушенко отнесся к его победе легко, зато Саша Кушнер воспринял как свое поражение и затаил обиду, и она при нем пребудет до могилы. Подробности наших «квартирников» описаны в главе «Три поэта».

Июнь и ноябрь 1971. С подозрением на злокачественную опухоль в больнице на Охте у Финляндского вокзала и операция геморроя (а не грыжи, как ошибочно указано в его био) в больнице в Сестрорецке, когда ИБ под наркозом уполз с операционного стола: сознание отключено, а страх нет. Ложась в больницу, он пришел к Лене Клепиковой прощаться навсегда: «До встречи… на кладбище». Когда я пришел к нему в сестрорецкую больницу, ИБ упрекнул меня, что я прихожу к нему только, когда ему плохо, что было не так. См. главы «Бродский – это я!» и «Сравнительные жизнеописания не по Плутарху» в этой книге.

31 марта 1972. Рождение Анастасии Кузнецовой, дочери ИБ и балерины Марии Кузнецовой.

Май 1972. Вызов из Израиля, вызов в ОВИР, получение выездной визы.

2 июня 1972. Прощальная, со слезами «бесслезного» Бродского, встреча Владимира Соловьева и Елены Клепиковой с ИБ, который знакомит нас с открытым письмом Брежневу, хотя оно датировано днем отлета из России: «От зла, от гнева, от ненависти – пусть именуемыми праведными – никто не

выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять». Подробности в помещенных в этом издании главе 9 из «Трех евреев» Владимира Соловьева и в главе «Возвращение к Бродскому» Елены Клепиковой.

4 июня 1972 года. Прилет в транзитную для советских эмигрантов Вену, откуда они отправлялись в разные концы света.

6 июня 1972. Встреча с Уистаном Оденом в Кирхштеттене, недалеко от Вены. Формальный характер встречи: не только здоровье, но и личность Одена разрушена алкоголем, жить ему осталось чуть больше года, а разговорный английский Бродского был тогда на нуле. Тем не менее, этот разговор глухонемых произвел на Бродского сильнейшее впечатление.

19 июня 1972. Встреча в клубе «Атенеум» в Лондоне с сэром Исайей Берлином, другом Пастернака, любовником Ахматовой и покровителем Бродского. См. главу «Анна, Иосиф и сэр Исайя».

21–23 июня 1972. Участие в Poetry International, Международном поэтическом фестивале в Лондоне.

9 июля 1972–1996. Прибытие в Детройт. США. С тех пор многочисленные интервью, творческие встречи с читателями, поэтические фестивали, литературные конференции, симпозиумы, коллоквиумы, путешествия по Америке и Европе.

Осень 1972–1996. – Семинар русской поэзии и курс поэтики в Мичиганском университете, Энн-Арбор, куда его устраивает Карл Проффер в качестве Poet-in-Residence с годовой зарплатой $12 000.

(Столько же, к слову, мы с Леной Клепиковой получим через пять лет от Куинс-колледжа вскоре по приезде в Америку – в качестве ScholarsinResidence.) С тех пор и до самой смерти ИБ не прекращает преподавательскую деятельность – в Куинс-колледже, Нью-йоркском и Колумбийском университетах, в консорциуме Пяти колледжей, расположенных по соседству в Массачусетсе, где ежегодно вел весенний семестр до конца жизни, в Кембридже по приглашению сэра Исайи и проч. Основной источник его относительного материального благополучия. Отзывы о Бродском на кафедре противоречивые, в основном отрицательные. См.

главу «Голова профессора ИБ» в этом издании.

25 декабря 1972. Первая поездка на Рождество в вымечтанную с питерской юности Венецию. «И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить, и на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и не сходя с места вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин». Joseph Brodsky. Fondamenta degli Incurabili («Набережная неисце лимых»).

1974. Знакомство с Либерманами. Алекс, знаменитый художник, скульптор, фотограф, глава (почти полвека) медиаимперии «Conde Nast Publications», куда входят такие престижные издания, как «Вэнити Фэр», «Мадемуазель», «Вог», «Травелер», «Хаус энд Гарден» с их миллионными тиражами. Татьяна – б. Яковлева – да, та самая последняя любовь Маяковского и адресат его предсмертной любовной лирики.

А уж Либерманы перезнакомили ИБ с «everybody who was anybody».

Одним словом, страна Либермания. «Помяните мое слово, этот мальчик получит Нобелевскую премию», – предсказала Татьяна при первом знакомстве, услышав его стихи. К этому следует добавить, что Либерманы немало поспособствовали, чтобы Бродский ее получил. Как и другие випы нью-йоркского истеблишмента – такие, как писатель и публицист Сьюзен Зонтаг и издатель Роджер Страус, друзья ИБ.

12 мая 1976. Избрание в Американскую академию наук и искусств.

13 декабря 1976. Обширный инфаркт. Новый год проводит в больнице.

Январь 1977. Выход в «Ардисе», Энн Арбор, двух книг – «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи».

Июнь 1977. Переезд в дом № 44 на Мортон-стрит, Гринич-Виллидж, основное место его пребывания в Нью-Йорке, вплоть до 1993-го.

Очень гордился своим двухкомнатным полуподвальчиком с выходом в личный садик и тяжело переживал вынужденный

женитьбой и семейными обстоятельствами переезд в Бруклин. Мортон-стрит через пару кварталов упирается в набережную Гудзона, куда через несколько дней после нашего приезда и привел автора этой книги Бродский полюбоваться видом. См. иллюстрации.

Сентябрь 1977 года. Сразу после приезда Владимира Соловьева и Елены Клепиковой на ПМЖ в Америку, ИБ приходит к нам в отель «Люцерн» на Манхэттене, рядом с Центральным парком, дарит свои новые книжки «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи», ведет в ресторан, читает стихотворение «Пятая годовщина» – ровно столько лет прошло со времени его отвала из СССР и, по совпадению, те же пять лет отделяют наш отъезд от его отъезда (см. и ср. две выездные визы среди иллюстраций). Жалуется на боли в сердце и говорит, что в следующем месяце принесет клятву, как натурализованный гражданин США (11 октября в Детройте).

Декабрь 1977. На Рождество Бродский снова приезжает в Венецию, на этот раз со своей подругой Сьюзен Зонтаг, не только знаменитой писательницей, но и влиятельной фигурой нью-йоркского истеблишмента. Они наносят визит вдове Эзры Паунда Ольге Радж, которая пытается убедить их, что ее покойный муж стал фашистом, потому что был италофилом, но никогда не был антисемитом, в чем американские посетители сильно сомневаются. Зацикленный на еврейском вопросе с детства (понять его можно!), ИБ полагает, что никакого суда над Эзрой не было, если бы он ограничился радиопризывами к американским солдатам сдаваться в плен, и применяет к нему формулу Одена: «Сначала дать Нобелевскую премию за стихи, а потом на электрический стул за предательство». С другой стороны, именно американские писатели, по преимуществу евреи, добились более снисходительного приговора для Эзры: вместо смертной казни – заточение в монастырь.

Знал бы ИБ, что вечность он будет делить рядышком с антисемитом: могила Бродского на Сан-Микеле в изножии могилы Эзры Паунда!

Подробности в главе «Два Бродских» в этой книге.

Начало декабря 1978. Операция на сердце – шунтирование.

23 мая 1979. Избран членом еще одной Американской академии – American Academy and Institute of Arts and Letters.

1979. Ежегодные, общим числом с дюжину, приглашения родителям, вместе или по отдельности, приехать на побывку к сыну в Америку, но на этот раз просьба ИБ поддержана письмом 53 конгрессменов США. Увы, тщетно. Активное участие в громком международном скандале в связи с решением танцора Большого театра Александра Годунова стать невозвращенцем. Тяжело переживает, что за весь год не написал ни одного стихотворения.

1980. Окончательный переезд из Энн-Арбора в Нью-Йорк, откуда он каждый год сбегает в Саут-Хэдли, Массачусетс, где с 1982 года до конца жизни преподает по весенним семестрам в колледже Маунт-Холиок.

Осень 1981. Присуждение «премии гениев» – стипендии Фонда Макартуров: $40 тысяч ежегодно в течение пяти лет. Среди премиантов этого года еще один «эмигре» математик Гриша Чудновский и поэт Дерек Уолкотт, друг Бродского.

10 ноября 1982. На смерть Брежнева ИБ откликнулся сочувственно-ироническим четверостишием «Epitaph for a Tyrant»:

> He could have killed more than he could have fed
> but chose to do neither. By falling dead
> he leaves a vacuum and the black Rolls-Royce
> to one of the boys who will make the choice.

1983. Новые стансы к Августе. Книга любовной лирики, посвященная М.Б. Энн Арбор: Ардис.

17 марта 1983. В Ленинграде в возрасте 78 лет умерла Мария Моисеевна Бродская.

29 апреля 1983. В Ленинграде в возрасте 80 лет умер Александр Иванович Бродский.

13 декабря 1985. Второй инфаркт.

27 декабря 1985. Третий инфаркт и вторая операция на сердце. Неудачная. Сердечные приступы учащаются, врачи поговаривают о третьей операции и даже о трансплантации сердца, но предупреждают ИБ, что сопряжено с риском летального исхода.

Январь 1987. Книга эссе «Less Th an One» отмечена

престижной литературной премией Th e National Book Critics Circle's Award.

21 января 1987. Выход из Американской академии искусств в знак протеста, что в нее почетным иностранным членом принят Евгений Евтушенко. Подробности конфликта двух русских поэтов на американской земле см. в главе «Как поссорились Иосиф Александрович с Евгением Александровичем».

Март 1887. Коронарная ангиопластика.

1987. Урания. Энн Арбор: Ардис.

22 октября 1987. Во время ленча с Джоном Ле Карре в китайском ресторане в Лондоне узнает о присуждении ему долгожданной Нобелевской премии по литературе. «Ее получила русская литература, и ее получил гражданин Америки», – с ходу заявляет ИБ.

10 декабря 1987. Вручение Нобелевской премии королем Швеции Карлом Густавом XVI и нобелевская речь, вызвавшая неоднозначную реакцию в мире. Критике подвергся постулат ИБ о моральной стороне чтения.

Декабрь 1987. Первая советская публикация стихотворной подборки в декабрьской книжке «Нового мира». По настоянию Кушнера, из подборки изъята посвященная ему стихотворная диатриба «Письмо в оазис».

Конец 1987. Конференция, посвященная литературе изгнания, в

Вашингтоне под эгидой журнала «Нью-Репаблик». С участием ИБ, Фазиля Искандера, Александра Кушнера, Юнны Мориц, которая так описывает Бродского в письме Владимиру Соловьеву и Елене Клепиковой уже из Москвы: «Иосиф необычайно красив, хоть и взял одежду напрокат у героев Чаплина: это его старит, всасывает в старческий обмен веществ; ритм скелетный и мышечный, а также сосудистый – лет на 60… Но он, к сожалению, охотно дает питерской братии примерять тайком свою королевскую мантию, свою премию и крошить свой триумф, как рыбий корм в аквариуме… Иосифа спешат они сделать своим "крестным отцом", загнать в могилу (чтобы не взял свои слова назад!) и усыпать её цветуечками».

7 марта 1988. Чтение стихов в Куинс-колледже, в непосредственной близости от района, где мы с Довлатовым

тогда жили. Вот мы с Сережей вдвоем и отправились на этот вечер поэзии.

«На сцену вышел старый лысый еврей, лет 65, хотя ему всего 47. Какое он имеет отношение к тому ИБ, которого я любил? Тень тени. Как встреча с любимой женщиной спустя полвека. Но тут всего несколько лет, как видел его последний раз, не участвуя в борьбе за “доступ к телу” и сохранив благодаря этому его питерский образ. Не ходил на его вечера, хотя всякий раз боялся, зная о его неладах с сердцем, что это последний, никогда больше не увижу. Что сделало с ним время! Долго не протянет, увы.

Читал, однако, с прежней мощью, особенно “Winter” по-английски и „Вороненный зрачок конвоя“ по-русски. Часто сбивался, но это ничего. По-английски страшно заикается и эти бесконечные „Э…э…э…“

Даже картавость по-английски как-то заметнее. Очень переживал за него. Английская неадекватность его русскому. В самом деле, как перевести ту же „жидопись“? Курит непрерывно. Выкурив положенную ему на день или на этот вечер норму, стал стрелять в зале. Около него толпился люд, я пробился и обнял его, что-то мелькнуло в нем родное, близкое, но встреча была как будто уже за чертой горизонта, на том свете». Из главы «Два Бродских».

16–17 мая 1988. Участие в Лиссабонской конференции писателей, где происходит столкновение ИБ с восточноевропейскими писателями – венгром Георги Конрадом, югославом Данило Кишем и поляком Чеславом Милошем и др., которые обвиняют ИБ в имперских амбициях. По природе своей ИБ монологист, а потому жанр полемики ему противопоказан. Плюс, конечно, политика, в которую его занесло – это его хобби и одновременно ахиллесова пята: слишком прямолинеен, поверхностен, что особенно заметно по контрасту с его сложной, разветвленной культурологической концепцией. Другой пример – его спор с Кундерой в «New York Times Book Review» тремя годами раньше.

Даже ближайшие друзья ИБ, типа Сьюзен Зонтаг, осудили его за высокомерный тон и великодержавное пренебрежение малыми нациями.

На мое предложение напечатать в книге его статей эту полемику с Кундерой «Еще чего!» – воскликнул ИБ, но художественно продолжал настаивать на своей точке зрения: пьеса «Демократия» и «Ода на независимость Украины». А с той лиссабонской конференции сохранился портрет Довлатова, рисованный Бродским с перерисованным Сережей носом –

несмотря на пиетет перед гением. Из чрезвычайных происшествий на этой конференции следует отметить поведение Довлатова.

Он метался между восточноевропейским «коллективом» и своим покровителем, который привез его и еще нескольких русских на эту конференцию в качестве кордебалета. Не выдержав метаний, Сережа ударился в запой и прибыл в Нью-Йорк в непотребном состоянии. Оклемавшись, он гордо сообщил мне, что к трапу его волокли два нобелевских лауреата – Бродский и Милош. См. главу «Два Бродских».

Осень 1988. Вместе с Михаилом Барышниковым и Романом Капланом ИБ становится совладельцем ресторана «Русский самовар» на 52-й улице на Манхэттене.

11 января 1990. Во время своего выступления в колледже Ecole Normale 49-летний ИБ знакомится с 20-летней студенткой Марией Соццани итальянско-русского происхождения (мать – Берсенева-Трубец кая), будущей женой Бродского и матерью его дочери.

24 мая 1990. «Новое русское слово» (Нью-Йорк) печатает большое юбилейное эссе Владимира Соловьева к 50-летию ИБ под названием «Апофеоз одиночества». Одновременно в издательстве «Слово – Word» выходит мой исповедальный «Роман с эпиграфами», посвященный Бродскому. Позднее многократно переиздается в России под названием «Три еврея», каждый раз вызывая литературный скандал.

1990. **Примечания папортника**. Bromma, Sweden: Hylaea.

1990. Назидание. Календарное издание стихов ИБ, составленное его другом Владимиром Уфляндом. СПб.: Смарт. Первая ласточка – дальнейшие прижизненные российские издания приведены в библиографии. Всего при жизни Бродского на родном языке было издано 28 книг, из них 17 – на его географической родине.

1 сентября 1990. Бракосочетание ИБ и Марии Соццани в Стокгольме.

14 мая 1991. Избран поэтом-лауреатом США при Библиотеке Конгресса и 1 сентября приступает к своим обязанностям, переехав в Вашингтон (до июня 1992).

Зима 1992. В нью-йоркском сабвее и в автобусах появляется табло «Poetry in Motion». В том числе с четверостишием Бродского:

> Sir, you are tough, and I am tough.
> But who will write whose epitaph?

Декабрь 1992. С сердечным приступом оказывается в нью-йоркской больнице.

Январь 1993. Покупка дома в Бруклине.

9 июня 1993. Рождение у Бродских дочери: Анна Мария Александра.

Январь 1994. Четвертый инфаркт.

8 ноября 1995. Письмо Президенту Куинс-колледжа с кляузой на Евгения Евтушенко, которого берут профессором взамен Барри Рубина, друга ИБ: «You are about to kick out a man who for over three decades studiously sought to bring the American public to a greater understanding of Russian culture and hire an individual who during the same period was systematically spewing poison of the 'stars on your banner are bullet holes, America' variety in the Soviet press». См. главу «Как поссорились Иосиф Александрович с Евгением Александровичем».

В ночь с 27 на 28 января 1996. Попрощавшись с гостями, отправляется к себе в кабинет, чтобы собрать вещи: на следующий день ИБ должен отбыть в колледж Маунт-Холиок в Саут-Хэдли, Массачусетс, в полутора часах скорой езды от Нью-Йорка. Найден мертвым под утро, лежащий на пороге своей комнаты, с окровавленным лицом и разбитыми очками. Смерть наступила мгновенно, когда он открывал дверь своей комнаты. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», – писал ИБ в самом начале 70-х.

1 февраля 1996. Отпевание Бродского в Епископальной приходской церкви Благодати (Grace Church) в Бруклине.

2 февраля 1996. Обитый металлом гроб с телом Бродского временно положен в склеп на кладбище Св. Троицы (Trinity Church) на 153-й стрит.

8 марта 1996. Поминальная служба в кафедральном соборе Св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке с чтением стихов ИБ и исполнением любимой музыки. Как очевидец, свидетельствую: огромный зал был переполнен, яблоку негде упасть.

1996. Посмертное издание подготовленной Бродским книги «Пейзаж с наводнением» (Ann Arbor: Ardis).

21 июня 1997. Перезахоронение праха ИБ на Сан-Микеле.

«Хождения по мукам тела великого поэта на этом не закончились.

Спор, где ему быть захороненным – в Нью-Йорке или в Питере (“На Васильевский остров я приду умирать…”), был решен в пользу Венеции, тем более сам возжелал, чтобы его бренные останки покоились на Сан-Микеле:

> Хотя бесчувственному телу
> равно повсюду истлевать,
> лишенное родимой глины,
> оно в аллювии долины
> ломбардской гнить не прочь. Понеже
> свой континент и черви те же.
> Стравинский спит на Сан-Микеле…

Венеции ему пришлось дожидаться 17 месяцев. В конце концов, виза была выдана, пропуск в вечность получен, ИБ отправился в Италию.

Первая неприятность произошла в самолете: гроб раскрылся. А когда, уже в Венеции, его грузили на катафалк, гроб переломился пополам.

Переложенный в другой гроб, ИБ прибыл на гондоле на Сан-Микеле.

Пытались было положить его в русской части кладбища, между могилами Дягилева и Стравинского, но Русская православная церковь разрешения не дала, потому что ИБ не православный. Несколько часов длились переговоры, в конце концов решено было хоронить в евангелистской части – в ногах у Эзры Паунда: два поэта, еврей и антисемит.

Поверх барьеров, так сказать. Вдова, сын, близкие, друзья, роскошный венок из желтых роз от Ельцина и проч. Тут, однако, обнаруживается, что в могиле уже кто-то есть. То есть чьи-то останки. Венецианские могильщики в срочном порядке роют новую, куда и опускают на веревках гроб. Стихи над могилой,

комаровские ландыши, кремлевские розы.

Все расходятся. Один из провожавших (не Харон) возвращается и обнаруживает, точнее не обнаруживает гигантского венка от российского президента. Некто уже успел перетащить его на могилу Эзры Паунда.

Если только не сам Эзра. Венок от Бориса Ельцина на могиле Эзры Паунда! Кощунство? Фарс? Игры покойничков? Чтобы сам Эзра спер ельцинский венок? С него станет. Знал бы ИБ, что ждет его за гробом!

Мораль см. выше: бесчувственному телу равно повсюду истлевать.

Без всяких “хотя”». Из главы «**Два Бродских**».

Русская и английская прижизненная библиография Иосифа Бродского

Прижизненные издания на русском языке

Стихотворения и поэмы. – Washington – New York: Inter-Language Literary Associates, 1965

Остановка в пустыне New York: Изд-во им. Чехова, 1970

Конец прекрасной эпохи: Стихотворения 1964–1971. – Ann Arbor: Ardis, 1977

Часть речи: Стихотворения 1972–1976. – Ann Arbor: Ardis, 1977. СПб.: Пушкинский фонд, 2000

Римские элегии. – New York: Russica Publishers, 1982

Новые стансы к Августе (Стихи к М. Б., 1962–1982). – Ann Arbor: Ardis, 1983

Мрамор. – Ann Arbor: Ardis, 1984

Урания. – Ann Arbor: Ardis, 1987, 1989

Примечания папоротника. – Bromma, Sweden: Hylaea, 1990

Назидание. Календарное издание стихов ИБ, составленное его другом Владимиром Уфляндом. СПб.: Смарт, 1990

Осенний крик ястреба: стихотворения 1962–1989 годов. Ленинград: ЛО ИМКА-пресс при содействии МГП «Петрополис», 1990

Стихотворения. Таллин: совместное издание издательств «Ээсти раамат» и «Александра», 1991

Каппадокия. Стихи. – СПб.: приложение к альманаху Петрополь, 1993

В окрестностях Атлантиды. Новые стихотворения. – СПб.: Пушкинский фонд, 1995

Пейзаж с наводнением. – Dana Point: Ardis, 1996. СПб.: Пушкинский фонд, 2000 (испр. и доп.)

Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. СПб.: Пушкинский фонд, 19921995

Прижизненные издания на английском языке

Selected poems. – New York: Harper & Row, 1973

A Part of Speech. – New York: Farrar, Straus & Giroux, 1980

Less Th an One: Selected Essays. – New York: Farrar, Straus & Giroux, 1986

To Urania. – New York: Farrar, Straus & Giroux, 1988

Marbles: a Play in Th ree Acts / translated by Alan Myers with Joseph

Brodsky. – New York: Farrar, Straus & Giroux, 1989

Watermark. – New York: Farrar, Straus and Giroux; London: Hamish
Hamilton, 1992
On Grief and Reason: Essays. – New York: Farrar, Straus & Giroux, 1995
Forth: Poems. – New York: Farrar, Straus & Giroux, 1996

Владимир Соловьев об Иосифе Бродском: Краткая библиография & отзывы

Владимир Соловьев близко знал Иосифа Бродского еще с ленинградских времен и пишет о нем около полувека, начиная с эссе 60-х годов

«Отщепенство», которое широко гуляло по Самиздату, а позднее публиковалось в эмигрантской прессе (первым его напечатал, вкупе со следующим эссе «Разговор с Небожителем», Сергей Довлатов в редактируемом им «Новом американце») и вошло в московскую книгу прозы и публицистики «Призрак, кусающий себе локти» (1992, раздел «Вокруг Иосифа Бродского») и во все издания «Трех евреев. Романа с эпиграфами», начиная с серийной публикации в «Новом русском слове», тогдашнем флагмане свободной русской прессы (1989), и включая отдельные издания – нью-йоркское (1990), питерское (2000) и три московских, считая от «захаровского» (2002). Основополагающими для понимания поэзии, личности и судьбы Бродского следует считать именно книги Владимира Соловьева: помимо упомянутых «Трех евреев» – «Post mortem. Запретная книга о Бродском» (2006), «Два шедевра о Бродском» (2007) и эту, заключительную, итоговую, заветную, которую читатель держит в руках, «Быть Иосифом Бродским. Апофеоз одиночества» (2015). Три последние книги вышли в московском издательстве «РИПОЛ классик».

Коллаж публикаций Владимира Соловьева об Иосифе Бродском в последней тетрадке иллюстраций носит поневоле частичный, избранный характер. Упомянутые здесь книжные и далее публикации в периодике также далеки от академической полноты. Собрать все воедино – занятие хлопотное и трудоемкое, да и зачем? Однако указать на некоторые необходимо для того хотя бы, чтобы продемонстрировать, что иконоборческие и часто провокативные взгляды и концепции Владимира Соловьева были востребованы, а потому многократно и многотиражно апробированы в СМИ по обе стороны океана, хотя и вызывали полемику и даже скандалы. Попутно таким образом восстанавливается историческая справедливость и заполняются искусственные лакуны, образованные из-за тенденциозности, недобросовестности и вранья иных бродскоедов.

Взять, например, помещенный в этой книге докурассказ «Как поссорились Иосиф Александрович с Евгением Александровичем». Изначальный его абрис под названием «Мой

друг Джеймс Бонд» печатался в «Новом русском слове» и «В Новом свете» (Нью-Йорк), «Панораме» (Лос-Анджелес), «Литературной газете» (Москва), а также подробно, близко к тексту, пересказывался в часовой телепередаче из цикла «Парадоксы Владимира Соловьева» (WMRB). К слову, «Литературная газета» опубликовала три большие, по полосе каждая, главы из «Post mortem» (2003 – 2005).

Это относится и к другим сочинениям Владимира Соловьева о Бродском. «Одиночество свободы», юбилейный адрес к его 50-летию, единственный печатный отклик на его полтинник, изначально был напечатан в «Новом русском слове» 24 мая 1990 года, но потом перепечатывался несчетно (в книгах Владимира Соловьева, включая эту, для которой автор позаимствовал название того давнего эпистолярного эссе, в «Королевском журнале», в «Русском базаре» и др. изданиях). Либо «История одного стихотворения» – статья, посвященная преподнесенному Бродским на совместный день рождения Лены Клепиковой и Вовы Соловьева великолепному стишку. Следует отметить также многочисленные публикации отсеков и блоков этой книги «Разговор с Небожителем», «Три поэта», «Плохой хороший еврей», «Два Бродских», «Дорогие мои покойники», «Мяу с того света, или Жизнь как ремейк», «Иосифу Бродскому в Элизиум», «Анна, Иосиф и сэр Исайя», а также напрямую связанных с Бродским прозаических текстов «Живая собака», «Поэт и муха», «Одноклассница», «Упущенный шанс» и обе части «Казуса Жозефа» – «Перед Богом – не прав» и «На два дома» («Вечерний Нью-Йорк», «Новый американец», «Новое русское слово», «Россия», «Литературная газета», «Слово – Word», «Комсомольская правда в Америке», «В Новом свете», «Панорама», «Время и место», «Ex Libris. Независимая газета»). Это относится и к разбросанным в этой книге эссе Елены Клепиковой «Возвращение к Бродскому», «Бродский – там и здесь» и «Посмеемся над Бродским!» – по сути трилистник, ему посвященный. Они также неоднократно перепечатывались и выдержали проверку временем.

Многие из указанных текстов значительно дополнены, обогащены либо переписаны наново, а некоторые сочинены специально для этого юбилейного издания.

ТРИ ЕВРЕЯ. РОМАН С ЭПИГРАФАМИ

– А знаете ли вы, что Соловьев оклеветал бывших друзей?! Там, между прочим, и вы упомянуты. И в довольно гнусном свете… Как вам это нравится?

– По-моему, это жуткое свинство. Жаль, что роман еще не

опубликован. Вот напечатают его, тогда и поговорим.

– Вы считаете, его нужно печатать?

– Безусловно. Если роман талантливо написан. А если бездарно – ни в коем случае. Даже если он меня там ставит выше Шекспира…

Сергей Довлатов. «Новый американец». Нью-Йорк

* * *

К сожалению, все правда.

Сергей Довлатов за две недели до смерти

* * *

Книга мне понравилась. Я давно уже отделяю хорошие книги от плохих по принципу «читается – не читается». Книга Соловьева читается.

Книга писалась в расчете на скандал, но не только. Издана только в расчете на скандал. Отсюда опять же изменение названия. Заставить современного российского читателя купить книгу с названием «Роман с эпиграфами» это нереально, а вот «Трех евреев» кто-нибудь да купит.

А назови книгу «Три русских» – не купят. А «Три чукчи» – купят. «Три казаха» – не купят. «Три мушкетера» – купят. «Три писателя» – не купят. «Три проститутки» – купят. «Три мужика» – не купят. «Три голубых» – купят. В общем, вам понятно, о чем я говорю?

Однако «Роман с эпиграфами» сочинение на редкость талантливое.

Написан нервно, страстно, местами чрезвычайно умно… в целом автор свое сражение с темой выигрывает. А то, что в результате этого сражения пострадали живые и мертвые реальные люди, прежде всего Кушнер и Бродский, так это не беда. Я всегда придерживался простого мнения: если писатель полагает себя в праве, например, убивать своих героев, то визжать по поводу того, что кто-то сделал героем его самого – неблагородно и просто неприлично.

О достоинствах романа Соловьева можно долго говорить. Замечательное чувство ритма, способность вовремя отскочить от персонажа и рассмотреть его в нескольких ракурсах, беспощадность к себе как к персонажу…

Антитеза «Кушнер – Бродский», разъяснять которую не буду,

она всем литературным людям известна, сама по себе чрезвычайно любопытна. Соловьев проводит ее блистательно, и неважно: прав он в отношении конкретных живых и мертвых или нет. Антитеза, в общем-то, классическая, ничего нового для этого архетипа Соловьев не придумал.

Но достаточно и того, что он мастерски его препарирует, выбрав в качестве объектов всем известных поэтов. Победили ум, глаз, перо и страстная натура.

Павел Басинский. «Дневник неписателя». Москва

* * *

Роман Соловьева с удивительной органичностью уходит «на глубину» – в родовую тьму семейных истоков, в прятки снов и иные игры подсознания. Это не просто пикантная деталь. Самоанализ, как известно, – одно из ведущих начал современной прозы, тут у Соловьева блистательный ряд предшественников, которых и называть-то страшно: Руссо, Пруст, Толстой Лев Николаевич (Владимир Соловьев, разумеется, сопоставим с ними не в масштабе 1:1). Однако и на подобном затмевающем фоне контуры авторского письма вполне различимы. Я не помню в отечественной словесности писателя, который с такой неукоснительностью разнимал бы себя на части. Свобода игры, воздух вызова – судьбе, читателю, врагу и другу – путеводная нота романа.

Ирина Служевская. «Воздух вызова».
«Новое русское слово». Нью-Йорк

* * *

Новая книга писателя-эмигранта включает в себя переиздание «Романа с эпиграфами», изданного в Нью-Йорке в 1989 г., и мемуар «Два

Бродских». События четвертьвековой давности оживают под пером автора с дневниковой точностью и беллетристической занимательностью. Скандальность и провокационность многих умозаключений

В. Соловьева подвигает читателей не только на сочувствие тем или иным героям книги, но и еще раз на осознание личной мифологемы: кто мы и откуда родом? А название книги расшифровываем для недогадливых: Бродский, Кушнер и автор. Как говорил Довлатов: «К сожалению, все правда».

«Литературная газета». Москва

* * *

«Роман с эпиграфами» выдержал проверку временем. Написанный

25 лет назад и опубликованный 10 лет назад, он читается с огромным интересом, и я думаю, будет читаться потомками, которые, конечно, забудут о поэте Кушнере и других малозначительных фигурах романа, но дух своего времени, так взволнованно и правдиво переданный автором, они ощутят.

Цалий Кацнельсон.

«ОПУС МАГНУМ Владимира Соловьева». Нью-Йорк

* * *

В три часа пополудни почтмейстер принес мне пакет с Вашим романом. Слава Богу, что у меня в доме почти всегда водится запас сигарет, потому что, начав читать, я не мог оторваться, пока не завершил. И при всем накале и страстности трехсот страниц Вашего романа, пожалел, что не заставил себя смаковать его по частям. Вы написали о том времени, когда «функции Бога были присвоены тоталитарным государством», о времени нашей молодости, о чувстве страха, который просачивался сквозь кожу в самую душу. Ваш мемуарный роман вызовет немало споров, возможно, и обид, ибо считается почему-то, что, пока живы все герои, наши с Вами современники, писать о них нельзя. Не знаю, кто это придумал. Что ж нам, дожидаться пока наша память выветрится до состояния маразма и кровожадно подглядывать, когда же уйдут все, кто дорог сердцу и сопричастен нашей молодости? И так уже считаные остались… Даже если бы Вы написали этот роман сейчас, в наши дни, он вызвал бы острую реакцию. Но главное – Вы изгоняли из себя страх, и именно это неправдоподобное состояние, столь редкое для российских литераторов, заставило Вас рассказать и о Вашем близком окружении еще тогда, в семьдесят пятом, когда все мы были вполне молоды. И Вы это сделали первым.

Петр Вегин о «Трех евреях». Лос-Анджелес

ДВА ШЕДЕВРА О БРОДСКОМ. ТРИ ЕВРЕЯ. POST MORTEM

В книгу Владимира Соловьева вошли два текста, названные шедеврами если не автором, то, во всяком случае, с его ведома.

«Три еврея» – это Бродский, Кушнер и сам Соловьев. Бродский, как подлинный, вечно полуголодный гений, противопоставляется Александру Кушнеру, «Саше», поэту вроде бы того же направления, но совершенно вписавшемуся в советскую действительность, несоизмеримому с Бродским по таланту, да еще и крадущему темы стихов у поэтов и мыслителей разных времен. Это заявляет Соловьев – и доказывает, не зря он был тогда литературным критиком. В 1977 году вместе с женой Еленой Клепиковой Соловьев уехал в США. Там был написан «Post mortem», где Бродский представлен усталым от славы, почти не способным ничего написать человеком.

«Три еврея» представляются наиболее интересными в этой дилогии.

Это яркий, искренний, вплоть до подлинных имен («К сожалению, все правда», – сказал Сергей Довлатов), разоблачительный и даже наглый рассказ о том времени. Соловьев не жалеет никого, кроме, наверное, Бродского. Больше всех достается Кушнеру, но не щадит он и себя. Резкая повесть Соловьева может раздражать до безумия персонажей, им описанных, особенно Кушнера, которого автор не перестает уличать во лжи, в частности, в его воспоминаниях о Бродском. Эти скандальные «Три еврея», полагаю, будут интересны всем, кто хоть как-то знаком с миром советской литературы 70–80-х. В отличие от желтой прессы, Соловьев практически всегда доказателен. А «Post mortem» – ценнейшее произведение для всех, кто любит стихи Бродского и интересуется его личностью. И до, и после смерти.

Егор Радов. «Лехаим». Москва

POST MORTEM. ЗАПРЕТНАЯ КНИГА О БРОДСКОМ

Вышла еще одна, после «Романа с эпиграфами», скандальная книга живущего в Нью-Йорке критика и писателя Владимира Соловьева. Соловьев любит Бродского безумно. Хотя слово «безумно» для него не подходит. Соловьев умный, я бы сказал, слишком умный. Навязчиво умный. Давит на тебя интеллектуальной независимостью, как бульдозер… Книга Соловьева мне чрезвычайно понравилась. И это именно «заветная» книга, то есть выношенная, глубоко заранее продуманная (не «даль свободного романа») и как бы окончательная. Для Соловьева, разумеется, окончательная.

…Соловьев прежде всего удачно выбрал «точку зрения». Его героиня обожает стихи Бродского, но отказывает ему в сексуальной близости как старику, а значит, с автора и взятки гладки. Сделав свою девушку такой же умной, как он сам,

Соловьев беспощадно анализирует личность Бродского, особенно в поздний период его жизни. Я еще не читал книги, в которой Бродский был бы показан с такой любовью и беспощадностью.

…Книга одновременно очень рациональная и эмоциональная. «Рацио» – от Соловьева, оттенки чувств и переживаний – от героини.

Рационально Соловьев делает вывод, что Бродский – это такой «self myth», «собственный миф». Человек хотел одного (любви изменившей ему в Ленинграде женщины), а делал другое: писал потрясающие стихи, получал Нобельку, разруливал ситуацию в американской русскоязычной литературной диаспоре как «пахан» и так далее. И мучительно заботился о своей посмертной славе. О том, что будет за «концом перспективы». А похоронили рядом с фашистом и антисемитом Эзрой Паундом. А клевреты растащили славу на куски, каждому хоть по крохотному, но кусочку. Так тебе и надо. Живи реальной жизнью. Не делай из себя культа.

Но поскольку «по-женски» Соловьев через свою героиню в Бродского влюблен, та же ситуация выглядит совсем иначе. Старик, но какой!

Сколько ума, таланта, бесстрашия в оценке мира и людей! Вариант

«Башни из черного дерева» ныне покойного Джона Фаулза. Вот такая вышла книга.

Павел Басинский. «Русский курьер». Москва

* * *

Перед нами последовательно раскрываются все комплексы, человеческие слабости и «тайные пороки» знаменитого поэта. Происходит решительное срывание всех и всяческих масок, окончательно сдергиваются последние покровы тайны с некоторых темных страниц куда как непростой биографии… Наряду с достаточно любопытными рассуждениями и гипотезами окончательно расставляются все точки над і и по поводу страстей и заблуждений Бродского, и в отношении «катастрофы личной жизни», известной многим истории «менажа а труа», и тому подобных пикантных нюансов.

«Ведомости». Москва

* * *

Те, кто любит Иосифа Бродского (да и те, кто его терпеть не может), почерпнут немало интересного из книги Владимира Соловьева «Post Mortem. Запретная книга о Бродском. Фрагменты великой судьбы: роман с автокомментарием»…

Владимир Соловьев умеет держать читателя в напряжении, в книге есть своя внутренняя интрига, есть столкновение разных мнений (как реальных, так и вымышленных героев). Повествование ведется от лица некоей молодой женщины, которая как бы обращается к умершему Иосифу Бродскому, монолог чередуется с диалогом, сменяющимся перекличкой противоречивых голосов. Текст нашпигован множеством раскавыченных цитат (первоисточники указаны в комментариях).

Стиль – живой, яркий, с потоком сознания, ненормативной лексикой и прочими атрибутами современной прозы.

Автор приятельствовал со своим героем и в Питере, и в Нью-Йорке, где живет и ныне. Он настаивает на том, что его книга – настоящий роман, который он противопоставляет многочисленным мемуарам:

«У меня – правдивая ложь, у них – лживая правда». В основе сюжета – любовная драма Иосифа Бродского. Автор утверждает (и, похоже, он прав), что главной душевной травмой для Бродского был не суд, не ссылка, не запрет на профессию поэта, а измена любимой женщины, Марины Басмановой, и коварство «верного» друга, тоже поэта, Дмитрия Бобышева, которому он так опрометчиво доверил свою невесту…

Эта незаживающая рана болела всю жизнь. Кстати, позднее Бродский объяснял, почему он был так невозмутим на суде: «Это было настолько менее важно, чем история с Мариной, – все мои душевные усилия ушли, чтобы справиться с этим несчастьем». Он, наверное, сам был изумлен, когда обнаружил, что оказался таким однолюбом. «Есть квота любви, положенная на человеческую душу, – откровенничал Бродский, – любить можно только один раз».

Впрочем, измена любимой была не только травмой, но и неиссякаемым источником вдохновения на долгие годы. «И вся его последующая судьба, – утверждает автор, – вся его поэзия – это выпрямление, высвобождение из-под эмоционального стресса того несчастья…» Это видно и по стихам.

Спустя многие годы после разлуки поэт посвящает МБ книгу любовной лирики «Новые стансы к Августе». Похоже, и впрямь первая любовь (особенно если она несчастная) – это неизлечимая болезнь, которая никогда не проходит.

Любовная травма наверняка отразилась и на характере поэта.

Бродский становился все более обидчивым, ревнивым,

деспотичным, не терпящим конкуренции, даже мстительным. К примеру, когда Василий Аксенов приехал в США насовсем, то Бродский вместо того, чтобы поддержать его, написал для издательства резко отрицательную рецензию на аксеновский роман «Ожог». А как он ненавидел Евгения Евтушенко! Замечательна его фраза: «Если Евтушенко выступит против колхозов, то я буду за!» От друзей он требовал безоговорочной верности. К родному сыну, очень похожему на него (к сожалению, только внешне), он отнесся прохладно, когда тот навестил его в США…

Можно только гадать, каким стало бы творчество Иосифа Бродского, если б его первая любовь оказалась счастливой.

Лиза Чайкина. «Работа в Красноярске». Красноярск

* * *

Книга Соловьева противопоказана тем, для кого Бродский – культ.

Нет, Соловьев безусловно убежден в гениальности Бродского-поэта, нисколько не сомневается в его масштабе, в том, что он действительно «единственный», вырвавшийся из довольно тесной «ленинградской школы» в мировое поэтическое пространство и, конечно, не только благодаря Нобелевке. Но Бродский как личность показан с безжалостностью, доходящей до обратного эффекта: начинаешь жалеть того, кто до такой степени своими человеческими качествами не соответствует своей же поэтической гениальности. Бродский в романе Соловьева – это Сизиф, который обречен катить в гору камень собственной славы.

Хорошо это или нет – вопрос праздный. Поэт и его личность измеряются иными критериями, не «плохо – хорошо». В противном случае мы должны признать, что Пушкин был светским фигляром, Лермонтов – «язвой», Некрасов – картежником, Хлебников – сумасшедшим, а Есенин – пьяницей и хулиганом. Все это Соловьев прекрасно понимает и никаких «человеческих, слишком человеческих» скидок своему герою не делает. Другое дело, что он не делает этих скидок и тем, кто этого заслуживает как раз в силу отсутствия гениальности.

Книга написана талантливо… Крепкий психологический роман, яркий и живой, написанный в современной манере.

«Российская газета». Москва

* * *

Рекомендуется уставшим от вранья т. н. «мемуаров» и «документальной прозы». Великий поэт – неисчерпаемая тема для паразитирующей своры мемуаристов. Но псевдодокументальная проза может уступить место откровенному полету творческой фантазии: «Настаиваю на художественном вымысле, который есть правда высшей пробы».

Написанная от первого лица – от имени Арины, дочери друзей поэтаизгнанника, это своеобразная исповедь несостоявшейся Лолиты, выросшей бок о бок с гением. История томления двух душ, несовместимых по возрасту и опыту, но привязанных друг к другу, – платоническая и надрывная. Тройное авторство текста (Арина, реальный Владимир Соловьев и Владимир Соловьев, комментирующий текст произведения), пересыпанного бисером незакавыченных цитат и отсылок, дополняется подробнейшим анализом-автокомментарием в лучших традициях литературной критики. Вторая половина увесистого фолианта – примечания к собственному тексту, раскрывающие не только идеи и образы, но и комментирующие каждую цитату, проскользнувшую в тексте.

Трепанируя собственное произведение, автор раскрывает даже источники своей информации…

Место на полке. Между романом В. Соловьева «Роман с эпиграфами» и ПСС Иосифа Бродского.

«Белгазета». Минск

* * *

Роман Владимира Соловьева, известного писателя, критика, политолога, живущего в Нью-Йорке, автора книг, переведенных на 13 языков, посвящен судьбе поэта Иосифа Бродского. В романе многие представители русского зарубежья выступают под своими именами. Среди них – Барышников, Довлатов, Шемякин… Нобелевский лауреат в этой книге предстает самым неожиданным образом. В основе сюжета – то, что исследователи Бродского аккуратно обходят: любовная драма поэта. А в целом – трагедия его жизни. Может быть, потому путь книги к российскому читателю был непрост. Отметим, что в России только «ЛГ» показала широкому читателю несколько фрагментов этого яркого, острого и парадоксального романа. Парадоксального, впрочем, как и все другие произведения В. Соловьева… Есть что-то детективное в этом неожиданном и напряженном романе…

«Литературная газета». Москва

* * *

Рассказ о Бродском – без купюр, сантиментов и иллюзий, скандальных подробностей и фундаментального величия: «Теперь в Рос сии происходит канонизация и даже идолизация Бродского». Стихи Бродского, подробности его биографии и его откровенные беседы с друзьями делают из бронзовеющего гения вполне достойного, но скандального человека (написавшего в своей поэме неформатные слова: «Между прочим, все мы дрочим»). Среди героев повествования: Довлатов, Шемякин, Барышников. Недосказанная любовная драма оберну лась поэтической: «Как пес, я взял твой след в ее теле… Измена – озоновая прочистка любви. Как второе дыхание. Моя измена продлила нашу любовь».

Соловьевская проза отличается от причесанной ЖЗЛ не только скандальной изящностью откровений дружеских бесед, но самим способом познания героя – ее «инструментарий включает скальпель… У меня – правдивая ложь, у них – лживая правда».

«Книжное обозрение». Москва

* * *

Вровень с Бродским.

Название статьи о «Post mortem».

«Литературная Россия». Москва

БЫТЬ ИОСИФОМ БРОДСКИМ. АПОФЕОЗ ОДИНОЧЕСТВА

Владимиру Соловьеву повезло встречаться с Бродским накоротке, в вольной, откровенной обстановке. Это так называемое «личное знание» сразу выделяет его книгу из множества других. Соловьев может главное – понять. И объяснить другим. И делает это страстно и интересно.

Владимир Карцев о новой книге Владимира Соловьева

notes

Примечания

1

«Евангелие от Владимира Соловьева», без ссылки на изначального автора, позаимствовано у меня тезкой и однофамильцем телевизионщиком Владимиром Соловьевым и вынесено им на обложку его книги. Плагиат? Не знаю. А потом, уже в Интернете, я читал горячее обсуждение моей «Апологии сплетни» как его опуса. Крошка Цахес, не иначе!

2

На эту позднюю сноску я вынужден тем, что этот «Пришибеев» продолжает упоминаться в «Трех евреях» и читатели ошибочно подыскивают ему прототипов – Вацуро, Панченко и других весьма достойных историков литературы.

А потому пора раскрыть псевдоним: Пришибеев – это Яша Гордин. Он же – Скалозуб. Не путать с зубоскалом.

3

Я не люблю сноски, но на всякий случай, для тех, кто слова поэта-князя забыл: «Неужели можно честному человеку быть русским в России? Разумеется, нельзя: так о чем же жалеть? Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти к России – такой, как она нам представляется. Этот патриотизм весьма переносчив. Другой любви к отечеству у нас не понимают… Любовь к России, заключающаяся в желании жить в России, есть химера, недостойная возвышенного человека. Россию можно любить как блядь, которую любишь со всеми ее недостатками, пороками, но нельзя любить как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения, а настоящую Россию уважать нельзя».

4

Смиренно сознаюсь, что шесть строчек отточий – не композиционное подражание «пропущенным строфам» Байрона, Пушкина и Ахматовой, но сугубо личное мероприятие, вынужденное эпиграфическим жанром романа. Сюжет, вытекающий из 22 эпиграфов, столь очевиден, что было бы сущим безумием и непомерным расточительством присовокуплять к ним авторские разъяснения. А может быть, вообще стоило ограничиться цитатами и романа не затевать?

5

Намек на художественное творчество В. И. С.

6

Похабщина.

7

Сборно-раздвижная конструкция позволяет продолжить перечисление фактов по мере накопления.

8

Вариант: литература.

Эти пропуски – какая пища для ума будущего исследователя!

10

Общий друг.

11

Было бы нечестно не сказать тебе, что я был ужасно разочарован, что ты сказала Лиле, что я работал на ЦРУ… Ты не имела права говорить ей то, что я сказал тебе однажды в минуту близости, взяв с тебя клятву, что ты никому больше не скажешь. Для этого были – и до сих пор – серьезные причины, и я могу объяснить эту промашку с твоей стороны все еще длящейся болью и гневом на меня и вполне понятным резоном, что время прошло и это больше не играет никакой роли. Играет. (Намек на то, что Берт в это время – письмо написано в 93-м – продолжал сотрудничать с ЦРУ. – В. С.)

12

Трудно представить больший гротеск. Вы готовы вышвырнуть человека, который свыше трех десятилетий изо всех сил старался внедрить в американцев лучшее понимание русской культуры, а берете типа, который в течение того же периода систематически брызжет ядом в советской прессе, как, например, «звезды на твоем флаге – дыры от пуль, Америка». Конечно, времена меняются, и кто прошлое помянет, тому глаз вон. Но «конец истории», мистер Президент, не есть еще конец этики. Или я не прав?

Стиховую цитату Евтушенко даю в обратном переводе, но вот точная цитата из стихотворения Евтушенко на смерть Роберта Кеннеди:

> Линкольн хрипит в гранитном кресле ранено.
> В него стреляют вновь. Зверье зверьем,
> И звезды, словно пуль прострелы рваные,
> Америка, на знамени твоем.

Так что у Бродского в его кляузном письме явная натяжка, а цитата вырвана из контекста и переврана.

Сам Евтушенко теперь говорит, что я дал ему это письмо на похоронах Берта Тодда: «Ну вот, смерть Берта сняла с меня табу. Он когда-то запретил мне показывать тебе это письмо», – будто бы сказал я. И далее: «Раскрываю письмо, читаю. Что же узнаю. Оказывается, Бродский написал президенту Куинс-колледжа, где в 1991 году оформлялись мои документы, что я не имею морального права работать там профессором. Потому что я якобы оскорбил американский флаг в своих стихах. Что ж тут оскорбительного, если я разделил возмущение и боль большинства американцев этим убийством (Роберта Кеннеди – В.С.)?…Несколько последних лет Бродский прекратил какие-либо нападки на меня…»

Понимая обиду Евтушенко, настаиваю все-таки на моей хронологии и на моей версии: письмо Бродского помечено 8 ноября 1995 года, так что он не только не прекращал наскоки на коллегу, но незадолго до смерти возобновил их.

А на похоронах Берта Тодда я не был – только на панихиде, с Женей я на «вы» и письма ему не показывал, а зачитал по телефону. Прочесть его полностью он мог только в моей начальной публикации этой истории в периодике.